Литературное наследство



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО



ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 9 3 3



ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

9-10

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 3



ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

Портрет маслом неизвестного художника. 1773 г.
Писан с натуры на портрете Екатерины II
Государственный Исторический Музей, Москва

ОТ РЕДАКЦИИ

Если литературоведение и сейчас еще должно быть признано одним из наиболее отстающих участков нашего идеологического фронта, то изучение литературного наследия феодально-крепостнической эпохи должно быть признано одним из наиболее отстающих участков марксистско-ленинского литературоведения. Огромный фактический материал, накопленный в этой области, материал крайне пестрый и неравноценный, до сих пор остается не только не обобщенным, не осмысленным, но и не систематизированным сколько-нибудь полно.

Между тем систематизация материала—этот первоначальный этап всякой научной работы—имеет в данном случае особенно существенное значение. Дело в том, что пестрота и неравноценность его не ограничивается только тем, что он совершенно хаотичен, что какую-то долю его, и долю довольно значительную, составляет всяческий псевдонаучный архивный хлам, сотни и тысячи никому и ни зачем ненужных архивных мелочей и мелочишек. Это действительно так, это определенным образом характеризует теоретические предпосылки и исследовательскую практику старого академического литературоведения, занимавшегося собиранием подобного материала, но это—только одна сторона вопроса.

Другая сторона вопроса, еще более существенная, заключается в том, что материал этот не только пестр и неравноценен по своему научному значению, но что он, помимо всего прочего, носит совершенно ясные следы известной классовой фильтрации. В чем состоял смысл подобной фильтрации? Прежде всего в том, чтобы воспрепятствовать проникновению в научный обиход таких данных, которые рисовали бы феодально-крепостническое общество как общество классовое, основным фактором исторического развития которого является, как и во всяком классовом обществе, классовая борьба. В дворянско-помещичьем литературоведении такого рода задача осуществлялась путем прямого замалчивания всех тех явлений, которые разрушали бы представление о литературе этой эпохи как о продукте идеологической активности исключительно социальных верхов феодально-крепостнического общества, в первую очередь—придворной аристократии. Литература среднего и мелкого дворянства, недворянского городского населения, наконец литература крестьянства просто вычеркивалась из литературного наследия эпохи, признавалась как бы не существующей.

Несколько иначе обстояло дело в литературоведении буржуазном. Замалчивать эстетическую культуру социальных низов феодально-крепостнического общества на предмет вящшего превознесения культуры придворно-аристократической ему не было необходимости. Поэтому оно не имело ничего против включения ее памятников в круг исследовательской работы. Но не менее чем литературоведение дворянско-помещичье буржуазное литературоведение было заинтересовано в том, чтобы нейтрализовать в соотношении указанных литературных рядов момент классовой борьбы. Отсюда, прежде всего, тенденция трактовать разнородность идейно-психологического содержания и конструктивно-стилевых установок литературы придворно-аристократической, с одной стороны, литературы низового дворянства и городского мещанства—с другой, и крестьянской литературы—с третьей, как явление, обуславливаемое исключительно разностью культурных уровней каждой из этих социальных групп. Отсюда, далее, неизменно повторяющиеся попытки рассматривать эти литературные ряды как мирно сосуществующие, развивающиеся совершенно изолированно один от другого и не вступающие в процессе своего исторического становления ни в какое взаимодействие между собою. Отсюда наконец стремление к максимальному снижению идейной стороны литературы социальных низов, стремление низвести ее до уровня развлекательного чтива, никак и ничем не отражающего миросозерцания данной классовой прослойки.

Более или менее аналогичная картина наблюдается в области разработки наследия радикальной публицистики XVIII века. С именами Радищева и Новикова старое академическое литературоведение еще мирилось. Исследователи, научная практика кото-

рых была связана в большей степени с классовой практикой буржуазии, нежели с классовой практикой крепостнического дворянства, порою проявляли даже некоторый пиэтет к литературному наследию Радищева и Новикова, поскольку освободительные идеи первого и, при всей ее умеренности, фрондирующая сатира второго в какой-то мере были созвучны политическим устремлениям буржуазии в ее попытках борьбы с помещичье-дворянской абсолютистской монархией. Но «вольнодумство» XVIII в. как развернутое, широко разветвленное движение, далеко выходящее за пределы индивидуальных исканий двух-трех отдельных мыслителей, остается забытым до сего дня. Да и та же проблема Радищева и Новикова еще ждет своего исследователя-марксиста. Все исследования об этих мыслителях принадлежат, как правило, буржуазным ученым-идеалистам. Надлежит развернуть в монографическое исследование ценнейшие высказывания Ленина о Радищеве, чрезвычайно высоко ставящего этого последнего (см. напр. Ленин, Соч., 3-е изд., т. IV, стр. 127 и т. XVIII, стр. 81).

В этом последовательном замалчивании всех явлений литературного наследия XVIII в., которые свидетельствовали бы о том, что наряду с дворянскими верхами в литературном движении эпохи участвовали и другие социальные группы и что отношение этих групп к дворянским верхам отнюдь не носило характера мирного сотрудничества, классовость научных позиций старого академического литературоведения сказалась наиболее полно. Но достаточно четко проступают ее классовые корни и в ее подходе к памятникам литературного быта наиболее правого, наиболее реакционного крыла дворянской общественности.

В этом смысле характерна судьба литературного наследия Болотова—одного из омерзительнейших персонажей русской феодально-крепостнической культуры. Академическое литературоведение, охотно и усиленно пропагандируя его «Записки», канонизируемые им в качестве одного из лучших памятников мемуарной литературы эпохи, наиболее полно и объективно отразивших современную мемуаристу действительность, в то же время неизменно игнорировало все остальные его писания, до основания разрушающие легенду о его пресловутой исторической объективности.

Покончить раз навсегда с этими реакционнейшими, от начала до конца враждебными нам представлениями о литературном наследии феодально-крепостнической эпохи—одна из серьезнейших задач, стоящих перед марксистско-ленинской историко-литературной наукой. Задача тем более неотложная, что дальнейшее пренебрежение к данному участку исследовательской работы совершенно естественно влечет за собою крайне вредную по своим последствиям стабилизацию этих реакционнейших представлений. До тех пор, пока не разоблачена их классовая основа, пока они не заменены какими-то другими, новыми, подлинно научными, они конечно будут жить—пусть подспудно—в нашем литературоведческом обиходе.

Между тем разоблачение их важно еще и в другом отношении. Научная практика дворянско-помещичьего и буржуазного литературоведения имела еще и тот вредный результат, что она создавала благоприятнейшую почву для отношения к феодально-крепостнической культуре как культуре мертвой, культуре, никакими нитями не связанной с современностью. Именно то обстоятельство, что из всего многообразия поэтических фондов эпохи в течение многих десятилетий выдвигалось на первый план то, что было направлено к утверждению и прославлению феодально-крепостнического уклада, и всячески замалчивалось то, что было обращено против этого уклада, определило огульно отрицательное отношение к XVIII в. как к архивной мертвечине со стороны Белинского, со стороны радикальной демократической критики 60-х годов и наконец со стороны целого ряда представителей раннего литературного марксизма.

Чтобы та работа по переосмыслению литературного наследия рассматриваемой эпохи под углом зрения марксизма-ленинизма, о которой говорилось выше, не замыкалась в рамки сухого и одностороннего академизма, необходимо прежде всего преодолеть эту инерцию.

Необходимо понять, что формировавший феодально-крепостническую культуру социально-экономический и культурно-бытовой уклад вовсе не является такой седой археологической древностью, как может показаться это, если скользить по поверхности вещей, не вникая в их сущность. Необходимо понять, что на протяжении всего прошлого столетия крепостнические пережитки являются одним из основных и определяющих факторов исторического развития России, что не только в дореформенную, но и в пореформенную эпоху эти пережитки пронизывают все поры российской экономики и сообщают особую специфическую окраску всей системе надстроек, что только на наших глазах—в октябрьские дни—окончательно рухнуло вековое здание крепостнического государства.

Отсюда совершенно очевидно, что изучение XVIII в.—периода высшего расцвета, высшего апогея феодально-крепостнического строя—не имеет и отдаленного привкуса какого-то академического гурманства. Утверждая необходимость включения этой эпохи в орбиту научно-исследовательской работы, мы не отступаем от марксистско-ленинского принципа—изучать прошлое не ради самого прошлого, а ради того, чтобы полнее и глубже понять настоящее,—а осуществляем этот принцип.

Если вне изучения феодально-крепостнического строя и феодально-крепостнической культуры периода ее расцвета невозможно выработать должную классовую перспективу для изучения последующих этапов русского исторического процесса, то вне изучения первых попыток борьбы с этим строем невозможно понять дальнейшие этапы этой борьбы. От подпольной поэзии екатерининских и павловских времен протягиваются прямые нити к вольным эпиграммам Пушкина, от Радищева—к Пестелю.

Художественная ценность ряда произведений литературы XVIII в —еще один довод за углубленное марксистско-ленинское изучение этой литературы. Многие художественные образы, рожденные XVIII в., живы до сих пор. Вспомним хотя бы тот пример, что державинский образ «как солнце в малой капле вод» (из оды «Бог») является одним из излюбленных образов Ленина, часто прибегающего к нему в своих произведениях (см. напр. Ленин, Соч., 3-е изд., т. II, стр. 238; т. V, стр. 159; т. VII, стр. 359; т. X, стр. 263; т. XII, стр. 314; т. XIV, стр. 127; т. XV, стр. 238). То же можно сказать о многочисленных образах басен Крылова. Любопытно, что эти образы также часто встречаются в ленинских текстах (общее количество их здесь превышает 60): то мы сталкиваемся с зайцем-Потресовым, которому стоит дать клочок медвежьего ушка, то с лисой-Богдановым, вздыхающим о том, что «зелен виноград», то с тришкиным кафтаном буржуазного попечения о «меньшом брате», то с моськой-Михайловским, лающим на слона Маркса, или с выразительным эпиграфом к статье, кончающимся словами «услужливый Струве опаснее врага» (Ленин, Соч., 3-е изд., т. II, стр. 86, 140, 194; т. I, стр. 78; т. VI, стр. 368). Крылов хотя и не принадлежит целиком XVIII в., но все же стоит там одной ногой,—поэтому стоит упомянуть тут и о его творчестве.

Сказанное в основном объясняет состав настоящего сборника в первом его разделе—в разделе публикаций и исследований.

Более узкие цели преследует печатаемая в настоящем сборнике серия обзоров. Выше мы уже отмечали, что собирание сырого фактического материала из области литературной жизни рассматриваемой эпохи протекало совершенно хаотично. В результате до сих пор мы не имеем в полной мере отвечающих требованиям современной науки собраний сочинений крупнейших литературных деятелей того времени. Как один из подготовительных этапов на пути к таким собраниям имеет большое значение приведение в порядок их литературного наследия. Эту задачу и ставят перед собой обзоры, посвященные Ломоносову, Державину и др.

Иногда в результате такой работы приходится вносить более или менее существенные коррективы в привычные характеристики того или иного литературного деятеля. Так в результате проделанной М. Габель работы по обследованию литературного наследия Княжнина оказалась совершенно разрушенной традиционная легенда о Княжнине-революционере и весь княжнинский радикализм принял гораздо более умеренный оттенок.

В заключение отмечаем, что, выпуская в свет этот сборник, редакция в полной мере сознает его недостатки. Вследствие констатированного выше установившегося пренебрежительного отношения к той эпохе, которой посвящен этот сборник, со стороны представителей марксистско-ленинского литературоведения вопрос о научно-исследовательских кадрах стоит в этой области острее, чем в какой-либо другой. Чаще, чем где-либо, здесь приходится обращаться к опыту и знаниям работников, методологическая перестройка которых в сторону марксизма-ленинизма далеко еще не завершена. Это обстоятельство естественно ведет к тому, что не все помещенные в сборнике работы оказываются равноценными по своему теоретическому уровню и по правильности постановки и разрешения трактуемых вопросов.

Читателю придется столкнуться с многообразием и разнородностью представленных в сборнике точек зрения по отдельным вопросам литературного движения рассматриваемой эпохи. Это понятно, если учесть, что изучение литературы XVIII в. до сих пор находилось почти в монопольном ведении идеалистов и эклектиков всех толков и мастей. Если этот сборник сыграет роль хотя бы зачина дальнейшей развернутой и углубленной марксистской работы по изучению литературного наследия феодально-крепостнической эпохи, то редакция будет считать, что поставленная ею задача выполнена.

В заключение считаем необходимым сказать несколько слов об иллюстративном материале сборника. Иконографические фонды XVIII в. вообще говоря довольно обильны. Но по своей социальной окраске они почти целиком являются продуктом эстетической культуры придворно-аристократических верхов современного общества. Социально-бытовой и идейно-психологический уклад низовых классовых группировок представлен в них в минимальной степени. Поэтому при взятой редакцией установке на развернутый показ именно «низовой» литературы возможность использования их неизбежно оказывалась весьма и весьма относительной.

Это вынудило редакцию отказаться от обычно применяемого ею в подборе иллюстраций принципа прямого иллюстрирования публикуемых текстов. Сгруппированный в сборнике иллюстративный материал в значительной мере самостоятелен. Думаем однако, что это не умаляет его ценности. Наоборот,—есть все основания предполагать, что сгруппированные здесь образцы например жанровой живописи эпохи, при почти полной ее неизученности, могут представить известный интерес и для специалистов-искусствоведов.

Непосредственное участие в работе по организации настоящего сборника принимал Г. А. Гуковский. Значительную помощь в этом направлении оказал редакции И. Л. Андроников. Большая часть фотоснимков для сборника выполнена фотолабораторией Академии Наук СССР, руководимой С. Г. Гасиловым, и фотолабораторией Государственного Исторического Музея, руководимой А. В. Хлебниковым. Всем лицам и организациям, содействовавшим осуществлению сборника,—благодарность редакции.

ПОДПОЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ 1770—1800-х годов

Публикация Г. Гуковского и В. Орлова

I

Литература XVIII в. знала два способа распространения стихотворных и прозаических произведений, два способа, почти равноправных: печать—книга, брошюра, журнал, листовка, с одной стороны, и рукопись, список—с другой. В рукописных собраниях и архивах Ленинграда и Москвы хранится множество листков, тетрадей, томиков, а иногда и больших толстых книг, исписанных чаще всего не слишком каллиграфическими почерками любителей литературы XVIII и начала XIX вв., содержащих литературные произведения этой эпохи.

Печатная книга в те времена была очень и очень дорога. Заплатить 2—3 рубля и более за книжку стихов, когда годовой оброк крепостного крестьянина своему «барину» составлял сумму в 3—6 рублей, когда на 3 рубля можно было прожить три месяца, для многих было невозможно. Читателей литература вообще имела немного; тираж печатной книги в 1200 экземпляров в 60-х и даже 70-х годах XVIII в. считался крупным тиражом; но книги выходили с тиражом и в 600, и в 300, и даже в 200 экз.; журнал мог выходить, имея полтораста подписчиков. Но может быть не менее, чем печатных экземпляров, расходилось в «публике» списков многих произведений.

Рукописная книга подчинялась естественному отбору читательских интересов: читатель списывал то, что ему нравилось; вещи, не имевшие успеха, не попадали в рукописную традицию. С другой стороны, рукописная книга была свободна от цензуры, от журнальной дипломатии, от защитного цвета официальных мнений, обязательного для большинства печатных книг. Многое попадало в рукописные книги и получало широкое распространение задолго до печати; многое так и оставалось навсегда в рукописях, нисколько не страдая от этого в смысле известности, читательского успеха, участия в литературной борьбе.

Тем интереснее изучить наследие многочисленных рукописных сборников, что по ним мы сможем судить и о таких сторонах литературной жизни, о которых иногда мы не получим достаточных материалов на основании анализа только лишь печатной книги того времени.

Составителями рукописных сборников, переписчиками и владельцами их бывали чаще всего «средние» люди: какой-нибудь офицер, сидящий год за годом в провинции при своем полку, средний помещик, чиновник, может быть купец. Иногда они списывали с печатной книжки, взятой на время у ее владельца, но чаще со списков же, хотя в послед-

нем случае все же иной раз первоисточником традиции являлась печатная книга (напр. журнал). Основная масса текстов, вписывавшихся в рукописные книги,—это стихи и исторические документы, т. е. реляции военачальников о сражениях, рескрипты царей, переписка знаменитых или популярных политических деятелей, официальные «записки» по политическим вопросам, подаваемые этими деятелями правительству, и т. д.; следовательно этот отдел рукописной литературы являлся своеобразной заменой позднейшей неофициальной политической газеты, не существовавшей еще в печатном виде в XVIII и почти не существовавшей в начале XIX в. Здесь получали свое—впрочем довольно урезанное—выражение политические интересы и политическая мысль различных группировок привилегированных классов; здесь сосредоточивалась независимая, а иной раз и оппозиционная публицистическая продукция этих группировок; здесь выступали перед публикой лидеры тех или иных партий, боровшихся вокруг власти; здесь же и правительство демонстрировало свою деятельность.

Что же касается стихов (и изредка прозаических произведений художественной литературы), то в рукописи попадало все вообще, что нравилось, что имело успех. Списывались басни Сумарокова, иногда целые трагедии его, позднее песни Дмитриева, еще позднее—Жуковский в необычайном изобилии, Пушкин. Но рядом с этими вещами, попавшими в рукописную традицию из печати, особое место в ней занимает литература, недопустимая для печати того времени, специфическая именно только для рукописной традиции. С одной стороны,—это Барков, это многочисленные продолжатели его традиций, порнографы и просто эротические писатели (сюда же относятся и некоторые стихотворения, бывшие в печати, как например сказка П. Карабанова «Нет», распространенная в списках анонимно[1]). С другой стороны,—это нецензурная литература другого типа, это—литературная полемика, недопустимая в печати по обычаям того времени, да и на самом деле нередко очень грубая, это—сатира или даже пасквиль на то или другое известное лицо, будь то Сумароков, или Рубан, или какой-нибудь чиновник, это, наконец, политический памфлет, эпиграмма, стихотворная инвектива против власти, против тех или иных ее представителей, против направления ее политики.

На правах такой именно нелегальной литературы приобрели всеобщую известность многие оды Державина, которые не могли в течение ряда лет быть опубликованы в печати по цензурным условиям. Таким же, в сущности, образом списывалась целиком вся объемистая книга Радищева, уничтоженная и строжайше запрещенная. Позднее таким же образом стали общеизвестны и стихотворения Марина, и ноэли, и «Деревня», и «Кинжал» молодого Пушкина, и др.

Часть произведений такой нелегальной поэзии анонимна, и не мало среди них написано дилетантами, руководимыми больше всего желанием выразить свое общественное или личное негодование, пустить «в народ» инвективу против неугодного им лица и т. п. и не предполагавшими выступать в области художественной литературы в качестве «настоящих» поэтов. Это не делает конечно произведения таких дилетантов менее интересными для историка литературы.

Особое ответвление дилетантской подпольной литературы составляет так сказать ведомственная поэзия, с образцами которой мы часто

встречаемся в сборниках XVIII—начала XIX в. Сатира на чиновников какого-нибудь учреждения, на офицеров какого-нибудь определенного полка, шуточные стихи на какое-нибудь скандальное или смешное событие в жизни небольшой группы людей, объединенных служебными или узкоместными интересами, перебранка в стихах двух врагов-сослуживцев или соседей—таково обычное содержание этих ведомственных стихов. Они имели первоначальное хождение в узком кругу людей, знакомых с их «реалиями», для которых намеки, заключенные в них, были понятны и смешны, для которых сатира их была убедительна. Однако же самое обилие такой местной сатиры указывает на то, что ее значение перерастало границы только лишь локального интереса. При крайней узости вообще «читательских» кругов, при узости вообще всего официального, чиновничье-офицерского круга тогдашней России, когда все «служащие» в мало-мальски заметных чинах или хотя бы в заметных учреждениях и полках были на виду, ведомственная сатира могла приобретать значение «общегражданской». Ведь именно из такой местной, служебной поэзии выросло примечательное творчество Марина; с этой же подпольной традицией тесно связано искусство не только И. М. Долгорукова, но и знаменитого автора украинской «Енеиды» И. П. Котляревского и даже отчасти самого Державина.

Рядом с дилетантскими и «ведомственными» произведениями мы встречаемся в подпольной традиции и с вещами, вышедшими из-под пера настоящих поэтов, иногда больших мастеров.

Таким образом помимо официальной, печатной, литературы образовалась во второй половине XVIII в. прочная традиция другой, подпольной, литературы, чаще всего более злободневной и во всяком случае более откровенной, чем печатная. Эта подпольная литература и, в частности, подпольная поэзия не приведена еще в достаточной мере в известность историей литературы. Лишь немногим из популярных и широко распространенных в эпоху Державина и Карамзина рукописным стихотворениям повезло в позднейшей науке; например издана—и издана не один раз—сатира на министров Александра I—«Бостон» [2]; издана неоднократно пародия Марина на оду из Иова Ломоносова, заключающая памфлет против Павла I, «Святки» Д. П. Горчакова и др. Но большинство стихотворений, по большей части анонимных, «носившихся в народе» в это время, до сих пор погребено на страницах рукописных книг и собраний, среди которых есть и составленные достаточно известными людьми, как например Болотов или Державин.

Между тем пристальное изучение рукописной литературы XVIII и начала XIX в. может дать весьма значительный материал для характеристики литературной жизни не только тех ведущих в культурном отношении групп общества, прежде всего помещичьих групп, которые владели наибольшими возможностями проявить свое творчество и в печати, но и тех классовых групп, которые не имели достаточно силы, чтобы выступить открыто на арену литературной борьбы. Это же ведет нас и к тому материалу, который мы сможем почерпнуть из подпольной литературы для характеристики движения социально-политической мысли в данную эпоху, для изучения расстановки социальных сил,—и не только в области художественного творчества. Не задаваясь в настоящей публикации широкими целями изучения рукописной поэзии в целом или хотя бы в одном из ее ответвлений, мы хотим лишь предложить



ЩЕГОЛИХА

Народная картинка-карикатура XVIII века

(Она говорит щеголю:
„И я вижу что бодро ступаешь,
А своею харею людей пужаешь,
Только на тебе убор хорош,
А харею весьма не пригож“.)

Публичная Библиотека, Ленинград



ЩЕГОЛЬ

Народная картинка - карикатура XVIII века

(Он говорит щеголихе:

„Я старик невелик, а бодер ступать
Кто бы со мною вышел потанцовать.
Токмо на меня не дивитеся
Зря на мою персону веселитеся“.)

Публичная Библиотека, Ленинград

вниманию читателя несколько произведений, извлеченных из старинных рукописных тетрадей или книг, при чем стихотворения эти в том или ином направлении составляют оппозицию существовавшим тогда правительственным лицам, мероприятиям или организациям. Особо стоят при этом произведения уже не только оппозиционные, а в основном осуществляющие антифеодальную, «Радищевскую» струю русской поэзии. Такие стихи лишний раз убеждают нас в том, что ни в обществе, ни в литературе второй половины XVIII в. вовсе не было того официального благополучия, которое прокламировалось властью и нередко принималось на веру, по крайней мере в отношении дворянства и его творчества, в науке и критике не только XIX, но и XX в. Одна только печатная литература не может дать исчерпывающего материала для суждения о «состоянии умов» различных классов при Екатерине II. Лишь с трудом попадали в нее отзвуки подлинных настроений тех или иных социальных групп или даже общественного мировоззрения того или иного писателя, если он не был настроен совершенно официально. Последнее же бывало далеко не часто. Журнал Фонвизина был запрещен еще до своего рождения. Оды Державина, Капниста оказывались «нецензурны» и т. д. [3]

Даже мемуарная литература не всегда дает достаточно возможностей судить об отношении к власти и к социальным проблемам вообще тех социальных групп, с которыми были связаны мемуаристы, поскольку нередко они, по ряду причин, мало касались вопросов «политики» (отчасти и из естественной осторожности). В этом отношении рукописная литература является сильным подкреплением тех данных, которые нам дают исторические материалы, касающиеся социально-политической практики классовых групп эпохи, и в то же время тех данных, которые мы можем по кусочкам, по намекам, по мелочам извлечь из переписки, частных архивов (и то и другое сохранилось или опубликовано в весьма недостаточном количестве), также и из печатной литературы.

Рукописная литература нисколько не уважает власти. Возможности в этом отношении отличают ее даже от архивных материалов, писем и т. п., всегда более подверженных страху своих владельцев; кроме того ведь до нас дошли архивы главным образом вполне официальных лиц.

Убедительным контрастом рядом с торжественными одами звучит стихотворение, помещенное в сборнике «Девическая игрушка», т. е. в сборнике Барковских и псевдо-барковских произведений с названием «Е.......а (сатира на русскую императрицу Анну Иоанновну)» [4]. Эта сатира несомненно написана вовсе не к приезду в Россию Анны Иоанновны по случаю «избрания» ее на императорский престол в 1730 г., как хочет представить дело название (может быть сформулированное вообще в XIX в.). Она написана правильным ямбом, немыслимым для стихотворения начала 30-х годов, да и язык ее свидетельствует о том, что она относится к концу XVIII в. Она написана конечно и не в порядке насмешки над Анной Иоанновной, умершей около полстолетия назад. Имя Анны Иоанновны поставлено здесь, думается, для отвода глаз, на всякий случай, для возможного полицейского вмешательства. Можно с уверенностью сказать, что на самом деле стихотворение имеет в виду «царствующую императрицу» Екатерину II и приурочено к ее путешествию в Новороссию и Крым в 1787 г.

В самом деле, речь в нем идет о том, что в Глухове узнали о приезде распутной монархини и своеобразно готовятся к нему. Анна Иоанновна никак не могла проезжать на пути из Митавы в Москву через Глухов, и вообще Глухов не имел отношения к ее приезду в Россию. Наоборот, Глухов был одним из старинных городов на том пути, по которому ехала Екатерина II в 1787 г. в Крым. С начала XVIII в. Глухов был местопребыванием малороссийского гетмана. 22 января Екатерина, вместе со всей своей огромной свитой, приехала в Новгород-Северский, в полусотне верст от Глухова. Здесь, в Новгороде-Северском, ей представлялись местные нотабли (в том числе и епископ новгород-северский и глуховский Илларион). Нет сомнения в том, что и глуховские чиновники встречали Екатерину. 24 января царица выехала из Новгорода-Северского по направлению к Чернигову. Именно здесь, в окрестностях маршрута знаменитого путешествия, и возникло, повидимому стихотворение, попавшее в «Девическую игрушку»[5]. Автором его конечно не был Барков, умерший значительно раньше (в 1768 г.). Опубликовать это стихотворение целиком невозможно. Во всяком случае оно вполне неуважительно по отношению к «священной особе» императрицы, обозначенной в нем русским словом, характеризующим ее распутство, в самом деле титаническое. Приведу текст его с пропусками.

Как в Глухове спознали
Е.....цы приход,
. . . . бежали,
Чтоб встретить у ворот.

Магистры и старшины
За нужное почли,
Чтоб все . . . большие
Навстречу ей пошли.

А маленьким . . . . . .
Приказ был дан такой:
Отнюдь бы из порточков
Не лазил никакой!

Лишь только появилась
Е . . . . . ца во град,
Все . . . . . всполошились,
Ударили в набат.

Одна . . . . . всех шире,
Безногого [6] жена,
Кричит: где ж правда в мире!
Какие времена!

Магистр все . . . . глотки
Велел . . . . зажать,
Набив на них колодки,
В тюрьму всех посажать.

В минуту спор шумливый
Утих весь крик и бунт;
Магистр, как муж учтивый,
Скомандовал: во фрунт [7].

И, взявши . . . свой в руки,
Спросил, отдавши честь:
Поскольку ж . . . . в сутки
Прикажете отчесть?

Е . . . . . ца сказала:
Великий пост, так грех;
С дороги ж я устала,
Довольно будет трех!

«Политики» в этих стихах нет, но есть достаточно определенное отношение к монархине. Если бы автор таких стихов стал известен правительству, он мог поплатиться за них очень жестоко.

Ведь в 1759 г. было поднято целое цензурное дело из-за стихов Ржевского об итальянской актрисе Сакко только потому, что они оканчивались так:

Хоть неких дам язык клевещет тя хулою,
Но служит зависть их тебе лишь похвалою:
Ты истинно пленять сердца на свет рожденна [8].

Здесь видимо был скрыт намек на каких-то «значительных особ». Стихи были изъяты из журнала, в котором они были напечатаны; автору удалось выпутаться благополучно. Это было еще при Елизавете. А при Екатерине, в 1785 году, были открыты авторы шуточных картинок с подписями (рукописных), памфлетно изображавших правительственных деятелей и повидимому задевавших царицу. Авторы принадлежали к «высшему свету»; говорили, что одну из составителей, фрейлину баронессу С. И. Эльмпт, высекли; других выслали из столиц (вообще из мест пребывания царицы).

В «барковских» стишках о Екатерине выразилось презрение к носителю власти; в других подпольных стихах выражалось негодование, ненависть к тем или иным сторонам государственного строя. Социальные источники этих настроений различны. В особенности в последней четверти XVIII в. недовольство существующим положением охватывало все большие и большие слои населения.

Базу, нижний этаж его, составляло многомиллионное крестьянство, выносившее на себе всю тяжесть крепостничества. Свое мировоззрение и свое отношение к режиму оно выразило в Пугачевщине; но выразительны и его сатирические сказки или вирши (весьма примечательные). Середину общественного здания составляли горожане: созревавшая буржуазия, стремившаяся свергнуть монополию жизненных благ, присвоенных помещиками; мелкая буржуазия, мещанство, «разночинство», готовые подчиниться бунтарским влияниям, готовые солидаризоваться с крестьянством. Верхний этаж общества, дворянство и бюрократия, также не представлял картины единства, согласия и довольства своим положением. Родовитое дворянство с ненавистью относилось к «подъячим», к чиновникам, мелким людишкам, прочно державшим в своих руках рычаги государственной машины, пролезавшим в дворянство, захватывавшим крупные земельные богатства и политическую власть. В последней четверти века разыгралась острая внутриклассовая борьба различных групп дворянства. С одной стороны—поместная аристократия, социально консервативная, но фрондировавшая против политики власти; с другой стороны—кучка магнатов нового типа, выскочек, аферистов, захвативших власть и державших страну в своих руках не только тем, что они владели



ПОРКА КРЕСТЬЯНКИ В ПРИСУТСТВИИ ПОМЕЩИЦЫ И ДВОРНИ
Зарисовка X. Гейсслера времени его пребывания в России (1790—1798 гг.)
Раскрашенная гравюра из альбома „Strafen der Russen, dargestellt in Gemälden und Beschreibungen von I. Richter und C. G. H. Geissler"

колоссальными поместьями, не только тем, что в их руках через связанную с ними «поддъяческую» бюрократическую машину сосредоточилась вся сила полицейского государства и армии, но и тем, что их поддерживали «низы» дворянства, мелкопоместная дворянская масса, враждебная олигархической в своих «либеральных» тенденциях аристократии. Впрочем по отношению к эксплоатируемым «низам» все группы дворянства были едины, различаясь лишь методами эксплоатации.

Таким образом к концу царствования Екатерины II ее правительством были недовольны очень и очень многие; помимо крестьянства, ежеминутно готового восстать, и «среднего рода люди», лишь в малой степени «ободренные» псевдо-демократическими демонстрациями власти в пользу российского третьего сословия, и родовое крепкое дворянство, составлявшее культурную верхушку эпохи, владевшее в значительной степени идеологической гегемонией, и тянувшиеся за ним слои среднепоместного дворянства,—все рады были где и как возможно обругать начальство, показать ему кулак, хотя чаще всего делалось это в наглухо запертом помещении. В этом отношении была глубочайшая разница в отношении к власти оппозиционного дворянства, с одной стороны, и идеологов мелкой буржуазии, смыкавшейся с революционной буржуазией передовых стран Запада,—с другой. Первые фрондировали, вторые пытались бороться, хотя бы в одиночку; первые спорили с сво-

ими же братьями по классу, раздирая с ними на части достояние. награбленное у крепостного раба; вторые хотели сражаться с рабством; первые выдвинули Фонвизина, вторые Радищева.

II

Екатерининские дельцы 70—90-х годов, авантюристы и рвачи, захватившие в свои руки и все центральные места в государстве, и колоссальные владения, тесною толпою ставшие вокруг трона, набросившие на страну жесткую сеть полицейско-бюрократического режима, все эти Потемкинские сподвижники—Фалеевы, Поповы, Гарновские и, в первую очередь, Безбородко вместе с самим Потемкиным—тяжелою рукою зажали рот всякой оппозиции их политике. Они искореняли всякое проявление «свободомыслия» и прежде всего дворянского «либерализма» во всех его разновидностях. На бюрократическую машину, организованную властью, и направилась ненависть всех тех, тенденции к независимости которых она ущемляла. Чиновник, человек, поставленный центральной властью, самоуправствующий грабитель,—эта фигура систематически изображалась и в подпольной литературе в самых черных красках, также как ряд фигур главарей той шайки, которая стояла у власти. Сущность зла чаще всего видели в фаворитизме; любовники царицы тянули за собой своих друзей, родных, прихлебателей, подхалимов. Родовитость, с одной стороны, и выслуга—с другой, теряли значение; не они давали места, ордена, богатства, а только лишь «случай», успех при дворе. Я не могу останавливаться здесь на социально-историческом истолковании этого факта, без сомнения существенно характерного для политики правительства Екатерины последних 15—20 лет ее царствования; здесь достаточно напомнить самый факт, возмущавший все оппозиционные круги. В каких выражениях могла характеризоваться личная, женская «нравственность» царицы, в которой современники могли иногда наивно усматривать одну из причин создавшегося положения, мы видели выше. Приведу пример, относящийся к оценке одного из темных дельцов последних лет Екатерининского царствования, Грибовского.

Автор печатаемого ниже стихотворения—Г. Р. Державин, неоднократно выступавший в своих одах с осуждением тех или иных черт деятельности Зубова, Потемкина и др. (хотя нередко и льстивший им выше меры); в стихотворении, не предназначенном очевидно для печати, он был конечно откровенен.

Отношения между Державиным и Грибовским были не совсем обыкновенные. Адриан Моисеевич Грибовский (1766—1833) восемнадцатилетним юношей, выступившим только что с переводом повести Арно «Опасность городской жизни», попал в секретари к Державину, отправлявшемуся в Петрозаводск в качестве губернатора Олонецкой губернии. В Петрозаводске Грибовский получил еще место и. о. казначея Приказа общественного призрения. Через год выяснилось, что мальчишка-чиновничек, проигравшись в карты, растратил казенные деньги. Державин, в это время уже покидавший место олонецкого губернатора, «спас» Грибовского и возместил из своих денег 1000 рублей, растраченных секретарем. Еще через несколько месяцев Грибовского уволили, и он отправился в Петербург. Репутация у него была плохая: не только история с растратой, но и «грубости» его в Петрозаводске вероятно стали известны.

Он попал в тяжелое положение. Денег у него не было, на службу устроиться он не мог. Он пытался получить место у А. Р. Воронцова, но сестра последнего, княгиня Дашкова, помешала этому—она ненавидела Грибовского. Впрочем о строптивости, заносчивости, неблагодарности, предательстве Грибовского говорят и другие современники именно в это еще время. Грибовский стал проситься на службу к Державину, тогда губернатору в Тамбове. Он писал Державину «униженные», бесконечно подобострастные письма: «не лишите меня чести и счастья принять от единых рук ваших все состояние и благополучие мое. Всякое место, где угодно будет вашему превосходительству меня определить, прийму я с несказанною радостью и благодарностью, ведая благодетельную и великую душу вашу»... и т. д. (письмо от 2 авг. 1786 г.).

Грибовскому было в это время 20 лет. Державин предпринял шаги, чтобы устроить Грибовского, но Дашкова запротестовала, и Державин отступился от своего протеже, несмотря на то, что тот напечатал в журнале статью «Благодарение г. Фелдингу за Томаса Ионеса», в которой поместил комплиментарный намек на Державина. Но Грибовский не пропал, а наоборот, всплыл на поверхность быстро и неожиданно. Он устроился в канцелярию к Потемкину, под начальство В. С. Попова, правителя канцелярии и правой руки всевластного фаворита.



НАКАЗАНИЕ КРЕСТЬЯНИНА БАТОГАМИ В ПРИСУТСТВИИ ПОМЕЩИКА И ЕГО СЕМЬИ

Зарисовка Х. Гейсслера времени его пребывания в России (1790—1798 гг.)

Раскрашенная гравюра из альбома „Strafen der Russen, dargestellt in Gemälden und Beschreibungen von J. Richter und C. G. H. Geissler“

Грибовский вместе с Поповым и Потемкиным едет на фронт турецкой войны; Грибовский сопровождает своих «хозяев» и в Петербург. Роли меняются. Прошло два года с тех пор, как Грибовский, «согбенный бедностью», тщетно заискивал у Державина, и теперь сам Державин, теснимый в Тамбове генерал-губернатором Гудовичем, угрожаемый судом, опалой, отрешением от должности, обращается за помощью не только к Потемкину и к Попову, но и к двадцатидвухлетнему Грибовскому, которому он пишет просительное письмо (20 окт. 1788 г.); Грибовский почти что покровительствует своему бывшему патрону.

При Потемкине Грибовский получил и чины—до подполковника,— и орден, и 4000 десятин земли.

В конце 1791 г. Потемкин умер. Грибовский добыл у Безбородко рекомендательное письмо к Платону Зубову, немедленно пролез в доверие к любовнику царицы и получил место при нем. Уже вскоре Грибовский стал «первым фаворитом первого фаворита» (по словам его бывшего сослуживца Н. Эмина). Он—один из главных дельцов у трона, он обладает властью, и у него принуждены заискивать заслуженные генералы. 11 августа 1795 г. Грибовский назначен секретарем императрицы. Ему еще нет 30 лет, но он достиг одного из высших мест в государстве. В 1796 г. он уже полковник, он получает много денег и имеет солидное поместье. Как и другие дельцы его круга, Грибовский был настоящим авантюристом, беспринципным и откровенным.

После смерти Екатерины карьера Грибовского кончилась вместе с карьерой Зубова, которого впрочем негодяй-секретарь пытался своевременно предать. Павел выслал Грибовского из Петербурга, потом, в 1798 г., посадил в крепость (сначала в Петропавловскую, а затем в Шлиссельбург). Александр I освободил его, но второй раз всплыть Грибовский уже не мог [9].

Стихотворение Державина о Грибовском относится повидимому к 1796 г., т. е. ко времени, когда он, доверенное лицо Зубова и секретарь Екатерины, был в зените своей силы (стихотворение помещено в 22 томе Державинских бумаг в Публичной Библиотеке в Ленинграде; в этом томе собраны были Державиным печатные и рукописные произведения в стихах и прозе, главным образом 1796—1798 гг. [10] Ко времени после 6 ноября 1796 г.—дата смерти Екатерины—оно относиться не может). Понятно, какими глазами должен был смотреть на Грибовского Державин, когда ему, заслуженному государственному деятелю, человеку уже немолодому, в чинах, приходилось, наряду с другими своими сотоварищами по службе, выстаивать в «уборной комнате» Грибовского, который по обычаю фаворитов того времени принимал просителей, искателей и клиентов за туалетом, в «пудреной рубашке», т. е. в пудермантеле—плаще для причесывания и напудривания головы. В стихе 17-м—т р у б а, вероятно, пожарная труба. Л ь в о в, упоминаемый в последнем стихе,—конечно Н. А. Львов, поэт, архитектор, художник, друг Державина, доверенное лицо при Безбородко, служивший при нем по почтовому ведомству. Нет надобности указывать, что во второй строке стихотворения имеется в виду то обстоятельство, что Грибовский был секретарем Зубова. Форма «в очью» встречается также у Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву», глава «Вышний Волочок»).

БЫЛЬ
В-ОЧЬЮ СОВЕРШАЕТСЯ

Какая-то презнатна тварь
Боярин, иль боярской секретарь,
Нет нужды до того,
А дело только лишь до спеси здесь его,
Сидел он в пудреной рубашке
И волосы чесал.
Полковники, как шашки,
И целый фрунт пред ним стоял
Служивых, офицеров,
Куриеров, кавалеров,
На шеях со крестами,
На персях со звездами,
Подмышкой с шляпами, со шпагой на бедре;
И все ему хребтами
Так гнулися, как спасу в серебре.
А он, подняв вверьх нос,
Как будто хобот слон, или труба насос,
Едва их взглядом озирая,
Иных встречая,
Других же провожая,
О нуждах их не вспоминал,
А только им главою лишь кивал.
Услышал я о сем болване тщетной славы;
— *О времена! О нравы!*—
Я с горестью душевною вскричал.
— На то ли носим мы монархов и вельможей дружбу,
Чтоб ставить ни во что нам службу
Достойных тех людей,
Которы ею лишь достигли до честей,
И коим должны мы всем нашим уваженьем
За раны их, и [11] за кровь, всем нашим снисхожденьем?
Неужели и днесь совершается [12] в-очью,
Что должно обожать надуту харю чью?
Что век сей, век тот идольский, бесовский
В котором чучел чли на место мы богов?
Но чтоб на быль сию не тратить много слов,
Желал бы я узнать: кто идол сей таков?—
Мне Львов ответствует: Грибовский.

III

Из всех фаворитов Екатерины, из всех дельцов второй половины ее царствования наибольшую ненависть вызывал Потемкин, завершитель системы полицейско-бюрократической власти, угнетатель помещичьего либерализма, самодур, некоронованный монарх страны, на которую тяжелым бременем ложились затраты на руководимую им политику захватов. Смерть Потемкина в 1791 г. вызвала несколько откликов. Тут и Державинский «Водопад», и ода И. И. Дмитриева на смерть кн. Потемкина, и прозаическое «Размышление» Фонвизина (напечатанное лишь

после смерти автора в 1805 г.), и другие произведения, «носившиеся в народе». Одно из стихотворений на смерть Потемкина было уже напечатано в «Русском Архиве» 1908 г. [13]. Здесь говорится между прочим, что он

Героем славился, Сармат был победитель,
Отечества же он был истинный губитель.
Несносен был он всем, зловредный человек,
Во сладострастиях провел почти весь век.
Вот в чем пред протчими себя он воспрославил!
Вот память по себе толь подлую оставил,
При жизни истинной хвалы он не слыхал,
По смерти же хулы от всех не избежал...

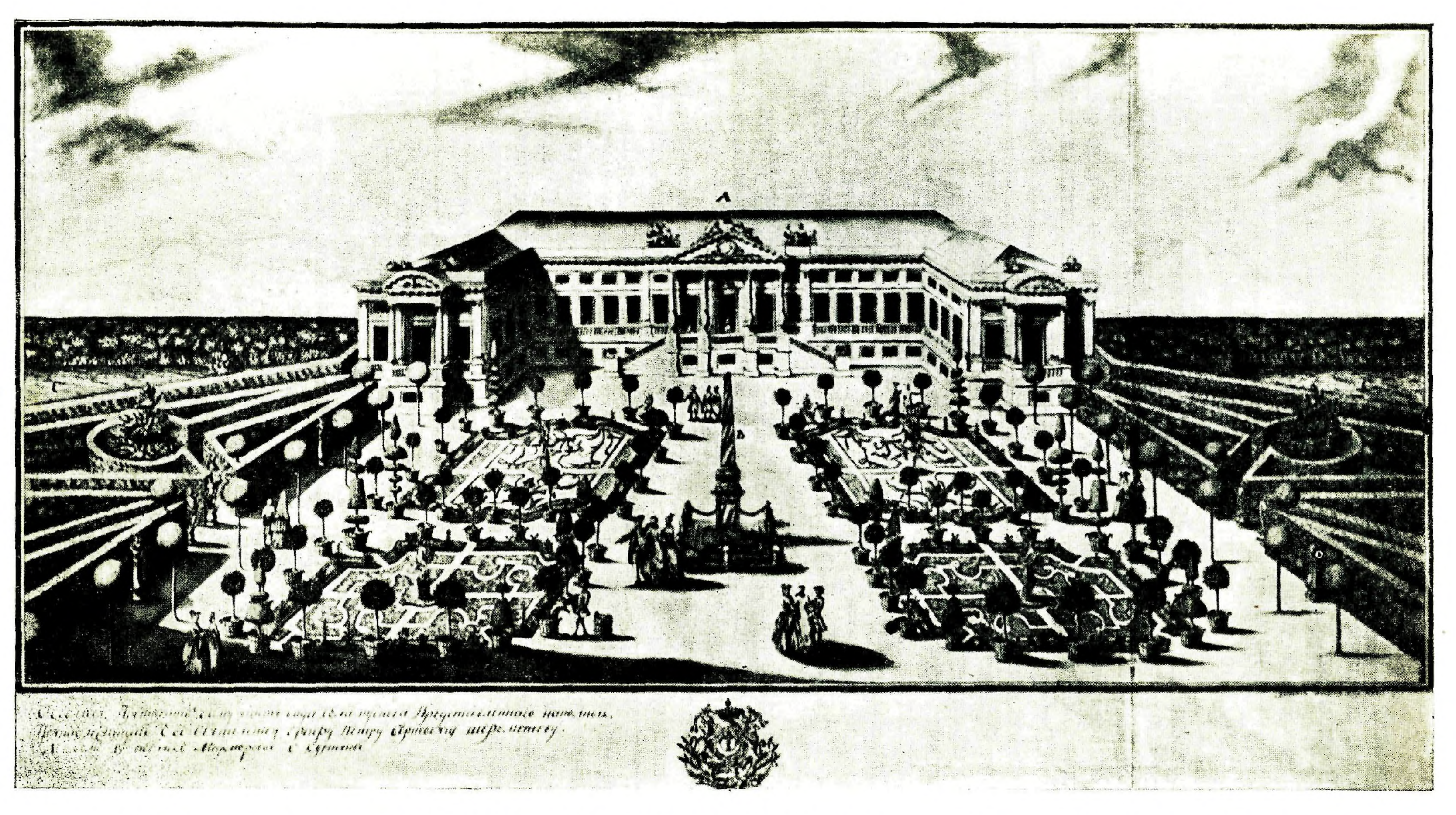
Другое стихотворение на тот же случай записал в свой рукописный сборник «Магазин достопамятных и любопытных бумаг и пиес, носившихся в народе» А. Т. Болотов [14]. Стихи эти, произведение неизвестного и видимо неопытного поэта, дают ряд черт облика «светлейшего князя», наиболее бросавшихся в глаза недоброжелателям-современникам. Потемкин не отличал государственную казну от своей собственной, в результате чего получались огромные дефициты в первой, так как он тратил невероятно много денег на себя, на свой «двор», на свои начинания. Как военачальник он был бесталанен, победы ему добывал Суворов и другие его подчиненные. Справедлив также упрек в том, что он «пол женский развращал». Фалеев и Попов—креатуры и помощники Потемкина.

М. Л. Фалеев (ум. в 1792)—темный делец при Потемкине, сначала купец, потом статский советник (бригадир) [15], богач и помещик; был известен своими спекулятивными и мошенническими операциями при Потемкинских учреждениях и армии.

В. С. Попов (ок. 1745—1829)—секретарь и помощник Потемкина, его «правая рука»; один из типичных дельцов Потемкинского окружения; попович по происхождению, он достиг высших чинов и должностей в государстве и огромного богатства. С 1786 г. он был статс-секретарем Екатерины. Смерть Потемкина не отразилась на его придворной карьере.

СТИХИ, НОСИВШИЕСЯ В НАРОДЕ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ПОТЕМКИНА

Век щастливо прожив, Потемкин князь скончался,
Роскошествуя жил и дельности чуждался,
Век умницею жил, но был ли он таков —
Судить лишь могут то Фалеев и Попов,
Другие ж от него так — да, да нет слыхали;
Иные только рост, походку его знали;
В нем чести, правоты не виделось следа,
Властолюбив и горд, надменен был всегда.
Незнающей был вождь. Непобедимо войско
Доставило ему название Геройско.
Везде он крал казну, себя обогащая,
Пол женской развращал, богатством обольщая.
Его уж нет! — Забудем — престанем говорить
Дадим наследникам простор имение делить.



„ОСОБЛИВОЙ ПРОШПЕКТ ДОМУ И ЧАСТИ САДА СЕЛА КУСКОВА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НАПОЛНОЧЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ПЕТРУ БОРИСОВИЧУ ШЕРЕМЕТЕВУ". „А. ДОМ. В. АБЕЛИСК МАРМОРОВОЙ. С. КУРТИНЫ"

Рисунок сепией из альбома крепостного архитектора А. Миронова (1783 г.)

Русский Музей, Ленинград

Повидимому к Потемкину относится двустишие, помещенное в одном рукописном сборнике конца XVIII в. непосредственно перед Державинским «Водопадом».

ЕПИТАФИЯ

Прохожий! помоли всевышнего творца,
Что сей не раззорил России до конца [16].

Во времена Екатерины выбор царицею (а иногда и для царицы) любовника был делом «государственной важности». Вокруг кандидатур в любовники шла борьба придворных партий, посланники иностранных дворов отмечали в своих реляциях перипетии этой борьбы и т. д. «Фавор» Потемкина был во многих отношениях поворотным пунктом в истории политики Екатерининского правительства. Этот поворот не добром вспоминали многие в тех дворянских кругах, которые мирились раньше с фавором Орлова и Васильчикова (сменившего Орлова в 1772 г. и уступившего свое место Потемкину в 1774 г.). Об этом именно и идет речь в приводимом ниже стихотворении. Оно построено на каламбурном использовании фамилии фаворитов. В первых двух стихах имеется в виду Г. Г. Орлов (орел), отстраненный от дел Потемкиным (в потемках). В ст. 3 (васильки)—А. С. Васильчиков (1740—1804). В ст. 4 «Заводу славна конь»—конечно П. В. Завадовский. В ст. 5 и 7 «Заря»—конечно С. Г. Зорич (1745—1799).

Когда кончился непосредственный «фавор» Потемкина, он уступил свое место П. В. Завадовскому. Однако вскоре Потемкину понадобился «свой» человек, чтобы заменить Завадовского, неугодного «светлейшему». Таким человеком оказался Зорич. Летом 1777 г. он стал официальным любовником Екатерины. Тогда Зорич попытался освободиться от зависимости от своего протектора Потемкина. Потемкин расправился с непокорным, и Зорич менее, чем через год после начала его «случая», в мае 1778 г., был удален от двора (он уехал за границу, а потом поселился в своем «замке» в Шклове). Именно о столкновении Зорича с Потемкиным и о победе последнего идет речь во второй половине нашего стихотворения, относящегося следовательно к 1778 г.

ЕПИГРАММА

В дни ясные Орел всем птицам был глава
В потемках же Орел как мокрая сова;
В потемках Васильки быть кажутся крапива,
Заводу славна конь, то кляча спотыклива.
Во время вечера Заря на Оризонте
Являет вид багрян, и отдается в Понте,
Там птички запоют, хваля [17] Зари восход;
Но только темнота покроет неба свод,
Заря утухнет вдруг, природа замолчит:
Устав так положон, покорствовать велит [18].

IV

С фантастической карьерой Григория Александровича Потемкина была связана и более скромная карьера его родственника Павла Сергеевича Потемкина (1743—1796).

В 1796 г., через четыре с половиной года после смерти «светлейшего», Павел Потемкин умер при несколько странных обстоятельствах. Дело в том, что еще за 10 лет до этого, когда Павел Потемкин был кавказским наместником, произошла нашумевшая в свое время трагическая



С. Г. ЗОРИЧ
Гравированный портрет работы А. Осипова
Государственный Эрмитаж, Ленинград

история Гилянского или Рештского хана Гедаэта, полунезависимого персидского владетеля. Гедаэт боролся с Ага-Магометом, объединившим под своей властью Персидские ханства; Ага-Магомет взял Энзели, где засел Гедаэт; предварительно Ага договорился с Тумановским, бывшим русским консулом в Энзели, что тот за 70 тысяч рублей поможет ему захватить Гедаэта, выдаст его. Гедаэт, спасаясь от Аги, послал на русский фрегат, стоявший на рейде, свои богатства, а потом и сам поехал в лодке к фрегату. Он уже и раньше заявлял о своем желании принять русское подданство, хотя всячески вредил русским интересам у себя в ханстве. Богатства, доставленные на русский фрегат из Энзели, были велики: здесь было 5 пудов 10 фунтов драгоценных камней и золота, 262½ пуда золота в слитках, 300 тысяч червонцев, несколько бриллиантовых перьев, 4 тысячи дорогих конских уборов, кинжалы, сабли, ковры и т. п., в общем по тогдашнему счету на 10 миллионов рублей. Тума-

новский, по уговору с действительным русским консулом Скиличи, не пустил Гедаэта на фрегат и выдал его «другому его непримиримому врагу, Ала-Верды, беку Талышинскому. Бек застрелил Гедаэта и, отрезав ему ухо, бросил труп в море. Семья убитого силой взобралась на фрегат, но, несмотря на ее мольбы о защите, беглецов выдали Ага-Магомету, который получил потом и все огромные богатства своего врага. Тумановскому за его подлый поступок не досталось от Ага-Магомета ничего, и он месяца через два умер. Скиличи был осужден на каторгу, но только спустя 10 лет» [19].

И вот через несколько лет после смерти Гедаэта в столичном обществе стали ходить слухи, что в убийстве его был сильно замешан родственник «светлейшего» Павел Потемкин и что он получил в «добычу» после убийства несметное богатство Гедаэта. Слухи соответствовали ненависти к Потемкиным в среде столичного дворянства; тень злобы, вызванной Григорием, падала и на Павла. В 1793 г. И. В. Гудович, сановник, враждебно настроенный по отношению к Потемкиным (Григорий Потемкин уже умер в это время), возбудил следствие по делу об убийстве Гедаэта и нашел себе союзников в лице Зубовых [20].

В 1794 г. Павел Потемкин участвовал еще в польской войне и получил за нее графский титул (1 янв. 1795 г.), но к концу 1795 г. стало ясно, что он будет притянут к делу.

Вообще говоря, Павел Потемкин не был чист. Креатура Григория Потемкина, он делал карьеру при нем не только потому, что умел сам «угодить милостивцу», но и потому, что не противился проявлениям любви «светлейшего» к его жене Прасковье Андреевне (ур. Закревской), женщине очень красивой.

Павел Потемкин был писателем, поэтом, драматургом. Он написал три драмы в стихах: «Россы в Архипелаге» (1772), «Торжество Дружбы» (1773) и «Зельмира и Смелон или взятие Измаила» (1795) [21], несколько больших и малых произведений в стихах, перевел «Магомета» Вольтера и несколько вещей Руссо. Видимо это был вполне образованный человек.

Когда дело дошло до обвинения Павла Потемкина в убийстве Гедаэта, в декабре 1795 г., он написал обширное стихотворение «Глас Невинности», в котором защищал себя от этого обвинения, апеллируя к своей долгой службе, призывая и живых (Румянцев, Суворов), и мертвых (Г. А. Потемкин) в свидетели безупречности своих гражданских добродетелей, наконец обращался к Екатерине с просьбой защитить его от клеветы.

«...Твой суд поставленный, что прав я, то откроет,
Но сердце от клевет терзается и ноет...
Не мщения за зло в невинности прошу,
Молю, чтоб публику известь из заблужденья,
От непорочности отторгнуть поношенья...»

«Глас Невинности» опубликован был в «Русском Архиве» в 1880 г. [22], потом перепечатан в «Русской Поэзии» С. А. Венгерова [23]. Он встречается в рукописной традиции во множестве списков; распространение его было велико, и сам Потемкин постарался обеспечить это распространение. Он послал списки «Гласа Невинности» целому ряду лиц в Москве, где он сам был в это время, в том числе М. М. Измайлову,

главнокомандующему Москвы. Измайлов препроводил полученные им при письме от П. Потемкина стихи в Петербург генерал-прокурору Самойлову, прибавляя: «Я слышу здесь, что он [т. е. Потемкин] намерен их послать в Петербург; я остерегаюся, чтобы не прежде меня дошли до государыни» (письмо от 13 дек. 1795 г.). Самойлов, получив от Измайлова «Глас Невинности», передал стихи Платону Зубову для императрицы (ответ Самойлова от 28 дек. 1795 г.) [24].

«Глас Невинности» вызвал отклики в «публике». Ненавидевшая самое имя Потемкина дворянская интеллигенция воспользовалась случаем выразить свою ненависть. Появились рукописные возражения на «Глас Невинности». Болотов сообщает: «говорили, что было их три: одно сочинено Державиным и умеренно, а оба другие ужасно едки и дерзки» [25]. Относительно Державина Болотов ошибался. Он не написал никакого ответа Потемкину. Повидимому ему было приписано чужое стихотворение, как это бывало и в других случаях (см. ниже). Между тем в январе 1796 г. П. Потемкин был отдан под суд, а 7 апреля он умер. Немедленно возникли слухи, что он покончил с собой, может быть даже по приказу Екатерины. Насколько основательны были эти слухи (приказ Екатерины конечно не более, чем сплетня), сказать трудно. Что же касается судебного дела о Потемкине, то оно было ведено, возможно, ради придворной интриги, с целью «погубить» соперника [26].

Один из ответов на «Глас Невинности» был опубликован в «Русском Архиве» вместе с стихотворением П. Потемкина; здесь анонимный поэт пишет между прочим:

Живых и мертвых вызываешь
В свидетели своим делам;
Но верь мне, худо успеваешь:
Дай лучше, дай увидеть нам,
Где, с кем, когда и как был в деле,
Как правил вверенной страной.
В войне лежал ты на постеле
И шел в чины своей женой.
Ведь ты не первый — не стыдился!
Поверь мне, в наши времена,
Для многих выслуга жена,
Особенно во время оно,
Когда Таврическая ночь
Брала к себе на страстно лоно
Сестру, племянницу [27] иль дочь.
Без дел в чинах, в крестах без веры,
Без чести — честь тому дана,
И сильныя руки примеры
Не дивны в наши времена.
А страстотерпица Прасковья [28]
Не из последних тож была,
И дай бог только ей здоровья,
Она в нем добрый клад нашла
Себе и миленькому мужу.
И так, благодаря красе,
Ее терпенью, что наружу

Выходит то, что знают все.
Да это делалось побочно
И к жалобе твоей нейдет,
Ты не в претензии: так точно,
Пускай кто хочет, так и врет.
А ты все граф и граф по моде;
Кто смеет спрашивать, за что?
Не ты в своем последний роде,
А именной [29] все скрасил то.
Все дело в том: тебя в убийстве
И грабеже преступным чтут.
Ты ищешь помощи в витийстве,
Чтоб отвратить народный суд
И хочешь, чтобы персианец,
Как русский с рук тебе сошел.
Блудлив как кот, труслив как заяц...
Стихи раскаянья соплел.
Так наши пишут, знай, вельможи:
Прежалко, дельно, мастерски.
Когда б народный глас был божий,
Давно б взять надо за виски
Тебя и всех тебе подобных,
Потребовать отчет в делах!
Пусть суд корыстолюбивых [30], злобных
Другим вельможам будет страх;
Пусть беззаслужные потомки
Лишатся предков похвалы.
Не засияют нам потемки [31]
Своим достоинством из мглы.
Тогда б вельможей мы имели,
Тюреней, Монтескье; но ах!
Умы подобные не смели
Возникнуть в наших временах... и т. д.

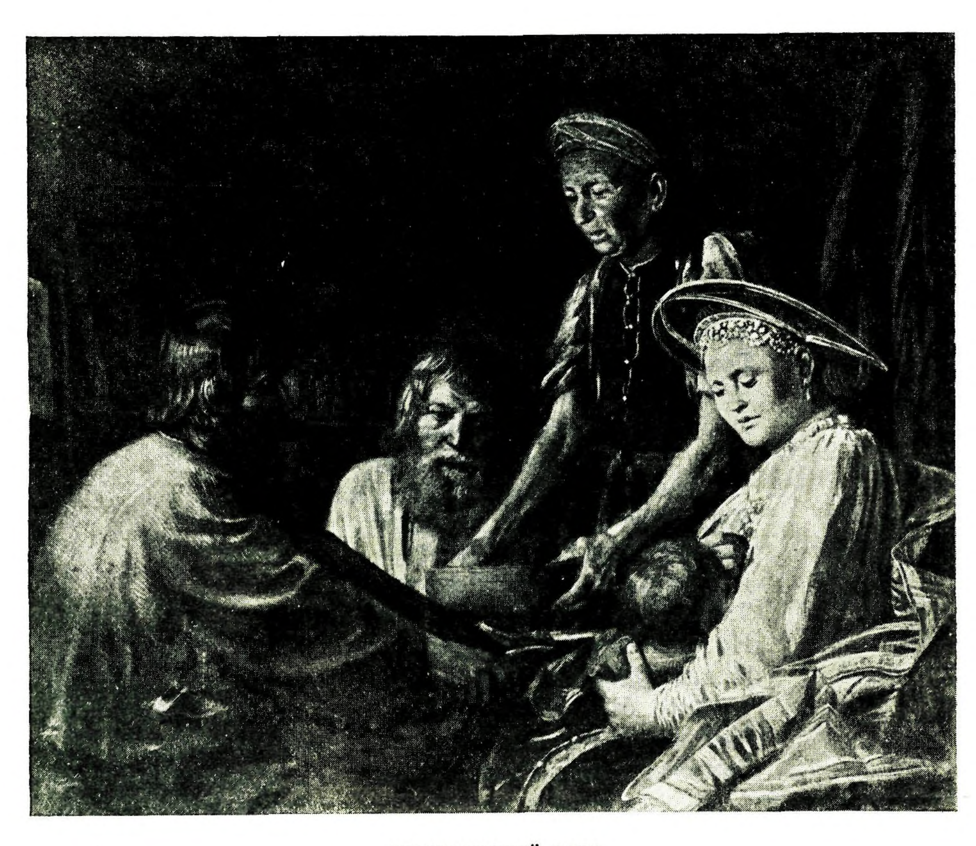
Это сильное стихотворение, написанное без сомнения не дилетантом-поэтом, отчетливо выражает недовольство дворянской интеллигенции режимом, связывавшимся с деятельностью князя Тавриды, ненависть к кучке временщиков.

Наоборот, ряд представителей растущей буржуазно-купеческой мысли, с неприязнью относившихся к наиболее независимым слоям помещичьего класса, в частности к помещичьей оппозиции, готов был блокироваться с властью Потемкиных и Зубовых. Оппозиционно-дворянское общественное мнение осудило Павла Потемкина. На его защиту стал поэт совершенно иного круга, Александр Иванович Клушин (1763—1804), поэт, прозаик, драматург, активнейший сотрудник Крыловского «Зрителя» и сотоварищ Крылова по изданию СПБ Меркурия». В то время, к которому относится вся история обвинений, суда и смерти П. Потемкина, Клушин жил у своего брата в Орле.

Список его «Ответа сочинителю Гласа Невинности» сохранился среди бумаг Державина (Публ. Библ. в Ленинграде, т. 22 — тот же, в котором и стихотворение Державина о Грибовском [32]). Вот он:

ОТВЕТ
К СОЧИНИТЕЛЮ «ГЛАСА НЕВИННОСТИ»

И так сужденье злых умов
Геройску душу поражает!
И так средь лавров и венцов
На лоне мира он стонает!
Герой! не узнаю тебя.
Кто истинно велик душою,
Хоть громы видит над главою,
Хотя близ бездны зрит себя,
Хоть молния вокруг сверкает,
Своей твердыни не теряет.
Известно, что такое свет:
Чем боле зрит он дарований,
Великость духа, пылкость знаний,
Тем боле против вопиет;
Как змий шипящий, ядовитый,
Извившись тайно меж цветов,
Льет яд на души знамениты
И умышляет адский ков;



КРЕСТЬЯНСКИЙ ОБЕД
Картина М. Шибанова (1774 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

Лиет и не щадит Сократа,
И сей светильник божества
Во славе, в блеске торжества
На жертву злобного сената
Безмолвно дух свой предает.
Но истинна блеснув зарницей
Гремела пред его убийцей *,
Что он невинно яд пиет.
Невинно — и душа святая,
Как тихий кроткий солнца луч,
Превыше сферы возлетая
Превыше громов, молний, туч,
Богов вкушает награжденье;—
Сократа нет—Сократу храм,
Как богу — жертвоприношенье,
Как добродетели — фимиам.
Народны плески, обожёнье—[33]
Награда пышна за труды:
Огромное — песчано зданье,
Иль волны — прибылюй воды.
Секунда — их сооружает,
Секунда в пепел превращает.
Как хочет будь велик Герой,
Фортуна с ним на час простилась, —
Его огромность развалилась —
И он народной стал игрой.
Таков был пышный Рим, Афины; —
Неблагодарный Карфаген
Не чтит того заслуг седины,
Кем был как громом огражден;
И Аннибал победоносный —
Се идет против Римских сил —
Едва не смертию поносной
Гоним, дух жизни испустил **.
Земля и кости вопияли
Противу сограждан его,
И во отмщенье за него
Изменники сердца терзали.
Когда как молнией он жег [36]
Победоносну Римску силу,
И Риму нес в руках могилу,
Тогда для Карфаген был — бог.
Но чуть меч грозный утомился;
И луч души его затмился.
Таков был, есть, и будет свет!
Как щедро лаврами венчает,
Так скоро их с главы срывает,

* Мелит — ложный доноситель на Сократа.— *Автор.*

** По раззорении Сципионом[34] Карфагены Аннибал скитался из убежища в убежище и наконец, умирая у Прузия, Коронского[35] царя, сказал: Неблагодарное отечество! Ты и костей моих у себя не увидишь.— *Автор.*



ДЕРЕВЕНСКИЙ ОБЕД
Картина маслом Я. Меттенлейтера (1786 г.)
Русский Музей, Ленинград

И прочной похвалы — в нем нет.
Как вихрь народна мысль мешает;
То ныне редким называет,
Что завтра гнусно для нее:
Подобно юному дитяти
Кричит и кстати и не кстати, —
И вот первейша цель ее.
  Блажен, кто в похвалах умерен,
Кто их умеет различить!
Кто в сердце и душе уверен,
Что стоит он хвалимым быть,
Кто слушая людские толки
Был сам так светел, как луна;
Насмешки презрит, речи колки,
Страмца, злословца, шалуна.
Что публика? — обширно тело;
Глупец и мудрый — равно член:
Безумной порицает смело,
Но скромной мудрой удален.
  Представишь темной лес дремучей,
Над коим пали небеса,
В котором все животны кучей
Кричат в различны голоса;
Кокуют глупы в нем какушки,
Вралихи крякают лягушки:
Но тихой милой соловей
Своей гармонией священной,

Иль песнь поет Творцу вселенной,
Иль стансы Душеньке своей,
Спокоен сердцем и душей
Во веки никого не тронет,
От счастия других не стонет;
Сей лес — обширный круг людей!
И так укоры, поношенья
И душ безумных клеветы
Не есть всеобще заключенье:
О чем же ропщешь, стонешь ты?
Нельзя быть перед светом правым!
Будь добр — порочный твой злодей:
Будь низким, злобным и лукавым —
Тогда восстанет — друг людей.
Позволь себе еще сказать:
Суд божий — суд Екатерины.
Страшись порок пред ним предстать.
Иль тот кто шел чрез стен стремнины [37],
Кто с пламенным мечем в руках
Сарматам, Порте всеял страх [38];
Кто в грозном образе Гирея [39]
Смирил крилатого злодея,
И в цепь кремнисту заключил *,
Возможноль чтобы [41] слезы лил?
Тот мил, кто в торжестве блистает:
Но тот есть истинный Герой,
Которой как звезда сверкает
И в самой темноте ночной.

Соч. Клушина живущего в городе Орле.

Это стихотворение, начало которого напоминает мотив из оды Горация (книга III, ода 3), написано в другом тоне, чем предыдущее. Поэтическая манера авторов обеих пьес разная. Клушин — усердный подражатель Державина; заметно у него и влияние сентиментализма. Замысел стихотворения — прославление идеального гражданина в духе индивидуалистической концепции стойкого борца за личное достоинство. Можно предположить, что Клушин не знал лично Потемкина и что выступление его имело только принципиальный характер.

В связи со смертью Павла Потемкина стоят также два двустишия, помещенные в одном рукописном томе вслед за «Гласом Невинности» (они не могут относиться к Григорию Потемкину, так как он умер князем, а во втором из них говорится о графе Потемкине; первое же является как бы вариантом второго):

1

О Волков, Волков! ты бессмертный человек;
Тобой на силу лишь Потемкин кончил век.

2

Сносил Потемкин все, сносил как человек;
Но Волков лишь завыл, граф тотчас кончил век [42].

*** Разумеются усмиренные Горцы по горам [40].—*Автор.***

Намек, заключенный в этих двустишиях, не вполне ясен. Вероятнее всего, здесь имеется в виду начало судебного дела о П. Потемкине. Волков — вероятно генерал Вас. Бор. Волков (1743 — 1813), генерал-аудитор военной коллегии, т. е. главный начальник над военными судами.

V

Преемником Потемкина в роли бесконтрольного властителя государственной машины, временщика и главного Екатерининского опричника был Платон Зубов. На него с тем большим основанием была перенесена ненависть всех недовольных, что он не обладал ни культурой, ни размахом, ни уменьем импонировать, свойственными Потемкину. Платон Зубов потянул за собой к власти, богатствам, чинам свою родню.

Пока была жива Екатерина, все принуждены были терпеть молча сатрапские замашки новоиспеченных князя и графов. При Павле Зубовы потеряли значение. Но после убийства Павла (11 марта 1801 г.), в котором они принимали непосредственное участие (именно Николай Зубов повидимому нанес первый удар Павлу), они подняли голову. Однако им не удалось вновь оказаться у власти.

Вскоре после вступления на престол Александра I произошел следующий случай, о котором читаем в письме И. В. Страхова к А. Р. Воронцову в ноябре (?) 1801 г.[43]:

«Пишут ко мне из Петербурга от 31 октября следующими словами: «случился чудный анекдот. Граф Н. А. Зубов, возвращаясь из Москвы, за 70 верст отсюда приехал на ночлег в такую деревню и в такой еще крестьянский дом, где прежде его остановились ехавшие из Москвы Сенатские 1-го департамента канцелярские служители. Сии последние крепким покоились сном, когда граф туда приехал и стал проситься на ночлег; медление, с каким отворили ему ворота, произвело в нем неудовольствие и для того приказал он людям своим выбить окна, а приказные, вообразя в просонках, что происходило в доме их нападение не от добрых людей, начали ругаться. А напоследок, чтоб короче вам сказать, граф сильно вошел в избу и заставил людей своих сих путешественников сечь в езжалые кнутья, так больно отпотчивал, что на некоторых из них и по сие время имеются синины, и как все те приказные состоят в обер-офицерских чинах и амбиция не допустила их остаться без сатисфакции, то вчера они принесли о том жалобу Александру Андреевичу (т. е. Беклешову, генерал-прокурору.—*Гр. Г.*), который посылал от себя к Зубову обер-прокурора для отобрания сведения о сем приключении, и сказывают, что намерен доложить государю, а сегодня по Москве носится слух, что будто граф Зубов и отставлен».

История эта произошла повидимому во время возвращения двора и правительства из Москвы после коронации Александра I. Дикое самодурство брата бывшего фаворита вызвало отклик в подпольной литературе. Вот стишки, написанные по данному поводу:

Как Зубов Николай с Москвы в Питер[44] мчался,
То слух его буянства[45] сюда тотчас добрался,
Что ночью он в яму[46] сенатским сделал плач!
Невинных пересек нагайкой как палач!
Поступок таковой буяна кавалера
Достоин ли хвалы стихоткача Гомера?

Никак! — хотя и князь! [47]
Останется всегда сиятельная грязь;
Хотяб имел притом название Нерона. —
Великий чин в худых делах не оборона.

Кто-то из Зубовского окружения ответил на это стихами же:

ОТВЕТ

Пусть Зубовым в пути писак почтенных свита
Немножко как-нибудь нагайкою побита,
Пусть Зубов был палач, обидчик и буян,
Понеже в их глазах он показался пьян;
Но Зубова ругать толь подлыми стихами,
Рифмач знать не дошел, что Зубов-то с зубами.
О! как же жаль тебя, мой бедненький рифмач!
Как перцу зададут, тогда, мой друг, не плачь,
Пороки ты ругай, хоть прозой, хоть стихами,
Но явно не шути большими именами,
Буяном может ли какой назваться князь!
Равно как золото во всем не будет грязь,
Хотя б ты дар в стихах имел и Ювенала,
Но ревность здесь твоя, брат, очень неудала,
Сатиры сочинять большого нет греха,
Но на лицо писать, так бойся треуха.
И так, любезный мой, отсель поберегися,
И правил таковых разумно придержися.

На «Ответ» последовал новый ответ; в нем опять спор от Николая Зубова, графа, сбивается на «главного» Зубова — князя Платона.

НАДПИСЬ

Знать доброй человек, что так порок ругает!
Но жаль, что он свое тут имя сокрывает!
Учился [48] таковыми спасительными стезями,
Не поленился бы притти и Зубов сам, —
Чтоб делать научил ты золото из грязи,
И из свиньи за труд ты превратился в князи,
Скажи, любезный мой, хоть как тебя зовут.
Ты скромен? — прячешься; — поверь, мой друг — найдут [49].

VI

В «верхних» слоях общества и в частности дворянства недовольство режимом искало выражения в нападках на фаворитов, на главарей правительства, на «сильных» людей. Те, кто не имел дела с правительством лично, испытывали на себе тяжесть полицейско-бюрократического режима иначе, в лице низовых чиновников, в маленьком масштабе повторявших грабеж, притеснения, самоуправства, осуществлявшиеся «наверху» Потемкиными и Зубовыми.

В рукописных сборниках сохранилось много стихотворений, заключающих жалобы на гнет чиновников, на взятки, на неправосудие суда и т. д. Мы приведем здесь только два стихотворения для примера. Следует оговорить, что точно датировать их трудно. Возможно, что они написаны и немного позднее конца XVIII в. — в первые годы XIX в. Первое из них направлено против низовой «гражданской» администрации.



„ЛЬВОВНА, ДАЙ ОБРОК“

Сатирическая картина XVIII века работы неизвестного художника

Русский Музей, Ленинград

САТИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ НА ИСПРАВНИКОВ НА ГОЛОС «ВДРУГ С ПОЛНОЧИ» И ПР.

Вдруг под вечер сани зашумели,
Колокольчики на дугах [за]звенели;
Едут, едут свищут,
Десятского ищут, —
Где тут десятской квартиру нам отвел?

Знать что в деревню приехал исправник
Мирские нужды и свои исправить;
Понятые свищут,
Сотского ищут, —
Где живет сотской и выборной?

Не успел сотской с выборным одеться,
А исправник идет в избу греться,
Он так осердился,
Точно как взбесился,
Бряк его в рожу: отворяй ворота!

Выборной с сотским смело ободрились,
Вынувши деньги, низко поклонились;
Красную бумажку
Положили в кармашку;
Дайте и писарю что-нибудь.

Вошед в избу, сказал это слово:
Эй, хозяйка, все ль у тебя готово?
Дело все на грядку
Яичницу в смятку,
Дайте подводы—нам ехать пора [50].

Второе стихотворение «Секретарь» имеет в виду определенное лицо — военного чиновника, управляющего канцелярией гвардейского полка. Вверху списка его, которым мы пользовались [51] (справа), сделана карандашом помета «На Ляпунова». Вероятно здесь имеется в виду Сем. Ефим. Ляпунов, штабс-капитан л.-гв. артиллерийского батальона [52]; если это так и если помета на списке верна,—это определяет и ту воинскую часть, о которой идет речь в стихотворении.

Если приведенная только что сатирическая песня возникла не в дворянской среде, то стихотворение «Секретарь» носит следы взглядов дворянина, держащегося за свои привилегии, в частности настаивающего на монопольном праве дворянства на офицерские чины (нарушавшемся Потемкиным для его креатур и определенно сформулированным Павлом I в 1798 г. [53]). Видимо, это—стихи, возникшие в среде мелкого офицерства, маломощных дворян, не имеющих «связей» в высших сферах и целиком отданных во власть военного бюрократа, «владеющего умом начальников». Хорей первых стихов пьесы легко сбивается на силлабический стих или даже просто на рифмованную прозу (типа раешника); автор очевидно не обладал литературным образованием.

В стихотворении «Секретарь» изображены не только самоуправства и наживные операции полкового бюрократа-капитана, но и грабительство полковников (в конце). О нравах и хозяйственном быте русской

армии конца XVIII в. и в частности о роли в ней полковых командиров говорится в статье «Солдатские стихи XVIII века» в этом же томе «Литературного Наследства». Эта статья может служить комментарием и к данному стихотворению.

СЕКРЕТАРЬ

Было некогда в полку
У Введенья в уголку
Иль в Семеновской то части,
Но не сильной только власти —
Возвеличен капитан
Существенной болван.
Умом начальников владея,
Представлял Назарейского Иудея
И бывши в роде сем велик
Казал полку грозный лик;
Для богатых имел ласку,
А для бедного хитру маску;
Ни о чем не воображая
И карманы нагружая,
Тем только благовторил,
Кто ево щедро дарил.
Он строго ценсурил послужные списки,
Кои к производству были близки;
Год убавить, пять прибавить,
Переправить, поскоблить,
Кому нужно угодить —
Рук творенья его дело;
Он на все пускался смело!
Чьи рубли к нему попались,
Те старшими считались,
И отверсты тем пути
В отставку иль в армию итти.
Хоть сельской будь Иван,
А за деньги — капитан;
Не имея в деньгах спора,
Получает чин Майора;
Не нужна о предках справка,
Буде сверьх торгу прибавка;
Купец или Мещанин, —
А за деньги дворянин
И может слыть природной,
Екипаж иметь подобной;
Не мода вить на свете
Блестит сидя в карете,
А денежки златые!
О милые, драгие!
О бедной дворянин
Всегда секретарю не мил!
С доказательством дворянства
Оставался для нарядства,

Усердно службу продолжая
И надеждою себя питая,
Но кляня тот век и время,
В которо родилось мздоимства семя,
А длинные начальников ушки
Наполнили секретарские мешки;
Ныне всех он презирает
И так себе мечтает:
Теперь брошу молоток
И аукционной чинам торжок;
Я умножил так чинов,
Как в рынке сапогов,
А достану себе конной полк
И буду меж овцами волк;
Будут главным меня чтить
И не посмеют мне претить;
Из солдатской аммуниции
Уделю себе частицы;
Из муки и провианту
Также вычту по таланту,
А лошади и фураж
Умножат мой багаж;
Економия, запас
Весь будет у нас.
По полковничей я мочи
Закрою офицерам очи,
Будут немы все без глаз
В Конном корпусе у нас.
О начальники начальств!
Буде чувства есть у вас,
То проснитесь хоть на час
И посудите бедных нас;
Нашей участью владеет
Тигр и василиск
В пиршествах ваших не слышан
Утесняемых крик, визг;
Дворянин к двору привержен,
А служить верностью за честь,
Службу окупать подвержен
Буде денежки в кармане есть.

VII

Государственной организацией, включившейся в общую систему политического аппарата власти, была и церковь. Она вызывала поэтому нарекания недовольных в меру их «вольномыслия». Идеи западноевропейских, в частности французских, философов и публицистов «просветительного» направления имели во второй половине XVIII в. широкое хождение не только в дворянских кругах. Деистическое мировоззрение находило многочисленных адептов, и если атеизм не проникал глубоко даже в среду интеллигенции, по преимуществу дворянской, то оппозиционным элементом ее было свойственно недоброжелательное отношение



НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ УЛИЦЕ (НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ У СЕМЕНОВСКОГО МОСТА)
Акварель Иосифа Hearn'a (1790 г.)
Русский Музей, Ленинград

к официальной церковности и ее представителям. Вопрос о монашестве и о земном благополучии монахов стоял особенно остро в XVIII в. Большое значение в этом отношении имела секуляризация монастырских поместий, произведенная Екатериной. Монашество как оплот фанатизма, как изуверское насилие над «естественным законом» и в то же время как прикрытие вовсе не идеальных стремлений монахов-корыстолюбцев подвергалось нападкам, правда прикровенным, и в печатной литературе. Против монашеских обетов как института выступил еще в 1758 г. Херасков в своей трагедии «Венецианская Монахиня»; он же развернул ту же тему в нравоучительном романе «Нума или процветающий Рим» (1768). В первом случае цензурное положение спасалось тем, что речь в пьесе шла о католическом монашестве, а во втором — о весталках, под которыми разумелись русские монахини. Все же Херасков предпочел издать книгу анонимно (и прикрыть ее сверх того добавлением — похвалами Екатерине II).

Общей постановкой вопроса о монашестве заканчивается и приводимая ниже сатира на высшее духовенство. Заглавие ее и имена собеседников (сатира построена диалогически, кроме заключения) указывают, что в ней дан якобы разговор двух женщин, и притом не монахинь, — знаменитой Марфы, посадницы новгородской, и некоей мещанки Ириньи. Однако эти имена даны лишь для отвода глаз; очевидно страх полицейского вмешательства распространялся и на рукописную литературу. Впрочем «цензурные» имена и заглавие не могли бы никого обмануть: в стихотворении дан диалог двух епископов; они рукополагают на священство (стих 69—70), они называют себя «владыками» (ст. 74), они прямо говорят о себе, что они «епископы без жен» (ст. 81; епископ по правилу должен быть монахом). Изображенье епископского быта, данное в сатире,—весьма неуважительное. В заключении же поэт предлагает вообще забрать всех монахов в солдаты. Вот текст сатиры:

Старинная пословица, кто о чем думает, тому то и грезится, в доказательство чего представляется слышанный некоторым приходским священником во сновидении разговор Марфы, посадницы новгородской, с Ириньею, псковскою мещанкою, который происходил следующим образом.

Марфа

Скажи, Иринья, мне судьбы небесной волю
Какую нам дала она на свете долю?
Ты видишь, нам дана в делах духовных власть
Тож неотказана во всех телесных сласть,
Хотя имеем мы и черную одежду;
Но напротив во всех хотениях надежду.
Мы лутчее все пьем, приятное едим
Покоимся и спим, притом и в рай летим,
Душами грешными по воле управляем
И вяжем оные, или же разрешаем.
Ты видя власть сию конечно не молчи,
Что нам одним даны от райских врат ключи;
Греми учением, чтоб к нам все прибегали
И помочи от нас к спасению искали.

Иринья

О Марфа, Марфа, ты достойная святыни!
Какие в старину живали лишь в пустыни,
От мира отреклись, и славились постом,
Питалися травой, водой, а не вином,
Имели худость риз, другие ж без одежды
И достигали тем спасения надежды.
Тож страсти все они старались утолить,
Чтоб райской жизни им всегда достойным быть.
Пустынной жизни план уж ныне пременился.
Наместо же его, другой совсем явился.
Не должно ль нам теперь один с другим сравнять
И с доказательством народу дать понять?
Теперь я вашего о том прошу совету,
Где взять мне доводы, чтоб доказать то свету?

Марфа

То доказательство весьма найти легко,
И доводы о том искать недалеко:
Старинный (sic!) народ не знал совсем латыни.
То удалялся он в дремучие пустыни,
Чтоб простоту свою с незнанием сокрыть
И строгой жизни род собою всем открыть,
Не зная доводов, имели больше веры.
Не все же жили так, тож были лицемеры;
Но ныне мы уже, латынью просветясь
И в теологию до дна ее пустясь,
Мы можем доказать и то, что непонятно,
И невозможное мы сделаем всем внятно
Не чудом делаем теперь на свете мы?
Что силогизмами всех спутали умы.

Иринья

Я мыслей ваших в том, конечно и держуся
И в жизни с нужными предметами дружуся;
Препятствия мне нет, то все употреблять,
Что посылает нам небесна благодать,
Хотя предместники иначе поступали
И похвалу себе найти в том уповали;
Но мы такую жизнь отвержем точно тем,
И все то к древности невежества причтем;
Когда же в нас теперь вкоренены науки
И мы избавились непросвещенной скуки,
То можем ныне жить, как светски господа
По щастью к нам дошла такая ж череда;
Мы ездим шестерней, в том наша и святыня;
К чему ж для нас нужна лесистая пустыня?

Марфа

Ты правду всю, мой свет Иринья, говоришь
И ревностью своей всех наших прав горишь,
Что нашей властию повсюду всех встречаем,
Посты и праздники по воле назначаем
Не есть ли подлинно безмерная нам честь,
Что мы определим когда и что поесть?
Мы браки всех людей претим и попущаем,
Ослушников же нам мы адом устрашаем,
За погребение по сотнице берем,



НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ В ПЕТЕРБУРГЕ
Картина маслом Б. Патерсена (1798 г.)
Русский Музей, Ленинград

Хотя и сами мы, как протчие, умрем.
Тож за поминки нам великие доходы,
Каких на свете дать не могут все приходы,
Нам стоит на кого лишь руку наложить,
Тот будет хоть простяк, попом уже служить.
Такое ремесло казну нам умножает,
А чернь за ето нас почти уж обожает,
Все ищут с жадностью креста от наших рук,
Повсюду о святых владыках идет звук,
Помоями от рук лечат глаза и лица;
На что же нам теперь небесная столица?
Со удовольствием мы на земли живем,
И заживо уже святыми все слывем.

Иринья

Я верю, точно все, и чту то чудесами,
Пускай останется такая власть меж нами,
Хоть мы в противность книг епископы без жен,
Но и без них наш век спокоен и блажен.
Когда ж потребует натура непременно,
Мы можем то сыскать, притом весьма смиренно,
Нельзя чрез черный цвет природы пременить,
На что же пустотой себя и бременить?
Мы созданы совсем как прочи человеки;
Натура действует с начала и вовеки;
Мы следуя сему порядок тот ведем,
Что находясь с людьми, подобно им живем.
Пускай мы кажемся и горды всем и дики,
Но должно знать, что мы святые уж владыки.

Марфа

Хотя мы на святых нимало не походим,
Что пышно ездим мы, а не пешком уж бродим
И вместо ветхих риз нас греют уж куницы,
На место же пещер прекрасные светлицы,
Келейников толпа, и шайка поваров
И каждый завсегда к услугам нам готов,
Но святость древняя сего не разумела,
И пищу чтоб достать, трудилась и потела.
У старых постников обед был очень тощ,
А мы едим всегда прекрасный жирный борщ,
Не воду, но вино мы пьем, притом шампанско
И следовательно ведем житье боярско,
Притом же почести нам светские даны,
То не страшимся мы нимало сатаны,
Которой в древности, хоть делал беспокойство,
Но ныне строгое во граде сем устройство
Препятствует до нас приближиться духам,
И так осталося, как хочется жить нам,
Мы щастие свое навеки прославляем,
Народ же парой рук всегда благословляем.

Духовной человек от сна лишь только встал
И слышанное им, сколь помнит, записал;
Теперь кто хочет знать, написанное чтите,
И черных надобность попов вы разберите,
В шесть дней бог сотворил весь видимый сей свет
Между же твари сей, ни одного монаха нет,
Откуда же чернцы на свете сем взялися
И в тягость обществу повсюду развелися?
В них нужды не было, и ныне таюке нет,
О том из опытов довольно знает свет,
Нужнее обществу военные в них люди,
А не ленивые монашеские жлуди;
Но чтобы не были нам страшны супостаты,
Не лутчель поместить монахов всех в солдаты?
Хоть мира отреклись, но к обществу любовь
Должна в них возбудить подобная нам кровь;
Мирская суета пускай им неприятна;
Но к обществу любовь всем будет очень внятна;
Тогда-то подлинно уверится весь мир,
Что чин монашеской есть не пустой кумир [54].

VIII

Дворянская оппозиция правящей верхушке, состоявшей из придворных, выскочек, бюрократов и богачей, не была конечно ни в какой мере революционным движением. Здесь боролись группы внутри одного класса. Вопрос шел в сущности о методе дележа добычи; происхождение самой добычи было аналогично в программе и тех и других—эксплоатация крестьянина. Впрочем формы эксплоатации и вообще формы зависимости крестьянина от помещика понимались обеими группами разно.

Революционные позиции могли занимать в то время только те группы и те люди, для которых проблема политики заключалась в устранении крепостничества. Таково, с одной стороны, было стихийное мироощущение самого крестьянства, давшее Пугачевщину, таковы же, с другой стороны, были идеи небольшой группы мыслителей, ориентировавшихся на идеологию радикальной буржуазии европейского Запада, идеи, наивысшее выражение получившие в творчестве Радищева.

С именем Радищева должно быть так или иначе связано произведение, во многих отношениях замечательное, которым мы закончим первый отдел настоящей публикации. Оно заслуживало бы подробного исследования и разбора; условия места и общий план публикации принуждают нас ограничиться лишь несколькими общими замечаниями.

Речь идет о стихотворении «Древность». Это — довольно пространная ода (170 стихов), которую теоретики XVIII в. отнесли бы к жанру философических од типа знаменитой «Ode à la Fortune» Ж.-Б. Руссо; стихотворения этого жанра нередко бывали посвящаемы темам политического, общественного, публицистического характера. К этому же жанру относится и ода «Вольность» Радищева.

Ода «Древность» извлечена нами из рукописного сборника, хранящегося в Публичной Библиотеке в Ленинграде, составление которого относится к 1797—1801 гг. [55]. Документы и художественные произведения, собранные в нем, расположены в общем довольно последовательно в по-

рядке хронологии этих годов. Повидимому сборник составлялся постепенно, путем вписывания в него произведений, появлявшихся в рукописной традиции в это время. Сборник представляет собой второй том целой серии рукописных книг из четырех томов. Все томы составлены таким же образом; I том охватывает произведения времени царствования Екатерины, III и IV томы — произведения первых лет царствования Александра I. «Древность» помещена в сборнике (во II томе) между произведениями, относящимися к 1798 г. Мы можем следовательно предположить, что это стихотворение стало известно к 1798 г.; написано оно, видимо, около этого же времени, скорее всего около 1796—1797 гг., не ранее 1793 г., так как в нем говорится о «падшей Польше», т. е. о последнем «разделе» ее в 1794—1795 гг. или во всяком случае о втором разделе в 1793 г. Именно этот мотив оды заставляет относить ее ко времени, непосредственно примыкающему к эпохе раздела Польши. В сборнике ода «Древность» приписана Державину: в конце ее другой рукой помечено «Соч. Державина», конечно без всяких оснований. Ни стиль, ни идеи оды совершенно не вяжутся с обликом Державина. Достаточно указать на полонофильские мотивы оды «Древность», немыслимые у автора оды на взятие Варшавы. Кроме того в оде «Древность» с похвалой говорится о самом Державине (строфа 7), при чем он поставлен рядом с идеологами революционной буржуазии — Франклином и Рейналем. Об авторстве Державина в отношении данного стихотворения не может быть и речи. Приписание же его Державину не может удивить уже потому, что вообще в это время стихотворения, имевшие окраску общественной тематики и публицистики, охотно приписывались в подпольной традиции Державину, без сомнения самому знаменитому тогда и самому популярному поэту, в самом деле выступавшему с филиппиками против сильных мира и в «Вельможе», и в других стихотворениях. Именно эти его публицистические мотивы, его поза независимого певца, судьи общественных деятелей, говорящего царям и их приспешникам правду, дала возможность Державину приобрести в кругах оппозиционного дворянства репутацию смелого обличителя правительствующих пороков. Однако другие современники, и тоже не без основания, упрекали Державина в лести «случайным» людям.

Основной комплекс идей, на которых построена ода «Древность», — это соединение историзма с рационалистически-отвлеченной оценкой исторических явлений. Автор ее ищет ответа на социальные вопросы в истории, но критерий его — «разум просвещенный». Автор стоит на мировоззрительных позициях французской буржуазно-радикальной мысли к моменту революции. Но он отличается например от Кондорсе пессимистической нотой, явственно звучащей во всем стихотворении. Это пессимизм разочарования в революции, надломленности надежд, пессимизм грядущего романтизма.

Автор «Древности» решительно восстает против знати; он прославляет свободу и ее провозвестников. Он смело высказывает осуждение разорителям и «покорителям» Польши. Стихотворение имеет характер сильного выступления против официальных взглядов и официального пути страны и культуры. Это — глубокое философское размышление, ставящее самые общие проблемы социальной жизни, гражданской морали и т. п.

Стиль, художественная манера стихотворения необычайно характерны, своеобразны. Это — не стиль любого среднего поэта эпохи; это — стиль,



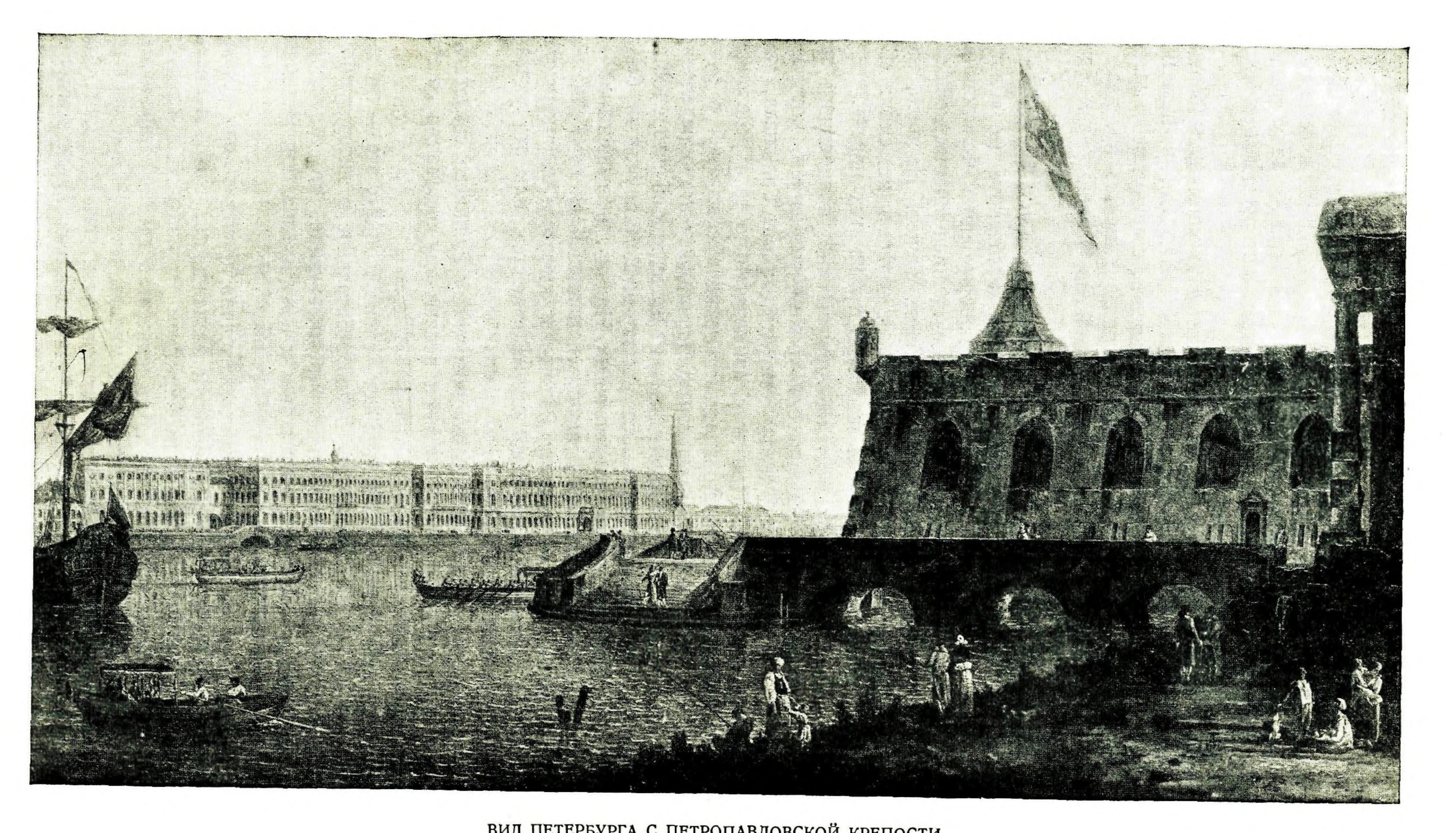
ВИД ДВОРЦОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ
Картина маслом Ф. Алексеева (1790 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

отмеченный яркой печатью индивидуального мастерства определенного поэта. В общем стиль оды «Древность» можно характеризовать как преромантический. Самая манера трактовать космические темы, самые способы изображения «полета времен» напоминают искусство Клопштока. Рядом с именем немецкого поэта следует поставить имена Юнга и Оссиана, влияние которых (или вернее влияние традиций которых) также заметно в оде.

Крайняя запутанность синтаксиса, вообще тяжеловесность конструкции, обилие научных элементов, терминов в языке, необычайное богатство составных частей словаря (иностранные научные термины, местные слова, славянизмы, индивидуальные неологизмы), вообще на редкость необычного, характерны для слога автора оды «Древность». Самый размер ее (шестистопный хорей) необычен для оды конца XVIII в.

Кто автор оды «Древность»? Без сомнения это незаурядный поэт, мастер, идущий самостоятельным путем в искусстве. Позволяем себе высказать предположение, что ода вышла из «мастерской» Радищева, т. е. автором ее является или сам Радищев, или кто-нибудь из его ближайших учеников (последнее предположение делается главным образом ради осторожности). К сожалению и это существенное положение мы не можем по условиям места раскрыть в настоящей публикации с достаточной полнотой. Укажем лишь на то, что все указанные выше черты идейного состава и стиля оды «Древность» в высшей степени характерны именно для Радищевского творчества и не характерны более ни для одного из известных нам поэтов конца XVIII в. Именно Радищев, раскрывая в своих произведениях (и в частности стихотворениях — см. ода «Вольность», «XVIII столетие» и др.) мировоззрение революционной буржуазии Запада, связывал его и с глубоким историческим взглядом на вещи (при рационалистическом методе мысли), и с космогоническими метафизическими концепциями (см. «Творение мира»). Именно Радищеву была свойственна та независимость политической мысли, которая видна в оде «Древность», и именно он подошел к рубежу двух веков с пессимистическим выводом. Именно Радищев, может быть единственный поэт конца XVIII в. (даже если помнить о Карамзине), в такой мере органически воспринял поэтическую культуру Клопштока и поэтов его школы. Влияние Оссиана также сильно в его поэтическом творчестве («Песни древние» и др.). Уже позднее развивается дарование Востокова, также связанного с этими традициями (и являющегося отчасти учеником самого Радищева). В то же время из всех поэтов, вплоть до пушкинской эпохи, кроме Радищева только лишь Востоков писал стихи слогом, сколько-нибудь напоминающим характерный стиль оды «Древность». Однако Востоков не является повидимому автором этой оды; в его рукописях она не сохранилась, да и самостоятельное творчество его, как было сказано только что, относится ко времени несколько позднейшему; первые его произведения относятся лишь к 1798 г., характер же законченного мастерства его творчество приобретает лишь в последующие годы [56].

Между тем стилистический рисунок оды «Древность», ее лексика, ее синтаксис, весь характер ее поэтического языка явственно напоминают манеру Радищева-поэта. Даже своеобразие размера стиха оды может быть сопоставлено с фактами теоретических и практических метрических исканий Радищева, в частности с его тенденцией бороться с за-



ВИД ПЕТЕРБУРГА С ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Картина маслом Ф. Алексеева (1790-е гг.)
Русский Музей, Ленинград

сильем ямба в поэзии (ср. например главу «Тверь» в «Путешествии из Петербурга в Москву»).

То же следует сказать о тех политических радикальных взглядах и о вольнодумном отношении к «польскому вопросу», которые выражены в оде «Древность». Радищев — наиболее вероятный, даже единственный повидимому поэт эпохи, с творчеством которого мы можем сблизить их.

Характерны и некоторые детали. В оде (строфа 7) упомянуты борцы за свободу, люди, перед которыми склоняется поэт. Это, во-первых, Франклин, один из вождей освобожденной Америки, свергнувшей власть Англии, вызывавший внимание и восторг Радищева; именно прославление американской революции послужило одной из основных тем оды «Вольность».

В оде «Древность» сказано: «Франклин, переломивший скиптр Британский». В «Путешествии из Петербурга в Москву» (в «Слове о Ломоносове») говорится о надписи под изображением Франклина, поставленного Радищевым выше Ломоносова, о надписи «наилестнейшей, которую человек низ изображения своего зреть может. Надпись, начертанная не ласкательством, но истинною дерзающею на силу: «Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из рук царей».

Во-вторых, это — Рейналь, писатель, существенно повлиявший на Радищева, к которому он относился с глубоким уважением, которого упоминал и в «Путешествии». Между тем кто, кроме Радищева, так увлекался Рейналем в России? При этом примечательно то определение, которое дано Рейналю в оде «Древность»: «Рейналь с хартией в руке гражданской как оракул вольныя страны». Повидимому это определение может быть объяснено лишь представлением о Рейнале, как об авторе книги «Révolution de l'Amerique». Эта книга уж во всяком случае не была известна в России так, как «История обеих Индий», и выдвигание ее на первый план по сравнению с книгой, составившей славу Рейналю, может быть понятно только лишь у Радищева, именно «Американскую революцию» использовавшего в своей оде «Вольность», как это указал авторитетный исследователь[57].

Наконец,— это Державин. Об отношении к нему Радищева свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что он послал ему экземпляр своего «Путешествия».

Еще одна деталь: в строфе 2-й оды есть слово «сопки»; это — сибирское слово, в XVIII в. повидимому неупотребительное в литературном русском языке. Естественно возникает предположение, что это слово вывезено из Сибири человеком, привыкшим к нему именно там; Радищев в 1797 г. приехал из Сибири.

Итак, я повторяю, что можно предположительно приписать оду «Древность» Радищеву. Не исключена конечно и возможность, что ее написал человек, находившийся под сильным влиянием Радищева; но следует заметить, что наиболее заметный его последователь в идейной плоскости, Пнин, по существу своей художественной манеры ни в малой мере не может быть даже предполагаемым автором оды, так же как сын Радищева Николай. О других менее значительных представителях кружка также нет оснований думать, чтобы они могли написать такое произведение.

ДРЕВНОСТЬ

1

Древность, ты, которой мирна мышца
Усыпила ранни племена,
Зрящая в скрижали летописца,
Пишущая славных имена!
Ты, что связку венчиков * имея,
В думе ждешь царей у мавзолея,
Успокоив персть [58] отцев моих,
Повели моей дрожащей трости [59]
Прежде чем мои почиют кости,
Свиток положить у ног твоих.

2

Соглядая веки обмертвелы,
Над которыми туман повис,
И юдоли древних запустелы,
По которым вырос кипарис,
Мнится, вижу вдоль сея трещобы
Праотцев расписанные гробы,
Мнится, что на всех гробах резец
Начертал девиз их просвещенья,
Врезал истины и заблужденья
Поздному потомству в образец.

3

Но почто против сего уроку [60]
Памятников истины бежим?
По какому горестному року
Подле памятников лжи стоим?
Как бы мним [61], что гении усопши
Пустят луч сквозь гробы мхом заросши,
Между тем как зрим пиры одни.
Тщетно-тщетно ждем небесной силы,
Тщетно ждем лучей вокруг могилы,
Где блудящи лишь горят огни.

4

Слабый смертный! сколь потребно мало,
Чтоб занять власть над твоим умом,
Естли заблуждения [62] зерцало
Древним [63] вкруг очернено жезлом:
Стоит, чтоб оракулом явиться,
Лишь на персях древности родиться.
Разве гений истины слетал
На сосцы вселенной тот лишь термин,
В коем разум, первенец Минервин,
В сирой колыбели почивал?

5

Нет — и ныне истинна над миром
Всходит как бы из-за облаков.

---

* Венчики называются бумажки, полагаемые на лбы умерших.— *Автор*.

Естлиж ложь, кадяща пред кумиром,
Не сгущает над умом паров:
Для чего ж среди сего тумана
Сильной разум, пад на истукана,
С олтаря не опрокинет персть?
Должноль, чтоб одни его скрижали
Мание Сатурна презирали,
Естли все его чтит грозный перст?

6

Должноль, чтоб отцев [64] столпотворенья
Скрывши темя в сумраке небес,
И вися над бездной заблужденья,
На истлевшей вазе древних грез,
Уцелели до всеобща труса,
Естли сферы терпят тяжесть бруса,
Коим время их браздит в пески,
Естли солнце сыплется комками
И с янтарных стен уже местами
Крошатся огнистые куски *.

7

Древность мавзолей свой украшая,
Лишь над нами упражняет гнев,
И осьмнадцатый век удушая,
Высечет лишь новый барельеф.
Франклин, преломивши скиптр Британской,
Рейналь с хартией в руке гражданской,
Как оракул вольныя страны,
И мурза в чалме, певец Астреи [65],
Под венком [66] дубовым, в гривне с шеи
Будут у тебя иссечены.

8

Но кака там тень среди тумана
Стелет по Карпатским остриям?
Темной профиль исполинска стана
В светлой Висле льется по струям.
Сбиты локоны по плечам веют,
А по ризе пятна сплошь багреют,
С рама обнаженный меч висит,
На руках лежат с короной [67] стрелы,
На главе орел гнездится белый [68];
Это падшей Польши [69] тень парит.

9

Все стремится к древности суровой;
Царства почему обиты в тис,
Опираясь [70] об скиптр свинцовой,
Сходят с зыблющихся тронов вниз,
И преклоншися с [71] гербом Руины,

* С одной стороны северные явления, падающие из солнечной системы, а с другой пятна, в солнце усматриваемые, делают понятною сию фразу. — *Автор.*



КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ В МОСКВЕ
Картина маслом Ф. Гильфердинга
Русский Музей, Ленинград

Временам [72] дают свои судьбины,
Все к кивоту древности падет.
Лишь святых душ лучезарны мощи,
Как в пещерах фосфоры средь нощи,
В раках не померкнут в род и род.

10

Все падет — так чтож надменный [73]
Смертный предваряет потрясать
Обветшалые столпы вселенны
И перуном землю колебать?
Должноль царства превращать в могилы,
Чтоб гигантам свесить толщу силы
И исследовать порыв рамен?
Разве нет ему твердыней [74],
Разве нет в отечестве пустыней,
Где бы меч его был изощрен? —

11

Эх! [75] почийте, грозны Марса други,
В просеках лавровых вдоль лесов!
Облеченны в панцырь и кольчуги,
Мчитесь вы против каких врагов!
Эх! почийте лучше, бранны ходы
Двиньте на стихии злой природы;
От потопа нас сдержи порой;
В трусе на зыбях сдержи руины,
В сопках пламенны залей пучины,
И тогда речем, что ты Герой.

12

Вы ль дымящиеся Чингис-Ханы
Нам поведайте свои дела?

Ах! не вы ль, как пышущи вулканы,
Изрыгали жупел на поля?
Пламя с дымом било в верх клубами,
Рдяна лава пенилась валами;
Ныне ж? — вы потухли под землей.
Ныне, мню, над вашими гробами
Красны заревы стоят столбами;
Древность! с именем их прах развей! —

13

Прах развей! — но буде кость злодеев
Не умякнет под земным пластом,
Будто [76] прах под грузом мавзолеев
Не смесится с илом и песком?
Праздны черепы, сии избытки,
Мать-земля расплавит в новы слитки;
Внутрь ее зияли, где погряз
Геркулан со знамям и щитами,
Лиссабон [77] с хоругвью и крестами,
Плавится людей оседших связь.

14

Мнится, что миры людей дремучи,
Кои прилегли к земной груди [78],
С спящих мышц стряхнут надгробны кучи,
И в чреду проснутся на трубы;
Так как мир, кой оюнев днесь паки
Предкам зиждет по кладбищам раки,
Может быть из-под сырых холмов
Воспрянул, чтоб лечь в земной утробе;
Так не все ль мы в раздвижном сем гробе
Переводим с древних дух веков?

15

Ктож присвоит право первородства?
Ты, остаток древния резьбы,
Сын наследственного благородства,
Тщетно режешь старые гербы,
Тщетно в славе предков ищешь тени,
Кроясь как бы под безлистны клены;
Прадедов увядшие дела
И дипломы, ими заслуженны,
Как сухи листы с дерев стрясенны
Не украсят твоего чела.

16

Пусть тебе природа даровала
В люльке князя, графа имена,
Пусть звезда с верху на грудь упала,
Разметав по плечам ордена;
Но поверь, что яркой сей феномен
Для твоих достоинств вероломен,
Все сии насечки вмиг спадут.

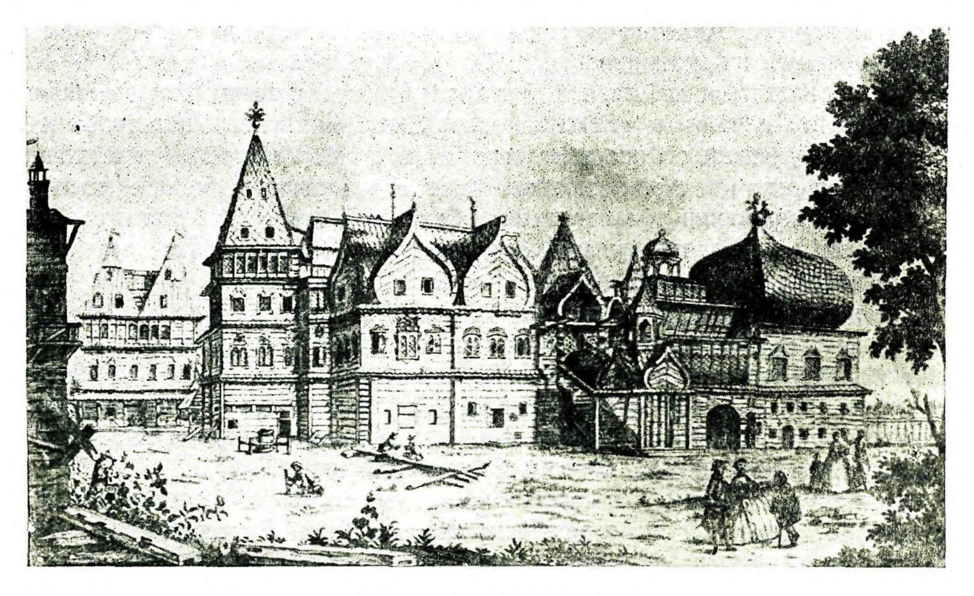
И гремящие без дел титулы,
Так же, как наследной славы гулы,
До горы потомства не дойдут.

17

Знай — один лишь разум просвещенный
В поздных переломится веках!
Хоть над жизнью гениев почтенных
Тучи расстилались в облаках,
Тучи град и дождь на них лиющи,
Но по смерти их, над темной кущи[79],
Над которой буря пролилась,
Мирна радуга для них явилась,
Половиной в древность наклонилась,
А другой в потомстве оперлась.

IX

Политические события, разразившиеся в конце 1780-х годов во Франции, вселили величайшую тревогу в сердца европейских монархов и в умы их подданных. Революционный гром, потрясший пышное здание Французского королевства, отозвался и в России. Перед лицом неожиданно выросшей опасности буржуазного наступления на твердыни самодержавно-крепостнического строя русское правительство во главе с Екатериной II немедленно же приступило к искоренению отечественного «вольномыслия». На рубеже последнего десятилетия XVIII в. Россия вступила в эпоху жесточайшей реакции, в области литературы нашедшей свое выражение в запрещении трагедии Княжнина «Вадим» (1789), в судебных процессах Радищева (1790) и Новикова (1792) и в ликвидации вольных типографий (1796). Главную роль при дворе в эту пору играет Платон Зубов — реакционер чистой воды, заявивший себя реши-



КОЛОМЕНСКИЙ ДВОРЕЦ
Рисунок карандашом Ф. Гильфердинга (1790-е гг.)
Государственный Эрмитаж, Ленинград

тельным противником французской просветительной философии и литературы, идеи которых столь долгое время служили к упрочению либеральной репутации «Северной Семирамиды». После ссылки Радищева и разгрома мартинистов русское дворянское «вольнодумие» было загнано в подполье, но не уничтожено: в предыдущих главах приведен материал, свидетельствующий о проявлениях радикальной идеологии в условиях подпольного существования.

Но несмотря на торжество реакции и изменение политической ориентации правительства, весь прежний декорум великолепной дворянской империи сохранился в полной мере и продолжал служить отличным средством организации религиозно-морального сознания и социально-культурного быта землевладельческого класса. Еще не отзвучал «гром побед славного российского оружия» (в 1794 г. Суворов штурмовал Прагу) и «храбрый росс» имел возможность «веселиться» по многим и самым разнообразным поводам.

Внезапная смерть Екатерины II и воцарение Павла I исключительно болезненно переживались русским дворянством. Пятница 7 ноября 1796 г. была для него поистине «черной пятницей». «Российское солнце погасло! Екатерина Великая во гробе, душою в небесах! Павел Первый воцарился. Никто не ожидал сей внезапной перемены. Кроткое и славное Екатеринино царствование, тридцать четыре года продолжавшееся, так усыпило, что, казалось, оно, как бы какому благому и бессмертному божеству порученное, никогда не кончится. Страшная весть о смерти ее, не предупрежденная никакою угрожающею опасностью, вдруг разнеслася и поразила сперва столицу, а потом и всю обширную Россию» [80].

Достойно замечания, что автор этих строк—адмирал А. С. Шишков,—выражающий крайнее сожаление по поводу смерти Екатерины, в высшей степени сдержанно отзывается о новом монархе. Еще более показательно в этом плане то, что самый факт вступления Павла на престол как бы замалчивался в дворянской литературе, столь падкой на прославление новых монархов. Конечно и Павла I приветствовали пышными одами, но, во-первых, их появилось в 1796 г. сравнительно немного, а во-вторых, приветственные голоса были заглушены самыми откровенными изъявлениями печали о «златых днях» Екатерининского царствования. Для характеристики общих для дворянской среды настроений достаточно привести несколько строк, появившихся в одном из наиболее распространенных журналов того времени: «Светило, которое, облиставая благонамеренными мыслями, уяснило разум россов и образовало даже грубые нравы многих диких народов, зашло для нас навек! Мрак печали распростерся и стон раздался повсюду...» [81]. Так дворянская Россия приветствовала нового самодержца. Не имеет смысла множить примеры, но можно было бы привести не мало данных, свидетельствующих о крайней сдержанности, с какою было встречено в дворянской среде воцарение Павла. Мемуарная и эпистолярная литература конца 90-х годов дает для этого богатый материал.

Отношение к Павлу I в придворной, гвардейской и бюрократической среде слагалось под непосредственным влиянием Екатерины II и ее фаворитов, всячески унижавших личное достоинство цесаревича и подрывавших его авторитет наследника престола. Павел, замкнувшийся в своем гатчинском уединении, издавна воспринимался в этой среде как грубый и «бешеный» человек, нелюбимый матерью и сам ненавидя-

щий не только ее, но и все плоды ее деятельности и всех окружавших ее людей. Кроме того широкое распространение в близких ко двору кругах имели слухи о заготовленном якобы указе, в силу которого Павел отстранялся от наследования престола, предназначенного Екатериной своему любимому внуку Александру. Все это разумеется нашло отражение в событиях, наступивших после смерти Екатерины. Павел, в свою очередь, не склонен был предать забвению ни малейшей из нанесенных ему обид, и это обстоятельство еще более усугубляло остроту положения: с воцарением Павла высший слой служилого дворянства не ждал для себя ничего хорошего.

В политике Павла I конфликт между самодержавием—диктатурой крепостников и «самовластием», в определенные моменты осуществлявшим политику невыгодную этим крепостникам, проявился весьма резко. Павел серьезно верил в свое мессианическое призвание стать обновителем русского государства на началах ничем не ограниченной самодержавной власти. Идея абсолютизма лежала в основе всех его мероприятий. Он усердно трудился над созданием особого представления о самодержце как наместнике бога на земле. Для него был мал и тускл блеск императорской короны, он первый из русских государей объявил себя главою православной церкви и самовластно присвоил себе право входить в алтарь через «царские врата». А титул Великого гроссмейстера Ордена Иоанна Иерусалимского со всеми присущими ему атрибутами подлинно рыцарского романтизма был ему дороже титула российского самодержца. Он, ставивший авторитет и непререкаемость монарха на недосягаемую высоту, резко оборвал политику ласкового внимания по отношению к окружавшему его трон дворянству,—политику, к которой дворянство привыкло за все предшествующие царствования. Он отрицал за «екатеринином орлами»—могущественными вельможами и избалованными гвардейцами—минимальное право на величие. «В России только тот велик, сударь, с кем я говорю и пока я с ним говорю»—эта эффектная фраза Павла, сказанная им шведскому послу Стедингу, отлично характеризует его политические мероприятия в деле обуздания дворянской придворно-гвардейской «вольницы».

Еще будучи наследником престола, Павел писал, что Россия «начинает приходить в некоторую слабость, которую, как ее самую, так и ее следствия, предупредить должно, дабы все здание, или весь корпус не рушился, как ослабевшее от многих припадков тело, для чего и должно тело исцелить». И он «целил» Россию, целил по-своему, по-гатчински,—жестоко и неумело. Он считал себя царем-преобразователем и любил сопоставлять свое имя с именем Петра I, что и подчеркнул лапидарным текстом на воздвигнутом перед Михайловским замком памятнике Петру: «Прадеду—правнук». «Исцелить» в понимании Павла значило преобразовать, и он строил поистине грандиозные планы преобразования всей России.

И действительно, буквально в первый же день своего царствования, Павел не только круто повернул руль государственного управления, но и резко пожелал изменить самый дворянский быт, подчинив его строжайшему регламенту и посягнув в своем самовластии даже на частную жизнь дворянина. А. С. Шишков засвидетельствовал, что с воцарением Павла «в один час все так переменилось, что, казалось, настал иной век, иная жизнь, иное бытие». Наступила действительно новая

эпоха, которую современники называли «где и как требовалось: торжественно и громогласно—возрождением; в приятельской беседе, осторожно, вполголоса—царством власти, силы и страха; втайне между четырех глаз—*затмением свыше*» [82].

Более чем двадцать лет Павел I мирился с Екатерининскими порядками, которые ненавидел всем сердцем, но искоренять которые имел возможность только у себя в Гатчине, на малом «опытном» поле. Естественно, что, вступив на престол, он немедленно же принялся искоренять их и по всей России, но прежде всего в Петербурге. «Весь государственный и правовой порядок был перевернут вверх дном; все пружины государственной машины были поломаны и сдвинуты с мест; все перепуталось» (А. М. Тургенев). В своем желании уничтожить «екатерининский дух» Павел переделывал наоборот все сделанное до него. Случайно он осуществил при этом несколько мероприятий, которые доставили бы громкую славу другому монарху: освободил Костюшку и других польских пленников, вернул из ссылки Радищева, выпустил из Шлиссельбургского каземата Новикова. Но репутация тирана так плотно пристала к Павлу, что даже эти либеральные жесты не принимались современниками в расчет.

Первые реформы Павла коснулись армии, которой он стремился дать прочную организацию по прусскому образцу, по рецепту Фридриха II. Нельзя сказать, что реформа русской армии, предпринятая Павлом, вовсе не имела никакого смысла. Она имела очевидный смысл, но, как и все остальные его предприятия, заранее была обречена на неудачу. Русская армия (а особенно гвардия), прославившая себя громкими победами под начальством Суворова и Румянцова, в последние годы царствования Екатерины II находилась в состоянии почти полного разложения. «Монархиня у нас была милостивая и к дворянству благорасположенная, — пишет А. Т. Болотов, — а господа гвардейские подполковники и майоры делали, что хотели; но не только они, но даже самые гвардейские секретари были превеликие люди и жаловали кого хотели за деньги. Словом, гвардейская служба составляла сущую кукольную комедию» [83]. Известно, что при Екатерине не столько служили, сколько «записывались» в службу; «чрез деньги и разные происки» дворяне записывали в привилегированные гвардейские полки не только детей, но и грудных младенцев и даже еще вовсе не родившихся, в паспортах которых оставлялось пустое место для имени будущего «сержанта» или «унтер-офицера». Гвардейские кадры неимоверно разбухли, дисциплина (особенно среди младшего офицерства) падала, изнеженные столичные «гвардионцы» совершенно не занимались строевой службой и изучением военных наук.

Павел I, по словам Болотова, «пробудил всех гвардейцев из прежнего их дремания и сна, неги и лени», он вызвал к месту службы всех числившихся по полковым спискам, и это распоряжение вызвало форменную панику в дворянских провинциальных гнездах: отцы повезли в Петербург на императорский смотр пятилетних «сержантов», — затруднительнее было положение тех из них, у кого «сержанты» были еще в проекте.

Павел заставил «гвардионцев» служить и ввел суровую строевую муштру, отдав командный состав на выучку «гатчинскому капралу» Аракчееву, самым бесцеремонным образом смирявшему высокомерие и

дворянскую гордыню «Екатерининых орлов». В первый же день своего царствования Павел разверстал гатчинские батальоны по гвардейским полкам и сместил почти всех старых начальников, заменив их своими «гатчинцами». Этим Павел нанес обиду не только гвардейской молодежи, но и старым заслуженным офицерам суворовской школы, гордившимся своим боевым прошлым («гатчинцы» же в огромном большинстве были героями плац-парадных учений и не имели никакой боевой практики).

Гвардия встретила «гатчинцев» в штыки. Новые начальники не могли похвастать ни своим родословием, ни своим богатством, ни своей обра-



АНГЛИЙСКАЯ КАРИКАТУРА НА ПАВЛА I
Исторический Музей, Москва

зованностью: это были грубоватые и простоватые служаки, набранные из захудалого провинциального дворянства (преимущественно украинского) или вовсе безродные выходцы из Германии и Остзейского края.

И, наконец, Павел переодел армию в новые уродливые мундиры прусского образца, принятые в его гатчинских батальонах, — ввел пудру, пукли, штиблеты. Гвардейскую молодежь особенно возмущало запрещение щеголять в нарядных «разнополых и петиметрских» кафтанах и разъезжать в дорогих раззолоченных каретах. Новые мундиры, как и новые порядки, вызывали в обществе глумление, так же как и подражание Павла Фридриху во всем—«в одежде, в походке, в посадке на лошади» [84]. По рукам ходила эпиграмма, приписывающаяся перу Державина:

Похож на Фридриха, скажу пред целым миром,
Но только не умом, а шляпой и мундиром [85].

Нет нужды приводить примеры из огромной литературы достоверных рассказов, анекдотов, сатирических стихотворений и эпиграмм, рисующих военный быт павловской эпохи с его железной дисциплиной, исклю-

чительной по жестокости бессмысленной муштрой и палочным режимом. Литература эта достаточно широко известна.

Не венценосец ты в Петровом славном граде,
Но варвар и капрал на вахтпараде —

эта эпиграмма на Павла I — одна из многих подобных — выражает дворянско-оппозиционные настроения, получившие очень широкое распространение в среде старого кадрового офицерства и гвардейской молодежи, начиная с первых же дней Павловского царствования. Павел, раскассировавший заслуженную и родовитую военную аристократию екатерининской эпохи, Павел, гатчинской палкой выбивающий «екатерининский дух» из самолюбивых генералов, Павел, обидевший прославленного Суворова, пользовался исключительной ненавистью в военно-дворянской среде.

Но и зажатая в тиски Аракчеевского режима гвардия еще не желала проститься с иллюзиями великого «осьмнадцатого столетия», века дворянского процветания, века дворянской вольности. Она еще полагала себя силой, способной направлять и изменять по своему усмотрению курс правительственной политики. Фаворитизм, столь пышно расцветший в условиях женских царствований, роль гвардии в бесчисленных дворцовых переворотах XVIII в.,—все это давало гвардейскому офицерству субъективное право смотреть на себя, как на опору и блюстителей престола Российской империи. Естественно, что Павел I, решительно вступивший на путь обуздания дворянской «вольницы», воспринимался в этой среде как жестокий тиран и узурпатор, урезывающий коренные дворянские права и привилегии. Не нужно конечно забывать при этом и о подспудно существовавшем дворянском либерализме, пусть загнанном в подполье, но все же существовавшем. Идеология «свободы и просвещения», расплывчатая и неясная, но эмоционально чрезвычайно высокая, либеральная фразеология, руссоизм в литературе и в жизни с его проповедью «естественной свободы» и критикой социального неравенства, поздние побеги вольтерьянства и атеизма—все это, переплетаясь в сложный клубок, в известной мере формировало социально-политические настроения дворянской фронды 1790—1800 гг. Фронда эта, как мы увидим ниже, пережила эпоху Павла и продолжала действовать в годы официального либерализма при Александре I.

Оппозиция Павловскому режиму слагалась не только в военной, но и в придворно-бюрократической среде. И здесь было много недовольных порядками, заведенными «гатчинским варваром». Павел I вошел в историю с прочно установившеюся за ним репутацией жестокого тирана, невежественного самодура. Однако этот канонический образ Павла в значительной степени фальсифицирован в последовавшую за его царствованием эпоху официального либерализма (а вслед за тем и вообще всей либеральной историографией). Конечно смешно было бы реабилитировать Павла и искать оправдания его террористической деятельности, но тем не менее не следует замалчивать хотя бы такие его мероприятия, как закон о престолонаследии и так называемый указ о трехдневной барщине, обнародованные в день его коронации—5 апреля 1797 г. Павел пытался ограничить лихоимство, взяточничество, продажность и прочие злоупотребления, развившиеся во всех гражданских ведомствах в последние годы царствования Екатерины до совершенно невероятных

пределов. Вся гражданская администрация—суды, департаменты, канцелярии и коллегии—являла в ту пору картину полного развала. Так же как в армии, и в этой области Павел подчинил все и всех строжайшей дисциплине, выработал исключительно тяжелый бюрократический регламент и восстановил против себя огромную массу служилого чиновного дворянства.

Недовольные чиновники смыкались с недовольными гвардейцами и составили единую дворянскую фронду. С первого же дня своего царствования Павел очутился во враждебном окружении. У него не было даже своей партии, на которую он мог бы опереться и которой мог бы доверять; всего несколько человек любимцев, фаворитов, были и остались ему преданы. Фаворитизм при Павле нисколько не уменьшился сравнительно с екатерининской эпохой, он принял только новые формы. Своих любимцев Павел осыпал наградами неизмеримо более щедро, нежели Екатерина; раздача имений при Павле достигла небывалых размеров (только по случаю коронации роздано было более 100 тыс. душ крепостных крестьян и почти миллион десятин земли). Но фаворитизм при Павле был столько же мгновенным, сколько и случайным. Возвысившийся из «небытия» любимец ежедневно мог ожидать самой суровой расправы. Павел сам лишал себя верных людей, потому что «в людях видел он бесчувственных автоматов, движимых единою его волею, и он как будто тешился тем, что беспрестанно может и ронять их и призывать, карать и миловать, возвышать и низвергать, мертвить и оживлять. Никому не было от него пощады, ниже самым верным, старым слугам своим, людям, которые еще до вступления его на престол долголетними опытами доказывали ему свою преданность: из них под конец оставались при нем только два холопа, Кутайсов и Обольянинов, глупые невежды, которые готовы были все выносить» [86]. В числе убийц Павла были его любимцы (прежде всего организатор заговора гр. П. А. Пален), и это обстоятельство отмечено в одном из произведений подпольной поэзии той поры:

РАЗГОВОР В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ, НОСИВШИЙСЯ В НАРОДЕ 1801 ГОДА.

Екатерина II, увидя Павла I

Почто, любезный сын, так скоро ты пришел,
Ужель в Отечестве ты горести нашел?
Я с лишком тридцать лет Россией управляла
И, подданных любя, блаженство все вкушала.
А ты, четыре года лишь побыв там на престоле,
В места ничтожества спешишь теперь оттоле!

Павел I

В четыре года что успел я сотворить
И как Отечество умел я разорить,
Того и в сорок лет
Монарху мудрому поправить силы нет.
(Уходит)

Суворов, встретясь с ним

Давно ли, Государь, такая стала мода
У русского народа,

Что шарф на шее вижу я у вас? —
И кто с таким узлом надел его на вас?

Павел I

Надели те его, которых я любил,
Которых милостьми я щедро наградил.
За милости они вот чем мне заплатили,
Что шарфом сим меня тирански умертвили.

Суворов

Жалею, Государь! что с вами сие сталось,
Знать средства всех спасти другого не осталось [87].

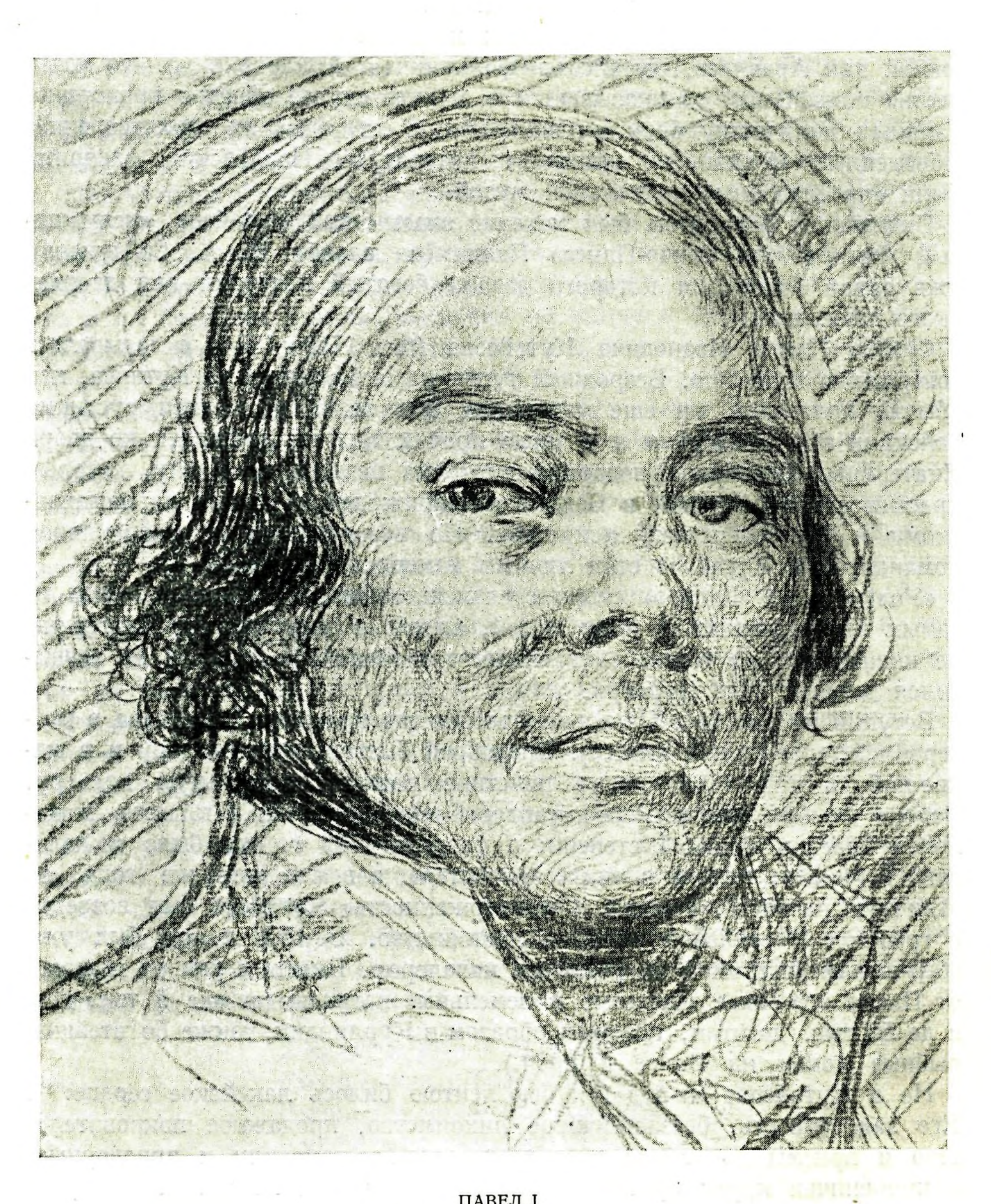
X

Дворянская фронда 1790—1800 гг. имела свою литературу — печатную и рукописную. Ф. Ф. Вигель засвидетельствовал, что при Павле «число недовольных им было так велико, что, несмотря на деятельность тайных агентов, никто не опасался явно порицать и злословить его» [88]. Недовольство находило отражение на страницах журналов того времени. Любопытно, что именно при Павле, в обстановке ожесточенных цензурных гонений, в 1798 г. выходил «Санктпетербургский журнал», выражавший идеи крайнего радикализма той эпохи. Здесь печатались переводы из Гольбаха и стихотворения Пнина откровенно антимонархического содержания. Редактор этого журнала был идейно (а позже и лично) связан с Радищевым. И в других журналах появлялись статьи резко оппозиционного характера; так например, в журнале «Новости» 1799 г. (стр. 205) царствование Павла названо «днями зла», когда «человек стал глупости игрушка». В несколько более сдержанном тоне, но столь же определенно высказывались журналы: «Что-нибудь на досуге от безделья» (1798) и «Приятное и полезное препровождение времени» (1794—1798; с 1798 по 1801 г. выходил под заглавием: «Ипокрена, или утехи любословия»). Обычным лейтмотивом всех этих оппозиционных выступлений было сопоставление «дней зла» Павловского царствования с «золотым веком» Екатерининского правления—«мудрого» и «счастливого». Тоска по утраченной «вольности», «свободе», «независимости» окрашивает литературу дворянской оппозиции в мрачные, безрадостные тона.

Но конечно подлинный дух оппозиции следует искать не на страницах цензурованных журналов, а в подпольной литературе, в рукописных сатирических сочинениях, памфлетах, аллегориях и баснях. Литература эта имела в павловское время чрезвычайно широкое распространение во всех слоях дворянского общества, а до нас дошла к сожалению только в ничтожной своей части. Но и то немногое, что сохранилось, имеет несомненное социально-историческое, равно как и историко-литературное значение.

Большинство уцелевших памятников подпольной сатирической литературы конца XVIII—начала XIX в. давно уже стало известно по многочисленным печатным публикациям, но просмотр рукописных сборников позволил выявить еще целый ряд любопытных ненапечатанных произведений. Часть из них мы приводим ниже в сопровождении краткого пояснительного текста.

Видное место в подпольной сатирической литературе 1790—1800 гг. занимают стихотворения, направленные против влиятельных вельмож—



ПАВЕЛ I
Рисунок карандашом Н. И. Тончи
Исторический Музей, Москва

царских временщиков. Любимцы Павла были столь же непопулярны в дворянской среде, как и сам их «высокий» покровитель; непопулярность новых фаворитов сказалась между прочим в том, что в обширной одической литературе той поры мы почти вовсе не находим похвальных и поздравительных од, посвященных хотя бы таким видным деятелям эпохи, как Аракчеев, Кутайсов, Обольянинов, Архаров и др. Но количество похвальных од оказывается в данном случае обратно пропорциональным количеству бранных эпиграмм и сатирических стихотворений. Обойденные вниманием «высокой» литературы Павловские фавориты были «прославлены» подпольной музой.

Виднейшим фаворитом был конечно знаменитый Кутайсов, «услужливый Фигаро или Санчо-Панса» Павла (по словам Н. А. Саблукова), уже самая биография которого давала богатый материал для дворянского глумления.

Судьба Павла Ивановича Кутайсова (ок. 1759—1834) складывалась совершенно необычно. Безродный турок из г. Кутая (а не Кутаиса, как обычно полагают), он еще мальчиком был захвачен в плен русскими войсками под Бендерами и в числе прочих трофеев доставлен ко двору Екатерины. Екатерина подарила турчонка цесаревичу Павлу, который крестил его и отправил в Берлин и Париж для обучения парикмахерскому и фельдшерскому искусству. По возвращении из заграничной командировки Кутайсов стал личным камердинером Павла.

«Услужливый Фигаро» скоро сделался любимцем Павла и одним из самых приближенных к нему людей, однако в царствование Екатерины не поднимался из толпы слуг «малого» гатчинского двора и не возвысился дальше чина фурьера.

Вступив на престол, Павел немедленно же произвел Кутайсова в гардеробмейстеры (чин 5 класса). Брадобрей быстро пошел в гору и в какие-нибудь три года сделал поистине головокружительную карьеру. Вскоре он был назначен обер-гардеробмейстером (чин 4 класса), пожалован орденом Анны I степени; в феврале 1799 г. ему было пожаловано баронское звание и чин егермейстера, а в мае того же года «за отличную ревность, усердие и приверженность» Кутайсов был возведен в графское Российской империи достоинство. В 1800 г. он был уже обер-шталмейстером и андреевским кавалером. Вместе с тем он получал от Павла огромные денежные и земельные награды (свыше 5 тыс. душ и до 50 тыс. десятин, главным образом в Курляндии, также богатейшие рыбные ловли на Волге и проч.).

Но в Кутайсове «и под голубою лентою билось лакейское сердце» [89]. Его заносчивость, беззастенчивое лихоимство, продажное покровительство и приемы доносчика и инсинуатора восстановили и придворные, и чиновничьи круги против выскочки-временщика, вчерашнего цирульника и сегодняшнего вельможи.

Смерть Павла положила предел возвышению Кутайсова; после переворота 11 марта 1801 г. он уехал за границу, а по возвращении жил в Москве или в пожалованных ему богатых поместьях, усердно занимаясь сельским хозяйством.

В стихотворении, которое мы приводим ниже, осмеяно поведение Кутайсова в ночь с 11 на 12 марта 1801 г., когда верный фаворит не только не принял мер к защите своего благодетеля и монарха, но скрылся самым позорным образом, спасая свою собственную жизнь.

О бегстве Кутайсова из Михайловского замка сохранились свидетельства современников. Так например, Н. А. Саблуков в своих «Записках» сообщил, что «Майор Горголи, бывший плац-майором... получил приказание арестовать графа Кутайсова и актрису Шевалье, с которой тот был в связи и у которой он часто ночевал в доме. Так как его не нашли во дворце, то думали, что он у нее. Пронырливый Фигаро однако скрылся по потайной лестнице и, забыв о своем господине, которому всем был обязан, выбежал без башмаков и чулок, в одном халате и колпаке, и в таком виде бежал по городу, пока не нашел убежища в доме Степана Сергеевича Ланского» [90]. Ср. показание барона Гейкинга: «Пока все это [убийство Павла] совершалось наверху, Кутайсов был разбужен раненым гусаром, кричавшим: «Спешите к государю, его убивают!» Сперва он хотел было подняться наверх, но смелость покинула его и он бросился бежать, выскочил на улицу в туфлях и сюртуке и, достигнув дома г. Л[анского] на Литейной, спрятался там и не показывался нигде до следующего дня» [91]. В несколько ином варианте рассказывает об этом же событии Август Коцебу: «Всего более заговорщики опасались преданности графа Кутайсова. Он имел обыкновение возвращаться от госпожи Шевалье в 11 часов вечера. Решили его в это время поймать и отвезти к графу Палену, где его должны были задержать до окончания переворота. Но случилось, что в этот вечер он вернулся домой в половине одиннадцатого, и таким образом ему удалось ускользнуть от заговорщиков. Переодетый в крестьянское платье, он побежал через Летний сад, за ним погнались, говорят даже, что по нем стреляли. Он спешил на Литейную к какому-то господину Ланскому; дорогою он потерял башмак, упал и вывихнул себе руку» [92].

Стихотворение, найденное нами, написано в форме обращения к Кутайсову некоего Дольского. Кто такой был этот Дольский—в точности неизвестно, во всяком случае он не состоял на государственной службе, так как в списках чиновников за годы царствования Павла I имени его не встречается. Сведений о Дольском сохранилось чрезвычайно мало, но и немногие известные данные свидетельствуют, что он пользовался среди современников репутацией первостатейного прохвоста. Г. Р. Державин в своих «Записках» упоминает о Дольском, как о «наперснике г. Кутайсова». Кроме того Дольский упоминается Державиным в одной из эпиграмм конца 90-х годов:

Босканф, Лаба и Дольский
Сходны, как с братом брат:
Решил бы лишь Шешковский,
Кто больше плутоват [93].

По данным «Записок» Н. С. Ильинского, Дольский служил «секретарем и доверенною особою» у Кутайсова, «жил во дворце и имел у себя драгоценные вещи, которые разным особам жалованы были у государя». Могущество Дольского простиралось очень далеко: «все почтенные люди снискивали через него много». Ильинский описал «прием» у Дольского, когда «угощение было избыточное и шампанское вино лилось так, как вода. Он заставлял чиновников высшего класса ползать на полу на корячках, а в случае невыпития бокала лил шампанское к ним за пазуху; ездил с женою в великолепном экипаже, словом роскошествовал за счет двора сколько хотел». После убийства Павла I Дольский «был

в худом положении и принужден был со страху отдавать назад все то, что он брал... наконец уехал в деревню и помешался в уме»[94]. Любопытно, что Гете, проявивший настойчивый интерес к цареубийству 11 марта 1801 г., отметил в своей записке «Die Palasterrevolution gegen Kaiser Paul I» в числе участников заговора вместе с «графом Кутайсовым» и «тайного секретаря Михаила Дольского» (см. «Литературное Наследство» № 4—6, стр. 129), но это очевидно недоразумение.

Приводим текст найденного нами стихотворения, которое называется

ПОСЛАНИЕ ОТ ДОЛЬСКОГО К КУТАЙСОВУ

Пришло нам время расставаться,
О, граф надменный и пустой!
Нам должно скоро удаляться
Из мест, где жили мы с тобой;
Где кучу денег мы накрали,
Несчастных бедных разоряли
И мнили только лишь о том,
Чтоб брать и златом и сребром.
Фортуна много нам служила,
Закрыв глаза свои платком,
И естьли бы не удушила
Виновника параличиом[95]
В то время, как ты пробирался,
Бранился, рвался и ругался, —
То случай вышел бы иной,
Когда б не спас тебя Ланской[96].
Приятным сном ты наслаждался
В то время, как пришел удар,
В своих покоях прохлаждался,
Когда скончался Государь.
Но видно, вняв тому причину,
Спасаться как твоему чину,
Бежал как можно поскорей,
Чтобы не заперли дверей.
Ты мест прекрасных удалялся
В портках, в халате, без штанов,
Чрез грязь, каналы пробирался,
Надевши обувь без чулков.
Летел как громом пораженной,
Как зверь, собакой уязвленной,
И в трусости весь трепетал,
Стремглав из замка побежал.
Твоим приятством одолженный,
Я должен правду говорить
И, рабства став освобожденный,
Тебя не ложью озарить.
Дела чтоб наши не гремели,
Заслуги вовсе онемели,
Нельзя нам лучше предпринять
Как к туркам в Азию бежать.
Накупим бритв мы здесь поболе,

Чтоб лутче время проводить
И естьли поживем там доле—
Там станем бороды им брить.
Столь похвальные науки
Не сделают ни малой скуки,
Искусство вместе с мастерством



ПОЮЩИЕ СЛЕПЦЫ
Акварель И. Ерменева (вторая половина XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград

Мы в Азии уж заведиом.
Тебе известно их правленье,
А бритвой мастер ты водить
И мы введем в обыкновенье,
Чтоб им без усиков ходить.
Вот наших рук дела достойны
И сердцу милы и покойны,
Чем ролю нам играть вельмож...
Хотя ты граф, но не похож!
Хоть ты осыпан и звездами,
А всио останешься ослом,
Ты хлопал длинными ушами,
Где надо действовать умом.
Превратным щастьем одаренный,

Вмещал в душе своей льстеца,
Оставил видеть всей вселенной
В себе скота и подлеца!..[97]

Лихоимство, взяточничество и прочие злоупотребления, при Екатерине получившие самое широкое распространение, процветали и в царствование Павла. Подпольная сатира 1790—1800 гг., замещавшая собою наш публицистический фельетон, «бичевала» не только самые «пороки», но и конкретных носителей социального зла—порочных вельмож, неправедных судей, продажных чиновников. Таково например публикуемое ниже стихотворение, изобличающее одного из видных представителей придворно-бюрократической среды павловского времени—князя Гавриила Петровича Гагарина (1745—1808).

Князь Гагарин уже в царствование Екатерины достиг больших чинов (в 80-х годах он был обер-прокурором в Москве, а в 1793 г. назначен сенатором), но настоящее его возвышение началось только с воцарением Павла, с которым его связывала старинная (с юношеских лет) дружба. В конце 1796 г. Гагарин был назначен членом Государственного совета, в 1798 г.—определен в Комиссию о составлении законов, а в 1799 г. занял пост главного директора Государственного заемного банка и президента Коммерц-коллегии. К 1800 г. Гагарин достиг наивысших почестей, был действительным тайным советником I класса и андреевским кавалером. После переворота 11 марта 1801 г. Гагарин, в числе немногих других павловских вельмож, сохранил все свои высокие посты и вошел даже в состав «Непременного совета», состоявшего из двенадцати крупнейших и влиятельнейших сановников. Но уже в конце 1801 г. он вынужден был оставить службу и последние годы своей жизни провел вдали от двора, в деревне. Быстрым своим возвышением при Павле Гагарин был отчасти обязан дружбе с кн. П. В. Лопухиным, отцом известной фаворитки Павла I—княжны Анны Петровны, выданной царем в 1800 г. замуж за сына Гагарина—Павла Гаврииловича.

Кн. Гавриил Петрович Гагарин оставил след не только в истории русской бюрократии. Он был виднейшим масонским деятелем своего времени: в 1799 г. герцог Карл Зюдерманландский назначил его гроссмейстером всех масонских лож в России, председателем Великой Национальной Ложи и префектом Капитула Феникса. После того как Великая Национальная Ложа прекратила свою деятельность (в 1781 г.), Гагарин, переехав в Москву, примкнул к кругу мартинистов.

Гагарин был, не в пример прочим павловским вельможам, образованным человеком и занимался литературой. Известно несколько изданных им брошюр по богословским вопросам и сборник «Нравственных рассуждений», появившийся уже после его смерти под заглавием: «Забавы уединения моего в с. Богословском; оставшееся творение кн. Г. Гагарина» (СПБ., 1813). Гагарин славился своим благочестием, сочинял молитвы и акафисты, был очень тесно связан с высшей церковной иерархией и вместе с тем, по единодушным отзывам современников, отличался «глубокой безнравственностью».

Репутация Гагарина была самая незавидная. Службу в Сенате и Коммерц-коллегии он совмещал с казенными подрядами и винными откупами. Еще в начале 90-х годов он прославился каким-то скандальным делом с «перекупными быками», а в 1796 г. поставил в Москву вино

НИЩАЯ С ДЕВОЧКОЙ
Акварель И. Ерменева (вторая половина XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград



«с дурным запахом и подозрительною пеною», в связи с чем ему было запрещено Екатериной II «являться ко двору и в общество».

Занимаясь по приказанию Павла I в 1799 г. разработкой проекта банкротского и вексельного устава, действие которого должно было распространяться не только на купцов, но и на дворян, впавших в неоплатные долги, Гагарин был в то же время сам неоплатным должником (в 1797 г. долги его достигали огромной по тем временам суммы в 300 тыс. руб.).

Самые разные люди, как например кн. А. Г. Орлов-Чесменский, гр. Ф. Г. Головкин, кн. В. П. Кочубей, А. Я. Протасов, одинаково резко отзывались о нравственных качествах Гагарина. А гр. Ф. В. Ростопчин засвидетельствовал даже, что Гагарин, узнав о готовящемся преследовании мартинистов, «решил выдать тайны, которые знал, чтобы обелить себя». «Единственно только страх заставил его сделаться предателем,—пишет Ростопчин,—потому что он был одним из тех людей, которые высказывали большую привязанность великому князю Павлу и дозволяли себе порицать мероприятия Екатерины II. Это был человек умный, деловой, но низкий, интересан, развратный, кутила, опутанный долгами и потерявший всякую репутацию» [98]. Любопытно, что кн. Г. П. Гагарин был потомком легендарного лихоимца петровской эпохи—сибирского губернатора кн. Матвея Петровича Гагарина, повешенного в 1721 г.

В стихотворении, которое мы приводим ниже, высмеяно и мнимое благочестие Гагарина, и его собственное банкротство. Похоже, что автором стихотворения был один из заимодавцев Гагарина: чувствуется уж слишком личный тон обиды и негодования. Неясно, о каком «певце»,

воспевающем «гнуснейшие дела» Гагарина, идет речь в последней строфе. Вот текст стихотворения:

Так-то делают вельможи,
Так-то век свой кончит плут,
Благовидные их рожи
Часто в гибель их влекут.

Князь княжим почтенным родом,
Рожу рожей прикрывал,
Сро́нил маску и уродом
Себя свету показал.

Жил как Ангел будто плотской,
А таскал что мог как крот,
Написал устав банкротской
Для себя—и стал банкрот.

Где Акафисты, молитвы
Где смиренный разговор,
Эти сети для ловитвы,
Кои расставлял нам вор.

Обокрав до миллиона
Разных званиев людей,
Ты прибег под сень закона,—
Свят закон, а ты злодей.

В свет появишься, Г[агарин],
Принят будешь за кого?
Взглянут: ленты,—это барин!
По душе что?—ничего!

Был министр, а стал банкротом,
Спросят отчего и как?—
Плутовским де оборотом:
Так, кто верил, тот дурак.

Право, Князь! чему смеяться?
Твой прожект хоть бы куда!
Обокрав, вздумал прижаться...
Хорошо, но вот беда:

Дураки другое скажут,
Собрав внучат и детей,
Пальцом на тебя укажут:
Бойтесь вы его!.. Злодей!

Целый век молился богу,
Целый век псалтырь читал,
Худо понял и дорогу:
Вместо рая ад избрал.

Пересудят скоро черти
Все сиятельны дела,
Будут исчислять по смерти,
Сколько делал в жизнь ты зла.

Как ты, бывши прокурором,
Занимав не отдавал,
Не хотя быть явным вором,
Вексель за дела давал.

Вспомнят, как людей подлейших
Ты в майоры произвел,
Чтобы дел твоих гнуснейших
Был певец, который пел [99].

Одной из самых удобных и излюбленных мишеней для подпольных сатириков 1790—1800 гг. был светлейший князь Петр Васильевич Лопухин (1753—1827)—отец фаворитки Павла I, княжны Анны Петровны, в замужестве княгини Гагариной (1777—1805).

Лопухин принадлежал к числу ревностных, но малозаметных провинциальных служак Екатерининского царствования, не имевших доступа ни ко двору, ни в великосветские столичные салоны. Он был типичным вельможей в губернском масштабе. В 1793 г. Лопухин получил доходное место ярославского и вологодского генерал-губернатора, а три года спустя назначен сенатором в Москву. Уже в то время он был широко известен как заядлый стяжатель, и назначение его в высшее судебное учреждение, в «храм правосудия», было отмечено эпиграммой:

Не два и не один ограблен,
А целой бедных милион:
Но тот злодей судом оправлен,
И сам судьею зделан он [100].

В 1797 г. весь двор и высшая бюрократия присутствовали на происходивших в Москве торжествах по случаю коронации Павла I. Среди московского дворянства, приглашавшегося на придворные балы, был и сенатор П. В. Лопухин с «фамилией». На одном из подобных балов Павел I обратил особенное внимание на девицу Анну Петровну Лопухину, не бывшую—по отзывам современников—«красавицей», но покорившую императорское сердце своими «огненными глазами».

Увлечением Павла ловко воспользовалась сложившаяся при новом дворе партия Кутайсова—Ростопчина; воспользовалась ради ослабления влияния фрейлины Нелидовой и императрицы Марии Федоровны. «Услужливый Фигаро»—Кутайсов—переговорил с Лопухиным, и вскоре же при дворе появилась новая фаворитка. Несомненно, что увлечение Павла девицей Лопухиной много способствовало укреплению Кутайсовской партии.

Современники отметили не только «огненные глаза», но и «небольшой ум» и «малую образованность» Анны Петровны. Сама она и не пыталась распространить свое влияние на ход государственных дел и даже нашла в себе достаточно такта, чтобы держаться в стороне от придворных интриг. Но она была послушным орудием в руках Кутайсова и своего отца, благодаря чему ее фавор имел несомненное политическое значение.

В 1800 г. дружеские связи Кутайсова с Лопухиным были закреплены браком младшей сестры фаворитки—Прасковьи Петровны и старшего сына Кутайсова—Павла Ивановича. Таким образом все три героя, о которых идет речь в нашей статье (Кутайсов, Гагарин, Лопухин), были связаны между собою очень тесно.

В 1798 г. вся семья Лопухиных была вызвана в Петербург и здесь на нее посыпались царские милости в количестве и темпах, необычайных даже для той эпохи узаконенного фаворитизма. В сентябре 1798 г. Анна Петровна была назначена камер-фрейлиной и поселилась во дворце, в декабре того же года она была пожалована орденом Иоанна Иерусалимского большого креста, а в феврале 1799 г.—орденом св. Екатерины I степени. В феврале 1800 г. Павел I счел удобным для себя выдать Лопухину замуж за кн. П. Г. Гагарина (1777—1850), но она попрежнему жила во дворце и после переезда императорской фамилии в Михайловский замок заняла комнаты в непосредственной близости с личными апартаментами Павла.

Фаворитизм Лопухиной-Гагариной был исключителен и официален: «Гренадерские шапки, знамена, флаги кораблей и самые корабли были украшены именем Благодати» (Анна по-гречески значит—благодать) [101].

Царские милости изливались не только на самую фаворитку, но и на всю ее семью. Мачеха Анны Петровны—Екатерина Николаевна (1763—1828), знаменитая своими любовными похождениями, глупостью, невежеством, суеверием и ханжеством, в 1797 г. также была пожалована званием кавалерственной дамы, а в 1798 г. назначена статс-дамой. Фавор распространялся даже на любовников Екатерины Николаевны; так например известный впоследствии Ф. П. Уваров был всецело обязан ей своею блестящею карьерой.

Но конечно более других взыскан был щедротами Павла I отец «Благодати». В 1798 г. он был назначен генерал-прокурором, награжден чином действительного тайного советника, орденами Андрея Первозванного, Анны и Иоанна Иерусалимского большого креста и огромным домом на Дворцовой набережной в Петербурге. В следующем году он получил портрет Павла I, бриллиантовые знаки андреевского ордена, княжеское Российской империи достоинство (а вслед затем и титул светлости), богатейшее поместье Корсунь (в Киевской губ.) и наконец придворную ливрею для своей челяди, что считалось одною из наиболее лестных наград.

Однако Лопухин—«прославленный и пренагражденный»—недолго утруждал себя государственными заботами и уже в июле 1799 г. сам попросился в отставку и переехал обратно в Москву, где и прожил до воцарения Александра.

Новый император снова вызвал Лопухина ко двору, определил его в Государственный совет, а в октябре 1803 г. назначил вместо уволенного Г. Р. Державина министром юстиции и управляющим Комиссией о составлении законов (посты эти Лопухин занимал до 1811 г.). При Александре I Лопухин достиг самой вершины бюрократической лестницы: с 1816 г. он был председателем Государственного совета и Комитета министров. В 1826 г. Николай I назначил Лопухина председателем Верховного уголовного суда по делу декабристов; Н. И. Тургенев назвал его в этой должности «светлейшим и подлейшим» [102].

По отзыву А. Ф. Воейкова «Петр Васильевич Лопухин был одарен необыкновенными способностями. Он при Екатерине был уже ярославским генерал-губернатором. При благоприятных обстоятельствах, в которые фортуна поставила его при императоре Павле, он мог бы действовать смелее, чем кто-нибудь. Но ленивый, сладострастный, охотник до собак и шутов, ему именно недоставало того высокосердия, с каким



АНГЛИЙСКАЯ КАРИКАТУРА НА ПАВЛА I, ИЗДАННАЯ В 1799 ГОДУ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА СУВОРОВА ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ

На карикатуре Павел попирает ногой разорванное знамя с лозунгом революционной Франции: „Да здравствует равенство“

Публичная Библиотека, Ленинград

сенатор князь Я. Ф. Долгорукой пред Петром Великим стоял—и правду говорил»[103].

Два стихотворения о Лопухине, которые мы приводим ниже, имеют в виду его позднейшую деятельность на посту министра юстиции (начало 800-х годов). Первое из них озаглавлено:

ГРАМАТИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ М[ИНИСТРА] Ю[СТИЦИИ] Л[ОПУХИНА]

Вопрос

В изображеньи сем что за похабна рожа?

Ответ

Министр юстиции—светлейшая вельможа.

Вопрос

Да как достигнул он сей знати?

Ответ

Он сводник и отец известной Благодати.

А. Т. Болотов, переписавший это четверостишие в свой «Магазин достопамятных и любопытных бумаг, носившихся в народе»[104], сопроводил его следующим примечанием: «Дерзкие сии стишки носились также в народе 1805 года. Но кто сочинил их также неизвестно: а по всему заключить можно, что недовольный князем Лопухиным».

Число «недовольных» министром юстиции было велико; второе найденное нами стихотворение (не имеющее заглавия) также принадлежит перу кого-то из «недовольных». В данном случае выражается недовольство акцизной политикой, находившейся в ведении Лопухина, а особенно откупной системой 800-х годов, вызвавшей значительное вздорожание хлебного вина. Автор обвиняет Лопухина в поддержке откупщиков, которые грабят народ, привыкший «пить чарочку винца». Приводим текст стихотворения:

Здравствуй князь, о князь светлейший!
Из болот и из грязей
На высоку гору взшедший,
Ты теперь не меж свиней.

Ты теперь в руках имеешь
Правосудия безмен,
Ты теперь отважно смеешь
Сделать много перемен.

Можешь не жалеть оковы,
Цепь, рогатку, кнут и плеть,—
Можешь сделать ныне новы,
Можешь и казнить велеть.

Можешь все места в Сенате
Опорожнить в день один,
В уголовной все палате
Могут быть без всяких вин.

Можешь старца, украшенна
Сединою и умом

И семьей обремененна—
По миру пустить с кушмом;

А на стул его судейской
Посадить того, кто мил
Был тебе, жене полезной,
Или дочери служил.

Ты теперь уж при юстиции —
Можешь награждати всех,
Кто с тобой был при полиции [105]
Можешь награждать и тех,

Кто писал расход домашний,
За конюшней кто смотрел,
Кто чесал тупей ужасной,
Бороду тебе кто брел,

Но за то не брали платы
Как то водится у бар,
Коих суть домашни траты —
Чин дать, крест и место в дар.

Оных всех ты ныне волен
Записать в приказной цех,
Кто тем будет недоволен,
Тех в судьи вписать не грех.

Уж одни и подоспели
Получить себе свое,
Губернаторство схватили
В прежне щастие твое.

Уж живут они спокойно
Давят добрых стариков,
Ты ж не так криви проворно
Стрелку праведных весов.

Но на месяц хоть скрепися,
Презри их коварну лесть,
После сжалься, умилися,
Дай аренду, чин и крест.

Хоть бы был ты и прилежен,
Но нельзя всех дел обнять:
Все делец тебе потребен
Твою должность исправлять.

Надобно искать такого,
Чтоб весы кривить так знал,
Чтоб на них клал больше злого
И добра не подмешал.

Буде б подмесь таковую
Учинить — просить кто стал,
То бы совесть никакую
В поручительство не брал.

Но на верном договоре
Делом делу бы конец:
В компанейской есть канторе
Преспособный молодец [106].

Кроме должности казенной
Он и дом твой учредит;
Кучер и лакей твой верной,—
Будет пьян, одет и сыт.

Чуда в людях не бывало,
Как вселенна создана,
На Руси бы чтоб не стало
Пива, меду и вина.

Чтоб солдат в пыли и поте
И лишась жены, отца,
И мужик в грязи, в работе
Не пил чарочки винца.

Ныне ж все они говеют
От уставов, от умов,
Тужат, стонут, но не смеют
Потузить откупщиков.

Пусть еще хоть год и боле
Будет мучиться народ,
У тебя, князь, будет море,
Будет водка, пиво, мед.

У тебя вить дел правитель
Будет зять откупщика,
Будь ему ты покровитель
Ради тестева умка.

Век не тот, чтоб кто был в силе
Разбирать твои дела:
Долгоруков [107] уж в могиле! —
Для кого тюрьма мила?

Ты ж велико сделал дело
Для верховнейших судей,
Ты на сей пустил свет тело
Видно в красоте своей.

Как проникнем в даль-судьбину—
Князь был прежде при весах,
Весят где грибы, свинину...
Ныне что в его руках!

Прежде весил все припасы
Мыло, сало и гусей [108],
Ныне ест он ананасы
За судьбу и рок людей...

Здравствуй с сею, князь, добычей,
С министерской головой!

Прежний ты держи обычай,
Прежнею пари стезей!

Коей шел ты в прежне щастье,
Пред собою дщерь ведя,
Пусть еще придет ненастье
И еще спасут тебя.

Об тебе нам насказали,
Будто стал с другим умом,
Совесть, душу приписали,
Будто брезгаешь ты злом.

Слух прошел, что не желаешь
Быть с министерским пером,
Будто жить располагаешь
С прежде схваченным добром.

Кто и чувствует и знает
Цену праведных весов,
Тот их пусть и отвергает,
Но ты, князь мой, не таков [109].

XI

Выступая против правящей верхушки класса дворян-землевладельцев, придворно-гвардейская фронда конца XVIII—начала XIX в. сама была плотью от плоти и костью от кости господствующего класса. Влияние радикально-буржуазных идеологий только слегка коснулось ее, вернее даже не всей фронды в целом, а немногих отдельных ее представителей:



РУССКИЙ КРЕСТЬЯНИН КОНЦА XVIII ВЕКА
Рисунок тушью Эшара
Государственный Эрмитаж, Ленинград

в основном борьба шла в пределах единой классовой идеологии, опиравшейся на принципы экономической гегемонии и сословных привилегий.

Переворот 11 марта 1801 г., совершонный руками придворно-гвардейской фронды, был типичным дворцовым coup-d'état, каких много было в XVIII в. Никакого революционного значения он не имел. Известно, что убийство Павла I было связано с разрывом англо-русского союза. Недаром первым делом Александра I была посылка курьера в Англию с возвращением мира. Главную роль в событии 11 марта сыграло отнюдь не «вольнолюбие» дворянских оппозиционеров, а английское золото, не гражданское мужество гвардейских фрондеров, а трезвый расчет лорда Уитворда (британского посла при Петербургском дворе).

Гвардейская молодежь, привлеченная к делу низложения неугодного крупнопоместному дворянству монарха, после переворота 1801 г. очутилась в двусмысленном положении. В дни «Александровской весны» она пыталась примкнуть к группе «молодых друзей» Александра I (Чарторижский, Новосильцов, Кочубей, Строганов), вырвавших победу и власть на следующий же день после 11 марта из рук Палена и его сообщников. Но интересы среднедворянской, родовитой и «обездоленной» фронды роковым образом не совпадали с интересами барственных либералов, разводивших розовой водицей британского конституционализма политику укрепления экономической и социальной гегемонии крупнопоместного землевладения.

Гвардейская фронда ничего не выиграла, она и в условиях нового царствования осталась попрежнему на позициях, враждебных правительству и царю. А вскоре же последовавшее крушение политики «молодых друзей» определило окончательный разгром оппозиционных идеологий вообще. Аракчеев, бесцеремонно срывавший последние целомудренные покровы официального либерализма, отнюдь не имел склонности заигрывать с гвардией; гатчинский режим восторжествовал с новой силой (хотя и в несколько иных формах), и гвардейская фронда в очень короткий срок отказалась от реализации всех своих планов и начинаний.

Ниже мы приводим несколько произведений подпольной сатирической литературы 800-х годов, расположив их соответственно тем основным направлениям, по которым шло развитие дворянско-оппозиционных настроений в начале царствования Александра.

Но прежде чем перейти непосредственно к литературе оппозиции, приведем одно стихотворение, выражающее характерные для некоторой части дворянского общества 800-х годов преувеличенные надежды на либеральные реформы Александра, на возвращение «золотого века» Екатерининского царствования. Насколько необоснованы были эти надежды—увидим ниже из других произведений подпольной музы. Даем текст стихотворения:

СТИХИ

на прибытие в Курск малороссийского Генерала-Губернатора князя Алексея Борисовича Куракина для обозрения дел и некоторых следствий в апреле 1806 года

Ну! полно, Муза, спать, проснися!
Полтавской едет гость сюда,

Встряхнись, умойся, причешися
Вот так!—ой девка! хоть куда!
Смотри ж—скромненько приоденься,
Чинненька будь—и не кобенься,
А попросту, без всех затей;
Белил, румян совсем не надо,
При нем быть можно без наряда,
Он знает различать людей.



КРЕСТЬЯНЕ-ИЗВОЗЧИКИ
Рисунок тушью Эшара
Государственный Эрмитаж, Ленинград

Со сна!—так пой ты на бемоле,
А если хочешь—заори!
Взять тон в твоей, голубка, воле,
Лишь только правду говори.
Чтоб не было ни лжи, ни лести,
Чтобы ничьей не трогать чести,
А именем все вещи звать,
Как например: вздор можно вздором,
А вора—всем возможно вором
Без страха нам именовать.

Пустилась Муза петь те веки,
Как можно было взятки брать,
Текли судьям златые реки,
Не нужно было в банк играть.
Кто просьбу лишь подать смышляет—
К судье заране прибегает,
Кладет на столик сигунка;
А если тяжба хлопотлива,

Жена судейска не брезглива—
Сама возьмет из сундука.

Кто прежде не имел соломы
Чем бедну хижину покрыть,
Накупит тот деревни, домы,
Лишь только б удалось побыть
Судьей лет пять, шесть, иль десяток.
Коней, овец, коров, теляток
И дом, как полну чашу, заведет;
Да будет чем и поделиться,
Когда нещастьишко случится,
Домой с остатком побредет.

Начальникам места в продажу
Давались прежде с молотка,
А брал он сверх того за кражу
С богатого и бедняка.
Исправник хочешь быть—торгуйся,
А с честным именем не суйся:
Уезду всякому цена!
Дай цену—после грабить волен,
И будет всяк из нас доволен,
К местам дорога здесь одна.

Вот так-то в старину бывало,
Зато и всем уж был хабар,
Чего ж тогда недоставало?
Места ходили за товар.
Есть деньги—место вдруг готово,
Нет их—о месте уж ни слова,
Или за откуп, как не дать?
Когда начальнику нет платы,
Он втрое наведет утраты
И не позволит притеснять.

Да, полно, девка! Завралася.
Почто о прошлом вспоминать?
Иль рада ты, что дождалася
Того—кто едет восставлять
Во всем порядок и устройство,
Доставить жителям спокойство
И зло исторгнуть, истребить.
Он волю вышню исполняет,
Всего себя истощевает,
Чтоб всех законом защитить.

Гряди! гряди! к нам муж почтенный!
Благую волю совершай,
Лучем небесным озаренный
Покой стране сей возвращай.
Да правда пред тобой предъидет,
Фемида здесь на трон свой взыдет
И зло во узы заключит.

С весельем честь тебя встречает,
Порок со страхом ожидает,
Народ—твой вход благословит! [110]

Ревизия кн. А. Б. Куракина была вызвана исключительными злоупотреблениями курского губернатора Протасова: «Войдя в соглашение с председателем гражданской палаты Пузановым, он обирал губернию и продавал правду за деньги. Откупщики вина были обложены губернатором ежегодным окладом в 2500 руб. с каждого города, которых в губернии было пятнадцать. Исправники, выбираемые дворянством, как люди честные, были сменяемы и заменяемы другими, обязанными платить губернатору по 500 рублей ежегодно. Лица эти, выручая деньги для уплаты начальству, не забывали и себя, притесняли жителей многочисленными поборами, покровительствовали ворам и грабителям. Грабежи среди бела-дня были делом обыкновенным, и земская полиция, будучи сама участницею во всех противозаконных поступках, никогда не задерживала воров и не находила украденного. В 1804 и 1805 гг. Протасов потребовал и получил от Курской городской думы по 3000 руб. из доходов ярмарки и в том числе 1000 руб. золотом. Осматривая присутственные места в гг. Рыльске и Обояни, он взял с каждого из городских обществ по 500 руб. и неизвестно сколько с губернских правлений за неправильное производство дел... В Белогородском уезде исправник Пузанов, родной брат председателя гражданской палаты, соумышленника губернатора, собирал с крестьян по 5 коп. с души на свою свадьбу» (Н. Дубровин.—«Русская жизнь в начале XIX в.», см. «Русская Старина» 1899, № 6, стр. 499—500).

Автор этого оптимистического стихотворения, столь твердо рассчитывающий на восстановление «во всем порядка и спокойства», князь Прокопий Васильевич Мещерский (1736—1818), принадлежал к числу обиженных Павлом I вельмож. Богатейший курский помещик и крупный чиновник (гофмаршал и петербургский гражданский губернатор, пользовавшийся одно время расположением Павла и «отрешонный от должности» в 1800 г.), Мещерский был весьма образованным и талантливым человеком. Обладая обширными сведениями из разных областей знания, он занимался живописью, скульптурой, резьбой по дереву, токарным и слесарным делом (завел у себя в поместьи мастерскую художественной мебели). Приведенное стихотворение не есть единственный след литературных занятий Мещерского. Нам известны четыре его оды, обращенные к Павлу I [111]. Кроме того Мещерский был замечательным актером-любителем реалистического склада и, по словам М. С. Щепкина, «первый в России на сцене заговорил просто» [112]. Последние годы жизни Мещерский провел в отставке, послушником Знаменского монастыря (под Курском). «Бывший вельможа не принимал монашеского чина, однако жил много лет в монастыре, ходил в черной рясе со звездою на груди и часто говаривал проповеди в своей обители. Мне случалось не один раз слышать его громы против слабостей человеческих», вспоминал Кс. Полевой [113].

Что касается князя Алексея Борисовича Куракина (1759—1829), в прославление которого написано стихотворение Мещерского, то это был один из «просвещенных вельмож», получивший прекрасное образование в Лейденском университете (Куракин был воспитанником

гр. Н. И. и П. И. Паниных). Вместе с братом Александром Алексей Куракин играл большую роль при дворе Павла I до 1798 г. (занимал посты генерал-прокурора, министра департамента удельных имений и директора Ассигнационного банка). Куракин (равно как и кн. П. В. Мещерский) примыкал к партии фрейлины Нелидовой; победа партии Кутайсова-Ростопчина-Лопухина вынудила Куракина выйти в отставку. При Александре I, в 1802 г., он был назначен малороссийским генерал-губернатором, а в 1807 г.—министром внутренних дел (с 1826 г. Куракин—канцлер российских орденов, входил в состав Верховного суда по делу декабристов). По отзыву А. Ф. Воейкова, Куракин «пользовался особенным благоволением... и считался домашним человеком при маленьком дворе великого князя Павла Петровича. По вступлении его на престол он занимал важные должности, но не был государственным человеком в хорошем смысле этого слова. Его развратная жизнь, мотовство, хлопотливость без пользы, проекты неисполнимые или пустые, недостаток образования, хотя при уме от природы остром, делали его тяжелым для подчиненных и неправосудным при благородном стремлении к правосудию» [114].

Стихотворение Мещерского стоит всецело еще за пределами собственно-оппозиционной литературы. По существу то хвалебная ода не столько в адрес Куракина, сколько в адрес Александра I, интересная для нас только своим ретроспективным взглядом на «неустройство» павловской эпохи.

Следующим этапом может служить например найденная нами басня «Странники», выражающая умеренно оппозиционные настроения той части дворянского общества, которая искала причину отечественного «неустройства» исключительно в произволе «порочных» министров и сановников, «обманывающих доброго царя» и мешающих ему править государством на началах строгой законности. Такая сатира не имеет еще достаточной остроты,—она поверхностна, прекраснодушна и не затрагивает личности монарха. Приводим текст басни:

СТРАННИКИ

Басня

Златова века дни в России миновали: *
Закон и Истина отголь откочевали,
И прожили пять лет,
Превыше всех планет.
Когда же доброй царь на Российский трон вступил,
Закон и Истину к себе сойти просил.
Кому не хочется туда, где есть потомки?
Срубили костыльки, навесили котомки,
Присели на полу,
Потом, воздав Сатурну похвалу,
Закон и Истина с богами распростились,
В Россию ниспустились.
Закон одет в старинной полкофтан,
Который нашивал покойный Каинан.

* Кончина Екатерины II.— *Автор.*



ПАВЕЛ I
Мраморный бюст работы Ф. И. Шубина (конец XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград

А Истина, сквозь звезд путь жарким полагая,
Пришла совсем нагая,
И точно так—по правде говорю—
Явилися к царю.
Дивили Росской двор столь грубые невежды,
Придворные свои давали им одежды
И маски на лицо,
Учили говорить по случаю словцо;
Но гости грубые вели себя упрямо:
Что видели, то все царю вещали прямо
В глаза —
Касалось что равно до двойки, иль туза.
Разврат сей Истины и грубости Закона
Порядок и дела разрушили у трона.
Там жалоба, там стон,
Там внучек обойден.
Чтож делать тут пришлось: гостям поправить кости.
Но Правда и Закон ведь званы были в гости.
За чем тот час
Для новых сих гостей придумали приказ:
Чтоб им, друзьям, держать обыкновенье древне,
По спискам числиться, а жить всегда
в деревне.
Но доброй царь приказ тот отменил,
И вместо оного противный сотворил:
«Закону ввек сидеть у трона без покою,
А Истине водить всегда его рукою».
Поверьте—царь им рек—от вас не отлучусь,
От вас я царствовать учусь.
Тут доброго царя министры обманули,
Лесть гнусну—Истиной и Ябеду—Законом
В тех точном образе представили пред троном,
А странникам честным приязненно шепнули:
Коль живы быть хотят—скорее б убирались
И к доброму царю во веки не являлись.
Закон и Истина, себя спасая,
Принуждены бежать, о Россах воздыхая.
С тех пор Лесть с Ябедой монархом добрым правят,
Порочных жалуют, достойных, честных давят [115].

XII

Другие подпольные стихотворцы глубже постигали суть дела и «подсвистывали» уже самому Александру I. Н. И. Греч, вспоминая о первых годах Александрова царствования, писал: «Нельзя сказать, чтоб и тогда были довольны настоящим порядком дел. Простая и тихая жизнь государя, его бережливость, его снисхождение к людям, которые того не заслуживали, и главное—внушение зависти и злобы—возбуждали порицания его правления и действий. Эти порицания проявлялись в рукописных стихотворениях. Самое сильное из этих стихотворений было: Орлица, Турухтан и Тетерев, написанное не помню кем» [116].

Упоминаемое Гречем стихотворение сохранилось во множестве списков и с большими основаниями приписывается перу Дениса Давыдова, в ту пору (1803—1804 гг.) молодого кавалергардского поручика, прославившегося своими «вольными» баснями «Голова и ноги» и «Река и зеркало», а также сатирой «Сон» [117].

«Орлица, Турухтан и Тетерев» является своего рода программным стихотворением дворянской фронды 800-х годов. Здесь нашли себе отражение и воспоминания о «золотом веке» Екатерины, и обманутые надежды на возвращение этого «златого века». Давыдов самым резким образом отзывается об Александре I, обещавшем в манифесте управлять «по законам и по сердцу возлюбленной бабки» и не сдержавшем своих обещаний. Любопытная деталь: особо подчеркнута «скупость» Александра. Дворянство все еще мечтало о былом великолепии императорского двора, о щедрых подарках и награждениях. Александр же действительно был скуповат, а особенно на денежные и земельные награды. Педант и формалист, он прежде всего хотел видеть везде и всюду порядок, план. Когда улеглись первые восторги после низложения Павла, дворянская фронда убедилась, что с всероссийского вахтпарада она попала во всероссийскую канцелярию. И та и другая были ей одинаково чужды и враждебны. Великий «осьмнадцатый век», век дворянского процветания, не возвращался.

В виду крупного значения басни Давыдова в истории подпольной поэзии и малой ее известности имеет смысл привести ее целиком; под «Орлицей» в ней следует понимать Екатерину II, под «Турухтаном»—Павла I, под «Тетеревом»—Александра I.

ОРЛИЦА, ТУРУХТАН И ТЕТЕРЕВ

Орлица
Царица
Над стадом птиц была,
Любила истину, щедроты изливала,
Неправду, клевету с престола презирала.
За то премудрою из птиц она слыла,
За то ее любили,
Покой ее хранили.
Но наконец она Всемощною Рукой,
По правилам природы,
Прожив назначенные годы,
Взята была судьбой,
А по-просту сказать—Орлица жизнь скончала;
Тоску и горести на птичий род нагнала;
И все в отчаяньи горчайши слезы льют,
Унылым тоном
И со стоном
Хвалы покойнице поют.
Что сердцу горестно, легко ли то забыть?
Слеза—души отрада
И доброй памяти награда.
Но—как ни горестно—ее не возвратить...
Пернаты рассуждают,
И так друг друга уверяют,

Что без царя нельзя никак на свете жить,
И что царю у них, конечно, должно быть!
И тотчас меж собой совет они собрали
И стали толковать,
Кого в цари избрать?
И наконец избрали...
Великий боже!
Кого же?
Турухтана!
Хоть знали многие, что нрав его крутой,
Что будет царь лихой,
Что сущего тирана
Не надо избирать,
Но должно было потакать, —
И тысячу похвал везде ему трубили:
Иной разумным звал, другие находили,
Что будет он отец отечества всего,
Иные клали всю надежду на него,
Иные до небес ту птицу возносили,
И злого петуха в корону нарядили.
А он —
Лишь шаг на трон,
То хищной тварью всей себя и окружил:
Сычей, сорок, ворон — в павлины нарядил,
И с сею сволочью он тем лишь забавлялся,
Что доброй дичью всей без милости ругался:
Кого велит до смерти заклевать,
Кого в леса дальнейшие сослать,
Кого велит терзать сорокопуту —
И всякую минуту
Несчастья каждый ждал.
Томился птичий род, стенал...
В ужасном страхе все, а делать что—не знают!
«Виновны сами мы,—пернаты рассуждают,—
И, знать, карает нас вселенные творец,
За наши каверзы, тираном сим вконец,
Или за то, что мы в цари избрали птицу
Кровопийцу!..»
И в горести они летят толпой к леску,
Размыкать там свою смертельную тоску.
Не гимны, Турухтан, тебе дичина свищет,
Возмездия делам твоим тиранским ищет.
Когда народ стенет, всяк час беда, напасть,
Пернаты, знать, злодейств терпеть не станут боле!
Им нужен добрый царь,—ты ж гнусен на престоле!
Коль необуздан ты—твоя несносна власть!
И птичий весь совет решился,
Чтоб жизни Турухтан и царствия лишился.
К такому приступить гораздо делу трудно!
Однако, как же быть?
Казалось многим то безумно,

В КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЕ
Рисунок Ж. Б. Лепренса (вторая половина XVIII в.)
Государственный Эрмитаж, Ленинград



Но чем иным переменить?..
Ужасно действие и пропасть в нем греха!
Да как ни есть
Свершили месть—
Убили петуха!
Не стало Турухтана,—
Избавились тирана!
В восторге, в радости, все птицы вне себя,
Злодея истребя,
Друг друга лобызают
И так болтают:
«Теперь в спокойствии и неге заживем,
Как птицу смирную на царство изберем!»
И в той сумятице на трон всяк предлагает:
Кто гуся, кто сову, кто курицу желает,
И в выборе царя у птиц различный толк.
О, рок!
Проникнуть можно ли судеб твоих причину?
Караешь явно ты пернатую дичину!
И вдруг сомкнулись все, во всех местах запели,
И все согласно захотели
Чтоб Тетерев был царь.
Хоть он глухая тварь [118],
Хоть он разиня бестолковый,
Хоть всякому стрелку подарок он готовый,
Но все в надежде той,
Что Тетерев глухой
Пойдет стезей Орлицы...
Ошиблись бедны птицы!

Глухарь безумный их—
Скупяга из скупых,
Не царствует—корпит над скопленной добычью,
И управлять другим несчастной отдал дичью.
Не бьет он, не клюет,
Лишь крохи бережет.
Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают...
Их гнусной прихотью: кто по миру пошел,
Иной лишен гнезда—у них коль не нашел.
Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,
И сущий стал разврат во всем дичином царстве.
Ведь выбор без ума урок вам дал таков:
Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.

К басне Дениса Давыдова примыкают любопытные дилетантские вирши неизвестного автора «Сновидение, бывшее мне в ночь на 4-ое июля 1794 года», где также дается своего рода историческое обозрение всех трех царствований—Екатерины («Фелица»), Павла («лев», «левишка») и Александра («осел»). Характерно, что при всей ненависти к Павлу I автор отмечает «одну лишь справедливость» сего «алчного льва», а именно «умерщвление горделивости и лукавства», а также с явным сожалением вспоминает щедрость Павла, который «не думал о крестах и казне», награждая своих любимцев. Это прямой укол Александру I.

«Сновидение» написано стихами и прозой. Опускаем прозаическое введение, где автор рассуждает о вреде карточной игры, и приводим стихотворный текст. Автор заснул после крупного проигрыша и во сне «представилось ему следующее видение»:

Будто я по утру рано,
На рассвете, может быть,
От приятеля И д а н а *
Принужден пешком иттить!
Потому что изломалась
Ось кареты моея.—

Ж у т к о мне итти казалось;
Признаюсь трусенек я!
Люди ж все мои остались:
У кареты с лошадьми;
Все над ней они копались
Все трудилися вельми!

Вот резон, что за собою
Я слуги не потащил;
А с претолстою клюкою
Лишь один домой з а р ы л.

Шел и всюду озирался,
Лихорадкою страдал;
Тени собственной боялся,
И столбов, канав дрожал.

* Имя известного нам Банкира.—*Автор*.

Миновал Сенную разом—
Невской весь проспект прошел,
Но меж тем блеснул алмазом
Солнца лучь, и—день расцвел!

Утро было превосходно,
В форме милая весна!
Выхожу на место лобно:
Площадь вся людьми полна!
Весь Сенат цветами убран,
Монумент весь в лаврах был,
Центром он в нáроде избран,
Круг его весь сонм толпил.

Имя мудрые Фелицы
Возглашали до небес!
Имны пели ей певицы
И тьма сыпалась чудес!—
Сонмы Гениев летали
И венцы носили ей;
Нимфы розы рассыпали,
По путям, ведущим к ней.

Там до тысячи Амуров
В колесницах золотых
Кучу славных трубадуров,
Позабыв что во святых,
Сами мчали ко царице,
Угодить стараясь ей;—
И с почтением Фелице
Поднесли венки лилей!

И Минерва мудролюбна
Бог войны, кровавый Марс;
Словом:—Галка и Голубка,
Заяц, Лев и лютый Барс,
Все Фелице поклонялось!
«Все услуги предлагали
«И за щастие щитали
«Угодить коль удавалось».

Праздник был весьма великой,
Что нет силы описать:
Просвещенной, даже дикой—
В боги рад ее включать!—
Все довольством наслаждались
Сень у всякого была,
Ели, пили, прохлаждались:
Жизнь блаженной всех слыла!—
«Я дивился с благовеньем
«И щитал непостижимой,
«К ней исполненный почтеньем,
«Обелиск доброты зримой!»

К сонму радостных приставши,
Лепетал—«Се Россов мать!
«Мы теперь тебя познавши,
«Ради все сердца отдать!»
Торжество такое длилось,
Мне мечталось тридцать лет;
Как без шуток, точно снилось:
Верь пожалуй или нет!

«Но уставши, ослабевши
«Пир и радости оставил,
«На извощика тут севши,
«Путь домой я свой направил».
Вот нещастие!—забываю
Ключь от хаты я своей,
Возника опять наймаю—

Вспять пуститися скорей.
Конь несется—пыль столбами
Подымается от ног;
Что держать едва руками
Он его тогда возмог!!

«Вот опять уж пред Сенатом
«Мигом с дрожек я слезаю,
«Возника свово пускаю»—
И пешечком пробираюсь меж толпой:
Вижу Гвардию парадом
Распростерту стороной,
А народ уныл в печали
Вдруг премену испытал;
Клики радости пропали:
Вопль и стон я лишь внимал!
Удивился и—не знаю,
Что подумать:—обомлел!
Те же лица все встречаю,
Лишь веселья не нашел.

Тишина везде простерлась
Смерть отверзла люту пасть,
Скука с яростию сперлась
И в народ ввела напасть.

Я дрожал и опасался:—
Знать причину перемен,
Думал, видел, сомневался,
Мнил, что я обворожен!

Но решить чтоб подозренья
Втерся я в толпу людей.—
И увы!—О страх!—мученье!
Россы! вас попрал злодей!..
Зрак Петров исчез в минуту
И на месте монумента

Я узрел Гиенну Люту!!
— — — — — — — — — !! *

На прекрасном пьедестале,
На коне, где Петр сидел,
В страшном пламенном уале**
Дикой лев рыкал, ревел!



АНГЛИЙСКАЯ ЦВЕТНАЯ КАРИКАТУРА, ИЗДАННАЯ В ФЕВРАЛЕ 1800 г.: НАПОЛЕОН ДЕРЖИТ НА ЦЕПИ РУССКОГО МЕДВЕДЯ — ПАВЛА I

Карикатура имеет в виду сближение России с Францией в последние месяцы жизни Павла и в связи с этим разрыв с Англией, приведший к подготовке военных действий русской армии против Англии

Публичная Библиотека, Ленинград

Глаза, кровью напоенны,
Всюду простирали смерть!
Зверь лихой, ожесточенный
Мнил труды Фелицы стерть.
Всех терзал, тиранил, мучил,

* Пропуск в рукописи.—*В. О.*
** То-есть в вуали.—*В. О.*

Грыз, жевал и ел народ,
Быть минуту тихим скучил,
Прекратил почти все в год.
И плоды Фелицы нежной,
Просвещения плоды!
Были жертвой неизбежной:
Зверь низверг ее труды;
Все по-своему коверкал,
Новый вид дурной давал
— — — — — — — *
И доброт трофей сломал.

Злых людей, тиранов дерских
Он любимцами избрал,—
И в делах прениских, мерских
Лютой аспид утопал:
Войско мучил по пустому,
В букли все его вчесал
И по вымыслу смешному
По-дурацки одевал! — — —

Им одним и занимался,
О другом совсем забыл,
В мыслях свет пленить збирался—
Мальту даже победил **

Ей Гросмейстером назвавшись,
Утешался, как дурак,
Вздором сущим занимавшись,
Не в перед—он полз как рак.

Всех мужей мудролюбивых,
Всех советников благих,
Он из Росских стран щастливых
Высылал в края чужих.

И сажал в тюрьмы поносны,
Иль к Тоболю отвозил,
Иль во гневе громоносном
Он других мертвил, казнил.

Словом: все равно страдали—
И невинной и злодей,
Все тирански погибали
От его острых когтей.

Скиптр железной совершенно
Бедных Россов всех попрал,
Ах! из них всяк несомненно
Тяжесть ига испытал!

Вот одну лишь справедливость
Лев нам алчный изъявил,

* Пропуск в рукописи.—*В. О.*
** Говорят, что на острове Мальте живали самые храбрые и отважные львы.— *Автор.*

Что тирански горделивость
И лукавство умертвил.

Наградить кого коль вздумал,
То уж славно награждал:
О крестах, казне не думал,
Все любимцам отдавал.

Но за то и наказанье
Было слишком через-чур...
Вкусишь истинно страданье,
По неволи бросишь дурь.

Век подобной продолжался
Я не помню сколько, как,
Потому что я боялся,
Хоронился как Байбак.

Но то живо представляю;
Как вдруг тройка сорванцов[119],
Из Российского же краю
Подобравши удальцов,
Наскочили на злодея
Как бедняк левишка спал,
Зев его оцепенея
Зла коварств не изрыгал.

Молодцы к нему подкрались
И увалем златотканным[120],
Адска сына постарались
С духом низким и поганым
«Отпустить в лутчайший мир
«Тут исчез его кумир».

Россов пляски раздалися,
Новый век златой настал,
Сонмы радостей неслися,
Град веселостей ниспал.

Все темницы отворились,
Сын спешит отца обнять,
Старцы страждущи явились
Чтоб детей, семью лобзать.

Все кричали: се златое
Время нам господь послал;
Время райское, святое
Век блаженства всех восстал[121].

Я стоял и удивлялся
Скорой радости такой;
Льва хотя уж не боялся,
Но не в месте был дух мой.
И не знаю сердцем что-то беспокойство
Ощутил
Дух уныл!—
Вдруг на новое устройство

Робкой взор мой обратил.
Ах, на место льва лихова
Мне представился о с е л;
Он мычал не молвя слова:
Всяки вздоры, глупость плел!

Уши длинные висели,
У него почти до ног;
Глазки хоть н а н а с глядели,
Видить ими он не мог.

«А прокляты лиходеи,
«Окружаючи его,
«Адски, мерски чародеи!
«Взяли власть всю у него».

Что хотели—то творили
Он лишь ротик разевал;
Они всем его кормили,
А простак все то жевал.

Что не молвят: все прекрасно!
Жалкой скотик повторял;
И все в мире безопасно
Им охотно поверял [122].

Образумилися люди,
Вкруг стоящие меня
И шепнули меж себя:
«Что плывет теперь все ўди!
«А то братья! пропадем,
«Колдунам и чародеям
«Коль даров не принесем».
Кучки стали расходиться,
Поведя различной толк,
Принужден и я тащиться
Во Семеновской свой полк * [123].

XIII

Особое место в подпольной сатирической литературе 800-х годов занимает группа стихотворений, выражающих недовольство огромной массы мелкого служилого чиновничества, примыкавшего к придворно-гвардейской фронде, но тем не менее не сливавшегося с нею. Недовольство мелкого чиновничества, далекого от вопросов текущей политической жизни, вызвано было преимущественно предпринятой Александром I реформой государственного аппарата.

Борьба шла вокруг знаменитых указов 1809 г. о придворных званиях и об экзаменах на чины. К началу XIX в. придворные и административные штаты Российской империи необычайно разбухли. Множество чиновников было «причислено» к разным министерствам и учреждениям. Ничего не делая, они получали жалованье, чины, ордена, денежные подарки. Современник (В. Н. Каразин) писал, что «две трети служащих

---

* Я жил тогда в Семеновском полку.— *Автор.*

совсем не несут службу»[124]. Особенно много бездельников было при царском дворе, где щедро раздаваемые по всякому поводу (а чаще без всякого повода) звания камер-юнкера и камергера давали классные чины (V и IV класса).

Указом 3 апреля 1809 г. лицам, носящим придворные звания, было предложено в двухмесячный срок избрать род действительной службы (гражданской или военной—безразлично), или же выйти в отставку. По новому закону только действительная служба давала право на полу-



М. Н. СПЕРАНСКИЙ
Гравированный портрет пунктиром, приписываемый И. Розанову
Государственный Эрмитаж, Ленинград

чение классных чинов, придворные же звания были объявлены исключительно почетными. По словам Ф. Ф. Вигеля, указ 3 апреля «обрадовал разночинцев», тянувших тяжелую служебную лямку в департаментах и канцеляриях, в то время как преуспевающие придворные бездельники обгоняли их на пути к высоким чинам и почетным наградам.

Но радость «разночинцев» была непродолжительной. В августе того же 1809 г. был обнародован второй указ, предписывающий всем чиновникам, претендующим на получение чина коллежского асессора, представить дипломы об окончании какого-либо из русских университетов, или же сдать специальный экзамен в объеме университетского курса.

Действие этого указа распространялось также и на производство в чин статского советника. Указ этот внес необычайное смятение в многотысячную армию русских чиновников, в огромном большинстве не блиставших своим образованием.

Как известно, указы 1809 г. были выработаны М. М. Сперанским. Естественно, что первый из них восстановил против Сперанского «золотую молодежь», составлявшую придворный круг, а второй—всю массу чиновников. «Дерзкий попович» разрушал основы социального благополучия одних и посадил на школьную скамейку других. «После такой неслыханной наглости Сперанского, конечно, нельзя было не признать человеком самым опасным, стремящимся к уравнению всех состояний, к демократии и, оттуда, к ниспровержению всех основ империи» [125]. На Сперанского открыто посыпались обвинения в «якобинской ереси», в иллюминатстве, в распространении революционного духа и разжигании ненависти к дворянскому сословию.

Дворянские Митрофанушки больше всего опасались, что при новых порядках все хлебные и почетные должности будут замещены умными семинаристами, обученными «римским правам». Эти опасения пронизывают все сатирические произведения, направленные против Сперанского:

Велики чудеса Сперанский нам явил:
Науками он вдруг дворян всех задавил.
Сперанский выдумал учить уж стариков
И хочет делать он из мухи пауков.
Велик он стал теперь, хотя и сын поповской,
Но к сожалению в нем разум не отцовской.
Громаду света он желает пременить
И чтоб в хаосе том себя навек затмить [126].

С предельной четкостью настроения подобного рода выражает стихотворение «Увы», не бывшее еще в печати. Это поистине «вопль» мелкого обездоленного дворянина (повидимому военного), который недоволен решительно всем: и возвышением Сперанского («правят росскими сынами не баричи, а звонари»), и награждением купцов орденами («знак чести»—вековая привилегия дворянина—дается «плуту»), и необходимостью засесть за изучение «философов, Вольтеров». Здесь все смешано воедино: и сознание ущемленного дворянского достоинства, и грозные филиппики по адресу богатых плутов и порочных сановников. Все это подается в плане тоскливых воспоминаний о «златом веке» Екатерининского царствования. В настоящем автор видит одни лишь «рюины» былого великолепия, с Екатериной для него «погибло щастье россов», России он пророчит «дни паденья», судьбу разрушенных царств—Спарты, Афин, Греции и Рима. Перед нами своеобразный документ распада классового самосознания рядового русского дворянина.

УВЫ!

Что мир с неправдой подружился
Повсюду зрим пример тому:
Кто плут, тот в нем обогатился,
А честной носит лишь суму.
Развратник, совесть истребивши,
Забывши бога, стыд и честь,

Обидя ближних и сгубивши,
Щастливо может жизнь провесть.
Зазренья совести не зная,
Он слез обидимых не зрит,
Шампанским совесть запивая,
На лоне нег спокойно спит.
А честной нудится, трудится
Но что ж в награду?.. Нищета!
От честности нельзя разжиться
И честь со бедностью слита.
Бедняк повсюду зрит препоны:
С богатым в тяжбе ль... проиграл!
Того лишь милуют законы,
Кто более Акцизу дал.
Будь плут, будь вор, но есть богатство —
Тот в свете честным прослывет,
Чрез деньги всякое препятство
Как лед весною пропадет:
Видал я что и пенсионы—
Награда службы многих лет —
Даются тем, кто миллионы
Вельможам стороной дает.
А тот кто ранами, трудами
Кусок сей малой заслужил,
Имеет лишь мундир с дырами,
В комплет без денег не вступил.
Видал ей-ей [и я] в столице
Увечных воинов тех тьму,
У коих крест висит в петлице,
А воин сей несет суму!!!
Кресты хоть есть, но не питают,
Здоровья... сил... не возвратят,
Они его лишь отягчают
И по миру бродить стыдят.
Да и златые те медали,
У нас отличьем что слывут,
За деньги часто продавали,
Чтоб был еще нарядней плут.
За деньги, вещи дорогие —
Достоинства пойдут тотчас,
Услуги важные, большие
Царю представят на показ.
Монарх же, видя представленье,
Подумает, что точно так,
Свое подпишет изволенье
Послать для плута чести знак.
А тот наденет и гордится,
Что я-де орден получил,
И часто кто купцом родится,
За деньги барство подцепил.
Недавно видел я в столице,

Как плут Владимира надел...
Так точно: он висит в петлице,
Но плут сим сердца не согрел.
По правде к ближнего люблению
Все плут остался к сожаленью.
Но чудно то: что в орден плута
Монарх наш кроткий нарядил.
Но чудно то, что из банкрута
В купцы статейны посвятил.
Святой Владимир за заслуги
Давали барам лишь одним,
Иль кто отечеству услуги
Соделал разумом своим:
На тех сей орден надевали
И тех он только украшал,
В него купцов не наряжали,
Его дворянству царь давал.
Купцам же честности в награду
Рескрипт давали и медаль.
Она шла точно к их наряду,
Рескрипт же был для них скрижаль.
Но ныне что сии медали?
Какое уваженье к ним?
Кому ж ужь их не надевали —
И коновалам-то самим!!!—
Святой Владимир в униженьи!
Великий боже!.. стынет кровь!
Тот крест упал, что был в почтеньи,
Падет и к Отчеству любовь.
Падет и слава, честь России,
Которую приобрела.
Увы! знать дни ее златые
Екатерина унесла.
Исчезла Россов мать, царица,
И щастье их погибло с ней!
Москва, хоть та же все столица
Но все не то, что было в ней.
Россия, зри свои рюины,
Оплачь падение свое,
Твои министры, Агриппины,
Лишь губят бытие твое.
Они тебя лишь унижают,
О прежней славе не брегут,
И дни паденья ускоряют,
Тебя собою погребут.
Исчезла Спарта и Афины,
Исчезла Греция и Рим,
Из царств столь сильных лишь рюины
Одни мы ныне только зрим.
И ты падешь, Россия, равно,
В тебе все клонится к сему,

Приходит время своенравно
Нельзя сказать: Постой! ему.
Быть может что небес веленья
Удержит Россов нежна мать *,
Пред богом коль пролет моленья
Велеть чтоб времю обождать
Разрушить то, в чем век трудилась,
Как правила она тобой...
И в чем с бессмертными сравнилась,
Тебе дав жизнь, закон, покой.
Непостижимая царица!
Пролей моленье в небесах,
Чтоб время мощная десница
Не обратила Россов в прах.
Святой Владимир позабудет,
Что он наградой стал купцу,
С тобой, с тобой молиться будет
О нашем щастии творцу;
Его молитвами, твоими
Спаси Россию ты свою,
Еще побудь между родными
И дай головушку твою.
Премудрости твоей лучами
Их разум темной озари,
Что правят Росскими сынами
Не баричи, а звонари!
Которые людей не знают,
Быв сами прежде гнусна тварь,
За деньги только награждают,
Хотят чтоб был обманут царь.
И, презрев грамоту дворянства,
Которую дала ты нам,
Наделали нам тьму препятства
К стезе, ведущей нас к чинам.
Велят философов, Вольтеров,
Спинозу и других читать,
А сами в том собой примеров
Никак не могут подавать.
Увы!.. твои увянут лавры,
Царица Россов, нежна мать!
Чтоб все мы были бакалавры
Нас станут нынче обучать
Не тем, не тем, увы! искусствам,
Которы ты твердила нам,
Писав наказ по русским чувствам,
Нет, нет! по римскиим правам,
Которых мы с тобой не знали,
А жили щастливо без них,
Законы русские читали

* Екатерина.—*Автор*.

И нужды не было в чужих.
Теперь обычаи и нравы
Уже другие стали в нас,
Другие нужны нам уставы,
А твой в пыли лежит наказ!!
Тобой он писан был для русских
И все в нем русские слова...
Для нас, людей полуфранцузских,
Нейдет безделка такова.
И так прости, о матерь нежна!
Закон и страх Европы всей!
Знать наша участь неизбежна
И должно славе пасть твоей.
Но нет! хоть славы лавр увянет,
Хотя Россия и падет,
Но солнышко лишь чуть проглянет,
То лавр опять твой процветет.
Забудут ли твои потомки—
Должны хоть Россы упадать,
Но, в бедности неся котомки,
Царицу будут вспоминать.
Никто из нас и не единой
Без слез не может произнесть,
Что жили мы с Екатериной
В раю, коль на земли он есть.
Что мы с тобой существовавши
Дышали милостью твоей,
С Екатериной жизнь вкушавши
И умерли мы вместе с ней[127].

Это глубоко пессимистическое стихотворение как бы подводит итог тринадцатилетней (1796—1809) борьбы дворянской фронды за возвращение утраченных «вольностей» золотого века Екатерины. Итог весьма красноречивый. Прошло всего лишь тринадцать лет —

и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось...

В новую эпоху, начинавшуюся под знаком борьбы русского самодержавия с первыми серьезными проявлениями радикально-буржуазных идеологий, дворянская фронда вступала разоруженной.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. «Стихотворения Петра Карабанова, нравственные, лирические, любовные, шуточные и смешанные, оригинальные и в переводе». СПБ., 1801, стр. 252—256.

[2] Вопрос об авторстве этой сатиры поставлен в статье К. Я. Грота «Кто автор сатиры на первых министров Александра I. Из материалов по изданию Державина» («Известия Акад. Наук СССР», VII серия. Отд. обществ. наук. 1931, № 1. Тут же сатира издана в последний раз).

[3] Я хочу дать в моей публикации именно неизданный материал, но оговариваюсь, что поручиться за неизданность всех текстов, включенных мною в нее, было бы слишком смело при настоящем состоянии нашей библиографии.

[4] Текст стихотворения дается по списку середины XIX в. в сборнике «Девическая игрушка или полное собрание эротических, приапических и цинических стихотворений Ивана Семеновича Баркова»... и т. д. (т. II, стр. 311—314), хранящемся в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР. Этот сборник составлен вполне осведомленным любителем, даже в своем роде знатоком дела. В частности, к тексту данного стихотворения он дает варианты; следовательно он имел несколько списков под руками. К началу стихотворения он дает примечание—краткие сведения об Анне Иоанновне; он не сомневается в том, что речь в стихотворении идет именно о ней. Между тем нет ничего невероятного в том, что подзаголовок стихотворения («Сатира на русскую императрицу Анну Иоанновну»)—добавление позднейшее по сравнению с текстом.

[5] Следует оговорить, что Екатерина проезжала так близко от Глухова не в самый великий пост (см. последнюю строфу стихотворения), а за несколько дней до его начала.

[6] Вариант «квартального», или другой, непечатный.

[7] В тексте сборника ИРЛИ—другой вариант: «Вскричал... во фрунт!» Здесь дана формулировка, приведенная там в вариантах, ради печатности ее.

[8] «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие», 1759 г., февраль, стр. 191. Ср. П. Пекарский.—«Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 гг.» 1867 г.

[9] Грибовский оставил «Записки о императрице Екатерине Великой». Исследование об этих записках и о самом Грибовском см. у В. А. Бильбасова.—«Историч. монографии», т. II, 1901.

[10] В 22-м томе бумаг Державина почти все произведения—не его собственные. Ко времени до 1796 г. относится лишь несколько вещей: в начале сборника одна печатная эпистола и в конце его несколько рукописей. Басня «Быль в-очью совершается» помещена в особой тетрадке (№ 83 в томе сборника), вшитой в сборник; несомненно вся эта тетрадка занята Державинскими стихотворениями. Здесь помещены четыре его надписи «для монумента» Потемкина, потом «Басня Дуб и Прохожий» и «Басня Кедр и Прохожий»; обе басни, как и другие стихотворения в тетрадке, писаны рукою писца; но в тексте басен много поправок (и значительных) рукою Державина; затем идет стихотворение «Быль в-очью совершается». Тут же, на листе, повидимому вложенном в тетрадку, автограф Державина, набросок стихотворения «Ивану Михайловичу Бакунину» (черновик; возможно впрочем, что этот лист относится к более позднему времени).

[11] Вероятно ошибка писца: «и» лишнее.

[12] Вероятно ошибка писца: вместо «свершается».

[13] «Русский Архив» 1908, т. III, стр. 402—404. «Эпитафия на смерть его светлости кн. Г. А. Потемкина-Таврического». Сообщ. Л. Мацеевич.

[14] Часть I. 1796. Хранится в Публичной Библиотеке в Ленинграде, стр. 45.

[15] Он занимал должность оберстер-кригскомиссара флота, занимался поставками на армию, участвовал в постройке Николаева и др.

[16] Двустишие извлечено из рукописного сборника конца XVIII в., хранящегося в Публичной Библиотеке в Ленинграде (F. XVII, № 80, л. 50, стр. 97).

[17] В рукописи явная ошибка: «хвали».

[18] Стихотворение извлечено из рукописи Публичной Библиотеки в Ленинграде. F. XVII, № 80, стр. 12.

[19] Письма и бумаги Суворова. Объяснил и примечаниями снабдил В. Алексеев, т. I. Письма 1764—1781. П., 1916, стр. 380 (примечания).

[20] Там же, стр. 381.

[21] Об авторстве П. Потемкина в отношении последнего произведения см. письмо к нему кн. А. Голицына от 5 апреля 1795 г.—«Русский Архив» 1879, т. II, стр.441 и примеч.

[22] «Русский Архив» 1880, т. III, стр. 379 и сл. («Бумаги П. П. Бекетова»).

[23] Вып. VI, 1897, стр. 335—336.

[24] «Русский Архив» 1894, т. I, стр. 94—96. «К биографии гр. П. С. Потемкина». Сообщ. А. Н. Корсаковым.

[25] А. Т. Болотов, Памятник протекших времен или краткие исторические записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах. М., 1875, ч. I, стр. 91.

[26] См. В. Алексеев, Примеч. к письмам и бумагам Суворова. Указ. место.

[27] Отношения Г. Потемкина к его племянницам Энгельгардт общеизвестны.

[28] Жена Павла Потемкина.

[29] Т. е. именной указ (о графском титуле); впрочем П. Потемкин получил графство через три с лишним года после смерти Гр. Потемкина.

[30] Видимо ошибка: вместо «корыстолюбных».

[31] Намек на фамилию Потемкин.

[32] № 70—в нумерации произведений, включенных в том-сборник.

[33] Может быть ошибка: вместо «обожанье».

[34] В тексте явная ошибка: «Стритоном» (и еще: первые слова этого примечания ошибочно отнесены к концу предыдущего).

[35] Ганнибал укрылся у Прусия Вифинского (Прусия Хромого); в Вифинии он и умер. В тексте видимо ошибка.

[36] В тексте явная ошибка: «смог».

[37] П. Потемкин участвовал в штурме Измаила (1790).

[38] П. Потемкин принимал участие, кроме подавления Пугачевского восстания, в первой и во второй турецких войнах и в польском походе 1794 г.

[39] Повидимому имеется в виду участие П. Потемкина в первой турецкой войне, когда был занят русскими войсками Крым; последние ханы крымские Девлет-Гирей, Сагиб-Гирей и Шагин-Гирей принадлежали к династии Гиреев.

[40] Т. е. деятельность Потемкина во время его управления на Кавказе.

[41] В тексте явная ошибка: «чтоб»; стих мог бы быть полон и в случае варианта: «Возможно ли чтоб слезы лил»; но, помимо звуковой нестройности, едва ли допустимой в данном стихотворении,—«ь» в конце слова «Возможноль» есть в тексте результат исправления другого написания и, следовательно, труднее допустить здесь ошибку.

[42] Сборник Публичной Библиотеки в Ленинграде. Р. XVII, № 80, лист. 101 об.

[43] «Архив кн. Воронцова», т. XIV. 1879, стр. 511—512.

[44] Вероятно ошибка: вместо «во Питер».

[45] Вероятно ошибка: вместо «буянств».

[46] Ям—почтовая станция: «селенье, коего крестьяне отправляют на месте почтовую гоньбу, и где для этого станция стан» (Даль).

[47] Князем был брат Николая Зубова (графа)—Платон, любовник Екатерины.

[48] Может быть ошибка: вместо «учиться».

[49] Все эти три связанные между собой стихотворения извлечены из рукописного сборника Публичной Библиотеки в Ленинграде. Q. XVII, № 183, т. III, стр. 64—65 (они помещены здесь среди произведений конца 1801 г.).

[50] Стихотворение извлечено из упоминавшегося уже сборника А. Т. Болотова «Магазин достопамятных и любопытных бумаг и пиес, носившихся в народе». Ч. I, 1796, л. 99—99 об., стр. 187—188 (Публичная Библиотека в Ленинграде).

[51] Рукопись Публичной Библиотеки в Ленинграде. F. XVII, № 80, стр. 132—134.

[52] Месяцеслов, 1804 г. I, 45.

[53] См. Е. С. Шумигорский, Император Павел I. 1907, стр. 171.

[54] Рукопись Публичной Библиотеки в Ленинграде. Q: XVII, № 266, л. 91—93 об.

[55] F. XVII, № 183, т. II, л. 25 об.—29.

[56] См. исследование В. И. Срезневского «Заметки А. Х. Востокова о его жизни». СПБ., 1901 г.

[57] См. В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования. 1923 (глава «Ода «Вольность»).

[58] В рукописи явная ошибка: «перст».

[59] «Трости»—т. е. перу. Здесь «трость», потому что далее—«свиток».

[60] В рукописи явная ошибка: «укору».

[61] В рукописи повидимому ошибка: «мнил»; даем наиболее вероятное чтение.

[62] В рукописи явная ошибка: «заблужденья».

[63] В рукописи явная ошибка: «древних».

[64] Возможно, что здесь в рукописи ошибка и что следует читать «отцы».

[65] «Мурза в чалме, певец Астреи»—Державин.

[66] В рукописи явная ошибка: «веком».

[67] В рукописи явная ошибка: «коровой».

[68] Белый орел—польский орден, символ Польши.

[69] Имеется в виду последний «раздел» Польши, т. е. уничтожение ее как самостоятельного государства в 1794—1795 гг. (менее вероятно, что имеется в виду второй раздел ее в 1793 г.).

[70] Может быть это ошибка рукописи, вместо «Опираяся».

[71] В рукописи явная ошибка: «И преклоншись с гербом Руины»; даем наиболее вероятное чтение (могло бы быть еще такое: «И преклоншись со гербом Руины»).

[72] В рукописи повидимому ошибка: «Времена»; даем более вероятное чтение.

[73] Неполный стих.

[74] Неполный стих.

[75] Дважды повторенное «Эх!» Может быть ошибка: вместо «Ах!»

[76] Может быть ошибка: вместо «Буде».

[77] Знаменитое землетрясение в Лиссабоне (1755 г.) послужило поводом к написанию весьма известной в XVIII в. поэмы Вольтера «Sur le désastre de Lisbonne», переведенной на русский язык И. Ф. Богдановичем. Геркуланум и Помпея погибли в извержении Везувия в 79 г.

[78] В рукописи написано «груды», может быть для зрительной рифмы.

[79] Может быть ошибка: вместо «кущей».

[80] «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова». Берлин, 1870, т. I, стр. 9.

[81] «Приятное и полезное препровождение времени» 1796, ч. XIII, стр. 145.

[82] «Воспоминания Федора Петровича Лубяновского», 1872, стр. 91.

[83] А. Т. Болотов, Любопытные деяния и анекдоты, 1875, стр. 65.

[84] Н. А. Саблуков, Записки, в сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года», 2-е изд., 1908, стр. 14.

[85] «Голос Минувшего» 1914, № 1, стр. 286.

[86] Ф. Ф. Вигель, Записки, т. I, 1928, стр. 124.

[87] С рукописи. Гос. Публичная Библиотека в Ленинграде. А. Т. Болотов, Магазин достопамятных и любопытных бумаг, носившихся в народе, ч. II.

[88] Ф. Ф. Вигель, op. cit., стр. 122.

[89] А. Воейков, Дворцовая революция 1801 г., ее причины и следствия (с рукописи, сборник Публичной Библиотеки F. XVII, № 108).

[90] «Цареубийство 11 марта 1801 года», указ. изд., стр. 93.

[91] Ibid., стр. 299.

[92] Ibid., стр. 391.

[93] «Сочинения Державина» с объяснительными примечаниями Я. Грота, изд. Академии Наук, т. VI, 1871, стр. 739—740 и т. III, 1866, стр. 501.—Кто такой Лаба—неизвестно, Босканф же (вернее: Боскамп) служил тайным агентом русского правительства в Константинополе и Варшаве, современники именовали его «подлым доносчиком». Шешковский, Степан Иванович—прославленный начальник тайной полиции при Екатерине II.

[94] «Русский Архив» 1879, № 12, стр. 404—405.

[95] По официальной версии Павел I скончался от апоплексического удара.

[96] Ланской, Степан Сергеевич (1760—1813)—гофмаршал.

[97] С рукописи. Публичная Библиотека, сборник Q, XVII, № 266, с проверкой по другим спискам (там же, в сборнике Q. XVII, № 183, т. IV и в «Магазине» А. Т. Болотова, ч. II).

[98] Цитирую по Русскому Биографическому словарю, т. «Г», стр. 61.

[99] С рукописи. Публичная Библиотека. А. Т. Болотов, Магазин достопамятных и любопытных бумаг, ч. II (под заглавием: «Стихи, носившиеся в народе в 1802 году на князя Гаврилу Петровича Гагарина»).

[100] С рукописи. Публичная Библиотека. Сборник Q. XVII, № 183, т. II, с примечанием: «Сии стишки писаны на бывшего в Вятке губернатора, а потом сенатора Лопухина» (автор ошибся: Лопухин был сенатором не в Вятке, а в Ярославле и Вологде).

[101] А. Н. Вельяминов-Зернов, Убиение Павла I, в сб. «Цареубийство 11 марта 1801 г.», указ. изд., стр. 114.—Стотридцатипушечный корабль «Благодать», заложенный 25 февраля 1797 г., был спущен на воду 1 августа 1800 г. в присутствии самой А. П. Лопухиной-Гагариной.

[102] «Архив братьев Тургеневых», изд. Академии Наук, вып. 5, 1921, стр. 116.

[103] С рукописи. «Дворцовая революция 1801 г., ее причины и следствия».

[104] Часть II.

[105] В 1779—1782 гг. П. В. Лопухин «исправлял должность» петербургского оберполицмейстера.

[106] Неизвестно, какой «молодец из компанейской конторы» управлял делами Лопухина и какого откупщика был он зятем.

[107] Долгоруков (Долгорукой), князь Яков Федорович (1659—1720)—один из крупнейших государственных деятелей петровской эпохи, образец неподкупности и прямодушия, прославившийся своими спорами в Сенате с самим Петром I.

[108] Может быть имеется в виду служба Лопухина в должности московского гражданского губернатора (1783—1793), в круг обязанностей которого входил надзор над рынками.

[109] С рукописи. Публичная Библиотека. Сборник Q. XVII, № 183, т. IV.

[110] С рукописи. Публичная Библиотека, «Магазин» А. Т. Болотова, ч. II.

[111] «Ода его императорскому величеству Павлу I на победы во всевожделеннейший день рождения е. и. в.» (б. о. г.), «Ода императору Павлу I на начало XIX столетия» (1800), «Стихи е. и. в. Павлу I на случай освящения церкви в Михайловском замке» (1800) и «Ода е. и. в. Павлу I... на случай всемилостивейшего прощения отставных и исключенных...» (1800).

[112] «Записки крепостного актера М. С. Щепкина», 1928 (по указ.).

[113] «Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого», 1888, стр. 48. Подробнее о Мещерском см. в комментариях к новому изданию «Записок» под ред. Вл. Орлова (гот. к печ.).

[114] С рукописи. «Дворцовая революция 1801 г., ее причины и следствия».

[115] С рукописи. Публичная Библиотека, собрание И. В. Помяловского, № 88, XX—«Разные пустячки» (из бумаг А. Т. Болотова).

[116] Н. И. Греч, Записки о моей жизни, 1930, стр. 329. Ср. также на стр. 209: «Смирение, бережливость, снисходительность Александра наскучили людям, которые недовольны ничем настоящим и или выхваляют прошедшее, или теряются в мечтаниях и планах о будущем. В то время ходила по рукам сатирическая басня «Орлица, турухтан и тетерев».

[117] Басня «Орлица, турухтан и тетерев» с неисправного списка, принадлежавшего П. А. Ефремову (ныне в Институте Русской Литературы), была опубликована в журнале «Былое» 1906, № 7, стр. 45—47. В исправленной и расширенной редакции она вошла в «Полное собрание стихотворений Дениса Давыдова» под ред. Вл. Орлова (печ.).—А. Т. Болотов, переписав басню Давыдова в свой «Магазин достопамятных и любопытных бумаг, носившихся в народе» (Публичная Библиотека), снабдил ее следующим «замечанием»: «Сие, хотя ловко сочиненное, но дерзкое и ядом и злостью дышущее и сожжения достойное стихоплетение пошло в народе в начале 1805 года. О сочинителе всеобщая молва носилась, что был он некто г. Давыдов, человек острый, молодой, но привыкнувший к таковым злословиям. И за сие будто бы был наказан ссылкой в Сибирь, чего он по всей справедливости был и достоин». Замечание Болотова, ценное авторитетным подтверждением авторства Дениса Давыдова,—неверно с фактической стороны: Давыдов не был сослан в Сибирь, повидимому до Болотова дошли преувеличенные слухи о переводе Давыдова (в 1803 г.) из кавалергардского полка в захолустный армейский (Белорусский гусарский) полк за «возмутительные» стихи (политические басни, сатира «Сон»). Весьма возможно, что и «Орлица, турухтан и тетерев» также была известна начальству Давыдова и сыграла свою роль при следствии и наказании.

[118] Александр I, как известно, был глуховат.

[119] Имеются в виду повидимому вожаки заговорщиков 11 марта 1801 г.: гр. П. А. Пален, кн. П. А. Зубов и Л. Л. Бенигсен.

[120] Т. е. шарфом. — Павел I по преданию был удушен шарфом, снятым с себя поручиком Преображенского полка А. В. Аргамаковым (по другой версии Я. Ф. Скарятин снял со стены шарф самого императора).

[121] Восторг при воцарении Александра был всеобщим и, по свидетельству современников, «выходил даже из пределов благопристойности». На улицах люди плакали от радости, обнимали друг друга и целовались. С 12 по 21 марта Александр I освободил от тюремного заключения, вернул из ссылки и проч. около 500 человек, пострадавших при Павле (см. Н. Шильдер, Император Александр первый, его жизнь и царствование, т. II, 1897, стр. 7—15).

[122] Имеются в виду вероятно «молодые друзья» Александра I—Чарторижский, Новосильцов, Строганов, Кочубей, составлявшие «негласный комитет», фактически руководивший внешней и внутренней политикой России в начале 800-х годов.

[123] С рукописи. Публичная Библиотека. Собрание И. В. Помяловского, № 88, XX.

[124] Н. Дубровин, Русская жизнь в начале XIX века, в «Русской Старине» 1900, т. 104, стр. 259; см. Ibid., на стр. 258—259 «Записку» гр. Маркова, посвященную тому же вопросу.

[125] М. А. Корф, Жизнь гр. Сперанского, т. I, 1861, стр. 174.

[126] С рукописи. Публичная Библиотека. «Магазин» А. Т. Болотова, ч. IV. Ср. «Киевская Старина» 1889, № 4, стр. 194; Ibid. и другая эпиграмма на Сперанского—«Мысли унылого дворянина».

[127] С рукописи. Публичная Библиотека. «Магазин» А. Т. Болотова, ч. IV.

Глава I—VIII настоящей работы принадлежит Г. А. Гуковскому, главы IX—XIII—В. Н. Орлову.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОВЕСТИ XVIII ВЕКА

Публикация В. Ржиги́

Обе печатаемые далее повести представляют значительный интерес, так как по характеру своему резко отличаются от всей повествовательной литературы XVIII в. И тематика этих повестей, и их литературный стиль указывают нам не на городскую среду, а на деревенскую, крестьянскую и притом затронутую процессом социальной диференциации. Тема этих повестей посвящена объяснению, отчего произошло название двух подмосковных деревень—Камкиной и Киселихи. Соответственно с этим первая повесть называется «Повесть Пахринской деревни Камкина», а вторая—«Сказание о деревне Киселихе». Сюжетом каждой из повестей служит анекдотический эпизод, тесно связанный с жизнью местных жителей и местными урочищами. Чтобы лучше понять обе повести, следует раскрыть подробную географическую карту Московской области и время от времени к ней обращаться. «Повесть Пахринской деревни Камкина» любопытна не только по своей тематике, чисто крестьянской, но и по своему сюжету, не связанному с литературной традицией, но непосредственно возникшему из анекдотического рассказа, основанного на игре слов. Противопоставление основных образов повести также весьма характерно: с одной стороны—господин каширский вотчинник, суровый владелец своих крепостных, с другой—герой повести, крестьянин, подрабатывающий ремеслом, Янька Наумов, балагур и «смехотворный баснию», благодаря своей словесной изворотливости вызывающий интерес господина и все время торжествующий над ним. Как противопоставление образов, так и обусловленное ими развертывание сюжета без сомнения свидетельствуют о четко выраженной социальной установке, какою является крестьянская позиция неизвестного автора повести, все время находящегося на стороне своего героя. Нельзя не отметить также, что в качестве любопытной черты, характерной для эпохи предпринимательских увлечений помещиков, очень важно указание повести на особый интерес господина к производству камки и на его нужду в мастере, знающем это дело. Словесное оформление повести вполне отвечает характеру сюжета и художественных образов. Повесть изложена простым народным сказом и отличается рифмовкой и подбором созвучных слов. Так например, Янька так потчует господина комками своего изделия: «изволь, государь, моего приспеху кушать и моих речей послушать для великава своево здаровья, понеже мой приспех будет и людем твоим не на смех»... (л. 67, 67 об.).

Другая повесть «Сказание о деревне Киселихе» по тематике, стилевым свойствам и манере письма вполне аналогична первой повести, без сомнения возникла в той же крестьянской среде и принадлежит вероятно тому же автору. «Сказание» сложено таким же народным сказом, как и первая повесть, с явным уклоном к балагурству и игре словами. Социальная установка автора совершенно ясна. Он совсем не на стороне героя своего рассказа Васьки, сына местного богатея. Он рисует его тупоголовость с явным комизмом, не только заставляя Ваську месить грязь без порток, но и прямо характеризуя его в форме каламбура: «такой был у нево прастой абычай, аки бычай: чем тесть ево потчивает и довольствует, то он, домов едучи, и помнит, и отцу своему, приехамши, сказывает, что сколка у тестя кушенья ел». Ироническое отношение автора сказалось и на изображении измайловского управителя, из-за корысти последовавшего примеру Васьки и полезшего в грязь искать в ней неизвестно что. Крестьянско-бедняцкая позиция автора обеих повестей вне всякого сомнения: и если в первом случае она выявляется на фоне изображения помещика и его крепостных, то во втором случае она явно сказывается в методе изображения кулацких персонажей и казенного чиновника.

Не умаляя литературной оригинальности данных повестей, можно заметить только, что интерес к происхождению названий отдельных деревенских урочищ является харак-

терным для крестьянской среды XVIII в. Так крестьянин села Угодичей, Ростовского уезда А. Я. Артынов написал в XVIII в. целое сочинение, посвященное объяснению отдельных топографических названий Ростовского края, и собрал для этого большой легендарный материал, приуроченный главным образом к правящей среде старинного Ростовского княжества. Необходимо однако подчеркнуть существенное различие между сочинением Артынова и нашими повестями: там исходным пунктом была традиционная легенда, здесь—вновь возникший анекдот.

Методологическая ценность печатаемых повестей станет еще значительнее, если явления, наблюдаемые в них, сопоставить с теми стилевыми процессами, которые происходили в конце XVII и начале XVIII в. в литературе других общественных классов. Так зарождение новой реалистической повести на почве дворянства связывается с сильным тяготением к литературным образцам западного происхождения, какими являлись либо новеллы, либо романы рыцарские, авантюрные и чувствительные. Появляются своеобразные русские произведения, по заглавию и началу как-будто оригинальные, но представляющие собою пересказы или переложения западноевропейского материала. Таковы например: «История о российском дворянине Александре», «История о российском купце Иоанне и о прекрасной девице Елеоноре» и «История о российском матросе Василии Кориотском». Отражая исторический факт путешествий за границу при Петре I, все три истории изображают русских молодых людей, отправившихся за границу для усовершенствования в науках. Здесь попадают они в новую культурную атмосферу, проникнутую галантностью, и переживают ряд любовных интриг, изображенных типичными чертами европейского романа того времени. Все три романа отличаются одинаковыми приемами письма: свои чувства герои выражают ариями, стихами; арии служат также для взаимного узнавания, речь идет о любовных страданиях, о ранах сердца; обильны слезы и другие проявления повышенной чувствительности. Литературный процесс, происходивший в тот же период на почве буржуазии, характеризуется иными чертами. Здесь особенно любопытно стилевое перерождение средневековых жанровых разновидностей, какими были житие, рассказ о чуде, агиографическое сказание. В конце XVII и начале XVIII в. в ряде этих разновидностей несомненно происходит процесс разложения. Самая структура агиографического жанра становится дуалистичной: на ряду с ирреализмом феодально-клерикального стиля появляются реалистические черты; в противовес аскетической идеологии возникает эстетическая точка зрения и интерес к живой реальной человеческой личности; отсюда проникновение романической интриги в строгие житийные рамки. В каждом отдельном случае наблюдаемые новообразования приводили к существенным структурным изменениям: в одном случае менялось развертывание сюжета; в другом из старых мотивов возникал новый сюжет; в третьем кроме формальной трансформации наблюдалось изменение идейной направленности. Процесс стилевой трансформации происходил более остро и ярко в среде крупной буржуазии, о чем свидетельствует повесть о Савве Грудцыне и повесть о Горе и Злочастии, и более аморфно на почве буржуазии мелкой, провинциальной, в пользу чего говорят—повесть о Соломонии, повесть о начале Тверского Отроча монастыря и третья редакция повести о Петре и Февронии Муромских.

Если для дворянской литературы начала XVIII в. характерен образ дворянского сына, порывающего с средневековым прошлым и идущего навстречу европейской культуре, то и для буржуазии конца XVII и начала XVIII в. не менее типичны образы гостиных сыновей, не пошедших по традиционному пути отцов и бросившихся на поиски новой индивидуальной жизни, но, не найдя ее, потерпевших жизненное крушение. Если сопоставить теперь дворянскую и буржуазную повествовательную литературу, с первыми начатками крестьянской литературы, то нельзя не заметить здесь ярких и существенных различий, которые сразу бросаются в глаза даже при самом беглом ознакомлении с относящимся сюда материалом. Если дворянская литература, как видели мы, характеризуется главным образом усвоением западноевропейских образцов, если для творческого метода буржуазии наиболее характерно стилевое перерождение традиционных жанровых разновидностей, то для первых начатков крестьянской литературы особенно любопытен наблюдаемый в двух издаваемых крестьянских повестях процесс непосредственного генезиса повествовательного сюжета из анекдотического эпизода и соответствующее словесное оформление, возникающее из народного сказа, изобилующего рифмой и игрой словами. В отличие от образов дворянских и гостиных сыновей здесь появляется новый оригинальный образ крестьянина портного Яньки, большого балагура, «смехотворного басника», умеющего своею находчивостью провести деспота-барина. Особенно любопытно, что Янька Наумов является не только крестьянином, но в то же время бродячим ремесленником. Если

принять во внимание, что генетически наиболее ранней формой ремесла, выделившегося из домашне-крестьянского хозяйства, является именно перехожее или бродячее ремесло, то сравнительно раннее зарождение литературного образа бродячего ремесленника-крестьянина является вполне понятным. Этот образ не только точнее указывает на вероятную общественную среду, в которой возникли публикуемые повести, но и дает основание предполагать, что среда бродячих ремесленников-крестьян, в особенности близ такого центра, как Москва, успела к середине XVIII в. достаточно выделиться, чтобы средствами словесного искусства, хотя и примитивного, искать путей для выявления своей творческой оригинальности.

ПОВЕСТЬ ПАХРИНСКОЙ ДЕРЕВНИ КАМКИНА.

Вскоре после мору поселился на том Камкине [1] крестьянин Янка Наумов, прозвища ему Камкин, а оной Янка партному шить мастер. И лучилос ему итить балшой каширской дарогой для шитва, где прилучится, в разные деревни, и встречу ему едит некой господин и спрашивает ево, Янку: «далече ли да Яму»? [2] И он, Янка, великой прокуда, сказал ему смехотворна: «лиха де до Пахры, а то хотя и нагой допяхни». А лучилос то дело весною перед святою на страшной недели, а то бы Янька и краснея сказал. И видит господин, что тот смехотворной басник и спросил ево: «откуда ты, человек, и куды идешь?» И он, Янька, сказал: «а я де, государь, и сам с Пахры, а иду кормитца в Москву своим ремеслом». И спросил ево господин: «какоя за тобою ремесло?» И он сказал: «а ремесло де за мною такоя, что де я мастер камки [3] делать». И тому господину ево слово полюбилос, похвалил Яньку на словах, а на деле не видал, а токова дела он, Янька, и блись не



РУССКАЯ КАМКА XVIII ВЕКА
Узор—по китайским образцам
Исторический Музей, Москва

знает: «исполать тебе, что твои руки залатыя». И стал Яньку с собою звать к себе в вотчину: «мне такова мастера надобна». И он господина не ослушился. Сел к нему и в каляску и ехал Янька з господинам вместе да вотчины и приехал в ево каширскую вотчину, в селцо, не упомнил

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА „ПОВЕСТИ ПАХРИНСКОЙ ДЕРЕВНИ КАМКИНА"—СПИСОК XVIII ВЕКА
Исторический Музей, Москва

какоя, и жил он, Янька, у господина всю святую неделю в великой чести. И видит Янька таво господина к людем своим зело немилостива и все люди ево помирают голадом, и хлебом их весьма мало кормит и то невейкою [4], и не знает, как Янька от боярина таво отбыть. И взду-

КРЕСТЬЯНИН-ГОРБУН
Лубочная картина XVIII века
Публичная Библиотека, Ленинград



мал он, Янька, потребовать от господина котла и яшной муки и талчонова семи с ночьвами[5]. И он, господин, приказал своему прикащику все выдать, что сколка ему, Яньки, потребно будет. И тому господину понадеялось, что для заводу на камчатное строение. И велел Янька на кухне кател в горну поставить и воды нагреть. И то ему, Яньки, что сколка надобна, то все ему припасли, и взагрел в катле вады и засыпал яшной муки и заварил саламаты[6] и накатал яшных мелких камков и перевалял семя[не]м и панес на ночвах к господину в харомы и теми валинами камками стал господина потчивать: «изволь, государь, моевό приспеху кушать и моих речей послушать для великава своево здаровья, понеже мой приспех будет и людем твоим не на смех, а болея, государь, про ваше здаровья стряпать не умею». И он, господин, на него, Янку, очень прогневился, а после и сам Яньки подивился, и стал тот господин со гневом на Яньку гаворить: «что де ты наделал за саламатныя камы? Я ожидал от тебя тканую камку, а ты из яшной муковни накатал камы». И он, Янька, стал выправливатца: «я, государь

мой, и прежде сего гаварил тебе, на дароги встремши, что я мастер камки делать». И гаварит господин: «знатной ты балагур и видимой ты мне прокурат»[7]. И хотел Яньку бить нещадно. И тот Янька был очень льстив и лукав, стал господину гаворить: «ежели тебе, государь, мое ремесло не нравна стала, то я тебе, государь, кабалы не дал и из[ъ]яну тебе, государь, в моем ремесле никакова не зделал». И заставил Яньке, не выходя ис харом, вдрук ту муковню всю приесть. «Нет де, государь, сжелелось мне бедных твоих людей, я муковни натварил и всех людей твоих да отвалу накормил, и всем угодил и тебе, государю, так я сноровил, чтоб за тебя, государя, всяк богу молил». И тем господина со смеху повалил и велел всю муковню людми своими искормить и все люди стали Яньку хвалить и богу за него молить, что заставил господин людей своих муковнею кармить. И теми шутками стал Янька от таво господина отходить и к Пахре ближи потхадить. И в селе Старом Яму люди стали ево, Яньку, манит и хвалить и такия речи гаварить: «как ди ты, Янька, был на Кашире и изобидели тебя бабы бальшия, что де ты у них камки клок оторвал». И он стал, Янька, гаворить: «хто де вам про меня намутил, что я сам накутил». И тою притчею своею всех емских людей удивил и от тово Яшьки Наумова и камкиновой притчи стала та деревня зватца по прозванию ево Камкина. И той деревни Камкина конец.

СКАЗАНИЕ О ДЕРЕВНЕ КИСЕЛИХЕ [8].

Дворцовой Гвоздинской волости деревни Пласкинина [9] у богатава мужика у Рамана была дочь ево хараша, Надежа душа. И выдал за таковажь багатава мужика Дорофея Ерофеева, что на Пахре реке, за сына ево Василья, а прозвища ему Горкая Асина. И лучилос ему, Василью, ехать к тестю з женою своею в гости. И такой был у нево прастой абычай, аки бычай: чем тесть ево потчивает и довольствует, то он, домов едучи, и помнит, и отцу своему, при[е]хамши, сказывает, что сколка у тестя кушенья ел. И недалеча ат тестя от[ъ]ехал, то на дароги есть речка пот Пласкининам Гагежа, и занаравил[а]с на той речки Гагежи лашать и засуетился с лошадью в грези, забыл и про кисель помнить—и стал он горька плакать и гаварить: «Ох, матушка речка Гагежа, на каво мне была и надежа». А к таму ж числу и жена ево лучилас тем же именем Надежа. И едит измайловской управитель [10] для лову всякава зверья во дворец, а именно медведей, волков, лисиц и зайцов. И видит Вас[ь]ку, что мнетца в грези безспорток и спросил ево управитель: «чево ты в грези ищешь, и взмесил ты гряс[ь], как кисель». И он, Васька, и вспомнил при кисель. «Тако я, государь, и ищу в грези забывшаго киселя». А тот был управитель великой сребролюбец и понадеялос управителю: нечто де он видил в грези, ищет безспарток. Скинул и он с себя штаны и порты и стал в грези искать, не положа. А он, Вас[ь]ка, стал доле грясь месить, чтоб ему, ко отцу приехамши, киселя не забыть. И утрудился управитель на долг час, не обрел желаемого себе, поехал втуне. И выбился Вас[ь]ка с нуждою из Гагежи и приехал в дом и про тот ево кисель и лиди сведали и стали ево, Вас[ь]ку, звать Киселем, а было да таво ему прозвища Асина. И от тово Вас[ь]ки Киселя прозвася та деревня Киселиха. И той Пахринской деревни Киселихе конец.

ПРИМЕЧАНИЯ

Обе повести издаются по единственному списку, находящемуся в рукописи Государственного Исторического Музея, собрания И. Е. Забелина, № 536, на лл. 66—69 об. Хронология списка определяется следующими данными. Сборник № 536 написан не ранее 1747 г., так как эта дата встречается в одном из помещенных в нем произведений (см. л. 63 об.), и не позднее 1772 г., так как этот год упоминается в одной из записей на сборнике (см. л. 12 об.). Подробное описание рукописи см. в статье Б. М. Соколова «Былины старинной записи», помещенной в журнале «Этнография» 1926 г., кн. I—II, стр. 105. Здесь интересующая нас рукопись упоминается под старым № 82. Краткое сообщение о повестях было сделано мною в статье «Первые начатки крестьянской литературы», помещенной в № 7 журнала «Земля Советская» за 1931 г.

[1] Деревня Камкина находится близ Москвы на реке Пахре в пяти километрах от станции «Ленинская площадка» по Рязанско-Уральской ж. д. (бывш. ст. «Пахра»).

[2] Имеется в виду село Старый Фроловский Ям, находящееся близ реки Пахры на расстоянии километра от станции «Ленинская площадка» и в четырех километрах от деревни Камкиной.

[3] Камка—вид старинной шелковой ткани. Отличительной особенностью этой ткани является наличие как в основе, так и в утке шелковых нитей почти одинаковой толщины (в основе нити несколько тоньше, чем в утке); затем в камке всегда бывает только по одной основе и по одному сквозному утку. Техника изготовления камки сохранилась до новейшего времени в камчатом столовом белье, особенно в скатертях (В. Клейн, Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в. и их терминология. Москва, 1925, стр. 50—51). На прилагаемом рисунке воспроизводится образец русской камки XVIII в. по оригиналу, хранящемуся в Отделе тканей Гос. Исторического Музея.

[4] Невейка—мука из невеянного зерна с мякиной.

[5] Ночьва—плоское корыто.

[6] Саламаты—мучная кашица.

[7] Прокурат—проказник, шутник, затейник, плут, обманщик, притворщик.

[8] Деревня Киселиха находится совсем вблизи деревни Камкиной, на расстоянии не более километра.

[9] Деревня Пласкинина находится километрах в 40 к востоку от Киселихи, а от Москвы километрах в 70 по Казанской ж. д. и притом километрах в шести к северу от железнодорожной линии.

[10] Измайловский управитель—управитель Измайловского Зверинца, находившегося в дворцовом ведомстве.

«ХОЖДЕНИЕ ПОПА САВВЫ»—НЕИЗДАННАЯ АНТИКЛЕРИКАЛЬНАЯ САТИРА XVIII ВЕКА

Публикация С. Елеонского

Текст сатирических стихов о попе Савве извлечен нами из рукописи Забелина № 536 (теперь Московск. Историч. Музея), относящейся ко второй половине XVIII в. И. Е. Забелин в своей «Истории города Москвы» (ч. I, стр. 623—624, М., 1902) упомянул об этом найденном им любопытном произведении старинной подпольной литературы, однако не опубликовал его в свое время; оно так и осталось до сих пор ненапечатанным.

«Хождение попа Саввы» направлено против определенного лица. Оно метит на московского (замоскворецкого) попа Савву из Козьмодемьянского прихода. Обличение однако приняло не только личный, но и типический характер, т. е. в нем осмеиваются такие характерные черты лица, которые имеют типическое значение. Таково например сутяжничество: «Люди встают—молятся, а он по приказам волочится, ищет, с кем бы ему потягаться»... Таково же его корыстолюбие, постоянное стремление эксплоатировать, жить на чужой счет: «Аз вашу братью в попы ставлю, что и рубашки на вас не оставлю»... К этому нужно еще прибавить и слабость к «винцу»: «попу Савве винца привести, а хотя ему хто и меду привезет, то с радостью возмет и испить любит; а как все выпьет, а сам на них рыкнет: «Даром де у меня не гуляйте, подите капусту поливайте!..»

Кто был автор «Хождения»—неизвестно, но, если судить по общему тону произведения, в котором так и сквозит какая-то пережитая обида и потом злорадство по поводу несчастий, стрясшихся над Саввой,—можно думать, что это был один из потерпевших от козней и кляуз злосчастного попа, может быть один из «ставленников» (т. е. провинциалов, приезжавших в Москву «ставиться» в попы), над которыми он так измывался. Что автор принадлежал к своей же «братии», видно из заключительной части текста, где пародируются приемы и форма церковной молитвы, видимо хорошо знакомые составителю: «Радуйся, дурной поп Савва, радуйся, в хлебне сидя»... и т. д. Тем не менее несомненно, что сочинитель сатиры, кто бы он ни был, выразил в ней взгляды и отношение к духовенству широких масс. Его произведение охвачено чисто «народным» складом; оно испещрено пословицами: «Кто друга съедает, тот всегда сам пропадает», «кто за бедою гоняется, тот скоро от нее погибается», «глас божий—глас народа» и др. Взятый им стиль—так называемая «складная речь», пересыпанная бойкими рифмами. Этот стиль впоследствии усовершенствовал Пушкин в своей «Сказке о попе и работнике его Балде». В последнее время его культивирует Демьян Бедный.

Отдельные мотивы содержания сближают «Хождение» с устными сказками и песнями «о попах», записанными в крестьянской среде. Тут любопытно отметить, что, как видно, и в старину у нас были очень непрочь не только выставить на посмеяние поповские проделки и плутни, но иногда и заострить свои выпады против самой религии и церкви. В нашем памятнике уже с первых же строк дается пародированное воззвание к «православным христианам» о совершившемся «великом чуде», а в заключение—забавная пародия акафиста. Особенно оригинален чудесный «сон Саввы», в котором ему «являются» два ангела: в виде «ангелов» автор изображает повидимому приставов, вытрясших и вычистивших все деньги из богатой мошны попа.

Нужно думать, что возникновение такого произведения восходит уже к первым десятилетиям XVIII в.: списки «попа Саввы», сохранившиеся от более позднего времени, несомненно представляют копии недошедшего до нас протографа. Мы выбрали для издания тот самый текст, которым пользовался Забелин (лл. 17 об.—49 об. забелинского сборника № 536) в своей указанной выше монографии. Местами

и эта рукописная копия искажает подлинный оригинал, но таких испорченных мест в ней сравнительно немного (они оговорены при печатании; все добавления против текста заключены в скобки). В издании соблюдается правописание подлинника, за исключением лишь по современному расставленной интерпункции; кроме того текст, в подлиннике написанный в сплошную строку, разбит на стихи, на которые он легко распадается. Заглавие памятника, пропущенное в рукописи, восстанавливается из его заключительных строк.

Послушайте, миряне
и все православные христиане,
што ныня зделалася великое чудо!
Учинилася над долгим попом,
над премым дураком
от Козьмы и Домияна из-за реки,
а в приходе у нево богатые мужики.
А зовут ево, попа, Савою,
да не мелак он славою,
аще живет и за рекою,
а в церкву не нагою.
Люди встают—молятся,
а он по приказам волчитца:
ищет с кем бы ему потегатца.
И в пред бы ему с ним не видатца.
Да он же по площеди рыщет,
ставлеников ищет
и много с ними говорит,
за реку к себе монит:
«У меня-де за рекою стойте,
а в церкви хотя и не пойте...
Где суть поп Сава,
да немалая про меня и слава...
Аз вашу братью в попы ставлю,
что и рубашки на вас не оставлю.



МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН С БРАТИЕЙ НА ФОНЕ СПАСО-ВИФАНСКОГО МОНАСТЫРЯ
Картина маслом Де-ла-Барта (конец XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград

Сам я, Савушка, и наг пойду,
а вас штабубнов [sic!] поведу»...
Людми он добрыми хвалится,
а сам от них пятитца,
как бы обмануть
и за Москву-реку стянуть;
по тех мест он ставлеников держит,
как они деньги все издержут,
а иных домой отпускает
и рукописание на них взимает,
что б им опять к Москве приполсти,
а попу Саве винца привести,
а хотя ему хто и меду привезет,
то с радостью возмет
и испить любит;
а как все выпьет,
а сам на них рыкнет:
«Даром-де у меня не гуляйте,
подите капусту поливайте!..»
А когда он изволит спать,
а ставленникам прикажет баню топить;
и как над ними надругался,
только сам в беду попался.
Когда жена ему гаварила
И о всем ему предвозвестила:
«Лихо-де им от тебя ныне потерпеть,
а последе и сам от них станешь пердеть,
сколька тебе, Савушка, не жить,
а галавою своею наложить,
добро бы тебе от церкви не отбыть
и смертный час не забыть.
Глас божий—глас народа...
Где твоя, Савушка, порода?
тут твоя и рожа...
Сколька ты не плутал,
а ныне на цепь попал...
Добро бы тебе не воровать
и добрых людей варами не называть...
Ставлеников посылает обедни служить,
а сам на постели лежит;
кто к ему подобно не творит,
тот все галавою наложит,
кто друга съедает,
тот всегда сам пропадает,
а кто за бедою ганается,
тот скоро от нее погибаеца,
а кто за крамою ходит,
и как ему не вспитатца,
толка у вворот ево никто ни стучитца,
а кто к нему ни ходит
и он к нему сам выходит



КРЕСТЬЯНЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА МОНАСТЫРСКОЙ ЗЕМЛЕ
Картина маслом неизвестного художника начала XIX в.
Исторический Музей, Москва

и там проститца
и паки в дом возвратитца...
А ты бы сам, Савушка, шел да простился,
с кем вчера побронился»...
Ответ попа Савы попадье:
«И поистине ты, поподья, не смыслешь
и дела не знаешь:
и рад бы шел да простился,
да со многими людми разбронился;
как мне не гулять,
а от цепи не отлинять!
Да, прости ты, попадья,
слово твое збылося:
уже и приставы приволоклися
и, яко пса, обыдоша мя ныне,
только не сыскать было им меня и во веки»...
Сон попа Савы: «мне начесь [мало] спалось,
да много видилось:
пришли ко мне два ангела
и говорят: много-де у тебя, поп, в мошне денег,
мы-де их вынем, сочтем
и в обтеку снесем...
Али я спал дома на перине,
проснулся—ан уж в потриаршей хлебне на рогозине,
и хожу по хлебне, покличу—
ан с шелепом ко мне встречу,
и кабы я ево не умалил,
и он бы меня шелепом прибил»...
О есм поп Сава дивился,
как он на цепи очутился;
денег у него в мошне было не мало—
хватился, а нет ни [неразобр.] не стало...
«А, мню, те два ангела вытресли
и, положа, из обтеки назат не вынесли...
Горе мне, дураку и великому блядкину сыну,
что Сава на цепь попал
и во веки пропал!»...
Его же безумного попа смешной икос:
«Радуйся, шелной Сава,
дурной поп Саво,
радуйся, в хлебне сидя, ставленически сидне,
радуйся, что у тебя бараденка вырысла,
а ума не вынесла,
радуйся, глупый попенца,
[ум] имееши коротки,
радуйся, породны русак,
по делом воистинну дурак,
радуйся, потриарша хлебня,
видя тебя, такова сидня,
радуйся, савы шея, что цепь великая звеня
и муки еся,



АРХИЕПИСКОП МОГИЛЕВСКИЙ
Рисунок пером А. Н. Воронихина (1785 г.)
Русский Музей, Ленинград

радуйся, вшивая глава,
дурной поп Сава,
радуйся, град Тула,
что сидит Сава у великава стула,
радуйся, дурны нос,
на лес глядя рос,
радуйся, долги поп,
яко боярши халоп,
радуйся, с добрыми людми поброняся,
а в хлебне сидя веселеся,
радуйся, пив вотку,
а ныне и воды в честь,
радуйся, хлебню посетив
и цепь просветив,
радуйся и веселися,
а дамой не торопися,
радуйся, попа Савы спина,
что хощет быти шелепина,
радуйся, Сава глупой,
и всей глупости твоей слава,
и везде про тебя дурная слава,
а на што тебе, Савушка, кондак,
блядин ты сын и так!»...
Конец хождению Саве —
болшой славе.

СОЛДАТСКИЕ СТИХИ XVIII ВЕКА

Публикация Г. Гуковского

Несмотря на усилия ряда исследователей и публикаторов, мы все еще очень мало знаем литературу, которую творили в XVIII столетии социальные «низы», мало знаем о том, что составляло литературную жизнь крестьянина, солдата, посадского человека этой эпохи. Полагая, что обследование каждого участка этой недостаточно еще изученной области может представить интерес, я предлагаю вниманию читателей два стихотворения, возникших в солдатской среде в последней трети XVIII в. Я предпосылаю тексту стихотворений общую историческую часть комментария, в задачу которой входит кратко обрисовать тот фон, на котором могут быть полноценнее восприняты комментируемые произведения. Затем, вслед за текстом самих стихотворений, я предлагаю читателю комментарий более частного характера, относящийся к условиям возникновения произведений, к их автору и к самому тексту их.

I

В конце XVIII в. и во Франции, и у нас в России большой известностью пользовалась сентиментальная драма Мерсье «Дезертир» (поставлена впервые в Париже в 1782 г.). Об этой-то драме писал П. А. Плавильщиков, один из корифеев буржуазной драматургии в России, отстаивавший необходимость «национальных» тем для театра: «Хвалят французскую драму Беглеца; но в России бегал ли когда-нибудь солдат из армии?—Не знаю.—А чтобы офицер убежал? О том, как стоит Россия, до ныне еще не слыхано: следовательно драма Беглец со всею своею красотою ничего нам не скажет, как только то, что во Франции бывают беглецы» [1].

Русский писатель в конце XVIII в. печатно спрашивал: случалось ли когда-нибудь, чтобы из русской армии дезертировал солдат? Вопрос Плавильщикова имеет риторический характер; он заранее отрицает постыдную мысль о дезертирстве в армии Румянцева и Потемкина. Тем не менее, изучив *оборотную* сторону жизни армии во второй половине XVIII в., мы должны ответить на этот вопрос не так, как предполагал *Плавильщиков.*

В 1802 г. граф С. Р. Воронцов составил записку о русском войске, содержание которой он хотел довести до сведения правительства, причем материал его наблюдений охватывает ряд последних десятилетий XVIII века.

Между прочим он писал: «Бесчеловечное обращение с несчастными солдатами вызвало среди них дезертирство,—явление до тех пор (т. е. до царствования Екатерины) [2] неизвестное в Русской армии. Я видел ты-

сячи наших храбрых соотечественников на службе в прусской и австрийской армиях, а люди, бывшие в Швеции, заверяют меня, что они видели более 2000 русских на службе в Шведской армии в Стокгольме и Готенбурге» [3].

О массовых побегах русских солдат к туркам говорит и генерал-поручик С. М. Ржевский в записке под названием «Разные замечания по службе армейской, отчего она в упадок приведена и нелестно хорошим офицерам продолжать службу и о полковниках» [4]. О дезертирстве в русской армии говорит и Ланжерон в записке, посвященной характеристике русской армии в конце царствования Екатерины II [5]. Дезертирство составляло одно из основных «зол» в русской армии XVIII в., в частности в южной, Потемкинской, армии в конце столетия [6]. О том же говорят и документы. Ряд «дел» XVIII в., хранящихся в симферопольском историческом архиве, свидетельствуют, насколько систематически бежали русские солдаты из отрядов, расположенных в Крыму в последней четверти столетия [7].

Самый факт усиленного дезертирства среди солдат Екатерининской армии явственно свидетельствует как о мучительности солдатского существования, так и о развале армии как системы, как организма. Современники в один голос говорят о вопиющих порядках в армии. В особенности сильное возмущение и тревогу вызывает армия с конца 70-х годов, когда наиболее значительной частью ее, расположенной на самом ответственном участке, на юге, по соседству с Турцией и вблизи Польши всё более овладевает Потемкин. На признании факта развала, разложения армии сходятся и генерал-поручик Ржевский, и английский посланник Гаррис [8], и (по словам того же Гарриса) Орлов; М. А. Гарновский, креатура Потемкина, в апреле 1787 г. писал: «Говорят в городе и при дворе еще следующее: графы Задунайской (т. е. Румянцов.—*Гр. Г.*) и Аньгальт приносили ее императорскому величеству жалобу на худое состояние российских войск, от небрежения его светлости в упадок пришедших»; его светлость—это Потемкин, патрон Гарновского [9].

Центральной фигурой в жизни войска, главой и хозяином не только подчиненного ему полка, но и всех составляющих его людей был в екатерининские времена полковник, командир полка. Писавшие об армии этой эпохи в один голос говорят о том, что неумеренная власть полковника составляет одну из основ бедствий армии. Записка генерал-поручика Ржевского по существу и посвящена выяснению этого вопроса (это отразилось и в ее названии); он пишет: «Неограниченность во власти, которую полковники себе присвоили к существенному вреду, состоит между прочим в следующем: употребление людей полковых к себе в лакеи, камердинеры, дворецкие и прочие; а сему примеру и все полковые офицеры приятно следуют, уверены будучи, что полковник не может строго за то взыскать...

Наглое похищение полковых денег и натяжка беззакония в подделке расходных статей в книгах, которые документально подписывать все офицеры принуждены под лишением милости господина полковника или и совсем под потерянием места в полку» и т. д. и т. д. (указ. соч.).

О том же пишет и С. Р. Воронцов в своей записке 1802 г. «Русские полковники являются поставщиками своих полков, и никакая монополия не кажется им незаконной», пишет путешественник, посетивший Россию в 1788—1789 гг. [10]

О власти полковников говорит и Генрих Реймерс, описавший армию в конце царствования Екатерины [11]. По его словам, армия в это время находилась в самом плачевном состоянии; командир полка, безграничный его хозяин, «отбирал по 20 и 25 человек с каждой роты для своих личных надобностей в своих поместьях; или же отдавал их в услужение частным лицам, а заработки их, точно по праву, удерживал за собою. Эти несчастные, спустя несколько времени, сменялись другими солдатами из тех же рот; но по возвращении своем они уже не годились во фронт, будучи оборваны и огрубев, как мужики».

Множество солдат бывало используемо «в так называемом казначействе, т. е. в большой мастерской, находившейся в ведении полковника... Этою мастерскою полковник злоупотреблял в чудовищном размере. В мастерской собирались все те солдаты, которые в прежнем состоянии занимались каким-либо ремеслом... Таким образом возникала фабрика, в которой постоянно работало иногда более ста человек. Изделия такой фабрики выходили иногда превосходные, а жившие в околотке обыватели могли заказывать себе тут всякого рода предметы: кареты, сани и т. д. Понятно, что полковник продавал все эти изделия в свою пользу, не оставляя мастерам ни гроша; бедные люди должны были благодарить бога, если у них не оттягивали той малости, которая давалась им от казны... Полковники держали у себя для удовольствия до сотни человек музыкантов и певцов, зачисленных в роты». В результате в строю оставалась половина номинального числа солдат.

«Командир полка, считая солдат за свою собственность, с тем большим правом удерживал за собою большую часть того, что отпускалось на содержание и обмундировку солдат».

Система грабежа и злоупотреблений неизбежно распространялась от полковника вниз, на все звенья армейской организации. Полковники, деяния которых проходили на глазах у подчиненных им офицеров, которые должны были получить санкцию высшего офицерства полка на свои финансовые отчеты, принуждены были воздействовать на офицеров как грозою своей власти, так и потаканием офицерским злоупотреблениям. Приходилось делиться с низшими, чтобы жить с ними в ладу, приходилось давать наживаться и им. «Таким образом каждый ротный командир,—пишет Реймерс,—распоряжался бесплатно таким числом мастеровых из роты, какое ему было нужно; а как многие из капитанов непрочь были от наживы, то солдат конечно не жалели. Деньги и провиант, назначенные для солдат от казны, офицеры брали себе, а солдат употребляли, как хотели». Полковое начальство держало лошадей впятеро меньше, чем полагалось, а деньги, отпускаемые на остальных, брало себе. «Офицеры обделяли солдат провиантом». Понятно, что солдаты принуждены были грабить население как на постое, так и в походе. Последней жертвой экономической организации полка оказывался российский крестьянин или посадский человек. Недаром пребывание войск в какой-нибудь местности считалось для нее великим бедствием.

Примерно то же, что Реймерс, сообщает Ланжерон о хозяйственной организации армии в конце екатерининской эпохи, о всеобщем воровстве, о полковом «казначействе», которое занято «постройкою и починкою полкового обоза, церкви, палаток и пр., еще более постройкою повозок, экипажей, изготовлением мебели и разных дорогих безделушек для пол-

кового командира» и т. д., о том, что «генералы берут к себе из полков своих бригад писарей, сержантов, гусаров, слуг и никогда не возвращают...; офицеры и в особенности полковые командиры», берут «для своей службы столько солдат, сколько пожелают, на своих конюшнях, кухнях и в своих прихожих» [12], о необходимости для солдат грабить. Также и цитированный уже выше путешественник пишет, имея в виду вообще необычайно скудное содержание русского солдата, что все устройство власти и армии заставляет солдата притеснять крестьянина— «так как деспот, желая иметь многочисленную армию при малых затратах на нее, плохо платит человеку, которого он оторвал от плуга, чтобы сделать из него солдата» [13].



РУССКОЕ ВОЙСКО В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА
Лубок XVIII века
Исторический Музей, Москва

Целая хозяйственно-организационная система полков как аппаратов эксплоатации и наживы выросла и оформилась в русской армии к 70—80-м годам XVIII столетия, но отдельные тенденции в этом направлении намечаются гораздо ранее. Однако пока у власти стояла неофеодальная аристократическая верхушка дворянства, идеологами которой в области военно-административной работы являлись деятели типа Румянцова и Петра Панина, эти тенденции не могли развернуться сколько-нибудь полно.

Крушение комиссии Нового Уложения было одним из первых внешних признаков поражения партии помещиков-фрондеров, крепостников-«либералов»; пугачевщина уже с максимальной остротой поставила перед правительством вопрос об изменении внутренней политики. Его основной опорой становятся теперь дворянские «низы», среднепоместные и даже мелкопоместные крепостники, выдвинувшие как свое руководство верхушку крупных земельных магнатов, дельцов широких масштабов, по-

степенно подчиняющих себе весь правительственный аппарат и зажимающих сложной полицейской машиной все стремления российской аристократии к независимости.

На гребне новой волны был поднят Потемкин. Он стал выше всех на правительственной лестнице. Он наиболее полно воплотил тип нового властителя, человека без государственных традиций, отчетливо противопоставившего концепциям и схемам своих неприятелей свой личный произвол, не желающий считаться ни с какими концепциями и схемами. Вместо иерархии традиционных и отвлеченных ценностей он предложил в качестве правительственного принципа—человека, единичного человека, с личным характером, капризами, причудами, «гениальными» (таково было задание, не выполненное им) проектами, мгновенными безотчетными решениями и т. д.

Правительство прибегло к сосредоточению власти в руках своих людей, верность которых гарантировалась тем, что их материальное благополучие было жаловано правительством, или, в другом смысле, тем, что реальная сила оказалась в их руках. Атрибутом Потемкинской власти был шпионаж, широко развернутый и разветвленный, восходящий к временщику и определяющий всех людей как покорных или непокорных. Покорный должен был быть куплен властью целиком. Он должен был получить от нее богатство и силу; тогда он станет окончательно бессловесным исполнителем. В то же время ему должна быть предоставлена возможность сломить внутреннее сопротивление в пределах его команды. Армия должна была быть подчинена произволу правящей верхушки в первую очередь.

Опорой безграничной, не руководимой никакими нормами традиции или иерархии власти Потемкина в армии должны были стать верные люди в полках—полковники. Они сделались чиновниками, слепыми орудиями в полицейско-бюрократической сети, наброшенной на армию, как и на всю страну. Они получили—это было залогом их верности—почти неограниченные возможности наживы и неограниченную власть в полку. Так выковывалась новая организационная структура армии, выковывалась не столько законоположениями, сколько каждодневной, последовательной практикой военных властей, руководимых вицепрезидентом военной коллегии Потемкиным (с 1774 г.; президентом он стал лишь через 10 лет, с 1784 г., но правил армией с середины 70-х годов). Армия Потемкина создала кадры офицеров-чиновников, подчиненных подхалимской зависимости от «милостивца». Власть схемы, сословия, рода заменилась властью деспота. Сила патриархальных помещиков уступила в армии силе земельных и уже не только земельных магнатов. Если первые не уступали добром, их заставляли уступить.

Полковник стал хозяином полка, как Потемкин—хозяином армии; именно—личным хозяином, как плантатор является хозяином своих рабов; полк не столько повиновался командиру, сколько принадлежал своему барину. Отсюда—произвол, разврат власти, составлявший не случайное последствие, а существо ее; отсюда же чудовищные формы эксплоатации солдата как рабочей силы. Хозяин не преминул использовать свое положение в своих выгодах. Пример показывал сам Потемкин; за ним шли его приближенные и доверенные люди; за ними тянулись другие. Злоупотребления самого Потемкина общеизвестны. Известно, как он смешивал государственную военную казну со своим личным кошельком, как он мас-

сами брал солдат на работы—и государственные, и свои собственные. Не было границ беззастенчивому грабежу казны и издевательству над солдатами, которых он открыто превращал в своих рабов. А. Т. Болотов пишет: «Всем известно, что во время обладавшего всем князя Потемкина за несколько лет был у нас один рекрутский набор с женами рекрутскими, и что весь он был как им, так креатурами и любимцами его разворован, и женатые сии рекруты, вместо поселения в Крыму, поселены в деревнях княжеских и других господ, тогда великую власть имевших»; в этом прибыльном предприятии, по словам Болотова, участвовал кроме самого Потемкина например его знаменитый секретарь В. С. Попов, населивший рекрутами «себе богатые деревни» [14].

В результате таких порядков и примеров в армии развилась невиданная форма рабовладения и рабского труда, о которой с таким возмущением говорили некоторые современники. Полк превращается в своего рода колонию для командира. Он устраивает в нем мастерские, целые фабрики; он ставит солдат на работу по сельскому хозяйству. При этом весь продукт целиком принадлежит ему, хозяину. Он не должен оставлять рабочему даже скудную часть, необходимую для поддержания его жизни, потому что рабочего содержит казна. В распоряжении полковника на этих условиях, недосягаемых ни для обычного рабовладельца, ни для обычного капиталиста-фабриканта, находятся сотни людей. На тех же условиях хозяин полка может обставить себя слугами, музыкантами, псарями,—также совершенно без затрат на содержание всей этой челяди. Всего этого мало; командир хочет захватить себе более или менее значительную часть того, что казна отпускает его рабу,—он может это сделать и, следовательно, делает. И этого мало; тот же Болотов передает «Анекдот о Фалееве»: «Многие за верное сказывали, что сей славный бывший любимец и во всех таких наживах сотоварищ князя Потемкина до того даже, в тогдашнее время, простирал свою власть и могущество, что землю в деревнях своих пахивал плугами на рекрутах. Некогда случилось, что был скотский падеж в тамошних пределах, и все волы у него передохли, на которых он пахивал землю, и как пахать было не на чем, то сказывают запрягаемо было вдруг человек по 16 рекрутов, и они принуждены были тащить плуг и пахать сим образом землю. Не удивительно ли сие, когда в состоянии он был красть целыми сотнями или паче тысячами рекрут себе и населивать ими деревни?!» [15]

Естественно, что ни длина рабочего дня на своеобразной феодальной фабрике, которую организует хозяин солдата, не измерялась чем-либо, кроме прихоти хозяина, ни условия труда не определялись чем-либо иным. Ко всему этому—суровая дисциплина, поддержанная военной палочной системой. Солдат превращался в руках хозяина-офицера в вещь. Его ставили на такую работу, какая заблагорассудится хозяину, и он должен был сделать ее—хоть умри. Тратить время и рабочие руки на регулярное обучение солдата ремеслу вовсе не было выгодно для хозяина [16].

Используя своих рабов-солдат как рабочую силу, командир-хозяин тем не менее вовсе не хотел разбрасывать их, терять. Он готов был загубить солдата на работе, заморить его голодом, пользуясь его пайком, заморить его в госпитале, пользуясь его усиленным пайком, но терять его без всякой пользы было для него невыгодно, особенно если дело шло о солдате-мастере или солдате-ловкаче, умеющем самостоятель-

но (хотя бы грабежом) достать себе пропитание. Тем более это было невыгодно, что пополнение «убылых» мест могло произойти не сразу. Отсюда нежелание полковников выдавать своих солдат суду, стремление прикрыть их преступления, в частности грабежи, неизбежные в системе экономики Потемкинской армии. Психология и практика полковника в этом отношении совпадали с психологией помещика, предпочитавшего высечь вора-крестьянина у себя на конюшне, чем лишиться рабочих рук, выдав его гражданскому суду для отправки в Сибирь.

Солдаты в Потемкинской армии грабят, солдаты строят дома, солдаты пашут землю, делают кареты, прислуживают в хозяйском доме. Армия разлагается изнутри. Одно из самых больших «зол» ее—массы нестроевых солдат. С этим злом борются, но преодолеть его невозможно, потому что оно обусловлено существом организационной тенденции военной власти. Нравы армии становятся нравами большого поместья, где все позволено богачу и вельможе-помещику. В ставке верховного начальства армии окончательно устанавливается невоинский быт, быт разгульной, не знающей удержу компании кутил. Потемкин и в этом отношении перешел все пределы. Целый придворный штат окружает его в армии; великолепные апартаменты возникают для него посреди пустыни; придворные, женщины, повара, обозы с нарядами, с винами, с съестными припасами, мастера всех искусств и ремесл, театр,—все это сопровождает его в походе; балы по столичному образцу, огромные пиршества окружают его даже тогда, когда в армии нехватка пропитания и одежды, когда война идет, когда войска тают от лишений, болезней, холода.

На солдатах наживались, как на покупаемом и перепродаваемом скоте. Иоахим Штернберг рассказывает, как «В Петербурге в Hôtel de Londres, где и я жил, один майор, проигравший деньги, продал трех солдат, и это сошло с рук» [17]. С самого начала службы солдата он попадал в руки жадных и безжалостных хозяев, управлявшихся с ним очень бесцеремонно. Ланжерон рассказывает, что из рекрутов едва половина доходит до полков: «Часть их умирает в пути от болезней, усталости, с горя и от дурного обращения. Другая часть просто-напросто крадется провожающими их офицерами, которые показывают их умершими в дороге и затем продают или отсылают в свои имения, если таковые у них имеются; наконец часть из числа прибывающих бракуется» [18].

В том же духе действовали и другие командиры. Ланжерон пишет: «В 1794 г.... я видел в Смоленском драгунском полку, во время ученья пехотному строю, как по условленному знаку полкового командира, полковника Чичерина, музыка играла польский, а все солдаты танцовали его» [19]. Примерно о том же пишет и Реймерс.

Неудивительно, что рекрутчина наводила ужас на народ. Кроме отрыва множества солдат из строя для всяческих поручений и работ хозяйственного порядка бедствием армии XVIII в. были болезни солдат и солдатская смертность. И даже из этого бедствия в жизни войска командиры с успехом выжимали для себя выгоды.

В 1777 г. граф П. А. Румянцов в особой записке об армии писал: «Военная служба, по одной своей тяготе, не говоря о частых переменах климата и пищи, производит болезни чрезвычайные; следовательно, врачевание и содержание сих больных требует особливых образов. Служившие в армиях медики должны признаться сами во многих недо-

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКУ МУШКАТЕР

Раскрашенная гравюра G. Geissler'a из сборника „Изображение мундиров Российско-Императорского Войска, состоящих из 88 лиц илюминованных" (1793 г.)



статках сей части»...[20] Знаменитый полководец выражался очень мягко, как и полагалось в официальной записке. На самом деле госпитальная часть была поставлена в армии издавна из рук вон плохо, и в потемкинские времена нисколько не улучшилась, если не стала хуже — в смысле всеобщего разложения армии и всеобщей тенденции наживаться на всякой отрасли военной организации.

Низкий уровень, на котором стояла санитарная часть в армии, в значительной степени был обусловлен тем, что на этом деле наживались военные начальники и чиновники. Не только можно было класть в карман деньги за нормальное пропитание и медикаменты больных, предоставляя им питаться чем угодно и оставляя их без лечения, — можно было хорошо наживаться и на мертвых душах в госпиталях. Умершие солдаты числились в них больными, и на них шли деньги; отсюда вывод, что смертность в госпиталях была вполне выгодна для начальства. Нет сомнения в том, что все необходимое для того, чтобы эта выгодная отрасль полкового хозяйства приносила свои плоды, было сделано[21]. Недаром первое сражение в каждую кампанию бывало обыкновенно весьма кровопролитно (по официальным реляциям), и множество русских солдат, уже ранее уморенных в полку, официально погибало в них; об этой хитроумной уловке, покрывавшей и смертность солдат, и воровство людей офицерами, сообщает Ланжерон[22]. О провиантских грабежах я уже говорил.

Деятельность Потемкина в армии издавна была выхваляема официальными, полуофициальными и даже неофициальными историками за демократизм, за облегчение солдатчины, принесенное им, за смягчение

тяжелого режима в воинских частях. Едва ли можно сомневаться в малой достоверности всех этих качеств Потемкинского управления, в их общем историческом характере.

Потемкин-демократ, Потемкин, запрещающий бить (или слишком жестоко бить) солдат—это одна из многих легенд, оставленных официальной историей XVIII в. В самом деле: Потемкин демонстративно заявлял о своей «любви» к солдату, Потемкин не менее демонстративно выражал свое пренебрежение по отношению к дворянской иерархии, к знати, к свергнутым им лидерам и ставленникам «вольных и благородных» российских феодалов в армии. Последнее едва ли не было важнее всего. Он «унижал, пренебрегал знатных», пишет А. М. Тургенев, старый сплетник, прекрасно передающий в своих «записках» общий тон и настроения вскормившей его среды,—он «отворачивался от князя, графа, смотрел на них с презрением», но «любил солдат»... [23] Такое же соотношение идей дано и в памфлете на Потемкина, написанном вскоре после его смерти и изданном в 1809 г. под названием «Пансалвин, князь тьмы. Быль? Не быль? Однакож и не сказка». Автор (Альбрехт), захлебываясь ненавистью к Потемкину, изображая его губителем отечества, дворянства, захватчиком власти, пишет в то же время: «Один только был род человеков, пользовавшийся его щедростию,—именно солдаты. Оным льстил он при каждой встрече; они были его кумир, и сам он вскоре сделался их кумиром. Однакож вообще относилось сие до рядовых солдат, нежели до высших чинов, в рассуждении коих расходы его должны б были увеличиться» (стр. 238). Цитат этого же рода можно было бы привести не мало. Вообще же во всех таких свидетельствах следует различать два раздельных момента. С одной стороны, речь в них идет об искании личной популярности со стороны Потемкина, искании не всегда безрезультатном, хотя представление о солдатиках, обожающих доброго фельдмаршала, нельзя не признать конечно совершенно нелепым. Такое стремление к популярности понятно было именно у Потемкина, поскольку он должен был дать армии как закон свою личную индивидуальную волю, поскольку между ним как военачальником и солдатом как исполнителем его воли должны были установиться взаимоотношения не частей схемы, а взаимоотношения людей, хозяина и лично принадлежащих ему подданных, поскольку, наконец, он отверг поддержку значительной части помещичьего офицерства.

Иное дело например П. И. Панин, который не желал снисходить до солдата, которого спесь его места в иерархии сословий и воинских званий не допускала до человеческого отношения к солдату, который был суров, неприветлив и не был популярен, хотя не был жесток с солдатами и, без сомнения, более заботился о порядке в армии.

В поисках популярности Потемкин мог успевать иногда, несмотря на бесконечное отягощение солдат, потому что много жалоб на невыносимые злоупотребления, на режим вообще могло падать на голову его подчиненных; такова была вообще тактика многих из русских правителей—царей и их помощников—убеждать «народ» в том, что царь добр, но министры обманывают его.

С другой стороны, демонстрации любви к солдату при неблаговолении к его командирам-дворянам, кроме «верных» светлейшему, осуществляли конечно общую социально-политическую линию Потемкина: на ущемление претензий помещика-фрондера, на то, чтобы сбить с него спесь,

на полную ликвидацию его политических претензий, на систематическую нивелировку большинства населения пред лицом всевластной верхушки, обладающей полицейски-бюрократическим аппаратом. Ударом по тем, кто требовал власти на правах «знати», был солдатский «демократизм» Потемкина. Противопоставляя покорных солдат непокорным командирам, Потемкин демонстрировал идею равенства того и другого пред законом его деспотической воли. Эта демонстрация в меньшей степени облегчала солдата, чем отягощала крамольного офицера.

В числе «реформ» Потемкина в армии больше всего внимания, восхищения и прославления вызывала реформа одежды солдат, принятая сначала в подчиненной Потемкину кавалерии, а потом и в других войсках. Даже недоброжелатель Потемкинского режима Воронцов пишет: «Несомненно, что из сотни бесполезных новшеств, введенных князем Потемкиным, есть столь же полезная, сколь превосходная. Я имею в виду одежду, которую он дал в конце концов своим войскам, одежду, наилучшим образом рассчитанную для климата, так же как для опрятности, удобства и в особенности для здоровья солдата» (указ. соч.). В самом деле эта новая форма, без кос и пудры, более удобная и не так стесняющая солдата была своеобразным выражением отказа от идеи солдата-манекена, солдата-машины. Потемкинская эпоха в армии действительно выдвинула мысль об инициативе отдельного участника военного действия, о подвижности, легкости перемены расположения, быстроте, связанных с возможностями инициативы. Суворовские принципы разворачивались именно в практике южной, Потемкинской, армии, хотя Суворов не был идеологом Потемкинского режима в ней.



ФЛОТСКИХ БАТАЛИОНОВ МУШКАТЕР

Раскрашенная гравюра G. Geissler'а из сборника „Изображение мундиров Российско-Императорского Войска, состоящих из 88 лиц илюминованных“ (1793 г.)

Что же касается остальных «забот» Потемкина о солдате, то они имели в достаточной мере теоретический характер. Потемкину ставили в заслугу его старание ввести режим армии в строгие рамки законности; так, он запрещал командирам отвлекать солдат на частные работы. Мы видели уже, какова была цена такого запрещения. Оно звучит почти насмешкой. Весь смысл Потемкинской организации армии, вся историческая сущность его деятельности работали против такого запрета, делали его пустой бумажной отпиской, не способной повлиять на жизненные факты. То же самое следует сказать и о других «мероприятиях» Потемкина: о его заботах по части правильного снабжения солдат пищею, о требовании соблюдения санитарных правил, об учреждении инспекторского контроля[24]. Все эти меры оставались бюрократическими бумажными мерами. Жизнь проходила мимо них. То же конечно и в вопросе о пресловутой «человечности» Потемкина (странно звучит эта «человечность» в применении к одному из самых бесцеремонных политических деятелей этой вообще жестокой эпохи); бесконечно повторяется с давних времен рассказ о том, что Потемкин не велел бить солдат, или не велел жестоко бить их. Само по себе такое распоряжение Потемкина конечно весьма примечательно. Но реальное значение его было едва ли велико; оно опять явно не могло быть осуществлено в данной системе армии. Бить солдат безусловно продолжали. Если же иногда солдата и били меньше, то вся система его эксплоатации и тягот, наваленных на него, не дает нам права говорить о том, что жребий его полегчал.

Беда была в том, что реформы Потемкина имели верхушечный, половинчатый характер. Переводя армию на новые рельсы, он менял у нее только хозяев. «Демократизм», индивидуализм как идеи и принципы действия только лишь скользнули по поверхности старой организации; новые начала, не разрушив старых крепостнических основ армии, только лишь разложили и без того устаревшую, дряхлевшую военную организацию.

Давая выше кое-какие черты, характеризующие разложение начальствующего аппарата армии в последней трети XVIII в., я конечно вовсе не имел в виду, что все офицеры грабили солдат, что все командиры полков эксплоатировали их, и т. д. Без сомнения, были и честные офицеры, командиры полков, генералы. Солдатам жилось под их начальством лучше. Но мне хотелось уловить характерные явления эпохи и в то же время найти материал фактов, комментирующих стихотворения, печатаемые ниже.

II

Перехожу непосредственно к самим этим стихотворениям. Они возникли в Потемкинской армии в первую пору власти Потемкина, когда только еще строился его режим в войсках, ему подвластных. То, что они возникли в Крыму,—тоже не случайно. Именно здесь, на юге, более всего сказывалось влияние Потемкинской власти в армии; кроме того отдаленность Крыма от центра, особенности положения военных частей в разоренной стране, оторванность крымского отряда армии от командования не могли не создать особо благоприятной почвы для жесточайших злоупотреблений и разложения этого отряда.

Первое из комментируемых стихотворений известно мне в пяти списках. Не буду останавливаться на сложных взаимоотношениях текстов

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКУ ОФИЦЕР ГРЕНАДЕРСКИХ РОТ

Раскрашенная гравюра G. Geissler'a из сборника „Изображение мундиров Российско-Императорского Войска, состоящих из 88 лиц илюминованных" (1793 г.)



этих списков, на их взаимной близости или расхождении, на возможности сведения их к меньшему числу исходных для них вариантов текста. Достаточно будет привести текст пьесы по одному из наиболее удачных, исправных списков, каким должен быть признан список, имеющийся в сборнике конца XVIII в., хранящемся в Рукописном отделении Публичной Библиотеки в Ленинграде (шифр: Q, XVII—183 т. I, л. 124—126). Составление сборника относится очевидно к началу 80-х годов, во всяком случае не позднее этого времени (1780—1782 гг.). Многие документы, списанные в нем, относятся именно к 1780—1781 гг. Кроме того в нем списаны между прочим сатира Капниста, напечатанная впервые в 1780 г., «Мельник» Аблесимова, представленный впервые в 1779 г. и напечатанный в 1782 г., «Утренники короля Прусского», книжка вышедшая тоже в 1782 г.; с другой стороны, в начале сборника помещен документ, относящийся к 1783 г., но повидимому он приписан после составления его.

Другие тексты стихотворения следующие: А.—Сборник Публичной Библиотеки (шифр F, XVII, № 80, л. 79 об.—80 об.); Б.—Сборник Публичной Библиотеки (шифр Q, XVII, № 235, л. 16—18), относящийся повидимому к концу XVIII века, но не ранее 1784 гг. (однако скорей всего к 80-м годам); В.—Отдельный лист, хранящийся в архиве Института Русской Литературы Академии Наук (шифр 23408/CLXVII б. 5), повидимому XVIII в.; Г.—Сборник архива ИРЛИ Академии Наук «Книга, называемая когда что началось» (собрание «Русской Старины»), относящийся к 70—90-м годам XVIII в., стр. 70—72.

Название стихотворения разное: или «Челобитная к Богу от крымских солдат» (А.) или «Крымская челобитная» (Б.) или «Солдатская челобитная» (при этом наверху листа написано, как на копиях официальных бумаг, «копия») или «Челобитная» (в оглавл. «Челобитная крымских солдат» В.) или наконец «Его сиятельству графу фон Галченко» (основной текст; значение последнего заглавия не ясно; м. б. стихотворение задевало какого-нибудь Галченко, которому шуточно был придан титул графа и фон).

Вседержителю боже наш и вселенной творец,
Создатель всей твари и словесных овец,
Позволь, владыко, хвалу тебе воздать,
А на праотца Адама челобитную подать,
Внемли, владыко, приклони ухо твое ближе,
А о чем наше прошение, тому следует ниже.

«1-е»

Всемилостивый боже, Адам виной всему,
Не права и Ева, почто дала ему;
Ослабели они оба в той самой час,
И пала слабость их на всех нас;
Согрешили в том сии человеки,
Остался их грех всем потомкам навеки.

«2-е» *К сей*

Адам в роскоши породил своих сынов
И в младости их не был к ним суров,
Не умел их учить и унимать
И допустил их друг друга убивать;
Размножились их завистные семена,
И зачалась от них во всем свете война.

«3-е» *челобитной*

По Адаме мы стали страстны и завистны,
И потому и ближним своим ненавистны,
По Еве все вышли мы прелестны,
И в том тебе, господи, все дела наши известны;
Завиствуем и друг у друга отнимаем,
Уж не по одному, по тьме братьев убиваем.

«4-е» *служа*

Женою Адам был на грех прельщен,
За что он был адом поглощен,
Почто ж велел нам быть женам послушны,
И против их быть слабым и малодушным,
По желаньям их во всем им угождать,
И для них странствуя в трудах нам умирать.

«5-е» *салдаты*

Адам чрез жену лишился приятного раю,
Чрез то ж лишены и многие отеческого краю;
За грех Адам лопатою землю рыл,
Для чего он нам и к вящшему след открыл;
Имение отнимаем у ближнего насильно,
И за его ж доброе убиваем безвинно.

«6-е» *крымские*

От Адама зависть в народе вселилась
И для убивства война вкоренилась;
И тщеславия одного край света забегаем,
Не щадя себя и жизнь свою теряем,
А к поощрению избран у нас закон,
Не знаем, при Адаме был каков он.

«7-е» *Драбанты*

Адам детей своих не равно породил,
Так и потомков своих тем же наградил;
Многим и к честолюбию дана зависть страстно,
Много ж страждут безвинно и гибнут напрасно;
В чужих странах погибши и оставивши свою,
Ей, господи, забыли всю заповедь твою.

«8-е» *в Крыму*

Адам в паденьи сам трудно работал,
Почто ж свои лопатки он нам отдал,
По смерти своей во ад хоть и попался сам,
А каинову злость и зависть оставил нам,
До воскресения ж и сам рая не получил,
А суете мирской он народ весь научил.

«9-е» *живучи*

Ныне же Адам и с Евою живет в раю,
А нас оставил в проклятом крымском краю,



ФЛОТСКОЙ АРТИЛЕРИЙСКОЙ ОФИЦЕР
Раскрашенная гравюра G. Geissler'a из сборника „Изображение мундиров Российско-Императорского Войска, состоящих из 88 лиц илюминованных" (1793 г.)

Показав, как дрова рубить косами
И сбирать в поле навоз нашими руками;
День и ночь кизяк на плечах носим,
И в том тебя, господи, и на праотца просим.

«10-е» *труды*

Адам обращался наг всегда в трудах,
Лишились и мы чрез то сапог и рубах,
Обносились в Крыму, а купить денег нет,
И так мучимся уже много лет;
Трудно жить в Крыму, а снесть не можно,
Объявляем, господи, всю нужду нашу неложно.

«11-е» *несучи*

Адам трудился и служил только для одного бога,
Для чего ж у нас явилось земных божков много
И каждый принуждает себя кадить и почитать,
Да не знаем, от кого нам милости ожидать;
Мы всякому поем, хвалим и величаем,
Только награды и заслужа не получаем.

«12-е» *о нужде*

Адам хотя наг ходил, да никогда не зяб,
Почему он научил делать навоз и кизяк;
Всему вышеписанному причиною Адам,
Почто все страсти в наследство оставил нам;
Сим, господи, просим на небо взирая,
Ей, Адам достоин наказания, не рая *.

«13-е» *своей*

Всемилостивый боже, страсть и зависть истреби,
Навек честолюбие с тщеславием погуби,
Внуши добродетель с правдой в народы;
Еще можем прослужить мы на некие годы,
Нет достатка сил служить, божков земных много,
Чрез них забываем тебя творца и бога.

«14-е» *тужили*

Избавь нас, владыка, от многочисленных божков,
И исторгни нас от вредных и тяжелых оков,
Защититель наш господь бог и спаситель,
Прибежище и покров ты наш избавитель,
Спаси от земных божков власти
И не попусти в свирепство их впасти.

и руки

О боже, сие прошение наше милостиво вонми,
А нас от Крыма проклятого в число людей прийми,
Где нет сил трудов больше сносить,
Сим должны тебя творца бога со слезами просить:

* В тексте явная ошибка: «наказанием рая». Исправлено по тексту А.

Всемилостивый боже, от татар и чумы нас соблюди,
Повели дух взять в рай, а из Крыму изведи.

приложили

Холодного месяца,
Морозного числа,
Неурожая в Крыму денег, года [25].

Место возникновения приведенного стихотворения указано в нем неоднократно; это—Крым. Оно написано от лица солдат частей русской армии, находившихся в Крыму. Для того чтобы установить, какого характера были эти части и где именно они могли находиться, необходимо определить хотя бы приблизительно время возникновения стихотворения.

Оно относится конечно ко времени не ранее середины XVIII в.; это устанавливается и его стилем, и характером списков, сохранивших его, и его содержанием. Содержание стихотворения позволяет датировать его еще точнее.

В екатерининское время в Крыму перебывали русские войска трех различных назначений; во-первых, части, вторгавшиеся в Крым неоднократно в порядке ли покорения полуострова или в порядке вооруженного вмешательства в его внутренние дела; во-вторых, отряды, составлявшие постоянный гарнизон крепостей Керчи и Еникала за все время существования «самостоятельного» Крымского ханства (повидимому введенные в эти крепости еще во время первой Турецкой войны); наконец оккупационные войска, оставшиеся в Крыму после «покорения» его в 1782 г.

Поэтический памятник, комментируемый мною, не мог возникнуть в последнем из указанных отрядов, т. е. в оккупационной армии. Напомню, что сборник Публичной Библиотеки Q, XVII—183, т. I, из которого извлечен основной напечатанный выше текст стихотворения, составлялся в начале 80-х годов, не позднее 1782—1783 гг. Если же принять во внимание, что в стихотворении говорится о бедствиях солдат, уже долго, «уже много лет» находящихся в Крыму, тогда как оккупационный корпус вошел в него лишь в 1782 г., то станет ясным, что не о нем идет речь в нашем памятнике. Добавлю, что в стихотворении, судя по всему смыслу его (в осообенности в начале его), говорится о пребывании солдат во враждебной стране, а не в части, хотя бы отдаленной, Российской империи. Наконец предположение о том, что стихотворение все же возникло в оккупационной армии, но в самом начале ее пребывания в Крыму, а упоминание о «многих летах» относится к предыдущему вторжению тех же отрядов в Крым, помимо общей натянутости своей разбивается двумя соображениями: во-первых, в памятнике идет речь о войске на мирном, оседлом положении (хотя и во враждебной стране), а в предыдущем вторжении (1777—1779) русские войска в Крыму были не оседлым оккупационным корпусом или гарнизоном, а армией в походе; во-вторых, ясно само собой, что произведение такого типа не могло в 2—3 месяца добраться из Крыма в Россию без какого-нибудь особого случая, повидимому отсутствовавшего.

Следовательно стихотворение возникло до последней оккупации Крыма. Остаются две возможности: или оно возникло в частях русской армии, вторгавшихся в Крым в порядке войны (в 1777—1779 гг. или даже во

время первой Турецкой войны), или же оно возникло в частях русской армии, осевших в тех крепостях Крыма, которые отошли к России окончательно уже после первой его оккупации во время первой Турецкой войны и официально принадлежали России до самого «покорения» Крыма, т. е. в Керчи и Еникале.

Первое предположение должно отпасть по соображениям, косвенно использованным уже выше для отвода предположения о возникновении текста после 1782 г. Стихотворение по всему своему смыслу в целом, равно как и по ряду деталей, относится к военной части, живущей на мирном положении, хотя и во враждебной стране. Условия солдатского существования в походе, явно временные, меняющиеся, связанные с военными операциями, жизнь армейской части среди множества других частей, составляющих крупную по тем временам военную силу,— все это совершенно не вяжется с той картиной быта солдат заброшенной куда-то на край земли части, принужденных долгие годы работать в невыносимых условиях на чужой им работе, без надежды на изменение, которая отчетливо видна в изображении комментируемого стихотворения. Оно не возникло в походной обстановке. Кроме того ведь армия, вошедшая в Крым по праву войны, уж никак не мучится в нем «уже много лет»; она вообще не «живет в Крыму», а воюет в нем или оккупирует его; ей незачем говорить о возможности прослужить таким же образом еще «некие годы» и т. д.

Следовательно из двух указанных только что возможностей остается только одна: комментируемое стихотворение возникло в среде солдат, составлявших гарнизоны крепостей Керчи и Еникале, находящихся рядом (их отделяет лишь 13 километров) и даже подчиненных единому командованию.

Именно здесь, в окружении враждебной страны, на мирном основании жили, и жили в особо трудных условиях, русские солдаты, при этом жили в течение ряда лет, от 1774 до 1782 г., а может быть и ранее 1774 г., с самой оккупации Крыма в первую Турецкую войну (остальные части армии, занимавшей Крым во время этой войны, не жили в нем «много лет»). Скорей всего именно в конце 70-х годов и было написано интересующее нас стихотворение.

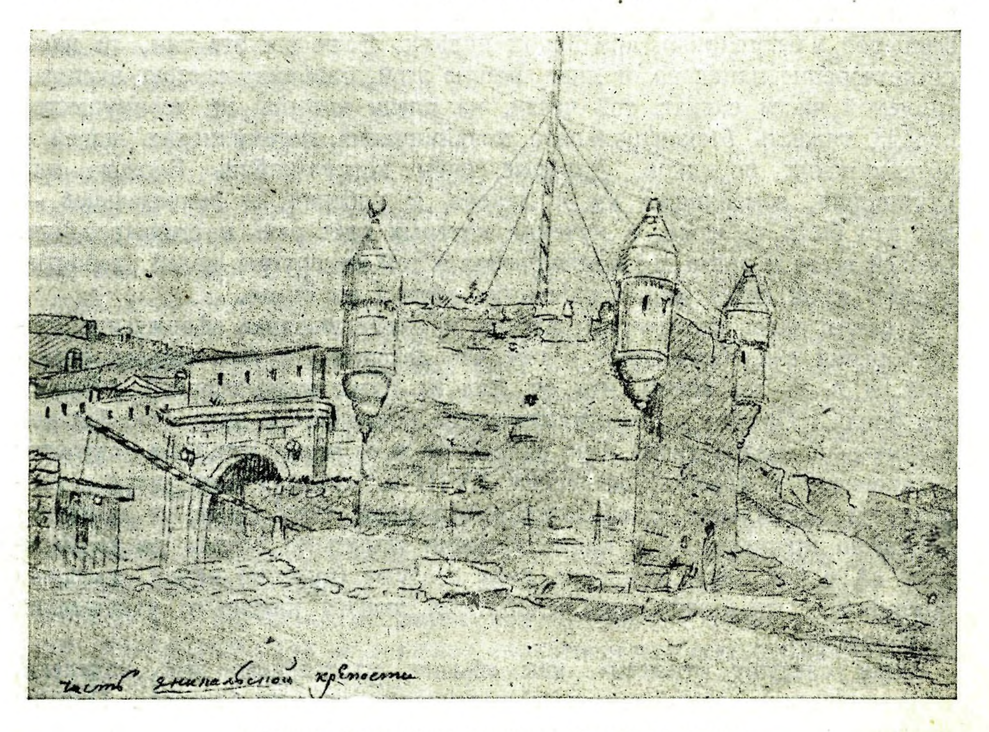
Крым вообще был разорен первой Турецкой войной; крепости же Керчь и Еникале были в середине 70-х годов совершеннейшей дырой. Все надо было заводить здесь заново и для жизни, и для оправдания наименования крепостей. С 1775 г. Керчь и Еникале стали усиленно застраивать; вернее, этого усиленно требовало высшее начальство. В то же время стали везти туда население. Здесь поместили эмигрировавших из Турции албанцев, греков и др.; из них составили и особую военную команду. Но жить новым поселенцам, как без сомнения и русскому военному отряду, было негде. Есть им тоже было нечего.

Неоднократно и подчеркнуто требует Потемкин от местного начальства, как от коменданта Керчи и Еникале, так и от Азовского губернатора Черткова, скорее устроить албанцев, везти провиант в новые крепости, построить в них дома, гостиный двор, госпиталь и магазины в Еникале. Так как дело двигается медленно, он пишет, что для этого, «если бы по публикам вольных мастеров и работных людей, за настоящую плату, из проживающих в Азовской, Новороссийской и в других соседственных губерниях не отыскалось, в таком случае нарядить их подлежащее

число из гарнизонных батальонов, которых и препроводить немедленно к коменданту Керчи и Еникале» [26].

Понятно, что жизнь солдат, загнанных в Керчь и Еникале и работавших на каторге построек и оборудования этих крепостей, была еще тяжелее и еще более обременена трудом, чем жизнь солдат других частей армии.

Мы имеем возможность еще несколько уточнить условия возникновения комментируемого стихотворения. Прежде всего: какие части армии стояли в Керчи и Еникале? Не говоря об албанском отряде, не идущем в данном случае в счет, основу гарнизона крепостей составляли два



КРЕПОСТЬ В ЕНИКАЛЕ (КРЫМ) В КОНЦЕ XVIII ВЕКА
Рисунок Н. А. Львова
Институт Русской Литературы, Ленинград

пехотных полка. 18 января 1775 г. о двух пехотных полках и о полковнике Ступишине говорится в ордере князя Долгорукого-Крымского к Прозоровскому [27].

Из рапорта Прозоровского к Румянцову от 7 мая 1776 г. видно, что полки эти: Белевский и Тамбовский. Те же два полка названы и в Расписании войск под командою кн. Прозоровского от 8 сентября 1776 г.; но тут прибавлены еще два гарнизонных батальона (1-й Ростовский и 2-й Азовский), артиллерийская и инженерная команды, да еще команда Албанского войска; эти части вероятно тоже были в крепостях с самого начала [28].

Обер-комендантом обеих крепостей—и Керчи и Еникале—был генерал-майор Борзов (во всяком случае до 1781 г. включительно; 6 июня 1782 г. уже мы видим на посту «Еникальского обер-коменданта» ген.-майора Филисова [29].

Автором комментируемого стихотворения—ибо оно конечно принадлежит перу определенного индивидуального поэта—был, значит, грамотей из числа солдат или унтер-офицеров, составлявших отряд, находившийся под командой Борзова. Самая форма произведения исключает возможность «устного» творчества неграмотного человека. Особый интерес при выяснении среды, породившей стихотворение, вызывает определение солдат, скрепивших как бы своей подписью, по пунктам, прошение в небесную канцелярию. Драбантами[80] называли в казачьих войсках денщиков. Повидимому это же название перешло в полках южной армии, постоянно соприкасавшихся с казачьими полками, живших и воевавших бок о бок с казаками, и на солдат-денщиков и вообще на солдат, работавших на офицеров в регулярных армейских полках. Если все это так, то наше стихотворение написано от лица именно этой, наиболее жестоко эксплоатируемой части солдат, той части, на плечи которой по преимуществу падала тяжесть бесконтрольного хозяйничания потемкинских людей и потемкинских порядков. Даровые рабы какого-нибудь Борзова или Ступишина, заменявшие им и лакеев, и рабочих, и земледельцев, — вот кто были те люди, о мучении которых идет речь в стихотворении. Скорей всего и автор его принадлежал к той же группе людей, вероятно именно из-за своей «образованности» взятый из строя.

В самом деле: поэтическая манера и самое внешнее оформление стихотворения свидетельствуют о том, что автором его был человек читавший, и в то же время, что он был не чужд канцелярской учености его эпохи. Прежде всего стихотворение исполнено в виде своеобразной поэтической «челобитной». Оно полностью и со всеми деталями повторяет установленную формулу прошения XVIII в.: сначала идет титул и развернутое вступление с обязательной хвалой тому лицу, к которому обращено прошение, и с канцелярскими штампами вплоть до неизбежного «А о чем наше прошение, тому следуют (пункты) ниже», дословно повторяющегося в настоящих челобитных любого казенного учреждения того времени.

Затем следуют «пункты», как обычно, излагающие дело издалека, с историческим введением и с перечислением «отягощений». Пункты перенумерованы и, как полагается, скреплены идущей через всю нумерацию их подписью челобитчиков, развернутою подробным определением их официального звания. Скрепа составлена вполне «по форме»: «К сей челобитной служа (или служивые) солдаты, крымские драбанты, в Крыму живучи, труды несучи, о нужде своей тужили и руки приложили»; нехватает только самих фамилий. «Документ» заканчивается, как и следует, датой, приведенной в пародийной форме.

Самая формула стихотворной «челобитной» повидимому обладала значительной выразительностью; она хорошо выражала замысел автора плача. Показательно в этом смысле то обстоятельство, что эта же формула в упрощенном виде, с опущением ряда деталей, дана в «Плаче экономических крестьян», опубликованном в «Русском Архиве» 1875 г. (т. III, стр. 255—256. «Старинное острословие. Прошение в небесную канцелярию»), потом еще раз в несколько отличном списке в том же «Русском Архиве» 1908 г. (публикация П. Юдина «Жалобы саратовских крестьян на земский суд», т. III, стр. 215—217) и наконец в списке, близком (но не сходном) к тексту «Русского Архива» 1875 г., опять

напечатанном А. Д. Седельниковым со статьей в журнале «Литература и марксизм» в 1931 г. (кн. IV, стр. 126—136)[31]. А. Д. Седельников, тщательно прокомментировавший «Плач экономических крестьян», относит его с бóльшей степенью вероятности к самому началу XIX в. П. Юдин датировал его концом XVIII в.—после 1776—1778 гг. Может быть можно видеть в «прошении» экономических крестьян отклик «челобитной» крымских солдат.

Впрочем самая манера пародии на «прошение» была видимо старинной литературной формулой «низовой словесности», использованной солдатским поэтом именно как таковая.

Стилистический характер и самая стихотворная система солдатской челобитной обличают в ее авторе грамотея, не чуждого своеобразной литературной осведомленности; он не только владеет языком и стихом, но и обнаруживает непроизвольно состав своих литературных сведений. В его язык, в общем простой, реалистический, вплетены элементы церковного слога и слога канцелярски-официального. Автор видимо вкусил от культуры правящего класса через официальную бюрократическую машину, т. е. как жертва этой культуры, а не как ее соучастник или ученик. С другой стороны, ему привычны церковные формулы, слова, словесные ходы. Вообще говоря, ведь церковное чтение, связанное с годичным кругом культовых обрядов, или «партикулярное», едва ли не занимало одного из главных мест в культурном обиходе как сельского грамотея, так и посадского человека в XVIII в. Рукописная или печатная церковная книга, устная проповедь, сама церковная служба, также воспринимаемая на слух, предлагали ему разнообразные образцы художественного слова.

Рядом с официально-церковной литературой стояло множество легенд, церковных рассказов, апокрифов и т. п. На всей этой основе возникали крепкие языковые навыки серьезной, «важной», речи социальных низов, возникала и привычка использования библейской мифологии, образности, персонажей. Так и в нашем стихотворении использованы мотивы, связанные с образом Адама.

Как разговорно-шутливый слог, использующий реалистически простые, откровенные формы речи и составляющий как бы языковую основу произведения, так и стихотворный склад солдатской челобитной ведут нас к виршевой и лубочной традиции, бывшей светским дополнением «духовной» литературы, никак не менее влиятельным и распространенным. Стиховая форма и в частности рифма в свою очередь связывались в данной традиции и в солдатской челобитной с особыми, так сказать плеонастическими, словесными конструкциями, восполняющими меру стиха и дающими ему рифменные концовки.

Лубок, подпись под лубочной картинкой, написанная силлабическими стихами или даже рифмованной прозой (среди лубков попадаются и тексты дворянских поэтов, т. е. обычные силлаботонические стихи), без сомнения проникал широко в среду грамотных людей; хотя конечно нельзя думать, что вообще все лубки имели хождение в массе крестьянства или даже мещанства; не мало лубочных листов могло расходиться и в среде высших классов, тем более, что самый характер некоторых из них указывает на их прямое отношение к дворянскому искусству; это или подражания ему или же социально-рептильные попытки применить его к пониманию групп «третьего сословия», тянущихся за

«благородными». Однако ряд лубков повидимому действительно соответствует вкусам и запросам низовых посадских людей и может быть даже некоторых крестьян XVIII века.

Другая традиция, подготовившая возможность появления таких стихотворений, как солдатская челобитная,—это традиция вирш, разошедшаяся из очагов полупольской церковной и светской культуры XVII столетия.

Наконец немалую роль в создании нашего стихотворения могли сыграть фольклорные традиции.

Солдатская челобитная как художественное произведение суммирует опыт ряда литературных традиций, образовавших в значительной мере облик литературного бытия социальных «низов» XVIII в. В самом деле: рядом с церковной словесностью и с пережитками литературы московской Руси, рядом с традиционным фольклором сказок, бытовых или обрядовых песен и т. д. в XVIII в. вырастает повидимому в самой среде эксплоатируемой массы новая литература—проза повестей, анекдотов, бытовых сказок, поэзия плачей и сатир. Такая поэзия, не связанная с музыкой, не связана и с обрядом. Она бытует, скорей всего, в списке. Она создается под знаком острой современности и в связи с этим она лишена характера архаизма (былинно-песенного) как в отношении слога, так и в отношении стихового механизма. Бытовая тема сегодняшнего дня, трактованная в реалистическом тоне, отчетливая социально-идейная направленность, тенденциозность и в то же время своеобразие художественного метода определяют историческую значительность такого произведения, как солдатская челобитная. Оно осуществляет творческую волю и подлинное эстетическое сознание—вполне независимое—тех, на кого обрушивался крепостнический режим, потому что ведь неправильно было бы думать, будто «низы» в это время были лишены своих путей в искусстве или довольствовались упрощенческим повторением уроков современной литературы своих «хозяев».

В этом отношении солдатская челобитная стоит не совсем одиноко. Не говоря уже о том, что не мало аналогичных произведений, без сомнения существовавших и ходивших по рукам в XVIII в., может и должно быть еще открыто и исследовано наукой, мы имеем уже в печати такие например стихотворения, как известный «Плач холопов», или указанный уже выше «Плач экономических крестьян».

Автор солдатской челобитной начинает свое стихотворение библейскими мотивами. В этих библейских образах он воплотил мысль об извечности мирового зла. Чувство обреченности, окрашенное тонами некоего крестьянского квиетизма, проявляется уже с начала стихотворения.

Впрочем это чувство обреченности не мешает явственно проступать в нем ощущению злобы против неправедных властителей. Злоба эта не разрешена.

Не менее характерна идея аморальности войны и насилия, проведенная в челобитной. Самое происхождение войны опорочено поэтом. Современная война представлена в виде бессмысленного ряда убийств и грабежей. Она совершенно не нужна тем, мысли кого передает поэт. Она нужна «тщеславию» правящих, вернее всего царицы. Она плод низких побуждений ее виновников, она безнравственна.

Так в осуждение войны, построенное в категориях морали, при том морали, связанной с требованиями всеобщего мира и добра, с мечтой

о кротком человечестве, вплетается новый элемент. Поэт отдает себе отчет в социальной структуре войны, ее хозяев и ее жертв.

Ноты социального протеста и сознания социального неравенства вообще вполне явственно звучат в стихотворении. О неравенстве говорится в ряде мест стихотворения. Сильное место, посвященное этой теме, находится например в «пункте» 11-м. Здесь речь идет об армейском начальстве потемкинских времен. Ср. также «пункты» 13, 14 и «пункт» 7-й. Весьма примечательно в стихотворении и отсутствие ненависти к врагам—неприятелям в войне—при наличии ненависти к врагам—



НАКАЗАНИЕ СОЛДАТА ПАЛКАМИ ВО ДВОРЕ КАЗАРМЫ

Зарисовка Г. Гейсслера времени пребывания его в России (1790—1798 гг.)

Раскрашенная гравюра из альбома „Strafen der Russen, dargestellt in Gemälden und Beschreibungen von G. Richter und C. G. H. Geissler“.

командирам: «Завиствуем и друг у друга отнимаем, уж не по одному, а по тьме братьев убиваем», говорит автор. И то же в конце «пункта» 5-го.

Наверху ненавистной системы подавления стоит монархиня, Екатерина Вторая, вдохновительница и хозяйка всего мучительства, по мнению автора челобитной. Солдатский поэт имеет в виду Екатерину в «пункте» 4-м: «Женою Адам был на грех прельщен, За что он был адом поглощен., По что ж велел нам быть *женам* послушным... По желаниям их во всем им угождать. И *для них* странствуя в трудах нам умирать». Это ее «тщеславие» толкает людей на войну (ст. 39), чрез нее «лишены и многие отеческого краю» (ст. 32).

Система угнетения, выработавшаяся в русской армии к концу XVIII в., не могла не быть осознана русским солдатом в своем истинном социально-политическом облике; солдатская челобитная в этом смысле достаточно выразительна, в то же время в ней отразились и конкретные бытовые условия существования эксплоатируемого солдата Потемкинской армии, солдата-работника, из которого выколачивает доходы дворянин-офицер. Укажу «пункты» 9-й и 10-й, в которых говорится о казенных, а скорее частных трудах солдат, которые «дрова рубят косами», собирают день и ночь кизяк голыми руками и таскают его на собственных плечах, о нищете, мучениях солдат. Ср. также п. 13—14.

«Солдатская челобитная» не одинока. Примечателен тот факт, что мы располагаем еще одним произведением, связанным с нею теснейшим образом, дополняющим и как бы подкрепляющим ее.

В том же сборнике, в котором находится один из списков «Солдатской челобитной» (список, обозначенный выше буквой Г.), переписано длинное стихотворение—«Горестное сказание, минувшее и настоящее истязание воинских служителей и разного рода жителей, обитающих в уголке отдаленном, иноверными землями и морями окруженном»... и т. д.

Сборник, заключающий это стихотворение, хранится в Институте Русской Литературы Академии Наук в составе архива «Русской Старины». Это—огромный том в 1162 страницы большого формата (кроме оглавления в 20 страниц). Полное название его таково: «Книга, называемая когда что попалось, собрана на Руси, в Крыму, в Молдавии, в Валахии, в Польше, на Волыни и Литве как бы сказать с не малыми хлопотами. 1792 года декабря 23 дня»... (далее край листа оторван). Сборник составлялся видимо с 70-х годов XVIII в. до 90-х. В нем есть не мало именно крымских материалов как сатирических, так и официального характера.

Привожу текст стихотворения (находящийся на стр. 259—264 сборника):

ГОРЕСТНОЕ СКАЗАНИЕ,

Минувшее и настоящее истязание
Воинских служителей
И разного рода жителей,
Обитающих в уголке отдаленном,
Иноверными землями и морями окруженном,
Праведному законному суду взносимых бедных слезы,
Поныне остались без всякой решимости и пользы,
Не без стыда такую повесть утаить,
Принуждено пред целым светом публично объявить,
Видно нет надежды ожидать желаемого решения,
Вознамерились отдать всему миру в рассмотрение,
Пущай всяк выслушав справедливо судит,
Кто из нас виноват будет;
Вещь сию почитаем истине подобно,
Все расскажем как было подробно,
Только надобно прежде покушать,
Не будет ли скучно слушать;
О праведной здесь отец командир и почти владетель,

Не обитает в его душе ни малейшая добродетель,
Неутолимой на всех гонитель,
К лихоимству усердной рачитель,
Не мыслил больше ни о куме ни о рае,
Как о своем бездонном кармана крае.
От своих буйловиц * и коров в гошпиталь молоко доставлял,
И больных почти неволею употреблять заставлял,
Брал из казны денег 25 копеек за кружку,
Считал за робячу все то игрушку,
Но ** выздоровляющих непопечительно взирал,
А для большего себе прибытка в гошпиталь к себе здоровых забирал.
Не сделался доволен и тем,
Зачал копать в поле хрен;
Хотя хрен руками солдацкими копал,
Для больных в виде подряда, в гошпитальную книгу попал;
Ценою по пяти рублев пуд,
Говорит моя вся польза тут;
Одним карманом казна не убудет,
На то место еще больше прибудет,
Ежеденно по утрам неусыпное попечение простирал,
Со всякой мелочи неупустительно пошлину сбирал;
О бутылках и о сахаре говорить нечева,
Приносили к нему еще с вечера;
Ни с какой вещи без ведома его
Нельзя продать золотника одного;
Безутешно всех гнал и мучил,
Истинно многим наскучил;
На установленные законы и последующие указы мало взирал,
Безвинно в холодной погреб офицеров запирал;
Милосердием на бедных совсем не внимал,
Имение и жизнь отнимал;
Всякую последнюю вещь вручил своей воли,
Не было никому ни в чем доли;
Несколько служивым людям была пощада,
И всякому авантажная отрада;
Отменною милостью награждал,
Из фонтала меркою воду раздавал;
Всех жребию отчаянности порабощал,
Мужчин и женщин безденежно в работу обращал;
Не только одни его работы,
Но и посторонним были без заботы,
Одеждою и пищею никогда не наслаждались,
Чуть не с нищими сравнялись;
Бурьян и кизяк денно и ночно на плечах носили,
И на покупку того денег не испросили;
Не было возможности для лошадей накосить сенца,
Когда с утеснением в поле паслась овца;

* Конечно ошибочно вместо «буйволиц».
** «Но»—вероятно вместо «на».

Из ученых инженеров,
Богатых купцов и храбрых офицеров
Составленная в совет его свита,
Лукавым лицемерством и шпионством набита;
Отвсюду нестерпимость представляло плачевное горе,
Отчаянно нудило бросаться в море;
Не было никаких средств ко избавлению,
Усердно приступили все к молению;
Всевышней и милостивой творец,
Пощади своих овец.
Услышел начальный страждущих глас,
Несколько облегчил нас;
С реки Невы из числа смертных прилетал раувил *
К путю спокойну двери растворил,
Случаем нечаенно вдруг позвали
К ответу барина в Петербург.
Всяка была душа рада,
Немалая возрасла всем отрада,
Думали тогда, что он падет,
Уж слава и гордость его минет;
Некоторой протекшой здесь слух,
Потревожил всех веселой дух;
Всеянная между нами прежняя страсть,
Праведно предвещала попрежнему в его руки впасть;
О том многие и немало тужили,
Однако спокойно служили;
Внезапно пронесся слух про Петербург,
Явился плотенный ангел вдруг;
Законных прав нелицемерной хранитель
Санкт Петербургской житель коллежской правитель;
Всем радость несказанную предвещал,
А других в Россию вывесть обещал;
О прежней власти не велел думать,
Он сюда сказал не будет;
Будучи уверены и тем,
Не думали ни о чем;
Верить кажется больше кому,
Как не ангелу тому;
В чем все твердо положились,
От гонения злобы будто забором заложились;
В страхе и в упрямстве человек без жалости шкатулкой тряхнул
И настоимый ему гнев скоро отпихнул;
Пред престолом владычества представлен,
И всякой его проступок отечеству прибытком прославлен;
За что его персонально там благодарили,
Сверх ковалерии на пять тысяч подарили.
В сей час отбежали от него надлежащие прещении,
Не уповает никогда быть за злобу во отмщении;

* Может быть вместо «Рафаил» (?)

ГРЕНАДИР АРМИИ ПЕШИЙ
Лубочная картинка XVIII века
Публичная Библиотека, Ленинград



Сей подарок в руки получил,
Заслуженные наказания в бездне безпамятство заключил;
И вздумал избавителя своего трудить,
Чтоб он постарался его на место прежнее определить,
Как скоро об оном доложил,
Тот час и определено, чтоб здесь жил;
Протек здесь о том достоверной слух,
Вострепетал гонимых дух;
Приездом к границе появился,
Бедных слезной поток пролился;
Наполнились стоном горы,
Взволновалось и море;
Предстал всем ужасной страх,
Возвеялся ветром прах;
Друг к другу говорили внемли,
Конечно будет тресение земли;
Одни только рыбы за него бога молят,
Что кроме его невода никто их не ловят;
И так нам ангелово предвещание сделалось ложно,
Впредь тому и верить не можно;
Правда, не надобно на него пенять,
Теперь он многими делами занят;
Когда со временем об нас припомнит,

Может быть и обещанное исполнит;
Ныне правду худо наблюдают,
Регламенты и указы презирают;
К исполнению законов и глаз своих не взводят,
Из целовальников в чин офицерской производят;
Теперь прошедшее окончали;
Настоящее говорить начали;
По прежнему власть уже здесь воцарилась,
Гонение, гордость и злоба вяще бывшей открылась;
Разгордившись разъезжает колесницей;
Называют сию окружность своей столицей;
Не думает ничего
И не смотрит ни на кого;
Без разбору всех ругает
И вышних от него чинов незнающим называет,
Во всем прежнем своенравно порядок восстановил,
И всех своих сообщников к должностям определил;
Всеял во всех свирепой страх,
Скоро домы беспомощных обратятся в прах;
Он кажется прежде милостивее был,
Только живых людей мышми травил;
А ныне никак собрал всю растащенную злобу от века,
Уже в состоянии и сам съесть человека;
Нет таких кащеев на примете,
Которые бы зазнали сему подобного в свете;
Саул царь ненасытно Давыда гнал и утомился,
А сей возвратившись от беды еще больше возгордился:
Отверз своевольства пространную дверь,
Рыкает как зверь;
Подобием герцога себя прославляет,
Ему псарней и конюшней осмой класс управляет;
За усердные того труды,
От себя не отпущает никуды;
Находится без исправления государевой службы,
Ни в чем не имеет нужды;
Изрядно за все отблагодарен,
Тридцать семь ступеней приходя чердаком награжден,
Вот в чем настоятелю можно приписать похвалу,
Как разумному черкаскому волу;
Он предположенными законами дисциплину весьма соблюдает,
По воинским уставам, предосторожностью хорошо поступает;
Не только каждая купеческая лавка и последней переулок
без стражи не оставлен,
Но и у фонтана караул приставлен;
Не пора ль уже перестать,
И не лучше ли в кротости замолчать;
Ведь больше словами только наскучим,
А свободу вряд ли получим;
Конечно вышнего творца прогневали мы одни,
И осуждены здесь страдать на многи дни;
Некуды от сей нужды избежать,

Но надобно больше к молитве прилежать;
Нельзя сего упросить нам одним,
Лучше положимся на весь мир;
Может быть праведно миром проговорят,
Виноватого на теплые воды сослать;
На что несумненно уповаем,
И милостивой конфирмации ожидаем;
Если и миром сего не решать и не упросять
Принуждено будет жилище и службу бросить;
Сие сказание
Писал по общему приказанию;
Объявить прозвища боюсь,
И как меня зовут не скажусь;
Плачевного года темного месица,
Ноября шестого на десять числа,
Вся команда в святцах не нашла,

в : с : i : в.

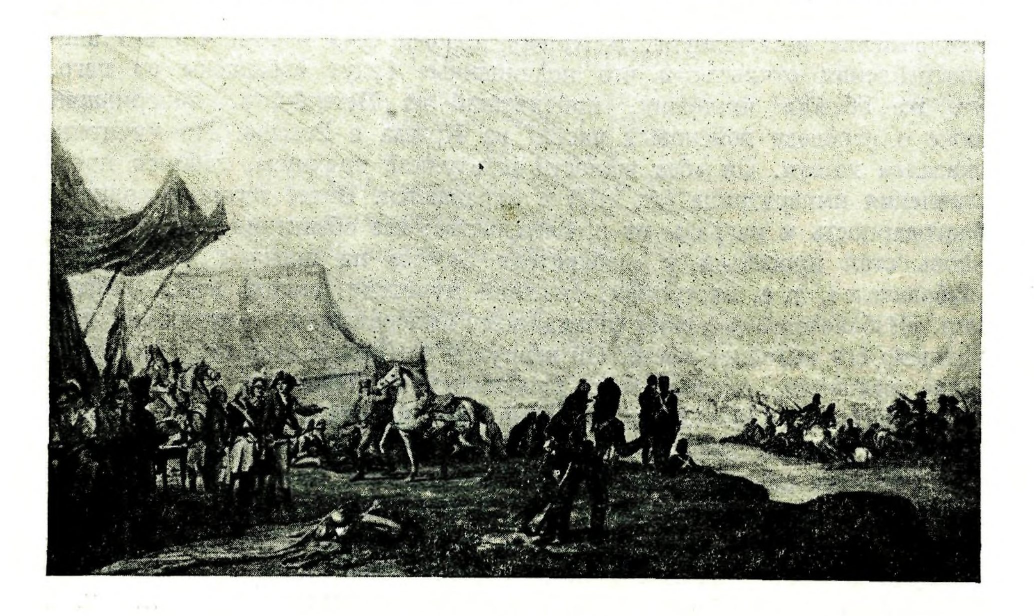
Стихотворение это описывает без сомнения реальный факт: историю опалы и восстановления в правах некоего военного командира, имевшего в Крыму власть, распространявшуюся и на гражданское население. Сколько-нибудь точно и с уверенностью указать, где и когда именно происходили соответствующие события, я в настоящее время не могу. Может быть стихотворение относится уже к периоду окончательной оккупации Крыма русскими войсками и «покорения» Крыма, т. е. написано после 1782 г. Однако едва ли не более вероятно будет отнести его к тому же месту и может быть к той же эпохе, что и «Солдатскую челобитную». Нисколько не настаивая на этом предположении и выставляя его только как предположение, я все же не могу не привести нескольких соображений, как будто бы наводящих на него. В «Горестном сказании» изображается ряд злоупотреблений, чинимых военным начальником какого-то пункта в Крыму; но тот же начальник усиленно притесняет и невоенное население, наживается на нем, словом, хозяйничает и в гражданской части. Такое совмещение власти естественнее всего предположить именно в крепостях, занятых частями русской армии, где власть целиком была сосредоточена в руках военного начальства, а не в городах покоренного Крыма, где имелся аппарат гражданской бюрократии. Затем—речь идет об «уголке отдаленном, иноверными землями и морями окруженном». Не говорю же о том, что Крым трудно назвать «уголком»; но ведь он, в целом, сам являясь «иноверной землей», никак уж не окружен ни землями вообще, ни «иноверными» в частности. Наоборот, кусок земли («уголок»), занятый крепостями Керчь и Еникале, именно и окружен как морями, так и «иноверными землями». Этот аргумент представляется мне если и мелочным и потому как бы крохоборческим, однако тем не менее существенным. Сюда же относится упоминание о том, что замученным начальником солдатам, а может быть и другим поселенцам обещали было их «в Россию вывесть» (ст. 96), т. е. здесь дается противопоставление России Крыму; на этом трудно настаивать, так как такое противопоставление могло сохраниться и после «присоединения» Крыма, но в стихотворении говорится также о «границе», на которой появился после восстановления в своих правах герой-мучитель, т. е. повидимому о границе между Крымским ханством

и русскими владениями на полуострове (а не о границе между Крымом *и Россией вообще; таков смысл данного места «Горестного сказания»*— стр. 121, однако если бы мы допустили и иное толкование этого места, т. е. истолковали бы упоминаемую в нем «границу» как границу между Новороссией и Крымом, дело бы не изменилось, так как важно вообще наличие границы, отсутствовавшей после присоединения Крыма к России). Еще одна деталь: в тексте «Сказания» упоминаются «ученые инженеры», наличие которых вполне объяснимо именно в строящейся и укрепляемой крепости, какими были Керчь и Еникале. Наконец некоторые результаты в данном смысле может дать сравнение «Горестного сказания» с «Солдатской челобитной». Не только есть совпадающие моменты, так сказать реалий, изображаемого в обоих стихотворениях, но у читателя не может не возникнуть мысль об единстве автора обоих стихотворений.

Общий характер обоих произведений явно сближает их. Близка и художественная манера их, и стиль, и общее настроение, и идейная основа. Автор «Горестного сказания» такой же грамотей из «низов», так же оперирующий библейскими мотивами (ст. 161—о царе Сауле и Давиде), так же не чуждый канцелярских навыков [32]; он не чужд и городских словечек вообще; у него мы найдем и «публично объявить», и «подобием герцога себя прославляет». Та же печальная ирония, что в «Челобитной», у автора «Горестного сказания» (см. например ст. 51—54). Так же, как автор «Солдатской челобитной», он пишет стихотворение—плач от лица всех своих товарищей по бедствию. Далее, может быть не случайны такие например совпадения: в ст. 21—22 рифмы рае/крае; аналогичные находим в «Челобитной»—Раю/Краю (ст. 31—32). В ст. 31 говорится о том, что утеснитель «хрен руками солдатскими копал», а в ст. 59—63 автор рассказывает: «Одеждою и пищею никогда не наслаждались, чуть не с нищими сравнялись; б у р ь я н и к и з я к д е н н о и н о ч н о н а п л е ч а х н о с и л и и на покупку того денег не испросили»... В Челобитной тоже «День и ночь кизяк на плечах носили» (ст. 59) и в других местах—«Лишились и мы... сапог и рубах» (ст. 62), «Сбирать в поле навоз нашими руками» (ст. 58). В ст. 73—74 обращение к богу сходное с «Челобитной»; даже рифма творец/отец— та же. Наконец заключение «Сказания» вполне аналогично по типу с заключением «Челобитной», что в особенности показательно; в «Сказании» это заключение, собственно говоря, не совсем у места; ведь оно дает перефразировку даты, обязательной в конце официальной бумаги («Челобитная»), а «Горестное сказание» не имеет формы такой бумаги [33].

Таким образом можно, как кажется, высказать предположение о том, что оба стихотворения принадлежат перу одного неизвестного нам по имени поэта, находившегося в гарнизоне Керчи и Еникале в период между первой Турецкой войной и захватом Крыма. Иным объяснением близости двух стихотворений могло бы служить предположение о существовании целой группы стихотворцев в крымском отряде армии, творивших согласованно, в одном духе, или хотя бы двух таких стихотворцев. Такое предположение кажется мне мало вероятным хотя бы потому, что вообще-то грамотеи в солдатской среде были в то время очень и очень редки, а допустить, что именно здесь, в Крыму, случайно оказались соединенными два поэта,—явление без сомнения тем более

редкое,—думается, весьма трудно. Предположению о тождестве авторов обоих стихотворений нимало не противоречит некоторая разница в степени поэтической обработанности обоих текстов. «Челобитная» производит впечатление большей отделанности стиха и даже слога. Однако причина такого впечатления может быть в неисправности списка «Горестного сказания». К тому же в основу обоих стихотворений положены не совсем совпадающие жанровые замыслы; не совсем совпадает, в связи с этим, стихотворная система, а вместе с нею и стилистический строй вещи; с одной стороны,—это настоящее стихотворение («Челобитная»), с другой—своего рода раешник, стихи, сбивающиеся на рифмованную



ЛАГЕРЬ ПОТЕМКИНА
Акварель неизвестного художника (конца XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград

прозу («Сказание»). Само же это различение способно лишь свидетельствовать о разнообразии художественных возможностей поэта, написавшего и «Челобитную», и «Сказание». Однако настаивать на мысли об единстве автора обоих стихотворений я не берусь.

Примечательно в «Сказании» как обращение автора к суду читателей в начале (ст. 12 и сл.), так и последние стихи, в которых он связывает свое произведение с волей и мыслью той группы людей, к которым он принадлежит (ст. 195—196). Повидимому он относился к своему творчеству, как к важному общественному делу, как к проявлению стремления целого слоя людей к правде и к облегчению своей участи.

В «Горестном сказании» поэт предает гласности, имевшей конечно своеобразный подпольный характер, конкретные факты. Все они стоят в ряду тех явлений, о которых шла речь в первой части комментария. Самоуправство, дикие злоупотребления, ничем не ограниченная эксплоатация подчиненных—все это воплотилось в лице одного командира, бесконтрольно правящего и подведомственной ему армейской частью, и даже населением данной местности. «Горестное сказание» дает ряд

типических черт деятельности такого человека. Оно говорит о его корыстолюбии вообще, лихоимстве и тиранстве (ст. 19—22 и 105); о вопиющей эксплоатации госпиталя, превращавшей его в доходное предприятие (ст. 24—28), и ниже об эксплоатации солдатского труда (ст. 30—31 и 55—62 и сл.; здесь говорится и об эксплоатации труда женщин, вероятно солдатских жен); о грабеже, самоуправстве и поборах с населения (ст. 40—50 и 177—178); о грабительской наживе на армии (ст. 32—38; ст. 166—о псарне и конюшне героя стихотворения) и т. д. Полновластный негодяй окружен свитой приспешников—шпионов, офицеров, богатых купцов и инженеров (ст. 65—68).

Стихотворение излагает историю временного затмения власти мучителя. Его вызвали в Петербург. В Крыму прошел слух о том, что его злоупотребления открыты и что подчиненные будут избавлены от него. Это же обещал чиновник, приехавший из Петербурга, говоривший даже о переводе войсковых частей из Крыма в Россию. Но мучитель оказался живуч. Он «без жалости шкатулкой тряхнул», добился представления императрице (ст. 107) и оправдался. Более того: он получил благодарность и награды от правительства; все обвинения отпали, и он вновь стал проситься у «избавителя своего» на прежнее место. Этот «избавитель», т. е. заступник, спасший мучителя, скорей всего—Потемкин. «Избавитель» доложил (повидимому императрице), и мучителю возвращено его выгодное место. Он вернулся в Крым и стал свирепствовать пуще прежнего, окончательно решившись не обращать внимания на законность (ст. 138—139) и окружив себя вполне зависимыми людьми, столь же рабски заинтересованными в нем, как он в «избавителе» (ст. 140—«из целовальников в чин офицерский производят»). Вывод, данный «Горестным сказанием», двойственный; он характерен для уклада сознания его автора. С одной стороны, он предлагает формулу терпения—«Некуда от сей нужды избежать, но надобно больше к молитве прилежать; нельзя сего упросить нам одним, лучше положимся на весь мир»... и т. д. (ст. 185 и сл.). С другой—он говорит, что в случае, если мучительства будут продолжаться, необходимо будет «жилище и службу бросать», т. е. дезертировать.

Автор «Горестного сказания» скрыл свое имя: «Объявить прозвище боюсь, как меня зовут не скажусь» (ст. 196—197). За такие стихи поэт мог поплатиться гораздо более тяжко, чем кто бы то ни было из либеральных или революционных поэтов XVIII и XIX вв. Мы не знаем его имени, не знали его и читатели его стихотворений, которых было не мало; пять указанных выше списков «Солдатской челобитной» свидетельствуют о широком распространении таких стихов; эти списки все, кроме одного, сохранены для нас не непосредственными представителями аудитории, которой они были адресованы; они были внесены в рукописные сборники в порядке курьеза или в порядке «запрещенной», подпольной литературы интеллигентами. Но до этих интеллигентов они доходили через «низы», и то обстоятельство, что стихи неоднократно доходили до них, доказывает их известность.

Солдатские стихи делали свое дело. В листочках, списанные грамотеями из «низов», они «носились в народе», как выражался Болотов, и кажется они имеют право на внимание историка не в меньшей степени, чем признанные произведения поэтов «высокой» литературы, имена которых вошли в словари Новикова и Евгения Волховитинова.

Приложение [84].

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

(Новый вариант)

Приводимое ниже по новому тексту стихотворение интересно как один из немногих уцелевших памятников солдатского творчества. Автором его был «Измаловского полку гренадер» Иван Макаров, выходец из Московской духовной академии. В одном из списков, которыми мы пользовались, имеется примечание, где сказано, что «за сие сочинение прогнан он сквозь строй и выписан в армейский полк». Приводим текст стихотворения:

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ,

сочиненная в большом городе, в каменных палатах почтенным человеком, которого бьет всяк, Майя 1. 1803.

К читателям

Хоть читай иль не читай,
Философом не щитай,
Я солдат—не богослов
И не знаю красных слов.
Здесь пишу я не романы—
Сущу правду, не обманы.
Что глаз видит, ухо слышит,
То рука моя и пишет—
　Хоть не складно,
　По мне ладно.
А что худо я пишу,
Научить тебя прошу.
Коль умеешь—научи,
А не знаешь—так молчи.
Я покорнейший слуга,
Пред тобою как дуга,
А всегдашний ваш ревнитель
Сей поэмы сочинитель.

Ода

1

Дела славные я Трои
Воспевать здесь не хочу,
Мне не нужны и герои,
А пишу я, что хочу.
На Парнас взлесть не умею,
А пою, что разумею,
И Пегасы мне все чужды,
А узнайте наши нужды,
Что тревожат и крушат,
Нас безвременно сушат.

2

Я отечеству защита —
А спина моя избита,
Я отечеству ограда —
В тычках, палках—вся награда.

Кто солдата больше бьет,
Тот чины здесь достает.
И старателен, хорош,
Хоть на чорта он похож.
А коль бить кто не умеет —
Ничего не разумеет.

3

О, солдат! Ты горемыка,
Хуже лапотного лыка.
Твоей жизни хуже нет,
Про то знает и весь свет.
Тебя дуют, тебя бьют,
Так как полосу куют.
И собаку чтут дороже!
Палкой бьют тебя по роже,
Разбивают глаза, губы,
Не забудут тут и зубы.

4

Если ж мало, то дубинки...
О, солдатские вы спинки!
Вы родитеся к нещастью!
Заболят кости к ненастью
И головка закружится,
Если плюх пять-шесть случится.
Лучше в свете не родиться,
Чем в солдатах находиться.
Этой жизни хуже нет,
Изойди весь белый свет.

5

В караул идешь—так горе,
А домой придешь—и вдвое.
В карауле нам мученье,
А как сменишься—ученье!..
В карауле жмут подтяжки,
На ученьи жди растяжки.
Стой прямее и тянись,
За тычками не гонись,
Оплеухи и пинки
Принимай так, как блинки.

6

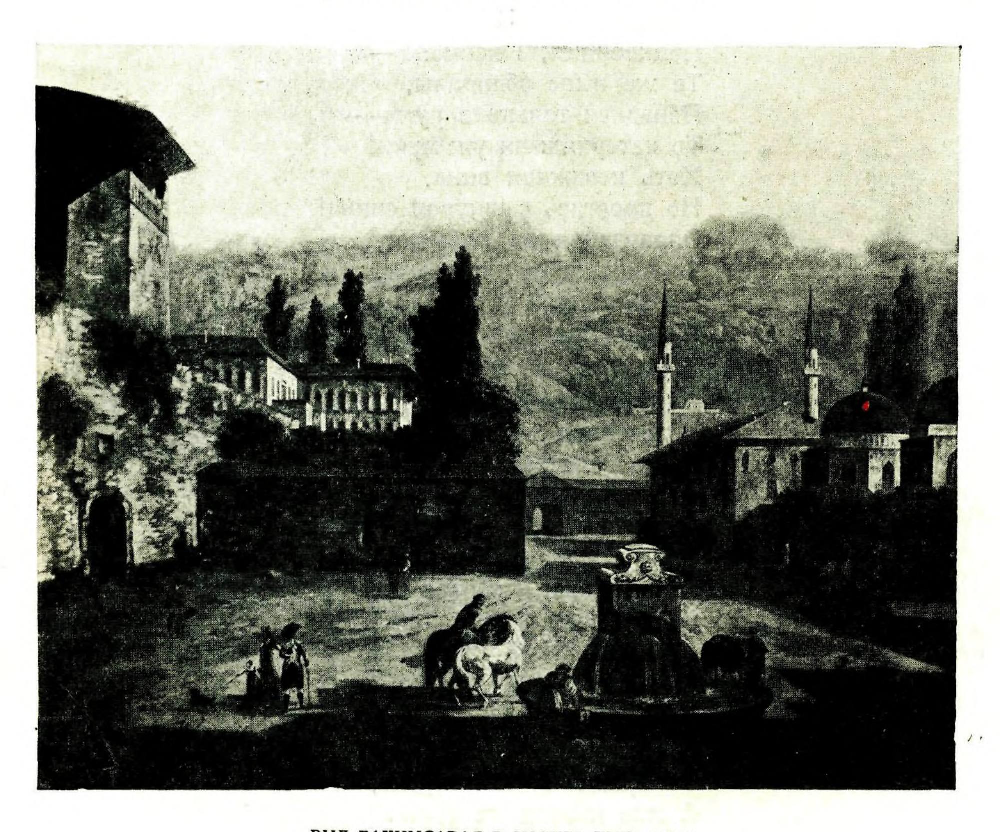
Есть несносно в свете время
Кто несет болезни бремя,
А несноснее тому
Коль не верят в том ему.
Хоть божится, уверяет,
Командир не доверяет,
Говорит: нет, ты ленишься,
Не поверю, хоть божишься...
О, солдат! Бедно созданье,
Твое слабо оправданье.

7

Заболит когда солдат —
Бейся смело об заклад:
Не поверят в том ему
Хоть божись хочешь кому
И тяни хоть с неба бога!..
Говорят, что лени много
Выбить надо из него, —
Быть больному отчего?
Он не болен, а с похмелья,
Знаю я его безделья!

8

Коль наружной нету раны —
Говорят, что все обманы...
Разве дух из кого вон—
Скажут, что был болен он.
После смерти и жалеют,
Но помочь уж не умеют.
По кончине ублажают,
Кого прежде убивают,
Его службу почитают,
Прежде ж в людях не щитают.



ВИД БАХЧИСАРАЯ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА
Картина маслом Ф. Алексеева
Русский Музей, Ленинград

9

О, прекрасная весна,
Ты приятна и красна,
На тебя всяк веселится,
Когда вольным кто родится.
А солдату ты, весна,
Очень, очень несносна.
Тут начнется всем ученье,
О, несносное мученье!
О, ученья глубина!
Про то знает лишь спина.

10

Коль здоровы будут палки,
Офицеры так, как галки,
Солдат мучают до смерти,
Точно душу в аде черти.
Кулаками по скулам
И палками по спинам.
А коль палочек не станет —
Тесаков на то достанет,
Эспантоны не гуляют —
Часто под бок прилетают.

11

Полковники, Генералы —
Те же ныне обдиралы,
Попадися только в руки —
То натерпишься уж муки!
Хоть неважная вина,
Но простись с шкурой спина!
Оправданья не примают,
Только шкуру обдирают,
Говорят: стой и молчи,
Хоть и прав, да не ворчи.

12

Да уж ныне офицеры
Вознеслися выше меры:
Себя ставят за святых,
А солдат чтут за клятых.
Для того должно так быть,
Чтоб могли они их бить.
В том утеха и забава
И хорошая в том слава.
Какой славной командир
Скидает совсем мундир.

13

А коль просим их о деле,
То приди на той неделе,
А мне нынеча не время
Понести такое бремя,
А неделя коль придет,

То другую он найдет
И не будет им конца—
Ходи так как вкруг кольца...
О, солдатская ты участь,
Ты приводишь сердце в ужасть.

14

А от каменных палат
Весь засох уже солдат,
Хоть с наружного-то вида,
Правда, жить бы не обида,
Но во внутренность взгляни —
Волчью песню и тяни:
Человек двадцать немножко
Бейсь у одного окошка,
Тут почистись, побелись,
Друг за дружкой и тянись.

15

В них дворянска стоит печка...
Живи смирно, как овечка,
Наблюдай всегдашню моду:
Не держи в покое воду,
Чтобы пол всегда был бел
И других не делай дел.
Коль захочешь помочиться—
Надо версту волочиться.
Раза два-три коль пройдешь—
То подметки изобьешь.

16

А придет как воскресенье,
Говорят что от безделья
Ступай вымети весь двор,
Обмети кругом забор,
Везде б было чисто, гладко,
Идешь, правда, хоть не сладко.
А коль честью кто нейдет,
Дядя с буркою придет,
Раз пяток-другой натянет
Поневоле сердце вянет.

17

О, несносная неволя,
О, солдатская ты доля!
Можно всякому вздуриться,
В двадцать пять лет отслужиться.
Тот на свете вновь родится,
Кто от службы свободится.
Нет, никто не вображает,
Когда службу продолжает,
Не постигла чтоб кончина,
Не лишась солдатска чина.

18

Если ж жизнь кому продлится
И от службы свободится,
То бери в руки костыль,
Поди смело в монастырь.
В ногах, руках силы нет,
Опостылел белый свет.
Недостанет дневной пищи
И записывайся в нищи,
Не жди более отрады:
Только будет и награды.

19

Ослабеют в руках силы
И опустятся все жилы,
Ты не только работать—
Трудно с места будет встать.
Костыль в руки да кошель
По подóконью пошел.
Христа бога вспомяни,
А сам руку протяни,
Всех отцами называй
А не то не спи—зевай.

20

А ночуй, где день, где ночку
Завалясь в кабак, за бочку,
Или в поле на лугу
Гни то полоз, то дугу.
А квартеришку нанять—
Негде денежки достать.
Носи лапти босичищем,
Будь покорен и всем нищим...
Вот награда вся за службу!
Воешь волком и за нужду!

21

Полно я уже заврался,
До всей тонкости добрался.
Здесь на правду ведь не мода:
Сгонять к Волкову в полгода,
А случится и в неделю—
Постелят вечну постелю.
Не по шерсти кто погладит,
То на шею сесть и ладит
И в уме только и есть,
Как его ему бы съесть.

22

Я видал многи примеры,
Каковы сии химеры:
Они с вида будто гурии,
А по внутренности фурии.
Когда взглянешь—они милы,



ФРАНЦУЗСКАЯ КАРИКАТУРА НА ПАВЛА I, ИЗДАННАЯ В 1799 ГОДУ, ВО ВРЕМЯ ПОХОДА СУВОРОВА ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ

На карикатуре изображен Павел, дающий Суворову распоряжение с подписями „ordre“ и „contre-ordre“ („приказ“ и „отмена приказа“)

К картинке приложены французские стихи:

„Qu'il est beau de Régner! On peut à tout moment
Donner *Ordre* et *Contre-ordre* et même unpunement,
En mettent le *Desordre,* exiger la victoire:
Oublier Souworow, ses Talents et sa gloire“

(Перевод:

„Как хорошо властвовать! Можно в любую минуту отдать приказ, отменить приказ и даже можно безнаказано, внося беспорядок в дело, требовать побед и забыть при этом Суворова, его дарование и славу“)

Но в поступках крокодилы.
Вид имеют человека,
Но в них жалости от века
Не бывало никогда
И все злятся завсегда.

23

Говорят: людей не бьешь—
И пути в них не найдешь.
Они плуты, воры, пьяницы—
Сами не прольют и скляницы,
Пропивают насквозь ночи
И так выбьются из мочи,
Перепьются все до драки
И карячутся как раки...
А поутру скажет: болен—
И от всех он дел уволен.

24

Нет, спина моя твердит,
Перестать молоть велит,
Говорит: хозяин, полно,
А то будет заду больно.
Как узнает капитан,
То сдерет родной кафтан.
Я совет спины уважу:
Себя больше не отважу,
Хоть немного и испорчу,
Но на сем я кончу.

Стихотворение печатается с рукописи Государственной Публичной Библиотеки: «Магазин А. Т. Болотова», ч. II, с исправлениями по другому списку—там же, в сборнике Q XVII, № 183/3; здесь оно подписано: Василий Макаров и датировано 1802 г. (ср. текст у А. Е. Бурцева «Обстоятельное описание редких и замечательных книг», т. IV, 1901 г.) [34].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Статья «Театр» в журнале «Зритель», июнь 1792 г., стр. 131. См. также в «Сочинениях» Плавильщикова, т. IV, 1816, стр. 31.

[2] Граф идеализировал «доброе старое время» без достаточных оснований.

[3] «Арх. кн. Воронцова», кн. X, 1876, стр. 472—473. Ср. в переводе то же в «Русском Архиве» 1876 г., т. III. Я даю мой перевод.

[4] «Русский Архив» 1879, т. I, стр. 360.

[5] «Русская армия в год смерти Екатерины II». «Русская Старина», т. 83, 1895, апрель, стр. 154.

[6] Ср. А. Петрушевский, Генералисимус князь Суворов. 1900, стр. 285 и 445.

[7] Укажу например дела канцелярии таврического губернатора—№ 23 «О пойманных из бегов... воинских служителях» (1785 г.), № 77—«по рапорту таврич. легкоконного полку бригадира фон Шица о сыске и поимке бежавших из оного полку нижних чинов и рядовых по всей здешней области местам о учинении публикации» (1787, здесь речь идет о множестве дезертиров), № 38—о вернувшихся беглых (1786). Ср. также документ, напечатанный у Н. Дубровина «Присоединение Крыма к России», т. III, 1887, СПБ., стр. 29, и амнистию дезертирам в манифесте о мире с Турцией 1775 г.—Полн. собр. зак. I, т. XX, стр. 83, № 14274 и извещение об

этом манифесте в журнале «Зритель Света» 1775, сентябрь, стр. 13. Ср. также сведения о дезертирстве в книжке А. Г. Завадовского «Сто лет Тавриды», Симферополь, 1885, стр. 116. В том же 1792 г., когда печаталась цитированная выше работа Плавильщикова, ему ответил по вопросу о дезертирах некий критик, повидимому человек независимых суждений. Он писал: «Вы сами непрочь от романов (т. е. измышлений.—*Гр. Г.)*, когда уверяете нас, как будто китайцов, что в России не слыхать про беглого солдата. Или нельзя хвалить свое отечество, не соплетая чудес в его славу? Скоро вы станете божиться, что в целой России нет ни плутов, ни дураков» (письмо к издателям «Зрителя», 1792, сентябрь, стр. 12). В ответе на критику анонима Плавильщиков попытался вывернуться при помощи передержки; он говорит: «В отметке же вашей (т. е. в примечании.—*Гр. Г.)* написано о солдате то, что я сказал об офицере, следовательно я пропускаю ее» (ib., стр. 49). Однако же нельзя не заметить, что дезертировали из русской армии не только солдаты, но и офицеры—конечно по другим причинам, чем солдаты. Материалы о дезертирах-дворянах-офицерах см. например в «Русской Старине», т. 83, 1897, стр. 132 («Дворянин-дезертир»), «Русская Старина», т. 66, 1890, стр. 137—138 («Беглецы в царствование имп. Павла в 1800 г.»), «Арх. кн. Воронцова», т. XIV, 1879, стр. 507.

[8] Diaries and correspondance of James Harris, first Earl of Malmesbury; vol. I, London, 1844, стр. 214—215 и «Русский Архив» 1874, кн. I, стр. 1465—1512 (лорд Мальмсбюри о России в царствование Екатерины II).

[9] «Русская Старина», т. 15, 1876, кн. I, стр. 23.

[10] «Voyage philosophique, politique et literaire, fait en Russie pendant les années 1788 et 1789... Traduit du Hollandais, avec une augmentation considérable par le citoyen Chantreau». Tome I. P., 1794, p. 206.

[11] «Петербург при имп. Павле Петровиче; из рукописи Генриха Реймерса, 1801». «Русская Старина», т. 39, 1883, кн. III, стр. 445—448. Следует отметить, что Реймерс, панегирист Павла I, был пристрастен по отношению к порядкам, установленным правительством его предшественницы.

[12] Указ. соч. «Русская Старина» 1895, апрель, стр. 150 и 165, март, стр. 150, май, стр. 197.

[13] «Voyage philosophique»... etc. T. I. P., 1794, p. 217.

[14] А. Т. Болотов, Памятник протекших времен. М., 1875, ч. II, стр. 48—49.

[15] Там же, стр. 125. Ср. также стр. 56—57. Характерный факт: Потемкин подарил принцу Нассау-Зигену пустопорожние земли в Крыму и на Украине и обещал ему нарядить солдат для обработки этих земель. См. В. А. Бильбасов, Исторические монографии, т. IV, 1901, стр. 532.

[16] О том же в сущности пишет и вовсе беспристрастный свидетель—австрийский император Иосиф II, путешествовавший в 1787 г. по Новороссии и Крыму вместе с Екатериной, в письме к гр. Ласси от 1 июня. «Русский Архив» 1880, т. I, стр. 356—372. Ср. также его письмо от 5 июня (там же). В Симферопольском архиве есть материалы о солдатах, работавших на строительных работах в Симферополе (дела канц. таврич. губернатора; архивный номер 184). Ср. также показание князя де Линь (В. А. Бильбасов, Исторические монографии, т. IV, 1901, стр. 442).

[17] Joachim Graf von Sternberg. Bemerkungen über Russland auf einer Reise gemacht im Jahre 1792 und 1793. 2, 179, S. 78.

[18] Указ. соч. «Русская Старина», 1895, март, стр. 149.

[19] Там же, апрель, стр. 154.

[20] «Из бумаг Диканьского архива кн. Кочубея». «Русский Архив» 1876, стр. 1438—1439.

[21] См. А. Петрушевский. Указ. соч., стр. 287 и сл.

[22] Указ. соч. «Русская Старина» 1895, май, стр. 197—198.

[23] «Русская Старина», т. 53, 1887, т. I, стр. 337.

[24] В сборнике Потемкинских бумаг мы найдем единичные акты, демонстрирующие заботы «светлейшего» об армии: то это выговоры военным начальникам за обилие больных солдат в их частях, то приказ о наказаниях группы офицеров, провинившихся жестоким обращением с солдатами или спекуляцией на солдатском провианте. А что делали в окружении Потемкина? Что делал он сам? (См. Сборник военно-исторических материалов. Вып. VI. Бумаги кн. Г. А. Потемкина-Таврического, т. I. 1774—1788 гг.—Н. Ф. Дубровина. СПБ., 1893, стр. 187, 214—215, 282.

[25] Привожу только лишь несколько вариантов, наиболее существенных по смыслу. Стих 6 «... тому следует пункты ниже» (А). Пункт 1 ст. 2—«почто яблоко дала ему» (А. Г.) или «... почто совет дала ему» (Б.) или «почто соблазнила е[му]го» (В).

П. 3 ст. 2—«по Каине и ближним...» (А. Г.—без «и»). Пункт 4—помета: «Служивые» (А. Б. В.) или «служащие» (Г.). Пункт 7—помета «Камраты» (Г.). П. 12 ст. 2: «Всему он научился: класть навоз в кизяк» (В.) или «Почему ж он нам велел класть навоз в кизяк» (Г). Пункт 13—помета «Рая» (В.). Ст. 5 «Теперь служить нет сил, божков земных много» (А.) или «... панков у нас много» (Г.) П. 14 ст. 1 «панков» (Г.). Последний стих: «повели дух взять в Россию, а из Крыму изведи» (А.).

[26] Ордер Потемкина Черткову от 24 августа 1776 г. Сборник военно-исторических материалов. Вып. VI. Н. Ф. Дубровин, Бумаги кн. Г. А. Потемкина-Таврического, 1774—1788. СПБ., 1893, стр. 90—91. См. также письмо Н. И. Панина к П. В. Бакунину от 13/V 1776. «Арх. кн. Воронцова», т. XXVI, 1882, стр. 160.

[27] Н. Дубровин, Присоединение Крыма к России, т. I. СПБ., 1885, стр. II.

[28] Там же, т. I, стр. 85. Позднее, в 1783 г., из тех же повидимому двух гарнизонных баталионов, находившихся в Керчи и Еникале, составился пехотный полк под названием Таврического. См. рескрипт Екатерины к Потемкину от 12 июня 1783 г. в Сборнике военно-историч. мат. Вып. VI. Н. Дубровин, Бумаги Потемкина. 1774—1788, стр. 114.

[29] Н. Дубровин, Присоединение Крыма к России, т. I, стр. 585 и 589.

[30] Драбантами названы солдаты в четырех списках «Челобитной».

[31] В списке, бывшем в руках А. Д. Седельникова, к тексту стихотворения приложена небольшая интермедия на сходную тему, но повидимому несколько иного происхождения, иного литературного типа. В публикации А. Д. Седельникова эта интермедия дана в виде заключения прошения в небесную канцелярию, что искажает текст обоих контаминированных произведений.

[32] См. ст. 5—«Праведному законному суду вносимы бедных слезы»; ст. 9—10 — «Видно нет надежды ожидать желаемого решения, вознамерились отдать всему миру в рассмотрение»; ст. 192—«Милостивой конфирмации ожидаем» и др.

[33] Если не считать его как бы свидетельским показанием на всенародном суде, что может быть следует из стихов 10—12; если же мы сочтем его перефразировкой официальной формулы показания, тем самым мы находим новое сближение его с «Солдатской челобитной».

[34] Текст приложения подготовлен к печати В. Н. Орловым.

ИЗ НЕИЗДАННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БОЛОТОВА

Публикация И. Морозова и А. Кучерова

I
БОЛОТОВ-ПУБЛИЦИСТ

В помещичье-буржуазной историографии Болотовские записки неизменно пользовались репутацией одного из самых полноценных и содержательных памятников мемуарной литературы XVIII века. Уже при появлении на страницах «Сына Отечества» 1839 г. первых, сравнительно очень небольших мемуарных отрывков издатель, характеризуя в особом примечании их автора, спешил воздать «достойную память мужу добродетельному», жизнь которого оценивалась как «полезная, тихая и замечательная» [1]. Выход из печати еще ряда глав [2] дал повод к новому, более развернутому отклику, принадлежавшему А. В. Дружинину. «Нельзя не отдать справедливости почтенному старичку,—писал он,—за его уменье рассказывать, за его ясную и спокойную речь, чуждую всяких претензий, чуждую сухих афоризмов,—речь, в которой будто отсвечивается все тихое, кроткое, безмятежное и полезное существование этого умного человека». А в другой раз, стремясь объяснить читателю, почему «Записки Андрея Тимофеевича Болотова должны занять видное место в ряду автобиографий русских людей», тот же автор высказался еще более красноречиво: «Автобиографии, т. е. повествования исторических и неисторических, любезных и нелюбезных лиц о происшествиях своей собственной жизни, с описанием своих мыслей и ощущений, всегда были любимым чтением людей с наблюдательным складом ума. Что может быть возвышеннее и поучительнее, как следить за жизнью и чувствами личности, или почему-нибудь обратившей на себя внимание потомства, или просто близкой к нам, вследствие закона, так прекрасно переданного Теренцием в своем стихе «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Этою симпатиею лучшего класса читателей к задушевной исповеди своих собратий легко объяснить причину, по которой словесность почти каждого народа богата многими автобиографиями» [3]. Такова классово четкая формулировка Дружинина.

Наконец издание М. И. Семевским полного (по крайней мере так он тогда думал) текста записок Болотова [4] ознаменовалось взрывом поистине безудержного восторга. Сам М. И. Семевский, рассчитывая на тех же «лучщего класса читателей», которых имел в виду и Дружинин, старался как можно выразительнее представить значение памятника, составляющего «одно из драгоценнейших достояний нашей исторической литературы». «Лучшие стороны этого рассказа,—читаем мы в его предисловии,—составляют необыкновенная искренность автора, любовь к правде и к дорогому отечеству. Болотов есть полный представитель лучших русских людей прошлого столетия. Большие природные дарования он развил упорным изучением наук и литературы как отечественной, так и иностранной, в особенности немецкой. Независимо от этого, это был человек прекраснейших душевных качеств: в записках его, как в зеркале, отражается его чистое прекрасное сердце. Отсюда эта теплота рассказа, эта правдивость, этот добродушнейший юмор» [5].

По преимуществу узко-суб'ективная, личной симпатией или неприязнью окрашенная (вспомним «любезных и нелюбезных лиц» у Дружинина), опирающаяся прежде всего на моральный критерий, характеристика Болотова под пером наших авторов вряд ли кому покажется неожиданной: она в такой же степени закономерна, как и всякий другой пример классовой ограниченности домарксистской публицистики и историографии. Споры о том, заслужил ли Болотов эпитет «одного из образованнейших людей своего времени» или он «самый заурядный тульский поме-

щик, самым банальным образом судящий о людях и событиях. Критика его мелка и придирчива, понимание вещей и событий весьма заурядное»[6],—понятны в устах помещичье-буржуазных или либерально-народнических историков, по мнению которых, откровенно высказанному одним из представителей их правого фланга, к концу XVIII в. в провинциальном дворянстве—«главная масса нашей тогдашней интеллигенции, от которой ведет свое и большинство современной нам»[7]. Для историка-марксиста решение исследовательской задачи должно в данном случае итти как раз обратным путем: прежде всего—классовый анализ, в свете которого только и могут быть осмыслены—также конечно подлежащие изучению—личные черты.

На недостаток материала для этого анализа пожаловаться никак нельзя. Литературное наследство Болотова огромно и до сих пор еще не может считаться приведенным в окончательную ясность. Наиболее полный, но для нашего времени устаревший обзор Болотовских (напечатанных и неопубликованных) рукописей дан в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» С. А. Венгерова[8]. Для нашей работы мы воспользовались текстами двух имеющихся в Ленинграде собраний: 1) архива Института Русской Литературы Академии Наук СССР и 2) Рукописного отделения Государственной Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина[9], при чем сосредоточились на следующих рукописях:

1. В ИРЛИ—«65-ой год моей жизни или подробное описание всего происходившего со мною с 7 числа октября 1802 года» (неопубликованное продолжение напечатанных воспоминаний, еще не получившее однако окончательной литературной обработки; это—скорее поденные записки в типичной однако для Болотова форме писем).

2. В Г. П. Б.—1) «Опыт нравоучительным сочинениям», 1764 г., 65 л. (копия). 2) «Забавы живущего в деревне или собрание разных мелких нравоучительных, сатирических, натурологических и других, отчасти важных, отчасти забавных сочинений, писанных в праздные часы для пользы и удовольствия себе и другим людям одним россиянином, сочинившим некогда детскую философию и разные другие книги», 1791 г., 304 стр.

3. «Современник или записки для потомства, ч. I», 1795, 416 стр.

4. «Собрание мелких сочинений в стихах и прозе»—11 томиков (с 1794 по 1824 г.).

5. «Записка о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда» (черновик, начало которого утрачено), 44 л.

Из них всех до сих пор были опубликованы, насколько нам известно, только некоторые главы «Современника или записок для потомства» (в состав нашей публикации за единственным, особо оговоренным исключением конечно не входящие) (см. публикацию Н. Губерти в журнале «Библиограф» 1885 г., № 9, стр. 33—38, № 10, стр. 49—52; 1886 г., № 1, стр. 2—4, № 2, стр. 25—28; 1890 г., № 2, стр. 21—26, № 3—4, стр. 41—45, № 11, стр. 125—138, № 12, стр. 156—165).

Два слова о характере материала. Публицистикой печатаемые нами отрывки можно назвать лишь с некоторой оговоркой: автор предназначал их не столько для печати (хотя вообще кое-что в этом роде и было им издано)[10], сколько на предмет собственного удовольствия и распространения среди знакомых (в «Записках» Болотова есть ряд указаний на то, что он снабжал соседей и приятелей рукописными томиками собственного производства). Но в этой ограниченной среде они конечно служили целям оформления определенной классовой психологии.

Болотов—средний по достатку провинциальный помещик, после недолговременного периода военной службы прочно осевший на земле, взявший непосредственно в свои руки ведение хозяйства и управление «крещеной собственностью» (в качестве ли владельца собственного имения или на ролях управителя чужими вотчинами—это для нас в данной связи не так существенно). Если учесть еще, что свою хозяйственную практику он стремился энергично пропагандировать путем литературных выступлений[11] и пытался даже обобщать в ряде работ принципиального характера, интерес к его экономической программе станет совершенно законным. Для Болотова на первом плане—призыв ко всемерной интенсификации помещичьего хозяйства. Именно здесь тот стержень, который пронизывает все Болотовские писания по сельскохозяйственным вопросам, связывая их в единую довольно стройную систему. Не говорим уже о буквально многотысячных, в своем роде тоже любопытных заметках и сообщениях на тему о мелочах практического улучшения «сельского домостроительства». Интереснее взять наиболее крупные работы, где все обогащающийся опыт хозяйственной практики автора служит почвой для некоторых теоретических обобщений. В самом деле: приходится ли Болотову отвечать на вопросы Вольного Экономического Общества о хозяйственном положении родного Каширского уезда[12], он не упускает случая подробно высказаться насчет того, какой ущерб сельскому хозяйству приносит «так называемая и толь вредительная

разнобоярщина и чрездесятинщина», а с другой стороны, радуется тому, будто «впрочем земледелие и домостроительство вообще получает час от часу некоторое приращение, а особливо в помещичьих домах, бессомненно от того, что многие помещики, просвещаясь науками и видя иностранные места, разные новые вещи и учреждения по возможности заводят». Ему же, убежденному «в рассуждении хлебопашества», что «сия важная часть сельского домостроительства не находится у нас еще в таком состоянии и совершенстве, в каком бы ей быть надлежало», принадлежат известные «Примечания о хлебопашестве вообще» с детальным анализом условий приведения его «в лучшее состояние, сколько от изобретения новых к тому поспешествующих способов, столько ж и от узнания вкравшихся погрешностей и отвращения оных». Сочиняет ли еще через несколько лет Болотов по заданию того же Вольного Экономического Общества «Наказ управителю или приказчику, каким образом ему править деревнями в небытность своего господина»—для него бесспорно основная обязанность инструктируемого «состоит в том, чтоб чрез прилагаемые старания, во-первых, хлеба родилось больше», и в частности—чтоб земля «была надлежащим образом и как можно лучше уработана». Наконец, неудовлетворенный частичными улучшениями в деле обработки земли, наш автор выдвигает даже «общие и так сказать валовые отмены в хлебопашестве и в других частях сельского домостроительства, переменяющие все оного фундаментальное основание и приводящие его в отменное и лучшее состояние». Именно, он предлагает заменить рутинное трехполье модной в его время в Пруссии мекленбургской семипольной системой севооборота. «Хотя сим образом,—читаем мы в его статье «О разделении полей», где между прочим особенно восхваляются «в иностранных землях усердствующие общей пользе экономы»,—посев хлеба гораздо уменьшится, однако не произойдет от того никакого убытка, но паче хлеба родиться будет более, а сверх того произойдет еще та польза, что мы скота можем содержать более нынешнего, землю свою всю удабривать, да и сена еще с лугов гораздо более получать будем» [13].

И потому, когда Болотову приходится подвести итог практической работы «относительно до экономии приватной или домостроительства сельского» к концу XVIII в., он, противопоставляя помещиков-новаторов в деле ведения хозяйства помещикам-рутинерам, сам безоговорочно и горячо приветствует первых. В неопубликованной главе его рукописи «Современник или записки для потомства» читаем: «Оное (речь идет о цитированной выше «экономии» или «домостроительстве») около сего времени было в нарочито уже хорошем состоянии: она начала уже со многих лет поправляться и со всяким годом, хотя и медленными и нескорыми шагами, но приходила в лучшее пред прежним состояние: повсюду размножались грамотные хозяева, способные к прочтению чего-нибудь и к предприятию чего-нибудь нового в своем домоводстве. Уже начинали мало-помалу отставать от прежних и единою только древностию освященных обрядов, обыкновений и предрассудков и предпринимать новые кой-какие в хозяйстве своем поправления и перемены, как например заводить у себя новые и чужестранные разные хлебы, семена, овощи, плоды и произрастения, делать некоторые перемены в хлебопашестве и земледелии. Однако все сии перемены и поправления, о которых впоследствии при других случаях упомяну подробнее, были еще так малочисленны и маловажны, что в сравнении со всею общею массою всего хозяйства и экономии в государстве почти ничем или очень малым почесться могут, а о сей массе вообще сказать можно, что она едва ли еще не в таком же точно состоянии находилась, какова была лет за 20 или за 30 до сего времени...»

В чем реальное обоснование столь отчетливой по своим установкам программы? Все возрастающая связь помещичьего хозяйства с рынком—вот стимул, определивший собою экономические построения Болотова. Мы не имеем здесь возможности, да и не находим нужным сколько-нибудь подробно аргументировать этот тезис. В нашей марксистской литературе уже дана характеристика Болотова как помещика, заинтересованного «в рыночных отношениях, в денежном превращении прибавочного продукта крепостного имения» [14]. К использованному С. Пионтковским материалу Болотовских воспоминаний и знакомого уже читателю «Наказа управителю или прикащику» имеет, пожалуй, смысл добавить еще один только штрих, тем более выразительный, что встречается он на страницах, где зарегистрированы наиболее достопримечательные в глазах автора факты близкой ему современности. Болотов пристально следит за рыночной конъюнктурой, чутко улавливая колебания цен на сельскохозяйственные продукты. Два из дошедших до нас его томиков—один напечатанный целиком, другой лишь в выдержках (при чем интересующие нас в данном случае отрывки остались неопубликованными) [15] — так и пестрят более или менее пространными замечаниями на тему о том, что «хлеб до сего времени был нарочито дешев, а теперь вдруг поднялся и стал дорожать весьма», или что

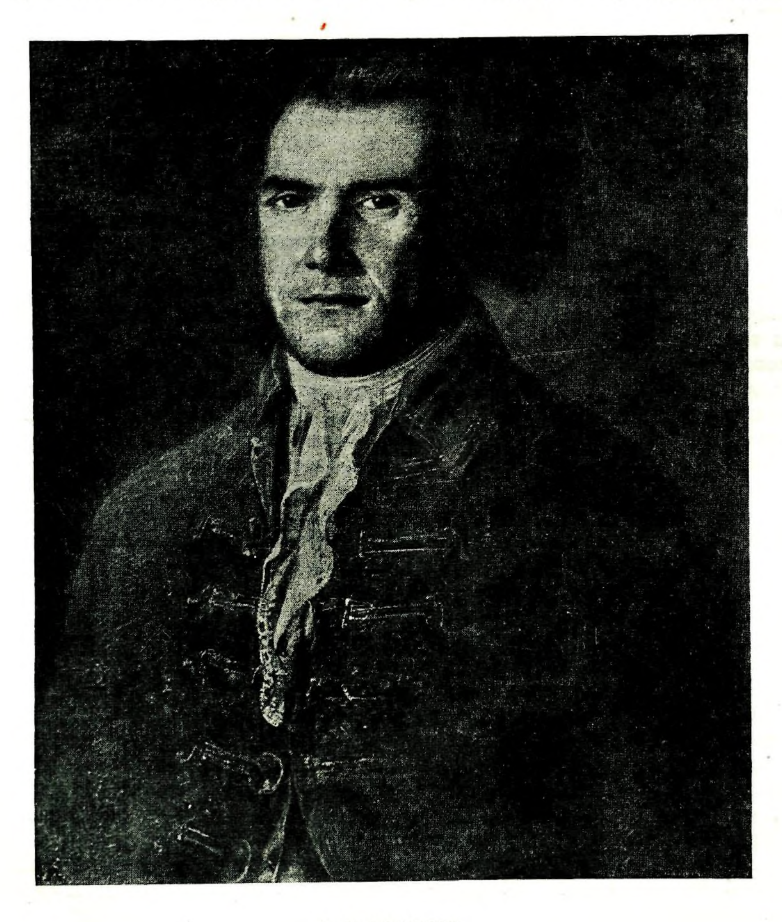
«цена хлебу всякому при начале сего года была хотя хорошая, но не слишком высока, и не такая, какую ожидали все по худому урожаю ржи в минувшее лето во всех наших степных хлебороднейших местах, и по худому умолоту гречихи в здешнем тульском наместничестве»... и т. д.

Характеристика экономической программы Болотова грозит однако оказаться бесхребетной, если мы не выясним главного: как представлялась ему, говоря словами Маркса, «та специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд высасывается из непосредственных производителей». «Каковы бы ни были общественные формы производства,—пишет в другом месте Маркс,— рабочие и средства производства всегда остаются его факторами. Но находясь в состоянии отделения одни от других, и те и другие являются его факторами лишь в возможности. Для того чтобы вообще производить, они должны соединиться. Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи социальной структуры» [16]. Именно тут ключ к классовой характеристике Болотова. На основе какого особого способа соединения непосредственных производителей со средствами производства стремился он интенсифицировать собственное и призывал к интенсификации чужих помещичьих хозяйств? Ответ ясен: из всех Болотовских писаний выпирает явно крепостническое лицо их автора. Развиваемая Болотовым теория «сельского домостроительства» знает только прибавочный труд на основе внеэкономического принуждения; в практике собственного (или, что то же, ему подведомственного) хозяйства он избегает найма рабочей силы даже ценою чрезмерной перегрузки крепостных—вопреки своему же принципу рационального использования крестьянского труда [17]. Интенсификация хозяйства в сфере производственных отношений выражается у Болотова в интенсификации барщины и никоим образом не служит формой перехода на капиталистические рельсы. Вот почему, на наш взгляд, совершенно ошибочна установка тоже-«марксистов» вроде В. В. Святловского, у которого Болотов фигурирует в разделе, озаглавленном: «Начатки аграрного капитализма в России» [18]. Трактовка Болотова как помещика, перерастающего в буржуа, тем более не выдерживает критики, что сам он позаботился оставить нам развернутое обоснование своей крепостнической программы. Мы имеем в виду записку о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда, очевидно писанную в 1812 г. в ответ на соответствующую задачу Вольного Экономического Общества [19].

Типично крепостническая установка Болотова-хозяина—не более как только отдельная грань того, что в целом служит выражением его помещичьей идеологии. Это целое у нашего автора достигает редкой законченности, ибо другие стороны классовой характеристики в данном случае до-нельзя удачно прилажены к очерченной нами исходной.

Тут естественно встает вопрос об отношении Болотова к крестьянам. Болотов отнюдь не зловещий персонаж во вкусе либерально-народнической историографии, у которой изображение личной жестокости отдельных оголтелых крепостников, как правило, заменяло собою классовый анализ феодально-крепостной формации. Известный нам «Наказ управителю» прежде многого другого требует «чтоб получаемые с деревень прибытки или доходы, старания о приумножении оных не обращалися никогда во вред оным деревням». А на всем протяжении Болотовских записок не раз высказывается антипатия ко всякого рода мерам свирепой расправы с крепостными. Сообщив например «не только о бесчеловечии, но и о сущем варварстве одной нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем уезде и делающей пятно всему дворянскому корпусу», автор добавляет: «Мы содрогались, услышав историю сию, и гнушались таким зверством и семейством сих извергов, так что не желали даже с сим домом иметь и знакомства никогда». В собственной практике Болотов, как оказывается, прибегал к строгим наказаниям лишь как к крайнему средству. «Будучи от природы,—рекомендует он себя читателям,—совсем не жестокосердным, а напротив того, такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорбить и словом, а не только делом, и не находя в наказаниях никогда ни малейшей для себя утехи, и видев тогда сущую необходимость оказывать жестокости и с сими бездельниками для унятия их от злодейств драться, терзался я от того досадою и неудовольствием. Но нечего было делать». Последняя фраза прекрасно раскрывает самую сердцевину психологии феодала-крепостника (картина тем более выразительна, что Болотов в культурном отношении стоит на много выше среднего уровня): для него и ему подобных расправа с крестьянами—нечто мало приятное, но, увы, неотвратимое. Неотвратимость эта весьма закономерно вытекает из убеждения, что «нравы и свойство нашего простого народа необходимо сей предосторожности требуют а средство к достижению до того—почти одно, состоящее

в том, чтоб первых виноватых, неупустительно без всякого лицеприятия и в страх другим как за ослушание, так и за другие вины наказывать» [20]. А крестьяне действительно часто и довольно энергично оказывают сопротивление своему «от природы совсем не жестокосердному» помещику. «То множество волостных наших мужиков» досаждает Болотову «неотступными и почти наглыми просьбами о снабжении их хлебом», то его дворовые—они конечно «оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами»—вдруг возмущаются истязанием их отца и грозят зарезать барина, то наконец целая толпа крестьян под предводительством некоего «бездельника» Романа является с требованием о снижении оброка, и т. д. «Старшины, начальники и лучшие люди в деревнях»—те, по крайней мере, «беспристрастным, честным



А. Т. БОЛОТОВ
Портрет маслом неизвестного художника
Русский Музей, Ленинград

и кротким правлением» Болотова, если верить ему, «весьма довольны». (Любопытный штрих к характеристике классового расслоения крепостной деревни). Зато «простые мужики» — «самые бездельники» — осмеливаются жаловаться на чрезмерное отягощение их работой. Отсюда ясно, что «все роды жестокости» появляются в обиходе даже у такого помещика, который, как сам он уверяет, «никогда не любил драться слишком много, а по нраву своему охотно бы хотел никогда и руки ни на кого не поднимать, еслиб то было возможно». Порка, сажание в рогатки и на цепь, заключение в жарко натопленной бане, кормление селедкой без воды, вымазывание дегтем и пр. и пр. будничные эпизоды «мирной сельской, спокойной и уединенной жизни» в Дворянинове с простодушной невозмутимостью регистрируемые нашим мемуаристом [21].

Однако эффективность такого рода «благодетельных» мер ограничена не слишком широкими рамками. Положим, что в «бунтовщичестве» и «воровстве» уличены два-

три «бездельника»: расправа с ними не представляет затруднений. Но если перед помещичьим крыльцом появляется «превеликая толпа народа»—дело уже сложнее: приходится в испуге прятаться за спины солдат. «Признаюсь,—через много лет вспоминает об этом неприятном инциденте Болотов,—что минута сия была для меня весьма критическая и было не натурально, чтобы я не мог (не) испужаться». Ну а как быть в тех случаях, когда «бунтование мужиков» принимает, так сказать, всероссийские масштабы?

Пугачевщине Болотов посвящает в своих воспоминаниях ряд ярких страниц. Эти страницы не только важный источник для изучения фактической истории движения (вспомним хотя бы известное описание казни Пугачева в гл. CXXVIII)[22], они дают еще на редкость красочную картину помещичьих настроений перед лицом грозной по размаху казацко-крестьянской революционной борьбы. Беспечной самоуверенностью встретивший первые неясные пока слухи «о появившемся на Яике бездельнике-бунтовщике Емельке Пугачеве»—ибо «все смеялись только тогда дерзновению сего злодея и надеялись, что отправленные для усмирения его команды скоро все сие уничтожат и злодействам его скоро конец сделают»; слегка встревоженный «неприятными о сем предмете мыслями» при известии «о худых успехах посыланных для усмирения его команд и о всех его злодейских деяниях»; проникающийся мрачным волнением после того, как «заговорили все и вьявь о невероятных и великих успехах злодея Пугачева»; пораженный смертельным ужасом, когда разносится молва, что «злодей с своею сволочью уже недалеко и скоро дойдет и до нас сюда» и для помещика остается единственный выход: «уже не поискать ли где-нибудь в здешних больших лесах и не заметить ли самого глухого места, куда бы можно было, в случае крайней нужды, для спасения своего скрыться»; наконец в порыве классового торжества не упускающий случая присутствовать при казни Пугачева, так обстоятельно затем описанной,—Болотов достаточно трезво оценивает непримиримость противоречий крепостного строя, чтобы понять, «что вся подлость и чернь, а особливо все холопство и наши слуги, когда не вьявь, так втайне, сердцами своими были злодею сему преданы и в сердцах своих вообще все бунтовали и готовы были при малейшей возгоревшейся искре произвести огонь и поломя»[23]. Недаром именно эту опасность грандиозного социального пожара при всяком сколько-нибудь серьезном преобразовании в крестьянском быту он чуть ли не 40 лет спустя после пугачевщины выдвигает как решающий аргумент в защиту крепостного права. Характерен при этом самый ход его аргументации. Стремясь при обсуждении вопроса о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда оставаться на почве чисто экономических соображений, Болотов сначала сам считает вопросы классовой борьбы не имеющими прямого отношения к теме. «Я оставлю говорить,—читаем на 62 странице его записки,—и о тех многих разных бедственных и для всего государства опасных и даже ужасных следствиях, какие всего легче может произвести таковая, а особливо дружная и скоропостижная перемена, могущая, судя по природному характеру и по нынешнему критическому и нравственному и душевному состоянию наших крестьян, потрясть все основания благоденствия государства и произвесть необозримые последствия—то как материя сия не принадлежит собственно к нашему предмету, то умолчав о том, а предполагая, что прошла б она с миром и без всяких бедственных и опасных последствий, остановлюсь на вопросе...» И далее—переход к доказательствам хозяйственного порядка. Но иллюзорность «мирной перемены» слишком бьет в глаза. Наш автор очень скоро заменяет беспочвенные предположения трезвым учетом действительности, и тогда-то призрак гибельной гражданской войны превращается в главную опору крепостнической программы. Именно этот красочный отрывок записки мы и даем в публикуемых ниже материалах.

Предотвратить гражданскую войну можно только средствами хорошо организованного аппарата классового господства. Отсюда — естественность верноподданнических убеждений Болотова, который во всех своих писаниях выступает безоговорочным апологетом отечественного самодержавия. На страницах «Записок» много места отведено «учреждению о губерниях» 1775 г. Эта перестройка бюрократического аппарата Екатерининской империи, вызванная, как убедительно показал М. Н. Покровский[24], прежде всего и главным образом задачами борьбы с крестьянским движением, опасностью рецидива пугачевщины, встречает в нашем авторе восторженного апологета. «Эпоха сия,—пишет Болотов,—была, по всей справедливости, самая достопамятная во всей новейшей истории нашего отечества и последствиями своими произвела во всем великие перемены»[25]. Этот отзыв—лишь один из штрихов, типичный однако для общей картины. В развернутом виде политические установки Болотова хорошо демонстрируются публикуемыми нами

главами «Современника или Записок для потомства», где автор дает, как мы сказали бы теперь, обзор международного и внутреннего положения России к концу XVIII в. Патриот помещичьего отечества, в порыве острой классовой ненависти обрушивающийся на «бунтовщиков, безбожников и наинегоднейших людей», которые захватили верховную власть во Франции, смертельно боящийся, как бы «французские сумасбродства» не проникли на отечественную почву (и приводящий любопытные факты такого проникновения),—таким представляется здесь наш благонамеренный литератор.

На дело укрепления феодально-крепостного режима и возвеличения самодержавного государства должны быть, по мысли Болотова, мобилизованы в числе прочих сил и средства идеологического воздействия. Говоря например о Державине, который кажется ему «наилутченким из нынешних наших пиитов», наш автор призывает «радоваться, что при нынешнем толико славном для России периоде времени были люди и пииты, могущие петь славные дела Екатерины и ее подданных» [26]. Такой же классовой цели (хотя—подчеркиваем это сугубо—в совершенно других формах проявления) служила, как увидим ниже, и условно называемая нами публицистической литературная продукция Болотова.

Домарксистская историографическая традиция умиленно повествует о том, что Болотов еще от отца унаследовал «лучшие заветы эпохи преобразований—любовь к труду, уважение к иностранной культуре, веру в книгу и науку», что под влиянием столь благодетельного наследства он на всю жизнь стал «страстным книжником» [27], и т. д. и т. п. Болотов действительно читал и писал неимоверно много. И не только со времени обоснования своего в Дворянинове, где самая обстановка знакомой нам «мирной, сельской, спокойной и уединенной жизни» могла располагать к литературным занятиям. Годы военной службы у него также заполнены книгочтением и книгописанием в гораздо большей мере, чем боевыми упражнениями. Книге неизменно посвящалась его первая мысль при вступлении в новый остзейский или прусский город; книгу вез он «всегда в кармане», чтобы чтением заполнять кратковременные привалы на походе, при чем читал иногда сидя на лошади; а в Кенигсберге, где «превеликая склонность к книгам» нашла себе особенно злачную почву, Болотов даже «буде захаживал кой-когда в трактиры, на дороге стоящие, так не для чего иного, как разве для читания газет» [28].

Однако простой констатацией того факта, что Болотова «снедала любовь к книге», вопрос о характере идейной направленности нашего автора не только не исчерпывается, но в сущности оставляется незатронутым. Для решения этого вопроса очевидно необходимо установить, какие же книги читал по преимуществу Болотов и, главное, как он прочитанное расценивал.

В старой исторической литературе уже была сделана попытка характеризовать круг Болотовского чтения на основе указаний, разбросанных по страницам его записок [29]. Отсылая читателя за фактическими деталями к этой сводке, мы очень коротко наметим здесь лишь ведущие звенья темы.

На первом этапе сознательной жизни—до пребывания в Пруссии—Болотов успел зарядиться хорошей порцией религиозности. Правда, еще с детства он имел возможность познакомиться и с увлечением перечитать ряд французских—иногда даже «прямо можно сказать любовных»—романов, но не им, как увидим ниже, принадлежала руководящая роль в деле выработки его мировоззрения. «Камень веры» С. Яворского—вот книга, ставшая камнем веры Болотова. «Я прочитал ее,—гласят «Записки»,—в короткое время с начала до конца и получил чрез нее столь многие понятия о догматах нашей веры, что я сделался почти полубогословом и мог удивлять наших деревенских попов своими рассказами и рассуждениями, почерпнутыми из сей книги». К этому присоединилась не менее внимательная проработка «Четьих-Миней» «и даже списывание из них наилучших и любопытнейших житиев некоторых святых в особую и нарочно сделанную для того книгу». «Чтение сие было мне сколько увеселительно, столько ж и полезно,—говорит Болотов.—Оно посеяло в сердце моем первые семена любви и почтения к богу и уважения к христианскому закону, и я, прочитав книгу сию, сделался гораздо набожнее против прежнего» [30]. Контуры религиозного мировоззрения оформились таким образом у нашего автора уже в половине 50-х годов.

За границей Болотов непосредственно познакомился с тем, что у его биографов—между прочим и у Е. Щепкиной—обычно именуется суммарным и потому туманным термином «иностранная культура». Но сама же Щепкина в другой своей статье убедительно раскрывает односторонний характер воспринятых Болотовым в Пруссии культурных влияний. Наш автор, если судить по его позднейшим воспоминаниям, горячо (хотя совсем не глубоко) увлекался тогда учениями религиозных мыслителей

(Гофман, Крузиус), религиозно настроенных эстетиков (Зульцер), мирно ладивших с религией рационалистов (Вольф, Готтшед)[31]. Французское же просветительство— подлинно боевое оружие поднимающейся буржуазии на идеологическом фронте— в частности материалистическая философия и «бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII в.»[32] отнюдь не встречали его сочувствия[33]. Повторяем: если судить по позднейшим воспоминаниям Болотова. Е. Щепкина основательно заподазривает их в тенденциозности, считая, что автор «намеренно умаляет в своих записках влияние французского просвещения перед влиянием немецким». Действительно, присматриваясь к истории кризиса веры, пережитого Болотовым в Кенигсберге, можно предполагать (но только предполагать) наличие тут более радикальных влияний, чем те, которые приведены мемуаристом. «Автор придает большое значение этой эпохе внутренней борьбы, а между тем говорит о ней неясно и сбивчиво; но записки писались главным образом для наставления потомков, поэтому может быть он и старался отклонить от юношества излишне ясное представление о соблазнах и смущениях, которые им овладевали»[34]. Таково мнение Е. Щепкиной— быть может и справедливое, но которое документально аргументировать мы пока не в силах. Однако гораздо существеннее другое: самый кризис был не слишком глубок и вскоре закончился радикальным излечением в духе исконной приверженности «к богу и к святому его откровенному закону». Крузиус с его религиозно-философской проповедью «в состоянии был,—вспоминает Болотов,—вывесть меня из помянутого наимучительнейшего состояния и положить первое основание всему воздвигнутому потом твердому и такому зданию моей веры, которое ничто уже поколебать не могло и чрез все то не только успокоить мой дух, но и подать повод к бесчисленным удовольствиям и неоцененным минутам в жизни»[35]. А что «здание веры» нашего автора уже к средине 60-х годов стало вполне твердокаменным,— этому есть документальные доказательства. Имеем в виду дошедший до нас «Опыт нравоучительным сочинениям». Для помещичье-буржуазного историка рукопись эта представила бы удобный повод к рассуждениям на тему о росте культуры личности, тонкости психологического анализа и т. п. Нетрудно однако заметить, что вышеупомянутая личность анализирует здесь собственное нутро (например в главе «О гневе») под углом зрения строго религиозных установок. Публикуемый нами материал этого сборника весьма отчетливо рисует Болотова воинствующим адептом религиозной ортодоксии. Любопытнее однако здесь другое—неприкрытое стремление нашего автора использовать религию, как и всякую другую форму идеологии, для защиты и обоснования определенных классовых интересов. Столь же откровенно утилитарный взгляд на религию характеризует и другие, в подавляющей массе неопубликованные Болотовские писания. По мысли Болотова божий промысел—неизмеримый вершитель судеб человеческих. Его вмешательством он в записках объясняет все свои жизненные успехи и неудачи (последние сплошь да рядом оказываются призрачными—по пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло»), а среди знакомых читателю «Мелких сочинений в стихах и прозе» есть даже специальное письмо «О бдении промысла Господня над жизнью человеческою», где автор, пересказав ряд удивительных случаев из собственной жизни с очевидным участием «невидимой руки господней» (они затем повторены и в записках), заключает: «все сие доказывает, что око всемогущего бдит всегда над жизнью смертных и что истина есть вечная, святая и непреоборимая, что без воли и попущения его не может погибнуть ни един волос с главы нашей. А сие не обязывает ли нас священным долгом сие во всякое время помнить и почитать особенною его к себе милостию и вследствие того ежедневно благодарить его сердцем и душею нашею за сохранение нашей жизни, которая и без всех больших и явных опасностей, случающихся с нами, так ненадежна, что легко может от тысячи неизвестных и нами нимало не усматриваемых причин, как паутина прервана: и мы все живем в таком критическом положении, что никто в свете не может с достоверностию поручиться в том, чтоб мы дожили верно до конца того дня, который жить начали, и уверить нас в том совершенно». Обращение к богу в «критическом положении» тем естественнее, что «око всемогущего» смотрит на мир сквозь помещичьи очки. Самый факт классового расчленения общества освящен авторитетом божественного произвола, ибо «в его воле,—как поучает старик внука, беседуя «о том, что нужно знать человеку о своем происшествии и нужнейших вещах до его юности»,—состояло и от совершенного его произвола зависело и то, чтоб назначить тебе родиться хотя и в нашей стране, но от родителей самого низшего, рабского и подлого состояния и весь свой век проживающих в нужде, в работе, величайшей скудости и терпящих несметные отягощения и труды и не имеющих никаких дальних отрад и удовольствий в жизни.



ДЕРЕВЕНСКАЯ СЦЕНА
Картина маслом И. М. Танкова (1784 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

Словом, он мог бы, еслиб хотел, назначить тебе родиться самым нищим. Но он не восхотел того сделать, а благоволил избрать для тебя родителей лучших, назначить родиться тебе в так называемом благородстве, от родителей, имеющих ненужное себе пропитание, пользующихся множайшими выгодами пред другими, имеющих то преимущество пред несметными тысячами других подобных им людей, что много других им же подобных людей назначены быть в их повиновении; зависеть во многом от их воли; употреблять все свои душевные и телесные силы к их услугам; снабжать их пищею и питием, доставлять им одежду, созидать для них обиталища, доставлять им всякие житейские выгоды, с беспрерывным трудом и пролитием пота обрабатывать их поля и земли, возить для согревания жилищ их дрова, исправлять множество тяжелых работ не только во дни, но иногда в самое нощное время, и чрез все то доставлять им покой и возможнейшие удовольствия». Аналогичная «философия» заключена и в Болотовском стихотворении «Песнь застольная»[36].

Столь как будто бы неотразимые истины доступны однако лишь уму пребывающего «в так называемом благородстве» просвещенного помещика. «Подлый народ», как видим, склонен держаться иного мнения. Страдая в условиях «бедной и горестей преисполненной своей жизни», он не слишком верит в бессмертие души, воскресение из мертвых и прочие загробные блага. В его среде находят себе распространение даже «такие опасные понятия», из которых «первое мнение одним только материалистам соответственно, а второму только древние языческие философы учили». Наш автор, правда, подслушав столь безбожный разговор двух дворовых, немедленно «прикликал их к себе и им более сей вздор врать запретил». Но ведь этот то факт только один из многих, случайно уловленных симптомов общей и для феодала-крепостника весьма безотрадной картины. И Болотов—с своей точки зрения вполне основательно—сокрушается «о незнании нашего подлого народа», нерачении сельского духовенства[37] и т. д.

Мысль «о худых следствиях, проистекающих от недостаточного познания бога», в классовом смысле еще более отчетливо выраженную, находим мы и на страницах другого неопубликованного письма. Дав здесь сначала ряд примеров «худых следствий» для помещичьей среды, автор в заключение добавляет: «...сии примеры еще ничто, естли вообще о всем народе рассудить и о тех следствиях рассмотрение сделать, которые от сего недостаточного познания бога в простом народе происходят. Но я всех их описывать теперь не намерен. Довольно, когда скажу, что я всегда в сожаление прихожу, смотря на то, сколь мало наш подлой народ о своем боге знает и сколь неведущ он в сем случае. Каких странных мнений ни слыхивал я, когда нарочно знания их испытывать хотел и оттого с ними в разговор входил. Поистине ужасаться надобно, слыша от них такие вещи, которые для христианина всего меньше приличны и которые о глубочайшем их невежестве доказывают. А о сем рассуждая, возможно ли тому и не быть, чтоб в нашем народе столь много воровства, шалостей и беззакония не было, когда от сего не столько светские законы, сколько страх божий воздерживать может»[38]. А «сердечная молитва» по конкретному поводу—наш автор «торжественно и свято» признается в этом, «не имея ни малейшей притчины лгать»,—оказывает существенную помощь в практике повседневного помещичьего обихода и прежде всего в деле подавления крепостных крестьян[39].

Отсюда для помещичьего публициста вытекает задача энергичной пропаганды «страха божия» в массах, необходимость решительной борьбы со всем тем, что подрывает авторитет «истинного христианского закона». Болотов признает, правда, культурное превосходство Запада в сравнении с Россией. Есть любопытный неопубликованный текст, где он многословно сокрушается по поводу этой самой отечественной отсталости. Аналогичная мысль повторена в письме «О пользе, происходящей от чтения книг», где помимо вводных рассуждений общего характера автор на конкретном примере собственной биографии демонстрирует благодетельные результаты ознакомления с «иностранной культурой»[40].

Но минусы культурного развития России с лихвой окупаются плюсом чистоты отечественного православия (уважение к «культуре» имеет таким образом свои классово определенные границы). «Тебе,—говорит у Болотова старик, просвещая внука по вопросу «О нужном покровительстве божием человеку»,—провидение определило жить в маленьком уголке Европы между народом нестолько еще образованном, как другие европейские и о по крайней мере исповедающем наидревнейшую христианскую, так называемую греческую веру, которая дошла к нам хотя и не в самой уже такой чистоте и совершенстве, в какой была она в первые времена после апостолов, основателей оной, однако почитается нами православнейшею и лучшею».

К сожалению однако слово божественной проповеди туго проникает в массы. Одним из препятствий на его пути является язва вольтерианства.

«А о кощунстве и вольнодумстве,—говорит по этому самому поводу Болотов в своих рассуждениях,—вкравшемся в наш народ по милости французских учителей и по соблазну, произведенному Вольтером и другими ему подобными не просветителями, а истинными врагами и губителями человеческого рода, и пустивших столько глубокие уже коренья и совративших не только молодых суетных и таких, у коих головы набиты одним только ветром, но и самых степенных и пожилых людей: я не отваживаюсь уже почти упоминать, а только скажу, что цепенею при едином помышлении о том, как много и далеко распространилось зло сие между нашими соотчичами и как глубоко вкоренилось в сердца многих; и содрогаюсь при едином воображении той превосходящей все уже меры дерзости, что многие не только ни богу, ни закону и ничему не хотят верить, но даже отваживаются насмехаться и ругаются над святейшими истинами и вещами наивеличайшего уважения и почтения достойными». Счастливые исключения есть, но они единичны, а между тем кажется ясно, что всякий благомыслящий человек должен самым категорическим образом отмежеваться от вольнодумцев. К этому Болотов призывает в особом стихотворении «О вольнодумцах и убегавших от них». Характерно при этом стремление Болотова дискредитировать самые основы просветительной философии. Ему ненавистен прежде всего буржуазный рационализм. В письме «О ложном мнении, что разум наш довольно совершенн» по поводу этой типично просветительской установки автор заявляет, что «из всех слабостей, которым человеки подвержены, никоторая столь многова примечания недостойна как то ложное мнение, которое каждый человек о совершенствах своего разума имеет». Вторым объектом нападок Болотова служит философский материализм. Очередное «Письмо к младому родственнику о душах вообще» высказывается на этот счет очень жестко: «Мне известно,—читаем мы там,— что в нынешние критические времена есть в свете много людей либо совсем отметающих бытие и существование душ наших, либо имеющих об них понятия странные, нелепые, крайне недостаточные и нимало не собразные с истиною». И затем призыв к адресату: «Не верь отнюдь, если кто вздумал бы тебя уверять, что в нас души нет или что она хотя и есть, то такая же точно, как в скотах и прочих животных, и при смерти вместе с телами их уничтожится и в прах превратится или прочее тому подобное; но, не вступая в дальнейшие с ними о том разглагольствования, заключай наверное об них, что они сами не знают, что говорят, и что то совсем не так, как они говорят и думают, а уважай более те истины, которые ты от меня услышишь, и будь уверен, что ты в том никогда не раскаяшься». Столь возвышенного мнения наш автор держится очевидно, рассуждая—вопреки заглавию письма—не «о душах вообще», а только о помещичьих душах. Ибо среди тех, кто принадлежит к «черни» (какая неожиданность в устах заклятого антиматериалиста!), «многие всеми рассудками своими немногим чем превосходят умнейших бессловесных животных» [41].

Помещичий быт, внешне умиротворенный, но перманентно потрясаемый подземными толчками классовой борьбы; в обстановке этого быта расцветающая феодально-крепостническая идеология, где отдана дань успехам научной мысли, но верховным критерием истины служит религиозный догмат; ужас при мысли о новом взрыве гражданской войны, реальность которой подкрепляется повседневными и нередко «злодейскими» выступлениями крепостных против «их чем-то огорчивших до крайности» помещиков,—вот картина, которую дают впервые публикуемые нами материалы литературного наследства А. Т. Болотова. Тем самым с новой выразительностью характеризуется классовое лицо нашего автора, который, кстати сказать, по собственному признанию именно в обстановке помещичьего благополучия «сделался экономическим, историческим и философическим писателем» [42].

И. Морозов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Журнал «Сын Отечества» 1839, т. VIII, отд. I, стр. 61—69. Отрывок из записок А. Т. Болотова «1762 год». Цитированное примечание (стр. 61—62) отсылает читателя к биографической статье «Земледельческого Журнала» (1838, № 5, стр. 183—197)—статье, которая, по свидетельству сопровождающего ее редакционного разъяснения, «заимствована из собственноручных записок покойного А. Т. Болотова» (стр. 197). Мы однако не считаем нужным сколько-нибудь подробно на этой биографии останавливаться, ибо она посвящена Болотову исключительно как «первому русскому издателю Земледельческого Журнала в Москве и отличному помологу-агроному».

[2] В «Отечественных Записках» 1850 (т. XIX—XXII) и 1851 гг. (т. XXIV—XXVI), а кроме того в «Библиотеке для Чтения» 1848 и 1860 гг. и в «Журнале для чтения воспит. военно-учебн. завед.» 1851 г., т. 88, № 349.

[3] «Письма иногороднего подписчика о русской журналистике», печатавшиеся в «Современнике». Собр. Соч. Изд. 1865 г., т. VI, стр. 342, 396.

[4] См. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», тт. I—IV, изд. ред. журнала «Русская Старина» от 1871—1873 гг. Позднее в руки Семевского попал еще ряд томиков с Болотовскими воспоминаниями, которые и были опубликованы в журнале «Русская Старина» 1889, т. 62, стр. 535—576; т. 64, стр. 23—30; 1895, август, стр. 135—155. Все наши дальнейшие ссылки имеют в виду именно это издание болотовских мемуаров.

[5] Предисловие к указ. выше изд., стр. III.

[6] См. ст. о Болотове Е. Щепкиной и прибавление к ней С. Венгерова в «Критико-биогр. словаре русских писателей и ученых», том V.

[7] Н. Чечулин, Русское провинциальное общество во второй половине XVIII в. СПБ., 1889, стр. 1.

[8] Том V, стр. 109—121.

[9] Полный перечень рукописей Болотова, хранящихся в ИРЛИ и Г. П. Б., охвачен для первого—рукописным «Описанием рукописей XVIII в.» архива ИРЛИ, сост. Б. Коплан, для второй—печатными отчетами Г. П. Б. за годы: 1885—стр. 78—79; 1886—стр. 66; 1888—стр. 153—154; 1889—стр. 78—81; 1890—стр. 106—112; 1891—стр. 106—107; 1892—стр. 117—132 и 283; 1905—стр. 152—154; 1907—стр. 49—63.

[10] Вспомним такие книги, как «Чувствования христианина при начале и конце каждого дня в неделе, относящиеся к самому себе и богу». М., 1781 и «Путеводитель к истинному человеческому счастью, или опыт нравоучительных и отчасти философических рассуждений о благополучии человеческой жизни и о средствах к приобретению оного». 3 части, М., 1784.

[11] С этой целью Болотов издает в 1778—1779 гг. журнал «Сельский Житель» (2 части), а в 1780—1789 гг.—«Экономический магазин» (40 частей по 416 стр.); оба они почти целиком заполнялись плодами его собственного литературного творчества.

[12] О постановке этой и следующей задачи Вольным Экономическим Обществом см. подробнее в книге В. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века», т. I, СПБ., 1888, гл. VI.

[13] Приводим сноски к цитированным отрывкам в порядке следования самих цитат. См. «Труды ВЭО», ч. II, 1766 г., стр. 163 и 184; ч. IX, 1768 г., стр. 30; ч. XVI, 1770 г., стр. 96 и 98; ч. XVII, 1771 г., стр. 176 и 184; ч. XVIII, 1771 г., стр. 48—49. Болотов, как известно, был долголетним и очень деятельным членом ВЭО; в неопубликованной части его «Современника или записок для потомства, ч. I» есть специальная итоговая глава—«О состоянии, в каком находилось в сие время экономическое общество в Петербурге и что с ним прежде было, о его ошибках, упадении, возрождении и последнем праздненстве» (стр. 285—314).

[14] См. предисловие С. А. Пионтковского в книге «Андрей Болотов. Жизнь и приключения, описанные им самим для своих потомков». Изд. «Молодая гвардия». М.-Л., 1930, стр. 9.

[15] Имеем в виду, с одной стороны, «Памятник протекших времен или краткие исторические записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах». Изд. П. С. Киселева. М., 1875, см. ч. I, стр. 1—165, а с другой—знакомый читателю «Современник или записки для потомства».

[16] «Капитал». ГИЗ, 1929, т. III, ч. 2, стр. 267; т. II, стр. 10.

[17] См. очень характерный в этом смысле эпизод, изложенный на страницах Болотовских мемуаров, т. IV, стр. 142—143.

[18] См. его книгу «История экономических идей в России, том I». П., 1923, стр. 103—105. Меру понимания им марксизма автор наглядно демонстрирует в следующем тезисе: «Крепостной труд тысяч крепостных создавал прочную экономическую базу для растущего политического влияния новой сельской буржуазии» (стр. 94).

[19] Фактическую историю обсуждения этого вопроса ВЭО см. в книге В. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.», т. I. СПБ., 1888, гл. XIX, где записка Болотова однако не упоминается. Наша попытка разыскать ее в архиве ВЭО (хранящемся в ЛОЦИА) тоже не привела к поставленной цели. (Нами просмотрены были дела № 473, 474, 475).

[20] Труды ВЭО, ч. XVI, 1770 г., стр. 72 и 87.

[21] См. соответственно Болотовские воспоминания, т. II, стр. 745, 746; т. III, стр. 473; т. IV, стр. 137 и 1035; т. III, стр. 492 и сл., т. IV, стр. 140; т. III, стр. 974; т. IV, стр. 142, 1035; т. II, стр. 222; т. III, стр. 494—495.

[22] Нужно конечно иметь в виду ярко классовый характер нарисованной Болотовым картины; С. А. Пионтковский совершенно прав, расценивая ее как «классическое описание расправы, какую произвел класс победителей над побежденным врагом» (указ. ст., стр. 10).

[23] См. соответственно Болотовские воспоминания, т. III, стр. 349, 352, 377, 437—438, 487 и сл.,

[24] «Русская история с древнейших времен», т. III, гл. 11.

[25] «Воспоминания», т. III, стр. 574.

[26] «Современник или записки для потомства», ч. I, стр. 231.

[27] Статья Е. Н. Щепкиной в «Критико-биографическом словаре» Венгерова, стр. 91.

[28] «Воспоминания», т. I, стр. 325, 430, 814.

[29] См. статью Е. Н. Щепкиной «Популярная литература в середине XVIII в.» Первоначально в «Журнале М. Н. П.» 1886, апрель; ст. вошла затем в состав ее книги «Старинные помещики на службе и дома». СПБ., 1890, см. стр. 177—223.

[30] «Воспоминания», т. I, стр. 182, 232, 233, 235.

[31] В концепциях некоторых из них (в философии—у Вольфа, в эстетике—у Зульцера) явно наличие значительных элементов буржуазной мысли. Все они однако носят на себе вообще характерную для немецкой идеологии XVIII в. печать непоследовательности, половинчатости, компромисса.

[32] Ленин, О значении воинствующего материализма. Сочинения, т. XXVII. стр. 184.

[33] Мы не имеем здесь возможности подробно говорить об усвоении Болотовым достижений западноевропейской буржуазной культуры в области прикладных естественно-научных дисциплин, сельскохозяйственной техники и т. д. Имеющиеся у нас материалы не позволяют однако утверждать, что это усвоение влекло за собой сколько-нибудь серьезную перестройку общих основ его феодально-крепостнического мировоззрения.

[34] «Старинные помещики», стр. 208.

[35] «Воспоминания», т. II, стр. 57, 61.

[36] См. соответственно: «Собрание мелких сочинений в стихах и прозе», т. V, стр. 201, 210—211 (13/IV—1809 г.); т. VII, стр. 313—316 (24—26/XI—1821 г.); т. II, стр. 272—279 (21 и 22/XI—1796 г.).

[37] Последнему сюжету посвящено между прочим специальное «Письмо, относящееся до духовенства». «Собр. мелких сочинений в стихах и прозе», т. VI, стр. 122 сл.

[38] «Забавы живущего в деревне», стр. 168—169.

[39] Об этой «весьма важной, но к сожалению всего меньше людьми и самыми христианами уважаемой истине» Болотов рассказывает в красочном письме «О могуществе молитвы» («Мелкие сочинения в стихах и прозе», т. IV, стр. 275—314), благодаря которой ему якобы удалось раскрыть «злодейский» замысел крестьян, собравшихся бежать от своего помещика. По существу однако это письмо, кроме «истины», вполне устраивающей нашего автора, вскрывает и другую для него менее приятную: факт скрытой, но упорной классовой борьбы даже в периоды относительной стабилизации феодально-крепостного строя.

[40] «Забавы живущего в деревне», стр. 10—12 (1756 г.). 63—90.

[41] «Собрание мелких сочинений в стихах и прозе», т. VIII, стр. 140—141 (24—27/I 1822 г.), т. IV, стр. 356—370. (12/VI—1806 г.); т. VI, стр. 273—274, «Забавы живущего в деревне», стр. 48; «Собр. мелких соч.», т. V, стр. 216—219 и т. VIII, стр.188. Болотов, как известно, ополчался не только против вольтерианцев, но и против масонов; вспомним отношение его к Новиковскому кружку и радость при известии о его разгроме—«Что мартинистам заглянули под хвост и пагубный их замысел в начале разрушили» («Воспоминания», т. IV, стр. 924, 929—930). Это впрочем не мешало Болотову поддерживать с Новиковым деловое знакомство как с издателем его сочинений.

[42] «Воспоминания», т. I, стр. 300. Публикуемый нами материал расположен не в хронологическом порядке, а тематически. Мы вообще считали возможным подкреплять свою характеристику ссылками на произведения, относящиеся к разным периодам жизни Болотова, потому, что, как показано было выше, основы его мировоззрения сложились довольно рано и на протяжении дальнейших лет ни в чем существенном не менялись. Печатаемый нами отрывок из Болотовского «Современника» «О состоянии наук» был уже в свое время опубликован Н. Губерти; мы сочли возможным воспроизвести его здесь вторично в интересах законченности нарисованной автором картины. При публикации черновика нами приведена только его окончательная редакция, так как имеющиеся варианты не заключают в себе никаких существенных смысловых различий.

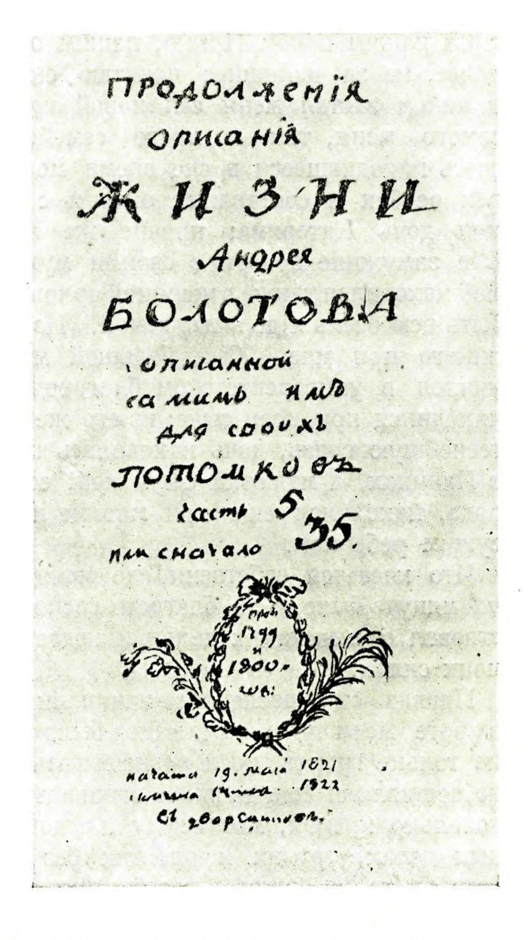
1. 65-ой ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ ИЛИ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИВШЕГО СО МНОЮ С 7 ЧИСЛА ОКТЯБРЯ 1802 г.

Часть I

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Октября 7 дня 1802.
вторник в вечере.

В севоднейший день, и в самой почти тот час как я сие писать начинаю, совершилось мне, мой друг! ровно шестьдесят четыре года и начался 65 год моей жизни. Расказать ли мне тебе с какими чувствиями я его встретил? Ах! мой друг, они были особливые, живейшие и преисполненные сердечной и искренней благодарности к тому, кто сохранял ежеминутно толико лет жизнь мою, и сохраняет оною и поныне, осыпая меня бесчисленными щедротами не только во дни моей молодости и в цветущее время лет моих но и в самой нынешней вечер дней моих.—Ах! как оной по неизреченной его ко мне милости еще хорош и для меня приятен! Каким благополучием и какими житейскими выгодами не наслаждаюсь я еще и поныне по особливой его ко мне благости, как много людей не доживают до толикого числа лет?—Коль многие другие встречают год сей в совершенной уже дряхлости и слабости, или будучи обременены разными нещастиями и болезнями, со вздохами и стенаниями? А я от всего того будучи освобожденным встречаю его, несмотря на всю старость свою, еще здоровым, еще свежим, крепким и в таком состоянии здоровья моего, каким наслаждался я лет за десять или за двадцать до сего времени. Не особливую ль его уже одно сие составляет ко мне милость. Ах! как она для меня чувствительна! Давеча поутру вставши рано и еще до света и когда все еще спали и пришед в свой любезной уединенной кабинет при совершенной тишине и безмолвии в всем доме, первым долгом я себе почел повергнуть себя в прах к стопам невидимого высочайшего существа и приведя на мысль себе все его ко мне бесчисленные благодеяния, принесть ему достодолжное благодарение. Я протек бегло в мыслях и в воображении своем все периоды долговременной жизни своей, и соображая все прошедшее и напоминая все происходившее со мною во все течение оной, благодарил его, как небесного своего отца и всегдашнего своего благодетеля, покровителя и защитника и благодарил от чистого сердца и из глубины души своей за все и все, чем я пользовался от него во все дни живота моего и пользуюсь и поныне; напоминал все свои пред ним бесчисленные преступления; всю свою неблагодарность пред ним; все свое недостоинство толиких к себе щедрость и милостей; умолял его как милосердого господа о не отвержении меня от святого лица своего и о милосердном отпущении мне всех преступлений моих, и препроводил в том несколько минут лежучи во прахе и в глубочайшем уничижении пред сим владыкою мира и властелином над жизнию и дыханием моим и единые невидимые духи, присутствующие может быть при сем душевном жертвоприношении ему, были свидетелями оному. Мысль о краткости остающегося времени мне жить еще на свете, и совершенная неизвестность дления оного повстречалась потом со мною и побудила меня вновь повергнуть себя к стопам моего отца небесного.—Ах! с какими чувствиями и уничижением, и вкупе утешительным надеянием предавал я и все оставшие дни жизни моей в его совершенную власть и волю—с каким



Титульный лист 35 тома записок А. Т. Болотова (1799 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

пламенным усердием просил я его быть и в оставшие сии дни моим отцом и покровителем, подкреплять меня в моих слабостях и усердном желании быть ему угодным и быть и при позднем вечере дней моих ко мне столь же милостивым, каковым был он ко мне во дни юности и во все продолжение жизни моей.

Потом вспомнилось мне стихотворение, сочиненное некогда мною на день рождения моего. И как в состоянии оно было растрогать еще более мою душу, то отыскав воспел я оное с новыми чувствиями благодарности и умиления к моему создателю и тем еще более побужден был пещись колико можно о том, чтоб впредь быть менее против творца моего неблагодарным, а стараться колико можно быть ему угоднейшими.—Ах! мой друг! сколь много раз приводили меня сии духовные стихотворения мои в чувствования достойные христианина, и коль много несмотря на всю слабость оных, я ими пользовался. В сих упражнениях застал меня рассветнувший день, и хотя оной и не был празднуем нами, так как по старинному обыкновению праздновал всегда я именины, однако я не преминул велеть приттить и священнику чтоб по крайней мере отслужить благодарной молебен с акафистом господу вседержителю, который мог с лихвою заменить все всеночные, столь у нас обыкновенные и в особливости женщинами так много почитаемые. Что касается до гостей, то у нас их в сей день никого не было и мы обедали с одним своим небольшим семейством и приход-

ским нашим попом Ильею, нашим общим духовником. Теперь, не ходя далее, не за излишнее почитаю сказать несколько слов о состоянии в каком застал меня сей новой год жизни моей, как в руссуждении самого меня, так и моего семейства и других обстоятельств. Все здесь находившееся в сие время мое семейство состояло только в четырех особах и составляли оное я с женою, матушка, теща и меньшая моя дочь Катерина; прочие же мои дети находились в отсутствии. Обе замужние дочери с своими мужьями—в своих деревнях, а и сын мой находился также в жениной орловской деревне, где дозволил я ему пробыть всю осень и до зимы самой. Из самых даже внучат моих не было никого при мне. Сын большой моей дочери находился в Москве и учился в университетском благородном пансионе, а сын другой дочери находился при моем сыне; из его же детей, имеющих с семейством моим теснейшую связь, дочь находилась при бабке своей в Данковском уезде в Папихах, а малютка внук мой, составляющий единую отрасль моего рода, находился еще при матери и отце своем и был еще очень мал и сущим ребенком.

Что касается собственно до меня, яко главной особы, то как выше упомянуто было, я по благости господней еще довольно здоров и не чувствовал еще никаких дальних недостатков их в душевных и в телесных моих силах.

Правда сии последние начинали уже мало по малу ослабевать и в роте моем уже так мало было зубов, что я не в состоянии был не только грысть, но и разжевывать ореховые и миндальные ядра, но сие не составляло еще дальной важности: по крайней мере телом был я еще довольно крепок, мог всюду и много еще ходить и упражняться в разных делах, трудах и работах без дального отягощения, а что всего важнее, то не ощущал в себе никаких важных телесных болезней; единая левая нога начинала только меня приводить в некоторое опасение; уже с некоторого времени начинала она и довольно часто страдать судорогою хотя очень кратковременною, но весьма чувствительною и наиболее тогда, как во время спанья случалось мне ее вытягивать, и чего я повсячески убегать старался. Кроме сего беспокоили меня по вечерам несколько глаза, начиная таким же образом и нынешнею осенью болеть как болели в прошлом году: но как известно мне было лекарство, помогшее в прошлом году, то подкрепляю я их тем же, а именно холодною воду и електризованием извне. Впрочем на зрение моё не могу я жаловатся, и поныне оно хорошо, и я могу читать и писать и поныне очень мелкое, но при долгом чтении и писании при огне они наводили уже беспокойство, и о чем сожалел я всего более, ибо в чтении и писании состояло наиприятнейшее мое упражнение. Относительно ж до душевных моих сил, то не могу еще ни на что пожаловаться кроме памяти, которая становится от часу слабее, но она и всегда не была слишком острою.

Что касается до душевного состояния, то по благости господней было оно хорошо, спокойно, мирно, и таково, какое только может составлять истинное блаженство на земле сей. По особливой милости отца моего небесного не было ничего такого, чтоб могло в особливости дух мой смущать, тревожить, огорчать и приводить в уныние и безпокойство и оставалось только чувствовать блаженства временной сей жизни, о чем я всего более всегда старался и стараюсь, а потому и ощущал

всегда многие веселые и приятные минуты; а если когда и случались какие небольшие огорчения, так всячески оные преодолевать старался. Самые наружные обстоятельства состояния моего соответствовали тому немало. Достаток имел я хотя небольшой, а очень, очень средственный, но по крайней мере не обременен был долгами, не терпел нужды ни в деньгах, ни в пропитании, дом имел спокойной, теплой и веселой, платья довольно; люди также были, ездить было на чем и в чем, усадьбу имел прекрасную, сады такие, которые утешали меня ежедневно; денег множество, чин хотя небольшой, но не гнусной и не постыдной; соседями и знакомыми всеми был любим и почитаем, недругов и врагов не имел из известных никого; имя носил доброго и честного человека, а сверх того было оно и во всем отечестве моем не только не безизвестно, но довольно и славно и таково, что многие желали меня видеть и со мною иметь знакомство.

Доходов имел я столько, сколько мне нужно было на прожиток; от приказных ссор и хлопот был освобожден. Итак чего ж хотеть и делать мне было более; словом я наслаждался мирною, довольною, покойною и прямо счастливою деревенскою жизнию и за все сии многоразличные и великие выгоды обязан был моему небесному отцу и благодетелю, которому и не престану зато благодарить покуда обитать будет дух в моем бренном теле. Что касается до моей жены, то к сожалению моему была она далеко не такова щастлива, и причиною тому были многие и разные обстоятельствы, а всего более природной ее характер и свойство ея души и воспитание самое. С одной стороны нещастна она была тем, что натура не одарила ее крепким и здоровым сложением тела, но подвергла оное многим и хотя не столько большим и важным, сколько частым болезненным припадкам, которые тем более становятся ей чувствительными, чем старее она становится; но сие далеко еще не так важно, как то, что она наследовала от предков своих и, как думать надобно, от отца дух или свойство души прямо нещастное, приносящее то с собою, что она не может быть почти никогда прямо весела и чувствовать то душевное спокойствие и удовольствие, которое толико нужно для благополучия жизни и составляет истинное существо оного, но при всех выгодах житейских и при всем том, чем можно б было веселиться, не толико неспособна к чувствованию удовольствия, но вопреки тому наклонна к беспрерывному на все в свете неудовольствию и ко всегдашнему огорчению от самых ничего не значащих безделиц.

Словом находящее единое почти удовольствие в том, чтоб всякий час всем и всем огорчаться, всем и всем быть недовольною, на все негодовать, за все про все браниться, на все про все всему свету жаловаться и себя почитать несчастнейшею из всех на свете женщин, хотя не имеет ни малейших причин почитать себе таковою. К вящему нещастию с приумножением лет не уменьшается, а еще увеличивается всё сие природное зло и нещастное ее свойство, которое тем сожаления достойнее, что нет ни малейшего способа к вспоможению ей от того. Она не принимает не только советов, но при едином и напоминании о том огорчается еще более; словом все увещевания и утешения ей несносны, а к нещастию и сама себе она в том помочь никак не в состоянии. Единое чтение хороших книг могло б ей всего лучше в том помочь, но к самому сему чтению не имеет она не малейшей склонности, а потому

лишается навсегда и сей надежды; к сему последнему сколько природа, столько и воспитание уже было причиной. С таковым нещастным нравом и расположением душевным, препроводив весь свой почти век, начинает и она уже приближаться к вечеру дней своих, который к искреннему соболезнованию моему далеко не таков ясен и хорош как мой. О себе я уже и не говорю: будучи философом, научился я издавна и привык уже без нарушения спокойствия своего переносить все ее недостатки, но сожалел всегда и сожалею и поныне, что помянутым нещастным нравом своим навлекла она к себе ненависть от всех наших людей и подданных, ибо им кажется, что ко всем им имеет она непримиримую злобу и ненависть и никому из них ни малейшего добра не хочет, хотя в самом деле она от того весьма отдалена, а нещастной ее крик то уже приносит с собою, что она никого приласкать и ни с кем благоприятно обойтиться из них не может. Что принадлежит до старушки матери ее, а моей тещи, которая несравненно лутчими своими свойствами, нравом и качествами столь много благополучию дней моих поспешествовала, что я издавна привык ее так почитать и любить как родную мать и которая того была и достойна, то хотя она меня десятью годами старее и дожила почти до самых суморок дней своих, однако, благодарить бога, все еще не только на ногах, но и не составляет еще отяготительного члена в семействе нашем, но я и поныне еще нередко пользуюсь приятным собеседованием и сообществом с оною и желаю, чтоб всемогущий продлил и далее ее жизнь к общему удовольствию нашему. Впротчем хотя силы ее начинают с каждым годом час от часу ослабевать, но она все еще в состоянии была делать нам сотоварищество не только в общежитии, но и в самых выездах к родным и к соседям и пользуется и поныне ото всех истинным почтением.

Чтож принадлежит до моего сына, сего любимца души моей и драгоценнейшего из всех даров, сниспосланных мне от бога, то об нем остается мне только то сказать, что он по весьма многим отношениям составляет другова меня и что он и прежде составлял и ныне составляет наивеличайшую часть благополучия и блаженства моего. Одно только меня в рассуждении его огорчает-то, и огорчает до самых глубочайших недр души моей, что он весьма слабого и хилого состояния в рассуждении своего здоровья и беспрестанно почти страждет разными, а особливо головными болезненными припадками, наследованными им едва ли не от своей матери. Мы находимся и при нынешней с ним разлуке в такой же частой с ним переписке, какую имели в прежние его отлучки и разговаривая с ним еженедельно заочно на бумаге, доставляем чрез то друг другу столькож приятных минут, как бы и при личных свиданиях с ним. Она и делает разлуку обоим нам несколько сносною. Многие экономические нужды и дела побудили его почти против хотения прожить в орловской жениной деревне долее, нежели сколько он думал и даже до зимы самой. С ним же вместе находилась и богом данная ему подруга, которою я с моей стороны очень доволен. Из детей же их дочь находилась в Данкове и все еще очень больна и почти ненадежна, а малютка сын, о котором слышу от всех многую похвалу и которым не могу довольно нарадоваться, находился при своих родителях и как говориться, час от часу делался умнейшим. Но не знаю угодно ли будет богу дозволить мне сею младою и нежною еще отраслью моего дома и

рода при старости повеселиться и не лишит ли он всех нас его в самом младенчестве.

Что касается до моей меньшей дочери, жившей еще при нас, то была она в таких уже летах, что давно б пора выдавать ее замуж, но к сожалению была она далеко не такова здорова, как были большие ее сестры в девках, но подвержена была нередко самым истерическим припадкам, сверх того и душевными и телесными своими совершенствами несколько поотстала ото всех прочих моих детей, то и не очень я сожалел о том, что по сие время не отыскивались за ней женихи такие, за которых бы



КРЕСТЬЯНСКИЙ СГОВОР
Картина маслом Михаила Шибанова (1777 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

выдать ее можно было без всякого опасения, чтоб супружество не было для ей безчастно. Впротчем любовию, привязанностию и почтением ее ко мне я не менее был доволен, как и обеими ее старшими сестрами и нимало не скучаю ею, и тем паче, что по частым отлучкам моего сына разделяет уже она одна со мною и время и разные упражнения, утешает меня почти каждый день игранием на фортопиане и берет соучастие в радостях моих и удовольствиях и помогает мне нередко провождать время без скуки. Вот все, что рассудил я за неизлишнее упомянуть о состоянии моего семейства, а теперь приступлю к самому историческому описанию сего нового периода моей жизни.

В день сей наиболее мы для того и не приглашали к себе, что нужно нам было съездить к новому нашему соседу, купившему недавно сосед-

ственное с нами село Домнино, г-ну Засецкому. Третьего дни приехал он к нам и с женою своею, в самое то время, когда нас не случилось быть дома и мы ездили в Татарское по приглашению от Доброклонских и у них обедали и весь день провели. Итак надобно было отплатить ему сей визит и не столько мне, сколько моей жене, которая его жене была совсем еще незнакома. Сверх того присылал он еще и сам нас звать к себе по причине что намерен он был скоро отъехать.

Таким образом ездили мы с женою и дочерью после обеда к нему и просидели у него до самого вечера. Он был нам очень рад и старался нас угостить всячески. Между протчим жаловался он на смешные затеи и посягания на него ближнего его соседа Доброклонского, но я старался как можно наклонять его к тому, чтоб он с ним как нибудь повидался, уверяя его, что тогда кончатся все их друг на друга претензии и они верно между собою поладят, в чем я действительно и не сомневался. При отъезде нашем просил он меня о неоставлении его деревни в случае надобностей и мы расстались с ним как добрые приятели.

Впротчем достопамятен был сей день тем, что мы услышали о происшедшем в недалеком соседстве от нас страшном и прямо злодейском убивстве двух дворян: одного живущего в здешнем уезде, а другова в Таруском и нам очень коротко знакомого и нами любимого. Он был человек бедной, но умной и услужливой, назывался Лисенко, а по имени Иваном Григорьевичем. Во время пребывания моего в Богородицке жил у меня один из его сыновей несколько лет и учился кой чему и сделался чрез то порядочным человеком, служащим ныне в полевых полках с довольною похвалою. Сего то бедняка убили злодеи тут же для компании, убивая господина своего, называвшегося Орловым и их чем то огорчившего до крайности. Сей Орлов нам вовсе не знаком был и потому о свойствах и обстоятельствах его нам еще не все известно, а мы тужили только и горевали о бедном знакомце нашем Лисенке, а особливо ведая, в какой непокрытой бедности осталось после его многочисленное его семейство: четыре сына и две дочери составляли оное, двое старших сыновей были в службе, но оба служили еще унтер-офицерами, третей был в Калужском благородном училище, а четвертой был еще дома при матери, к несчастию подверженной еще пьяной болезни; из дочерей же одна была лет уже 12, а другая меньше и обе очень жалки. Словом они не сходили у нас целый день с ума.

Сим окончу я сие мое первое письмо, содержащее историю первого дня, в которой кроме сего ничего другого не было.

2. СОВРЕМЕННИК ИЛИ ЗАПИСКИ ДЛЯ ПОТОМСТВА.

О состоянии, в каком около сего времени находилось наше дворянство, могло б найтиться столь много вещей к замечанию, что одною б сею материею можно б было наполнить целые книги. Но я, предоставляя подробнейшие замечания о том впредь и до других удобнейших случаев, замечу теперь только то, что оно во всем своем существе в последние двадцать лет столько переменилось и столь отменной пред прежним вид на себя воеприяло, что его почти и узнать не можно. Весь его наружный вид получил столь много блеска перед прежним, что ежели б привесть теперь в Россию такого человека, который бы, будучи в отсутствии из ней, препроводил лет 20 или 30 где нибудь на пустом и отдаленном

острове и всех происходивших постепенно с ним перемен не имел случая видеть, то он остолбенел бы от удивления, и с трудом мог бы поверить, что были то самые те ж дворяне российские, которых видел он лет за двадцать или за тридцать до сего в России, но скорее мог бы счесть их всех за каких нибудь выезжих иностранных герцогов, князей, графов, баронов или по меньшей мере великих богачей. Но сколь бы удивление его было велико если б уверив его, что они те ж самые или по крайней мере их дети и внучата, вкупе сказать ему и то, что он сим видимым наружным блеском весьма обманывается и по оному отнюдь не должен заключать о их богатстве, но напротив того, знать, что наибольшая часть сих мнимых богачей находится в наижалостнейшем положении, и в таком состоянии, которое весьма противоположно всему его наружному блеску, и скорее всякого патриота заставит вздыхать, нежели побудит оным любоваться, словом, что оно так расстроено, что угрожает ежеминутным падением, которое как в рассуждении их так и всего их корпуса неминуемо и воспоследует в непродолжительном времени, буде они не образумятся и не укротят сколько нибудь скорого и быстрого своего бежания к собственной своей погибели и разорению или буде не воспоследует чего нибудь такого, что в состояние было наложить на главы их уздечку и запальчивость их посократить против хотения и по неволе.

Сия черта, изображающая хотя вскользь нынешнее состояние дворянства, сказывается сама собою, что она не весьма для него выгодна. Но что делать, когда, держась истины, другого и сказать не можно. Оно поправилось, это правда, и поправляется от часу более и со всяким годом делается лучшим. Но увы! все сие поправление относится только до его наружности, а чтоб поправлялось оно в существенных вещах того никак к сожалению сказать не можно.

Весь духовный чин или вообще все российское духовенство, начав уже за несколько до сего лет мало по малу поправляться, хотя и очень тихими и почти неприметными шагами, находилось около сего времени несколько в лучшем состоянии, нежели в каком было оно лет за 20 до сего времени. Размножение наук, лучшее в семинариях учение, истребление некоторых бывших до того злоупотреблений, производство в архиреи молодых лучших и ученейших людей, соревнование сих друг пред другом к приведению епархий своих в лучшее состояние и многие другие обстоятельствы поспешествовали сей вожделенной перемене. Однако нельзя сказать, чтоб она была слишком велика, но паче и с сей стороны истина признаться повелевает, что и в духовном чине были еще многие несовершенствы и господствовали злоупотребления, которые нужно было еще истреблять и о которых можно бы весьма многое заметить. Но я и сие как и прочее предоставляю другим и свободнейшим случаям для переду, и не премину замечать, как скоро получу удобной к тому случай или какой нибудь особливой к тому повод, а тоже сделаю и в рассуждении самого прежнего и нынешнего состояния нашей религии, как пункте особливого внимания достойном.

Обозревая далее все отечество наше и обращая мысленной взор на города наши и в них жителей, то нельзя довольно изобразить, какую великую реформу все они с того времени получили, как основаны в нашем отечестве наместничествы и, как известно, число городов знаменитым количеством новых приумножено. Число лет, протекшее с сего

времени, хотя еще и не очень велико, но и в сие короткое время успели они столько преобразиться и восприять перед прежним столько лучший красивейший и выгоднейший вид, что всякий не бывавший в России лет 15 и приехавший в оную ныне удивился бы чрезвычайно и с трудом бы поверил, что все сие произведено в столь немногие годы. Словом монархиня наша сим поправлением старых и основанием новых городов основала себе на все грядущие времена и всему потомству наилучшей и достопамятнейший монумент и эпоха сия для всех наших российских городов и их жителей сделалась весьма важною и на веки незабвенною. Еще правнучаты нынешних их жителей будут твердить, что всей будущей красе их обиталищь и самому лучшему образу жизни положила великая Екатерина основание и что в ее славные времена почти все старинные города исторгнуты из прежней их азиатической дикости и грубости и начали мало по малу принимать на себя вид европейских городов. Всей сей великой и достопамятной перемене и превращению поспешествовали разные причины. Первейшею из них и более всех подействовавшей можно почесть данное монаршее повеление все их перестроить по планам, и сочинение самых сих планов по снятым наперед геометрическим местоположениям. Не успели сочинить и разослать сии планы повсюду и по оным разбить новые площади и улицы и предписать самые фасады домам купеческим и мещанским, как повсюду началась перестройка и каверканье и ломанье прежних гадких хижин и хибарок и воздвигание вместо их домов лучших и благопристойнейших и не только простых, но и самых палат каменных. В особливости же приметно было сие в городах губернских. Соревнование наместников и правителей их друг перед другом и неусыпное старание их к приданию сим резиденциям своим колико можно скорее лучшего и великолепнейшего вида; снабжение всех сих городов искусными архитекторами, воздвигание при помощи их для судебных мест огромных и пышных зданий на отпущенные и ассигнованные самою императрицею суммы, стечение в города сии многочисленного дворянства как для исправления должностей разных по судам, так и для прочих нужд, а инде и для самого жительства, желание всех их снабдить себя спокойными для жительства домами, принуждение купцов строить порядочные домы как для себя, так и для квартир судьям и другим чиновникам и воспоследовавшее вскоре затем и произвольное друг другу подражание, купцов и других городских жителей.

Да и самая пришедшая в лучшее состояние торговля скоро преобразили все сии города и придали им такой вид, который непостыден был для России и пред самыми иностранными и от прежнего столь отличен, что оных и узнать не было способа и сие преобразование продолжалось как с ними, так и со всеми прочими и мелкими городами и около сего времени со всяким годом получали они лучший вид. Со всем тем есть и в рассуждении самих сих городов весьма многие вещи, достойные в особливости замечены и впредь для сведения потомкам записаны быть. Но я оставляю и сии равномерно до других и удобнейших случаев.

Что касается до состояния, в каком около сего времени находилось крестьянство, то об оном судя вообще можно сказать, что оно в главной своей массе находилось все еще в таком же состоянии, в каком находилось лет за 20 до сего времени. Не видно было никаких дальних

и приметных с ним перемен и оно прилеплено еще было к нравам и обыкновениям своих отцов и дедов. Но признаться надобно, что ему и не до того было, чтоб помышлять о каких-нибудь новых переменах состояния своего. Оно едва успевало исправлять как собственные свои так и те работы, которые на них возлагаемы были от их помещиков и им едва удавалось снабжать себя нужным пропитанием. Со всем тем нельзя сказать, чтоб и относительно до них не было ничего такого,


ДЕРЕВЕНСКОЕ
ЗЕРКАЛО
или
ОБЩЕНАРОДНАЯ КНИГА
сочинена
Не только чтобъ ее читать,
Но чтобъ по ней и исполнять.

Часть первая.

Чего не знаешь, такъ учись,
И добраго всегда держись.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
при Губернскомъ Правленіи 1798 года.

Титульный лист книги „Деревенское Зеркало“ с гравюрой на дереве, изображающей помещика на жатве (1798 г.)

о чем стоило б труда упомянуть, но я и о сем дальнейшее упоминание оставляю для предбудущих записок при других случаях.

О состоянии, в каком около сего времени находилось наше российское купечество, можно также сказать, что оное, хотя мало по малу и поправлялось, но поправление сие происходило очень медленными и тихими стопами. Очень в немногой и небольшой части оного приметна была некоторая перемена, да и о той двоякое еще сказать можно; что она не столько к пользе, сколько к предосуждению их сословия и самого отечества служила. О самой же большой массе всего их сословия сказать можно, что она, не взирая на всю происшедшую

наружную перемену с их жилищами, была такова ж почти точно какова была лет за двадцать до сего времени, а особливо в рассуждении образа жизни и нравов. Купцы не преставали быть такими ж обманщиками, такими ж вероломцами, такими ж прошлецами и пронырливыми лукавцами, какими были прежде, и вещей достойных к замечанию есть и в рассуждении их как с хорошей, так и худой стороны великое и такое множество, что одною сею материею можно б занять множество места. А сие и убеждает меня и о сем дальнейшее упоминание предоставить другим случаям.

Состояние, в каком находились у нас около сего времени науки, было несравненно лучшее, нежели лет за двадцать до сего времени. Во все время правления нынешней нашей великой монархини возрастали они с каждым годом и приходили в цветущее состояние и расцветание их увеличивалось скорыми шагами. Перейдение типографий из казенных в партикулярные руки, а особливо московской университетской в руки г. Новикова послужило славною и весьма достопамятною эпохою для нашей литературы. С сего времени она властно как вновь возродилась и со всяким годом стала столь много возрастать, что чрез короткое время получила совсем иной вид; и как мало до сего было у нас в России библиотек, так много проявилось их вдруг во всех партикулярных домах. Стараниями оного доставлены вдруг не только наилегчайшие способы к чтению, но весьма многим, одаренным склонностью к наукам и способностию к писанию и сочинениям, отворен путь и преподан случай и возможность к оказанию своих способностей и сил разума, так что чрез самое то сделались они потом сочинителями и такими авторами, которые ныне истинную честь приносят своему отечеству. Одним словом, нынешнее правление было весьма выгодно для нашей литературы и наук, хотя нельзя сказать, чтоб со стороны оной самим ученым делано было дальнее какое побуждение; а буде делано что в пользу наук, так вообще и сих поспешествований со стороны правительства было довольно. Оказанные разные милости университету; предпринимаемое намерение учредить в некоторых местах еще новые; заведение повсюду народных училищь и снабжение их хорошими учителями; приуготовление самих сих учителей и наконец самое размножение типографий и данное всем дозволение заводить оные везде и кому только хотелось, служили поспешествующими и весьма сильно действующими средствами к скорому и быстрому размножению нашей литературы и вообще к множайшему расцветанию наук. Впрочем, как пункт сей есть обширнейший из всех, о котором можно и нужно поместить здесь записки и примечания, то предоставляю оные будущим случаям.

Состояние, в каком находились у нас около сего времени рукомеслы и художествы, было также довольно хорошее. Все они приходили час от часу в лучшее совершенство и процветали от часу больше. Повсюду размножались разные фабрики и манифактуры и везде народ становился искуснее и замысловатее. Однако нельзя сказать того о всех рукомеслах и художествах вообще, но многие из них находились в весьма еще худом состоянии, а иные только что рождались. Обстоятельно об них не упоминаю теперь для того, что предоставляю то другим и будущим способнейшим случаям, и тем паче, что найдется об них много, что говорить.

Некоторые из приезжих из армии молодых молодцов разглашали якобы в то время, когда наши с Суворовым стояли пред Прагою, поляки в шинках и на гуляньях нашли средство преклонить было наших солдат к французским сумасбродным мыслям и довели было до того, что они не хотели итти на приступ, а все сказались больными и что Суворов насилу их уговорил и убедил речью и увещеванием и служением молебнов и кроплением святою водою. Но ложь и явная выдумка таких бездельнических разглашений оказывается сама собою. Все прочие приезжие оттуда нимало о том не упоминали, и потому



ПОМЕЩИК И СВЯЩЕННИК НА СЕЛЬСКОМ СХОДЕ
Гравюра из книги „Деревенское Зеркало" (1798 г.)

казалось, что разве сами сии расказчики были таковых мыслей и что не солдаты, а они французским безумием сведены были с ума и обожали проклятые их правилы. А из молодчиков молодых около сего времени и много было у нас таких, которые достойны были того, чтоб их как маленьких ребяток выпороть гораздо, гораздо и так розгами на козле, чтоб им неделю другую на седалище сесть было неможно, а за то не ври того, чего не смыслишь и не одобряй того, что весь свет порочит и гнушается.

О состоянии в каком находилась при конце прошлого 1794 года вся Европа или знатнейшие державы оной, можно вкраце и вообще сказать что оно было критическое. Франция, хотя продолжала все еще играть на театре света наиважнейшую роль, однако внутренность ее приходила час от часу более в расстройство и изнеможение. Верховную власть над нею все еще имели бунтовщики, безбожники и наинегоднейшие люди, производящие почти ежедневно между собою всякие раздоры и друг друга губить старающиеся. Правда система правления их со времени истребления Роертспиера хотя и весьма переменилась, и сколько была до того соединена с неслыханным тиранством и бесчеловечием,

столько ныне кротка и тиха, но сие, равно как и уничтожение самого якобинского клуба мало помогло, и не могло никак заменить те ужасные недостатки и оскудения во всех тех вещах, в каких теперь терпела она нужду. Увеличивающаяся час от часу на все дороговизна, разрушение всей коммерции и торговли, расстройка всех мануфактур и рукоделий, а паче всего земледелия и сельского хозяйства, неподчиненность повсюду господствуемая, буйство и самовластие оказывающееся повсюду, неповиновение повсеместное к даваемым повелениям, нехотение платить никаких податей, остановившееся сообщение между провинциями и взаимное доставление своих избытков, обнажение деревень от лучших их работников, хлеба и лошадей, сделавшийся в сих последних крайний в Париже недостаток, несогласие между собою всех членов их конвента или сената, волнение в народе, происки якобинцев к возвращению себе прежней власти и тысячи других обстоятельств приводили вообще все состояние их дел в сумнительнейшее и такое положение, что начинали они власно как от сна просыпаться, усматривать пред собою бездну, на брегу которой они стояли, и почти въявь признавались, что едва ли их от сей бездны спасти может единое только прибежище паки к монархическому правлению и к прежнему образу жизни. Словом, во Франции начинало уже много кой-чего происходить приближающего сей народ к прежней законной власти, и доводила его до того самая нужда. А расстройка во всем была так велика, что никогда война для ней такова опасна не была как ныне, потому сумневаться почти было неможно, что нельзя ей по недостатку во всем, не только еще года, но и половины года многокоштную войну выдержать.

Но к особливому и удивительному ее щастию военные дела ее имели столь необычайной и невероятной успех, что нагнали страх на все воюющие с нею союзные державы и произвели то, что все почти оные в противность всей благоразумной политике стали желать скорейшего заключения с нею мира. Уже носилась около сего времени молва, что сей мир Гишпания будто уже с ними заключила, а голландцы действительно отправили уже своих поверенных мириться; германские князья делали того же наиусерднейшим образом и поручили старатся о том королю прусскому и сей изъявлял особливое свое к тому желание и уже назначал кого послать в Базель, где быть конгресу. Одна только Англия сколько нибудь тому противоборствовала и не только к мирозаключению не соглашалась, но готовясь к сильному продолжению войны, искала нового себе союзника в России и о заключении с нею особой конвенции старалась. Итак неизвестно еще на чем все дело вскроется и будет ли на будущий год война продолжаема или не будет. По сие же время оная, несмотря на самое зимнее время, все еще продолжалась и французы все еще утесняли голландцев и взяли у них еще одну крепость Граву, хотя от вторжения своего внутрь Голландии за реку Вааль и не имели дальней выгоды, но были назад прогнаты.

Впрочем вообще можно сказать, что в сие время во всех кабинетах происходили великие и важные дела и о многих вещах переговоры, в особливости же решение судьбы Польши занимало многие кабинеты и обращало на себя внимание всей Европы. Никому было неизвестно, чем славное сие дело кончится и весь любопытной свет с нетерпеливостию того дожидался.

3. ОПЫТ НРАВОУЧИТЕЛЬНЫМ СОЧИНЕНИЯМ.

I. О незнании нашего подлого народа.

Сколько мне до сего времени глубокое незнание удивительно ни было, в котором наш простой народ в рассуждении бога и закона находится, однако никогда не дивился я так много, как при некотором случае. Я принужден был с крайним сожалением видеть, что оно все мои чаяния превосходит, и столь велико, какова посреди столь православною верою просвещенного народа, какова наша есть, никогда бы ожидать было невозможно. Причина моему удивлению была следующая.

Мне случилось некогда слышать разговор между двумя разным господам принадлежащими служителями. Один жаловался другому на своего господина, и вздыхая рассказывал те немилосердные и частые побои, которые он претерпевать принужден. Другой ему тоже говорил и жаловался на госпожу, что она их скоро со двора сгонит. Потужив несколько о своем горе и покачав головами начал наконец один другого утешать. Он советовал ему сносить нещастье свое с терпением и полагаться на милость божию. Другой, который повидимому не столь набожен был, усмехнувшись ответствовал ему, что он неправильно говорит; что терпение иметь неможно; что никакой возможности к тому нет, а наконец, что он часто в такое отчаяние приходил, что хотел либо в реку броситься, либо удавиться. Услышав сие, его товарищ не преминул зато его осудить и начал худобу сей поступки, сколько его разума было, изображать.


Какъ у меня есть дворъ, да пашенка и лугъ,
Да добра женушка,
Овца, лошадка и каровушка
Для собственныхъ услугъ;
Такъ будемъ счастливы мы общими трудами,
И наживать добро, раченія плодами.

Страница из книги „Деревенское Зеркало“ с рисунком, изображающим крестьянина на пашне (1798 г.)

Сие подало им повод вступить между собою в пространнейший разговор о жизни человеческой. Любопытствуя сему, начал я внятнее слушать их рассуждение, и чтоб им не помешать, притаился у окошка, под которым они у меня разговаривали.

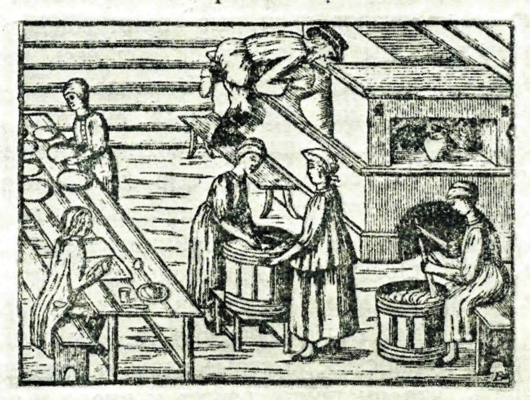
Поговоря несколько времени о бедной и горестей преисполненной своей жизни, нечувствительно дошли они до смерти. Но какое бы мнение имели они об ней? «Вот» сказал вздохнувши один: «Живи живи, трудись трудись, а наконец, умри и пропади как собака». «Подлинно так», отвечал ему другой, «покамест человек дышет, до тех пор он и есть, а как дух вон, так и ему конец». Слова сии привели меня в немалое удивление, но я больше удивился, как из продолжения разговора их услышал, что они и действительно с телом и душу потерять думают. Не мог я долее терпеть сего разговора, но, растворив окно, прикликал их к себе и им более сей вздор врать запретил. Они ответствовали мне, что лучше того не знают и про душу почти все они так думают; а как я их спросил, разве они про бессмертие души и про воскресение из мертвых никогда не слыхивали, то сказали они мне, что хотя в церкви кой когда про воскресение они и слышали, но то им непонятное дело и что тому статься невозможно, чтоб согнившее тело опять встало, а наконец, что им то достовернее кажется, что душа после смерти в других людей или животных преселится. Ужаснулся я сие услышав и от жалости о таковом незнании их не мог, чтоб не сказать им вкратце, что им о смерти и о душе думать надлежит. Они благодарили мне за то и уверяли, что они сего никогда не знали, а как я им сказал, чтоб они о том и прочем попов спрашивали и их себя учить заставляли, то, усмехнувшись, сказали они: «Учить, судырь, заставлять! Разве вы не знаете, что попы и господи помилуй даром не скажут, а нам где боярин деньги брать».

Удивление мое, которое они сими словами умножили, было несказанно. Оно подало мне повод к различным размышлениям. Во первых, дивился я откуда такие опасные понятия они получают, и откуда бы сие суеверие произошло. Известно, что первое мнение одним только материалистам свойственно, а второму только древние языческие философы учили. И чтоб со времен древних языческих учителей оно между народом имелось и к нам перешло, казалось мне невозможным делом. Во вторых, сказанное мне о попах известие казалось мне, как в то время отечество свое еще мало знающему человеку столь странно, что вид всей вероятности превосходило. Одним словом я находился в великом смущении и не знал что думать, пока наконец один мой приятель, пришедши ко мне, слышанного мною не подтвердил. Он рассказал мне, что первое и самому ему слыхать случалось, и что между подлости едва ли сотого человека сыскать можно, который бы о бессмертии души твердо удостоверен был, но что большая часть или вовсе никаких или совсем странные и развращенные, а по крайней мере недостаточные понятия о том имеет. А второму бессомненно бы я верил. Со всем тем я не мог понять, каким бы образом могло быть от духовенства нашего нерачение, но приятель мой удостоверил меня в том, рассказывая прочее состояние церковного нашего учения. Я ужаснулся, услышав обстоятельствы, которым бы никогда поверить не мог, еслиб оттого уверен не был, которой обещал доказать мне самым опытом. Я и действительно, стараясь о слышанном мною тверже удостовериться и для

Страница из книги „Деревенское Зеркало“ (1798 г.) с рисунком, изображающим хлебопечение в деревне

ГЛАВА XXXV.

Маланья по приказу Управителя расказываетъ писарю, какъ должно печь хорошіе хлѣбы и дѣлать доброй квасъ.



Когда пьютъ доброй квасъ, хорошей хлѣбъ ѣдятъ,
Такъ сытостью такой здоровью не вредятъ,
Но бодры, веселы при щахъ своихъ бываютъ,
И голода тогда хозяева незнаютъ.

того со многими простыми людьми в разговор вступая нашел, что хотя большая часть и не сумневается о будущей жизни, но понятия их об ней столь недостаточны и отчасти так неправы и коротки, что я дивился их незнанию и той великой темноте, в которой они в рассуждении как сей, так и других важнейших до закона христианского истинн находятся. А на вопросы мои, для чего они ничего не знают, принужден я был с сожалением слышать тоже, что им знать того непочем; что они люди безграмотные, а обучениев от попов они никогда не слыхивали. Всего же больше меня удивило, что я из слов их усмотрел, что все христианство их состоит в том, чтоб кой когда сходить в церковь, поставить образам свечки, помолиться богу, послушать пения и читания, которого не разумеют, велеть отслужить через два в третей кой когда молебен или по умершему панихиду, не есть в посты мяса, сходить к попу на дух и к причастию, нимало не зная, что сие значит, а в прочем так жить как живали их деды, то есть, последуя во всем своим пристрастиям и желаниям, нимало о требуемом и для христианина необходимо надобном обращении и очищении сердца своего не помышляя. Изрядное христианство, думал я в то время, а через несколько времени еще паче ужаснулся, когда узнал, что большая часть и самих учителей, сих пастырей душевных, того не знает, чему бы им своих прихожан учить надлежало. «О стыд! О срамота!» принужден я был тогда воскликнуть; не только видеть, но и слышать бы сего между христианами, кольми ж паче между православными, не надлежало.

II. Письмо к приятелю моему С*** о петиметрах.

Любезный приятель!

Вчера завел меня знакомец, мой господин Н в одно мне незнакомое место. Хозяин, будучи товарищу моему приятелем, принял меня весьма учтивым образом, и я был угощением его весьма доволен. Компанию не одни мы составляли: было тут несколько человек и других посторонних, которые мне, также как и хозяин были незнакомы. Господин Н не мог отговориться, но принужден был со мною остаться у него обедать. Мы препроводили тут весь день и двое из гостей не давали нам чувствовать скуки. Веселый нрав одного и велеречивость другого могли довольно упражнения сыскать для наших сердец и мыслей. Одним словом, сколько я в больших и незнакомых компаниях ни скучлив, но был бы совершенно сею компаниею доволен, еслиб одно приключение мне внутренней и такой досады не причинило, которую я в сердце своем долго скрывать принужденным себя видел. Чего ни требует от нас иногда благопристойность? Вот она, любезный друг: ты сам ее измеряй по мере чувствиев моих, которые тебе известны.

Под самой вечер было уже то, как пришел один мне незнакомой молодчик. Убранство, быстрые слова и отменные его поступки дали мне тотчас знать, что он принадлежит к числу нынешних петиметров. Мы в самое то время говорили о законе христианском и удивляясь божескому милосердию, рассуждали о том щастии, которое мы чрез то иметь удостоились, и несмотря на приход нового гостя, разговор наш продолжать начали. Ему был он повидимому не весьма приятен, да можно ль им такие по мнению их пустяки с терпением слушать? Недолго дал он себя сими неприятными для ушей его словами беспокоить, но присев к одному из нашей компании, начал ему с обыкновенными петиметрскими восторгами рассказывать случившиеся с ним в тот день любовные приключения. Крик, с которым они всегда свои размашки сопрягают и те высокопарные и громогласные выражения, которые им вместо доказательств к тому служат, про что они рассказывают, тотчас разговор наш заглушили, так что мы, увидев, что друг друга ни слышать, ни разуметь не можем, принуждены были разговор свой прекратить и места свои оставить. Нашему петиметру то было и надобно. Но что ж такое он начал тогда делать? Чтоб нас своим криком пощадить у него и на уме не было.

Нет! Он вместо того, что прежде с одним разговаривал, начал уже и нас принуждать внимать его повествованию. По нещастию случилось быть мне первому, кому он свое искусство в любовных похождениях рассказывать начал; тотчас были описания за описаниями, истории за историями, и наконец дошло и до здешних женщин и до тех любовных дел, которые имел он в здешнем городе. Сколь мне сия им оказываемая мне честь была приятна, и с какой охотой я слово его слушал, мне тебе сказывать не для чего. Ты знаешь меня; ты знаешь мои мысли; ты знаешь мой нрав и мои склонности и сего уже довольно. Не надобно же мне и о том тебе упоминать, что я ответствовал и в каком состоянии был когда он меня о здешних женщинах, а особливо об одной, которую он в тот день в окошке видел и которая будто бы на поклон его весьма приятным и надежду ему подавшим образом соответствовала, вопросами мучил. Одним словом, я сколько ни терпел, но вышел на-

конец из терпения и не знал, что делать. Ты сам рассуди, того недовольно, чтоб мне ему ответы на его вопросы сказывать принуждено было; но он требовал еще от меня на все его предложения моего мнения. Не видя иного средства к избавлению себя от сего новомодного оратора, принял я последнее убежище, я ушел вон, оставив сего думать обо мне, что он хочет.

Несколько минут спустя возвратился я в покои и не мог, чтоб внутренне моему оратору не рассмеяться. Привычка говорить так в нем усилилась, что он не мог ни одной минуты пробыть без сего упражнения. Он мучил тогда уже другого своим красноречием и я радовался, что он стоял тогда ко мне спиною и меня не приметил. Пользуясь сим случаем, пристал я к прочим гостям, которые удалясь в другой конец покоя и севши округ камина, прежний наш о законе разговор продолжали. Но можно ль было мне от прозорливых глаз моего щеголя укрыться? Он меня увидел и подошед ко мне советовал, чтоб я оставя про сии басни старикам рассуждать, ему сделал компанию. Мне ему ответствовать недостало времени. Насмехательные его выражения и те сатирические слова, которыми он меня отзывал, были уже в состоянии вооружить на него всю нашу компанию. Господин П**, которой из нас постарее и христианского закона повидимому ревнитель был, не мог таких насмешек снесть и тотчас за закон вступясь, ответствовал ему столь разумными словами, кои в состоянии были вогнать каждому в лицо краску, кто бы в ордене бесстыдников ещё ни находился. Но наш петиметр по нещастию был стыдливости крайный неприятель. Ему не только то нимало не воспрепятствовало, но он начал еще язвительнейшими словами смеяться христианскому

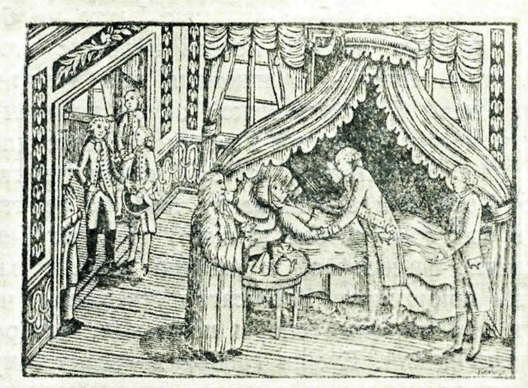


ОТЪЕЗД ПОМЕЩИКА ИЗ ДЕРЕВНИ
Гравюра из книги „Деревенское Зеркало“ (1798 г.)

закону. Ты сам можешь заключить, что тут воспоследовало? Г. П**, мой товарищ г. Н** и прочие, которые в нашем разговоре участие имели, окружили моего щеголя и превеликой шум подняли. Иной его осуждал, иной защищал закон, иной изъявлял свою досаду, иной жаловался, для чего то терпят и так законом ругаться допускают. Одним словом, дело бы до превеликой ссоры дошло, еслиб хозяин не подоспел, и всячески их усмирять не старался. Но можно ли было утушить огонь, который каждым еще более возжигаем был. Я не могу тебе довольно описать, как радовалось тогда мое сердце, как я толь многих ревнителей христианскому закону видел, и я сам конечно бы не приминул в том участие взять, если б только не знал, что при таком шуме порядочного ничего говорить не можно, и что все слова будут напрасны. Долго я ожидал, чтоб они порядочно говорить начали; но наконец, согласились все на том, чтоб ему сказывать в чем таком в христианском законе сумневается, а прочим бы разрешать его сомнения; итак начали все порядочным образом говорить. Но долго ли сей порядок продолжался? Не успело и двух минут пройти, как опять и еще больше прежнего шум поднялся. Петиметр наш не столько умел доказывать сколько кричать и чего недоставало ему в знании, то старался он сатирическими своими выражениями наградить. Долго они опять не успокоились, но наконец насказал он наперечет им несколько возражениев и требовал ответов. Некоторые из них были такие, на которые товарищи мои нескоро могли ответствовать. Я уже дрожал, чтоб они за скоростию в чем нибудь не промолвились и ему бы к возражениям более поводу недали. По щастию они были осторожны и чего не знали, от того уклоняясь речь на другую материю приклонять старались. Могло ль сие укрыться от нашего петиметра? Он тотчас приметил и тотчас с вящим усиливанием требовать на возражения свои начал. Я по сие время молчал и хотя внутреннюю досаду чувствовал, однако давал им по своей воле разговаривать. Но как он мнимою своею победою гордиться начал и радуясь о том от меня согласия с ним требовал, то принужден я был свое молчание пресечь и ему доказать, что он во мне ошибается. Я ему прямо сказал, что нам все должности наши запрещают в таких вещах давать свои согласия, которые самой важности и такие следствия за собой приносят, от которых всякому благоразумному человеку ужаснуться должно. Рассуди приятно ль ему было слышать от того прекословия, от которого он себе подпоры и согласия ожидал. Досадуя, что молодостию своею обманулся, оборотился он со всеми своими возражениями против меня и, выбрав одно, которое он за важнейшее почитал, сказал мне: «Когда и вы, государь мой, столь же ревностным защитником христианского закона себя оказывать соизволите, то прошу мне на один только вопрос ответствовать, мне уже того довольно будет». Я ответствовал ему, что хотя я и не такой ученый человек чтоб мог на все возражения без записки отвечать, однако, как должность христианина требует свой закон всеми силами защищать, а не опровергать стараться, то чтоб пожаловал мне, сказал на что такое мне отвечать.

«Вот государи мои» сказал он мне «в чем вопрос мой состоит. Скажите мне: когда закон христианской такою божественною истиною почитается, в котором никакого сумнения иметь не велят, каким же образом видим мы что то, что в одно время за православное почитается в другое за неправоверное признается, что то, что в одной церкви

УМИРАЮЩИЙ ДВОРЯНИН
Иллюстрация с нравоучительной подписью из книги „Деревенское Зеркало" (1798 г.)



начальным членом в вере, то в другой проклятым заблуждением? Не видим ли мы очевидным образом, что папы против пап, соборы против соборов, церковные учители против других учителей, а иногда один учитель сам против себя, иногда согласие церковных учителей в одно время против согласия церковных учителей в другое время, церковь в одно время против церкви в другое время спорила; одним словом, отчего то великое различие в законах христианских, которое мы видим, и нигде согласия нет. Слично ли сие с достоверностию христианского закона и не может ли навесть сие одному человеку в истине христианского закона сомнение?» «Тому, государь мой» прервал я его речь «может сие сомнение навесть кто, самою вещь оставляя, на одну ее тень смотрит. Отпустите мне сие выражение, продолжите вашу речь». «Я уже все сказал» ответствовал он, «и прошу мне сей вопрос решить». «Очень изрядно государь мой» сказал я «и если все ваши возражения не важнее сего, то немногого труда стоит оные опровергнуть.

Во первых, позвольте мне сказать, что возражение сие уже не новое и тогда еще было, когда мы может статься еще не родились и порядок ваших слов дает мне сомнение, что вы не свои слова, но слова известных английских деистов говорили. Славные их деисты Тиндал и Шилингфорт говорили уже сие и самыми вашими словами. Во вторых, прошу мне возражение ваше объяснить пространнее. В третьих, позвольте мне вас спросить: знаете ли вы началы всем тем между церквами несогласиям и тому причины; знаете ль все те пункты, в которых они между собою несогласны; известно ли вам точное содержание между богом и человеком, а наконец довольно ли вам все священные писания и церковная история знаема?.. Без сего не могу я вам на ваше возражение ответствовать, а потому что все мои доказательства мне оттуда брать должно».

Я сими моими требованиями в такое смущение его привел, что он не мог мне долгое время ответствовать. Я мог легко приметить, что ему всего того известно не было, что он то только по наслышке говорил. Наконец начал было он некоторые извинения предъявлять, говоря,

что того не надобно; что как бы то ни было, но мы теперь то видим и начальных причин искать непочто; что знание священного писания не столь нужно, а наконец, что говориться теперь только об том, что ежели б христианской закон истинен был, то никаким бы спорам быть между церквами неможно б было; для того, что об чем спор есть, то уже сумнительно и тому слепо верить не можно. «Так» сказал я «государь мой, ежели всему тому не верить, о чем споры были, то нам и в том сомневаться должно, что снег бел, для того, что один из старинных философов, а именно (ежели вам древняя история известна и вы припомните) Анаксагор утверждал, что снег так черен как чернила и в том ужасные споры поднимал, которое мнение и все его последователи имели. Ежели говорю я—всему тому не верить, о чем споры были, то и тому нам верить неможно, что на свете много людей есть, то и то может неправда, что вы, что г. Н**, что г. П** здесь находятся для того, что целая секта эгоистов утверждала, что на свете более одного человека нет, а что мы других людей видим, то ничто как только нам так кажется»... «Это не может быть сравнено с нашим спором» прервал он мою речь.* «Для чего не может?» спросил я «когда вы в одном случае не дозволяете, то для чего же и в другом не хотите дозволить?» «Все это ничего» сказал он «то ничто как дурачества и упрямства были, а наш спор не на том оснуется». «Как не на том, государь мой», прервал я его речь «скажите ж пожалуйте, какое начало имели разделение церквей и сектов. Не упрямство ли некоторых людей? Не пристрастия ли их были началом? Одним словом, не известно ли вам каких ради причин многие церкви от других* отпали и новую религию сделали? Читали ли вы когда нибудь церковную историю и не известно ли вам священное писание? Вот, государь мой, для чего я от вас требую, чтоб вы мне наперед сказали, известно ли вам все то, о чем я прежде упомянул».

Что ему было ответствовать?.. Он не только всего требуемого мною не знал, но возражения своего изъяснить был не в состоянии. Наконец признался он, что я отгадал и он возражение свое действительно из книг помянутых аглинских деистов взял. «Правда, государи мои» сказал он мне, переменя прежний свой голос и уже снисходительнейшим образом «я как в священном писании так и в церковной истории худой знаток, отроду моего имел к книгам омерзение, и еслиб мне упомянутые мною возражения, которые я в одной книге у одного своего приятеля увидел, не полюбились, то бы и поныне у меня ни одной книги кроме романов не было. Ныне велел я сию книгу выписать и уже целых два месяца ее жду и не могу дождаться, такие скоты здесь книгопродавцы, я уже ему тройную цену давал, но все не успевает». «Изрядная похвальба, государь мой» прервал я ему речь: «А если б мне на волю дали, то бы я все их сжечь, сочинителей повесить, печатальщика на каторгу сослать, а книгопродавцев кнутом пересечь велел». Строгость моя воспламенила опять моего соперника.

«Что так строго государь мой?» сказал он мне с превеликой вспыльчивостью «Разве за то что они человекам истинную пользу показать и тем лучшую услугу сделать стараются?» «Истинную пользу» сказал я захохотав «истинной вред скажите лучше, государь мой, а не пользу». Сие еще пуще соперника моего воспламенило. «Полно сударь насмехаться сим образом» сказал он мне «Вы что б ни говорили, но я тому не поверю. Возможно ли статься, что бог, сие по собствен-

ному вашему признанию, о спасении людей пекущееся существо, до таких заблуждений, до таких расколов, до таких несогласий и до такого злого употребления своего святого слова допустил, еслиб то было правда, что христианской закон точно от него свое начало имеет?..» «Мне больше сего не надобно»—подхватил я его речь—«Вы мне, государь мой, сими вашими словами ясно доказали, что вы ни священного писания, ни точной христианского закона истории и обстоятельств, ни божеских свойств не знаете, чем же мне вам доказывать?..» Сии мои слова тронули его, самолюбие не столь было мало, чтоб ему в своем незнании признаться было можно. Он отважился сказать, что ему все то не столь незнаемо, как я думал и чтоб я сказал ему свои доказательства.

«Очень изрядно» ответствовал я «но мне ваших уверений не довольно: вы должны мне наперед сказать в каких пунктах все те несогласия, в существительных ли или побочных и какие в христианском законе существительные и какие побочные пункты?»

На сие мое требование долго не мог он ничего ответствовать и наконец, сложив прежнюю горячность, усмехнувшись, сказал, что он про сие никогда и не слыхивал какие существительные и какие побочные пункты. «Вот, государь мой» сказал я ему рассмеявшись «сим образом нам и спорить не о чем. Научитесь наперед знать, что христианской закон, что священное писание есть. Прочтите сперва светские и церковные истории, изострите ваш разум здравою философиею, вникните наперед в богословие и тогда придите ко мне и делайте ваши возражения, а без того я бы вам как друг никогда не советовал подражать ветреным и таким головам, которые сами не знают, что говорят, приниматься не за свое дело и такое опровергать отваживаться, что свято и от чего единого ваше спасение зависит и что вам всего на свете нужнее и полезнее. Я вас уверяю, что когда моему совету последуете, то мне и прочим таковых возражениев делать и сами не станете и с такою же строгостию станете писателей, печатальщиков и книгопродавцев осуждать, как осуждал я и что началом было нашей ссоры. Не закон, государь мой, ежели вы знать хотите, тому виноват, что церкви разделились; виноваты тому наши предки. Закон всегда справедлив был и справедлив ныне. Но несправедливы были поступки разных учителей и священного писания кривотолков; а и то притом знайте, что первые пункты христианского закона во всех знатнейших религиях согласны, а споры по большей части о побочных, а иногда и о самых ненужных вещах поднимаются. А когда вам то сумнительно, для чего бог свое святое слово до такого злого употребления допустил, на то скажу вам, государь мой, что человек весьма мал и слаб к предписанию правил своему творцу и к требованию от него в его делах отчету. Довольно, что ему допустить до того было угодно, а он уже знает, что творит. А ежели вам и сего мало, то скажу вам, что он сие знал и знает. Прочитайте только евангелие и апостолов, вы найдете, что все то от Христа и от апостолов было предсказано. Прочтите, государь мой, их со вниманием. Вы получите от того и другие пользы. И ежели мой дружеской совет принять похотите, то пошлитеж завтра к книгопродавцу, велите сказать, чтоб он вам Тиндала не выписывал, но прислал бы вам библию, читайте, государь мой, ее прилежно и верьте моему слову, что вы в том никогда не раскаетесь».

На что мне тебе, любезный друг, сказывать в каком состоянии был мой соперник во время всей моей предики: ты сам то представить себе можешь. Сколь он ни бесстыден, не мог, чтоб не получить в лицо краску. Ни одного слова не мог он более выговорить и, видя себя сим образом пред всеми теми осмеянного, над которыми он себя победителем почитал, принял последнее к скрытию своего стыда убежище, а именно: сказал, что ему сидеть нет боле время, схватил свою шляпу и, пожелав нам доброй ночи, ушел прочь. Рассуди, какой смех подняли все гости, его препроводивши. Они благодарили мне, что я его так отпотчивал, а я просил прощения у хозяина, что в его доме такую непростительную неблагопристойность сделал. Она мне не только была прощена, но меня и хозяин еще благодарил, что я чрез сие может быть отважу от него сего гостя, которому он редко рад бывает. Вот вам, любезный приятель, вчерашнее мое похождение. Оно почти тем и кончилось, ибо мы скоро после того и все разошлись. Хозяин и каждой из прочих гостей звали меня к себе, я принужден был им обещать, и так мы разстались.

Теперь я стану с тобою, любезной приятель, говорить. Вчерашняя моя история пусть будет материею, о которой мы говорить станем. Каков тебе мой петиметр показался? Какого мнения ты о сих людях? С моей стороны я всегда к ним сожаление имею. Люди которые ко всему способны б быть могли. Люди которым пред другими полированной разум приписать можно. Люди способные к лучшайшим чувствиям и благородным склонностям. Люди которым одной прилежности и охоты к наукам не достает. Люди от которых со временем толикой для отечества пользы уповать можно. Люди которые бы не могли посрамить свое отечество. Сии, говорю я, люди испорчены, заражены, наполнены одним ветром, суетными замыслами, рабы своим страстям, живут в роскошах, ни о чем не думают, как о мотовстве, о шалостях, модах, орденах, играх и о удовольствовании испорченных склонностей. Пить, есть, спать, щеголять, непостоянничать и вертопрашить одно их упражнение есть. Но куда девается та надежда, которую отцы, которую сродники, которую отечество от них ожидает? На что употребляются их способности, которыми они одарены? Куда девается та польза, которую им принесть бы надлежало? Что получат те труды в награждение, с которыми они воспитываемы были и чем возградят они те издержки, кои на них истрачены? Тем ли, что все их не трогает? Тем ли, что все должности им рассказами кажутся? Тем ли, что и самые истины, кои основанием нашего благополучия, основанием всех наших дел, всего нашего покоя, всего упования суть, им баснями или химерами кажутся? Тем ли, что сею заразою не только себя заразив, но и других заражают? И та ли от них надежда, тали благодарность отечеству будет, когда они бездельными своими поступками свою породу, своих родителей, своих сродников посрамят и отечеству в позор, а не в славу служить будут! Изрядные слуги! Изрядные сограждане! И достойные носить имя сынов отечества. Но что я говорю?... Помню ли я себя и помню ли где я и когда живу? Златой ли ныне век? Забыл ли я что ты то мода? Забыл ли я что она наверху всех законов поставляется? Забыл ли что она над всеми господствует и одна она всего вяще почитается? О мода! щастлива ты, щастлива говорю, что в наши времена на свете обитаешь. Была бы ты когда в времена древние, была бы ты когда в времена многобожия, тебя

бы тогда богинею почитали. Но было ль бы тебе толико жертв, было ль бы толико гекатомбов, было ль бы такое поклонение и было ль бы такое почтение, какое ты от нас себе принимаешь.

Уйми меня врать, любезный приятель! Но что я говорю, ты сам бы то же сделал. Мне нечего тебе толковать тот вздор, который мне на мысли теперь вспал. Ты знаешь про что я говорю, ты знаешь про что я думаю... Но полно про сие; письмо мое длинно, пора его окончить.

Смеялся ли ты, сожалел ли ты о глупости, буйстве и слепоте рода человеческого? Я уже довольно то чинил, однако каждый день при-



КАБАК

Зарисовка Х. Гейсслера времени пребывания его в России (1790 — 1798 гг.)
Раскрашенная гравюра из альбома „Mahlerische Darstellungen der Sitten, Gebräuche und Lustbarkeiten bei den Russischen, Tatarischen, Mongolischen und anderen Völkern im Russischen Reich von C. G. H. Geissler". Leipzig, 1804.

нужденным себя вижу вновь то повторять. Скажи ты мне, будет ли конец всем глупостям? И будет ли время, когда бы тень вместо вещи копить и ветер глотать перестали?

4. РАССУЖДЕНИЕ О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ВЫГОДНОСТИ КРЕПОСТНОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО ТРУДА.

Можно ли с достоверностию предположить и может ли кто в том с надежностию поручиться, чтоб такая важная и великая во всем положении нынешнем и обстоятельствах перемена могла пройтить с миром и спо-

койно и не произвесть собою каких либо бедственных и опасных последствий? Ежели посудить о сем по известному еще грубому невежеству нашего простого народа и великой еще дурноте нравственных харектеров множеств людей оной составляющих, то спокойного и мирного минования сей мрачной тучи не инако можно ожидать, как от особливой милости правителя всем миром, управляюща судьбами всех человеков. Но что, ежели мы почему нибудь таковой милости не будем достойны? Что ежели вопреки тому, сего, так сказать, чуда для нас не воспоследует? Что ежели при сравнении нынешнего положения дел и всех обстоятельств с заведенными однажды и порядочно идущими часами, в которых главная пружина приводит в движение первые колеса, а сии, цепляя за другие побуждают к тому же третии, а сии четвертые, и все движениями своими производяг наконец без всякой поспешности желаемое действие, положим например, чтоб некоторые из нужнейших колес, соскочив с своих мест не стали попрежнему действовать, то не произойдет ли от того во всей машине великое паки расстройство и в допрежнем общем движении и действе остановки, и что, если оную поправить и восстановить будет трудно и неудобно? Или сравнив наш народ с рабочим скотом, состоящим в повиновении у своих хозяев и лошадьми, состоящими на стойлах, положим чтоб при таковой перемене уподобились бы они необъезженным коням, стоявшим до сего на привязи и вдруг спущенным на волю? Нельзя ли опасаться того же чтоб произошло с сими последними и чтоб не было произведено от них несметных зол, могущих обратиться не только самим им в пагубу, но и в существенный вред всему отечеству, с тою при том опасностию, что испорченное тем дело весьма трудно будет и поправить, и могущее воспоследовать во всем расстройство привесть [в] порядок и устройство. С сей стороны ничто так не наводит опасения [как], крайняя глупость, непросвещенность, грубое невежество и свойственная ей дурнота нравственного характера нашей черни, весьма неспособной еще к тому, чтоб иметь правильное понятие о свободе. Сколь легко тогда по свойству нашей черни может произойти то, что возмечтает она, что свобода в том должна состоять, чтоб не только быть совершенно вольными, не состоять ни у кого в повиновении и ни на кого даром не работать, но и не платить никаких никому и ниже самых государственных податей и не отправлять никаких повинностей. Что чернь наша в состоянии иметь таковые ни с чем несообразные и сумасбродные мысли и, заразясь такою мечтою, вдаваться в звериное буйство, то доказали нам времена не весьма еще от нас удаленные и находящиеся еще у всех в свежей памяти. Кому не известно, что происходило во время пугачевщины и почему знать не кружатся ли в глупых их [умах] и ныне уже таковые сумазбродные о вольности и о прочем мысли? И можно ли чего хорошего ожидать от глупости нашей черни, когда во дни наши и французская, несравненно нашей просвещеннейшая, доказала собою всему свету ужасным примером, до чего может доходить простой народ в случае дружного снятия с него узды, которою он дотоле управляется и в должном повиновении содержан был. Говорит же, впрочем, пословица, что семьи не бывает без урода, но если и когда сие справедливо, то в таком великом семействе, какое составляет весь наш подлой народ, не всего ль легче может отыскаться несметное множество уродов, могущих смутить и паче соблазнить и самых умнейших из своей братьи и каких бесчисленных и необозримых зол не может проистечь от того?

II. БОЛОТОВ—ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Найденные в ИРЛИ, в архиве «Русской Старины», «Мысли о романах» Болотова—сборник небольших статей о переводной и русской прозе второй половины XVIII столетия.

Как и множество других работ Болотова, статьи эти не были опубликованы ни при жизни автора, ни впоследствии и в течение долгого времени считались утерянными.

В 80-х годах Н. В. Губерти опубликовал в «Библиографе» две статьи Болотова о Карамзине среди других историко-литературных заметок. В комментарии Губерти рассказывает, как он случайно приобрел на базаре рукописный томик. Это был «Современник или записки для потомства» 1795 г.

Этим и ограничиваются публикации из Болотова, посвященные специально историко-литературным вопросам.

Впервые «Мысли о романах» (две части 1791 г.) указаны С. Масловым в описании рукописей Болотова, помещенном в «Земледельческом Журнале» за 1838 г.

Вот что пишет Болотов об этой своей работе в «Записках»:

«Между тем при всех моих хлопотах, разъездах и переездах не оставлял я и своих литературных упражнений и все праздные и остающиеся от дел часы посвящал оным. На меня приди около сего времени охота писать критику на все книги, которые мне прочитывать случалось, и критику особого рода, а не такую, какая и ныне пишется, но полезнейшую... Но дело сие было прямо на безделье и совершенно пустое. Книги, написанные мною по сему предмету, стоят с того времени по сие никем не читаемые в моей библиотеке и занимают только собой место; пользы же никому не производят и едва ли когда-нибудь произведут, поелику я не с тем намерением их и писал, чтоб могли они когда-нибудь быть напечатаны и обнародованы» («Записки», т. IV, стлб. 799—800).

«Критика особого рода», как и множество других трудов Болотова, не вошла в литературный обиход и осталась достоянием семейного круга.

Однако для историка литературы найденные материалы имеют значительную ценность.

Дело в том, что в эпоху крепостнического абсолютизма, в период, когда только зарождалась буржуазная идеология, критической литературы в том смысле, как мы ее понимаем теперь, не было. (Это и объясняет характерную примитивность критических опытов Болотова.)

Критика была случайным, а иногда и личным делом драматургов, поэтов и ученых, была чужда ясно выраженных социальных тенденций и оставалась в стороне от дворянской публицистики, своеобразно и широко развивающейся в сатирических журналах.

В первой половине столетия она исходит из пиитик, выражающих эстетические представления классицизма.

Теории Роллена, Батте и в особенности Буало переходят к русским литературным кругам, своеобразно связываются с практикой Тредиаковского, Сумарокова и Ломоносова.

Во второй половине столетия появляются работы, все еще исходящие из поэтики классицизма, но воплощающие идеологию сентиментализма растущей европейской буржуазии. Эти работы (среди них не последнее место занимает Зульцер, учеником которого стал Болотов на всю жизнь, познакомившись с его книгой «Разговоры Сульцера о красотах естества» 1777, во время елизаветинского похода в Пруссию) во многом определяют литературную критику второй половины столетия.

Об изменении вкусов дворянства и о столкновении классицизма, а вместе с ним и феодального мышления с сентиментализмом необычайно ярко свидетельствуют критические опыты Болотова, в особенности «Мысли и беспристрастные суждения о романах».

Как самый низкий жанр, в котором в пору упражняться корысти ради, для увеселения купцов и гостинодворцев, в эпоху классицизма роман, по существу, не считался достойным серьезного обсуждения.

Но успех прозаических сочинений все чаще и чаще к концу столетия заставлял писателей, а также издателей журналов обращаться в их сторону.

Сумароков еще лаконичен: «Хорошие романы хотя и содержат нечто достойное в себе, однако из романа в пуд весом одного фунта спирту не выйдет».

Мейнерс посвящает романам в конце своей книги две страницы из 344. Самый характер прибавления говорит о том, что тема упорно требовала внимания. «Романы... разным образом зловредны бывают разуму и назначению девиц и молодых

людей. Привычка читать романы пагубна или опасна, хотя бы ни против одного читаемого романа порознь ничего сказать нельзя. Но дабы романы не только были не вредны, а еще для особ здравого разума и сердца в свободные часы доставляли приятное или наставительное занятие, то они должны соединять в себе многие преимущества, которых самую малейшую разве часть можно найти в нынешних романах... Немцы может быть превосходят другие нации множеством романов, а русские пропастью их переводов, но не могут поставить ни единого против сочинений Фильдинга, Смоллета, Руссо, Вольтера и Ле-Сажа» («Главные начертания теории и истории изящных наук» Мейнерса, профессора философии в Геттингене, переведено с немецкого Павлом Сохацким, М., 1803).

В письме к Москотельникову Каменев, автор первой романтической баллады «Громвал» и казанский негоциант, как его рекомендовал Карамзину Лопухин, писал: «Карамзин советовал мне читать новейшие романы, утверждая, что ничем нельзя столь себя усовершенствовать в истине, как прилежным читанием оных» («Вчера и Сегодня» 1845 г., кн. I).

Трудно сказать, в такой ли точно форме советовал Карамзин Каменеву чтение романов. Херасков едва решился писать прозой своего «Кадма и Гармонию».

В статье о книжной торговле и любви к чтению в России в «Вестнике Европы» (1802, № 9) Карамзин писал, что «в самых дурных романах есть уже некоторая логика и риторика», и тем самым допускал их чтение.

Насколько интерес к романам повысился к концу столетия и в начале XIX в., свидетельствует «Письмо из уезда» к издателю «Вестника Европы» (1808, № 1) (Жуковского): «Раскройте «Московские Ведомости»! О чем гремят книгопродавцы в витийственных своих прокламациях? О романах ужасных, забавных, чувствительных, сатирических, моральных и прочее и прочее. Что покупают охотнее посетители Никольской улицы в Москве? Романы».

Болотов чтением романов увлекался еще в 1760-х годах в немецком университетском городке Кенигсберге. В семилетнюю войну он в походах не расставался с «Телемаком» Фенелона.

Европа привила Болотову буржуазные вкусы, но к сочинению «Мыслей о романах» его несомненно привел интерес конца XVIII столетия к прозе.

Мы уже отмечали выше: с развитием капиталистических отношений к русскому классицизму присоединяется сентиментализм, частично органически с ним сливаясь, частично преодолевая его традиции. Одновременно смещаются жанры; трагедия теряет свое превосходство, и «подлая проза», опираясь на возрастающий круг читателей, вступает в борьбу за первенство с поэзией.

На критических оценках Болотова с очевидностью вскрывается этот процесс. С одной стороны, для Болотова еще существуют стойкие представления о жанре романа. Почти в каждой рецензии он упоминает о величине книги, которая для Болотова—одно из мерил ее ценности, мерило, от которого ему еще трудно отказаться.

С другой стороны, в статье о «Российской Памеле» Павла Львова Болотов высказывает следующее симптоматичное попечение: «хорошо если б написал нам кто такой русский роман, в котором соблюдена была б наистрожайшим образом натуральность и правдоподобие, и в котором бы все соображалось с российскими нравами, обстоятельствами и обыкновениями»...

Там же Болотов высказывает следующую для своего времени необычайно «революционную» мысль о том, что следовало бы перейти от таких фамилий как Плуталов и Честон к простым, так как это более «натурально».

Перейти к «натуральным» именам трудно было даже Карамзину.

Не менее интересно употребление Болотовым слова «натурально». Оно встречается почти в каждой его критической статье.

Понятия «ненатуральность» и «натуральность», верность натуре, отсутствуют в пиитиках классицизма. Выбором, установлением и обсуждением достоинств образцов занят западный и русский классицизм на протяжении всего времени своего существования.

Верность натуре—это термин 30-х годов XIX столетия, термин романтизма, а в России—натурализма Гоголя.

Тем интереснее его появление у Болотова.

Замечательной чертой времени был тот факт, что эта литературная революционность очень часто соединялась с глубокой политической реакционностью и наоборот. Решительный и непреклонный новатор в литературе, Карамзин стоит на реакционных консервативных позициях и в александровское время решительно выступает против конституционных проектов Магницкого.



А. Т. БОЛОТОВ
Акварельный автопортрет (1780 г.)
Русский Музей, Ленинград

Между тем литературно-реакционная группа Крылова и Клушина оказывается в дружбе с идеями Радищева. Здесь не место подробно вскрывать это противоречие, но оно не случайно, и у Болотова в «Мыслях о романах» мы с ним встречаемся еще раз. М. Н. Покровский называет Болотовское подсобное хозяйство почти фабричным. «У Болотова мы встречаем и настоящую систему домашнего производства с переходом даже к фабричной системе: крестьянки в окрестностях Серпухова брали пеньку и паклю с парусинной фабрики и пряли в домах своих за плату» («Русская история», т. II, стр. 103). Это знаменательно.

Вместе с тем реакционность Болотова классовая и сознательная. Французская революция для Болотова—тот же Пугачевский бунт. Перенимая буржуазные методы хозяйства и производства, а вместе с ними неизбежно перенося капиталистические отношения, подрывавшие крепостнический строй, дворянство, особенно аграрное, хотело одновременно сохранить в неприкосновенности институт крепостного права, а следовательно и строй, гарантировавший его незыблемость.

Быть может наиболее ярко сказалась классовая природа Болотова, рядового среднего помещика-крепостника, занимавшегося в часы досуга литературой, в стихах, написанных в 1794 г.: «Чувствование рожденного во дворянстве».

Мысль, что все мы в свет приходим
В одинакой нищете
И как те родятся наги,
Точно так рожден и я,—
Дух во мне весь возмущает,
Вспоминая мне и то,
Что весьма легко я мог
Быть таким же, как они,

т. е. быть таким, как весь бесправный крепостной люд.

А. Кучеров

МЫСЛИ И БЕСПРИСТРАСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ О РОМАНАХ КАК ОРИГИНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ, ТАК И ПЕРЕВЕДЕННЫХ С ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ АНДРЕЯ БОЛОТОВА.

Часть I.

Предуведомление.

Ничто, как желание оказать некоторую услугу тем, кому сия книжка в руки попадется, побудило меня написать и составить оную. Романов, изданных в сии последние времена на нашем российском языке уже так много, и разность между ими в рассуждении качества и доброты их так велика, что почти необходимая уже надобность есть при покупке и читании оных делать благоразумный выбор, а не все то покупать и читать, что в руки попадется. А как к тому весьма много поспешествовать могут беспристрастнейшие об них суждения и замечания о том, что в котором из них хорошего и что худого есть, то и вздумалось мне, всякий раз, когда не случится читать какой роман, делать об них помянутые замечания, все нужное о каждом для себя записывать. А из сих записочек, пособравши оных и составилась сия книжка.

Писано в Богородицке июля 22 дня 1791 года.

А. Б.

НАСТОЯТЕЛЬ КИЛЕРИНСКОЙ. НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СОЧИНЕННАЯ ИЗ ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ ЗНАТНОЙ ФАМИЛИИ В ИРЛАНДИИ И УКРАШЕНА ЕСТЬ ТЕМ, ЧТО МОЖЕТ ЕЕ СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНЫМ И ПРИЯТНЫМ, ИЗДАТЕЛЕМ, ПОХОЖДЕНИЯ МАРКИЗА Г** ИЛИ ЖИЗНИ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОСТАВИВШЕГО СВЕТ. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО И НАПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В 12 ДОЛЮ ЛИСТА В 6 ЧАСТЯХ. 1768.

Книга сия принадлежит к числу больших, плавных романов в свете, сочинена уже давно, славным в свете сочинителем аббатом Прево, и довольно известна во всей Европе.

У нас имела она нещастие попасть в дурные руки для перевода и печати. Переведена дурно и властно как учеником, а напечатана не весьма хорошо, а что того хуже, то и вышла не вся и не в одно время. Первые пять частей изданы в 1768 году, а последняя, шестая, через тринадцать лет после того, но переведена иным, но еще и того хуже, издана надворным советником Рубаном. Переводчик так был незнающ, что даже приписал сочинение сие совсем иному, и такому человеку, который никогда ее не сочинял, а именно маркизу д'Аржансу. Словом книга сия у нас жалким образом испорчена.

Со всем тем составляет она прелюбопытный и такой роман, который может занять читателя долговременным и увеселительным чтением и произвесть ему много удовольствия, почему и не жаль употребить на покупку его деньги. Они не потеряются по-пустому, ибо как роман он годится читать и не один раз: то могут они и впредь через несколько лет приносить такое же удовольствие, как и сначала.

Слог сочинения сего, хотя не нынешний, короткий, лаконический и замысловатый, а простой старинно манерный, но имеет в себе много приятного.

Правда, в иных местах он многословен и плодовит и поэтому скучноват, но зато в других любопытен, натурален и имеет в себе нечто

нежное, умильное и впечатлевающееся в душу надолго. Может быть много поспешествует к тому существо самых происшествий описанных в сей книге. Сих происшествий превеликое тут множество. Все они отменно любопытны и занимательны, а есть множество нежных и трогательных, а того больше совсем непредусматриваемых и неожиданных приводящих читателя то в сожаление, то в радость, то в сумнение и надежду, и причиняющих ему то удовольствие, то досаду, а при всем том беспрерывно поддерживающих его любопытство, возбуждающих желание узнать, что последует далее и заставляющих брать во всем соучастие. Вся связь и сцепление приключений выдумана и расположена искусно и замысловато. Узлы завязаны хитро и развязаны хорошо. Словом, человек не может устать, читая сей роман и желает беспрерывно, чтоб он продолжался далее.

Характеры действующих лиц изображены живо и всегда соблюдены в единоравности.

По большой части они натуральны. Есть хорошие и худые, есть обыкновенные и редкие. В особливости же странностию своею достоин замечания характер самого настоятеля, рассказывателя сей повести и имеющего в ней великое соучастие. Непомерная строгость его нравственных правил, неутомимая его заботливость о благе своих родных, соответствие с их стороны его попечениям и трудам и навлеченные им через то самого на себя хлопоты и печали делают его в глазах читателя даже жалким, и заставляют тужить и сожалеть о нем, а иногда хлопотливости его даже смеяться.

Впрочем если есть что в сей книге достойное опорачивания, так состоит в том, что инде был Г. сочинитель слишком уже многоглаголив вдавался в нравоучения, скучные, бестолковые, поплетенные некстати. Также, что не всем происшествиям придавал надлежащий вид правдоподобности, но некоторые из них им слишком уже натянуты и ненатуральны, особливо при самом конце книги, отчего самый конец сей и теряет много из своей приятности.

Но каковы-б велики сии и другие некоторые недостатки не были, однако читатель прочитав книгу все остается в удовольствии и она остается у него впечатленною в память яко хорошая и достойная чтения.

Описаны в ней приключения, относящиеся до целой фамилии и как семейства, состоящего из трех братьев и одной сестры, происходивших якобы в конце минувшего столетия. Как они подвержены были тысяча разным печальным и радостным приключениям и в обстоятельствах своих великим переменам, и все разными путями достигли наконец до благополучной жизни.

Местом для происшествий избрана Франция и наиболее Париж, однако многие из них отнесены в Ирландию и Дублин, а некоторые и в Мадрид. Происходят они между людьми знатного рода, а имеет и некоторое участие в них и несчастный английский король Яков II, живший в Париже на содержании и имеющий особый двор в Сен-Жерменском предместье.

Пользы дальней книга сия произвесть не может, кроме доставления читателю некоторого удовольствия, и преподания ему некоторого понятия о том, как жил помянутый выгнанный из отечества своего английский король во Франции.

Совсем тем книга сия достойна и у нас таким же образом уважаема быть как уважается она в других государствах, но желательно, чтоб при втором издании перевод был бы поисправлен и напечатана она получше и *поисправнее*[1].

ПОХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРОГО РОССИЯНИНА. ИСТИННАЯ ПОВЕСТЬ ИМ САМИМ ПИСАННАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ИСТОРИЮ ЕГО СЛУЖБЫ И ПОХОДОВ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ И СЛЫШАННЫМИ ИМ ПОВЕСТЯМИ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ В ТИПОГРАФИИ РЕШЕТНИКОВА 1790 В МАЛ. 8 И РАЗДЕЛЕНА НА 2 ЧАСТИ. ИМЕЕТ В СЕБЕ 403 СТР.

Надпись объясняет уже довольно какого рода сия книга, и сочинитель не солгал, назвав ее истинною повестью, а почему она и не принадлежит к романам, если б не утаены были имена, то могла б относиться более к историческим или паче биографическим книгам, буде она такового названия достойна быть может.

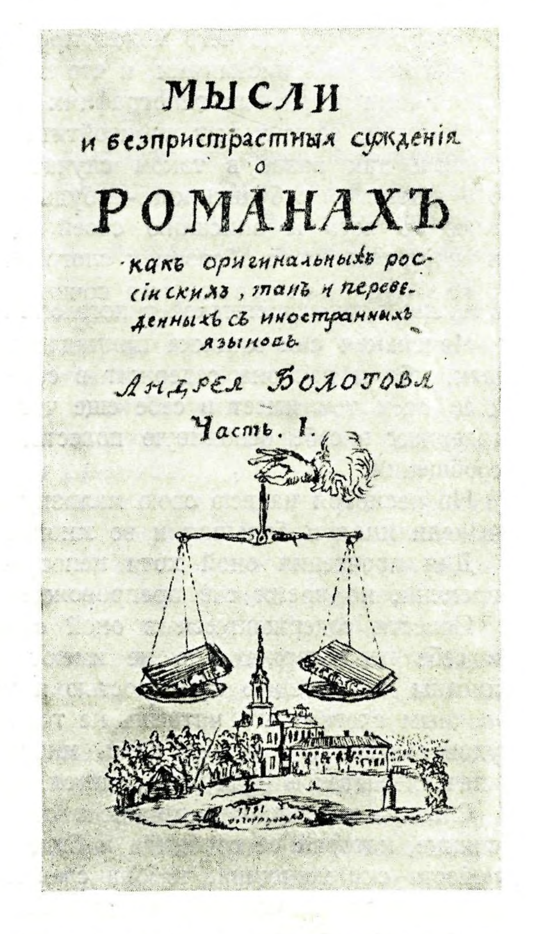
Сочинитель оной есть действительно россиянин и сочинение сие оригинальное российское самых последних времен, но сочинение такое, которым отягощена только публика к истинной досаде всех любителей литературы, и которое не к славе, а к бесчестию наших российских писателей служит.

Господину сочинителю сей книжки восхотелось оказать по мнению его опыт любви своей к отечественникам своим рассказанием им повести о самом себе, но повести такой, о которой истинно никто бы не потужил, еслиб осталась она навек погребенною в уме господина сочинителя. Да и для него бы в сем случае произошла та польза, что никто бы не знал о качествах его разума.

Истинно понять невозможно, что бы побудило его подарить публику таким подарком. Вся довольно длинная его повесть не вмещает в себе никаких таких приключений, которые бы сколько нибудь были важны, редки, любопытны и могли хоть несколько занять читателя, а вся состоит она в повествовании о самых мелочах, ничего не значущих ездах, походах, службах и волокитах.

Сочинитель оной, или герой самой повести был как видно сын какого нибудь церковника, отданного в рекруты и дослужившегося до унтерофицерского чина. Отцом своим отдан он был учиться грамоте, сперва церковнику, а потом в Казанскую семинарию, после записан был в службу; таскался всюду с отцом, был в Пруссии во время войны, в Мемеле, в Кенигсберге и опять в отечестве; потом в Польше при случае усмирения нашими войсками конфедератов. Тут, будучи однажды в Тороне, слюбился он с одной немкою, и на ней после того женясь, волочился с нею по всей Польше и потом в Молдавии при начале прежней турецкой, румянцовской войны, влачил жизнь в самом низком унтер-офицерском чине, бывал несколько раз при канцеляриях и наконец дослужившись офицерского чина, отставлен, возвратился на свою родину, неподалеку от Москвы, потом приехал в сию столицу и тут переменив службу продолжает и поныне свою жизнь.

Во всю сию долговременную его жизнь, службу и волокиту не случилось с ним ни единого такого приключения, которое редкостию своею стоило бы описано быть. Нет во всей повести его ничего удивительного, ничего увеселительного, и ничего такого, что бы достаточно было хотя некоторого внимания и любопытства. Но все сие ничего бы еще не значило, если бы рассказано было обо всем порядочно, просто и натурально: но к несчастию и сего нет. Но господину сочинителю,



Титульный лист рукописи А. Т. Болотова „Мысли и беспристрастные суждения о романах" (1791 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

ничего порядочно неучившемуся, а как видно читавшему только несколько романов и книг, к несчастию захотелось еще умничать, и украшать свою повесть, но совсем некстати и не впопад и вовсе неумеючи, таким слогом, какой нимало ей неприличен, и наполнять ее множеством таких слов, речений и фигур, которые столь же ей приличны, как к дурной корове богатое, великолепное седло. Словом, господин сей принялся совсем не за свое дело, а гораздо бы лучше сделал, если бы сидел себе с покоем и молчал.

Но что всего смешнее и нескладнее: то неизвестно уже совсем, для чего вздумалось господину сочинителю сей книги, посреди самой своей повести поместить несколько сказочек, из коих одна другой глупее и нескладнее; и помещены тут, как в пословице говорится: ни к селу, ни к городу и ни малехонько некстати.

Коротко, сочинение сие наполнено столь многими несовершенствами что великое надо иметь терпение, ежели хочешь прочитать всё оное сначала и до конца. А непомерное умничанье господина сочинителя и охота к подражанию другим сочинителям совсем без уменья, так досадна, что иногда читателю даже самому себя стыдно, что он такую нелепицу читает. При таковых обстоятельствах всякому неинако как сожалеть надобно, что книга сия произошла на свет. Она приносит собой худую честь нашему отечеству и всего меньше достойна занимать место в библиотеках, а разве только для единого свидетельства и дока-

зательства тому, до чего может простираться самолюбие и охота к прославлению себя писемиями, и что может происходить от вольности печатания книг в разных типографиях и от недостаточности цензуры оным.

Наконец, если может произойтить от сей книги впредь какая-нибудь польза, так разве в таком случае, если она столь счастлива будет, что удастся ей побудить кого-нибудь иного из Россиян к такому предприятию, то есть к описанию своей жизни, однако, не таким, а лучшим и порядочнейшим образом и слогом[2].

РАЗНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ СОЧИНЕННЫЕ НЕКОТОРОЮ РОССИЯНКОЮ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ 1779. 8. 114 СТР.

Маленькая сия книжка принадлежит к числу романов самых мелочных, ибо и вся она содержит в себе с небольшим только сто страниц, а со всем тем имеет в себе еще четыре отделения, из которых каждое содержит в себе особливую повесть, не имеющую с другими никакого сообщения.

Но несмотря на всю свою мализну достойна она множайшей похвалы, нежели иная и большая и во многих томах состоящая.

Для прочтения оной хотя непотребно более одного или двух часов времени, но время сие препровождено быть может с приятностью.

Повести содержащиеся в оной сами по себе, хотя ничего дальнего в себе не содержат, но не имеют ничего и нескладного и дурного; писаны же с такою приятностью и таким особливым полугероическим, нежным слогом, что читаешь не только без скуки, но с особливым еще удовольствием, и в нем столь много пленяющего, что приятность его впечатлевается в душу и остается надолго в ней впечатленною.

Словом, книжка сия приносит особливую честь той неизвестной россиянке, которая ее сочинила и буде то действительно так, что сочиняла повести сии женщина, то она сделала тем великую честь своему полу и весьма жаль, что она не означила своего имени, ибо беспристрастно можно сказать, что в маленьких сих повестях находится столь много доброго и столь много черт хороших сочинений, что подают они весьма хорошее понятие о разуме и дарованиях сочинительницы и побуждают желать, чтоб госпожа сия упражнялась в сочинениях такого рода далее: ибо легко б могла сделаться чрез то славною сочинительницею.

Коротко, книжка сия слогом своим отменна от весьма многих и принадлежит к хорошим и таким книгам, каких делать бы надобно, чтоб было больше на нашем языке.

Она, как ни мала, но достойна иметь место в библиотеках и занимать оное между хорошими книгами.

Повести, содержащиеся в ней имеют следующие надписи:

I. Супружеская верность. II. Гармара. III. Приключения Честомысла. IV. Звезда во лбу или знак добрых дел.

Все они имеют в себе много печального, много приятного и удовольственного, а последняя и нечто трогательное и столь поразительное, что в состоянии извлечь слезу удовольствия из читателя, имеющего чувствительное и добродетельное сердце.

НЕПОСТОЯННАЯ ФОРТУНА ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ МИРАМОНДА. СОЧИНЕНИЕ Ф. ЭМИНА. ПЕЧАТАНА ВТОРЫМ ТИСНЕНИЕМ В МОСКВЕ В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ В 1781 ГОДУ В М. 8. 3 ЧАСТИ. ВО ВСЕХ 847 СТРАНИЦ МЕЛКОЙ ПЕЧАТИ.

Книга сия, по величине своей, принадлежит к первому классу или ко большим романам, ибо она не так мала, чтоб ее в один день прочесть было можно, но иному и целой недели к тому мало.

Сочинение сие оригинальное российское и писано в Петербурге, в начале царствования Екатерины Вторыя, что потому можно судить, что приписана она господину Орлову в то время, когда был он еще графом и не на верховнейшей своей степени.

Если б можно было о доброте книг заключать по скорому раскупанию оных и по числу изданиев, то всякой бы подумать мог, что и сия книга хороша и в особливости достойна чтения, потому что менее нежели в двадцать лет все первое ее издание распродано пока удостоилась вторичного издания.

Однако надобно быть либо слишком уже пристрастну, либо не иметь в книгах сего рода вовсе никакого вкуса, если хотеть называть ее хорошею и почитать любопытного чтения достойною. Но напротив того, она наполнена столь многими дурнотами и несовершенствами, что ежели б хотеть все их показывать и исчислять, то можно бы написать такую ж большую книгу, как и сама она.

Сочинитель уже во первых тем смешным себя сделал, что всячески и бесстыднейшим образом старался всех уверить, будто-бы описанные в ней происшествия с Мирамондом и приятелем его Феридатом основаны на самой истине и что будто сам он в лице Феридата имел в них соучастие, хотя всякая почти строка наияснейшим образом доказывает, что книга сия составляет сущий роман, наполненный тысячью лжами и выдумками и притом такой, который добротою своею, как небо от земли удален от хороших.

Сколько кажется, то главная и единственная цель сочинителя состояла в том, что ему хотелось посредством оного спознакомить нашу российскую публику с самим собою яко иностранцем короче и подать понятие сколь знание его света, наук, мифологии, географии, истории разных народов и их обыкновений обширны и какими совершенствами одарен он с сей стороны от природы и провидения—также, чтобы выдуманием многих редких и странных приключений, и приданием вида, якобы он сам в них имел соучастие подвигнуть публику взирать на себя с любопытным оком и с сожалением.

Чтоб удобнее можно было бы до первой из сих главных целей достигнуть, то и наполнил он книгу свою не столько описаниями происшествий, сколько описаниями разных земель, городов, народов, их обыкновений и обрядов и множеством всякого рода ученых рассуждений о вещах различных и нимало к таковым повестям неприличных. А чтоб достигнуть до второй цели, то выдумал и затеял превеликое множество приключений и сделал героев повести своей сущими авантуриерами или проходимцами сквозь огнь и воду и сквозь всяческое дурное и хорошее.

Но все сие сделал он весьма неискусно, дурно и совсем неудачно. Географические и исторические его описания разных стран и народов и политические, равно как и прочие нравственные и ученые его рассуждения могли б по справедливости быть хороши и полезны, но не здесь, а составляя особую книгу или будучи вплетены в какое нибудь выдуманное путешествие. А тут помещаемы они были им не только совсем некстати и не у места, но очень часто так неловко и непристойно, что без досады на сочинителя и на непомерное его и совсем неприличное умничанье, никакому благоразумному читателю их читать не можно. Есть множество мест, в которых он не только досаждает вкус имеющему читателю, но даже мучит его немилосердным образом и заставляет

поневоле бросать даже из рук книгу и не хвалит, а поносит самый прах сочинителя таким образом, как он в самом деле незаслуживает.

Что же касается до самых приключений и сплетения их то по множеству оных и великому многоразличию моглиб они составить изрядный и любопытный роман, еслиб не изгажены они были толь немилосердно, а описаны-б были лучшим и натуральнейшим образом; а то в описании и оных наделана тьма погрешностей. Сочинителю что-то угодно было и их все жалким образом испакостить непомерными, совсем излишними и даже совсем иногда гадкими своими умничаниями и раздабарываниями помещаемыми им всюду и всюду и без всякого разбора и помышления о том, кстати ли они или не кстати, натуральны, или нет. Во всей книге нет почти страницы, которая бы не изгажена была какою нибудь нелепостью или вздором ни с каким благоразумием несообразным. Многие из них наполнены сряду и сплошь такою глупою и вздорною галиматьей, что надобно иметь чрезвычайное терпение, если хотеть прочитывать все сряду и без остатку, и нередко самая неволя заставляет из сожаления к сочинителю пропускать целые страницы или несколько оных сряду, и единственно для того, чтоб не мучить дух свой досадою на умершего уже и нечувствующего того сочинителя.

Коротко, книга сия такого сорта, что ежели надобно чем-нибудь чувствительно наказать человека, привыкнувшего читать сочинения хорошие и писанные со вкусом, то нужно только его заставить прочесть сию книгу. Он довольно накажется и верно в другой раз в век свой читать её не похочет.

Словом, сочинение сие такого рода, что истинно довольно тому надивиться не можно, как мог покойный господин Эмин, прославившийся впрочем у нас так много прочими своими благоразумными сочинениями, написать такой несносный вздор, и, поставив пред оным свое имя, предать себя тем не только на посмешище, но и на сущее поругание всех благоразумных.—Всякая народная и простая скаска едва ли лучше всех историй описанных в сей книге. По крайней мере там нет таких нелепостей и несносных раздабарываний, как тут, но не менее-ж удивительно и то, как сыскиваются и охотники многие читать роман сей.—Каков он ни есть, но его читают, и есть люди, которые его еще хвалят и называют хорошим. Явное доказательство, сколь вкус у нас еще несовершен и сколь глупых читателей еще много... Впрочем, во всей книге сей не нашел я ничего трогательного и ничего такого, что-б читателя могло пленить, наставить и привязать в особливости к сей книге. Любопытные пассажи, хотя и есть, но и те так заглушены прочим побочным вздором, что теряют через то всю свою приятность и не производят в душе никакого действия.

Наконец всего страннее и удивительнее то, что сочинителю угодно было, вплетая всюду кстати и некстати всякие умствования, нравоучения и наставления и наполняя книгу свою немилосердою и такою галиматьею, которая всякому и простому читателю скучна, помещать во многих местах между прочим наставления и учения самим государям и земным владыкам властно так как бы он о доброте книги своей так много был уверен, что надеялся несомненно, что книгу его станут читать и самые государи. Вот сколько далеко может заводить самолюбие сочинителей книг и сколь сильно могут они в заключениях о собственных своих трудах обманываться.



ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ
Картина маслом И. Танкова (1779 г.)
Русский Музей, Ленинград

По всему сему решительно можно сказать, что сочинение сие не к великой чести служит для природной российской библиотеки и она ею не может никак величаться. Да и самые читатели оной не весьма хорошее могут вперить другим о себе по вкусе своем мнение, если книгу сию излишними похвалами превозносить вздумают[3].

ЛЮБОВНЫЙ ВЕРТОГРАД ИЛИ НЕПЕРЕБОРИМОЕ ПОСТОЯНСТВО КАМБЕРА И АРИСЕНЫ. ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ. ПЕРЕВЕЛ С ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧИК ФЕДОР ЭМИН. 1780. В ОСЬМУХУ. КРУПНАЯ ПЕЧАТЬ. 336 СТР.

Книга сия особливого замечания достойна в нашей российской библиотеке тем, что она, будучи в рассуждении слога своего дурною и такою, что ее никакому, к хорошему слогу привычному читателю, с терпением и без крайней досады и почти омерзения читать не можно, удостоилась второго издания и что первое тиснение оной все в немногие годы было раскуплено.

Причиною тому, как думать надобно, не иное что как-то обстоятельство, что в то время, когда книга сия в первый раз издана в свет, было у нас еще очень мало романов и все к покупанию оных были жадны, а легко статься может и то, что какова книга сия, для разумных и вкус имеющих читателей ни дурна, но для простых незаботящихся о слоге грубых читателей, а особливо для подлости довольно хороша и любопытна, ибо сии могут и самыми глупейшими завираниями и пустозвяками столь же хорошо или еще более веселиться, нежели сочинениями писанными хорошим слогом и со вкусом.

Словом, сочинение сие есть такого же точно рода как и М и р а м о н д. Слог и мысли и завирания в ней одинакие и вся разница состоит только в том, что нет тут несносных раздабарываниев о посторонних материях, как то: исторических, географических, политических и тому подобных других вещах, а описываются только одни любопытные приключения.

Издателю сей повести угодно было назвать ее переводом с португальского манускрипта; но читавших М и р а м о н д а весьма трудно господину Эмину уверить в том, что это была точная правда и чтоб книга сия была подлинно писана каким-нибудь португальцем, так, как он в предисловии своем старается незнающих читателей всячески уверить. Не можно думать, чтоб какой-нибудь португалец способен был врать такой вздор, а если положить, что то была подлинная правда, то господин Эмин весьма дурно сделал, что при великом и бесконечном почти множестве иностранных и несравненно сего лучших романов не умел для перевода избрать лучшего, но труд свой посвятил такому глупому роману, и им отяготил только публику, а не услужил оной. Однако, все черты сочинения сего доказывают, что господин Эмин изволил только насчет публики повеселиться, и книгу сию назвать только переводом, а в самом деле сочинил он ее сам и прямо на русском языке.

Что-б тому было причиною, что ему угодно было назвать сочинение сие переводом, неизвестно.

Похвастать ли ему хотелось, что он умеет переводить с португальского языка, или он стыдился уже назвать сие сочинение своим собственным?—Но как бы то ни было, но одно достоверно, что он гораздо лучше б сделал, если б книгу сию не издавал в свет, ибо она не приносит ему ни малейшей чести, потому что в случае [если книга написана Эминым], она глупа, а в случае перевода скверна и гадка.

Впрочем, что касается до самых описанных в книге сей приключениев и до сплетения оных, то хотя они и не имеют в себе никаких дальних замысловатостей и чрезвычайностей, могущих составить хороший и трогательный роман, но много в них не натурального, натянутого и из пределов правдоподобия выходящего, однако, совсем тем нарочито изрядные и мог бы составиться из них хороший и любопытный романец, еслиб описаны они были не таким глупым слогом, когда бы не было вмешиваемо в самое дело несносных раздабарываниев и господин сочинитель несколько умничал и тем все дело немилосердным образом изгаживал.

Одним словом, еслиб самую ту же повесть рассказать иным тоном и описать инако, то вышла б книга, по крайней мере, достойная чтения и могущая сколько нибудь занимать и увеселять любопытного читателя, вместо того, что в теперешнем своем виде может она его только мучить.

Что принадлежит до сцены происшествиев то избраны к тому места азиатские, а именно аравийские, и все действия происходят между магометанцами; однако нельзя сказать, чтоб характер всех магометанских обыкновений наблюден был в самой строгости, а сверх того и правдоподобия исторического нет никакого.

Итак, по всем вышеописанным обстоятельствам книга сия может наряду поставляема быть с Мирамондом и в библиотеках занимать с нею одно место, т. е. самый отдаленнейший высокий и такой уголок, из которого б ее с трудом и только тогда доставать можно было, когда надобно кого из хороших и вкус имеющих читателей вместо наказания чтением дурной книги помучить или хотеть какому-нибудь невежде и простаку, неотвязно просящему дать почитать какую-нибудь книгу. Ибо для такового она довольно уже хороша быть может.

ЛУИЗА ИЛИ ХИЖИНА СРЕДИ МХОВ. ПЕРЕВЕЛ С ФРАНЦУЗСКОГО П. БЕЛАВИН. 2 ЧАСТИ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1790 В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ КРУПНЫМИ ЛИТЕРАМИ В 8, В ОБОИХ ЧАСТЯХ 331 СТР.

Сия недавно у нас переведенная и напечатанная небольшая книжка принадлежит по всей справедливости к хорошим и достойным, не только чтения, но и лучшего и красивейшего напечатания нежели каково напечатана она у нас ныне. Она содержит в себе прекрасный и к концу весьма трогательный и чувствительный роман, сочиненный оригинально на английском языке, на наш уже с французского переведенный. Английская девушка мисс Г** была сочинительницею оной и столько ею прославилась, что одно название сочинительницы «Люизы или хижины среди мхов», поставляемое на заглавном листке других ее же сочинения книгах, как например «Клары и Емелины» в состоянии было делать сим наилучшую рекомендацию. А сей и одной чести уже для ее довольно.

Сочинение сие в самом деле и достойно того, чтоб упоминать об оном в заглавиях других книг. Его можно назвать прекрасным, а особливо в оригинале. Слог оного весьма приятен, но в переводе нашем несколько потерял своего изрядства. Правда, нельзя сказать, чтоб и наш перевод был дурен. Он довольно хорош и превосходит многие другие: однако и того сказать не можно, чтоб не было в нем никаких несовершенств, а особливо в рассуждении изображения некоторых речений и фраз, которые переведены слишком буквально и на французском языке хороши, а на русском еще не очень обыкновенны и слишком еще новы, как например «прижимать к сердцу» или «святой ангел»

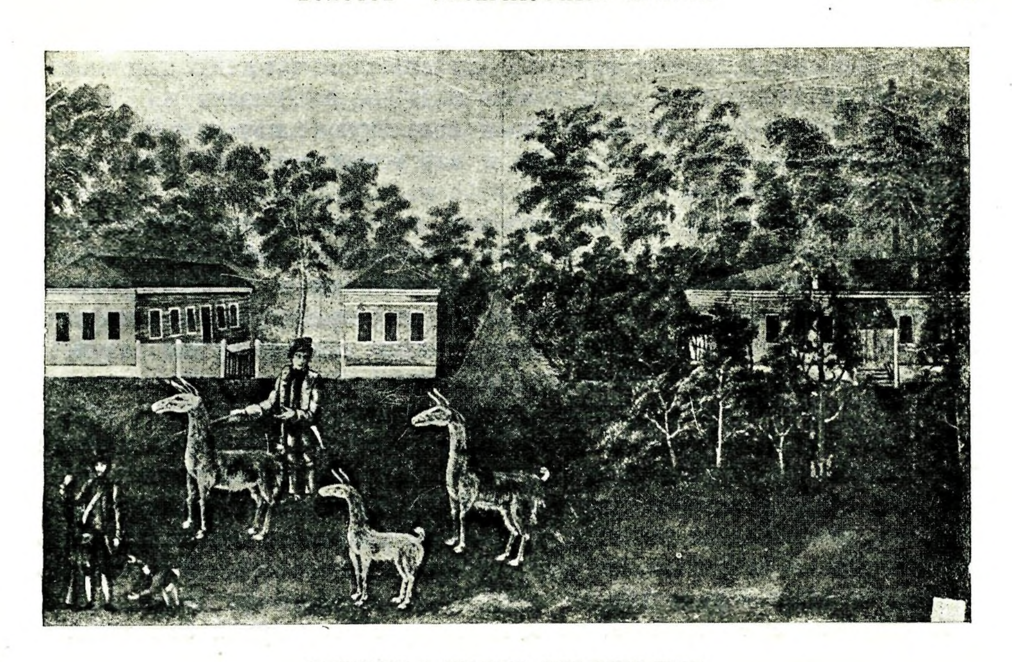
и прочее тому подобное. Однако все сии недостатки не так важны, чтоб они книгу портили, и чтоб переводчика извинить было не можно. Что касается до существа самой повести, описанной в сей книге, то она обыкновенная романическая в новом хорошем вкусе. Повесть рассказывается в третьем лице безпрерывно. Начинается из середины в наитемнейшем месте и потом мало по малу развертывается, а сие и производит то следствие, что сначала она не очень любопытна и интересна, но несколько и скучновата, но зато после тем приятнее и любопытнее. Жаль только, что помянутая нелюбопытная и темная часть оной занимает почти целую первую половину книги, и что читателю неотменно надобно читать ее с превеликим вниманием, если хотеть прямо пользоваться второю несравненно лучшею и тою частию, в которой находится всем узлам прекрасная и множеством чувствительных и столь трогательных мест наполненная развязка, что имеющему мягкое и чувствительное сердце человеку не можно читать их без слез удовольствием производимых. Теперь было бы излишним, если б рассказывать далее о содержании оной, сим много можно уменьшить удовольствие тех, которые книги сей не читали, а довольно, когда сказать, что театром описанных в ней приключений сделана отчасти Франция, а наиболее Англия, что есть в книге сей многие важные незапные и очень трогательные открытия. Есть посягательство на невинность, есть злые ковы и дьявольские хитрости негодных и порочных людей; есть деяния добродушные и благодетельные; есть любовные приключения; есть некоторые ощутительные натяжки и небольшие ненатуральности, и есть особливые случаи, какие в других романах редко приводимы бывают, как например мужья, жены, отцы, матери и дети почитающие друг друга бессомненно умершими, но потом властно как из мертвых воскресающие и прочее тому подобное.

Что касается до соблазнительных и вредных вещей, то в сей книге никаких нет и она сего зла освобождена; но напротив того нет и нравоучения в ней дальнего. А все хорошее состоит наиболее в том, что она может произвесть читателю довольно увеселения и пред концом заставить его тужить о том, что остается читать мало и наконец оставляет его в совершенном удовольствии и в благодарности сочинительнице, что она умела выдумать столь хорошее сцепление приключений и так искусно и хорошо развязать все завязанные им узлы. Однако нельзя сказать чтоб развязка оных так хорошо была скрыта, чтоб не можно было оной задолго уже наперед некоторым образом предвидеть. Со всем тем и сей недостаток нимало всему делу не мешает.

По всему сему можно о книге сей сказать, что перевод оной на наш язык был неизлишним и наша публика нимало не отягощена ею, но всякий употребивший на покупку оной деньги не будет тужить и не кинет книгу сию разбранив и сочинительницу и переводчика, но охотно приберет ее к месту и даст ей в библиотеке своей место наряду с хорошими и такими романами, которые не могут ее собою опозорить, чего она по справедливости и столь достойна, что еслиб была она и обширнее и более то никто бы о том не потужил б.

ВАЛЬМОР. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ. СОЧИНЕННАЯ Г. ЛОЕЗЕЛЕМ ДЕ ТРЕОГАТОМ. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО НИКОЛАЕМ ЛЕВИЦКИМ. НАПЕЧАТАНА В МОСКВЕ В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ 1781 ГОДА В 8, ВО ВСЕЙ 123 СТРАНИЦЫ.

Есть люди, которые сочинением какой-нибудь книжки мнят себя прославить, а вместо того тем только себя обесславливают, и есть другие,



ЗВЕРИНЕЦ В УСАДЬБЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.
Музей, дворец, Архангельское

которые трудятся и потеют над переводом книг, думая заслужить себе тем честь, похвалу и благодарность от своих соотечественников, но вместо того подвергают себя только хулам и браням, наживают себе худое имя и всему тому сами виною бывают.

Единая неосмотрительность и неосторожность их производит сие действие, ибо когда б не предпринимали они дел превосходящих их силы и знания, когда б не были так самолюбивы, чтобы при сочинениях и переводах своих еще умничать, а что того хуже еще именами своими хвастать и кичиться, то по крайней мере никто бы об их не знал и не ведал и никому-бы и на ум не пришло об них говорить. А то надобно не только врать и завираться, но к несчастию еще самим о себе сказывать и дурным как бы хорошим величаться и тем без того худое дело еще худшим делать.

Таковому точно жребию подвергли себя самопроизвольно и господин сочинитель и господин переводчик сей маленькой и в самом существе своем ничего незначущей книжки. Нет во всей оной ничего такого, что б могло какую-нибудь честь принесть ее сочинителю и что б стоило того, что б упоминать кем она сочинена и издана в свет.

Роман самый маленький, простейшего рода и не имеющий никаких красот, никаких приятностей и никаких совершенств, хорошим романам свойственных. Нет в нем ничего любопытного, ничего трогательного и ничего отличного и такого, что б достойно было особливого примечания. Но напротив того есть множество мест, которые без досады и негодования на сочинителя и без скуки читать не можно. Повсюду встречается единое только глупое и пустое калякание, повсюду бесконечные монологи и воззывания, повсюду глупые и предлинные письмы и повсюду происшествия, основанные на глупостях и никаких чувствований непроизводящих. А чтоб увенчать глупости глупостью, то и ко-

нец сделан еще пустым и никакого удовольствия читателю неприносящим. А по всему тому, как думать надобно, г. Лоезель де Треогат и в свое время и в отечестве своем невеликую славу приобрел себе сочинением сим, а у нас хоть бы и вовсе имя его было неизвестно, так бы никто о том не потужил.

Что ж касается до нашего переводу, то оной прямо соответствует своему оригиналу или еще во многом превосходит оной. Он наполнен столь многими несовершенствами, что трудившийся в оном заслуживает истинное сожаление. Человек как видно не разумеющий еще ни французского, ни своего природного языка столько, сколько нужно разуметь для порядочных переводов и предпринявший дело превосходящее его силы, трудился и потел, но весь его труд вылился как-то очень неудачен. Многие места и слова переведены им совсем навыворот и почти не русски, а сверх того что-то вздумалось ему на всякой почти строке все речи и слова некаким странным и [неразб.] как бы подражая семинарским красноречиям ни мало романам неприличным перестанавливать и каверкать, а чрез то и без того скучную материю сей книги сделать еще скучнейшею и упорнейшею.

А что того еще страннее, то к переводу своему думая бессомненно, что он очень хорош присовокупил он еще приписание к княгине Дарье Александровне Трубецкой, но приписание такое, которым неуповательно, что б довольно была слишком и сама сия княгиня: ибо она свинчена уже слишком на шурупах и наполнена неумереннейшею лестью. Но хотя б и сего не было, так материя книги сей не такова изящна и хороша, чтоб стоила она предложена быть пред глаза столь почтенной дамы, но скорее может почесться к тому неприличною.

Ибо что касается до содержания в сей повести находящейся, то оная вся состоит в следующем: один дворянский сын, отправленный от отца в службу, находит на дороге опрокинутую карету и в ней жену и дочь другого и гораздо знатнейшего и богатейшего дворянина. Он познакомливается с ними, ездит к ним в замок, слюбливается тайно с дочерью и требует ее себе в замужество. Родители с обеих сторон не хотят о том слышать, он прогоняется в полк свой, но заезжает тайно в тот город где была его любовница, находит средство тайно ее видеть и наконец совратить, прельстить и уговорить к побегу с ним. Они уходят в надежде на одного дядю коией не принимает их, но отвергает; они остаются лишенные всякой помощи, скитаются не зная куда и что предпринять и делать. Наконец любовница раскаивается, уходит от своего сопутника и пропадает. А он схватывается посланными искать его от отца и сажается в тюрьму. Тут совсем ненатуральным образом пронзает он себе грудь кинутую ему отцом его шпагою и выпускается из темницы. Потом уходит он от отца и будучи офицером записывается в солдаты, и служит несколько лет простым воином и терпит нужды и раны и остается в низком чине, сам не зная, для чего. Наконец нечаянно находит мнимую верную свою любовницу, вместо монастыря, как он думал, на театре комедианкою и на содержании собственного своего полковника. Он идет к ней, ее упрекает и потом мирится. Полковник застает его у ней. Хочет его бить, но он отвечает грубо и его закалывает и сажается за то в тюрьму. Комедианка подкупает темничного стража и уходит с ним из тюрьмы, но в бегстве они узнаются. Его схватывают, сажают опять в тюрьму и приговаривают

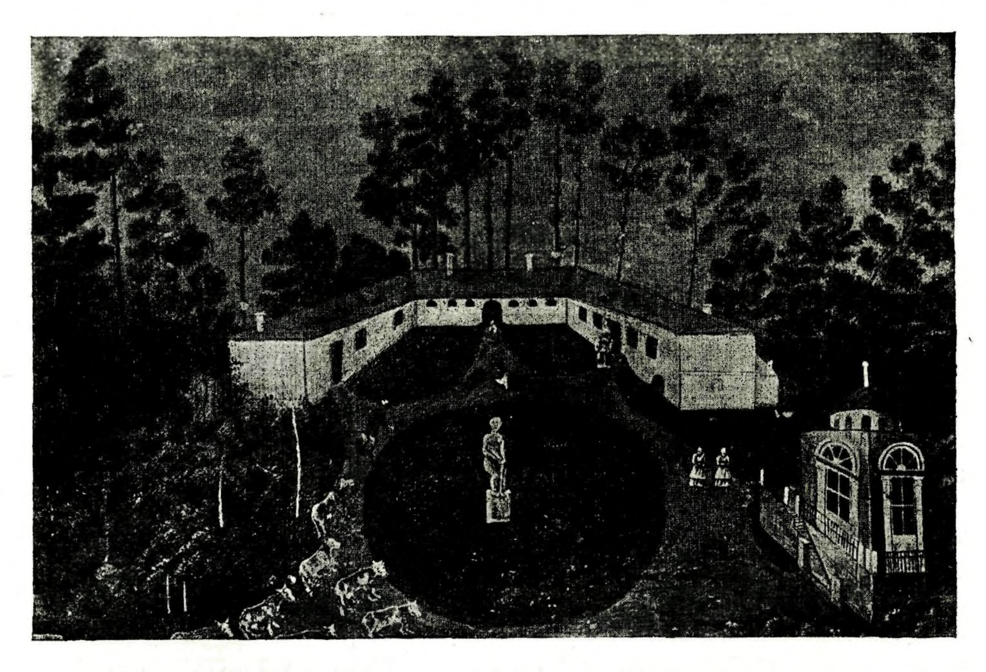
к смерти. Но любовница его казнь останавливает: доносится о том королю, он милосердствует об них и вместо смерти определяет ему наказание тюремное, и тут сидючи в тюрьме пишет он сию повесть, которая по сему и остается без конца: и вся не стоит ничего.

Итак по всем вышеописанным обстоятельствам книжка сия недостойна нимало любопытного чтения, а того менее, чтоб на покупку ее терять деньги. А господин Левицкой гораздо лучше сделал ежели б поучившись получше переводить, употребил вперед между иностранными книгами лучший выбор, а не отягощал российскую публику таковыми книгами, которые не делают честь российской литературы[4].

ГЕНРИЕТА ДЕ ВОЛЬМАР ИЛИ МАТЬ, РЕВНУЮЩАЯ К СВОЕЙ ДОЧЕРИ. ИСТИННАЯ ПОВЕСТЬ СЛУЖАЩАЯ ПОСЛЕДОВАНИЕМ К „НОВОЙ ЭЛОИЗЕ“ Г. Ж. Ж. РУССО. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО В БЕЖЕЦКОМ УЕЗДЕ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1780 В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ В М. 8 МЕЛКИМИ ЛИТЕРАМИ, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 129 СТР.

Ежели книжка сия сочинена самим господином Руссо, то доказывает она собою, что произведения и славных в свете сочинителей, а особливо французов не всегда бывают так хороши, чтоб не можно было об них сказать ничего худого. Всему свету известно, кто был Жан Жак Руссо и сколь много прославился он разными своими сочинениями и между прочим самыми романами.

Со всем тем, если строго посудить, то сей роман не приносит ему никакой особливой чести, и далеко не таков, что б мог служить к приумножению его славы. Если истинное достоинство романов в том полагать, чтоб были они не только любопытны, но не было бы в них ничего ненатурального, для нежного слуха оскорбительного и дурного, также к порокам поощрить могущего, а напротив того было б много живого и деятельного нравоучения, также побудительного к хорошему, а паче всего много таких сцен, которые бы могли трогать внутренность



СКОТНЫЙ ДВОР В АРХАНГЕЛЬСКОМ
Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.
Музей-дворец, Архангельское

сердец и извлекать из читателей слезы удовольствия и чтоб изображениями хороших и благодетельных деяний душа их приводилась в приятные и восхитительные движения, то признаться надобно, что из всех сих достоинств сей роман не имеет ни единого: но напротив того имеет великие несовершенства и чрез самое то недостоин пера человека толико прославившегося в свете.

Сии несовершенствы оного состоят во первых в том, что нет в нем никакой приметной хорошей цели, какую бы по справедливости долженствовал иметь господин сочинитель при сочинении своего романа, но вся избранная им цель состояла в изображении только одного порока, но порока почти чрезестественного и такого какой редко в людях быть может, а именно состоящего в беспредельной ревнивости матери к родной своей дочери, но ревнивости сопряженной с ненатуральной и зверскою ненавистью и такою лютостию сей женщины к своему рождению, которая делает ее сущим извергом человеческого рода. Во вторых, что вся повесть, содержащаяся в сей книге, не имеет никаких таких приятных особливостей, какими нынешние романы толико отличаются: но всего меньше походит на истинную, каковою она названа, но принадлежит прямо к простейшим романическим, какие писываны были в начале сего столетия и нам слишком уже сделались обыкновенными и прискучили. В третьих, что помещен в книгу сию без всякой нужды один посторонний эпизод, делающий ей сущее пятно, ибо описано в оном такое происшествие, какое свойственно только негоднейшим романам и которое сей властно как некаким дурным и гадким пятном марает.

Впрочем нет в книге сей ни малейшего нравоучения и никаких трогательных и таких мест, которые бы могли производить в душе читателя приятныя ощущения, а напротив того множество такого, что читает он чувствуя некую досаду и неудовольствие. А по всему сему и нельзя сказать чтоб роман сей принадлежал к хорошим и в особливости чтения достойным, а несмотря на всю славу сочинителя оного составляет он романчик самый посредственный недостойный никакого дальнего уважения и такой каких в свете очень много и которые добротою своею от нынешних хороших романов отстают весьма далеко и никак с ними сравнены быть не могут. Сверх всего того и самая мализна его составляет обстоятельство не весьма для него выгодное, ибо делает его таким, что он не может читателю произвесть никакого дальнего удовольствия, а особливо благоразумному и читать хорошие романы привыкшему. Совсем тем нельзя же его причислить и к худым романам, ибо нет в нем ничего в особливости вредного, но он для многих особливо любящих маленькие романы читателей годится уже для чтения. А если б не было в нем помянутого гадкого, дурного и без всякой нужды помещенного происшествия или когда б оно описано было иным и скромнейшим образом, то можно бы было его по нужде дозволить читать и женщинам.

Впрочем особливого примечания достойно, что коректура при печатании сей книги не весьма была исправна, но во многих местах есть великие ошибки, чтож касается до перевода, то он довольно хорош, но к сожалению изгажен только несколькими провинциальными словами, которые для нашего слуха несколько [неразб.], как например называнием солнца «солнышком» или мятежных страстей «страстями мстительными осаждающими наше сердце» и так далее. Однако как не ничему иному как единой привычке господина переводчика, а неосмотрительности



КРЕПОСТНОЙ ОРКЕСТР КН. ЮСУПОВА В АРХАНГЕЛЬСКОМ
Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.
Музей-дворец, Архангельское

господ цензоров приписывать должно, которые бы легко могли такие безделки исправить, то и не составляет сие никакой дальней важности [5].

ПРИНЦЕСА ВАВИЛОНСКАЯ СОЧИНЕНИЕ ГОСПОДИНА В***. С ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВЕЛ ФЕДОР ПОЛУНИН. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1770 ГОДУ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ В 8 КРУПНЫМИ ДУРНЫМИ ЛИТЕРАМИ И НЕИСПРАВНО. СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 174 СТР.

Имя сочинителя сей книги хотя господину переводчику оной на наш российский язык и не разсудилось велеть все выпечатать, а означено оно единою только литерою В***, однако всему свету известно, что проистекла она из пера Вольтера бывшего в наш век толико известным в свете. Сего довольно кажется для преподания многим о книге сей уже некоторого предварительного понятия. Но как мнения и суждения о сем сочинителе не всех людей одинаковы и некоторые и его и все его суждения слепо обожая цены им уже не ставят. Другие же не столь выгодного об нем и о его сочинениях мнения, но напротив того за полезнейшее для всей Европы и для всего человеческого рода почитают когда б сего француза и бессмертных его сочинений никогда на свете не было, то надобно и мне сколько нибудь при суждении моем о сей книге с помянутою разностию людей соображаться и сказать и тем и другим что нибудь об оной.

Итак что принадлежит до первых, то сим обожателям сего по мнению их величайшего из смертных мужа коротко только скажу, что они в сем сочинении еще найдут повсюду разбросанные черты великого разума и всего характера мужа толико их совершенствами своими очаровавшего, и могут читая и сие найтить довольно пищи душам своим, буде они к таковым снедям уже привыкли.

Для сих и сия книжка прекрасна, хороша, изящна, неоцененна, божественна, остроумна, неподражаема, бессмертной похвалы достойна и все, что изволишь... и сего для них уже довольно.

Что касается до прочих, не дошедших еще до того, чтоб слепо обожать все то, что помянутым французом писано, то сим скажу, что ежели они хотят в сей книжке найтить какой нибудь приятный роман, то они не найдут в ней никакой любопытной, хорошей и чтения достойной повести, а находится в ней единая только совершенная на наиглупейшим образом выдуманная и самая нескладная басня, наполненная такими вздорами, нескладицами и нелепицами, какие в баснях обыкновенно бывают и какие неможно читать не удивляясь тому как могут такие вздоры вселяться в мысли самых иногда умных людей.

Однако сие в рассужении сей книги неудивительно, ибо из всего сочинения сего видно, что у сочинителя всего меньше на уме было то, чтоб написать какую нибудь хорошую, любопытную, разумную и трогательную историйку и тем услужить обществу так, как делали то некоторые другие славные ученые люди, например Гелерт, Виланд и другие тому подобные. Но он имел при сочинении сей басенки особливые виды: он имел гораздо лучшую, благороднейшую, изящнейшую, превосходнейшую и такового бессмертного безпримерного мужа достойнейшую цель. По достохвальному своему обыкновению ругаться над всем, что есть хорошее в свете, шпынять наиязвительнейшим образом над всеми истинами откровенного закона и над всем, что в свете за свято почитается. Шпынять над государями, над народами и над всем человеческим родом, низводить оной в равенство и собратство скотов, ополчаться против самого творца и всех известнейших и неоспоримейших исторических истин. Подкапывать наподобие татей здание всех наилучших учений в свете, вперять наихитрейшим и коварнейшим образом в умы смертных наивредительнейшие и опаснейшие сумнительствы, развращая злодейски сердца невинные и непорочные потравляя оные хуже нежели ядом и отравою губить людей душевно и телесно.

Посему, говорю, толь достохвальному, прекрасному, изящному и прямо безсмертной славы и похвалы достойному обыкновению, восхотелось ему и сие свое сочиненьице, о котором он шутя изволит говорить, что он им подарил в новый год своего типографщика, наполнить таким же ядом и отравою, каким по достохвальному своему обыкновению наполнял он все свои бессмертные сочинения, какие бы они ни были, пиитические-ли, исторические-ли, философические-ли, драматические-ли или иного какого рода, и разница сочинения сего от прочих состоит в том, что изыскивая все удобовозможные праздные способы к развращению и гублению людей, восхотелось ему в сей раз все сокровищи великого ума своего и славные его произведения вплесть в форму басенки и в оной пошпынять хорошенько над законом, над истинами, над папою, над духовными, над некоторыми народами и над некоторыми из самих государей, властно так, как бы никаких иных средств ему уже не оставалось или властно так, как бы он средство не почитал в особливости удобным для распространений пагубных произведений ума своего не только между умными, но и в самом простом и неученом народе, как любящем читать лучше басенки, нежели важные сочинения. Ибо ревность его в сем великом и толикого бессмертия достойном подвиге была так велика, что ему не хотелось и сих бедняков оставить в покое, не заразив таким же пагубным ядом как и прочих. Вот какая была главная и довольно ясная и приметная цель сочинителя при сочинении сей книжки, а посему всякому беспристрастному человеку нетрудно

заключение сделать самому о качестве и доброте оной, так же и о том достойна ли она чтения или нет. А я в окончание только скажу, что мне очень жаль, что переведена она на наш язык и что трудился в том один из наших россиян. Есть кажется довольно и предовольно и не таких вздоров для переводов и можно б найтить что-нибудь и другое лучшее; а спознакомливание российской публики с таковыми тайным и сахаром облепленным ядом наполненными сочинениями кажется не слишком похвально и не может никак отнестись к чести господина Полунина, а всего бы лучше оставлять сочинениями сего француза пользоваться самим его соотчичам, или тем только, которые разумеют язык французский.

Довольно и между сих вреда они наделали, кажется нет нималой нужды распространять зло сие и между теми россиянами, которые языка сего не разумеют и книг Вольтеровых в оригинале не читывали и читать не могут.

Сего довольно будет о качестве сей книги, не приносящей ни малейшей чести господину переводчику, а того меньше самому толь славному ее сочинителю [6].

СОФИЯ ИЛИ ПИСЬМА ДВУХ ПРИЯТЕЛЬНИЦ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ ГРАЖДАНИНОМ ЖЕНЕВСКИМ, 2 Ч. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО М. П. ПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В 1780 ГОДУ ИЖДЕВЕНИЕМ КНИГОПРОДАВЦА МЕЙЕРА В ВОЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ ВЕЙТБРЕХТА И ШНОРА В 8, ЧИСТЫМИ ШНОРСКИМИ ЛИТЕРАМИ. СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 218 СТР.

Хотя под именем «гражданина Женевского» и известен в ученом свете славной женевец Жан Жак Руссо, однако неизвестно мне точно его ли сие сочиненьице или какого иного гражданина Женевского. Но чье б оно ни было, но то по крайней мере достоверно, что оно не приносит сочинителю своему никакой дальней чести. Роман сей не принадлежит хотя к числу худых, однако и к числу самых хороших приписать его никак неможно. Приключений упоминаемых в сей повести происхо-



ВЪЕЗД В УСАДЬБУ АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.
Музей-дворец, Архангельское

дивших будто в Голландии и описанных в образе писем пересланных между двумя приятельницами, очень мало. А главная особливость, отличающая сей роман от прочих состоит в изображении вольнодумством и безбожием зараженного голландца, влюбившегося втайне в родную свою сестру, имевшую у себя достойного любовника и сговоренную за него замуж. Он, скрывая долго гнусную свою страсть, злодейскими хитростями приводит ее у любовника в подозрение, доводит его до отчаяния и до смерти, мешает вторичному намерению ее выттить за другого жениха замуж, заманивает при помощи матери к себе жить. Хочет насильно выдать ее за своего друга таково-же негодяя, каков сам или еще худшего, а между тем делает ее сам чрез законопреступнический и злодейский свой поступок навек лишением чести несчастною, и по учинении сего злочестия уезжает и оставляет ее в отчаянии и покрытую стыдом и бесчестием.

Вот в чем состояла главная цель господина сочинителя; но как она по существу своему не весьма похвальна, то нельзя книгу сию, писанную впрочем довольно изрядным слогом, слишком и одобрить. Ибо изображениями таковых редких и гнусных злодеяний, а притом имевших еще делаемой успех можно скорее нравы развратить, нежели исправить, и людей скорее заохотить к худу, нежели преклонить к добру. Сверх того надобно сказать и то, что и выработано самое важное место невесьма удачно и правдоподобно.

Но как бы то ни было, однако ту справедливость должно отдать господину сочинителю, что он повсюду в романе своем наблюдал правилы благопристойности, и нигде не преступал пределы оной. Не помещено нигде им соблазнительных и таких сцен, которых бы женщинам читать было неможно и нет ничего гнусного и отвратительного. Сего порока и несовершенства роман сей не имеет.

Что касается до прочего, то может он в некоторых местах душу читателя трогать чувствами единого только сожаления, но и то весьма слабо, но таких же мест, которые бы изображениями каких нибудь великих добродетелей или других радостных происшествий могли извлекать из очей читателя слезы удовольствия, в сем романе совсем нет, следовательно и не имеет он в себе самого лучшего свойства. Правда сочинитель хотя и постарался сделать конец книги сколько-нибудь приятным, заставя по прошествии многих лет преступника раскаеться и обретением своей от злодеяния происшедшей дочери так поразиться, что он от того умер. Героиню же повести и выдал хотя наконец за ее прежнего второго жениха, но сделано все сие так тупо и хладнокровно, что читатель почти вовсе тем не поражается. Сверх того и то в романе сем нехорошо, что иные письмы наполнены уже слишком многими возвзываниями и разглагольствиями романтическими так же, что при начале обоих частей, на которые роман сей без малейшей нужды разделен, ибо они и обе вместе кожаного переплета не стоют, помещены вместо предисловиев письмы, предсказывающие многое такое уже наперед, о чем бы читателю предварительно знать совсем бы не надлежало, ибо через то уменьшается много его любопытства.

Одним словом, маленький роман сей не без погрешностей и несовершенств и из худых вышел, но до хороших далеко ещё не дошел. Читать его хотя без скуки и с довольным любопытством можно, однако чтоб можно было получить от него дальнее удовольствие и чтоб он был

слишком любопытен, того сказать нельзя. Что касается до нашего перевода, то он довольно хорош, выключая только одного пункта, а именно, что господин переводчик слово é р о u х переводил с у п р у г о м, а не ж е н и х о м, как бы в самом деле надлежало, властно так как бы ему неизвестно было, что на французском языке слово é р о u х значит и жениха и супруга и что надлежит из обоих сих слов избирать то, которое существу материи приличнее и обстоятельствам свойственнее.

Впрочем книжка сия приписана Г. полковнику Александру Семеновичу Хвостову.

ЕМИЛЬ И СОФИЯ ИЛИ ХОРОШО ВОСПИТАННЫЕ ЛЮБОВНИКИ. ИЗ СОЧИНЕНИЙ ГОСПОДИНА РУССО. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1779 В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ НА ПИСЧЕЙ БЕЛОЙ БУМАГЕ И САМЫМИ МЕЛКИМИ ЛИТЕРАМИ В МАЛ. 8, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 116 СТР.

В надписи сей маленькой книжки хотя и неозначено кем и с какого языка она переведена, но в приобщенном к ней приписании к госпоже генеральше Елизавете Васильевне Херасковой то выполнено и означается что переводил ее некто господин Страхов, по имени Петр. А что переведена она с французского языка, то сие известно потому, что все сочинения славного Жан Жака Руссо писаны на сем языке. Впрочем что касается до существа сочинения сего известного на французском языке под именем «S o l i t a i r e s» или «У е д и н е н н ы х», то оное принадлежит более к нравоучительным, нежели к романам. Ибо приключений описанных в оной чрезвычайно мало, да и те совсем простые и обыкновенные, да господину сочинителю не было в том и пользы, а ему хотелось собственно в сей книге написать мораль нужную молодым девушкам и мужчинам, так-же молодым любовникам и супружникам, и одеть ее в романическое платье, дабы посредством вымышленной приятной повести можно было нечувствительно внушить им оною. Почему и начинается она пространным изображением всех тех качеств и совершенств, какие хотел бы он видеть в каждой хорошо воспитанной девушке, и которые замечания его действительно небесполезно со вниманием читать девицам. После этого приводит он к изображенной им героине повести своего воспитанника образованного стольким же тщанием, спознакомливает их между собою и заставливает друг в друга влюбиться.

Потом проходит он с ними все степени нежной благоразумной и целомудренной любви, а потом, разлучив их на два года, соединяет браком и предписывает правилы какие молодым супружникам наблюдать следует.

В сем одном состоит вся повесть, однако, несмотря на то писана она так, что ее с удовольствием читать можно. Во всем слоге оной употреблено не только возможнейшее красноречие, но довольно нежности и приятности. Любовь изображаема тут самая непорочнейшая и основанная на постоянстве и добродетели, и изображены самые потаеннейшие ее стези, и весь план сочинителя выработан им довольно хорошо, хотя впрочем нельзя не признать, что господин Руссо и в сем сочинение также как в своем Емиле натягивал струну уже слишком высоко и превосходил иногда уже и пределы натуральности. Он предписывал такие правилы, которые удобнее могут почесться умовоображательными, нежели удобопроизводимыми и такими, которые в самой практике могут быть наблюдаемы. Словом такие любовники, какими изобразил он своего Емиля и Софию существуют только в книгах и в умовоображении, а в натуре едва ли подобных им отыскать можно. Да едвали когда нибудь и могут быть таковые. Совсем тем нельзя, чтоб книжку сию

не причислить к числу хороших и таких, которые стоят того, чтоб их покупать и удостаивать чтением. Ни время, употребленное на сие, ни деньги, употребленные на покупку оной не могут быть потерянными, а и переведена книжка сия прекрасно. Честь сию можно отдать господину Страхову, а потому и можно сказать, что книжка сия нетолько не отягощает собою публики, но может еще служить украшением увеселительным библиотекам и стоять наряду с прочими хорошими сочинениями.

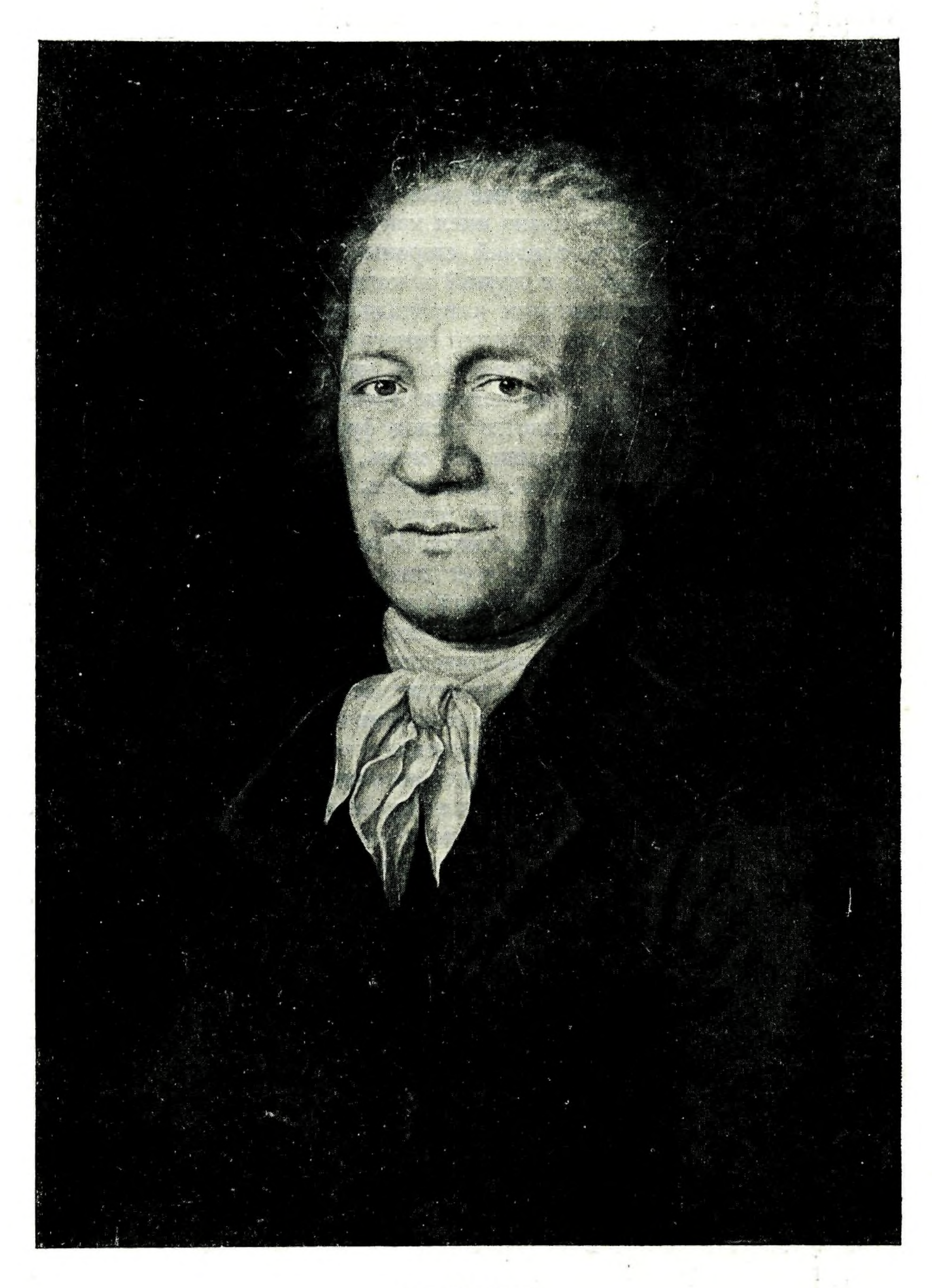
РОССИЙСКАЯ ПАМЕЛА ИЛИ ИСТОРИЯ МАРИИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛЯНКИ. 2 ЧАСТИ. СОЧИНЕНИЕ ПАВЛА ЛЬВОВА. ПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 1789 ГОДА, ПЕРВАЯ ЧАСТЬ В ИМПЕРАТОРСКОЙ ТИПОГРАФИИ, А ВТОРАЯ ПРИ АКАДЕМИИ НАУК, В БОЛЬШ. 8, ЧИСТЫМИ ЛИТЕРАМИ, СОДЕРЖИТ В ОБЕИХ ЧАСТЯХ 237 СТР.

Как романов, писанных на нашем природном российском языке, а особливо таких, которые бы могли назваться прямо русскими, еще очень мало, и они так редки, что неможно еще их набрать и десятка, а последних и того меньше, то сие обстоятельство делает книгу сию множайшего примечания достойною, нежели какого она по существу своему стоит.

Писал ее в наши последние и недавние времена один Россиянин, и Россиянин молодой и как по всему видимому заключить можно, писатель еще новый и в писаниях такового рода еще не довольно искусившийся, почему по справедливости и заслуживающий сколько с одной стороны похвалу за его трудолюбие и старание снабдить нас новым и нашим русским оригинальным романом, столько с другой извинение во всех сделанных им при сочинении сей книги и как думать надобно неумышленных погрешностях ибо и в пословице говориться, что первую песенку неинако можно как зардевши спеть. А ему, писавшему еще в первый раз, и пошедшему путем не довольно еще протоптаным и убитым, но пролагавшим так сказать новую стезю и тропу, и неудивительно, чтоб во многом непогрешить, а по самому тому нельзя и не извинить его в его ошибках.

Со всем тем неизлишним будет все сии ошибки или по крайней мере наиглавнейшие из них означить, дабы они могли впредь и ему и другим новым сочинителям романов служить в некоторое предостережение.

Итак, что касается до самого плана и выдумки всей повести и сплетения всех частей ея: то план сей довольно хорош и так замысловат, что еслиб вырабатывало его другое и искуснейшее перо, то мог бы составиться прекрасный и довольно трогательный роман. Сей план сочинителя и вообще все содержание сего романа состоит вкратце в том, что изображен тут один молодой и наследовавший после добродетельного отца великое имение русский дворянин, приехавший гонять с собаками в деревню, и влюбившийся нечаянно в одну деревенскую девку, дочь одного облагодетельствованного отцом его и разумного однодворца. Сильная и беспредельная страсть доводит его до того, что он на ней без дозволения матери своей женится, но товарищ его, сущий плут и бездельник, но которого почитал он себе верным другом и которому во всем он вверился, употребляет во зло его к себе дружбу и доверенность и делает его несчастным. Он не могши убедить его употребить насильство и после воспрепятствовать его женитьбе рассоривает его с материю, доводит ейо до того, что она призывает к себе сына, а жену его велит без него согнать со двора и заставить скитаться по миру. А между тем сам обманывает, обкрадывает раззоряет своего друга, вовлекает его в мотовство и во все пороки и ввергает наконец



А. Т. БОЛОТОВ
Портрет маслом работы неизвестного художника (1790-е гг.)
Исторический Музей, Москва

в бездну бед и в самую крайность и отчаяние. Наконец брат несчастной однодворки записанной отцом Викторовым в службу и дослужившийся до офицерского чина и приобретший в службе довольный достаток, по нечаянности узнает несчастного Виктора и по добродушию выкупает его из долгов и соеденяет его опять с его женою, а своей сестрою. А ложный друг его между тем также раскаивается и возвращает ему похищенное у него имение, чем все дело и кончается.

При выработывании сего плана имел как видно г. сочинитель главную цель то, чтоб изобразить с одной стороны хорошие качества низкого состояния добрых людей, а с другой и колико можно худшей стороны дурные свойствы людей знатных и принадлежащих к большому свету, а вкупе с тем изобразить и характер одного такого бездельника и прошлеца, какими свет бывает наполнен и какими нередко разоряются и погубляются многие знатные молодые господа, а притом по достоинству посмеяться несколько насчет господ французов.

Намерения и цели сии хороши, но жаль, что выработка сего плана вылилась не очень удачна. Г. сочинитель впадал из одной погрешности в другую и на всяком почти шагу в новую. Ненатуральностей, неправдоподобий и натяжек очевидных, которых всего более писателям романов убегать бы надлежало, тут так много, что они встречаются почти на всякой странице, а к дальнейшему сожалению и слог сочинителя не повсюду единообразен, но местами довольно хорош и натурален, а в других изгажен многими излишностями и посторонностями нимало не принадлежащими к делу. Во многих местах, где надлежало б быть г. сочинителю короче, был он уже слишком многоглаголив и вдавался в скучные и ненатуральные нравоучения, а напротив того там, где надлежало б ему быть гораздо пространнейшим, был он уже слишком короток и малоглаголив и к особливому сожалению в таких местах, которые моглиб придать наиболее приятности длинен, что в особливости приметно при конце книги. А всем тем и испортил много свою книгу и лишил ее приятности. Главнейшие ненатуральности, находящиеся в сей книге состоят наиболее в том что самая героиня сей повести Мария изображена уже слишком ненатуральною. Господину сочинителю угодно было сделать ее такою нежною красавицею и притом такою умницею и искусною в слоге писем, какою никакой подлой ее состояния и воспитания девке в нашей России быть неможно. Далее приводит он в деревне гробницы, сделанные из чистейшего белого мармора, нимало ненатурально. Самая скоропостижность и жестокость любви господина Виктора к Марии также слишком уже натянута, а и хороший характер Марии неизображен как надлежало б живыми красками и самыми деяниями, а пересказан только на коротких словах, да и далеко не таков совершен, чтоб стоило ее назвать Памелою. Изгнание ее из дома мужнина и житье в избушке при одном монастыре также очень натянуто и ненатурально, а скоропостижное обращение лже-друга Викторова, также упоминаемый остров с дикими, так ненатурально, что ни на что не походит. О шестилетнем пребывании Виктора в городе и его распутстве пересказано уже слишком коротко и также с превеликою натяжкою. Словом, конца бы не было еслиб пересказывать все то, в чем погрешил господин сочинитель, но от первого опыта, а особливо юного сочинителя была бы почти сущая несправедливость если б и хотеть лучшего и совершеннейшего требовать.

Но что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие совсем вновь испеченные и нимало еще необыкновенные слова, как например: «себялюбие, себялюбивый, белольнистая борода, флейтоигральщик, челопреклонцы, великодушцы, щедротохищники» и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему-б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед акредитоваться поболее в сочинениях.

А неосторожно ж он и в том поступил, что назвал книгу свою «Российскою Памелою», какого звания она далеко недостойна и от Рихархзоновой Памелы так удалена, как небо от земли.

Впрочем нельзя сказать, чтоб в книге сей находилось что-нибудь дурное, гадкое, соблазнительное и благопристойности противное, также что б не было в ней ничего хорошего и похвалы достойного; но в честь господину сочинителю сказать можно, что он во многих местах и при разных случаях изъявлял очень хорошие мысли и суждения здравые, а сатиры его на французов и на знатных господ и госпож довольно едки и куражисты.

Сверх того и вся книга вообще не так худа, чтоб ее не можно было читать без некоего удовольствия, а в местах трех или четырех есть и трогательные явления, но жаль только, что они выработаны худо и надмеру сокращены, ибо через то теряют они много своего действия.

Далее заметить и то можно, что роман сей, хотя и назван российским, но он далеко еще не таков, чтоб прямо мог назваться русским и каковые желательно б чтоб у нас были. Тут нетолько не означено никаких российских мест городов и пределов, в которых происходили действия, но и самые имена употребляемы были не обыкновенные русские с прозвищами и отчествами, но вымышленные совсем необыкновенные, одинакие, а что того хуже означающие тотчас и характер тех людей, которыми они были называемы, например: «Плуталов, Честон, Премил, Многосулов, Милонрав, Милон, Картожил, Гордана, Скопидомова, Состарелова, Самолюбова» и прочие тому подобные; что все это пахнет более театральным, нежели романическим и не только романам неприлично, но без нужды уменьшает правдоподобие и натуральность, сохранение которой всего нужнее для романов.

А хорошо если б написал нам кто такой русский роман, в котором соблюдена была б наистрожайшим образом и натуральность и правдоподобие, и в котором бы все сообразжалось с российскими нравами, обстоятельствами и обыкновениями, но такого романа мы еще по сие время не имеем не единого и остается только желать такового.

Итак в окончании всего сказать можно, что книга сия, хотя и не может причислена быть к числу хороших, но по недостатку наших оригинальных русских романов и когда по пословице говоря «на безлюдье и сидни в честь бывают» уже довольно изрядна и ей можно уже дать где-нибудь местечко в библиотеках наших[8].

ЗЕЛИ ИЛИ ТРУДНОСТЬ БЫТЬ ЩАСТЛИВЫМ. ИНДЕЙСКИЙ РОМАН С ПРИОБЩЕНИЕМ ПОВЕСТИ ЗИМИ. ПЕРЕВЕДЕНО С ФРАНЦУЗСКОГО. У КНИГОПРОДАВЦА Ф. МЕЙЕРА. ПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 1780 В ТИПОГРАФИИ ВЕЙТБРЕХТА И ШНОРА В 8, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 104 СТР. ЦЕНА 50 КОП. БЕЗ ПЕР.

Книжица сия небольшая, но имеющая в себе довольно хорошего и чтения достойного. Читатель найдет в ней не столько простой и обыкновенный роман, сколько философическое нравоучение одетое в платье

одной вымышленной и довольно замысловатой индейской басенки или сказочки, но которую читать может не без любопытства и удовольствия, а особливо к концу оной.

Что касается до повести, то вся она с начала до конца наполнена ясными ненатуральностями, неправдоподобиями и натяжками, а как сверх того как при начале оной так и при конце примещены в нее и явления духов, то все сие и придает ей более вид и существо басни, нежели романа. В ней представлен один молодой воспитанный в пустыне, света совершенно не знающий и одним духом великим богатством одаренный человек, пошедший в мир искать себе счастия. Тут по незнанию людей и как с ними обходиться впадает он в разные хлопоты и несчастия от правительства, от женщин и других людей. Наживает себе верного друга, которой старается его всячески наставлять и отвлекать от заблуждений и пороков, и для выведения его из ложного мнения об одной любовнице, на которой он хотел жениться, похищает у него умышленно все его богатство и чрез самое то подает повод к тому, что его правительство обвиняет в некоторых преступлениях и ссылает в ссылку. Словом он делается совершенно несчастным, но самое сие несчастие по особливому, хотя крайне ненатуральному, стечению обстоятельств обращается ему в пользу и он делается счастливым и находит своего друга в верности которого он сомневался.

Что касается до самого нравоучения, то оное можно почесть не столько основательным и здравым, сколько составляющим единую только игру мыслей и порождение единого разгоряченного воображения одного французского писателя, прилепленного, сколько повидимому заключить можно, к нынешней так называемой философии или лучше сказать неосновательному умствованию и пустому суемудрию, недостойному ни мало носить звание истинной и здравой философии. А посему и неможно искать тут ничего основательного и такого, что могло б читателю обратиться в какую нибудь существительную пользу. Что касается до повести «Зими», которая приобщена к сей басне или индейской сказочке, то она совсем особливая, не имеющая с главной повестью никакого сопряжения, а притом самая маленькая, ничего дальнего в особливости не составляющая и основанная также на едином суемудрии и умствовании нынешнем.

Причина, для чего она тут приобщена неизвестна, а думать надобно, что она либо того ж сочинителя, либо издателю сей книги для того присовокупить ее похотелось, что предмет ее с предметом главной повести одинаков, а именно относящийся до благополучия человеческой жизни, трудность приобретения которого хотелось сочинителю изобразить обеими сими сказочками. Однако с позволения его сказать можно, что материя сия выработана им не весьма удачно и хорошо, но вся книжка сия содержит в себе единственно только пустые умствования.

Что касается до нашего перевода сей книжки, то он довольно хорош, а и напечатана она хорошо, чисто и исправно, но кто ее и когда сочинял, также кто переводил, о том неизвестно.

Итак, по всем вышеописанным обстоятельствам можно книжку сию причислить в класс нравоучительных и таких маленьких романов, которые не совсем недостойны чтения, хотя впрочем в библиотеках удобнее ее становить наряду с нравоучительными баснями и сказочками, нежели с формальными и обыкновенными романами[9].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Настоятель Килеринской»—перевод с французского, 6 частей, у Сопикова и у Смирдина обозначен двумя датами: СПБ., 1765—1781 (Соп. 6617, Смир. 9041).

Из сочинений аббата Прево в России XVIII столетия наибольшей известностью пользовались «Приключения маркиза Г***», оказавшие значительное влияние на русский роман приключений. Об этом упоминает И. И. Дмитриев в своих мемуарах: «Memoires du marquis au aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du mond» (1729), перевод Елагина и Лукина, 6 ч., СПБ., 1756—1764. Второе издание 1780 г. Часть VII и VIII «История Маноны Леско», перевод с франц., М., 1790. В рукописи аналогичный роман маркиза Аржанса был известен с 1772 г.—«Приключения кавалера Д.»

Прево д'Экзиль (Antoine-François Prévost d'Exiles, 1697—1763) родился в семье королевского нотариуса и в лучшем случае мог быть признан дворянином мантии. Оставалась только духовная карьера. Прево оказался к ней мало склонен. Он вынужден был бежать в Англию, так как многие из его поступков не вязались с его саном. Аббату не могли простить романы страстей. «Манон Леско», представлявшая собою часть «Истории кавалера Г.», впервые была напечатана в 1731 г. Книга была приговорена во Франции к сожжению. Романы Прево, в которых отразились социальные противоречия биографии автора, своей тематикой расчищали путь прозе буржуазии.

[2] «Похождения некоторого россиянина» принадлежат к мемуарно-анекдотической прозе. Они могут быть причислены к таким книгам, как «Десятилетние странствования унтер-офицера Ефремова», СПБ., 1786 г., пер. Каржавина, «Несчастные приключения Василия Баранщикова», 1793, «Странные приключения Димитрия Матушкина, российского дворянина, описанные им самим на испанском языке, с которого переведены на немецкий, а с него на российский язык», 1796 г.

Вставными новеллами и сказками «Похождения некоторого Россиянина» тяготеют к прозе Чулкова.

В предисловии автор указывает на то, что пишет он «не витиеватым и пышным, но простым слогом, по причине неупражнения в свободных науках».

[3] Резкий отзыв Болотова о романах Ф. Эмина совпадает по времени с переоценкой романа приключений. В России расцвет этого романа падает на 60-е годы. Так называемый ложноклассический роман, имевший огромный успех в наиболее широких слоях читателей, изгоняется из большой литературы на лубочный рынок, в провинцию, но продолжает существовать подпольно. О популярности Эмина свидетельствуют издания «Непостоянная Фортуна или похождения Мирамонда», 3 ч., выходит в 1763, 1781 и 1792 гг., «Любовный Вертоград», выходит двумя изданиями (1763, 1780 гг.). Резкость Болотова может иметь своим основанием и то, что издатель «Адской Почты» был настроен значительно радикальнее Болотова.

[4] Лоазель де Треогат—Loaisel de Treogate (Joseph-Marie), род. в Бретани в 1752 г., ум. в 1812 г. Служил при Людовике XVI в личной охране короля (см. P. Larousse.—«Grand dictionnair universel»; Lanson.—«Manuel bibliographique de litterature Français modern» и статью D. Mornet.—«Un préromantique; le soires de la Melancolie» de Loaisel de Treogate. «Revue d'histoire Litteraire de la Françe», 1909.

У Сопикова указаны две книги Треогата: «Вальмор» (М., 1781 (Соп. 2377) и «Вальмор и Флорелло», две повести, М., 1802 (Соп. 2378). В 1816 г. Иосиф Тукалевский перевел «Элоиза и Абельяр, жертвы любви, роман исторический и нравственный Лоазеля Треогата» (см. Смирд. 9581). В Париже «Вальмор» был впервые издан в 1776 г. Библиографию произведений Треогата см. в «La France Litteraire dictionner bibliographique», t. V, p. 328.

[5] Отношение Болотова к Руссо совпадает с типичными для 90-х годов XVIII столетия настроениями. В Екатерининское царствование, в период, предшествовавший разгрому масонства и боязни Великой французской революции, Руссо находит широкий круг почитателей при дворе. Графы Орловы, Григорий и Владимир, приглашают Руссо в Россию, граф К. Г. Разумовский предполагает подарить ему свою огромную библиотеку. И не случайно пора преклонения перед Вольтером и Руссо совпадает с отменой звания раба. Одновременно философия Руссо оказывает значительное влияние на развитие буржуазных идей передовой части русского дворянства. Еще Новиков в «Живописце» объявил Руссо «образцом славнейшия в нашем веке человеческия мудрости». Под значительным влиянием Руссо слагалась идеология Радищева. И все же в большей степени, чем идеология Руссо, в России привился стиль сентиментального руссоизма. Руссоизм создал новое обаяние вокруг уже разработанных жанров: пастушеская поэзия, идиллия раскрыли русским

писателям тот индивидуалистический «чувствительный» угол зрения на мир, для которого уже существовала почва в среде русского дворянства. В дальнейшем руссоизм помог легко освоить позже пришедшие произведения молодой буржуазии: «Грандиссон», «Вертер», «Сентиментальное путешествие». На этой же почве возник карамзинизм, крайне аполитичный по сравнению с западным «революционным» сентиментализмом.

Болотов оказался в числе тех, для кого внешняя сторона руссоизма была наиболее заметна и существенна. С этой стороны Болотов принимает и Карамзина: «Он (Карамзин) многих переучил хорошему и приятному слогу и произвел многих себе подражателей» (см. «Современник или записи для потомства» 1795 г., частично опубликованный Губерти в «Библиографе» 1885, №№ 9, 10; 1886, №№ 1, 2).

Первые переводы из Руссо появляются в журналах с 1762 г. В IV части «Собрания лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия» было напечатано «Письмо господина Руссо к Вольтеру» по поводу поэмы последнего о разрушении Лиссабона, с краткой характеристикой Руссо.

В 1767 г. печатается «Рассуждение, удостоенное награждением от Академии Дижонской в 1750 г. на вопрос, предложенный сею Академиею, что восстановление наук и художеств способствовало ли ко исправлению нравов». Переизд. 1787 и 1792 гг.

В 1769 г. в Москве выходит «Новая Элоиза или письма двух любовников», ч. I, в перев. П. Потемкина, в другом переводе две части выходят в СПБ. в 1792 г. и в новом переводе А. Л. Палицына печатаются уже в начале XIX столетия (1803—1804).

До 1779 г. печатается еще шесть книг Руссо (см. В. И. Рязанов «Из разысканий о сочинениях Жуковского», вып. II), в 1779 г. в Москве печатается «Эмиль и Софья» в пер. Страхова и СПБ. в пер. Виноградова в 1800 г.

В 1806 г. Жуковский предполагал издание собрания сочинений Руссо; намерение это однако осталось невыполненным.

[6] Отношение Болотова к Вольтеру характерно для клерикально и крепостнически настроенной и реакционной, несмотря на отдельные буржуазные тенденции, части дворянства. В своих записках венецианец Казанова писал: «Говоря о французских книгах, я разумею сочинения Вольтера, которые для московитов представляли всю французскую литературу» («Р. С.» 1874, т. IX). И действительно, популярность Вольтера не только при дворе Екатерины, в пору кокетничания с энциклопедистами, но и во всех слоях дворянства была чрезвычайно велика. В поощренной Екатериной «Комиссии для печатания на русском языке хороших иностранных книг», открытой в 1768 г. под руководством Г. В. Козицкого, В. П. Орлова и А. П. Шувалова, для начала были намечены сочинения Вольтера; в театре все чаще давались его пьесы (см. Д. Д. Языков «Вольтер в русской литературе»—«Древняя и Новая Россия», 1878, № 3). Ему покровительствовал кн. А. М. Белосельский-Белозерский, Дашкова, кн. Д. А. Голицын. Из литераторов приверженцы Вольтера оказались среди продолжателей сатирической журналистики 1769 г.

Но как и в Европе, популярность Вольтера отчасти была отголоском борьбы внутри самого дворянства. Во второй половине столетия в России были напечатаны книги против Вольтера, близкие по настроению высказываниям Болотова.

В 1787 г. в Москве выходит «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями и опровержение их вредных правил», сочинение Российнина (изд. Новикова). В этом же году печатается «Обнаженный Вольтер», пер. с франц. В 1792 г. в СПБ. появляется «Изобличенный Вольтер», компилятивный перевод Терция Берноволокого, племянника Мусиной-Пушкиной, как выясняется из дарственной надписи экземпляра Ленинградской Г. П. Б. В 1793 г. выходят двухтомные «Вольтеровы заблуждения, обнаруженные аббатом Нонотом», пер. студента богословия Воронежской семинарии. Тенденцию этих сочинений раскрывает в своем предисловии Борноволоков: «Цель моя в издании есть та, чтобы показать юношам, сколь лживо и дерзко писал о религии г. Вольтер».

Под ненавистным «вольтеризмом» (термин Болотова) для Болотова выступали идеи рационалистического материализма вплоть до Гольбаха и Гельвеция, которые нельзя было примирить с религиозным зульцеровым сентиментализмом.

Почти все романы и повести Вольтера во второй половине XVIII столетия были переведены на русский язык. Отдельными изданиями вышли «Задиг», 1765—1766 гг., 2-е изд. 1788 г., 3-е—1795 г. «Кандид», изданный впервые в 1769 г., имел четыре переиздания. «Принцесса Вавилонская» в первом издании вышла в 1770 г., остальные три в 1781, 1788 и 1789 гг.

[7] «Эмиль и София» — пятая книга «Эмиля» Руссо, из которой выброшены первые несколько глав.

[8] Львов, П. Ю. (1770—1825)—автор чувствительных повестей и элегий в прозе. Начал свою литературную деятельность в «Московском Журнале» Карамзина, сотрудничал в «Ипокрене» (1801), «Новостях Русской Литературы» (1802), «Журнале Рос. Словесности» (1805). А. И. Клушин в «Зрителе» прозвал его Антирихардсоном и Миниатюркиным. В своей литературной работе до конца XVIII столетия Львов был типичным представителем сентиментализма, несмотря на то, что разошелся с Карамзиным, и в 1804 г. был избран в члены Российской Академии, присудившей ему в 1806 г. золотую медаль за «Похвальное слово царю Алексею Михайловичу». «Российская Памела» тесно связана с переводами Ричардсона. За два года до появления «Памелы» Львова в 1787 г. была напечатана «Памела» Ричардсона, в 1791—1792 гг.—«Кларисса Гарлоу», в 1793—1794 гг.—«Грандиссон».

[9] В «Материалах по библиографии истории и теории русского романа» В. В. Сиповского, ч. I, XVIII век (стр. 36, № 464) автором «Зели» указан де Фурке.

В «Catalogue général des livres imprimes de la bibliotheque Nationale», p. 189 имеется—«Zély, ou la Difficulte d'être heureux», roman indien [par M-me de Fourqueux]. Suivi de Zima et des Amours, de Victorine et de Philogene [par l'abbé de Voisenon] publies par A. M. Dantu—Amsterdam—Paris, 1775.

В «Catalogue général» указаны еще два произведения Фуркье—«Julie de St.-Olmont, ou les premieres illusions de l'amour» par M-me *** (de Fourqueux), Paris, Dentu 1805 и «Amelie de Tréville ou le solitaire» par M-me ***, auteur de «Julie de Saint-Olmont», Paris, Dentu, 1806.

Болотов относился к «Зели» отрицательно как к вольтерьянскому произведению.

«КАК ХОЧЕШЬ НАЗОВИ»

НЕИЗДАННАЯ КОМЕДИЯ ЧУЛКОВА

Публикация Н. Харджиева

Первое упоминание о комедии Чулкова мы находим в анонимном «Известии о русских писателях» [1], изданном в Лейпциге в 1768 г.: «Herr Michaila Tschulkow, Hofbarbier, hat eine kleine Comödie unter dem Titel ausgehen lassen: Man nenne sie, wie man wolle. Sie soll eine schwache Critik über des Hrn Lukin seine Comödien seyn...»

Краткая заметка о Чулкове полна полемических выпадов. Чулков между прочим неправильно именуется придворным цирюльником [2].

Далее, в заметке о Михайле Попове автор «Известия» обвиняет Чулкова в плагиате. В 1767 г. Чулков издал «Краткий мифологический лексикон». Однако в анонимном «Известии» автором лексикона назван Михайло Попов: «...Но так как придворный цирюльник Чулков напечатал его в отсутствие г. Попова, то думают, что они оба трудились над этим сочинением». Обвинение это основано вероятно на том, что Михайло Попов был постоянным литературным сотрудником Чулкова. Так например, Поповым написаны заключительные куплеты для комедии «Как хочешь назови» [3]. В то же время Чулков назван сочинителем мифологического словаря Михайлы Попова «Описание древнего славенского языческого баснословия», изданного в 1768 г.

О комедии Чулкова автор «Известия» говорит, что она представляет собой слабую пародию (Critik) на комедии Лукина. Указание точное. Несомненно, что автор «Известия» имеет в виду комедию Владимира Лукина «Пустомеля».

В предисловии к «Пустомеле» Лукин писал: «Комедия сия взята из Театра господина Боасси, где она под именем Babillard напечатана, и я, не присвоивая себе чужих трудов, признаваюсь, что она не моя, а переделанная мною на наши нравы и обыкновении».

Фабула комедии Чулкова очень близка к фабуле комедии Лукина. Совпадают и речевые характеристики главных персонажей: болтуна Мамонта («Как хочешь назови») и Неумолкова («Пустомеля»). Приведу пример:

Лукин

Неумолков. Прилив и отлив воды знаешь ли ты, от чего бывает? Это вещь тонкая, и стоит, что бы об ней подумать. Она очень забавна. Только и история не бросовое дело. Кто с нею повозится и так твердо, как я, наизуст выучит, тот может смело говорить со всеми. Я лучшие места по целой странице пересказать могу. Например как Александр Македонский сжог Трою и как Парис, сын Приамов, Париж построил. Как Цесарь Август под Данцигом проиграл Фарсальскую баталию; как Дарий Персидский разорил Карфагену и как Египетская царица Серафина башни до облаков построила, и как...

Чулков

Мамант. Ехал я теперь мимо аднаво дому, каторой еще строят. Дом будет великолепной; однако очень худа архитектура, здесь очень мало харoших архитекторов. Рим эта благодатная страна такими людьми изобильна. Сказывают, что были ани прежде и в Греции. Греция место святое, тут радились все науки, дают ему честь, а однако Египет против их спорят, тут были цари замысловатые, ани думали всегда высоко, и от таво-та строили высокие башни, на ниских берегах, и теперь есть еще их остатки. Нил река преширокая, местами узенка; тут природа паказывает сваио искуство и наводняет землю рекою лутче, нежели здесь дождями; Египет стоит на горе; около ево пологие места, изрядные пашни и сенные пакосы.

Комедия в одном действии «Пустомеля» в первый раз представлена была на придворном российском театре вместе с другой комедией Лукина «Мот любовию исправленной»—19 января 1765 г. В том же году пьесы Лукина вышли отдельным изданием [4]. Это позволяет датировать комедию Чулкова 1765—1767 гг.

Автором «Известия о русских писателях» был вероятнее всего [5] драматург и переводчик Александр Волков [6]. Об Александре Волкове сохранилось чрезвычайно мало сведений, но не подлежит никакому сомнению, что в литературной борьбе Лукина с Сумароковым он принимал участие как сторонник автора «Мота».

Пасквильный характер заметки о Чулкове объясняется тем, что разночинец Чулков был в это время «союзником» Сумарокова. Сумароков сотрудничал в сатирическом журнале Чулкова «И то и сьо» (1769), где в одной из своих статей жестоко раскритиковал комедию Лукина «Тесть и зять».

В «Известии о русских писателях» Сумароков традиционно именуется «великим человеком» и «автором шести лучших русских трагедий», но его комедиям дана отрицательная оценка: «Шесть комедий Сумарокова не так удачны. Несмотря на множество рассеянных в них комических и остроумных шуток, на многие едкие, сатирические черты, они, по общему составу своему, не имеют на сцене достаточной занимательности».

Гораздо резче высказывался Лукин по адресу Сумарокова в пространных теоретико-полемических предисловиях к своим пьесам. Приведу отрывок из предисловия к комедии «Награжденное постоянство» (1765): «Кажется, что в зрителе прямое понятие имеющем к произведению скуки и. сего довольно: естьли он однажды услышит, что Руской подьячей пришед в какой ниесть дом будет спрашивать: Здесь ли имеется квартира Господина Оронта? Здесь, скажут ему: да чегож ты от него хочешь? свадебной написать контракт, скажет в ответ подьячей... В подлинной Российской Комедии, имя Оронтово, старику данное, подьячему вовсе не свойственно. Я... чрезмерно дивлюсь, как может русскому человеку, делающему подлинную комедию, притти к мысли включить в нее нотариуса или подьячего для зделания брачного контракта, вовсе нам неизвестного. Первой у нас только вексели протестует; а другой только по должности своей дела в том приказе исправляет, от куда дают ему жалованье. И какая связь тут будет, естьли действующие лица так наимянуются: Геронт, Подьячей, Фонтицидиус, Иван, Финета, Криспин, и Нотариус».

Здесь Лукин иронизирует над комедией Сумарокова «Тресотиниус» с ее анахронизмами и условными именами.

Жанр «подлинной» русской комедии ведет свое начало от комедий Лукина, которые, за исключением «Мота», представляют собой «вольные переводы» произведений французских авторов (Буасси, Кампистрона, Колле и др.). В особом «Известии» к собранию своих «Сочинений и переводов» Лукин писал: «Я предпринял чрез сие издание сохранить переведенные мною из дел чужих писателей и на наши нравы исправленные комедии...»

Установка на быт мотивирует широкое использование системы разговорной речи. В диалоги комедии «Щепетильник» введены даже диалектизмы (работники щепетильника—родом из Костромской губернии).

«Новые выражения» Лукина вызвали ожесточенные нападки в сатирических журналах 1769—1770 гг. [7]. Наиболее злые статьи, а также пародии, имитирующие стиль предисловий Лукина, напечатаны в «Трутне» Новикова.

Нередко эта полемика против Лукина превращалась в травлю. Авторитет Сумарокова, признанного главы «высокой» дворянской литературы, был чрезвычайно высок, а в Лукине видели единственного «хулителя славных сочинений» (Сумарокова).

Успех комедии Лукина «Мот любовию исправленный» привел автора знаменитых трагедий в ярость.

По словам самого Лукина Сумароков: «...мнимовластный судия в наших словесных науках присуждал меня из города выгнать за то, что я отважился выдать драму пятиактную и тем зделал в молодых людях заразу».

Важно отметить, что в этой комедии Лукина содержатся элементы того жанра, который вскоре начал вытеснять со сцены трагедии Сумарокова—comedie larmoyante:

«Наименовал я мою комедию Мотом любовию исправленным для того, что бы, показав в предъосторожность молодым людям опасности и позор от мотовства случающиеся, иметь способы угодить всем зрителям, по различии их склонностей. Одна и весьма малая часть партера любит характерные, жалостные и благородными мыслями наполненные; а другая и главная, веселые комедии (те, что по-французски pieces d'itrigeus и farces называются). Вкус первых с того времяни утвердился, как они увидели де Тушевы и Шоссеевы лучшие комедии. Для сего надлежало мне стараться ввесть явления жалостные...»

В январе 1770 г. у Сумарокова вышли неприятности с постановкой на Московском Российском Театре его трагедии «Синав и Трувор», а в мае на том же театре имела исключительный успех «слезная комедия» Бомарше «Евгения» [8].

Так окончательно «ввелся новый и пакостный род слезных комедий» [9], жанр буржуазной «мещанской драмы».

Еще в начале 1769 г. Сумароков послал письмо Вольтеру с просьбой высказаться о «comedie larmoyante».

Вольтер был с Сумароковым «вполне согласен» [10], и поэтому в своей дальнейшей полемике против «слезной драмы» Сумароков ссылался на его мнение: «...Подъячий стал судьею Парнаса и утвердителем вкуса Московской публики!... Но не уже ли Москва более поверить подъячему, нежели г. Вольтеру и мне: и не уже ли вкус жителей московских сходняе со вкусом сего подъячево? Подъячему соплетать похвалы вкуса Княжичей и Господичей московских толь маловместно, коль непристойно лакею, хотя и придворному, мои песни, без моей воли, портить, печатать и продавать...» [11].

Подъячий—это Николай Пушников, переводчик комедии Бомарше, а придворный лакей—Михайла Чулков, издатель «Собрания разных песен» (СПБ., 1770).

Виктор Шкловский в своей книге «Чулков и Левшин» пишет: «На песеннике как будто поссорился Сумароков с Чулковым. Однако изменения, внесенные Чулковым в Сумароковский текст, незначительны. Столкновение Чулкова с Сумароковым произошло на другой почве. Сумароков в выборочной работе Чулкова и его правке увидел нечто общее с победой «Евгении» над «Синавом». Придворный лакей (как неправильно называет Сумароков Чулкова) связан для поэта с копиистом (тоже тенденциозное название). Война здесь шла на широком фронте. В одном Сумароков прав. Песенник Чулкова сделался тем мостом, по которому сошла русская литература XVIII века, через мещанина, через лакея, уже не придворного, в широкие массы того времени» [12].

Разночинец Лукин ориентировался на «Всенародный театр».

«Всенародный театр» был открыт в Петербурге в 1765 г. Любопытное описание «Всенародного театра» сделал Лукин в «Письме к Господину Ельчанинову» [13]:

«О сем позорище может быть ты и не слыхал, живучи в стране, о Театре нимало не пекущейся; и я согрешил бы пред тобою, не уведомив тебя о том, что сведения, всякого человека пользу отечественную любящего, достойно. Со второго дни дни святыя пасхи открылся сей театр. Он зделан на пустыре за малою Морскою. Наш ниския степени народ толь великую жадность к нему показал, что, оставя другие свои забавы, из которых иные действием своим не весьма забавны, ежедневно на оное зрелище собирался. Играют тут охотники из разных мест собранные, и между оными два-три есть довольно способностей имеющие, а склонность чрезмерную. Сия народная потеха может произвесть у нас не только зрителей, но со времянем и писцов, которые сперва хотя и неудачны будут, но в следствии исправятся. Словом: я искренне тебя уверяю, что сие для народа упражнение весьма полезно, и потому великие похвалы достойно» [14].

Далее Лукин дает точные сведения о социальном составе зрителей:

«...В тот день играли Скупого, и народу было очень много, почти вся чернь, купцы, подъячие и прочие им подобные. Много и знатных господ и посредственных чиновных людей из любопытства приезжают».

Это был театр «третьего сословия», театр тех подъячих, которых поносил и в своих стихах и в своей прозе Сумароков.

В том же «Письме к Ельчанинову» указан и репертуар «Всенародного театра»: «...Спрашивал я господ комедиантов, какие есть у них комедии? И узнал, что они выучили Скупого, Лекаря поневоле, Генриха и Перниллу, Новоприезжих и Чадолюбие и что более не выучили; а будут еще учить Привидение с барабаном».

Авторы этих пьес — Мольер («Скупой», пер. с фр. Ив. Кропотова, 1757), Гольберг («Генрих и Пернилла», пер. с немец. Андрея Нартова, 1760), Легран («Новоприезжие», пер. с фр. Александра Волкова, 1759) и Детуш («Привидение с барабаном или пророчествующая жена», пер. с фр. Андрея Нартова, 1759) [15].

Одна из перечисленных Лукиным комедий, «Чадолюбие», написана русским автором—Александром Волковым:

«Чадолюбие. Комедия в одном действии, сочинение российское на нравы национальные, была много раз представляема как в Санктпетербурге, так и в Москве. Комедия довольно наполненная как множеством шуток, так и острыми словами» [16].

Возможно, что на «Всенародном театре» были представлены и пьесы самого Лукина [17].

Комедия Чулкова «Как хочешь назови» при жизни автора не была напечатана. Однако она упоминается во всех справочных словарях XVIII века [18].

Сам Чулков в «Известии», приложенном ко второму изданию «Економических записок» (М., 1790), поместил ее в ряду тех своих произведений, которые «сочинены, но не напечатаны»: «24. Две комедии, перьвая Добродетельно нерадивый в 3 действиях, которой сочинено одно токмо действие и утрачено: вторая Как хочешь назови, представлена в Санктпетербурге на придворном театре неоднократно».

Комедия имела успех. В первый раз она была представлена на Московском театре. Об этом мы знаем из «Драматического словаря» (СПБ., 1787), где даны наиболее подробные сведения об единственной комедии Чулкова: «Как хочешь назови. Комедия в одном действии, сочинена на российском языке Михайлом Чулковым. Пиеса сия похвалена может быть тем, что два характера гораздо отменные между собой, как то болтуна и молчаливого изъяснены к удовольствию публики довольно удачно; представлена в первой раз на Московском театре».

Пьеса Чулкова печатается нами впервые по единственному известному нам «актерскому» списку 1783 г. (Московского Российского Публичного Театра) [19], с соблюдением орфографических особенностей текста. Нами сохранены встречающиеся на протяжении всей пьесы колебания между орфографическим и фонетическим принципом правописания отдельных слов и имен действующих лиц (сударь и судырь, говорить и гаварить, Артемон и Артамон, Евфимия и Ефимия, Полуэвкт и Полиэвкт и т. д.) [20].

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Nachricht von einigen russischen Sriftstellern» в VII т. «Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste» (Материалы для изучения русской литературы. Изд П. Е. Ефремова. СПБ., 1867).

2 В 1761—1765 гг. Чулков был актером придворного театра, а с 1765 по 1766 г.— придворным лакеем. (См. книгу В. Шкловского «Чулков и Левшин» Л., 1933, гл. «Материалы к биографии Михайлы Чулкова»).

3 «Досуги или собрание сочинений и переводов Михайла Попова». СПБ., 1772, ч. I, стр. 79—80 (хор и песенки, сочиненные для комедии г. Ч. Как хочешь назови).

4 «Сочинении и переводы Владимера Лукина». СПБ., 1765 (чч. I—II).

5 Некоторые исследователи (См.: П. П. Пекарский. История Академии Наук, т. I, стр. 554; В. Н. Всеволодский-Гернгросс. И. А. Дмитревский. Берлин, 1923, стр. 233) высказывали предположение об авторстве самого Лукина.

6 П. Н. Берков, Кто был автором лейпцигского «Известия о русских писателях» («Известия Академии Наук», 1931, VII серия, № 8).

7 «Сочинения и переводы В. И. Лукина и Б. Е. Ельчанинова». СПБ., 1868 (см. статью А. Пыпина, стр. XVI—XIV).

8 В. Шкловский, Чулков и Левшин (гл. «О некоторой слезной драме»). См. также: М. Н. Лонгинов, Последние годы жизни А. П. Сумарокова («Русский архив» 1871, №№ 10, 11).

9 См. предисловие Сумарокова к трагедии «Дмитрий Самозванец» (1771).

10 С. Глинка, Очерки жизни и избр. соч. А. П. Сумарокова. СПБ., 1841, ч. I, стр. 88.

11 См. предисловие Сумарокова к трагедии «Дмитрий Самозванец» (1771).

12 В. Шкловский, Чулков и Левшин (гл. «Материалы к биографии Михайлы Чулкова).

13 Б. Е. Ельчанинов—драматург, ближайший друг Лукина, автор комедий «Награжденная добродетель» и «Наказанная вертопрашка» (ум. в 1769 г.).

14 «Сочинении и переводы Владимера Лукина». СПБ., 1765, ч. II, стр. 148—149.

15 «Драмматический словарь». СПБ., 1787, стр. 36, 94, 109, 129.

16 «Драмматический словарь». СПБ., 1787, стр. 155. См. также «Известие о русских писателях» (§ 40).

17 «Сочинении и переводы Владимера Лукина». СПБ., 1765, ч. II, стр. 149.

18 См. «Опыт исторического словаря о российских писателях». СПБ., 1772.

19 В 1783 г. на Московском театре в комедии Чулкова играли знаменитые актеры того времени: С. Н. Сандунов (Кирьяк) и Я. Е. Шушерин (Мамонт).

20 Рукопись (на 28 листах) хранится в Центральной Библиотеке Русской драмы в Ленинграде (отдел I, № 6803). Из рукописи вырван лист седьмой.

«КАК ХОЧЕШЬ НАЗОВИ»

КОМЕДИЯ В 1 ДЕЙСТВИИ

Московского Российского Публичного Театра 1783 года.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Артемон, небогатой дворянин — г. Помер[анцев]
Мартина, жена ево — гж. Синяв[ская]
Евфимия, дочь их — гж. У. Синяв[ская]
Полиевкт, любовник Евф. — г. Порыв[аев]
Мамант, из военных — г. Шушер[ин] } женихи сватающиеся на Евфим.
Мина, из статских — г. Дурасов } женихи сватающиеся на Евфим.
Кирьяк, слуга Артем. — г. Сандунов

Действие в доме Артемоновом

ЯВЛЕНИЕ «1-е»

Кирьяк один

Што ни говори, а галава вскружится у таких вздорных хозяев, каторые грызутся между собою, как кошка с собакою. Теперь я узнаю, што действительно один сочинитель сказал правду: человек старой живиот собачей век. Гаспадин Артемон с любезнай своей супругой всякой час перекликаются атборными словами, и уже всем домашним разкричали головы. Я думаю, што скоро соседи наши подадут на них челобитную: да полно хозяюшка наша всякое судебное место разгоняет, язык у нейо поваратлив, а голос такой звонкай што и глухой свабодно услышит.

ЯВЛЕНИЕ «2-е»

Артемон, Мартина и Кирьяк

Артемон

Боже мой! да замолчи пожалуй я тебе гаварю, што ты столько рассудить не можешь, сколько я... Я мущина, следовательно имею разум палутче твоего; знаешь ли ты пасловицу, у бабы волос долог, да ум короток.

Мартина

Я не хачу слушать твоево разума, и знаю что у тебя ево нету, ты глуп.

Артемон

Покорно благодарствую, быть терпеть, ныне уж не старинные времена: и жоны привыкли над мужьями господствовать; я буду не первой, каторой снесу ат жены такую похвалу.

Кирьяк

Ежели их не рознять, то ани и здесь подерутся: им и то не помешает, хотяб теперь множество народа здесь было. Мартине. Вы сударыня очень грубо поступаете противу вашева мужа.

Мартина

Он тово и достоин.

Артемон

Могу ли я хотя один раз во всю твою жизнь привести тебя в рассудок, ты конечно заклялась, штоб никогда не соглашаться на то, што мне угодно. Гаспадин Мамант, человек разумной, и при том велеречивой, это дарование редкие люди имеют, он гаварит всио харошее, а я конечно предпачту разум всякому богатству на свете, дочь наша будет щастлива, кагда ана будет за ним.



НАДГРОБНАЯ МЕДНАЯ ДОСКА С ПОРТРЕТОМ М. Д. ЧУЛКОВА И СТИХАМИ, НАПИСАННЫМИ ИМ САМИМ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Мартина

А я тебе гаварю, што твой Мамант несносной пустомеля, и болтает всегда, как ветреная мельница; он думает, што много знает; однако в самой вещи еще глупяе и тебя, ты глупец непросвещенной; а он дурак ученой, так ты хочешь прибрать и зятя себе под пару. Я тебе гаварю, што я на это никогда не соглашусь.

Кирьяк

Надабно вам дать ей время, што бы апомнилась; а то все ваши слова как [к] стене горох не пристают.

Артемон

Я не знаю, што мне с нею делать, скажи ты мне какое средство в старину употребляли, штоб усмирить таких вздорных баб?

Кирьяк

В старину судырь употребляли это средство, што ныне называют дубинами: тогда эдакие спорщи[цы] смирниошенки были как овечки, да полно ныне почитается это за подлость.

Артемон

Слышишь ли гаспажа жена, чем вас в старину та подчивали? Так я тебе гаварю, што ты замалчи и не принудь меня теперь употребить стариннова средства, от каторова тот час покажется твое смиренство.

Мартина

Ты глуп, да и очень, да и тот дурак, у каторова ты спрашиваешь; я плюю на твою старину, слышишь ли, я тебе сказываю.

Артемон

Пожалуй поберегись, я тот час нынешное обыкновение забуду.

Мартина

Для чево ты не соглашаешься на мое мнение? Гаспадин Мина человек постоянной, скромной и зажиточной; што он просит, то это для нас ещо лутче: он будет в маих повелениях, а я буду управлять ево домом, смиренной зять лутче твоих десяти разумных говорунов.

Артемон

Да какое это увеселение, когда зятя моево называть будут все дураком.

Мартина

Да на что тебе лишней в зяте разум? Жениться вить это не книги сочинять: был бы только человек; а разум дело последнее.

Кирьяк

Это справедливо, сударыня, разум дело нажиточное; равно как и денги, с летами всио придиот. Господин Мина теперь на сороковом году, только несколько глупенек: а как постарее будет, то разуму у него прибудет. Однако сударыня, это дело такое, о котором заочно гаварить не можно, надобно позвать обоих женихов, и рассмотря их действительно зделать определение: сожитель ваш на это согласится, да и вы должны непременно.

Артемон

Я хотя и довольно знаю Маманта, и ево состояние: однако не худо, ежели ани будут оба вместе; мы тогда увидим, каторой будет из них лутче.

Кирьяк

Это справедливо.

Мартина

Очень харашо, я на это согласна; я знаю действительно, что Мамант мизиннова пальца не стоит.

Артемон

Я уж тебе сказал, что Мина твой глуп так как наш скот, и не может сравнятся с таким красноречивым человеком, как Мамант.

Мартина

Ты сам глуп, и для тово за дурака вступаешься.

Артемон

Слушай же жена, я скоро выйду из терпения, и покажу тебе, что я сердит.

Кирьяк

Да вы опять поссорились, на что же прежде времени так горячиться, оставьте сударыня ваш гнев до времени.

Мартина

Изрядно: я буду дожидаться.

Артемон Кирьяку

Сходи жа ты и попроси обоих ко мне.

Кирьяк

Очень харашо сударь.

ЯВЛЕНИЕ «3-е»

Кирьяк один

Вот два безпакойные в свете животные; ни на один час рот не затворится. Я от роду моево не видывал других таких охотников браниться, оба полаумные; друг другу уступить не хотят; по правде гаварят пасловицу, что человек два раза глуп бывает, стар и молод. Однако должен ещо я стараться Маманта и Мину, двух этих глупцов, зделать еще глупяе, щтоб тем господин Полиевкт получил госпожу Ефимию, тут мне будет не без находки. А!.. да вот адин идиот, за кем был послан.

ЯВЛЕНИЕ «4-е»

Мамант, Кирьяк

Мамант

Скажи мне пожалуй, на что у вас такие высокие пороги? Я идючи сюда в передней вашей комнате ушиб ногу аб парог, так больно, что насилу теперь ступать могу. Здравствуй Кирьяк: дома ли госпадин Артемон? Что он делает? Здарова ли гаспажа Мартина? Весела ли молодая гаспажа твоя? Я хачу еио видеть и...

Кирьяк

Пастойте на час сударь, дайте мне собраться с разумом, вы уж мне итак с пять десяток вопросов зделали, дайте мне время атвечать вам; высокие пароги зделаны у нас сударь по старине.

Мамант

По старине? А давнишняя старина глупяе нынешней деревенщины. Дед мой был старинной человек, однако он столько глуп был что у меня нет теперь ни аднаво крестьянина, каторой бы был ево глупяе: праотцы наши были шалуны, а мы люди просвещенные. Госпожа Ефимия я чаю, часто аба мне упоминает? Отец еио гаспадин Артемон не спрашивал ли севодни меня? Все ваши домашние радуются, я думаю, когда я в вашем доме? Я весел всегда, и скука далиоко от меня бегает.

Кирьяк

Это правда. Я....

Мамант

С тех пор, как гаспадин Артемон помолвил за меня гаспажу Ефимию, хотя я и имею притчину несколько задумываться как жених; однако это не похвально, чтоб вдаваться в скуку. Я знал аднаво полковника,

каторой от таво сашол с ума. Люди весиолые обществу полезнее, нежели угрюмые. Я люблю гаварить, однако гаварю

(Здесь пропуск в рукописи. Вырван седьмой лист)

баб находятся в моей власти, не щитая девок и робят. Дочь ейо будет гаспажою. А что я женюсь на дочере беднова и не достаточнова дворянина, то это мне не порок, я знаю, адин греческой генерал женился и на сваей крестьянке. Мы все в природе одинаковы, а разнимся только заслугами и разумом, жалко только таво, что я гаварю не с учоным человеком: а то бы я рассказал, как адин греческой царь принимал на себя образ крестьянина, и даставал очень неудачно аднаио пастушку, история превесиолая, я ещо с ребячества ейо наизусть выучил, мамка моя сио сказывала, и то, как адин монах, идучи чрез поля ночью к сваей любовнице, попался в волчью яму, где с двумя волками, вместо красавицы препроводил всю ночь до утра. Очень похвально иметь хорошое сведение. Разум вещь предорагая.

Кирьяк

Как река льиотся.

Мамант

Посмотри пожалуй ежели я не буду севодни мужем гаспажи Ефимии.

Кирьяк

Я этому верю, и очень радуюсь судырь, и из усердия скажу вам средство, каким образом намерение старой барыни уничтожить. Вы знаете, что гаспадин Артемон разум всему предпочитает на свете, и красноречие его всегда пленяет, он любит тех, каторые умеют гаварить без умолку. Ежели не хатите упустить из рук Ефимию, и ежели так будете с ним гаварить, что не дадите ему слова выговорить, то канечно получите Ефимию.

Мамант

Да это невазможно. Могу ли я принудить себя много гаварить? Я люблю больше молчать, и в жизнь маю никогда лишнева слова не говаривал.

Кирьяк в сторону

Это изрядно: людские пороки всегда у них на лбу написаны, а наши собственные спрятаны у нас в кармане, мы их никогда не видим. Вслух. Как нибудь судырь принудьте себя к тому: любовь вас аправдает.

Мамант

Очень харашо: когда этим могу я получить Ефимию, то хотя из принужденья, однако зделаюсь пустомелею; не знаю только буду ли я спасобен к тому: ныне люди все на свете хамелионы; не только что всякой день переменяют платье, да переделывают нравы. Да магу ли я увидеть гаспадина Артемона?

Кирьяк

Нет судырь, вы должны пожаловать сюда через четверть часа, а теперь ево нет дома. В сторону. А я тем временем повидаюсь с господином Миною. Надабно мне и ему также сказать нешто.

Мамант

Я уж имею теперь право сказать тебе, что ты будешь в этом доме управителем. Я женюсь, а ты ступишь в эту должность. Пращай, помагай мне получить Ефимию.

Кирьяк

Буду помогать, и действительной еио жених конечно еио севодни получит.

ЯВЛЕНИЕ «5-е»

Мина, Кирьяк

Мина

Здравствуй братец.

Кирьяк

Нижайще вам кланяюсь, вы канешно пожаловали сюда к госпаже Мартине?

Мина

Да.

Кирьяк

Может быть намерена ана сделать севодни с вами згавор, и по рукам ударить.



КРЕСТЬЯНСКАЯ ПИРУШКА
Картина маслом неизвестного художника (вторая половина XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград

Мина

Так.

Кирьяк

Ана вам это гаварила? И вы за тем пожаловали?

Мина

Да.

Кирьяк

Так севодни действительно будет у вас згавор.

Мина

Так.

Кирьяк

Да гаспадин Артемон согласен ли на то?

Мина

Не знаю.

Кирьяк

А гаспажа Евфимия?

Мина

Не ведаю. Аднако хочется мне чтоб ана была на это согласна.

Кирьяк

Ана канечно согласна, и с радостию будет вашею супругою.

Мина

А ты это знаешь?

Кирьяк

Канечно сударь, вы знаете, что я всегда бываю с нею вместе, и слышу как ана вас выхваляет.

Мина

Да для чегож ана, как я к ней приду, то всегда ат меня уходит.

Кирьяк

Девушки сударь все стыдливы, любовь этому притчиною, ани всегда от мущин бегают.

Мина

А с Полуэвктом она всегда сидит вместе.

Кирьяк

Полиэвкта ана не любит, так и стыдиться ей не для чево. **В сторону.** Это ат таво, что ты урод, а тот красавец.

Мина

А что? И в подлинну я вить не дурен?

Кирьяк

То то я и гаварю сударь, вы имеете дар привлекать к себе людей.

Мина

Меня таки многие любят.

Кирьяк

Я в первой раз, как только вас увидел, то почувствовал к вам великое усердие, я хачу вам служить и открывать тайну, каторая очень надобна; вы знаете, что гаспадин Артемон обещал Евфимию выдать за Маманта: дело это всио еще тянулось, а теперь ано приходит к концу. Он хочет зделать севодни згавор и ударить по рукам.

Мина

Вот какая притчина: смотри пожалуй, так это мне вить очень обидно, на что жа я полюбил Ефимию?

Кирьяк

Однако вы не отчаявайтесь, гаспажа Мартина такуюж имеет власть, дело теперь надабно зделать поскоряе. Вы знаете что ана молчаливых любит? Так это стоит вам севоднишней день помолчать и не отвечать на еио вопросы ни аднова слова, вы этим еио пленить можете и получить Евфимию.

Мина

Ну ежели да я проговарюсь, вить я охотник гаварить-та, а особливо когда развеселюсь.

Кирьяк

Надобно себя принудить, а то всио дело испортите. Я служу вам, и надеюсь получить вашу милость.

Мина

Я братец человек тароватай, помогай только ты мне: я тебе дам сорок пять копеек. Ну теперь я да вечера всио буду молчать.

Кирьяк

Да и к вечеру не говорите ни слова, падитеж вы теперь дамой, и через четверть часа приходите сюда. Будет на нашей улице праздник.

Мина

Мне очень хочется жениться на Евфимии.

Кирьяк

Конешно ана ваша будет, падите теперь дамой.

Мина

Прощай.

Кирьяк

Если ты столько умион в приказе, сколько в любовных делах, то бы давно я тебя павесил на осине.

ЯВЛЕНИЕ «6-е»

Евфимия, Полиэвкт, Кирьяк

Полиэвкт

Я не нахажу ни однова способа избавиться нам от этой беды, и ты конечно должна севодни оставить меня. Хотя пожалей, что я мучительное время препровождать должен.

Евфимия

Не легче будет и моему сердцу. Ты один составлял всио ещо благополучие, а лишившися тебя: мне жизнь моя будет не надабна.

Полиэвкт

Нещастие мое умножилось еще больше, когда я вспомню, что я табой любим и с превеликим мучением теряю то сердце, каторова любовь меня была дастойна.

Евфимия

Аставь тваи уверении, а лутче падумай, нет ли какова способа избавиться нам от этова нещастия.

Полиэвкт

Надежда моя аташла, и я не вижу ни с каторой стороны себе помощи, чему притчиною мои недостатки. А! ежели не отец мой, то бы гаспадин Артемон конечно согласился отдать тебя за меня.

Кирьяк

Не отчаявайтесь совсем сударь, будущее щастие всегда от нас закрыто, может быть вы севодни торжествовать будете так, как искусной полководец над грубыми неприятелями. Я наши дела поставил на харошую дарогу: Маманта угаварил я к тому, чтоб он больше гаварил пред Артемоном. Он, вы знаете, и так как ветреная мельница мелет: и знаю действительно, что он взбесит этим Артемона; другова дурака склонил к тому, чтоб не говарил ни слова: комедия эта скоро начниотся; и старики наши взбесятся, и я вас уверяю, сударыня, что ежели вы севодни не будете за гаспадином Полуэвктом, то нынешней день не выходить вам еще замуж.

Евфимия

Эта слабая надежда такое приносит мне увеселение; ты знаешь батюшка мой ни как не согласится выдать меня за Полиэвкта.

Кирьяк

Напрасно сударыня, вы знаете, что это дело ва многих руках: сверх же тово седые старики на этом свете не надобны, а особливо такие скучные, каков отец гаспадина Полиэвкта; он может завтра, или севодни скончается, вить он знает, что сыну его надобно жениться.

Полиэвкт

Признаюсь хотя это меня и смущает, что я теряю сожаление и почтение к моему отцу, только извиняет меня то, что он имев довольной достаток, а содержит меня хуже последнева человека. О! скупость

радителей ты в состоянии поколебать всякую добродетель а осабливо в молодом человеке.

Кирьяк

Я вас сударыня, аставляю теперь, мне должно потереться около наших стариков; и услышать их предприятия, каторые ежели можно, так я уничтожить постараюсь.

ЯВЛЕНИЕ «7-е»

Евфимия, Полиэвкт

Евфимия

Этот день столько приключил мне мучения, что я насилу сносить ево могу.

Полиэвкт

Время уже наступает, и я должен лишиться тебя навеки.

Евфимия

Сноси как вазможно, когда нещастие наше не хочет того, чтоб мы жизнь нашу преправодили вместе.

Полиэвкт

И так ты действительно вознамерилась уже меня аставить?

Евфимия

Чтож мне иное делать? Ты видишь, что необходимость принуждает меня к тому.

Полиэвкт

Вижу да с такою ли халодностию должна ты меня аставить. Любовь моя не может таво снести, чтоб я видел тебя в чужих руках, жалей и тронись моим мучением, ты можешь отвратить мое нещастие.

Евфимия

Да есть ли к тому способ, и можноль мне это сделать?

Полиэвкт

Согласись со мною атсюда уехать.

Евфимия

Предприятие твое без разума, и я не могу ему последовать.

Полиэвкт становится на колени

Ты этим можешь доказать, что ты меня любишь столько, что на всио для меня согласишься, и я по этому узнаю, что любовь твоя ко мне сильняе всего на свете.

ЯВЛЕНИЕ «8-е»

Артамон, Мартина, Евфимия, Полиэвкт

Артамон

Вот изрядно! то то изрядная картина! это обыкновение нынешнева света; однако я не хачу, чтоб ана водилась в моем доме, вы, господин Полуэвкт! конечно имели какую нибудь нужду до моей дочери, так могли бы вы и на ногах с нею переговарить; ана вить не старинная богиня, а нынешнева века смертная, да еще и дочь не весьма богатова дворянина, это правда что вы имели надежду на ней жениться, а теперь я вас абнадеживаю я сказываю, что ей никогда за вами не бывать. Вон из моего дому.

Полиэвкт

Должен нещастию своему повиноваться. Отходит.

Артамон

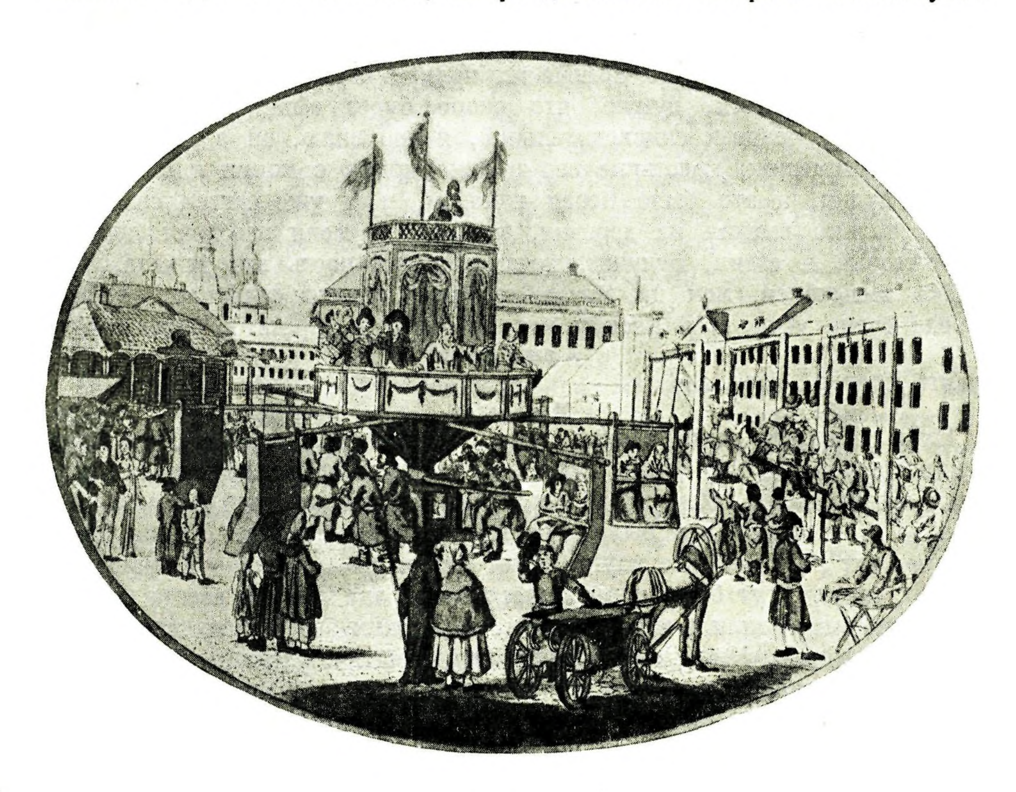
Видишь, как дочку та ты научила, веселись на сио глядя, ана уж и тебя в амурах-та перещеголяла; хотя ты с молоду была великая на это искусница.

Мартина

Да: думаю ты мне в том уступишь, ана человек молодой, ей еще простительно; вот нам с табой, так уж не под леты. Однако и ты частенько глаза та сваи распускаешь.

Артамон

Дабро, пади в свою горницу; да пожалуй старайся выкидывать моду эту из головы. Ефимия уходит. Надобно ее поскоряе збыть с рук, такие взрослые девушки, какова ана, делают иногда отцам великие хлопоты. Однако оставим это, теперь должны мы выбрать благополучие



ГУЛЯНЬЕ

Зарисовка Х. Гейсслера времени его пребывания в России (1790—1798 гг.)

Раскрашенная гравюра из альбома „Mahlerische Darstellungen der Sitten, Gebräuche und Lustbarkeiten bei den Russischen, Tatarischen, Mongolischen und anderen Völkern im Russischen Reich von C. G. G. Geissler"

нашей дочери, и надабно, чтоб ты соглашалась на всио что будет для неио доброе.

Мартина

Я уж согласилась, и намерения своего не переменю.

Артемон

Очень харашо; и я на это соглашусь, ежели Мина покажется разумнея Маманта, а то я дураков не люблю, и лутче дочь мою аставлю век девкою, а за глупова не отдам.

Мартина

Да на чтож ты не атдаиошь еио не за Маманта? Он глупяе Мины.

Артемон

Ты не умеешь рассуждать о ево разуме, он человек изо всего гараздо знающей, в компаниях ево везде с радостию принимают, и такова ве-

селова человека еще свет не производил. А! да вот он идиот, слушай как он будет гаварить, узнаешь тот час што он великой человек да еще и военной.

ЯВЛЕНИЕ «9-е»

Артамон, Мартина, Мамант

Мамант обнимает и цалует Артамона

Я думаю что я не замедлил к вам приехать. Попался мне на дароге отставной офицер, с каторым мы еще солдатами в адном палку служили. Он дворянин аднако человек бедной, по одному в судебном приказе делу лишился он своих деревень; и жена ево умерла «18» году, после ее остался сын, теперь в армейских полках сержантом, мальчик проворной, услужливой, думаю, что скоро будет офицером, палковник в том палку человек снисходительной, я ево знаю, он в адном месте са мною помещик, крестьяне ево в адно время с моими поссорились. Я их судил, а это было перед паходом, и я уже совсем собрался, лишь только выехал из деревни, то пала у меня заводная лошадь, на каторай я ездил, будучи адютантом: должность эта тяжела, и я редко высыпался, мок на дожде, трудно служить салдатом... вароты у вас очень уски, и я насилу мог проехать в карете.

Артамон

Это правда. Что....

Мамант

Ехал я теперь мимо аднаво дому, каторой еще строят. Дом будет великолепной; однако очень худа архитектура, здесь очень мало хароших архитекторов. Рим эта благодатная страна такимии людьми изобильна. Сказывают что были ани прежде и в Греции. Греция место святое, тут радились все науки, дают ему честь, а аднако Египет против их спорят, тут были цари замысловатые, ани думали всегда высоко, и от таво та строили высокие башни, на ниских берегах, и теперь есть еще их остатки. Нил река преширокая, местами узенка; тут природа паказывает сваио искуство, и наводняет землю рекою, лутче нежели здесь дождями; Египет стоит на горе, около ево пологие места, изрядные пашни и сенные пакосы.

Артамон

Слышишь ли ты, ему весь свет известен.

Мамант

Знаете вы, что зделалось ныне в Пекине? Пишет аттуда один приятель что очень недавно китайскому хану в адну ночь виделся во сне домовой, от чево он теперь болен в горячке, и еще их святой кутухта упал с превеликой лестницы и переломил себе ногу. Китай сторона жаркая, там живут всио тунеядцы, храбрых людей там очень мало, ани ни с кем не ваюют, все глупы, щитают от начала света милионов со сто или больше.

Артамон

Я хочу тебе....

Мамант

Это правда, что там остраномия в вольной силе, эта наука у них обитает, им все планеты знакомы, звание и движение небесных тел маленкой мальчик там знает наизусть. Вы сударыня, гаспажа Мартина, знаете ли от чего луна светит ночью?

Мартина

Нет судырь! Не знаю да мне и нужды нет.

Мамант

Когда солнце светит в ночи под ножие, тогда месяц выдавшись из земной тени, принимает лучи от солнца и к нам обратно их отсылает. Астрономия наука преизрядная, ана очень весела, ежели кто прямо еио знает. Я учился с малолетства географии, города, села, деревни, поместья, местечка, уезды, теперь мне все знакомы; Москва стоит под градусом.... кашлеет.

Артамон

Довольно уж он наговорил.

Мамант

Город этот у нас очень изобилен, и можно почесть, что в ниом обитает всякое довольство. Жалко таво, что не регулярно пастроен; праотцы наши об этом не думали; славяна происходят от Афета. Очень далиоко паколенье наше ведиотся; мы можем спорить в этом со всеми прежде бывшими монархами, я знаю радасловную наших государей, у меня есть разные летописцы харошие и худые. В старину совсем было не такое обхождение. Это правда что по временам всио переменяется. Я был молод, а теперь уж в летах.

Артамон

Пожалуй, я хачу....

Мамант

Вы столько сведения не имеете, сколько я; хатите ли вы, я вам расскажу всех греческих и римских полководцев; я читал переведенного Корнилия. Переводчиков у нас много, однако мало хороших, а сочинителей еще меньше, и есть между ими такие врали, каторые в сочинениях кажутся сумашедшими. Книг у нас давольно, и мы недостатку не имеем да к стате, чтож? надобно теперь делать згавор? А гдеж госпожа Евфимия?

Артамон

Она в своей горнице. В сторону. Нет, хоть я и обещал выдать за тебя мою дочь однако ты кажешься мне слишком красноречив, не дашь слова выговарить. Я баюсь [чтоб] ты не замучил меня своими рассказами; нет жена, выбор мой я не хвалю, пасмотрим на твой.

Мамант

Я с охотою женюсь на твоей дочери, я еио люблю, думаю и она меня не ненавидит, мы не будем [иметь] притчины жить с нею не согласно, однако не знаю, не будет ли только это ей скучно, что я не ахотник гаварить, а женщины имеют к красноречию пристрастия.

Артамон

Нет этакой соловей хоть кому так наскучит.

ЯВЛЕНИЕ «10-е»

Артамон, Мартина, Мамант, Мина в дали театра три раза кланяется.

Мартина

Подойдите к нам гаспадин Мина.

Артамон

Пажалуйте сюды.

Мартина

Мы вас довольно уж ждали.

Мина кланяется

Мамант

А! это тот та целомудренной старичок, каторой хотел перебить у меня дарогу? Нет гаспадин седой купидон, когда ты хочешь жениться на Евфимии, то надабно прибавить тебе во рту зубов, что тебе вздумалось

сединою та тряхнуть, или ты хочешь, чтоб исполнилась над тобой пасловица: седина в бороду, а бес в ребро. Ты был бы не последней дурак, в нынешние веки многие уже этому искувству научились.

Мартина

Изгатовились ли вы к тому, чтоб нам севодня по рукам ударить?

Мина кланяется

Мартина

Дочь мою вы видели, и довольно с нею гаварили, ана вам давольно известна.

Мина кланяется

Мартина

Изволите ли вы на ней жениться?

Мина кланяется

Мартина

Роспись еио пожиткам я вам отдала, давольны ли вы этим приданым?

Мина кланяется

Мартина

Как скоро вы намерены играть свадьбу?

Мина кланяется

Мартина

Всио ли у вас изгатовлено?

Мина кланяется

Мамант

Конечно сударыня, у вашева зятя язык прилип, он как танцовальной мастер разговаривал с вами адним телодвижением.

Мартина

Для меня сударь, молчаливой человек лутче нежели несносной пустомеля.

Мина в сторону

Вот Кирьяк гаварил правду, стануж я молчать.

Артамон

Чтож сударь, согласны ли вы жениться на моей дочере?

Мина кланяется

Артамон

Дайте мне слово, и станем думать о свадьбе.

Мина кланяется

Артамон

Или вы не намерены взять еио за себя?

Мина кланяется

Артамон

Жена! чтож он и в подлинну не говарит, не абъелся ли чево нибудь?

Мартина

Чтож судырь, давайте ваше слово, или вы и в подлинну не хатите жениться?

Мамант

Нет, сударыня, надабно ево провести раза три по комнате, он видно нашол не на место. Этот филозов безмолвенной секты: вам не добиться от нево ни аднаво слова, он, как видно заклялся, чтоб до смерти не гаварить, в моей деревни, сударыня, адин крестьянин прищемил язык и не гаварил до конца своей жизни; может быть и с ним то же сделалось. Прорцы нам великой муж, есть ли у тебя язык?

Мина кланяется

Артамон

Ну жена! вот какие по нашему выбору два сокола, один как мельница, другой как пень.



КАТАНИЕ С ГОР В ПЕТЕРБУРГЕ
Картина маслом Дж. Аткинсона
Русский Музей, Ленинград

Мартина

Конечно ани оба на этот случай взбесились. Нет дочка нещастлива ты невеста, не так как я, я имела в запас женихов десяток, а у тебя только два, да и те оба уроды.

Мамант

Мне очень хочется видеть маю невесту, конечно ана не здарова, что еио здесь нет, ныне время очень худое, и воздух гораздо не здаровой. Я вчера простудил грудь, и теперь у меня кашель превеликой. **Кашлеет.** Пагода эта гараздо для женщин не здорова, и я бы не советовал сидеть им всио в горницах, а скоро ли вы начниоте делать згавор? Я уж савсем гатов, свадьба эта не замедлится, я велел всио пригатовить, сыскал поваров и дом нанял.

Артамон

Ну госпажа хозяюшка, видишь теперь ясно, что выборы наши неудачны, дочь наша сама, может быть, лутче нас выбрала, отдадим ка еио за Полуэвкта, он меня давно уже просил, да и тебе, я думаю, гаваривал же об этом, он вить имеет хорошей достаток: это правда, что отец ему теперь не даиот воли, да это и похвально, а как батюшка ево скончается, так вить он адин после ево наследник.

Мартина

Очень харашо, я согласна, я прежде не знала, что Мина такой урод на свете, дочь наша конечно будет нещастлива, ежели мы отдадим еио за каторова ни будь из этих шалунов.

Артамон

Не знаю не рассердил ли я только ево давешним своим отказом, что выслал ево от себя из дому.

Мамант

Как! Вы переменяете сваио слово, да полно я стою в своем крепко, такому человеку, каков я, так и должно. Я покажу что в родни нашей постоянство не переводилось, криводушие дурной на свете промысел. Многие уже к нему привыкли, купцы ежели бажиться и кривить душою не станут, то все скоро пайдут по миру, ани принуждены абманывать, а мы делать правду. Однако я еще вам не верю, я пайду и уведомлюсь от моей невесты.

ЯВЛЕНИЕ «11-е»

Артамон, Мартина, Кирьяк

Кирьяк Артамону

Я государь, как усердной ваш слуга ожидал севоднишней день радость, смею ли поздравить по вашему выбору господина Маманта женихом гаспаже Евфимии? К Мартине. Или по выбору вашему гаспадина Мину.

Мартина

Поздравляй каторова ты хочешь, что не видать им дочери нашей, как ушей своих.

Кирьяк в сторону

Виват натура в нынешние времена очень харашо действует, и тот час отделит дурака от разумнова.

Мина

Так уж вы сударыня, за другова дочь сваю отдаиоте?

Мартина

Ба и ты промолвил?

Артамон

Видно, что блажной ат час с нево теперь свалил.

Мина в сторону Кирьяку

Так ты братец меня обманул?

Кирьяк

Ни как, сударь, на что вы проговорились, вы этим всио дело испортите. Я теперь прав; вить у нас угавор был, чтоб вам до утра не гаварить ни слова, а когдаж вы не удержались, так вы сами виноваты.

Мина

Вижу я братец, что ты обманщик.

Артамон

Дабро: полно, и так уже наскучила эта музыка, слуга пакорный, впериод я еио слушать не намерен да и другим [не советую]. Кирьяк, пади пазови сюда Полуэвкта!

ЯВЛЕНИЕ «12-е»

Артамон, Мартина, Полуэвкт, Мина, Кирьяк

Кирьяк

А? да вот он и сам сударь! вы ему не столько досадили, чтоб он позабыл где живиот его любовница. В сторону. Мы хоть здесь не были, аднако дело всио знаем.

Артамон

Пожалуй сюда господин Полуэвкт. Я очень сожалею что давича с вами не ласково поступил, праститет мне маю пагрешность.

Полуэвкт

Вы напрасно перед мною извиняетесь, я всио то принимаю ахотно, что вам ни угодно.

Кирьяк

Это правда а предложение о свадьбе мы бы еще ахотнее приняли.

Артамон

Вы прасили меня, чтоб я отдал за вас дочь сваю? Прежде я вам обещал, патом атказал, имея к тому притчины, а теперь я об этом жалею, и хачу еио выдать за тебя, на что также и жена моя согласна; только не знаю согласитесь ли вы?

Полуэвкт

Я не только согласиться на это, и надеяться савсем не смею.

Мартина

Я знаю давольно, что ты еио любишь, да и ана тебя так жа. Дело зделано: и ана уж твая невеста, поздравляю тебя с женой.

Полуэвкт

Я столько радуюсь моему благополучию, что не нахожу давольно слов изъяснить маю благодарность. В восхищении. Прещастливой этот для меня день, он аканчит все мои беспокойства.

Артамон

А для лутчаго, женясь на моей дочере будете вы жить у меня в доме.

Кирьяк

Для нас это не худо: чем ближе к старикам тем ближе к подаркам.

ЯВЛЕНИЕ «13-е»

Мамант и прежние

Мамант

Получив от невесты отказ, надабно, чтоб я досадовал, однако герою малодушествовать не прилично. В древние времена салдаты очень храбры были. Я буду им следовать, и не допущу в сердце маио ни какой городской слабости.

Мина

Вот таково то жить на свете, господин Мамант, говарить много худо, молчать не харашо, так бог знает, что делать.

Мамант

Ты братец животное смешное и безмолвное, тебе не надабно показываться людям, а то стихотворцы зделают на тебя сатиру.

Кирьяк

Да ево и в самом деле можно почесть сатиром. А на сатира сатир не делают.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Артамон, Мартина, Евфимия, Полуэвкт, Мамант, Мина, Кирьяк

Артамон

Поди сюда выбирай себе любова жениха; вот здесь трое: однако думаю, что уж ты и прежде ево выбрала, дай ему руку а вы ей сваю, ты этова щастия не ожидала. Слава богу, как самое тяжелое бремя с плечь моих свалило. Все атцы взрослых дочерей мне кажется то же скажут.

Полуэвкт

Когда великие препятствия не истребили тваей ко мне любви, то в заплату за то буду я верен тебе до самой моей смерти.

Евфимия

А я должна быть благодарною тебе и любить тебя столько, сколько ты меня любишь.

Мартина

Это адно зделает вас на веки благаполучными, согласие между мужем и женою неоцененное сокровище.

Кирьяк в сторону

Для таво та, что редко бывает.

Артамон

Пайдиомте в свой пакой; а вы гаспада женихи ищите невесты в другом месте.

Мамант

Ну теперь я действительно узнаю, что я опять астался холост, женитьба самое дурное дело, ежели кто этова захочет, тот должен разум потерять; жена, дети, родня, дом, множество слуг претягостное бремя, жизнь наша и без таво коротка, а мы стараемся еще всио еио укоротать этими хлопотами. Где лутче на свете вольности? Вольности я ни за что не променяю. Великие люди все женаты не бывали, и все жениться не хатели; например, Александр, Аннибал, Сципион, Кулыхан... радуюсь, что я остался вольным, лишь только тем и даволен, что будучи здесь потерял я целой вечер, и всио это время пачти промолчал, не удалось мне сказать и десяти слов.

Мина

И я так жа.

Конец комедии.

Приложение

Михайла Попов

Хор и песенки, сочиненные для комедии г. Ч. Как хочешь назови.

Хор
Потребны деньги с красотою,
Побольше счастье для утех,
Потребней вольность для покою;
Но разум нам нужней их всех.

Болтун
Иным язык доставил славу,
Точа слова обильством рек;
А я, шед их же в след уставу,
Ругательство себе навлек.

Хор тот же
Старик с женою
Гласит в Руси в уставе старом,
Что глуп тот кто в делах спешит;
И есть пословица не даром:
Не все то злато, что блестит.

Хор тот же
Невежда
Я право мнил, что лицемерить
Дурное только ремесло;
Ан ныне зрю, что всем коль верить,
То также бресть к ослам в число.

Хор тот же
Любовник
Упрямство нам бедой грозило,
Безумство воружа на нас;
Но счастье нас рукой покрыло:
И разум нас от бедства спас.

Хор тот же
Слуга
Хоть в сеть я двух глупцов управил,
И тем пред правдой согрешил;
Но тем же двух от слез избавил:
И им напред умом служил.

Хор тот же

РАННЯЯ КОМЕДИЯ Д. И. ФОНВИЗИНА

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ «НЕДОРОСЛЯ»

Публикация Г. Коровина

В рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук СССР хранится любопытная рукопись (из собрания П. Я. Дашкова), представляющая собою два варианта ранней комедии Д. И. Фонвизина, названной так же, как его позднейшее знаменитое произведение «Недоросль» и представляющей как бы первоначальную редакцию ее.

Первый из этих вариантов дает текст трех первых действий комедии и переписан в значительной части рукой самого Фонвизина (другая часть—рукой писца). Второй список, менее полный (отсутствует начало пьесы и несколько явлений 2-го и 3-го действий), является копией первого, сделанной писцом, с рядом незначительных авторских дополнений и исправлений.

Текст первого раннего Фонвизинского «Недоросля» значительно отличается от текста общеизвестной, сценической, редакции поздней одноименной комедии. Поэтому именно мы имеем все основания говорить в данном случае не о двух редакциях, а о двух пьесах на сходную тему, принадлежащих перу того же автора.

Оба «Недоросля» отличаются не только наименованием действующих лиц и даже числом и характеристикой отдельных персонажей, но и самым замыслом пьесы и всем ее построением.

«Недоросль» в настоящей редакции не есть еще комедия характеров, какой в значительной мере она является в редакции позднейшей, но представляет собою лишь ряд нравоописательных сцен, драматически мало друг с другом связанных и не объединенных одной интригой, роль которой в позднем тексте пьесы играет борьба трех претендентов—Скотинина, Митрофана и Милона—за обладание рукой Софьи.

В этом отношении ранний «Недоросль» по своему построению ближе к «Бригадиру», для которого также характерно отсутствие единого драматического действия и распадение пьесы на ряд сцен, представляющих собою самодовлеющий интерес. Правда, в «Бригадире» уже явственно намечается принцип комической характеристики отдельных персонажей, например французский язык Иванушки и Советницы, скупость Бригадирши и т. д., развитый впоследствии в окончательной редакции «Недоросля» (любовь Скотинина к свиньям, характеристики учителей Митрофана) и незаметный в данном отрывке первоначальной редакции комедии [1].

Публикуемый ниже текст всецело еще примыкает к сумароковской традиции построения комедии, для которой характерна слабая связанность отдельных сцен и постоянное перебивание действия вставными эпизодами, комическими интермедиями и т. п.

Русская комедия характеров, зависящая от западной буржуазной драмы, первым образцом которой явился «Мот, любовью исправленный» Лукина (1765) и в развитии которой важным этапом был «Недоросль» в его поздней редакции, при создании настоящего текста пьесы не сыграла сколько-нибудь значительной роли. Это явствует и из общего задания пьесы, нравоописательной по преимуществу, и из трактовки отдельных персонажей.

Только одна тема, тема воспитания недоросля, в частности обучения его грамоте, целиком перешла из раннего «Недоросля» в поздний текст. Основные же темы и характеры—Простаковой, Стародума, Скотинина—в раннем тексте или вообще отсутствуют, или даны в совершенно иной трактовке.

Прежде всего отсутствует та отчетливая социально-политическая тенденция, которая позволяет рассматривать позднего «Недоросля» как один из заметных документов борьбы либерального дворянства, крупных помещиков и аристократов, с за-

сильем дворянских «низов», с диким крепостничеством и произволом как провинциала Скотинина в деревне, так и деспота на престоле. Всей широко принципиальной тематики, характерной для позднего «Недоросля», почти вовсе нет в раннем тексте. Нет в нем и тех элементов буржуазной идеологии и буржуазной эстетики, которые использованы в позднем «Недоросле» в характерном преломлении дворянско-помещичьего либерализма. Ранний текст по преимуществу поучителен внутри своей собственной социальной группы, но не направлен как удар по врагам вне ее. Ее автор—это молодой Фонвизин, дворянский сатирик и бытоописатель, но еще не Фонвизин—правая рука Никиты Панина, политический деятель, мыслитель, оппозиционер.

Что же касается построения раннего «Недоросля», то в нем отсутствует основная интрига, связывающая собою все моменты действия позднего текста,—борьба за Софью, и в списке действующих лиц самой Софьи нет.

В соответствии с этим и Милон (в этой редакции—Миловид) является не претендентом на руку Софьи, но сыном Стародума (Добромыслова)—мальчиком на три года моложе недоросля Иванушки. Его роль сводится к противопоставлению его как образованного молодого человека своевольному, неграмотному недорослю, противопоставлению скорее морально-поучительному, чем социальному.

Сам недоросль Иванушка является единственным персонажем пьесы, сохранившим свои характерные особенности в обеих редакциях: грубость, необразованность, непочтительное отношение к родителям и т. д. Но тема воспитания Иванушки, вернее самая ее постановка и трактовка, в различных редакциях комедии различна. Если в первоначальной редакции невоспитанность, необразованность недоросля Иванушки является основным сюжетом комедии и выводится скорее из культурного уклада быта его родителей, их отсталости и т. д., то в окончательной, сценической, редакции она дается как следствие, как «плоды злонравия», т. е., в сущности, плоды социального характера Простаковой, развернутого и в индивидуальной характеристике ее.

В этой связи чрезвычайно симптоматично отсутствие в первой редакции ряда персонажей, с одной стороны, играющих активную роль в основной интриге, здесь опущенной (Скотинин, Правдин), а с другой—создающих галлерею комических типов-характеров (Скотинин, учителя Митрофана), рисующих целый слой дворянства и его быт, что видимо также не входило в первоначальный замысел автора.

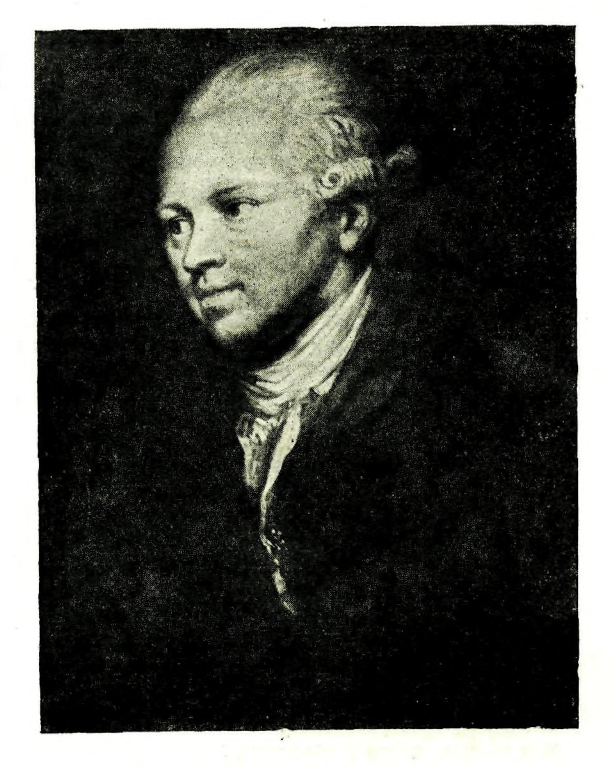
Но и другим персонажам, участвующим в обеих редакциях, в первой из них даны иные характеристики. Это в особенности относится к характеристике Улиты, матери недоросля, которая хотя и имеет уже некоторые особенности, перешедшие впоследствии к Простаковой, например любовь к сыну, проявляющаяся в беспрестанном его кормлении в ущерб занятиям, но эти особенности, приобретающие в характере Простаковой определенную сатирическую остроту, здесь еще не вполне выявлены.

Характерно также, что в раннем «Недоросле» нет, как в позднем тексте, резкого разделения персонажей на безусловно положительных (Стародум, Софья, Милон, Правдин) и безусловно отрицательных (Простаковы, Скотинин). И это объясняется конечно не незаконченностью комедии, но самым принципом ее построения и, в конечном итоге, лежащим в ее основе авторским замыслом.

Основная драматическая коллизия в этой редакции заключается в столкновении двух бытовых укладов, а стало быть и двух мировоззрений—отсталого, патриархального поместного дворянства, представленного родителями недоросля, и более культурного петербургского дворянства, воспринявшего уже некоторые плоды европейской цивилизации, представленного Добромысловым; как следствия этого столкновения сопоставляются и две системы воспитания.

Поэтому сатирический показ, например отношений матери недоросля к крепостной прислуге, весьма существенный для характеристики Простаковой, в данном случае просто не входил в задачи автора, не заинтересованного еще в демонстрации галлереи отрицательных типов-характеров, сатирически утрированных, а преследующего цель лишь максимально реалистического изображения культурной отсталости провинциального дворянства.

В этом отношении особенно характерен для ранней комедии прототип Стародума, Добромыслов, имеющий еще мало общего со Стародумом, «другом честных людей», и, главное, с образцом идеального русского дворянина, как он представлялся позднему Фонвизину. Здесь он отнюдь не моралист, каковым он является в позднейшей редакции, он не заимствует никаких идей у западных «просветителей»; он—только представитель и проповедник более передовой культуры и в частности более рациональной системы воспитания. Вместе с тем ему не чужды вполне земные и может быть даже не вполне моральные с точки зрения Стародума сословные стремления;



Д. И. ФОНВИЗИН

Портрет маслом К. Фогеля, писанный с натуры в Риме во время путешествия Фонвизина по Европе в 1785 г.

Публичная Библиотека, Ленинград

см. например его отношение к заочной службе и карьере его сына и т. д. Впрочем комедия в настоящей ее редакции обрывается как раз на моменте приезда Добромыслова к родителям недоросля, и поэтому может быть образ его обрисован недостаточно ярко.

Примечательно еще то обстоятельство, что в данной редакции пьесы мы не находим следов лексической характеристики персонажей, заметной еще в «Бригадире» (ср. французский язык Иванушки и Советницы, судейские обороты в репликах Советника и т. д.) и особенно характерной для большинства действующих лиц позднейшей редакции «Недоросля», «где каждый в своем характере изречениями различается»[2]. Индивидуализация характеристик вообще отличает поздний текст от раннего наброска.

Речь действующих лиц «Недоросля» в настоящей редакции имеет лишь одно разделение, имеющее место и в редакции окончательной: речь Добромыслова и его сына несравненно более литературна, чем речь недоросля и его родителей. Но если речь этих последних в позднейшей редакции комедии служит одним из средств для характеристики действующих лиц вообще, их социальной позиции (ср. речь обоих учителей Митрофана и даже Вральмана, в «Бригадире»—речь Советника и Бригадира), то здесь речь «отрицательных» персонажей—самого недоросля и его родителей—при всей ее нарочитой грубости характеризует не столько их самих или их социальную группу, сколько их культурный и бытовой уровень.

Вообще же, несмотря на то, что в данном случае мы имеем только отрывок комедии, к тому же в литературном отношении представляющий конечно меньшее мастерство, нежели «Недоросль» в его окончательной редакции, все же эта первоначальная редакция пьесы интересна как попытка Фонвизина поставить впервые некоторые проблемы, развернутые по-новому в позднем тексте комедии, но поставить их еще в пределах мировоззрения и комедийной эстетики сумароковской традиции. Видимо попытка эта не была успешна, и пьеса осталась неоконченной.

Во всяком случае коренная переработка всей пьесы, нашедшая себе отражение в окончательной, сценической, редакции, свидетельствует уже о полном и сознательном отказе Фонвизина от прежней комедийной традиции и о становлении его на путь создания нового типа комедии, комедии характеров и социальной комедии.

Ниже мы даем сводный текст обоих вариантов раннего текста «Недоросля» на основе второго, более позднего, варианта, с дополнением отсутствующих в нем мест по первому списку. Этот текст публикуется здесь впервые. П. Н. Полевой в «Истории

русской словесности»[3] указывает на существование этой редакции и в особом приложении дает фототипическое воспроизведение двух страниц первого варианта этой редакции, именно начала 2-го и 3-го действий.

Кроме того в упомянутой ниже своей рукописной записке он сообщает, что рукопись этой редакции была использована в качестве экспоната на какой-то выставке, может быть на выставке в ознаменование столетия со дня первого представления «Недоросля» в С.-Петербурге (1782 г.).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Однако это не дает достаточных оснований для отнесения настоящей редакции «Недоросля» к периоду, предшествовавшему времени написания «Бригадира», как это делает П. Н. Полевой в своем объяснении, приложенном к настоящей рукописи.

[2] «Драмматической словарь». М., 1787, стр. 89.

[3] Том II. СПБ., 1910, стр. 128.

КОМЕДИЯ «НЕДОРОСЛЬ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Аксен Михеич.
Улита Абакумовна, жена его.
Иванушка, сын их.
Добромыслов, дворянин.
Миловид, сын его.
Федул, слуга Аксенов.
Митька, слуга Иванушкин.
Две служанки Аксеновы.

Театр представляет комнату, в которой стоит стол, на столе тарелка с блинами и чашка с маслом. И за тем столом Улита учит Иванушку. Аксен по комнате ходит.

ДЕЙСТВИЕ I

ЯВЛЕНИЕ 1-е

Аксен, Улита, Иванушка. Последней учит азбуку.

Иванушка

Аз, а, а, б, в, г, д, е. Очень я есть хочу. Мама, давай же мне поесть-та.

Улита

Тотчас, батюшка. Прочти еще разок, так и покушаешь.

Иванушка

Я не хочу больше читать. Я есть хочу. Да и тут написано что? Есть [1].

Аксен

Да учись же. Я тотчас и прутом ашерашу.

Улита

И, батька свет, не замай его. Пускай покушает на здоровье. (К Ванюшке) Прочитай еще, дитятко, разок, так и блинок дам. Да и посмотри-тка какие блинки-та поджареные.

Иванушка

Не хочу. Дай блина, так буду учиться.

Улита

Ну, умница, изволь—покушай.

Аксен

Что бредит как—покушай. Еще ничего сегодня не выучил. (К Ивану) Учись!

Улита

Небось, не слушай его, а возьми блинок да кушай на здоровье. (Умакает блин в масло и подает. Иванушка ест.) Ну, теперь прочитай же еще, умница дорогая.

Иванушка

Ж, з, и, і, к. (Сжав брюхо) Пусти я ка... (Улита зажимает рот).

Улита

Что ты, свет мой, не срамись, бог с тобой. (В самое то время Аксен с серцов плюет.)

Аксен

Тьфу, пропасть какая! Докудова ж докормить [2].

Улита

Так, мой свет, тебе он поперек горла стал. Был бы он хорош, ежели б в твои руки попался.

Аксен

Тьфу, дура. Бес.

Улита (к Иванушке, которой чавкая ест).

Накушался ли, умница моя дорогая? Или я еще велю принесть.

Иванушка

Полно, не могу уж больше есть. Теперь пойду (Встает и уходит.)

Улита

Поди, бог с тобой—поиграй.

Аксен

Что ты бредишь—поиграй. Когда же учиться-то будет? Однако таким манером он ничего не будет знать.

Улита

И, и, батька свет, кого и учить-то? Ведь еще ребенок. Бог даст выучится.

Аксен

Да, ребенок! В его пору уже давно в полках служат.

Улита (с серцов)

Неужли то мучить? Сохрани нас боже и помилуй. Я не дам синего волоса на него пасть.

Аксен

С тобою и говорить не можно. Я совсем не о мученье говорю, а об учении. Какое же учение—что слово скажет, а другое блином забьет.

Улита

А как же?

Аксен

А по-моему так надлежит: часа три, от книги не вставая, учиться, а блинам тут не мешаться. Кушать есть время за обедом да за ужином.

Улита

Так, мой свет, чтоб с голоду его уморить? Не сделаю я того.

(Иванушка входит)

ЯВЛЕНИЕ 2-е

Аксен, Улита, Иванушка

Иванушка

Мама, есть еще блины?

Улита

Есть, дитятко. Однако поучись еще, так и дам блинка.

Иванушка

Ну (берет книгу), а, б, в, г, д, е, ж, з, и, і, к, л, м, н, о, п. Полно. (Закрывает книгу.)

Улита

Ну еще прочитай.

Иванушка

Да не дура ль ты, ведь видишь, что тут написано, чтоб дать покой? [3] — а она свое мелет.

Улита

Ну ладно, перестань же, умница моя дорогая.

Аксен

Как перестать? Не успел книги в руки взять,—она и перестать велит. Уже как я примусь, так у меня не так пойдет. Забудешь уже прихотливить.

Улита

(вскоча, рассердясь—схватила блины и масло)

Коли тебя слушать, так и дитя уморим. Кушай, дитятко, не смотри на него. Возьми-тка посмотри блинок-та какой хороший.

(Аксен, встав, сердится ходя)

Аксен

Будет. Уже выучен таким манером. А по-моему, таки бы я прутом да и дубину снес—вот такой был.

(Улита продолжает кормить)

Улита

Покушай, свет мой. Ну я велю еще принести (умакав в масло).

Иванушка (отталкивает Улитину руку)

Да помажь более. Экая она—масла жалеет.

Улита

Изволь, мой батюшка, я ничего для тебя, мой свет, не жалею.

Аксен (про себя)

Помазал бы дубиной по спине. (Громко) Смотри—его снова рвать станет.

Улита

Ата, батька свет, Христос с ним. К чему такие слова—ведь так изурочить можно (крестит Иванушку). Ангел хранитель с тобою.

Аксен (сев и разложа азбуку)

Читай же, а не то так худо будет.

(Иванушка, набив рот блинами, поперкнув в самые глаза отцу и матери, кои, закрыв лицо руками, закричали: Охти меня, ослепил! Иванушка, захохотав, ушел. Оставшие утирают глаза.)

Улита

Экой проказник какой. Он и ушел. Да пускай погуляет—час ему доброй.

Аксен

Однако, Улитушка душенька, мы много воли нашему Иванушке даем.

Улита

И, и, душенька. Ведь еще ребячье дело. Теперь-то ему и повеселиться, а уже как в службу пойдет, так и все его веселье пропадет.

Аксен

Да как же его на службу отпустить? Детине 20 лет, а грамоты еще не знает.

Улита

Так, мой свет, грамоте... Так что ж в том диковинки—лишь бы был жив—бог с ним.

Аксен

Да кто о том говорит, ведь и я желаю ему здоровья. Да только надобно, чтоб не был дурак.

Улита

Небось, будет хорош, Христос с ним.

Аксен

А я так опасаюсь, чтоб от неги твоей не был бы негодницей.

Улита (с серцов)

Тьфу, какая беда! Что прорекует. Никак ты, батька, с ума сошел? Против своей крови такие словеса мелишь, чего и сущий злодей не скажет. Никак он тебе не надобен.

Комедiя
Недоросль

Действие 1 явление 1.

Аксинь, Улита, Иванушка
Последней учит азбуку

Иванушка Аз. буки: веди: г: д: е. отпусти
я есть хочу. Мама давеча мне
позволила.

Улита: тотчас батюшка
прочти вот эту строчку только повтори
[illegible]

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ РАННЕЙ РЕДАКЦИИ КОМЕДИИ Д. И. ФОНВИЗИНА „НЕДОРОСЛЬ“
Институт Русской Литературы, Ленинград

Аксен (рассердясь)

Ата, какая дура проклятая, согрешил грешной! Не даст слова сказать. Экая збалмошная баба! Да можно ли тебе без серца со мною говорить? Да как и я вспыхну—так худо будет; ведь плеть обуха не перешибет.

Улита

И, и, Михеич, свет мой, ты и разгневался. Ведь я еще ничего тебе худого не сделала.

Аксен

Еще сделать,—довольно того, что и слова твои меня трогают, которые однако ж я недолго буду сносить—тотчас перестанешь огрызаться, как собака.

Улита (заплакав)

Воля твоя—что хочешь то делай. Я вся твоя и слова теперь не скажу. О, господи, господи, под старость дал бог радость. Хи, хи, хи. (Плачет).

Аксен

Ну, Улита Абакумовна, не плачь же, не плачь. Помиримся, душенька; поди ж сюда.

ЯВЛЕНИЕ 3-е

Иванушка и те же

Иванушка

Мама, о чем ты плачешь?.. Что ж молчишь—скажи. Конешно тебя батька обидел.

Аксен

Да, я. А все за тебя, дурака.

Иванушка

Как за меня? (Тихо) Не видал я того.

Аксен

Ба! ты уже, дурачина, против меня идешь?

Иванушка (молча)

Бранит, старой чорт; лишь тронь—то чортом перековеркаю.

Аксен

Что ты не отвечаешь? Ба, да ты еще и бранишь! Так постой...

(Подымает трость на Иванушку, которой, охватя рукою, так сильно дернул, что отец упал, а Ваня, бросив трость в ноги матери, и ее ушиб.)

Аксен (плачет, лежа на полу)

Ох, о-ох, косточки все переломал. Вот тебе блинки твои. Ништо, еще не то будет. (Встает потихоньку.)

Улита (хромая, охает)

Ведь он, дитятко, за меня вступился.

Аксен

Совершенная ты дура. Да что с тобою говорить! (Ушел.)

ДЕЙСТВИЕ II

ЯВЛЕНИЕ 1-е [4]

Иванушка и Митька

Иванушка

Ну, брат Митька, как же я батьку-то цапнул—ажно как пласт на пол растянулся.

Митька

Да за что так, барин?

Комедія
Недоросль

Дѣйствующіе лица

Антонъ Микеичъ

Улита Ивановна жена его

Иванушка сынъ ихъ

Добролюбовъ дворянинъ

Милорадъ сынъ его

Федулъ слуга Антоновъ
Ерёма слуга Иванушкинъ
двѣ служанки Антоновы.

театръ представляетъ комнату въ которой стоитъ столъ, на столе пудра и помада, гребенка съ масломъ. Изза столу Улита учитъ Иванушку [illegible] покаянне ходить.

СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ В РУКОПИСИ РАННЕЙ РЕДАКЦИИ КОМЕДИИ Д. И. ФОНВИЗИНА „НЕДОРОСЛЬ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

Иванушка

Как же не так: матку обидел, ажно она заплакала.

Митька

Ну так за дело ж.

Иванушка

Да и матке-то досталось на кисель—ажно взвыла голосом.

Митька

Так ты, сударь, обоих отбезделавал? Ладно, барин! Смирнее будут. Однако, что вам за то от них было?

Иванушка

Я не дождался, ушел, и с тех пор их не видал. Да чему ж быть? Неужли то меня бить будут?

Митька

Да ведь не поклонятся—чистехонько-таки высекут и плакать не велят.

Иванушка

Никак не боюсь того. Я с обоими справлюсь,—посмотри-тка, какая у меня сила. (Берет за ворот Митьку и повертывает.) Потянись-ка со мной на палки.

Митька

Извольте. Да неужли-то вы меня перетянете? Изволь сударь. (И сели. Берут палку и тянутся; Иванушка перетягивает.)

ЯВЛЕНИЕ 2-е

Федул и те же

Федул

Эх, барин, на какие забавы ты время тратишь, а о книге, сударь, не помышляешь. Извольте-ка батюшке-то показаться. Разбил, сударь, стариков так, что с места не встают. Хорошее ли дело? и день-деньской вы их не видите. Да и в нашем быту то непростительно.

Иванушка (встав)

А ты что за учитель пришел? Когда батьке я не спустил, то тебе и подавно. (Подымает палку, Федул отходит, Иванушка в него палку бросает.)

Митька

Хорошенько его, сударь, эдакого укащика! Как он смеет с вами говорить. Дай ему, сударь, знать, что и ты такой же господин, что и старой-то хрен.

Федул (появившись опять)

Выслушайте, сударь, моих простых речей и не замайте меня, покудова их не окончаю.

Иванушка

Ну, говори—я тебя ничем не трону.

Федул

Извольте ж выслать этого плута и обманщика. Мне при нем нельзя говорить.

Иванушка (к Митьке)

Поди на час от меня.

Митька

Я вижу, барин, что он на меня вам наговаривать будет. (Уходит.)

Федул

Вы знаете, сударь, что я служил вашему дедушке и батюшке и всегда служба была моя верна; а когда бог не сошлет по душу, то и вам буду служить, да и думаю, что и по летам вашим пора и в службу вам вступить, а кроме меня вам некого с собою взять. Я бывал в походах и знаю, как там поступать; так не рассердитесь, что я стану говорить.

Иванушка

Нет, не буду, право.

Федул

И прикажете смело говорить?

Иванушка

Говори, что хочешь.

Федул

Ну, сударь. Я хочу у вас спросить, имеете ли вы намерение в службу вступить?

Иванушка

Как же без того; а другое дело, и сам не знаю, как батька хочет.

Федул

Так я вам доношу: что то необходимо должно быть и того государь требует; однако вы мало изволите о том помышлять, а по летам вашим уже и время прошло. Ох, сударь, слезы не дают мне говорить. (Плачет.) Что нам, сударь, делать? Вы теперь в таких летах, что моложе вас уже офицерами, а вы и в службу еще не вступили, да и надежды нет иметь хорошие ранги.

Иванушка

Да почему же так?

Федул

Простите ль моей усердной грубости, естли что скажу?

Иванушка

Я уж тебе сказал, что все говори, что хочешь.

Федул

Милостивой государь! Не от хотения язык мой мелет, а от жалости, видев, что вы себя к погибели готовите.

Иванушка

Как к погибели?

Федул

Да как же, сударь, не так? Рассудите милостиво: выучили ль вы грамоте и знаете ль писать? Ведь, сударь, уж бороду бреете. Господина Добромыслова сын, сказывают, уже и иностранными языками говорит и давно уже офицер.

Иванушка

А что тебе до того нужды?

Федул

Ежели бы нужды не было, то я и не плакал бы. Ведь и нам весело, когда господа хороши, да умны. Послушайте моего глупого совету и пойдите к батюшке и попросите у него прощения да начните учиться поскорее, чтоб вам современем не плакать было.

Иванушка

Небось, никогда не заплачу. (Хочет итти.)

Федул

Ну, барин, увидишь и меня вспомянешь. А куда изволишь итти, не к батюшке ли?

Иванушка (показывает шиш и говорит)

Вот тебе. (И с тем уходит.)

Федул (один)

Как горох к стене не льнет, так-то ему слова. Вот какая честь отцу. Да ништо, зачем волю давал. Правда пословица говорится, что ученье свет, а неученье тьма. (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 3-е

Аксен, Улита и Федул

Аксен (к Федулу)

Видел ли ты нашего дитятку Иванушку?

Федул (чесав голову с огорченным видом)

Видел, сударь. Он сейчас изволил отсель выйти. Я и звал к вам, но никак не хочет итти.

Аксен

Однако к столу придет ужо?

Федул

Не думаю, сударь, чтоб пошел. Он так на вас рассердился, что и вспомнить не дает, за что меня чуть до смерти не убил.

Аксен

Так где же он кушать-то будет?

Федул

Не знаю, сударь.

Улита

Велеть было ему приготовить особливо. Пусть его уходится, посердится да и перестанет.

Аксен

А я так сужу—не давать ни куска, покуда сам не придет, пусть себе сердится. У сердитого губы толсты, да в брюхе пусто.

Улита

Так, мой свет, уморить его? Воля твоя, я не стерплю да пошлю блинков и чего-нибудь еще, пусть покушает, ведь рождение наше. Много ли их у нас—один, как глаз во лбу, да хотим с голоду уморить.

Аксен

Доведешь ты своею негой до совершенных бед.

Улита

Аксен Михеич, ведь еще ребенок! Будет постарее, то совсем переменится. Не долго ему повольничать. Вот как в службу запишется, то все веселье отойдет.

Аксен

Ее ничем не уговоришь. (Уходит.)

Улита (одна)

Ах, служба, служба, государева! (Голосом воет.) Как-то тебе, дитятко, привыкать-то будет на чужой, дальней сторонушке, кто-то тебя сердечушку приголубит? Ах, сердешно дитятко, кто тебе даст блинка и пирожка? Не будет у тебя ни батюшки, ни матушки, ни роду, ни племени, к кому б приклонить буйную свою головушку. Хи, хи, хи. (Плачет.) Отпущу с тобою, дитятко, няню Агафью, она иногда и блинов тебе испечет. (Уходит).

ДЕЙСТВИЕ III[5]

ЯВЛЕНИЕ 1-е

Улита, Аксен и две служанки (последние в телогреях.)

Улита

Я, свет мой, слышала, что к нам гости будут.

Аксен

А кто такие?

Улита

Добромыслов с сыном[6].



ЗДАНИЕ СЕНАТА И ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
Картина маслом К. Ф. Кнаппе (около 1799 г.)
Русский Музей, Ленинград

Аксен

Так надобно прибрать. (К служанкам) Пошли сюда Федула.

Улита

Ужо посмотрим, как-то они выучены.

Федул входит

Аксен (к Федулу)

Прибери горницы хорошенько, накрой стол ковром, поставь стулья порядком, а скамьи вынеси вон. А ты, Агафья, выдай свеч, да скажи, чтоб нигде лучина не горела; а сама надень камчатную телогрею, а ты, Федул, надень ливрею, пусть видят, что у нас все есть.

Ужо увидишь тверских [петербургских][7]-то разумниц. Право, не лутче нашего Иванушки будут.

Улита

А я думаю, что еще и хуже, да хватись, что и богу забыли молиться, да думаю, чего боже сохрани, научились в пост мясо есть. О! избавь от того, боже, лутче дурак будь, нежели одинова в пост оскоромиться.

Аксен

Ужо, душенька, увидим ученых-то деток, за которых разорил деревни; легко ль то сказать! Что сверх пяти алтын с души собрав еще пятьдесят рублей заплатил, а у нас так на таковые деньги Иванушка часослов, псалтырь, чети минеи и пролог и все молитвы наизусть выучит.

Улита

Да не хуже будет, а чего лутче, что при своих глазах, а хватись, Добромыслова сын нужды-то, нужды навидался. Я чаю и с голоду помирали. Куда бы я рада была, ежели бы он хуже нашего Иванушки был. Ах! как я вспомню глупость Добромыслова: без всякой жалости отпущал его в школу, да еще и нам советовал, чтоб и мы так же с своим Ванюшею поступили; однако не обманул нас. Куда бы я обрадовалась, естлиб он хуже нашего выучился.

Аксен

А я с радости выше Ивана Великого вскочил бы, а дай бог, ужо одумались бы другие отцы в чужие руки детей своих отдавать. Послушай-ка, душенька, что я тебе скажу. Намнясь я был у Родиона Ивановича Смыслова и видел его сына, также французами ученого. И случилось быть у него в доме всенощной и он заставлял сынка-то своего прочесть святому кондак. Так он не знал, что то кондак, а чтоб весь круг церковной знать, то о том и не спрашивай. Поверишь ли, разлапушка, что естли б я на месте отца его был, то со стыда сгорел бы, а он еще тому и рад был. Да еще что сказал: поди-тка к своим французским книжкам, а это дело не твое. Так вот, душенька Улита Абакумовна, чему иные отцы детей своих учат.

Улита

Ау! та не овца, которая за волком пошла, так-то и Смыслов сын. Не будет в нем пути, коли молитвы не умеет прочитать, а наш Иванушка лутче нас повеселит. Он теперь и не учась Господи помилуй пропоет.

Аксен

Однако, Улитушка душенька, впрочем мне весьма полюбился сына его поступок. И как пред отцом своим учтив, послушен и покорен— воля твоя, лутче, чем наш Иванушка.

Улита

И, батька свет! Наш еще ребенок—у него еще игрушка на уме.

Аксен (вздохнув)

Ребенок, а тот еще моложе. Да не о том дело. Ох, блины твои доведут нас до слез.

ЯВЛЕНИЕ 2-е

Федул и те же

Федул

Рыдван, сударь, какой-то на двор взъезжает, весь на золоте, а в нем сидят три человека разобравши и ужесть как.

Девка (вбежав закричала)

Гости! Гости! Ахти пропали мы совсем!

Аксен

Не кричи, проклятая! Убирайте поскорее.

(Хозяин, бегая взад и вперед, тож и хозяйка и служанки в виде суетности. Служанки с тарелками, люди с стульями. Иному запутатца и упасть на хозяина и его подтолкнуть на хозяйку, у которой чепец сбить с головы и опростоволосить. Она должна закрыть голову и идучи кричать.)

Улита

Непотребные канальи, бестии! Всех велю пересечь до смерти.

Аксен

Перестань, душенька, кричать-то—гости на крыльцо уже идут. Поди-тка, встреть их.

Улита

Вот тебе на! встреть. Где трудно, так жена поди. Изволь сам итить встречать, а я не прибравши и не скоро выду.

Аксен

Ты ни в чем меня слушать не хочешь, так поди же [8].

Федул (в странной ливрее)

Гости, сударь, в передней стоят. Прикажешь ли впустить?

Аксен

Для чего ты их остановил?

Федул

А как же, сударь—вы не были готовы.

Аксен

Экой дурак! (Приближась к кулисам, крепко) Добро пожаловать, дорогой соседушка, не прогневайся.

ЯВЛЕНИЕ 3-е

Добромыслов, Миловид и те же

Добромыслов

Желаю здравствовать, милостивой государь. Я любя вас и почитая много, за первой долг счел, возвратясь с сыном своим из Твери [Петер-



ДОКЛАД ПРИКАЗЧИКА ПОМЕЩИКУ
Картина неизвестного художника (конец XVIII в.)
Исторический Музей, Москва

бурга][9], впервые отдать вам, милостивому государю моему, усердное свое почтение и притом рекомендовать и сына своего.

Аксен

Покорно благодарствую. Так это сын ваш?

Добромыслов

Да, сударь, он самой, которой приносит вам свое почтение и просит вашей милостивой ласки.

Аксен

Благодарствую, благодарствую. Так поцелуйте. же. (И целует.) Ражой молодец. И как велик вырос, а я знал такого маленького. (Указывает рукою.)

Добромыслов

Так сударь, старой старится, а молодой растет. Мы же с вами больше не вырастем.

Аксен

Ау, время наше прошло, были и мы таковы [10]. Между тем прошу пожаловать садиться.

(Садятся)

Добромыслов

Чем изволите время препровождать?

Аксен

В разном домашнем хозяйстве, а иногда книги читаю, а больше всего мое утешение, что сына грамоте учу.

Добромыслов

Как, сударь, еще грамоте учите!

Аксен

А как же больше? Ведь он вашего сына тремя годами только старее, неужли-то ваш сын выучил уже грамоту?

Добромыслов

Какая грамота! Он уж выучился по-немецки, по-французски, по-итальянски, арифметику, геометрию, тригонометрию, фортификацию, архитектуру, историю, географию, танцовать, фейхтовать, манеж и на рапирах биться и еще множество наук окончил, а именно на разных инструментах музыкальных умеет играть.

Аксен

А знает ли он часослов и псалтырь наизусть прочесть?

Добромыслов

Наизусть не знает, а по книге прочтет.

Аксен

Не прогневайся ж, пожалуй, что и во всей науке, когда наизусть ни псалтири, ни часослова прочесть не умеет,—поэтому он церковного устава не знает.

Добромыслов

А для чего ж ему и знать? Сие предоставляется церковнослужителям, а ему надлежит то знать, как жить в свете, быть полезным обществу и добрым слугою отечеству.

Аксен

Да я безо всяких таких наук, и приходской священник отец Филат выучил меня грамоте, часослов и псалтырь и кафизмы наизусть за двадцать рублев, да и то благодати божьей дослужился до капитанского чину. Желаю того и сыну своему.

Добромыслов

А долго ли изволили службу свою продолжать?

Аксен

Сорок два года.

Добромыслов

Долгонько же. Боже избавь сына моего такой нещастливой службы.

Аксен

Неужели то вы думаете, что скорее моего до капитанского чина дослужится?

Добромыслов

Конечно, не сумневаюсь. Сохрани боже, естли через два года не будет майором. Тогда присоветую лутче в отставку итить.

Аксен (вскоча)

Как через два года майором, не прослужив и десяти лет? Нет, государь мой, многова вы требуете. Послужи-тка он так, как и деды его служили, потри прежде ремень по-нашему. Я покорно прошу выслушать: десять лет был простым драгуном, пять лет капралом, три года

гефрет-капралом, два года квартирмистром, десять лет вахмистром и в этом проклятом чину я век свой изволочил, и нет ни одной косточки, которая бы палками не была ломана, а уж как перевалился в офицеры, то кроме того, что два раза был на палашном карауле—не был штрафован. Девять лет был прапорщиком. Тогда находился при особливой комиссии, а именно при сжении угольев и при гонке смолы. На десятом году пожалован порутчиком, а потом, при отставке, пожалован капитаном. Так рассудите, как же вашему сыну быть скоро майором? А давно ль вы его в службу записали?

Добромыслов

Четвертого году.

Аксен

Вот, изволите видеть, еще шесть лет надобно до капральского чину.

Добромыслов

Какой капрал! Он уже гвардии прапорщик.

Аксен

Что это значит?

Добромыслов

Армейской капитан-поручик.

Аксен

Как капитан-поручик? (Вскоча, с серцов) Статно ль дело не служа ничего. Да за что ж такая честь?

Добромыслов

А за то, государь мой, что он прилежно учился и науку свою скоро окончил; а притом я, никак не жалея, сыскивал разные случаи поместить его в важные комиссии, что удавалось. Зато он получил в два года три чина, а именно-с: квартирмистров, сержант и прапорщичей. Благодарю бога, не тупо идет его произведение. Что бог даст вперед; нам такого счастья не было.



У ГОРОДСКОЙ ЗАСТАВЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
Картина маслом К. Ф. Кнаппе (1799 г.)
Русский Музей, Ленинград

Аксен (вздохнув)

Ах, как-то мне с своим Иванушкой быть? Поплетусь сам с ним в Питер.

Добромыслов

Напрасно изволите мешкать.

Аксен

Что ж делать, еще науку не окончил.

Добромыслов

Какой учитель—француз ли или немец?

Аксен (вскоча со стула)

Какой француз! Чорт бы их взял! Кто держит их и тот недоброй человек, а они только научают басурманской веры. Я, сударь, и жена моя учит и учим священного писания, а не французских книг, которые научают только закон Божий не наблюдать, да в пост мяса есть,— а это уж и совсем проклятое дело. Нет, государь мой милостивой, не намерен я его отдавать на руки французам.

Добромыслов

Воля в том ваша. Извините меня, что обеспокоил вас. Оставим сию материю, которая меньше важна, чем разговоры о домостроительстве. И смею у вас спросить, каков ныне хлеб родился?

Аксен (сев, зевая говорит)

Слава богу, рожь сама десяти, а яровое еще не молотил; сено, благодаря бога, выставили при доброй погоде.

Добромыслов

И у меня, благодаря Бога, против прежних годов лутче родился [11].

ЯВЛЕНИЕ 4-е

Улита и те же, и две служанки в телогреях. Улита подходя, не говоря ни слова, вдруг оттопыря губы, целуется с гостями.

Добромыслов (к Улите)

Рекомендую вам, сударыня, детей моих в вашу милость.

Улита

Покорно благодарствую.

Аксен

Прошу милости садиться.

(Садятся)

Улита (к Добромыслову)

Неужли то вы и этого малюточку в Тверь [Петербург] возили?

Добромыслов

Да, сударыня, четыре года так жили и, благодаря бога, хорошо учился и уже говорит по-немецки и по-французски довольно хорошо.

Улита

Ахти мне, я чаю, нужды-то, нужды было? (К мальчику) Весело, мальчик, в Питере-то было?

Мальчик

Очень, сударыня, весело.

Улита

Как противу здешних мест?

Мальчик

Несравненно, сударыня, в рассуждении великолепного города, а здеся сударыня, деревня.

Улита

Да и я во многих городах бывала, однако важного ничего в них не нашла, только что людей больше.



Д. И. ФОНВИЗИН
Гравированный портрет
Государственный Эрмитаж, Ленинград

Мальчик

Не то одно веселит, что шум от народа происходится, а лутчее удовольствие состоит в том, что частые собрания и обращение с благородными и разумными людьми.

Улита

А как же собрания у вас там бывают?

Мальчик

Комедии, маскарады, клобы.

Улита

Ахти мне, у вас и клопы в дела идут?

Мальчик

Конечно так, сударыня. Тем-то и научаемся разума.

Улита

Да чтож вы с клопами делаете?

Мальчик

Веселимся, играем концерты и тогда танцуем, а после ужинаем со всею компанией.

Улита

Ах! (Плюет) тьфу, тьфу, и кушаете их? Чего-то проклятые немцы да французы не затеют! Как же они танцуют? Разве дьявольским каким наваждением? У нас их пропасть и нам от них проклятых покоя нет, да только ничего больше наши клопы не делают, как по стенам ползают да ночью нестерпимо кусают—только.

Добромыслов (улыбнулся, к Улите)

Он, сударыня, не про клопов говорит, а про клобы, о благородном собрании, где все съезжаются, веселятся и разговаривают и научаются, как жить в обществе, и то собрание называется клобом.

Улита

А, а... Теперь-то я поняла, где ж мне знать о ваших клопах, а я право думала о наших клопах и очень удивилась, услышав, что вы и кушаете их. Не прогневайся, батька мой, мы очень настращены мирскими речами. Сказывают, что у вас в Питере едят лягушек, черепах и какие-то еще устрицы.

Добромыслов

Устрицы и я ел, и дети, а лягушек не ел.

Улита

Ахти! вкушали эту погань! Да не кушали ли мяса в пост?

Добромыслов

Грешные, сударыня, люди. В Петербурге без того обойтиться не можно.

Улита

О, боже мой, до чего дожили. А все проклятые французы да немцы—впустили в православную Русь свою ересь. Как земля-мать вас терпит? Так-то и Иванушку нашего научат. Да, хватись, и веру христианскую там забыли?

Добромыслов

Ах, нет, сударыня. Что касается до веры, то она всем в своей силе находится.

Улита (к мальчику)

Да молишься ли ты, батюшка, богу?

Мальчик

Как же, сударыня, не молиться?

Улита

Сложи-тка крест. Каким крестом вы молитесь?

Мальчик складывает крест с улыбкою.

Улита

Это по-нашему ж. А бывает ли правило молитвы в ваших-то собраниях и молитесь ли вы там богу?

Мальчик

Богу молиться, сударыня, есть время поутру и вечеру, сколько угодно и без народного видения, а собрания учреждены для оных залов, следовательно неприлично быть службе божии, где танцуют.

Аксен

Очень ты, душенька, так любопытствуешь. Что нам нужды, как кто ни молится.

Улита

Ну, я и перестану. Кто как хочет, так и живет.

Аксен (к Федулу)

Позови к нам Иванушку.

Федул

Тотчас, сударь.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Каламбур, основанный на обозначении букв азбуки: аз, буки, веди, глагол, добро, есть и т. д.

2 Далее в первом списке идут слова Аксена, зачеркнутые во второй редакции: «Да пусти его скорей. Он еще здесь напакостит. Ата, какая дура».

3 Буква «п» читается как—покой. См. примечание 1-е.

4 Во втором варианте зачеркнуто и исправлено: Явление 4.

5 Во втором списке исправлено: Действие 2.

6 Во втором списке исправлено вместо: детьми. В дальнейшем везде вместо дети, детьми и т. д. исправлено: сын.

7 В первом списке сперва написано «петербургских», а затем исправлено на «тверских». То же и во всех дальнейших упоминаниях. Однако по смыслу текста явно, что речь идет именно о Петербурге. Поэтому мы восстанавливаем прежний вариант.

8 Далее во втором списке зачеркнуто: «А я скажу, что в другую усадьбу уехала».

9 См. примечание 7-е.

10 Далее в рукописи зачеркнуто:

Добромыслов

Где же ваша фамилия?

Аксен

Отъехала на час в другую усадьбу, однако через час будет.

11 Далее во втором списке зачеркнуто:

Федул (входит и, облокотясь на плечо Аксену, шепчет под ухо).

Аксен

Ага и жена моя приехала.

Добромыслов

Слава богу. Весьма я щастлив.

НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ Н. А. ЛЬВОВА

Публикация З. Артамоновой

Среди бумаг Державина, хранящихся в Рукописном отделении Государственной Публичной Библиотеки, находится переплетенный в красный сафьян с золотым тиснением рукописный сборник сочинений Н. А. Львова, большею частью неизданных.

Николай Александрович Львов известен в истории русской литературы главным образом как друг Державина. Дружба и родство со знаменитым поэтом, а также разносторонность вкусов и занятий самого Львова заслонили его поэтическое творчество. О нем упоминали как об архитекторе, построившем «Приорат» в Гатчине, или как об исследователе, впервые открывшем боровичский уголь; указывали на его меценатскую деятельность, на его роль кружкового арбитра и советчика Державина; даты его биографии определялись соотносительно с Державинскими; над его же поэтическим творчеством тяготел приговор Я. Грота («открывшего» Львова в качестве комментария к Державину), что оно, «как кажется, не отмечено, вообще говоря, печатью большого таланта»; эту формулировку в точности повторил Н. Строев в статье о Львове в Биографическом словаре. Отзыв Грота несколько оправдывается исторической обстановкой: в ту эпоху (60-е годы) самому Гроту приходилось защищать от нападок критики другого поэта, уже несомненно отмеченного «печатью»—Державина. Между тем Н. А. Львов заслуживает большего внимания к себе не только как один из лучших представителей дворянской интеллигенции конца XVIII в., но и как интересный и своеобразный поэт.

Последняя треть XVIII столетия в России, в которой культурные и литературные сношения с Европой шли главным образом через посредство Франции, была ознаменована усиленным проникновением буржуазной идеологии, окончательно сформировавшейся во Франции в середине века и в области литературы нашедшей свое выражение в сентиментализме, манифестом которого во Франции явилась «Новая Элоиза» Руссо; французы же познакомили Россию с произведениями английских сентименталистов. Но попадая в Россию, в условия значительной экономической отсталости, крепостническо-помещичьего строя, полуазиатского абсолютизма, когда в культурную жизнь (прежде всего в европейскую культуру) оказывалась вовлеченной лишь незначительная часть столичной верхушки привилегированного сословия, буржуазная идеология своеобразно втискивалась в рамки этих условий. Так создалось замечательное и своеобразное явление русского обуржуазивавшегося дворянства—своеобразный русский сентиментализм; буржуазная идео-

Н. А. ЛЬВОВ

Гравированный портрет, приложенный к переведенному им сочинению „Архитектуры Палладиевой первые четыре книги“ (1798 г.)



логия, за отсутствием в России подходящих традиций третьего сословия, воспринималась вследствие этого противоречиво. Так сентиментализм и руссоизм, во Франции взрывавший старый строй, в России уживался с монархически-охранительными тенденциями и крепостнической идеологией. Так получился исторический фарс с якобинцем Лагарпом в роли ментора Александра I,—ученик, придя в возраст, оказался главой реакции в Европе.

Львов был характерным представителем своего поколения. Начав свою жизненную карьеру в эпоху своеобразного потемкинского демократизма, когда у власти оказывались люди, обязанные своим преуспеянием если не личным достоинствам, то личной энергии, он, происходивший из незнатной и небогатой дворянской семьи, всем был обязан самому себе. По словам первого его биографа, двоюродного его брата Федора Петровича Львова, «труд, нужда и чужая сторона укрепили и разум его и сердце». Он сделал карьеру при графе Безбородко, который ценил в нем его образованный ум, разнообразные таланты и энергию; к пятидесяти годам он—тайный советник, член экспедиции государственного хозяйства, опекунства иностранных, управляющий училищем земляного строения и комиссии о разработке каменного угля, кавалер двух орденов и очень состоятельный человек. Вся жизнь его проходит в кипучей деятельности в столице, где между делом он вместе с Державиным не безвыгодно занимается коммерческими операциями с хлебом и скотом. Но его идеал—это семейная идиллия на лоне природы в его тверском имении, занятия художеством и поэзией.

«Будучи записан в гвардию в Измайловский полк, он пустился в Петербург и явился в столицу в тогдашней славе дворянского сына, то-есть: лепетал несколько слов французских, по-русски писать почти не умел, но к счастью, не имея богатства, он не был избалован разными прихотями. Явясь в полк, помещен он был в бомбардирскую роту и ходил наравне с другими учениками в полковую школу», пишет о нем Федор Львов[1]. Он посещает школу полка, учится всему сразу—наукам, языкам, архитектуре, живописи, интересуется техникой, увлекается поэзией и музыкой. К этому времени относятся и первые его литературные опыты. В частных руках сохранился рукописный журнальчик, издававшийся литературно-художественным кружком школы. В рукописном собрании Института Русской Литературы Академии Наук СССР имеется тетрадь Львова, начатая в 1772 г. и представляющая собой любопытный образец «литературной учебы» этого дворянского сына 70-х годов. Здесь и выписки из прочитанных книг, и переводы с французского на русский и итальянский, и собственные стихотворные опыты на всех языках, и французские и итальянские вокабулы. Его начальник берет его, вместе с Хемницером, в заграничное путешествие; он посещает Германию, Голландию и Францию; впоследствии ему по служебным делам (он служил в почтовом департаменте, входившем тогда в Иностранную коллегию) пришлось опять быть в Германии, Италии и Испании; его путевая тетрадь заполнена заметками о картинах знаменитых художественных собраний, которые он посещает; проездом в Вене он знакомится с Метастазио.

Львов дважды совершил большие путешествия по России: первый раз, сопровождая Екатерину II в ее поездке на юг, второй раз—перед самой своей смертью, в 1803 г.—посланный в научную командировку Александром I на Кавказ и в Крым; на Кавказе он исследует минеральные воды; в Крыму усиленно занимается археологией; его тетради испещрены зарисовками виденного в путешествии.

Львов придумывает барельефы для залы Сената, принимает участие в создании иллюстраций к сочинениям Хемницера и Державина, рисует фронтиспис к своему изданию «Рассуждения о перспективе», делает проект церкви св. Иосифа в Могилеве, который восхищает Екатерину, по поручению Безбородко делает чертежи и проектирует фасады здания Почтамта. Он открывает в Боровичах карьеры каменного угля, делает опыты извлечения из него серы; он изобретает способ строить здания из битой глины, строит гатчинский «Приорат», учреждает у себя в имении «училище земляного битого строения»; Львов переводит и пишет книги по архитектуре и технике, устраивает придворные праздники, пишет стихи, либретто для опер, собирает русские песни, переводит Анакреона, издает летописи. Он дает советы Левицкому, покровительствует Фомину, который пишет музыку для его оперы, пригревает художника Егорова; Боровиковский живет у него в доме продолжительное время.

Вокруг Львова группируется кружок друзей, центр петербургской литературы: Державин, Хемницер, Капнист, А. С. Хвостов, Храповицкий, Вельяминов, Оленин, впоследствии Дмитриев. Об этом кружке можно было бы сказать то же, что сказал Брюнетьер о салоне жены Гельвеция: получалось так, что все вокруг него оказывались в родстве друг с другом. Капнист и Львов были женаты на сестрах Дьяковых;

М. А. Дьяковой, впоследствии жене Львова, сделал предложение Хемницер, Дмитриеву сватали третью сестру Дарью, вышедшую впоследствии замуж за овдовевшего Державина.

В этом кружке Львов был, по выражению Ф. Львова, «гением вкуса, утверждающим произведения друзей своей печатью».

Державин неоднократно указывал на влияние на него Львова, сформировавшего в значительной мере его литературное мировоззрение; известны его поправки оды на взятие Измаила, стихотворения «Мечта» и др. Хемницер не считал законченной ни одну басню, не показав ее прежде Львову. Эстетическое влияние его простирается за пределы кружка: Безбородко подражает ему в своих письмах, пересыпая их шутками и итальянскими фразами в манере Львова. Дипломат Морков пишет в одном письме к Безбородко: «Гр. Румянцев на сих днях отсюда выезжает, терзаемый любовью и влеченный славой. Сию фразу я сплел для Н. А. Львова, которую прошу ему прочесть, он будет конечно ею доволен».

Многосторонность художественной деятельности Львова навлекла на него обвинение в дилетантизме, в особенности по отношению к литературе. Львов очень скупо отдавал в печать свои литературные произведения; треть его стихотворений—послания друзьям, имеющие личный характер; он сам неоднократно указывает, что пишет «впопыхах, по случаю».

Посылая Н. П. Яхонтову свою «пастушескую» шутку «Милет и Милета» с просьбой написать для нее музыку, он пишет: «оперетку, которой ты у меня слова видел, секретарь безграмотности моей потерял со всеми моими вздорными сочинениями, записками, журналами, которые в тридцать лет кое-как накопились...» Это кокетничанье дилетантизмом подводит последний под подозрение. Посылая письмо Петру Васильевичу Бакунину, написанное вперемежку прозой и стихами, он приписывает в конце: «пишу на чужой бумажке в канцелярии Александра Андреевича [Безбородко], ожидая его возвращения, а почта идет и не ожидает». К А. М. Бакунину посылает он два стихотворения и опять отмечает, что «у себя и помарочки не осталось». В письме прозой и стихами Державину по поводу стихотворения Державина «На победы в Италии» просит прислать копию этого письма «для справки». Но копию он все-таки просит прислать, так же как просит Бакунина вернуть посылаемые ему стихи.

Все эти послания и письма оказываются тщательно переписанными писцом в тетрадь в сафьяновом переплете, и переписанными вместе с указанными прозаическими приписками: два стихотворения, посланные к Бакунину, писаны писцом, потом Львов своей рукой вписывает свою (бесполезную в этой тетради) просьбу вернуть стихи, и затем писец копирует ответ Бакунина; письмо к Державину переписано в тетрадь два раза. Характерен ответ Бакунина: «Вот вам копия; у вас кто-нибудь разберет и перепишет, а оригинал я не отдам, потому что хочу я его когда-нибудь употребить как в Освобожденном Иерусалиме Убальд употребил алмазный щит в садах Армидиных». Дружеские послания Львова копировались и ходили по рукам. Они могли и не появляться в печати, потому что и так были известны как литературные произведения. Приписки с извинениями за спешность и небрежность, обязательные при каждом послании, принимали характер жанрового

признака: дилетантизм становился литературной позицией, «профессиональным дилетантизмом», кружковщина возводилась в принцип.

Львов оказывается одним из первых представителей литературного направления, главой которого стал молодой Карамзин.

Прозаическое письмо к Вельяминову появляется в первой книжке IV части «Московского Журнала», бок о бок с «Письмами русского путешественника». Это сотрудничество сорокалетнего Львова в «Московском Журнале» (между прочим он указан одним из первых в числе лиц, подписавшихся на журнал в Петербурге) совершенно естественно. Воспитанный на Руссо, которого он во французском четверостишии, находящемся в упомянутой ранней его тетради, называет своим образцом, зачитывавшийся в молодости Винкельманом, Львов строил свой поэтический и жизненный облик в духе горацианского идеала, воспринятого сквозь призму буржуазной сентиментальности; недаром Державин в послании к нему рисует его счастливым семьянином на лоне природы, занимающимся поэзией, и влагает в его уста заключительную сентенцию:

Ужель тебе то неизвестно,
Что обольщенным жизнью дворской
Природа самая мертва?

Начавши свою литературную деятельность стихами в духе сумароковской школы (в ранней тетради его имеется ряд его стихотворений периода 1772—1780 гг., одно из них—идиллия «Вечер»—было напечатано в «Собеседнике Любителей Российского Слова»)[2], Львов в 90-х годах оказывается на гребне литературной волны: пишет сентиментальные романсы в духе Дмитриева, возводит интимное письмо в ранг жанра, увлекается проблемой «народности» в литературе. Но творчество Львова эпохи 90-х годов требует более внимательного рассмотрения: основным источником для него служит упомянутый рукописный сборник его сочинений, из которого и взяты приводимые ниже стихотворения Н. А. Львова.

В 1793 г. выходит в свет отдельной брошюрой «Песнь норвежского витязя Гаральда Храброго, из древней исландской летописи Книтлинга сага, Маллетом выписанная и в Датской Истории помещенная» в переводе Львова; параллельно приведен французский текст. В 1794 г. Львов издает свой перевод Анакреона (сделанный им с подстрочного перевода Евгения Булгара), также с параллельным (греческим) текстом.

Указание на принадлежность Львову целого ряда стихотворений, помещенных в «Московском Журнале» за подписью N. N., которое вслед за примечаниями Грота в I томе Собрания сочинений Державина повторяли все немногочисленные исследователи, занимавшиеся Львовым, неправильно и основано на ошибке Грота, который приписывал Н. А. Львову стихи двоюродного брата его Ф. П. Львова (большинство этих стихотворений вошло в сборник сочинений Ф. П. Львова «Часы свободы в молодости», на него же определенно указывал Карамзин в письме к Дмитриеву от 18/VII 1792 г.). Грот впоследствии исправил свою ошибку; исправление это помещено в дополнительных примечаниях в IV томе Собрания сочинений Державина и почему-то ускользнуло от внимания позднейших исследователей.

В «Московском Журнале» Львову несомненно принадлежит только указанное выше «Письмо Н. А. Л. к П. Л. В[ельяминову]». В первой

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. А. ЛЬВОВА „СТЕРНОВ ЧИЖИК“ (1793 г.)

Публичная Библиотека, Ленинград

книжке «Аонид» помещены три стихотворения Львова: «Музыка или семитония», «К Доралисе» и «Отпускная двум чижикам». Львову же несомненно принадлежат два стихотворения, напечатанные в майской и июньской книжках второй части журнала «Муза»: «К Доралисе. Стихи на Розу» (другое стихотворение, чем в «Аонидах») и «Отрывок из письма к А. М. Б[акунину]», который к сочинителю прислал из деревни стихи «На зависть, на скуку, на воображение, на праздность». Первое из этих стихотворений находится в упомянутой рукописной тетради сочинений Львова; второе стихотворение, подписанное, как и первое N. (других стихов в «Музе» за этой подписью не имеется), адресовано А. М. Бакунину, приятелю Львова, с которым он вел литературную переписку (в рукописном сборнике сочинений Львова имеется между прочим другое послание к А. М. Бакунину, печатаемое ниже); оно написано в характерной для посланий Львова шуточной и фамильярной манере, неравностопными стихами (ср. «Письмо к Державину», стихи в «Ботаническом путешествии на Дудорову гору», находящееся в рукописной тетради стихотворение «Щастие и фортуна» и в особенности адресованное тому же Бакунину послание от 1/X 1801 г.).

Уже после смерти Львова, в «Друге Просвещения» за 1804 г., ч. III, № 9, была напечатана первая глава «Добрыни, богатырской песни» (написанной в 1796 г.) и в 1805 г. в № 2 «Северного Вестника» его «Ботаническое путешествие на Дудорову гору», 1792 г., Майя 8».

Отдельного сборника своих стихотворений Львов не издал. Но по существу таким сборником является интересующий нас рукописный том его сочинений. Этот рукописный том начат, судя по вытисненной на корешке переплета цифре, в 1797 г.; но в него внесен целый ряд произведений более ранних годов. Всего в томе имеется около ста произведений Львова, в большинстве совершенно законченных, в том числе три оперы, «Ботаническое путешествие», «Добрыня». Ряд стихотворений—автографы или чистовые копии с авторскими пометками; в конце книги ряд мелких стихотворений записан рукой секретаря Державина Абрамова, вероятно уже после смерти Львова. Несколько стихотворений списано из путевых тетрадей Львова, веденных им во время последнего путешествия на юг России, вскоре после возвращения из которого он умер. В тетради заметны следы позднейшей редакторской работы, имеются пометки рукой того же Абрамова: «к посланиям», «уже писано», «дальше есть лучше» [вариант], «из двойной тетради». В начале тома помещено оглавление. Ряд мелких стихотворений списан вероятно из упомянутой ранней тетради Львова (рук. отд. ИРЛИ); в «двойной тетради», хранящейся там же, т. е. в путевых тетрадях 1802—1803 гг. имеются пометки Абрамова, сделанные теми же красными чернилами, что и в основной тетради Публичной Библиотеки.

Можно предположить, что среди друзей Львова возникла мысль издать посмертный сборник его сочинений. Мысль эта не была осуществлена, и в печати появились только самые крупные произведения Львова—«Добрыня» и «Ботаническое путешествие».

Среди произведений Львова значительное место занимают послания к друзьям, большею частью стихотворные, частью прозой, перемежающейся со стихами, как письмо к Державину и письмо П. В. Бакунину в рукописном сборнике. Отдельно стоит письмо, написанное прозой, к Вельяминову, в котором описывается освящение деревенской церкви,

построенной Львовым, и которое резко отличается по своему стилю как от стиховых посланий Львова, так и от его частных писем. О значении и роли этих посланий в творчестве Львова было уже сказано выше. В рукописном сборнике имеется целый ряд таких посланий к гр. Безбородко, П. В. Бакунину, И. А. Муравьеву, Олениным, А. М. Бакунину, гр. А. А. Мусину-Пушкину; послания к Державину опубликованы Я. Гротом в примечаниях к сочинениям Державина. Публикуемые ниже три послания Львова за отсутствием места приведены не полностью.

ЕПИСТОЛА К А. М. БАКУНИНУ ИЗ ПАВЛОВСКОГО ИЮНЯ 14, 1797

ФОРТУНА

Слепой очима, духом зрячий,
Любитель сельской красоты,
Друг истинне и мне горячий,
Зачем меня опрыснул ты
Кастальской чистою водою,
Идущего мечты тропою,
Лишаешь нужной слепоты?
В которой леший слух прельщает,
Червяк дорогу освещает
До самой поприща меты?
Меня было ошеломило...
Ударясь в стену головой
И став как надобно шальной,
Какой-то скользкою тропой
Я шел и долом и горой;
И так было мне любо было,
В чаду, в тумане колесить!
За что ни попадя ловить
Ту непоседную, благую
Мадам летучую, нагую,
Пред коей жабой и ужом
Премудрой мир наш суетится.
А зелье перед ним вертится
Без оси беглым колесом
И к сотому остановится
И то на час прямым лицом.
Зовет фортуной свет ученой
Сию Мадам; но тут не тот
(Прости Господь) у них расчет:
Они морочат мир крещеной!
Поверь мне, друг мой, это чорт...
Помилуй, целой век вертится
А голова не закружится,
Не поведет ей клином рот,
Все хороша и все прельщает,
Полсвета в обод загибает,
Полсветом улицу мостит,
И вихрем мир кутит, мутит,
И величает и страмит,
Народ и грабит и дарит.

Вчера кто к солнцу возносился,
По милости ее явился
Повержен в лужу и лежит;
Лежит и изумлен зевает,
Как в грязь попал не понимает,
И думает еще, что спит.
Сторонний умница дивится
Знакомого узнать боится,
От мараных друзей странится
И думает: не чорт их нес;
А завтра там же очутится.
Кольцом и умница кружится
За тем, что ум и наг и бос.
«Фортуны для богатства жаждут
В богатстве счастье видит свет.
От счастия бегут и страждут,
И ищут там, его где нет»:
Я так подумал и очнулся,
Из Талыжни черпнул воды,
Умылся, проглянул, встряхнулся,
Ай батюшки беды, беды!
Куда меня нелегка сила
В чаду обманом затащила?
Отколь молитвой ни крестом
Никто не может отбожиться,
Лежать в грязи или кружиться
Обязан каждой колесом.
За чем? да мне за чем мотаться?
Мне шаркать, гнуться и ломаться!
Ты право со слепу не в лад определил;
Лишь был бы я здоров и волен,
Я всем богат и всем доволен,
Меня всем бог благословил:
Женил, и дал мне все благое.
Я счастье прочное прямое
В себе иль дома находил,
И с ним расстаться не намерен!
Я истинно мой друг уверен,
Что ежели на нас фортуны фаворит
(В котором сердце бы не вовсе зачерствело)
В Никольском поглядит
Как песенкой свое дневное кончив дело,
Сберемся отдохнуть мы в летний вечерок
Под липку на лужок,
Домашним бытом окруженны,
Здоровой кучкою детей,
Веселой шайкою нас любящих людей,
Он скажет: как они блаженны...»

Приводимые ниже отрывки взяты из послания к гр. А. А. Мусину-Пушкину (к жене его обращено «Ботаническое путешествие на Дудорову



РИСУНОК Н. А. ЛЬВОВА ИЗ ЕГО АЛЬБОМА ПУТЕВЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАРИСОВОК КРЫМА И НОВОРОССИИ (1802—1803 гг.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

гору»). Оно озаглавлено: «Графу Аполлосу Аполлосовичу Мусину-Пушкину от меня неименитого обычное челобитье 20 августа 1801 года С.Петербург» и начинается словами:

Пронесся нам петуший глас,
Что вы, мой граф! опять в Кавказ...

В тетради имеются стихи, написанные из Нижнего-Новгорода от лица Мусина-Пушкина, в которых он извещает Львова о предстоящем своем отъезде на Кавказ. «Челобитье» по всей вероятности представляет собой ответ на эти стихи.

Второй из приведенных ниже отрывков из послания Мусину-Пушкину интересен своим реалистическим и сатирическим характером.

Ирония и тенденция к реализму, вообще свойственные Львову, в особенности сказались в его «посланиях», написанных шутливым и фамильярным слогом и изобилующих личными намеками.

С полуденных стран богатых
Подымается туман,
На чудовищах горбатых,
Трезвых, сильных и мохнатых,
От краев валит хлопчатых
    С позвонками караван.

* * *

Красота для всех продажна,
Кошелька раба присяжна,
Сверх подушки на окне

Перед зеркалом страдает
Щоткой прелести сбирает
Собирает дань в уме
Силой новыя полуды
И в восторге без ума!
«Ах! как милы мне верблюды,
Что у каждого сума!»
Из прилавка шемелою[3]
Барыша побочный сын
Покатился мостовою
Колесом, а ось—аршин.
Глазом тонким и подвижным
Весит, мерит и берет
И умом скоропостижным
Не купя уж продает
И богатеет,
Жнет аршином, а не сеет.
В уголку наедине
Уже входит в откуп чадной
Сыт дитя с природы жадной.
На дворянство он во сне
Цепь златую налагает;
Длинны кудри завивает,
Длинны полы подстригает,
Поступает
В важный чин,
И по весу разночинец стал по мере дворянин.

Любопытно послание к И. М. Муравьеву, написанное песенным размером; в нем выражены «славянофильские» тенденции Львова. Для характеристики стиля посланий Львова интересно, что народный склад переходит затем в обычный шутливый тон посланий, написанных неравностопными стихами, и кончается итальянскими прибаутками.

ИВАНУ МАТВЕЕВИЧУ МУРАВЬЕВУ ЕДУЩЕМУ В ЭТИН[4] МИНИСТРОМ, В ОТВЕТ НА ПИСЬМО ЕГО ИЗ МОСКВЫ ОТ 15 ГЕНВАРЯ 1797

Пусть крутят в крючки темнорусые
И с просединой волоса мои,
А слова мои слуги быстрые
Духа жаркого сердца русского
Пусть запишет нам парень грамотной.
Каково же мне титулярному?
Что нет времени и к друзьям своим
Самому писнуть—не прогневайтесь,
Что спасибо вам опоздал сказать
За жадобную[5] ладу грамотку.
Любо было мне получить ее.
Прочитав ее я задумался,
А задумавшись слово вымолвил:
«Рано, рано ты, млад ясен сокол,

Со тепла гнезда подымаешься,
Оставляешь ты дом отеческой
И родимую нашу сторону.
Покидаешь ты верных слуг твоих,
С другом пламенным разлучаешься?
Ах! не с ним ли ты тайну речь держал?
Чтобы вместе жить неразлучно век,
Чтобы пищу есть с одного стола,
А платье носить с одного плеча,
А теперь, сокол, птичка острая,
Не простяся с ним, возвиваешься...
Залетел сокол уж за облако...
Что за облако лучезарное,
Лучезарное иноземное,
Любо там тебе?—в молодых летах
На заморской край мы в раек глядим,
Блеском радужным я прельщался сам;
Но из за моря все домой глядел.
Нет утех прямых, мне казалось, там,
Где нельзя ими поделиться с кем!
Где пролить нельзя животворный дух
Счастья русского в недры русские.
С кем подержишь там богатырску речь?
С кем отважную грянешь песенку?
Исполинской дух наших отчичец
Во чужих землях людям кажется
Сверхъестественным исступлением!
Да и как ему не казаться так
Во чужих землях все по ниточке
На безмен слова, на аршин шаги.
Там сидят сидят, да подумают,
А подумавши отдохнуть пойдут,
Отдохнувши уж, трубку выкурят
И задумавшись работать начнут.
Нет ни песенки, нет ни шуточки.
А у нашего православного
Дело всякое между рук горит.
Разговор его громовой удар,
От речей его искры сыплются,
По следам за ним коромыслом пыль!...

Это стихотворение подводит нас к наиболее интересной части творчества Львова—его «народной» поэзии.

Н. Львов был одним из наиболее последовательных пропагандистов «народности», интерес к которой в литературе усилился по мере роста сентиментальных и романтических тенденций. Идея национальных форм литературы выдвигалась новой идеологией в противовес обезличенности, вневременности и интернациональности дворянского классицизма. В народном творчестве Львов вместе со многими другими видел источник обновления литературы, основу новой поэзии, которая выдвигалась на смену классической, разрушенной Державиным. В частности он

видел в имитации народного стиха, ритмически свободного, не связанного силлабо-тонической системой, выход из того ямбического тупика, в который привели русскую поэзию эпигоны сумароковской школы (вопреки практике самого Сумарокова).

В 1790 г. Львов издает «Собрание русских песен, положенных на музыку Прачем»; по авторитетному свидетельству Державина и Ф. Львова, все заслуги по составлению этого сборника принадлежат исключительно Львову, который пригласил Прача лишь для музыкальной записи песен с голоса. Он же написал к сборнику предисловие, в котором интересны высказанные им мысли о музыкальном народном творчестве. Основные взгляды его по данному вопросу сформулированы в «Добрыне, богатырской песни». «Лет за десять перед сим,—пишет автор «Памятника Н. А. Львову»,[6]—он в некотором кругу друзей своих рассуждая вообще о преимуществе тонического стихосложения перед силлабическим, утверждал, что и Русская поэзия больше могла бы иметь гармонии, разнообразия и выразительных движений в тоническом вольном роде стихов, нежели в порабощении одним только хореям и ямбам, и что можно даже написать целую русскую эпопею в совершенно русском вкусе. В доказательство сего на другой же день после упомянутого разговора, предположив себе план для русской поэмы, в которой должен быть описан брак Великого Князя Владимира I и при оном потехи русских витязей, а преимущественно витязя Добрыни Никитича,—он в одно утро написал вступление в сию поэму... и удачным исполнением своего предложения удивил друзей своих. Вступление оканчивается тем, что пиит, будто приближаясь к Киеву, находит там торжество, но неизвестно, продолжал ли покойный автор сию поэму».

В рукописном сборнике вслед за первой песней идет начало второй главы, вернее содержание второй главы и несколько строк стихов. Возможно, что поэма и не была продолжена Львовым. По словам Львова

Анапест, Спондеи и Дактили
Не аршином нашим мерены;
Не по свойству слова русского
Были за морем заказаны,
И глагол славян обильнейший,
Звучной, сильной, плавной, значущий,
Чтоб в заморскую рамку втискаться
Принужден ежом жаться, корчиться....[7]

Перевод «Песни Гаральда Храброго» сделан им размером русской песни «Не звезда блестит далеко в чистом поле»; в рукописном сборнике имеется еще целый ряд стихотворений, написанных песенным размером.

Интересны высказывания Львова о «народной мифологии». В письме к Державину он говорит:

Я слова б не сказал,
Когда, сошедши с трона,
Эрот бы Лелю место дал
Иль Ладе строгая Юнона,
Затем, что били им челом
И доблесть пели наши деды...

В рукописном сборнике имеется (в трех вариантах) следующее четверостишие:



ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА „СОБРАНИЯ РУССКИХ ПЕСЕН" 1790 Г., ИЗДАННОГО Н. А. ЛЬВОВЫМ С ЕГО ПРЕДИСЛОВИЕМ

Публичная Библиотека, Ленинград

НАДПИСЬ К СТАТУЕ ФАЛЬКОНЕТОВОЙ, ЕРОТА ИЛИ ЛЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ

«Остались имена, упали ваши троны
Властители сердец досель
Ероты, Купидоны
Когда зажег светильник Лель».

Вместе с Державиным и Карамзиным Львов дал ранние образчики белых стихов как своими подражаниями русской песне, так и переводами из Анакреона, в которых он сохранил размер подлинника. Этот перевод, особняком стоящий в литературе 90-х годов, является первым образцом Винкельмановского неоклассицизма в русской литературе.

ПЕСНЯ

Как бывало ты в темной осени,
Красно солнышко, побежишь от нас,
По тебе мы все сокрушаемся,
Тужим, плачем мы по лучам твоим.
А теперь беги, солнце красное,
На четыре ты на все стороны;
Мы без скуки все рады ждать тебя
До самой весны, до зеленыя.

Ведь другое к нам солнце катится,
Солнце красное, наше родное,
Неизменной наш тих светел месяц
На крылах любви поспешает к нам.
Ты спеши, спеши к нам, наш милой друг,
Наше родное солнце красное,
Неизменной наш тих светел месяц,
Опускайся к нам своим детушкам.
По тебе мы все стосковалися,
Насмотреться дай на лицо твое,
Дай наслушаться нам речей твоих
Всем от старого и до малого.

Приводимая ниже «Ночь в чухонской избе на пустыре», одно из лучших произведений Львова, замечательна теми элементами романтизма, которые делают из нее своеобразную русскую балладу, появившуюся в 1797 г. Львов написал ее в Гатчине, где занимался тогда возведением своих земляных строений; стихотворение обращено к его жене, Марии Алексеевне, и было вероятно послано при письме к ней; вместе с этим письмом оно переписано в тетрадь. В виду указанной литературной функции, которую носили эти письма Львова, мы помещаем его целиком, тем более, что оно дает биографическое пояснение к стихотворению.

Гачино 30-е сентября 1797.

М. Г. М. А.

Вот, мой друг, как ты уехала, а государь меня послал достраивать земляной домик в чухонскую деревню; жил я там один одинехонек, в такой избе среди поля, в которой во весь мой короткой рост никогда прямо стать нельзя было. Притом погода адская, дождь, ветер, а ночью вой безумолкной от волков так расшевелили меланхолию, что мне и мальчики казалися; не мог ни одной ночи конца дождаться, а волки все воют; я представил, что они и девочку съели, да ну писать ей песнь надгробную: ничего бы этого не было, кабы ты не уехала, ночь бы себе, а мы себе.— Вот как я приеду к тебе в Никольское, то и дам ноты волкам, пусть они поют, как умеют, а мне казаться будет Концертом Паезелловым.

Сего дня 6-е Октября
Здравствуй м. д. скоро отделаюсь и в Питер и далее

Арапакаси 30-е сентября 26-го дня 1797.

НОЧЬ

в чухонской избе на пустыре

Волки воют... ночь осенняя
Окружая мглою темною
Ветхой хижины моей покров
Посреди пустыни мертвыя,
Множит ужасы—и я один!
Проводя в трудах ненастной день
И в постеле одиноческой
Я надеялся покой найти;
Но покой бежит из хижины,

Где уныние прерывается
Только свистом ветра бурного!
Отворю, взгляну еще в окно.
Не мерещется ль зоря в дали?
Не слыхать ли птицы бодрственной?
Возбуждающей людей на труд?
Не поет ли вестник утренний?
Воют волки... ночь ненастная
Обложила все лице земли
Хладом ужасом—и я один!
Холод, ужас и уныние,
Дети люты одиночества,
Обвилися, как холодной змей,
И в объятиях мучительных
Держат грудь мою стесненную;
Лено в жилах протекает кровь
Бьется сердце, хочет выскочить,
Ищет кажется товарища,
С кем напасть бы разделить могло.
Кто жестокой жребий бедственной
Посреди степей живущего
В тесной падающей хижине,
Где витает бедность вечная,
И ненастну ночь холодную
Разделить с тобой отважится?
Ты одна, о мой душевный друг!
Дух спасительный судьбы моей,
Ты одна б со мной решилася
С чистой радостью сердечною
Как блаженство и напасть делить.
О когда б ты здесь была со мной,
Не посмело бы уныние
При тебе, мой друг, коснуться нам!
Буря, мрак, пустыня, хижина,
В тесных пламенных объятиях
Под крылом любви испытанной
Умножила б наше счастие.
Но мой друг уж далеко отсель,
В след за нею покатилися
Красные дни мои и радости,
Холод, ужас и уныние,
Вы теперь мне собеседники,
Незнакомые товарищи!
Ваши хладны узы грудь мою
Наполняют неким бедственным
Смертоносным едким холодом...
Ах давно ли в узах счастия
Я утехи не видал конца
И не знал числа забав моих,
Мне горячность друга милого,
Удовольствий неописанных

Бесконечный круг готовила.
  Бесконечной Ночи бурной визг
Умножаясь продолжается...
Что за страшный громовой удар
Потряхнул пустыню спящую?
Отдался в лесу и лес завыл?
Выйду, встречу Ночь лицом в лицо,
Посмотрю на брань природных сил...
Вихрь изринул с корня старой дуб,
Опроверглась кровля хижины,
Буря мрачная спасла мне жизнь,
Знать из утлого пристанища,
Знать затем меня и вызвала.
  Но что, что ты мне, несчастный ветр,
Что принес на крыльях трепетных?
Жар исполнил хладну грудь мою,
Из источника сердечного
Разлилася кровь кипящая...
Голос... имя... но послушаем...
Ах я слышу голос девичий,
Умирающей, растерзанной,
Стае хищной, злобной, воющей
Жертва юная досталася!
И последние слова ее,
Чувства нежного свидетели,
Излетели из прекрасных уст
Вместе с именем любезного...
  О! несчастные отец и мать!
Окончав свой обыденной труд,
В ваши нежные объятия,
Одинокая, любимая
Дочь любезна торопилася...
Уже скатерть белобраная
На столе дубовом послана,
Уж стояли яствы сладкие
И в восторге мать злосчастная
Суетилася, готовила
Для дитяти ложу мягкую,
Где бы юная работница
Отдохнула, освежилася.
За воротами отец стоял;
В темноте ему мечталося,
Что несется в светлом облаке
Облеченна в ризу белую,
В небеса душа прекрасная.
«Умерла моя любезна дочь
И печаль вошла в мой горькой дом».
Он сказал, и бледность смертная
Облекла его унылый взор,
Ноги горестью подсеклися...
Но далеко, и давно уже

Вышел встретить за околицу
Нину милую сердечной друг.
Для любви его пылающей
Нет ни вихрю, нет ни мрачности.
Терн ему и камни кажутся
Путь, травой душистой устланный.
Он летит вперед, надеяся
Встретить Ангела любви его.



РИСУНОК Н. А. ЛЬВОВА—ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ЕГО ОПЕРЕ „ПАРИСОВ СУД" (1796 г.)
Публичная Библиотека, Ленинград

Воротися, добрый молодец,
Для тебя уж ночь не кончится,
Не придет уж на зоре к тебе
За ушко любовь будить тебя,
Далеко уж твой сердечной гость,
И часы твои счастливые
Погрузились в бездну вечности...
Вся деревня завтра празднует
День веселой, день рождения
Красоты, доброты, прелестей,
День, в которой мир украсила,
Как взглянула в первый раз на свет
Нежный друг твоей горячности.

На восходе солнца красного
Придут с пляской, придут с песнями
Все ее подруги верные
К дому юноши печального
Спросят где? куда девалася
Коноводка дней их праздничных,
Где душа игры веселости?
Где румяная, где розовая,
Их подруга голосистая.
  На устах твоих спеклася кровь
И на веждах тяжких горестных
Замерла слеза горячая.
Ты покажешь мановением
Члены нежные растерзаны,
И потерю вашу общую
Обличит черта кровавая...
  Не всходи ты, солнце красное,
Продолжися, ночь ужасная...
Может ветра свист в ущелинах,
Мне в пустынном одиночестве
Показался голос девичий.

Менее удавались Львову сентиментальные романсы в духе песен Дмитриева. В рукописном сборнике имеется целый ряд подобных стихотворений, одно из них с характерным названием «Стернов чижик»:

Бабочка летает в поле
Со цветочка на цветок;
Скучно, скучно жить в неволе,
О! мой миленькой дружок.
  Так то в клетке птичка пела
И подругу так звала:
Ах! куда ты улетела
И утехи унесла.
Скучно, скучно жить в неволе,
О мой миленькой дружок:
Бабочка летает в поле
Со цветочка на цветок.
  Неужели изменяла
Сельска бабочка? нет, нет!
Бабочка цветка искала,
Где любовь ее живет.
Бабочка летает в поле
Со цветочка на цветок.
Скучно, скучно жить в неволе
О мой миленький дружок!
  О! когда б ты воротилась
В клетку маленьку мою,
Для тебя б я потеснилась
И жила бы как в Раю.
Бабочку пускай бы в поле
Каждой привлекал цветок,

Нам не скучно б и в неволе
Было, миленький дружок.

Сентября 10-е 1793.

ЗИМА

Ах! зима, зима лихая,
Кто тебя так рано звал,
Головой снигирь качая
Зауныло припевал.
Лишь цветочки ароматны
Нам успели плод принесть,
Где девались дни приятны?
Что в плодах, как не с кем есть.
Нежны птички улетали...
С ними я бывало пел,
Песни клетку позлащали,
В ней с любовью я сидел!
Ах! зима, зима лихая,
Кто тебя так рано звал,—
Головой снигирь качая
Зауныло припевал.
В ней с подругою прелестной
Мы пеняли на простор.
Есть ли угол темной, тесной,
Где любимой светит взор!
Все с тобой, зима лихая,
Помирюсь я как-нибудь,
Коль любви не остужая
Нежности даешь соснуть.
Ах! зима, зима лихая,
Кто тебя так рано звал,
Головой снигирь качая
Зауныло припевал.

«Снигирь», «Птичка», «Отпускная двум чижикам», напечатанная в «Аонидах», дополняют эту серию карамзинско-дмитриевских «пичужечек». Но позиция Львова своеобразна; считая вместе с Карамзиным, что «один мужик говорит «пичужечка» и «парень» [8], он в противоположность Карамзину, который писал: «первое приятно, второе отвратительно», воспринял «народность» в обоих этих ее аспектах.

Приводимая ниже «Песня для цыганской пляски» написана, подобно переводу «Гаральда», размером русской песни (здесь «Вдоль по улице молодец идет»). «Цыганской» Львов назвал ее в силу своей классификации русских песен, которую он дает в предисловии к «Сборнику русских песен». «Между сими плясовыми песнями есть еще особливые, более образом пения, нежели сложением своим: их называют Цыганскими, поелику под сии только одни можно плясать по-цыгански... ...В них более прочих Мелодии, более веселости, в них есть некоторые короткие припевы, как то люли и проч. некоторые приговорки». В качестве примера он указывает ряд песен, в том числе и «Вдоль по улице молодец идет».

ПЕСНЯ ДЛЯ ЦЫГАНСКОЙ ПЛЯСКИ

На голос «Вдоль по улице молодец идет».

Чок, чок,
Чок, чок,
Чеботок,
Ты зачем не звончат, не легок? (2).
Стебелек,
Что прилег
Твой цветок,
Иль сидел на тебе мотылек!
Чок, чок, чок, чок, чеботок,
Иль сидел на тебе мотылек.
Иль сидел на тебе мотылек,
Иль пришол мой дружок
На лужок.
Чок, чок и проч.
На лужке был лесок
Не высок,
А в нем тек
Ручеек
Крутоберег.
Чок, чок и проч.
Недалек, недалек
Вечерок:
Я урвусь на часок
Где дружок.
Чок, чок и проч.
Я возьму уголек
В плетешок
И пойду на лужок
Поперек.
Чок, чок и проч.
Вдруг махнул ветерок
В уголек,
Огонек
Мой зажег
Плетешок.
Чок, чок и проч.
Потемнел, потемнел вечерок,
Потерялся следок
На лужок.
Чок, чок и проч.
Потерялся следок
На лужок,
Не дождался цыганку
Дружок.
Чок, чок и проч.
Мне денек этот был
Не легок
Осердился мой миленькой дружок.
Чок, чок и проч.

С исканиями Львова в области народной поэзии связаны и две из его опер. Львов, любительски занимавшийся музыкой, кроме предисловия к «Сборнику русских песен» написал еще «Объяснение на музыку, г. Сартием написанную» (при «Начальном управлении Олега» Екатерины II). В рукописном сборнике имеется кроме указанных выше песен ряд стихотворений, написанных на готовую музыку (дуэты на музыку Зейдельмана и Жирдини).

Здесь же имеется три оперы Львова: «Ямщики на подставе», «Парисов суд» и «Милет и Милета, пастушья шутка для двух лиц», которой предпослано письмо к Яхонтову с просьбой написать для нее музыку; кроме того Львову принадлежит опера «Сильф или мечта молодой женщины», написанная им в 1778 г. и сохранившаяся в бумагах Державина (т. 38); музыка для нее также была написана по желанию Львова Яхонтовым.

Ф. Львов указывает еще на перевод Н. Львова либретто оперы Паэзиелло «Нина или от любви сумасшедшая». Русское либретто этой оперы, сохранившееся в рукописи в Центральной Библиотеке Государственных Академических Театров, повидимому и есть то самое, о котором говорит Ф. Львов.

Из этих опер интересны «Ямщики на подставе» и «Парисов суд». Опера «Ямщики на подставе, игрище невзначай» (А. Финагин в статье о Фомине в сборнике «Музыка и музыкальный быт старой России» ошибочно приписал текст этой оперы композитору Фомину, написавшему для нее музыку) написана Львовым в 1787 г., была поставлена в том же году и является одной из многочисленных комических опер на «народный» сюжет, вызванных в свет успехом знаменитой оперы



ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ
Акварель неизвестного художника (конец XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград

Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват». По указанию кн. Шаховского в его «Летописи Русского Театра» («Репертуар Русского театра» на 1840 г.) «природный ум автора как-то не пришелся на сцене. Ямщики не удержались на подставе». Либретто «Ямщиков» напечатано отдельной брошюрой в Тамбове в 1788 г., когда там губернаторствовал Державин.

Опера «Парисов суд» представляет собой применение герои-комической, травестийной традиции к драматическому жанру. Героическое игрище— так называет Львов свою оперу. Герои-комическое произведение требует бурлескного смещения «высоких» и «низких» пластов литературы. Именно в плоскости этой традиции понял свою задачу Львов, особенно в трактовке роли Париса—деревенского пастуха, и Юноны—можайской купчихи (в таком наряде она и изображена на его рисунке к «Суду Париса»). Интересно, что Львов, перелицовывая античный сюжет, переосмыслил победу Венеры: в «Суде Париса» Венера ловко подхватывает яблоко, нечаянно уроненное Парисом, который хотел отдать его Минерве.

Опера «Суд Париса» написана в 1796 г. и посвящена В. В. Капнисту. Неизвестно, была ли она поставлена и даже была ли написана к тексту Львова музыка. Опера Фомина «Золотое яблоко», написанная на тот же сюжет, по всей вероятности не имеет прямого отношения к «Суду Париса». Автором его либретто в рукописном списке представленных на императорских театрах опер указан И. Иванов (он же указан и у Арапова в «Летописи Русского Театра», и у Моркова в «Историческом очерке русской оперы»). Либретто и партитура оперы «Золотое яблоко» не сохранились. Приведенный А. Финагиным отрывок текста при оркестровых голосах оперы не совпадает с текстом «Суда Париса».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Сын Отечества» 1822 г., т. 77, и «Москвитянин» 1855 г., т. II, № 6.

2 См. статью Б. И. Коплана «К истории жизни и творчества Н. А. Львова»,— «Известия Академии Наук СССР», 1927 г.

3 Шемела—метла, помело (местное).

4 Этин, Эйтин (Eutin)—главный город бывш. княжества Любек, в 36 км от г. Любека.

5 Жадобный—желанный, милый, любезный (тверск.).

6 Предпослан «Добрыне». «Друг просвещения» 1804 г., ч. III, № 9.

7 «Добрыня». Цитировано по рукописному тексту, незначительно отличающемуся от печатной редакции.

8 «Письма Карамзина к Дмитриеву». Письмо от 22 июня 1793 г.

«РАССУЖДЕНИЕ О РОССИЙСКОМ СТИХОТВОРСТВЕ»

НЕИЗВЕСТНАЯ СТАТЬЯ М. М. ХЕРАСКОВА

Публикация П. Беркова

Обычное мнение о скудости в XVIII в. историко-литературных обзоров, касающихся тогдашнего состояния русской литературы, должно в настоящее время полностью признать преувеличенным. К середине XVIII в. относится ряд частью законченных, частью незавершонных попыток, свидетельствующих о том, что уже в то время была осознана возможность и, главное, необходимость исторического изучения русской литературы. В 1755 г. появляется работа В. К. Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворении российском», дающая определенную—недворянскую—схему развития русской литературы. Приблизительно к тому же времени относится набросок статьи М. В. Ломоносова «О нынешнем состоянии словесных наук в России», представляющий к сожалению только первые строки работы, ее вводную часть. В 1760 г. появляется «Lettre d'un seigneur russe» гр. А. П. Шувалова. Двумя годами позднее С. Г. Домашнев в статье «О стихотворстве» посвящает несколько страниц «стихотворству российскому». В 1768 г. появляется анонимно напечатанный «Nachricht von einigen russischen Schriftstellern» А. А. Волкова. Наконец в 1772 г. выходит «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова. К числу подобных же историко-литературных обзоров относится написанное в том же 1772 г. «Рассуждение о российском стихотворстве» М. М. Хераскова. Судьба этого произведения чрезвычайно любопытна. В оригинале оно не сохранилось и не включено ни в одно собрание «творений» М. М. Хераскова; вследствие этого оно осталось неизвестным биографам автора «Россиады» и историкам литературы и, насколько можно судить, в научный оборот вовлекается теперь впервые. Обстоятельства, вызвавшие его появление, были таковы.

В 1771 г. Херасков написал поэму «Чесмесский бой», которая произвела на современников сильнейшее впечатление. И прежде заметный в писательской среде, Херасков выдвинулся в первые ряды, и репутация его в России укрепилась окончательно и непоколебимо. Но поклонники поэта считали, что в новой поэме Херасков заявил права не только на всероссийскую известность, но и на европейскую. Поэтому в 1772 г., через год по выходе «Чесмесского боя», появляется анонимный французский, а еще через год—немецкий перевод этой поэмы, оба в прозе [1].

В обоих переводах «Чесмесского боя» имеются предисловия переводчиков. Французский текст, как видно из приводимого ниже перевода, принадлежал русскому автору, несомненно лицу, близкому Хераскову, или может быть—не исключена возможность—и самому ему. Немецкий перевод был сделан безусловно немцем. Если первая часть немецкого предисловия представляет собой свободный перевод предисловия к французскому изданию, то во второй части, где излагаются причины появления немецкого перевода, чувствуется авторство именно немца.

«Причина, побудившая меня перевести данную поэму («Чесмесский бой»),—пишет переводчик «Der Schlacht bey Tschesme» (стр. 5),—это ревностное желание (Eifer) обогатить немецкую литературу еще одним красивым, превосходным произведением... Что касается речи о происхождении русской поэзии, то последняя познакомит немецких поклонников муз с современным состоянием и характером (Verfassung) русской поэзии и литературы и вообще с возможностями этого языка» (стр. 6).

Чтобы покончить с немецким переводом, следует указать, что рецензия о нем была помещена в книге «Russische Bibliothek» И. Бакмейстера (стр. 100). Как и все рецензии в этом журнале, рецензия о немецком переводе «Чесмесского боя» сухо

информационна и не дает ничего нового. Может быть именно экземпляр немецкого перевода, бывший в руках Бакмейстера, когда он писал эту рецензию, и был им подарен в библиотеку Академии Наук. Во всяком случае на экземпляре немецкого перевода, принадлежащем академической библиотеке, имеется надпись: «Bibliothecae imperiali offert J. Bacmeister» (Императорской библиотеке преподносит И. Бакмейстер). Впрочем последнее обстоятельство позволяет вместе с тем предположить, что сам Бакмейстер мог быть переводчиком.

Сравнение немецкого и французского текста приводит к выводу, что немецкий перевод был сделан с французского перевода, а не непосредственно с русского оригинала, как об этом сказано на титульном листе. Очевидно поэтому, что в основу изучения должно положить именно французский текст перевода «Рассуждения» и предисловие переводчика. Последнее не лишне привести полностью:

«Г. Херасков, автор этой поэмы, известен в своем отечестве произведениями в различных жанрах. Его трагедии, оды, басни, его идиллические и анакреонтические стихотворения очень ценятся; он первый сочинил также комедию в стихах, которую все знатоки очень одобряют (donnent leurs suffrages). Его исторический роман Нума или процветающий Рим по справедливости может быть сравнен с Велизарием г. Мармонтеля. У меня нет притязаний слагать здесь панегирик в его честь, но каждый искренний соотечественник должен воздать ему справедливость по заслугам. Поэма, предлагаемая мною публике, исполнена таких красот, что одно лишь чтение ее подвинуло меня на перевод ее на французский язык. Я сознаю, что не в силах передать ее в столь же совершенном виде, какова она в оригинале. Кой у кого стиль может быть возвышеннее, но, поскольку это мой первый опыт на чужом языке, я надеюсь на снисхождение, тем более, что я все же сохранил рисунок картины, утеряв ее колорит и известную долю выразительности. Гармония стихов и счастливые обороты неуловимы в переводе; и единственной моей задачей было познакомить с гением автора и нашего языка» (стр. 3—4).

Повидимому имея в виду именно иностранного читателя, Херасков, по просьбе переводчика, предпослал французскому переводу поэмы «Discours sur la poésie russe» («Рассуждение о стихотворстве российском»), в котором желал познакомить Запад с состоянием русской поэзии. Понятно, что такая установка подсказывала как иные задачи, так и иные способы их разрешения, нежели работа на русском языке. В «Discours sur la poésie russe» Хераскова, подобно тому, как в «Lettre» Андрея Шувалова, следует различать две функции: информационную—для иностранцев, с еще более, чем у Шувалова, подчеркнутым элементом «национальной гордости», и идеологическую—представляющую проекцию внутренних русских отношений. Правда, в последнем случае положение Хераскова, участника, и не рядового, в развитии русской поэзии, было неловко: подробно говорить о себе он не мог, а между тем без указания на его собственную роль картина русской поэзии оставалась неполной. Херасков предпочел последнее, и о самом авторе «Чесменского боя» даны две-три строчки, вернее не о нем (имя его даже не упомянуто), а о первой русской комедии в стихах «L'homme haïssant le merite» («Ненавистник») [2], принадлежащей, как известно, его перу.

Переходя к рассмотрению «Discours'a» со стороны его информационной функции, обращенной к иностранцам, следует сразу отметить, что объем сообщаемых Херасковым сведений далеко превосходит и Тредиаковского, и А. П. Шувалова, и Домашнева, и даже ряд последующих по времени историко-литературных работ.

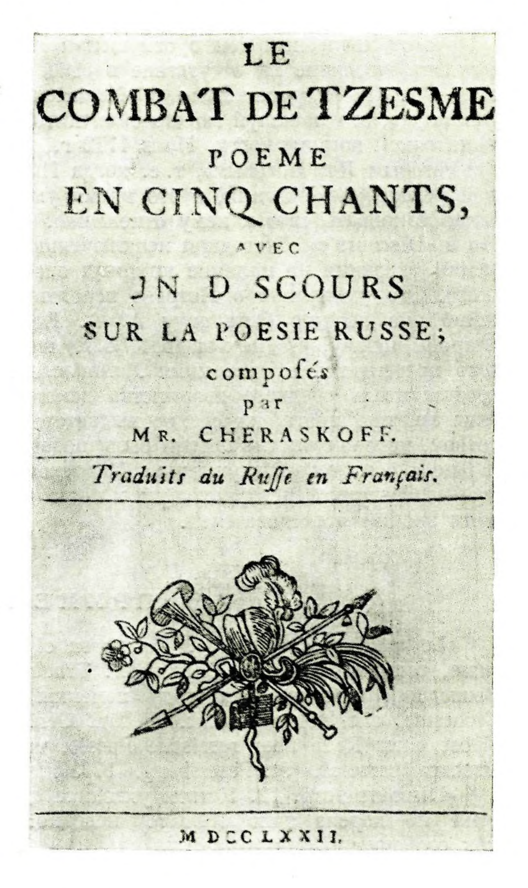
По сравнению с Домашневым, упоминавшим только Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Тредиаковского, кн. Антиоха Кантемира и Поповского, «Discours» Хераскова давал обширный и свежий материал. Но в данном случае большее значение имеет не то, какой материал давался, или как давался этот материал, сколько то, с какой целью он давался. А цель эта была в достаточной степени ясна: показать иностранцам, что русская поэзия ни в чем не уступает западноевропейским литературам. Поэтому «Discours» начинается следующим категорическим утверждением: «В происхождении своем стихотворство российское имело начала, всем народам свойственные» (стр. 5). С тем же намерением приводится указание на употребление в церковном обиходе славянского языка в противоположность латыни Западной Европы. С тою же целью характеризуется деятельность различных поэтов, чтобы можно было в каждом отдельном случае сделать вывод о пригодности русского языка для всех родов поэзии. Наконец для большего торжества русской поэзии Херасков утверждает, что «хорей наш и дактиль совсем есть тот, какой у древних римских был поэтов» (стр. 13).

Свой «Discours» Херасков кончает утверждением, что произведения молодых поэтов и дам-писательниц «заслуживают быть переведенными на иностранные языки, чтобы

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВОДА ПОЭМЫ М. М. ХЕРАСКОВА

„Чесмесский бой", при котором напечатан текст его „Рассуждения о русской поэзии" (1772 г.)

Библиотека Академии Наук СССР, Ленинград


LE COMBAT DE TZESME POEME EN CINQ CHANTS, AVEC UN DISCOURS SUR LA POESIE RUSSE; composés par MR. CHERASKOFF. Traduits du Russe en François. M DCC LXXII.

яснее показать дух и красоты нашего стихотворства» (la genie et les beautés de notre Poésie) (стр. 14).

«Информационная» функция «Discours'а» Хераскова может быть обнаружена в достаточно четкой форме. Гораздо труднее определить идеологическую функцию его в отражении внутренних русских отношений. Если сопоставить «Discours» со статьей Домашнева, более богатой непосредственно идеологическими высказываниями, станет ясно, что ключ к пониманию заключенного в нем классового сознания лежит в другой плоскости. Точно так же сравнение с «Опытом Словаря» Новикова, вышедшим в том же году, не может облегчить нашей задачи, так как уяснению классовой позиции Новикова способствует статистика писательской массы в ее социальном членении и в пропорциях этого членения. У Хераскова же, в зависимости от иной основной функции и иной направленности (не внутри, а вненациональной), отбор производился не по классовому принципу, как у Новикова, а по принципу использования деятельности писателя в качестве доказательства разносторонности и зрелости русской поэзии. Хераскова, писателя, вышедшего из среднего дворянства, которое считало себя представителем всего народа, не могло смущать то, что для целей внешних приходится в качестве иллюстрации пользоваться писателями из разных классов: в этом как раз и выступал «средний класс» от имени всей нации. Это—с одной стороны. С другой стороны, некоторый материал для уяснения идеологической позиции Хераскова дают, во-первых, приводимые им характеристики и во-вторых, отсутствие некоторых поэтов в списке представителей современного Парнасса.

Если вспомнить, что «Discours» был написан в 1772 г.[3], т. е. через семь лет после смерти Ломоносова, и что за это время сгладилась острота споров между сторонниками Ломоносова, в подавляющем большинстве представителями «знати», и сторонниками Сумарокова, больше ценившими его «простоту», «ясность» и «нежность», чем идеализацию монархического принципа, хотя последнее нисколько не шло вразрез с общей идеологией среднего дворянства; если вспомнить все это, станет понятно, почему у Хераскова дан восторженный отзыв о Ломоносове, правда, все же уступающий характеристике Сумарокова.

Но этот хвалебный тон в отношении Ломоносова делается более понятным, если обратить внимание на отсутствие в «Discours'e» Хераскова имени «второго Ломоносова»—В. П. Петрова. Если в «Nachricht'e» А. А. Волкова фамилия Петрова не упомянута, это пожалуй можно объяснить тем, что в 1768 г. Петров еще не достиг достаточной популярности. Но в 1772 г., когда Новиков довольно едко подшучивает над «вторым Ломоносовым», т. е. когда Петров является фигурой спорной, вызывающей резкие расхождения, в это время умолчать о нем—значило известным образом демонстрировать свое к нему отношение. В особенности странно это, если заметить, что в «Discours'e», благодаря невключению Петрова, остается как бы пробел в отношении указания на наличие крупных одописцев после смерти Ломоносова и Поповского. Это умолчание о Петрове вероятно не случайно у Хераскова, как не случайно оно должно быть и у А. А. Волкова. Последний очевидно не включил Петрова потому, что не мог (в 1768 г.) видеть в «поповском сыне» достаточно сильного претендента в преемники Ломоносова. А Херасков как типичный (в 1772 г.) представитель среднего дворянства демонстративно пропустил Петрова, этого протеже «знати», поэта, намеренно выдвигаемого в противовес, с одной стороны, Ломоносову, которому после смерти были возвращены симпатии, и с другой—Сумарокову.

Таким образом «Рассуждение» Хераскова представляет любопытное явление в нашей литературной историографии и конечно не должно оставаться в дальнейшем вне поля зрения исследователей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Le combat de Tzesme. Poème en cinq chants, avec un discours sur la poésie russe, composés par Mr. Cheraskoff. Traduit du Russe en Français. MDCCLXXII».— Вышедший в следующем году немецкий перевод озаглавлен: «Die Schlacht bey Tschesme, ein Heldengedicht. In fünf Gesängen, herausgegeben von Herrn Cheraskoff. Nebst einer Rede über russische Poesie, von ebendemselben Verfasser. Aus dem Russischen übersetzt. St. Petersburg. 1773».

[2] «Discours», стр. 12. Кстати указание «Драмматического словаря» 1787 г. (стр. 90, тоже по переизданию 1880 г.) неверно: «Ненавистник» был написан не в 1774, как сообщает «Драмматический словарь», а в 1770 г. (см. «Полное собрание творений Хераскова», т. V, стр. 293), что подтверждается и текстом «Discours'a». Впрочем автор «Драмматического словаря» вероятно был введен в заблуждение опечаткой на титульном листе 1-го издания «Ненавистника» 1779 г. См. В. П. Семенников. «Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова». П., 1921, стр. 20, № 78.

[3] В «Discours'e» упоминается комедия Екатерины «О время», сочиненная в 1772 г.

РАССУЖДЕНИЕ О РОССИЙСКОМ СТИХОТВОРСТВЕ

В происхождении своем стихотворство российское имеет начала, всем народам общие. Славяне, предки наши, провождавшие жизнь свою в предприятиях воинских, покорявшие врагов своих, имея мужей отважных предводителями и соратниками, всего первее прославляли подвиги их в песнях, кои от поколения поколению предавали памятные приключения победоносных рыцарей наших. Доселе сохранились остатки сих творений пиитических, кои повествуют нам о событиях древности. Таковы суть песни об Илье Муромце, о Пирах Владимировых и им подобные. Вкус века их ясно в сих поэмах отражается, и ежели бы сии времена произвели певцов, имени сего достойных, стихотворство наше было бы подлинно во вкусе восточном, в рассуждении повторений, бывших тогда в обычае, мыслей кратко выраженных, наконец, оборота, который придавался им.

Но оружия бряцание, отвсюда раздававшееся и почти никогда не прекращавшееся, глас Муз заглушало. Посреди невежества, кое весь Север и всю почти Европу тогда помрачало, дух сих певцов-воителей

ниоткуда не мог почерпать просвещения; и их творения свидетельствуют лишь о попытках предков наших прославить достопамятные подвиги героев своих.

Сии древние песни полагать позволяют, что воители смиренные, вождям своим преданные, деяния их прелагали в песни, кои пели они для оных увеселения, либо, быть может, для воодушевления других.



М. М. ХЕРАСКОВ

Рисунок Е. Эстеррейха, гравированный И. Чесским (середина 1790-х гг.)
Государственный Эрмитаж, Ленинград

Таковы были стези грубые, коими следовали Музы во времена сии отдаленные, дабы водрузиться в нашем отечестве.

Но вскоре, просвещенные верою христианскою, предки наши умягчили грубость сердец своих и предпочли славе побед блистательных житие покойное и мирное. Тогда песнопения священные повсюду раздаваться стали; книги, святым стихотворством наполненные, были прелагаемы на язык российский; и во время, когда Европы бо́льшая часть славословила бога и обеты ему на языке чужестранном возносила, россияне уже пели песнопения церковные на своем языке и услаждали сердца свои и дух свой чтением книг священных. Псалмы Давидовы, в коих блещет стихотворство божественное, и все священное писание были вскоре весьма изрядно преложены на древний язык славенский. После

сего предки наши всех учителей церкви и певцов священных читать начали.

Здесь отдалился я от истории нашего стихотворства, единственно дабы дать понять, что язык наш к переводу книг важных и глубокомысленных удобен. Есть у нас таковые, которые преложены многие веки назад, и коим поднесь еще удивляются в рассуждении точности их, силы и красоты выражения. Быть может, с того времени могло бы наречие российское более высокой степени совершенства достичь и сим способом нам более легкий путь открыть к сочинению наших творений; однако, слога изящество вдруг в расцвете своем поблекло и от нас сокрылось.

Внезапное татар вторжение удручило мужество россиян миролюбивых и порядок в стране их привело в замешательство. Сладость песнопений священных на время была прервана, разрушены были училища, и дарования предков наших померкнули. Киев, древняя России столица, источник святыя истинны, долгие годы пребывал в разрушении, и хотя в северных пределах Империи службы церковные безвозбранно отправлялись, со всем тем, уж не ищут более украшать слог, но с сердцами, бедствиями угнетенными, прибегая к богу, единственно помышляют мольбами своими гнев его укротить.

В таковом положении Россия почти три века стенала под игом иноплеменников, и тьма изнеможения ее облекла, доколе мужество россиян не воспрянуло вновь. Великие мужи пробудились ото сна и покорили своих поработителей, но сие не было еще временем удобным для просвещения россиян и для отворения им стези дарований. Империя, от варваров освобожденная, нуждалась в необходимых заботах для ведения дел, которые безопасность ее и благоденствие обеспечить могли. Итак почти до начала сего века Музы не дерзали вступить в отечество наше, и науки, которые воцарения Петра Великого ожидали, света своего представить нам не могли.

Однакож, был род пиитов до вступления сего великого монарха на престол и во время его царствования; но творения сих сочинителей только что по имени были стихи. В правление царя Алексея Михайловича все псалмы были преложены стихами, ни меры, ни падения, ни приятности не имевшими и лишь, по обыкновению древних пиитов польских, оканчивались рифмою. Монах Симеон Полоцкий, преложивший псалмы стихами, был, быть может, изобретатель сих безобразных стихов. Он сочинил Плачь на смерть царя Алексея Михайловича и другие творения в таком же вкусе; многие были подражатели в сем роде стихотворства, где правила пиитические ни в каковой мере не соблюдались. Хотя кн. Кантемир и г. Тредиаковский исправили в некотором роде свое стихосложение, но в нем не наблюдается ни сменение стихов мужских и женских, ни полустишия, ни истинная гармония, а в иных случаях им недостает надобного числа стоп. Сии два пиита писали стихами хореическими, но род сей не был еще приведен в совершенство; впоследствии г. Тредиаковский писал подлинными хореями и иамбами и дактилями. Наконец, явился Ломоносов; сей великий муж, столь превосходными дарованиями наделенный, после того как в чужих краях приобрел знания наук важных, чувствуя природную свою склонность к стихотворству, сочинил еще в бытность свою студентом в Галле оду на взятие Хотина в 1739 г. Сие творение, того же года в Россию

посланное, оказало великое сего сочинителя дарование и обучило россиян правилам истинного стихотворения. Оно написано иамбическими стихами в четыре стопы; сменение стихов и мера лирических строф тут точно соблюдены и к чести сего славного пиита признать должно, что сие первое творение есть из числа лучших его од. Перевод, который г. Ломоносов из стихов Г. Ф. В. Юнкера на коронование императрицы Елисаветы в 1742 г. учинил, научил нас сочинению подлинных иамбических стихов александринских. Засим разные его труды, величайшей похвалы достойные, и первее всего оды его, исполненные огня божественного и высоких мыслей, его надписи, его героическая поэма Петр Великий, которую смерть помешала ему завершить, к сожалению его единоземцев, обогатили язык наш, представили нам высокие образцы и имя Ломоносова соделали бессмертным.

В то время, как сей великий муж начертывал путь, к обиталищу Муз ведущий, и закладывал камень краеугольный нашего Парнасса, начал процветать г. Сумароков. Сей показал сперва приятность языка нашего в творениях нежных и страстью исполненных; засим, не имея иного руководителя, как природные дарования, он заставил Мельпомену явиться на Севере и был первый, кто своими трагическими драммами тронул сердца и исторг у нас слезы. Трагедии его являют мощь, сладость, изобилие и величественность наречия нашего: они писаны иамбическими александринскими стихами и составляют честь Парнасса Российского и славу своего сочинителя. Оставляя иногда кинжал Мельпомены, сей славный сочинитель наигрывал на нежной свирели и пока-



Die
Schlacht
bey
Tschesme,
ein
Heldengedicht
In fünf Gesängen;
herausgegeben
von
Herrn Cheraskoff.
Nebst einer Rede über die rußische Poesie,
von eben demselben Verfasser.

Aus dem Rußischen übersetzt.

St. Petersburg 1773.
Gedruckt und verlegt in der Buchdruckerey
des Kaiserl. adel. Ingen. Kadett. Korps,
bey J. K. Schnoor.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ М. М. ХЕРАСКОВА

„Чесмесский бой“ с его статьей о русской поэзии (1773 г.)

Библиотека Академии Наук СССР, Ленинград

зывал чистоту нашего языка в своих еклогах. Иногда, без иных каких украшений, нежели простота приятного слога, забавный и острый, сочинял басни, равные Лафонтеновым. Иногда пленял он сердца чарами Анакреонтовыми и во всех родах являл свойственную ему способность и гибкость языка нашего. Словом, творения г. Сумарокова снискали ему похвалы и признательность его единоземцев.

С тех пор, как были заложены основы вкуса изящного в российской словесности, любимцы Муз развернули свои различные дарования, которые Парнасс наш обогатили. Г. Ржевский отличился жалобливыми елегиями, трогал чувствительные сердца, чистым слогом движения страстей рисовал и оплакивал страдания любви несчастливой.

Когда лира покойного г. Ломоносова возносилась в небеса, восхищая души наши; когда г. Сумароков заставлял на сцене российской стенать Мельпомену и с неподражаемой приятностью пел полевых нимф, покойный г. Поповский слогом чистым и высоким переводил в стихах оды Горация и Опыт о человеке Попе. Сей последний труд наипаче заслужил ему истинное титло и славу изрядного пиита, и ежели бы оный аглицкой философ мог видеть сей перевод, он непризнал бы его. В то же время г. Майков сочинил забавную поэму под титлом Игрока ломбера и показал, что язык наш и к творениям шуточным применяется. Засим дал поэму Раздраженный Вакх и явил нам Скаррона своими чертами находчивыми, живыми, занимательными и своими забавными выдумками.

Итак, сказать можно, что язык наш равно удобен для слога важного, возвышенного, нежного, печального, забавного и шутливого. Покойный г. Барков наипаче в сем последнем роде отличался. Наши иамбические стихи разнятся, быть может, от иамба, изобретенного Архилохом; но в них есть сила, падение и мера, Музáми германскими в их песнопениях соблюдаемые. Наш хорей и дактиль таковы же суть, как у древних поэтов латинских.

Что же принадлежит до комедий, то г. Сумароков, во всех почти родах стихотворства упражнявшийся, первый в России открыл училище Талии. Сочинил много комедий прозою, а за ним г. Фон-Визин сделал таковую же весьма изрядную, в коей собственно нравы российские изобразил. Многие из сочинителей наших упражнялись в сем роде и наипаче г. Александр Волков и г. Лукин.

Не так давно безымянной сочинитель по заслугам снискал похвалы общества за комедии свои, из коих первая названная О время! уже играна и напечатана; драммы сего сочинителя суть числом пять, писаны прозою. Театр наш давно уже ожидал комедий в стихах, дабы убедиться, свойственно ли языку нашему стихосложение комическое. Сие ожидание удовлетворено, и комедия в стихах под титлом Ненавистника вскоре представлена будет на нашем театре.

Язык российский удобен также и для оперы героической и комической, чему довольные доказательства уже давно имеются.

Кроме писателей, только что мною исчисленных, имеется довольно молодых сочинителей и дам, в стихотворстве упражняющихся, коих творения достойны быть переведены на языки чужестранные, дабы изъявить яснее природное дарование и красоты нашего стихотворства.

О Б З О Р Ы

ЗА ИЗУЧЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА

Обзор Г. Гуковского

I

За последние годы в нашем литературоведении замечается некоторое (хотя и слабое) оживление интереса к русской литературе XVIII в. Укажем например такие факты. В созданной по инициативе М. Горького и под его редакцией серии «Библиотека поэта» (Издательство Писателей в Ленинграде) вышли в свет избранные стихотворения Державина и сборник «Ироикомическая поэма XVIII—начала XIX вв.», выходит сборник стихотворений Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова. Затем Издательство политкаторжан и ссыльнопоселенцев предприняло издание полного собрания сочинений Радищева в трех томах. Впрочем это оживление не изменяет того положения, что история литературы этой эпохи—наименее разработанная область литературоведения. Издавна установилось такое соотношение сил в науке, согласно которому вся и все изучает литературу XIX в. и текущего столетия, а художественная продукция эпохи Ломоносова и Державина привлекает внимание немногих оригиналов, любителей антикварных и ветхих вещей, книголюбов или же закоренелых библиографов, для которых самая отдаленность этой эпохи представляет обильные возможности разрешения библиографических загадок. Вся история новой русской литературы оказалась как бы разделенной на два больших периода, на грани которых стал Пушкин. Получилось так, что даже среди многих литературоведов-словесников канонизовалось невежество относительно русской литературы XVIII в., воспринимаемой как еще «не настоящая» литература в отличие от подлинной литературы, народившейся лишь в третьем десятилетии XIX в. или, в лучшем случае, начиная с Жуковского.

Еще прежняя царская школа задушила возможность активного переживания литературы XVIII в., и традиция отношения к этой литературе как к школьному старому хламу держится крепко. Даже самые выдающиеся произведения XVIII в. так прочно связались в сознании читателя с представлениями о школьной пыли, о мертвенном, далеком от творческой активности, неловком виршеплетении плохо владеющих языком варваров, что он не видит никаких импульсов к тому, чтобы проверить традиционное представление.

Нет необходимости доказывать, насколько недопустимо такое забвение целого почти столетия литературной жизни, целого ряда крупных, замечательных писателей, такое наивное отношение к Пушкину и к его эпохе, как к началу русской литературы, до тех пор влачившей жалкое существование и вот теперь, именно с гением Пушкина, вдруг оформившейся и вышедшей на арену истории. Нет нужды конечно и в разъяснениях того, в какой мере несчастное предубеждение, низводящее литературу XVIII в. до положения только лишь подготовки настоящего искусства, основывается на произвольных эстетических оценках, преходящих и давно устаревших вкусах, на полной неосведомленности и удивительном консерватизме, заставляющем некоторых критиков, ученых и их читателей повторять принятые без проверки, без попытки переосмысления или хотя бы некоторого ремонта суждения литераторов и исследователей «доброго старого времени». Та же леность мысли, которая приводит к бесконечным перепечаткам одного и того же выбора стихотворений в большинстве поэтических хрестоматий за целый ряд десятилетий, приводит и к канонизованным учебниками спискам «признанных» писателей, странствующим без изменений от Галахова до Назаренки; эта застывшая иерархия ценностей, давно забывшая о том, кто ее создал и какому мировоззрению она соответствует, изгнала поэзию XVIII столетия из «хорошего общества» литературы последующих эпох [1].

Плохо при этом то, что наука наша распределяет свои силы неравномерно и почти произвольно. Десятки работников изучают Пушкина, разбирают его по косточкам, не видя леса из-за деревьев; на долю его предшественников не остается почти ничего. Тут не поможешь ссылками на «актуальность» Пушкина и «неактуальность» Державина. Кто судил о Державине, если читатель не знает Державина?

Неужто двое критиков или литературоведов решают за всю эпоху? Неужто найдется человек, способный утверждать, что Державин, величайший поэт целого столетия, вовсе не интересен нашей современности? Такое утверждение было бы по меньшей мере произвольно. Чтобы выбрать из богатства прошлого то, что нужно современности, необходимо прежде всего знать это прошлое. Нужно ли доказывать необходимость изучения культуры прошлого, в частности изучение крепостнической и антикрепостнической культуры в эпоху расцвета крепостничества?

Между тем пробелы в знаниях о XVIII в. действительно очень велики. Отсюда и власть предрассудков, опровергнуть которые способно только исследование материала, приведение его в известность и в некоторую систему. Пока же этого нет, пока наука не занялась или почти не занялась разработкой огромных фондов литературы допушкинской поры, все еще будут иметь силу огульные рассуждения о подражательности русского «ложноклассицизма», о том, что он «не самобытен», т. е. не выражает русской жизни и русского общества, что поэзия Ломоносова, Сумарокова и др.—только список с поэзии французского классицизма и т. п. Вместе с этой «теорией», разлетающейся конечно на куски при первой же проверке фактами, все еще будет держаться в умах не менее бессмысленное в методологическом отношении мнение о литературе века как о сплошном недиференцированном монолите схоластических упражнений, лишенных мировоззрения, искусственных и отвлеченных от реальной жизни и личного характера автора. Последнее—очень важно. Критика второй половины XIX столетия мыслила всякое литературное произведение как выражение личности автора, свободного индивидуального характера. Говоря о произведении, она неизменно говорила о характере автора и о сумме его личных мнений, составлявших его «направление». Ничего другого она чаще всего не могла усмотреть в произведении. Ей нечего было делать с поэзией, законом которой был не буржуазный индивидуализм, а рационалистическая концепция прекрасного, понятого вне зависимости от времени и места. Как раз единичной личности и не было в стихах Ломоносова и Сумарокова, как не было в них автобиографизма или стремления противопоставить свою систему художественных средств (выражение своего душевного строя) системе всякого другого поэта. Поэты русского классицизма (если мы обозначим этим наименованием условно-дворянскую литературу середины века) строили свое творчество, исходя из отвлеченных рационалистических концепций прекрасного, но конечно именно эта система эстетического мышления выражала их социальное сознание. Они писали о любви вообще, об отвлеченной морали, обосновывая свою художественную манеру не личным (будто бы внеобщественным) вкусом, а например законом жанра как одной из схем закономерно должного в искусстве. Но ведь именно самое существо этого императива рациональной закономерности, именно характер этой отвлеченной морали и самый принцип ее отвлеченности отчетливо осмысляет каждое из произведений русского классицизма мировоззрением общественной группы, творившей его. Люди, создававшие искусство в середине XVIII в., по своему социальному и мировоззрительному облику слишком отличались от тех, которые руководили литературной мыслью капиталистической России. Они говорили на разных языках, и поэтому многие яркие, иногда самые значительные произведения XVIII в., создававшие для читателя своей эпохи целый комплекс сложного миропонимания, вооружавшие его в социальной борьбе, оставались нередко совершенно непонятны, закрыты для критиков следующего столетия, взрощенных иной эпохой, иными социальными силами. Они искали смысла и содержания, не умели найти его и объявляли непонятые произведения просто лишенными смысла, пустыми упражнениями виршеплетов или, в лучшем случае, экспериментами в области языка. Чаще же всего они обходили молчанием эти произведения, потому что им попросту нечего было сказать о большинстве литературных фактов эпохи классицизма,—и они делали вид, будто бы этих фактов не было или они не входят в круг явлений художественного творчества. Таким образом огромная масса поэтической продукции целого столетия оказалась вне поля зрения не только критики, но и науки.

Я не могу конечно остановиться здесь на вопросе о художественном мировоззрении различных социальных групп, воплощавшем те или иные течения русской литературы XVIII столетия. Для меня существенно отметить здесь, что неосведомленность нашей науки и критики в области русской литературы XVIII столетия в значитель-

ной мере объясняется исторически порочным наследием слепоты литературного сознания эпохи буржуазного индивидуализма к фактам, порожденным другой системой мысли, выросшей в условиях другой социальной обстановки. Я указал один пример—вопрос об отвлеченности в эпоху классицизма; разумеется литература XVIII в. не исчерпывается продукцией школы классицизма, как не исчерпывается и вообще творчеством дворянства и для дворянства. Однако характерная слепота буржуазной литературной мысли XIX столетия по отношению к явлениям, не подводимым под элементарные рубрики, выработанные либерально-буржуазным мышлением, распространяется естественно почти на все произведения, школы, течения русского искусства доромантической поры. Едва несколько отдельных книг (среди них, к счастью, гениальное произведение Радищева) избежало общей участи. Все же остальное слилось в сознании людей типа Пыпина, Булича или же Незеленова в одну серую массу, в которой не различишь ни отдельных группировок, ни творческих индивидуальностей.

Так и по сей день широко распространено представление о том, что вплоть до «сентиментализма», до Карамзина, в России крепко и неизменно держался «ложноклассицизм», как нечто, на протяжении 60 лет не подвергавшееся действию времени. Так и по сей день даже Державинская «Ода на смерть князя Мещерского», произведение, нанесшее сильнейший удар поэтике классицизма, трактуется как одно из характерных проявлений этой поэтики. Вся сложная история борьбы, союзов, столкновений, разногласий и объединений социальных и литературных сил от 30-х до 90-х годов XVIII столетия слишком часто игнорируется.

Между тем времена Булича и Пыпина прошли. Научные методы и мировоззрение раннего буржуазного либерализма давно отошли в прошлое. Слепота и узость взглядов той эпохи не могут уже быть законом для нашего времени, и мироощущение буржуазного индивидуализма должно быть преодолено нами. Будь это так, весь сложный мир искусства XVIII в. открылся бы нам, конечно отнюдь не на правах солидарности с нами, но на правах истории, чуждой нам, но значительной.

В связи с изложенным стоят две характерные особенности, свойственные научной литературе о XVIII в. Боязнь концепций, построенных на материале, еще слишком мало исследованном, боязнь углубления в толщу этого материала приводит некоторых «осторожных» ученых к некоему научному крохоборчеству. Они вырывают из моря малоизвестных фактов и имен какой-нибудь фактик, более или менее незначительный, какой-нибудь отдельный вопрос, вопросик, штрих и подвергают его микроскопическому исследованию, чаще всего библиографического характера. Выбор материала неизбежно оказывается случайным. Рядом с данным вопросиком стоят десятки больших вопросов, на которые исследователь закрывает глаза. Он только собирает материал, и собирает его может быть тщательно, но беда в том, что сам по себе материал научно аморфен, что, не будучи освещен и осмыслен той или иной общей концепцией, он не имеет значения даже научного факта, он как бы не существует, потому что неясно, каково его значение, как он вообще относится к истории и к искусству, в котором все живет лишь постольку, поскольку значит что-либо, осмысляется.

Собирание фактов впрок—задача тщетная как потому, что концепция никогда не строится путем сложения фактов, так и потому, что ученый, созидающий концепцию, чаще всего сам собирает для себя материал, не надеясь на полноту случайных справок и справочек, данных ему литературоведами-крохоборами. Так все эти отдельные кусочки, выдернутые из массы неизвестного материала, все эти публикации писем Карамзина (по одному письму), или какой-нибудь мелочи из биографии Н. Львова (а все почти поэтическое наследие этого замечательного писателя до сих пор не издано), или соображения насчет авторства какого-нибудь малосущественного стихотворения (а десятки стихотворений Богдановича до сих пор не опознаны на страницах журналов) остаются лежать мертвым грузом и покрываются пылью на страницах специальных ультра-академических изданий, воскресая лишь изредка в виде ссылок в комментарии тщательного библиографа, стремящегося блеснуть полнотой своей эрудиции. Что ж, и это полезно, и это необходимо. Трудно иметь что-либо против даже крайнего библиографического крохоборчества, только бы оно не величалось званием науки и не заслоняло собою неотложной задачи в самом деле привести в известность всю основную массу, поднять всю целину литературы XVIII в. Наоборот, работы, зараженные пороком безответственного порханья поверх фактов и легковесных обобщений, сделанных на основе нескольких случайных сведений о малознакомой автору эпохе, без сомнения вредны.

В мою задачу входит обозреть результаты работ нашего литературоведения, поскольку оно занималось исследованием истории литературы XVIII столетия.

Я считаю возможным ограничиться при этом обзором научной продукции за последние 3—4 года, останавливаясь лишь на наиболее характерных явлениях в этой области.

II

Особенности научного творчества, характерные для данной дисциплины, естественно наиболее полно и отчетливо могут быть продемонстрированы на материале общих, суммарных работ, охватывающих в связном изложении всю проблематику данной области знания. В таких работах как бы подводится итог результатам усилий отдельных исследователей. Опираясь на все добытое предшественниками, авторы общих курсов, справочников или общих очерков предоставляют читателю возможность и право судить по материалу, сведенному в них, о качестве и количестве научной добычи в пределах взятой ими темы.

Понятно, что и самый обзор научной литературы удобнее всего начинать именно с общих очерков, справочников и курсов.

Как будто нарочно для удобства обозревателя за последнее время на книжном рынке появились работы, представляющие все три главных разновидности суммирующих и подводящих итог научных жанров, указанных выше, в применении к истории литературы XVIII в. С одной стороны, мы имеем опыт общего очерка, essai, стремящегося как бы свести все многообразие литературного опыта столетия к простому, отчетливому рисунку исторического процесса, стремящегося дать яркую характеристику целой эпохи развития литературы несколькими крупными, выразительными штрихами. Рядом с произведением этого трудного научного жанра, приближающегося иногда к манере художественной критики, мы можем воспользоваться выходящим уже с 1929 г. и имеющим выходить впредь общим литературоведческим справочником, поскольку на его страницах кое-какое внимание уделено русской литературе XVIII в. Наконец существенное значение в истории науки не может не сыграть обширный курс истории русской литературы, представляющий опыт более или менее полного, детального и систематизированного свода всех сведений, взглядов и теорий, составляющих актив науки последних десятилетий; второй, и к сожалению последний, вполне законченный автором том этого курса посвящен на добрую половину именно XVIII в.

Следовательно мы имеем полную возможность, присмотревшись к указанным трем научным сочинениям, составить достаточно обоснованное суждение о результатах, итогах научного творчества последних лет в интересующей нас области. Остается назвать эти три сочинения; я имею в виду, во-первых, статью академика А. В. Луначарского «Русская критика от Ломоносова до предшественников Белинского», открывающую первый том коллективного труда под названием «Очерки по истории русской критики» (ГИЗ, 1929), во-вторых, «Литературную энциклопедию» (в части статей о литературе XVIII в.) и, в-третьих, труд покойного академика П. Н. Сакулина «Русская литература».

Название обширной статьи акад. Луначарского конечно не соответствует ее содержанию; это название слишком узко. Автор не только не ограничивается изложением судеб русской критики до Белинского, но дает в своей работе, занимающей 75 страниц в большую осьмушку, экскурсы и в область западноевропейской литературы эпохи классицизма. Статья предлагает читателю как бы общий взгляд на русское литературное движение до 20-х годов и на этом широком фоне рисует некоторые моменты в развитии русской критики или, вернее сказать, в эволюции литературного мировоззрения, потому что о критике, как таковой, в статье сказано не много.

Как же ставит А. В. Луначарский вопрос об общем характере литературы XVIII в., каково его отношение к этой литературе как к этапу истории русской литературы и социального творчества вообще?

Начну с некоторых цитат; А. В. Луначарский приступает к своей теме: «Статья, которую я взял на себя в этом сборнике, должна проследить возникновение и развитие русской критики, некоторый ее период, который можно назвать детским, а в последней стадии в лучшем случае—отроческим. Несмотря однако на естественную слабость мысли в этот начальный период, его нельзя считать мертвым для нас» (стр. 9). Это о критике. Далее речь идет и о всей литературе в целом: «Век Екатерины явился, в сущности, эпохой возникновения нашей сознательной литературы и критики. Литература и критика до Ломоносова представляет собою лепет, так сказать, доисторический, младенческий период, а век Екатерины или, вернее сказать, Ломоносова (NB!) можно считать детством нашей литературы» (ib.).

В других местах статьи говорится например так: «...красоты французского классицизма, который так долго и так напрасно шельмовался «псевдоклассицизмом»,

отсутствовали в подлинно ложном классицизме России. Оды и трагедии были порождены в России исключительно требованиями пышности. Пышнословие это чрезвычайно редко, разве только у Ломоносова в иные религиозно-философские моменты, согревалось хоть каким-нибудь чувством, освещалось хоть какой-нибудь мыслью» (стр. 16—17)...

Расправившись с литературой в целом, автор статьи «критикует» отдельные жанры и отдельных поэтов: русская трагедия для него «сугубо уродлива» (ib.). «Хотя до Державина ода, за исчезающими исключениями некоторых од Ломоносова, представляет собой надменную чепуху, хотя трагедия вплоть до Озерова (с большим сомнением и относительно Озерова) представляет собою бездушную галиматью и обезьянье передразнивание иностранцев,—все же и ода, и трагедия были не только предметами гордости со стороны нуждавшегося в их блеске двора»... (ib.) и т. д.

Или так: «... сколько бы морали ни содержалось в додержавинской литературе, все равно пить этот ужасный квас с примесью заграничного уксуса можно было только скрепя сердце, в иллюзорном сознании крайней его полезности»... (стр. 24) и т. д. «Гений Пушкина принудил читать, и читать с наслаждением, людей, которые до сих пор считали (и отчасти справедливо) литературу на русском языке каким-то провинциальным кропаньем»... (стр. 32).

О Сумарокове: «Если вся литература екатерининского времени вообще стояла невысоко, если произведения, отличающиеся более или менее преходящими художественными достоинствами, могут уместиться в один небольшой томик, то нужно прямо сказать, что ни одно произведение Сумарокова в этот томик не попало бы. Его трагедии абсолютно неудобочитаемы... Так же точно и лирика Сумарокова чрезвычайно слаба... Поэзия Сумарокова стоит на равном расстоянии от Ломоносова вверх и от Тредьяковского вниз... Сумароков... величайший трагик времени—живет только как историческая фигура или как курьез» (стр. 39—40).

Однако довольно! Во всех этих и подобных этим суждениях и размышлениях автора статьи печально даже не то, что они представляют собою совершенно неудержимый оценочный импрессионизм. Конечно А. В. Луначарский волен одобрять или не одобрять любое литературное произведение; конечно ни Ломоносов, ни Сумароков, ни Державин, ни даже Озеров вовсе и не нуждаются в одобрении того или иного ученого. Все это так, но все это еще не страшно. Не самое тяжелое при этом и то обстоятельство, что оценки исследователя ничем не обоснованы.

Для него весь XVIII век—лишь подготовка Пушкина. Язык XVIII века—еще необработанный, дикий язык. «Конечно,—пишет он,—русская классика представляла собою нечто в высшей степени жалкое. Даже Державин, величайший ее представитель, должен был бороться еще с крайне неуклюжим языком и носил на себе печать известной дикости» (стр. 72).

С чьей точки зрения язык Державина неуклюж? Для ряда поколений читателей это был шедевр словесного творчества. Неужели же мы должны бранить «Слово о полку Игореве» только за то, что автор его говорит «комони» а не «кони».

Всякая литературная эпоха обязана чем-то своим предшественницам. Однако это не дает нам права рассматривать Расина только как предтечу Вольтера или тем более Виктора Гюго. Ломоносов и Державин творили вовсе не для того, чтобы подготовить почву и разработать язык для Пушкина, а для того, чтобы выразить определенное мировоззрение и организовать определенную социальную практику, что им и удавалось вполне. Порукою их удачи служит вся литература XVIII в. Почему же эпоха Ломоносова или Державина—младенчество русской литературы? Неужели только потому, что поэты этой эпохи творили иначе, чем Пушкин? Выходит так, что от Кантемира и вплоть до середины XIX в. тянется одна прямая линия учебы; сначала поэты совсем не умели писать, потом стали писать получше, потом совсем недурно, наконец—в эпоху Пушкина—хорошо. Такое объяснение противоречий, этапов, разнообразия форм и мировоззрений, составивших литературную борьбу на протяжении ста лет, вряд ли можно считать научным.

Я не собираюсь здесь защищать Сумарокова и других от А. В. Луначарского. Достаточно было бы указать на огромное влияние, которое оказало творчество Сумарокова на дворянскую литературу его эпохи, на то, что он как бы повернул ход истории русской литературы в новое русло, на то, что он наиболее ярко осуществил в слове определенный этап классового самосознания и практики дворянства (вернее ведущей в то время группы дворянства); достаточно было бы привести хотя бы несколько цитат из суждений о нем современников, чтобы убедиться в необоснованности презрительной резолюции А. В. Луначарского. Повторяю, дело не в отдельных оценках. Дело в том, что А. В. Луначарский искренне верит в Пушкина как сочинителя и творца русской литературы, до которого существовало лишь вар-

варство или, в лучшем случае, робкая подготовка того же Пушкина, конечно свалившегося с неба; как будто история литературы того или иного общества, существующего в течение длительного периода времени, может где-то неожиданно начинаться, как будто общество может существовать без литературы или как будто целое столетие, отмеченное напряжением социального творчества ведущих общественных групп, может довольствоваться плохой литературой, удовлетворяясь ролью подготовителя имеющего притти поэта, ролью библейского пророка.

В одной старой французской пьесе, действие которой отнесено к XIII в., герой говорит: «Мы, люди средних веков»...

По Луначарскому весь XVIII век обладает таким же даром провидения и такой же исторической скромностью, как этот трагический герой.

Разделяя предрассудок донаучной стадии нашей критики о «младенчестве» искусства XVIII в., предрассудок, который науке нелегко оспорить именно вследствие его вненаучности, А. В. Луначарский конечно повторяет и застарелые суждения о подражательности литературы эпохи классицизма. Больше того: в разбираемой статье «идея» об отсутствии «самобытности», об искусственности и подражательности русского классицизма, имевшая значение лишь в пору полемики вокруг понятия самобытности и продвижения идеи ценности единичной личности, представлена в крайне суженном виде.

Я уже приводил цитаты, в которых А. В. Луначарский то готов признать, что русская литература до Пушкина была провинциальным кропанием, то объявляет все трагическое творчество почти целого столетия «передразниванием иностранцев». Сумароков по его мнению «прежде всего подражатель, обезьяна Запада»; он «передразнивает Францию»... он—«наиболее рабский подражатель западно-придворных литературных форм». Или так: «Классицизм наш был так же завозный, как меблировка дворцов императриц и вельмож, позаимствованная в Париже» (стр. 73 и др.).

Тщетно было бы искать в разбираемой статье материалов, фактов, подтверждающих такие решительные суждения; они позаимствованы у критики доброго старого времени без проверки. Тщетно было бы также искать принципиального разъяснения вопроса о том, как это может быть, чтобы общественная группа одной страны, отъединенной специфическими чертами своего бытия от других стран, проходящей те же этапы исторического развития, но в иные сроки и в существенно своеобразных формах,—чтобы она жила искусством, целиком повторяющим искусство этих иных стран, созданное притом иными социальными группами.

Не говорю уже о том, что утверждение о «передразнивании» Франции поэтами русского классицизма страдает недопустимой неопределенностью, так как опирается на представление о французском классицизме, как о чем-то едином и неподвижном на протяжении 150 лет.

Кроме того, если Ломоносов подражает западному классицизму (допустим, что такой единый классицизм существует), то значит Сумароков уже безусловно не подражает ему, поскольку Ломоносов и Сумароков—поэты, социальное и художественное мировоззрение которых, так же как самый творческий метод их, в значительной мере несовместимы. То же еще в большей мере относится например к Державину, отменившему самые основы художественного мышления и творчества обоих своих предшественников.

Конечно если бы автор статьи попытался дать хоть в общих чертах ответ на вопрос о том, что же такое русский классицизм, каковы его характерные черты, если бы он несколько остановился на изучении фактов, сюда относящихся, то сразу же оказалось бы, что русский классицизм связан с различными проявлениями западного классицизма общностью мировоззрительных и социальных основ и рядом общих черт творческого метода, но это ни в какой мере не дает нам права говорить о его подражательности, как неорганическом бытии, искусственности, так же как не дает нам права не замечать существенных характерных черт его, отличающих его от его западных собратьев. В самом деле, даже незначительной доли внимания к художественной продукции русских писателей XVIII в. было бы достаточно для того, чтобы убедиться в своеобразии русской литературы этой эпохи. Иного мы и не могли бы ожидать, даже рассуждая априорно, исходя из общего представления о литературе, как о социальном творчестве, а не шляпе, которую может надеть кто угодно,—французский ли «горожанин» XVII в. или же русский помещик, живущий на сто лет позднее.

Естественно, что при чтении статьи А. В. Луначарского не может не возникнуть такой вопрос: каким образом случилось, что такой ученый, как Луначарский, достаточно зарекомендовавший себя среди широких читателей, взявшись за изображение русской критики и литературы XVIII в., как бы подчинился совершенно порочной

научной и критической традиции, почему он не смог освободиться от пут этой традиции? Позволим себе высказать предположение, что причина этого именно в малой изученности самого материала, на котором он работал в данном случае, приведшей и к неубедительности изложения некоторых отдельных вопросов.

Укажу некоторые показательные в этом отношении мелочи.

На стр. 40 своей статьи А. В. Луначарский рассказывает: «Еще недавно мне пришлось прочесть трагедию Вольтера «Магомет» в переводе Ломоносова. Несмотря на большую тяжесть языка, в переводе Ломоносова есть места, блистающие несколько аляповатой, но несомненной великолепностью. При всей неуклюжести есть все-таки какое-то движение. Попадаются курьезные речения, которые однако, при воспоминании обо всем стиле этой эпохи, не ставишь в вину автору». Какой подробный отзыв, но о чем?

Нет нужды напоминать читателю, что никакого такого перевода «Магомета» не существует. (Трагедия Вольтера «Магомет» была переведена на русский язык впервые через 30 с лишним лет после смерти Ломоносова П. С. Потемкиным, издана в 1797 г., а потом переведена вторично Н. Ф. Остолоповым и издана в 1810 г. Что же касается Ломоносова, то он написал две оригинальные трагедии—«Демофонт» и «Тамира и Селим».)

Еще мелочь. На стр. 52 автор пишет о Владимире Лукине, драматурге 60-х годов XVIII столетия, что он, принадлежа к кругу близких Новикову по образу мыслей людей, не простил ему сплошного восхваления всех писателей в его словаре,— «и в интересной книжечке «Рассуждение о Дельфине—романе госпожи Сталь»— не назвавший себя в то время острый Владимир Лукин подверг новиковский хвалебный перечень всяческому осмеянию». Далее идет цитата из книги, которая не могла быть написана Лукиным, уже хотя бы потому, что он умер за 9 лет до того, как была издана «Дельфина» (1803).

(Книжка, о которой идет речь, называется так: «Рассуждение о Дельфине. Сочинение г-жи Сталь Голстейн. Перевод с французского. В СПБ. При губернском правлении. 1803». О новиковском словаре говорится в предисловии переводчика.)

И вот, обладая такими-то сведениями о Лукине, автор находит возможным заниматься истолкованием его творчества! Неясно также, почему Лукин, обруганный с редким ожесточением в журналах Новикова, последовательно травимый им, оказался в изложении А. В. Луначарского близким по образу мыслей тому же Новикову.

А. В. Луначарский сравнительно подробно останавливается на характеристике взглядов Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Крылова. Я не скажу ничего о расплывчатости, внеисторичности этой характеристики, но я не могу не отметить затруднительность самой задачи формулировать взгляды и выяснять историческое значение трудов литературных деятелей, сведения о которых, имеющиеся в распоряжении автора, слишком неточны. О Ломоносове речь уже шла выше. Прибавлю, что акад. Луначарский полагает, будто Ломоносов «первый пытался пробиться к народному языку» (стр. 32). Если попытаться уяснить, что имеет в виду автор, говоря о народном языке (термин весьма неопределенный), то окажется, что речь идет о говорном, может быть даже крестьянском, во всяком случае—языке диалектическом, которому суждено было «питать язык литературный». Трудно более поклепать на память Ломоносова, создателя, теоретика и пропагандиста именно «литературного», высокого, отрешонного от обыденности языка, резко различавшего язык искусства, вообще язык высокого назначения, от языка «низов», «подлого» языка.

А. В. Луначарский цитирует Сумарокова: «Счастливы те,—восклицает он (т. е. Сумароков.—*Гр. Г.)* в своей эпистоле о стихотворстве,—которых искусство не ослепляет и не отводит от природы»... и т. д. (стр. 44). Не могу не напомнить, что эпистола «о стихотворстве» Сумарокова, произведение, основополагающее для литературы и критики целой эпохи, перепечатанное, цитированное и изложенное неоднократно даже и в науке последних десятилетий, произведение, почти что школьно известное,—как и полагается всякой эпистоле, написано в стихах. Что же касается приведенной исследователем цитаты, то она взята из статьи Сумарокова «О стихотворстве камчадалов» (первоначально в «Трудолюбивой пчеле» 1759 г., затем—в собрании сочинений, т. IX).

А. В. Луначарский приводит на стр. 45 своей работы еще одну цитату из Сумарокова. Потом, на следующей странице, он говорит: «Курьезно конечно, что в то время, как Ломоносов практически достигал иногда именно этого парения в одах, а скучный темпераментом, узенький Сумароков никогда к этому не поднимался,— теоретически Сумароков мог все-таки бросить Ломоносову упрек в риторике, в не-

достатке чувства». А. В. Луначарскому хочется опять выбранить ненавистного ему Сумарокова; ему непонятно при этом, как это Сумароков порицает Ломоносова за «пухлость», за риторику, за «надутость», а сам не допускает ее в своих одах. Что ж тут непонятного?

Далее: «Тредьяковскому чрезвычайно хотелось уязвить Сумарокова, и поэтому он решил, что Сумароков переборщил в нападении на Ломоносова... Тредьяковский язвительно пишет: «и хотя-ж оды свойство»... и т. д.

Все идет как по маслу: Сумароков обругал Ломоносова, Тредиаковский возразил Сумарокову. Однако проверим даты. «Возражение» Тредиаковского написано в 1750 г.[2] и никакого отношения к Ломоносову не имеет, а заметка Сумарокова, о которой идет речь, написана в 1774 г.—через пять лет после смерти Тредиаковского. Кстати заметка эта помещена в примечании (уведомлении) Сумарокова к его переводу IV олимпической оды Пиндара[3].

На стр. 24 статьи А. В. Луначарского мы узнаем, что «Державин начал доставлять истинное удовольствие, чего до него достигали разве только комедии Фонвизина и сатиры Крылова». Не говорю уже о достойных сожаления читателях русской литературы 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов XVIII в., все читавших и читавших русские книги и не имевших возможности получить от них удовольствие; с ними А. В. Луначарский расправился легко, но Крылов не укладывается в его статью. Если мы даже догадаемся, что речь идет о его сатирических статьях, то почему же они оказались известны жадному до удовольствий и не получавшему его читателю ранее державинских од? Ведь «Фелица» написана в 1782 г., издана в 1783 г., «Ода на смерть кн. Мещерского» издана в 1779 г., «Благодарность Фелице»—в 1783 г. и т. д., а сатирические статьи Крылова относятся к 1789—1793 гг.

О самом Крылове А. В. Луначарский также сообщает весьма и весьма неточные сведения; например на стр. 57 он говорит, что Екатерина II бросила Крылова в каземат, чего в действительности не было; в высшей степени странные и неточные сведения дает А. В. Луначарский о «Беседе», о Шишкове и о целом ряде других писателей конца XVIII века.

Я не буду говорить о том материале, который использовал А. В. Луначарский в своей статье, тем более о том материале, который он в ней не использовал. Замечу только, что остается непонятным, почему рядом с Крыловым, Сумароковым, Тредиаковским, Ломоносовым особое внимание уделено Лукину, которого лишь с натяжкой можно назвать критиком (он был драматургом и говорил о своих взглядах в предисловиях к комедиям, но о других писателях говорил скупо), а целому ряду критиков XVIII в. вовсе не уделено ни слова. Назову М. Н. Муравьева, С. Г. Домашнева, И. Богдановича, А. Клушина. На таком же основании, как о Лукине, следовало бы поговорить о литературных взглядах например Ф. Эмина, Н. Львова, Капниста и других. Выбор материала, сделанный Луначарским, производит впечатление случайности. Он не говорит даже о взглядах на литературу Радищева и Новикова, заявляя, что «они как критики ничем себя не проявили, за исключением того только, что Новиков издал «Опыт словаря российской литературы», представлявший собою однако отнюдь не критику, а сплошной комплимент, сплошное восхваление всех писателей и писак того времени» (стр. 52). Едва ли можно согласиться с А. В. Луначарским. «Опыт словаря» Новикова—первая и очень важная книга по истории русской литературы; кроме того в новиковских сатирических журналах заключено много материала, относящегося к теме статьи А. В. Луначарского, хотя бы например полемика с Лукиным. Радищев же написал специальную статью («Слово») о Ломоносове, помещенную им в «Путешествии из Петербурга в Москву», посвятил вопросам литературы главу «Тверь» в той же книге и значичительную часть своей статьи «Памятник дактило-хореическому витязю» посвятил соображениям о Тредиаковском.

Эрудиция А. В. Луначарского известна. Просматривая его многочисленные и разнообразные работы, удивляешься прежде всего обилию знаний автора. Тем более показательно для всей науки о XVIII в. то обстоятельство, что ученый, столь осведомленный в других областях литературоведения, оказался во власти материала, как только он подошел к литературе XVIII в. Нет сомнения в том, что и он сам признает себя побежденным этим материалом[4]. Между тем авторитет А. В. Луначарского может в данном случае оказать дурную услугу науке. «Каземат», в который якобы был брошен Крылов, и тому подобные соображения о нем из статьи А. В. Луначарского попали в виде цитат в статью А. Цинговатова о Крылове, напечатанную при Полном собрании его басен в 1931 г. (ГИХЛ, Дешевая библиотека классиков. Школьная серия).

В статью о русской критике, помещенную в «Литературной энциклопедии», издании, имеющем широчайшее распространение, также проникло кое-что из статьи Луначарского.

Более шести столбцов обширной статьи о русской критике в «Литературной энциклопедии» посвящено эпохе классицизма [5]. Здесь характеризованы те же деятели, что в статье Луначарского—Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, Лукин (очень подробно), Крылов; характеристика отчасти совпадает с той, которую дал Луначарский, отчасти дана от себя. Краткость изложения в особенности ярко выявляет недостаточную обоснованность и расплывчатость таких например утверждений: «Ломоносов является выразителем буржуазных тенденций в общественном развитии». Автор заявляет, что Ломоносову «помешало занять четкую классовую позицию» то обстоятельство, что он, будучи сыном зажиточного рыбака, стремился приблизиться к высшему обществу, оно же держало его на известном расстоянии от себя. Этим и объясняет автор то, что Ломоносов «был не в силах порвать со славянщиной». Вся эта характеристика, помимо того, что она страдает крайним индивидуалистическим биографизмом, мало подходит к Ломоносову, создателю высокого стиля, не только не имевшему тенденции порвать со славянщиной, но сознательно и принципиально насаждавшему ее в своих произведениях. В характеристике Тредиаковского автор не ушел дальше цитируемого им на правах научной солидарности Новикова. О Сумарокове сказано почти так же неопределенно и почти то же, что в статье Луначарского. Однако не обошлось без ошибок; по мнению автора статьи Сумароков более, чем Ломоносов и Тредиаковский, отгораживался от «подлой» стихии в языке; «он даже вступил по этому поводу в непристойную полемику с Ломоносовым и Тредиаковским. Недаром он был кровным дворянином-патриотом»... и т. д. Беда в том, что, полемизируя с Ломоносовым, Сумароков именно ратовал за простоту слога против «надутой» чопорности языка Ломоносова, отрешонного от «подлой» стихии. Именно язык ряда произведений Сумарокова, в отличие от Ломоносовского, построен на элементах «простонародной», разговорной, подчас даже грубой речи, и эту черту творчества Сумарокова следовало объяснить. Общая характеристика критики дана по Луначарскому, и столь же неудовлетворительно. О Сумарокове, наиболее последовательно рационалистически мыслившем из всех писателей XVIII в., сказано, что он был «против господства разума; классовое положение дворянина не давало ему подняться до признания в поэзии господства разума». Ничего не скажу о такой «социологии».

Главка о Лукине представляет собою зрелище полной фантастики. Лукин, по мнению автора статьи, «разнес Сумарокова, требовал отказаться от подражаний». На самом деле Лукин лишь однажды упоминает Сумарокова и то без порицания; в его наследии есть лишь два-три намека, относящихся к Сумарокову; правда, значение этих намеков—немалое; тем не менее о неуважении Лукина к Сумарокову (они конечно были литературными врагами) мы знаем главным образом из памфлетов против Лукина в прессе школы Сумарокова, в сатирических журналах Новикова и других. О подражании же Лукин писал так: «Заимствовать необходимо надлежит»[6]. Он требовал лишь «склонения» чужих произведений «на наши нравы» и сам почти все свои комедии перевел или передал с французского.

«Он требовал новых пьес, строго русских, в духе «Недоросля» Д. И. Фонвизина», продолжает автор статьи. Но ведь произведения Лукина относятся к 60-м годам, а «Недоросль»—к 1782 г.!

Характеристика Лукина, непомерно раздутого, объявленного чем-то вроде идеолога всего прогрессивного, что было в обществе его эпохи, и в то же время—зачинателем нового периода русской критики (!), написана вся столь же «точно», так же как характеристика Крылова.

«Литературная энциклопедия» уделяет не слишком много места и внимания XVIII столетию русской литературы. Есть досадные пропуски в словнике издания, составленном безусловно неряшливо. Так в нем совсем нет статей о таких крупных деятелях, как Дашкова, Домашнев, Барков, Козодавлев и т. п. [7] На страницах «Литературной энциклопедии» можно найти такие статьи, которые являются попыткой по-новому осмыслить материал словесного искусства XVIII в. Тем не менее «Литературная энциклопедия» вовсе не чужда застарелых традиций вольного обращения с XVIII столетием. В среднем теоретический уровень статей о XVIII в. в этом издании весьма и весьма низок. Характерны привычные для критики XIX в. произвольные и безапелляционные приговоры, раздаваемые «Литературной энциклопедией»; так например, мы узнаем из нее, что Капнист как лирик «примыкает к сентиментализму, малозначительным представителем которого он является», что

Костров—это «переводчик и второстепенный поэт», что «значение Кострова как самостоятельного поэта невелико»; даже о И. И. Дмитриеве (кстати, почему нет статьи о Дмитревском?) сказано в самом начале заметки о нем так: «Литературная деятельность Д. не имеет особого значения, хотя в свое время он пользовался большой популярностью». И еще: «Д. был известен и как сатирик и юморист, чрезвычайно поверхностный». Трудно не назвать такие приговоры развязными. Само по себе это стремление распределить писателей прошлого по чинам и превратить «Литературную энциклопедию» в парнасский адрес-календарь было бы по преимуществу безвкусно, если бы оно не сигнализировало о пренебрежительном, не научном отношении к писателям XVIII столетия.

В статьях «Литературной энциклопедии», посвященных писателям XVIII в., мы не очень редко встретимся с недостаточно развитым чувством осторожности как в отношении сообщаемых сведений, так и в отношении самой композиции заметки с точки зрения ее понятности и соответствия своему назначению.

Не редки случаи невнятного изложения.

В заметке о Дмитриеве сказано, что он «один из первых пытался привить литературе элементы народной поэзии и написал ряд песен в «народном духе», из которых одна была очень популярна—«Стонет сизый голубочек», и т. д. Неужто только одна песня Дмитриева была популярна? Кроме того: каким образом оказалось, что Дмитриев, писавший главным образом в 90-х годах XVIII в. и даже позднее, один из первых вводил в литературу элементы народной поэзии, когда это делали, и гораздо радикальнее, еще М. Попов в 60-х и 70-х годах, М. Чулков и многие другие вплоть до современника Дмитриева—Н. А. Львова?

Показательна статья, данная в «Литературной энциклопедии» о Капнисте. Я уже приводил одну цитату из этой статьи. Приведу ее начало: «Капнист, Василий Васильевич, граф (1757—1824)—русский драматург». Во-первых, Капнист не был графом (некогда род его назывался Капнисси и титуловался в Венеции графским титулом). Во-вторых, он умер не в 1824, а в 1823 г.[8]. В-третьих, почему он назван безоговорочно драматургом? Ведь «Ябеда» в его творчестве—явление заметное, крупное, но вовсе не закрывающее всей остальной его продукции. Так по крайней мере воспринимали творчество Капниста современники; так же следует и исторически оценить его, исходя из значительности этого творчества как факта мировоззрения и миростроения в слове общественной группы, выдвинувшей Капниста, и исходя из того влияния, которое имело его творчество. Но автору заметки о Капнисте не нравятся стихотворения Капниста—и он ничтоже сумняшеся объявляет его «малозначительным представителем» сентиментализма. Как тут быть? Еще в начале заметки он пишет о Капнисте: «Известен как автор комедии «Ябеда»... и т. д. Печально, если Капнист известен «Литературной энциклопедии» только как автор «Ябеды».

Неточен и дальнейший текст заметки. Материал заметки построен не совсем удачно. Об «Оде на истребление в России звания раба» сказано, что она написана по поводу «распоряжения Екатерины, чтобы русские обыватели в своих обращениях к верховной власти подписывались не рабами, а подданными», а об «Оде на рабство» не сказано, что она написана по поводу и против окончательного закрепощения украинских крестьян, что гораздо важнее, так как определенным образом характеризует украинофильство и вообще относительно-радикальную общественную позицию Капниста. Не сказано ничего и о том, к какому литературному направлению, к какой группе принадлежал Капнист в пору наибольшего значения его творчества—в пору его участия в Державинском кружке (о сентиментализме если и можно говорить, то ограничительно и главным образом в отношении к любовной лирике и то поздней).

Примечательна и библиография при заметке, в которой не упомянуто ни Гротовское издание Державинских сочинений и биографии Державина, ни статья Г. Кунцевича о «Ябеде» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук»—1906, т. XI, № 3), в которой приведены доцензурные тексты «Ябеды», совершенно меняющие ее облик по сравнению с общераспространенным текстом.

В своем роде примечательна и статья о Кострове. Прежде всего—если у «Литературной энциклопедии» хватило смелости обругать Кострова, то зато у нее не хватило любопытства узнать, как его звали. Заметка так начинается: «Костров, Ефим Иванович». (Необходимо напомнить еще раз, что я говорю не об авторе статьи, а об ответственности всего издания в целом за текст каждой заметки. Допускаю в данном случае опечатку. Но ведь читателю от этого не легче.) Назвать Ермила Кострова Ефимом, право, почти то же, что назвать Чарльза Диккенса Вильямом, или Жюль Верна Пьером. Эти имена приросли к своим фамилиям крепко; вспомним, что «Ермил Костров»—фигура анекдотическая, герой легенд интеллигентского фоль-

клора и между прочим герой драмы Кукольника (так и названной «Ермил Иванович Костров»). Конечно о бытовом облике Кострова в «Литературной энциклопедии» ничего не сказано, хотя он характерен как один из немногих ярких примеров меценатского использования деятельности поэта в России. Вообще говоря, статьи о писателях XVIII в. в «Литературной энциклопедии» на редкость сухи. При этом в них иногда механически соединяются замечания (и терминология), относящиеся к «форме», с соображениями социологического порядка. Правда, соображений этого порядка в заметке о Кострове нет, но ее «формализм» тоже удивителен: «В первом периоде своего творчества он пишет ряд торжественных од на всевозможные события придворной и университетской жизни в обычном «классическом» духе. Во второй период он ориентируется на простоту и реализм. К. явился одним из провозвестников сентиментализма («Клятва», «К пастуху», «К бабочке», «К Лизете» и др.)». Это все, что сказано об оригинальном творчестве Кострова. При этом неясно, когда же он был провозвестником сентиментализма, тогда ли, когда был классиком, или после какого-то перелома (когда он случился? ведь в статье ничего не сказано о влиянии Державина на Кострова), когда он стал «ориентироваться на простоту»? Читатель, знающий хоть немного историю русской литературы, ожидает, что в статье о Кострове, прославившемся и запомнившемся нескольким поколениям почти исключительно как переводчик Илиады, будет хоть что-нибудь сказано об этом переводе, о том хотя бы, сколько песен Гомеровой поэмы перевел Костров, об александрийском стихе, о характере перевода и его значении. Тщетно. После приведенных только что строк в статье сказано: «Значительную роль сыграл К. как переводчик ряда крупных произведений мировой литературы (Золотой осел Апулея, Илиада, Песни Оссиана Макферсона и др.). Переводы эти стояли на высоте современных ему требований». Илиада даже не выделена из числа других, прозаических, переводов.

В статье «Идиллия» (раздел идиллия русская) названы досумароковские идиллии: «Нисса» Тредиаковского, «Полидор» Ломоносова. Не говоря о том, что Ломоносовский «Полидор» принадлежит к особому виду идиллии—похвальной идиллии, прославлявшей «великих людей»,—«Нисса» написана не Тредиаковским, а А. А. Нартовым. Версия об авторстве Тредиаковского, выразившаяся в помещении этого стихотворения в Смирдинском Собрании его сочинений 1849 г., отпала еще в 1867 г. после документального исследования Пекарского «Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 гг.».

Все это—вовсе не мелочи. Вспомним, что мы имеем дело со словарем. Уменье написать статью для словаря—особое искусство, и с точки зрения этого искусства мы и должны подходить к оценке тех или иных словарных статей. Я не изучал материал, предлагаемый «Литературной энциклопедией» по другим областям, но среди статей, относящихся к русской литературе XVIII в., есть такие, которые не выполняют требований, предъявляемых к словарной статье. Ограничиваюсь приведенными примерами, число которых можно было бы увеличить.

Я не хочу сказать, что весь материал «Литературной энциклопедии», посвященный XVIII в., целиком неудачен. Моя мысль другая. Мне хочется показать, что критерии точности, тщательности работы и осведомленности—в применении к статьям, относящимся к XVIII столетию,—и в этом издании, как и вообще нередко в нашем литературоведении,—иные, чем в применении к работам, посвященным истории литературы XIX или XX вв.

Я начал мою статью замечанием о некотором оживлении на фронте изучения XVIII в. Признаки и выражение этого оживления я склонен видеть например в некоторых статьях Д. Благого, помещенных в той же «Литературной энциклопедии». Среди других статей о XVIII в. статьи Благого выделяются. Я могу указать в том же издании и другой удачный материал, например статью «Журналы русские» (к теме моего обзора относится первый раздел статьи «Дворянские журналы эпохи расцвета крепостного хозяйства XVIII в.»); здесь дан сжатый, но четкий обзор журналистики XVIII в., выделяющий все основные ее моменты. Из работ Благого назову большую статью о Державине, также статьи о Карамзине и о русском классицизме. Конечно и они могут быть спорны, могут вызывать даже конкретные фактические возражения, но это не уменьшает их относительного интереса. Статья о Державине, дающая систематизированный материал, относящийся как к биографии, так и к творчеству Державина, представляет собою первый опыт социологического истолкования творчества великого поэта.

Мне кажется, что вредит очерку Д. Д. Благого несколько преувеличенный и понятый отчасти в индивидуально-личном плане биографизм, сужающий точку зрения исследователя. Впрочем наряду с тенденцией видеть в творческой манере Державина

отражение событий его личной жизни, в статье дано немало материала и о социальной природе его творчества.

Нельзя согласиться также с безоговорочной характеристикой «второй основной темы творчества» Державина—темы «неприязненного сатирического отношения к придворной знати, к «боярам». Хотя по существу положение о такой именно установке Державина конечно верно, но Благой делает из него слишком прямолинейные выводы. Ему надо доказать, что Державин «готов всячески приветствовать» представителей «новой знати», властителей России, вышедших из среднего дворянства, если они деятельны для государства; он аргументирует хвалебными одами Потемкину, Зубову и др. «Зато к старой родовой знати,—продолжает Благой,—обязанной близостью к трону не личным качеством и заслугам, а своему происхождению, Д. относится с беспощадной иронией, стоящей на грани прямой социальной ненависти». Развивая дальше эту тему, Благой как бы забывает о том, что ода «Вельможа», которую он приводит ниже как доказательство выпадов Державина против знатных, обработана отчасти и против Потемкина (уже умершего), что тот же Потемкин в оде «Решемыслу», написанной по прямому заказу императрицы, похвален все же более, чем двусмысленно, что в «Водопаде» он осужден и противопоставлен положительному герою поэзии Державина—Румянцову. Что же касается Зубовых, то следует вспомнить до дерзости ядовитые строки о П. А. Зубове в оде «На умеренность» (и в оде «На кончину благотворителя»). Державин сложен, нет необходимости упрощать его.

В статье о классицизме Благой дает общую характеристику этого литературного явления на русской почве. За последние годы нередко высказывалась мысль о том, что пристальное изучение фактов истории литературы разрушает старые понятия классицизма, сентиментализма, романтизма, выясняя, что эти понятия объединяют творчество писателей различных и иногда трудно совместимых. Эта мысль кажется мне верной лишь отчасти. Необходимо заново построить (на новых методологических основаниях) понятие об исторически существовавших и следовательно социально определенных стилях. Разнообразие же творческих путей писателей одного стиля не снимает вопроса об этом стиле, как некоем самостоятельном единстве, совершенно реальном, хотя и не составляемом суммою признаков всех осуществляющих его произведений. В то же время понятие стиля не образуется и примитивным отвлечением общих признаков произведений, его осуществляющих. Оно образуется прежде всего чертами, основополагающими тип социального мышления, определяющими данный круг явлений искусства, следовательно оно познается в характерных чертах этих явлений, а не в механическом суммировании или отвлечении.

Конечно такое понимание стиля, как исторически данного факта, осуществляемого в произведениях, требует нового пересмотра самых характеристик стилей. В этом смысле следует приветствовать попытку Д. Благого построить концепцию русского классицизма, тем более, что он свободен от ложной идеи «неоригинальности», искусственности этого стиля. Конечно статью Благого можно рассматривать как один из опытов, как начало будущих работ нашей науки; о построении законченной концепции говорить еще рано; нет ее еще и в других работах, до Благого разрабатывавших ту же тему.

Я не буду останавливаться на некоторых неточностях или неловких выражениях, попавших в статьи Благого.

Вообще говоря, отдельные фактические неточности ни под каким видом не могут служить поводом для осуждения научной работы. Едва ли мы сможем указать хоть несколько научных трудов, даже самых точных и наиболее полно обставленных материалом, в которых досужими «критиками» не могло бы быть указано ни одной мелкой «ошибки». Такие «ошибки» в серьезных, продуманных работах хорошо осведомленных ученых—случайность; они не характерны, и выискивание их было бы лишь праздным делом «ведомственного» злорадства. Иное дело—ошибки, неточности, неясности, являющиеся систематическим и органическим выражением отсутствия сведений, подготовки у автора или недостаточной продуманности, тщательности его труда. О таких неточностях, уже не случайных, а представляющих явление типическое, как об опасных симптомах следует говорить, показывая при этом их именно как результат общего характера данной работы.

«Литературная энциклопедия» в части своей (весьма незначительной), посвященной XVIII в., представляет собою, как я пытался показать, картину общего состояния нашей науки о литературе этой эпохи [9]. Итоги работ этого отдела науки суммировал в своем капитальном труде П. Н. Сакулин.

«Русская литература» П. Н. Сакулина, два тома которой вышли в свет при жизни автора, представляет собою по типу построения и изложения, по жанру научной

работы—вузовский курс. Основная задача этого обширного труда—прежде всего собрать все данные, добытые наукой в области изучения истории русской литературы, и привести их в систему, ввести их в схему, построенную составителем курса. Таким образом главное внимание автора было направлено в данном случае на цели собирания, подведения итогов и систематизации. Анализ общей схемы истории русской литературы, предложенный покойным ученым, не входит в поле зрения настоящей статьи. Для меня сейчас книга П. Н. Сакулина, в частности два тома ее, интересны именно как свод того, что было сделано наукой в различных ее проявлениях по изучению литературы XVIII века.

Самая широта Сакулинского подхода к работе, компилятивность его, граничащая с эклектизмом, приводит ко многим неудобствам, давая в то же время возможность ввести в изложение очень обширный материал. Правда, несколько искусственная схема, предписанная автором своему материалу, затрудняет его обозрение. Как известно, вся история литературы разделена П. Н. Сакулиным на эпохи, в свою очередь распадающиеся на периоды. Так литература с половины XVII в. до 60-х годов XVIII в. составляет 1-й период II эпохи, а литература от половины XVIII в. до 40-х годов XIX в.—2-й период той же эпохи. Но внутри периодов материал расположен не в последовательности хронологически-прагматической, а разделен по компромиссной и не всегда исторической системе рубрик: сначала идет литература крестьянская и близкая к ней (устная поэзия), потом литература мещанская и смежные с нею явления, затем «верхний слой литературы», разделенный на стили, а те в свою очередь—на жанры. Последнее особенно сильно сбивает всю эту сложную конструкцию. Читатель читает сначала все о классицизме, потом все о сентиментализме. Значит он сначала читает об Озерове, Крылове, даже Грибоедове, водевилистах, Батюшкове и т. д. (классики), а потом уже о Карамзине и даже его предшественниках. То же и внутри «стилей». Сначала идет речь о Грибоедове (драма), а потом о Хераскове (поэма) или В. Майкове или Сумарокове (басня) и т. д., а до всего этого—и до Хераскова, и до Грибоедова—дан Кольцов. Искусственная классификация литературных фактов привела к запутанному и непоследовательному изложению. Но если мы проберемся через трудности, поставленные читателю схематизаторским заданием автора, перед нами окажется целая груда материала. Это—все, что известно науке о XVIII в. Поразительная ученость П. Н. Сакулина ручается за полноту. Все, однако не много. Немало материала дано в сыром виде, почти названо только, но не раскрыто, характеристика нередко скупа, сводится к внешнему описанию; винить в этом автора курса нельзя. Он собрал то, что сделано в науке, а в науке почти ничего не сделано. И все же Сакулин сделал немало своим сводом; немало он добавил и своего.

Важно здесь то, что он не ограничился рассказом о том, что было написано наиболее известными писателями XVIII в., т. е. писателями по преимуществу дворянскими, но обратил внимание на «низшие» слои литературы, на ту книгу, которую потреблял читатель, не овладевший дворянской кульутрой,—мещанин, дворовый, мелкий, (а может быть и не только мелкий) купец, иной раз и малообразованный помещик-дворянин. Эта «мещанская» литература, сыгравшая значительную роль в истории всей русской литературы в целом, была в совершенном пренебрежении у науки XIX столетия. Среди немногих ученых, обратившихся к ее изучению, следует конечно назвать самого П. Н. Сакулина. Введение результатов (пока очень ограниченных и весьма мало диференцированных) этого изучения в общий курс истории литературы—заслуга покойного академика. Положительное значение имеет и то обстоятельство, что П. Н. Сакулин вставил изложение судеб самой литературы в широкую рамку социально-исторических очерков (правда, аморфных в методологическом отношении) характеризуемой эпохи, что он учел и факты истории общей культуры, наконец и то, что он дает суммарные характеристики стилей как определенных художественных и мировоззрительных единств (тоже к сожалению не вполне четкие). Таким образом рама изложения и задумана, и выполнена широко. Но к сожалению рама подавляет картину; вернее, картины-то еще почти что нет, есть только наметка рисунка, кое-где подцвеченная, кое-где подработанная более или менее детально.

П. Н. Сакулин считает нужным начать характеристику русского классицизма (второй период) с трагедии, «которая так импозантно представляла собою русский классицизм» (стр. 208). И тем не менее, всей русской трагедии от Сумарокова до Озерова включительно посвящено менее трех страниц в книге, в которой только лишь одним «Выжигиным» Булгарина посвящено 12 страниц (повестям молодого Погодина—4 страницы, трем повестям Павлова—6 страниц и т. д.). Эти три страницы, уделенные трагедии, заняты самыми общими замечаниями, в значительной части перечислением названий самих трагедий и тому подобным материалом. Полу-

чается такое впечатление, что автору нечего сказать о русской классической трагедии, что он не нашел в современной науке (тем более, в науке прошлых десятилетий) достаточно материала для хотя бы суммарной характеристики ее (конечно одна цитата из одного небольшого и уже устаревшего исследования одного из этапов развития русской трагедии недостаточна для построения такой характеристики).

Это же в большей или меньшей степени относится и к другим жанрам. П. Н. Сакулин—слишком добросовестный ученый, чтобы пересказывать малоосновательные «идеи»—предрассудки, идущие от Незеленовских времен и часто заменяющие анализ фактов литературы XVIII в., слишком литературовед, чтобы заполнять свой труд биографическими материалами или анекдотами, которых так много накоплено вокруг имен некоторых писателей XVIII в., хотя уделяет должное внимание и биографии. В результате от всего, накопленного наукой по части XVIII в., у него в руках остается очень, очень немного.

Традиция давит и на него. Он уделяет сравнительно много места «Россиаде»; ведь о «Россиаде» писали много со времен Мерзлякова; выделяли ее и ученые второй половины XIX в. Конечно о лирике Хераскова, о его работе в мелких жанрах вообще, едва ли менее значительных в истории русской литературы, чем «Россиада», в книге П. Н. Сакулина не говорится.

Перед читателем этой книги мелькают имена и названия, относящиеся к XVIII столетию. Автор как бы скользит по ним; ему трудно задержаться на том или другом из них из-за отсутствия материала. Я уже не говорю о том, что все изложение истории литературы XVIII столетия занимает гораздо меньше места, чем должно было, судя по началу, занимать изложение истории литературы XIX в. Это в порядке вещей, хотя едва ли можно до конца оправдать столь значительное неравенство (я учитываю и бо́льшую классовую дифференцированность, и идеологическую насыщенность литературы XIX в. и безусловно большую актуальность для наших дней). Но существенно здесь не столько количество, сколько именно неопределенность характеристик, недостаточная слаженность их, поскольку о некоторых произведениях автор не говорит почти ничего, другие показывает изложением фабулы, третьи рассматривает с точки зрения их идейной направленности, и т. п.; иной раз дается «формальный» анализ (при чем выбор объекта анализа и сторон его не всегда обоснован), иной раз его нет.

Характерен такой факт. Нет сомнения, что величайшим поэтом XVIII в. был Державин. Казалось бы, он должен был послужить благодарной темой для изложения П. Н. Сакулина. Но недаром Д. Благой закончил свою статью о Державине в «Литературной энциклопедии» словами: «Научное изучение поэзии Державина почти еще не начиналось». П. Н. Сакулин, подчиняясь тому материалу, который он смог найти в науке, уделяет творчеству Державина немножко меньше одной страницы крупного шрифта (33 строчки; через несколько страниц Державину опять посвящено... 4 строчки), т. е. почти вдвое менее, чем поэзии Подолинского, и менее, чем роману А. П. Степанова «Постоялый двор». Конечно ничего кроме общих слов о Державине на этой одной странице не уместилось.

III

Таковы общие итоги изучения XVIII в., подведенные авторитетными исследователями и коллективным изданием. Однако указанные выше суммарные обзоры вместе с «Литературной энциклопедией» не исчерпывают всего, что появилось за последние три-четыре года в области изучения XVIII в. Можно назвать целый ряд преимущественно строго академических работ (статей и статеек), помещенных за этот период в различных научных сборниках и сериях и посвященных тем или иным отдельным темам и фактам литературы XVIII века.

Общий характер большинства работ этой группы прежде всего определяется крайней пристальностью подбора комментаторского материала, так сказать микроскопизмом или может быть близорукостью, кропотливой зоркостью, но лишь на коротком расстоянии, при полной или почти полной методологической аморфности. Чаще всего такие академические статьи представляют собою уточнение или приведение в известность материала, поданного в сыром виде, т. е. не введенного в концепцию историко-литературного процесса данного периода и не препарированного для какой бы то ни было концепции, материала, не обработанного достаточно четкой методологической установкой исследователя. Получается такое положение, что материал многих из таких статей не входит в науку.

Добавлю, что материал как сырье, как сумма справок, публикаций, комментариев и фактов неисчерпаем; никогда мы не можем сказать: довольно, мы перебрали все

факты эпохи. И если подбор материала для детального библиографического обследования идет самотеком, если темы и вопросы микроскопических разысканий всплывают случайно, то оказывается, что эти разыскания и обследования не могут даже в малой степени осветить всю толщу материала.

Конечно хорошо, что материалы появляются в печати, но уж очень неэкономно иногда получается, да и нецелесообразно опубликование их кусочками. Если пошло на публикации архивного материала,—вещь настоятельно полезная, то нужно издавать архивы, собрания, сборники и т. п. целиком, предоставляя исследователю цельный материал, дающий ему возможность глубоко захватить факты, связанные с социально-ценной проблемой.

Беда почти всей «библиографической» традиции нашего литературоведения заключается в том, что ее представители работают вне достаточно определенного представления об общих принципах исторического знания, вне достаточного учета конкретной исторической обстановки изучаемых явлений. Внеисторичность подхода к материалу не дает многим из них разобраться в материале. Материал оказывается лежащим на плоскости, т. е. лишенным социального значения; он не связан ни с временем ни с социальной группой, породившими его; памятник—некая отвлеченная фикция, так же относящаяся к нашему времени, как к тому моменту, когда его создал, скажем, поэт-помещик середины XVIII в. Реальный исторический облик тех людей, которых представлял в слове и к которым обращался памятник, ускользает от исследователя. Он интересуется «самим памятником», т. е. внешней историей словесной формулы,—формулы чего?—этого он нередко не замечает. Реальные исторические интересы, весь комплекс жизни, борьбы, отношений, в которых жило и работало произведение, для которых созидался стиль, все то, что именно и определяет принцип бытия и активности произведения и стиля,—все это мало привлекается, мало учитывается наукой. Нетрудно понять, почему такая наука, отрывающая литературу от человека, от общества, от социальной борьбы, от того, что составляет историю, может иной раз походить на коллекционерство.

Конечно история XVIII столетия разработана мало; конечно мы обладаем недостаточными сведениями о том, как протекала борьба классов, борьба социальных сил и групп общества от 30-х до 90-х годов этого столетия. Однако ведь кое-что и здесь все же сделано. С другой стороны, незачем литературоведу всегда кивать на историка—подождем, мол, когда он свое дело сделает, тогда и я за свое примусь. Разве историк литературы—не историк? Разве материал, изучаемый им, не является плодом творчества социальных сил данной эпохи? Разве может литературовед изучать материал художественного слова, не изучая тем самым—не попутно, а именно самым ходом своего исследования—исторического развития мысли, борьбы и жизни социальных групп, развития самого общества, и разве, если бы он попытался произвести такое «разделение труда», оно не убило бы объект его изучения—самое литературу? Между тем мы видим, как библиографическое изучение литературы XVIII в., разбираясь в датировках или указаниях авторов (иной раз, впрочем, и неудачно), вовсе не различает ни исторических периодов развития литературы, ни стилей, реализующих эти периоды в слове, ни борьбы социальных групп, стоящих за ними. Это ведь порок, свойственный в значительной степени не только «библиографическому» крылу литературоведения. Ставя почти в одну плоскость Сумарокова и Державина в смысле характеристики их художественного метода, слишком часто у нас забывают в то же время о той сложной борьбе внутри дворянства, о той диференциации его, которая конструирует социальную историю «верхов» русского общества XVIII в. Между тем изучение этой борьбы, анализ исторического облика (экономики, политического мировоззрения, бытового типа, культурного характера) например вельможной, богатейшей, придворной группы дворянства, земельных магнатов и торгашей; вслед за ними группы поместной аристократии, ринувшейся на штурм власти, служебных мест, культуры,—и вовсе не безусловно победившей,—или например исследование судьбы расслоения и творчества зарождавшегося в конце века «третьего сословия», частью внутри сословной группы дворянства, частью вне ее, изучение образования этим «третьим сословием» своих позиций в искусстве—все это смогло бы насытить историю литературы XVIII в. содержанием.

Впрочем высказанные соображения конечно не могут быть распространены на все или даже почти на все статьи академического характера о XVIII в., появившиеся за последние годы. Я хотел лишь отметить ту особенность некоторых работ, которая дает себя чувствовать в продукции нашей академической науки (увы, все еще есть такая отдельная «академическая» наука!); эта особенность кажется мне недостатком, и поэтому мне хотелось бы обратить внимание на желательность преодоления ее. Я думаю, что эта особенность является пережитком старого, пережитком, оставшимся

от замкнутой, кастовой, отрешенной от жизни академической учености XIX столетия. Это была не наука буржуазных общественников-публицистов типа Пыпина, даже типа Незеленова. Это была наука тщательных и в своем роде блестящих библиографов, иногда одновременно и библиофилов, людей, великолепно знавших множество разнообразнейших фактов, знавших всю подноготную биографий всех русских писателей и большинства родственников и знакомых русских писателей, людей, создавших русскую библиографию, но сознательно и решительно отказавшихся от построения теорий, от «критики», от публицистического элемента науки, от активного воздействия на общественную жизнь передовых социальных групп средствами научного слова. Это была плеяда в своем роде замечательных деятелей, эрудитов и филологов, героев факта, даты, комментария; их «наука» была чаще всего реакционной даже с точки зрения буржуазно-прогрессивного лагеря, так как в ней были сильны традиции дворянских и даже монархически-чиновничьих взглядов,— но она оставила последующим поколениям значительный фонд материалов. Не случайно и то, что такая «академическая» наука XIX в. много занималась изучением XVIII столетия; она не очень любила современность, яростно отталкивавшуюся от эпохи дворянской литературы, от XVIII столетия в целом,—и ее тянуло в эту отдаленную, порицаемую буржуазной современностью эпоху.

Ранним представителем библиографического крыла русской науки был М. Н. Лонгинов. Немало сделал для собирания материалов по XVIII в. Я. К. Грот, потом М. И. Сухомлинов, В. И. Саитов и др.

«Фактовизм» современных эпигонов академической науки—лишь скромный наследник деятельности этих первых заимщиков, пионеров данной области. Весь идейный смысл (и разумеется социальное содержание) работ фактовиков и филологов XIX в. давно растерялся, поблек, забылся. Остался лишь интерес к факту, как таковому. Подлинные пути нашей науки лежат не здесь; здесь, на библиографических путях старой науки, ее эпигоны не могут выдержать даже приблизительного сравнения с нею. То, чему иногда посвящает несколько страниц, иногда целую статью, чем гордится как открытием современный продолжатель Грота, было бы дано самим Гротом в десяти строках петита какого-нибудь примечания к одному из стихотворений Хемницера или Державина, было бы дано Сухомлиновым в одном из тысяч его примечаний к «Истории Российской Академии», между десятками, сотнями таких же «открытий» и разысканий.

В прямом смысле попыткой продолжения комментаторской работы Я. К. Грота являются две статьи К. Я. Грота, разрабатывающие отрывки материала, бывшего в руках Я. К. Грота при издании им Собрания сочинений Державина и оставленного им без внимания (что без сомнения и правильно). В обеих этих статьях заметно стремление подобрать крохи, упавшие со стола знаменитого академика. Первая из них помещена в «Известиях по русскому языку и словесности Академии Наук СССР за 1930 г.» (т. III, кн. I, стр. 1—27) и называется так: «К истории творчества И. А. Крылова. Анонимные стишки на злобу дня»; вторая составляет один из «докладов», включенных в «Известия Академии Наук СССР» (VII серия, Отделение общественных наук. 1931, № 1, стр. 53—80) и называется: «Кто автор сатиры на первых министров Александра I. Из материалов по изданию Державина». Кстати замечу, что именно Академия Наук до сих пор уделяет на страницах своих изданий сравнительно много места библиографически-публикаторским статьям о XVIII в.; традиции академизма времен Я. К. Грота еще достаточно сильно держатся (во всяком случае держались) в книжной продукции Академии Наук. Текущая жизнь, вся современность, все пути и перепутья науки последних десятилетий едва затронули академические издания, косневшие до последнего времени в мертвенном покое культа мелочей и материалов (я говорю конечно об изучении XVIII в.). Следует однако отметить, что в самое последнее время в академической книжной продукции наблюдается оживление; будем надеяться, что операция прививки полумертвому древу свежих ростков пройдет удачно и принесет желанные плоды.

В архиве Я. К. Грота, оставшемся после издания им Державина, сохранилось несколько анонимных стихотворений конца XVIII—начала XIX в. Два из них привлекли внимание новейшего исследователя—К. Я. Грота. Первое стихотворение, написанное по поводу запрещения императором Павлом некоторых мод (широкие галстуки, длинные штаны и т. п.), К. Я. Грот приписывает И. А. Крылову. Вся первая статья занята доказательством этой мысли. Второе стихотворение К. Я. Грот приписывает Державину, и это составляет единственный тезис второй его статьи.

Но дело в том, что ни в первом, ни во втором случае К. Я. Грот не располагает ни малейшими существенными доказательствами авторства обоих поэтов.

Его статьи заполнены или не всегда идущими к делу сведениями, или соображениями, иногда натянутыми и не достигающими цели вследствие неполной достаточности собранного материала. Окончательно портит дело (в первой статье) неправильное понимание самого комментируемого текста (К. Грот считает его почему-то сатирой на Павла, тогда как это в высшей степени благонамеренное, даже льстивое по отношению к царю произведение; впрочем достоинством этой статьи является хотя бы то, что в ней напечатано стихотворение, ранее не бывшее в печати); вторая же статья построена примерно так: речь в ней идет об известной сатире начала XIX в. «Бостон», напечатанной уже трижды и сохранившейся во множестве списков. Прежде всего К. Я. Грот вновь печатает сатиру, приводя варианты из различных рукописных сборников, что впрочем не достигает цели полного обследования текста пьесы, поскольку использована лишь незначительная часть имеющихся в распоряжении науки списков сатиры, и следовательно выбор вариантов оказывается случайным.

Очень много места в своей статье К. Я. Грот уделяет рассказу о Гасвицком, приятеле Державина, у которого находился список «Бостона», о бумагах Гасвицкого, о Я. К. Гроте и его сношениях с потомками Гасвицкого и о т. п. вещах, смею думать, далеко не существенных, да и к теме статьи мало относящихся. Наконец он приступает к самому главному: кто автор «Бостона»?—Державин. Почему?—Неизвестно. Но Державин обруган в «Бостоне» наравне с другими сановниками.—Тем лучше: это самокритика (так и сказано), которая только лишь подтверждает «догадку» исследователя.

Кроме того автор «Бостона» хорошо осведомлен по части характеристики правительственных деятелей; Державин тоже был хорошо осведомлен по этой части. Ergo: автор и Державин—одно лицо (прекрасный пример элементарной ошибки в доказательстве для учебника по логике).

Далее идут доказательства от впечатления исследователя и подробнейший реальный комментарий к пьесе, тоже долженствующий доказать авторство Державина (на этом комментарии за недостатком места я не могу остановиться; впрочем и о нем можно было бы потолковать). Наконец «еще одно, быть может наиболее разительное и убедительное подтверждение обоснованности нашей догадки—как бы из уст самого поэта». Оказывается, это «разительное» доказательство сводится к тому, что Державин (и тоже в старости) написал такое четверостишие:

Доказательство талантов.
Надлежит всякое полезно сочиненье
Вельможам доказать чрез вист, бостон и рокамболь,
А без того царю, отечеству раченье
(у нас) пред ними ноль.

Между этим четверостишием и сатирой «Бостон» нет ничего общего, кроме одного слова «бостон». Неужели же К. Я. Грот может поручиться, что это слово не употреблено более ни разу ни одним поэтом начала XIX века?

В заключение исследователь легко расправляется с существенным затруднением: отсутствием в огромном архиве Державина, в его комментариях к своим стихотворениям, в его «Записках» и переписке хоть какого-нибудь намека на его авторство. Это, мол, из-за осторожности Державина. Не буду напоминать ряд явственных доказательств отсутствия у Державина такой невероятной и вовсе ненужной осторожности.

Каков итог двух обширных статей К. Я. Грота? Груда мелких комментаторских фактиков, почти целиком ненужных науке, и соображения, ни в малой мере не убедительные. Все это лишено хоть какой-нибудь принципиальной позиции, лишено даже признаков какой-нибудь общей концепции вообще о творчестве Крылова, Державина, о поэзии их эпохи и т. п. Автор избавлен от необходимости иметь историко-литературную концепцию и методологическую позицию своей ролью комментатора. Беда лишь в том, что его комментарий раздут и неудачен.

Право, является мысль,—неужто нужно было отдавать на обе статьи К. Я. Грота 55 страниц научного издания, когда огромные массивы неизданных материалов первостепенного значения лежат мертвым грузом в наших архивах?

Попытка воскресить библиографическую традицию на новых основаниях, попытка привить библиографически-комментаторскому собирательству какую то, хотя бы самую скромную, методологическую принципиальность проявилась в статьях П. Н. Беркова. Первая из них—«Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке» (Язык и литература. Сборн. Научно-исслед. инст. сравнит. истории литерат. и языков Запада и Востока, т. V, 1930). Эта тщательно сделанная статья представляет собою

отрывок из диссертации «Ранний период русской литературной историографии». Я не останавливаюсь на ней, поскольку тема ее не относится прямо к вопросам, интересующим меня в настоящем обзоре (это—работа по историографии, а не по истории литературы; кроме того материал ее—западная наука, а не русская; наконец немалая часть материала относится к периоду до и после XVIII в.). Вторая статья Беркова относится к целому циклу из трех статей трех авторов, напечатанных вместе в «Известиях Академии Наук СССР» (VII серия, отд. Обществ. наук, 1931, № 8) и посвященных одному и тому же вопросу. Дело в том, что в 1768 г. в одном лейпцигском журнале была напечатана (по-немецки) анонимная статья о русской литературе, заключающая характеристику 42 русских писателей. Позднее та же статья была издана с незначительными изменениями на французском языке отдельно (в Ливорно—дважды, в 1771 и 1774 гг.). По указанию редакции лейпцигского журнала автор этой статьи (значение ее в истории русской литературы довольно велико) сам упомянут в ряду разобранных в ней писателей. Требуется установить—кто был этот автор? Вопрос этот имеет уже почти полуторастолетнюю историю. Ученые предлагали различных кандидатов. И вот теперь трое советских исследователей решили вновь поставить его. Они дают на него не одинаковый ответ. П. Н. Берков (статья «Кто был автором лейпцигского известия о русских писателях?») настаивает на кандидатуре Ал. Волкова. А. И. Лященко («С. Г. Домашнев как автор Известия о некоторых русских писателях (1768)») и Д. Д. Шамрай («С. Г. Домашнев и «Nachricht von Einingen Russischen Schriftstellern») поддерживает кандидатуру С. Домашнева.

Статья П. Н. Беркова интересна тем, что в ней кроме аргументов внешне библиографического и биографического порядка (подобранных весьма тщательно) применен также анализ интересующего исследователя памятника с точки зрения литературной и социальной позиции его автора. Жаль только, что, разбирая (отчасти расплывчато) литературные взгляды искомого автора статьи, П. Н. Берков не дал разбора литературного творчества А. Волкова (его комедий), вследствие чего читатель не имеет возможности полностью использовать и имеющиеся историко-литературные замечания статьи. Вообще же статья П. Н. Беркова, значительная в смысле серьезности приемов работы исследователя, все же не решает загадки окончательно. Соображения П. Н. Беркова убедительны, но не совсем исключают других кандидатов, из которых указывают одного, едва ли не еще более вероятного (я имею в виду неизданную к сожалению работу Б. В. Томашевского, поддерживающего выдвинутую В. Н. Всеволодским-Гернгросс в его книге о И. А. Дмитревском, а еще ранее П. Пекарским в «Истории Академии Наук» версию об авторстве В. Лукина). Что же касается статей А. И. Лященко и Д. Д. Шамрая, то они не могут представить достаточно убедительных соображений для принятия предположения об авторстве Домашнева. Впрочем можно приветствовать некоторое оживление, внесенное дискуссией (хотя бы на столь «академическую» тему) на страницы академического издания.

Более сухой характер имеет статья П. И. Рулина «Русские переводы Мольера в XVIII в.» («Известия по русскому языку и слов. Академии Наук», т. I, кн. I, 1929 г., стр. 221—244). Это свод материала, сырое библиографическое разыскание, более того: это лишь дополнения и поправки к имеющимся уже работам о Мольере в России. Выгодно выделяет статью Рулина, знатока русской комедии XVIII в., обилие разработанного им материала, широта библиографической эрудиции, точность и обдуманность указаний. Тем не менее статья производит впечатление мертвенности. Мы узнаем из нее ряд фактов—кто, как, когда и по какому поводу переводил Мольера, при чем автор останавливается главным образом на наиболее запутанных вопросах, относящихся к началу XVIII в., а материал более поздний, относящийся к периоду развернутого Мольеровского влияния,—как более известный и не представляющий библиографических затруднений,—затрагивает бегло, мимоходом. В результате цельной картины, несмотря на тщательность исследования, не получается даже в чисто фактическом смысле. Статья оказывается лишь черновой заготовкой для какого-то будущего труда, для которого понадобится еще конечно очень много таких же заготовок, чем-то вроде подстрочных примечаний к несуществующему научному тексту.

Статья Рулина, без сомнений ценная, подводит нас к теме, затронутой в литературе с тщанием, сравнительно значительным, именно к изучению комедий Сумарокова.

За последние годы о Сумароковских комедиях писали Н. Л. Бродский, П. И. Рулин, В. А. Филиппов, В. И. Резанов. Статьи последних двух и одна из статей Рулина появились в 1928—1930 гг.

Работа П. И. Рулина «Первая комедия Сумарокова» напечатана в «Изв. по русскому яз. и слов. Акад. Наук» за 1929 г. (т. II, кн. I, стр. 237—269; написана статья значительно раньше). Она дает тщательный подбор материалов о комедии

«Тресотиниус» как относящийся к реальному комментарию ее, так и к вопросу об источниках комедии. Исследователь использовал в своих разысканиях множество материала; как всегда, он работает осторожно и точно. Однако выводы, к которым он приходит, несколько сужены. В области реального комментария (пьеса представляет собою памфлет против Тредиаковского) Рулин не сообщает новых материалов или соображений, довольствуясь сводкой сведений, известных в науке. Что же касается вопроса об источниках (о «традициях») Сумароковской комедии, то он разрешон в статье не без механической упрощенности. Автор сличает мотивы комедии Сумарокова с соответственными мотивами в пьесах Мольера и Гольберга, которыми мог (как это тщательным образом установлено Рулиным) воспользоваться Сумароков; кроме того он привлекает к рассмотрению и другие комедии разных авторов. Сличение показывает черты сходства, с некоторыми однако существенными отменами. Одну из них Рулин формулирует как упрощение, сокращение фабулы, действующих лиц, сложности психологии Мольера; другую—усиленное хвастовство заимствованного у Гольберга воина—Брамарбаса относит за счет влияния commedia dell'arte. Последнее очень важно, так как вопрос о влиянии на Сумарокова-комика итальянской комедии должен быть поставлен и разрешон наряду с вопросом о зависимости Сумароковских комедий от традиций школьных и «народных» интермедий, фарсов начала XVIII в. Ведь первые комедии Сумарокова по всей своей драматической и сценической технике ближе к этим традициям, чем к традиции высокой комедии французского классицизма.

Между тем именно этот основной вопрос (как бы его ни решать)—о том, что собою представляют комедии Сумарокова, в частности первая его комедия, какой исторический тип драматургии реализовался в них,—не поставлен в статье Рулина, так же как не поставлен и вопрос о том, каковы основы социального мировоззрения, выразившиеся в Сумароковской комедии. Между тем только исходя из широкой постановки вопроса, можно было бы до конца осмыслить и тот сам по себе ценный материал, и те сопоставления и соображения, которые заключены в статье Рулина.

Почти той же теме, что статья Рулина, посвящена и работа В. А. Филиппова «К вопросу об источниках комедий А. П. Сумарокова. Мольер. Итальянская комедия. Современная действительность» (то же академич. издание 1928 г., т. I, кн. I, стр. 184—220). В. А. Филиппов анализирует главным образом три комедии Сумарокова: «Рогоносец по воображению», «Чудовищи» и тот же «Тресотиниус». Мысль его статьи сводится к тому, что комедии Сумарокова лишь в малой мере зависят от литературных образцов, являясь отображением бытовой реальности. Разрабатывая эту мысль автор не выходит, однако, за пределы того упрощенного, схематического понимания реалистического искусства, которое было канонизовано старой либерально-дидактической историографией. Кроме того нет необходимости здесь доказывать, что и реалистическое искусство может создаваться не без литературных влияний; кроме того самая странность доказательства мысли о «реализме» Сумароковских комедий не может не дискредитировать материал статьи (как будто наличие в окружающей действительности реалий Сумароковских комедий прямо и непосредственно предопределяет метод изображения этой действительности—реалистический или иной). Никакого историко-литературного представления о Сумарокове как художнике у автора статьи нет. Он заменяет его сырым материалом, не всегда новым и не слишком обильным (не всегда даже вполне верным). Ценной чертой статьи является указание на связь техники Сумароковской комедии с техникой commedia dell'arte и «южнорусскими интермедиями», указание, хотя намеченное весьма бегло, но подкрепленное кое-каким материалом (впрочем недостаточным) [10].

Той же теме, что статья Филиппова и отчасти статья П. И. Рулина, и притом разработанной в той же плоскости и почти на том же (но до крайности суженном) материале, посвящена статейка В. И. Резанова «Из разысканий о комедиях Сумарокова (отрывки)», помещенная в сборнике «Памяти П. Н. Сакулина» (М., 1931, стр. 233—238). Опять речь идет о «Тресотиниусе» и о «Чудовищах». Выводы автора о последней комедии следующие: «Комедия Сумарокова «Чудовищи» писалась под влиянием «Ученых женщин» и «Брака поневоле» Мольера и какой-то или каких-то пьес итальяно-французских с Арлекином в числе главных действующих лиц. К своим литературным источникам наш драматург отнесся однако очень самостоятельно и, заимствуя в общих чертах образы, типы и ситуации, в разработке деталей, характеристике и обрисовке действующих лиц исходил из собственных наблюдений окружающей русской жизни».

После работ Филиппова и Рулина статейка В. И. Резанова в значительной мере теряет значение. Вот пример бесплановости распределения сил в науке: трое ученых проделывают одну и ту же работу, а целый ряд важнейших тем ждет своих исследователей.

К тому же кругу вопросов—о ранней комедии XVIII в.—относится еще статья В. Филиппова «К вопросу об источниках шутовской комедии. Из истории русского мольеризма» (тот же сборник «Памяти П. Н. Сакулина», стр. 296—304). Это—небольшое разыскание чисто фактического характера о любопытном памятнике русской драматургии первой половины XVIII в., изданном в свое время акад. В. Н. Перетцом. В. Филиппов приходит в своей статье к следующим выводам: 1) Комедия представляет собою перевод с французского (или переделку) итальянской Арлекинады (может быть через посредство польского текста)... и т. д. 2) Комедия, имея много точек соприкосновения с Le Malade Imaginaire... является переводом или переделкой прототипа многих Мольеровских комедий, в чем нас убеждает общность ряда комических моментов нашей пьесы с целым рядом пьес Мольера. 3) Сцены и фигуры... доморощенного происхождения слишком ничтожны, чтобы на основании их искать автора среди противников Петровской эпохи...

К этому же кругу исследований комедии относится заметка Б. В. Варнеке «Стили русской драмы XVIII в.» («Slavia», 1929, № 1), в которой намечен вопрос о реалистических элементах русского классицизма (и указаны сближения черт стиля русской драматургии с течениями западной живописи).

Отмечу также статью С. А. Щегловой «Неизвестная драма Петровской эпохи о царице и львице» (Труды комиссии по древнерусской литературе Академии Наук СССР, т. I, 1932, стр. 153—229). Здесь кроме публикации текста самой драмы дана статья о ней, обширная, весьма тщательно сделанная, но построенная по типу только лишь комментария к тексту. Общей историко-литературной концепции в статье, несмотря на большие знания ее автора, не дано.

Из других тем о литературе XVIII в., затронутых наукой последних лет, следует особо выделить вопрос о «низовой», не-дворянской литературной продукции этой эпохи. Разработка этого вопроса, выдвинувшегося только за последние десятилетия, составляет одну из первоочередных задач нашего литературоведения, и всякие начинания в этой области следует приветствовать. Справедливость требует отметить, что не все эти начинания приводят к вполне удачным результатам. Трудность вопроса заключается как в новизне его, так и в неопределенности, обширности, разнообразии материала, подлежащего обследованию. Что читал, что потреблял в области литературы грамотный человек, для которого Сумароков или Херасков были чужды и который сам был чужд культуре и читательской установке и помещика, и придворной «знати»? И сказки, и книги типа Бовы, и книги, составляемые Чулковым, и песни М. Попова, и так называемые народные песни, и переводные романы, и рукописи, унаследованные от XVII в. и ранее, и, в первую очередь, Псалтырь. В этом море материала, проблем, отдельных конкретных загадок как связанных с литературными памятниками, так и с вопросами о том, кто был и что собою представлял их читатель, нетрудно конечно утонуть. Поэтому обычно осторожные исследователи приступают к изучению вопроса, начиная с мелочей, и это очень досадно. Так например, академик В. Н. Перетц сообщает неизданный материал, необычайно интересный, важный, но воздерживается от соблазна окружить этот материал другим, аналогичным или смежным, воздерживается и от широких обобщений на основании его, которые столь глубокий знаток вопроса, как В. Н. Перетц, именно и мог бы сделать. Статья В. Н. Перетца называется «Неизвестные подражатели кн. А. Д. Кантемира» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Акад. Наук СССР» 1926 г., т. I, кн. 2, стр. 335—357); в ней напечатаны и прокомментированы три произведения поэтов из круга семинарских интеллигентов, написанные в духе сатир Кантемира. Что касается комментария, то он сделан конечно отчетливо, хотя коекакие замечания все же можно сделать о некоторых его частностях [11].

Интересно ставит вопрос о низовой литературе В. П. Адрианова-Перетц в статье «Басни Эзопа в русской юмористической литературе XVIII в.» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук» 1929 г., т. II, кн. 2, стр. 377—400). В. П. Адрианова дает довольно серьезный анализ неизданного памятника «низовой» литературы, переработки басен Эзопа, указывает источник переработки, дает характеристику ее, в конце затрагивает вопрос о ее анонимном авторе. Сам по себе интересный материал взят все же несколько узко, т. е. не окружен всей традицией близких с ним явлений и не истолкован достаточно принципиально.

В. П. Адриановой принадлежит еще одна заметка, посвященная также мало известному участку «низовой» литературы; это заметка о «Юмористических лечебниках», помещенная в «Сборнике отд. русск. яз. и слов. Академии Наук», т. 101 в честь А. Н. Соболевского (1928 г.).

В том же сборнике напечатана статья Е. Масловой, посвященная одному мелкому вопросу в области изучения печатной «низовой» литературы; к сожалению вопрос,

обследованный Е. Масловой, уж слишком мелок, тогда как он относится к проблеме, настоятельно требующей освещения, и к кругу литературы, настоятельно требующему пристального изучения на широком социологическом фоне. Дело идет о литературе типа Кургановского письмовника, о всевозможных сборниках анекдотов, забавных новелл и т. д., получивших широкое распространение во второй половине XVIII в. в связи с появлением в литературе нового читателя, в связи с существенными фактами социальной истории страны. Е. Маслова в статье устанавливает, что М. Семенов, издавший третий том изданного ранее в 2-х томах его отцом сборника анекдотов «Товарищ разумный и замысловатый», большую часть анекдотов для своего сборника заимствовал из письмовника Курганова (статья так и называется «К истории анекдотической литературы XVIII в. «Товарищ разумный и замысловатый», ч. III Мих. Семенова и «Письмовник» Курганова»).

Вопросам фольклорной (тоже «низовой») поэзии XVIII в. посвящена статья П. М. Соболева «Песенники 90-х годов XVIII века», помещенная в журнале «Литература и марксизм» (1928, т. VI). Эта статья отмечена значительной широтой поставленных в ней вопросов и серьезной методологической установкой автора. Материал статьи несколько ограниченный, что вредит работе, но на основании его автор сумел затронуть общую проблему взаимоотношения словесного фольклора с книжной литературой «высших» социальных слоев. В статье Соболева нет конечно и тени увлечения самоцельной библиографической работой. Желательно было бы лишь привлечение более значительного материала, так как большее число разработанных текстов сделало бы его работу более обоснованной.

Интересный материал своеобразного полуфольклорного (но письменного) типа дает А. Д. Седельников в статье «Плач-памфлет о крепостной доле (неизданная редакция)» («Литература и марксизм» 1931 г., кн. IV, стр. 126—136). Автор статьи совершенно справедливо указывает, что мы очень мало имеем литературных памятников, освещающих «положение крепостных с их собственной точки зрения». Тем более ценна каждая находка в этой области. Напечатанный А. Д. Седельниковым текст четко распадается на две части, без сомнения представляющие собою раздельные произведения, и напрасно А. Д. Седельников рассматривает второе из них—своего рода интермедию (ср. со сборником «Одиннадцать интермедий XVIII века». Памятники древней письменности, вып. 187, 1915 г.)—как заключение первой—«Просьбы в небесную канцелярию от экономических крестьян».

Помимо анализа состава обоих произведений об этом говорит и то, что первая основная часть текста, печатаемого А. Д. Седельниковым,—не новинка. Она была уже опубликована в 1875 г. в «Русском архиве» (т. III, стр. 255—256—«Старинное острословие. Прошение в небесную канцелярию») и потом вновь в том же «Русском архиве» 1908 г. (т. III, стр. 215—217; публикация П. Юдина «Жалоба саратовских крестьян на земский суд»). В первом издании она дана в тексте лишь мало отличном от текста А. Д. Седельникова и закончена 7-й строфой, так же как и у Седельникова, явно заключительной. На том же месте кончается и публикация второго «издания» плача в «Русском архиве», несколько отличная по тексту (вообще трудно представить себе такое соединение драматической формы с пародией на прошение).

Хотя первая часть публикации А. Седельникова и не дает нового материала, она любопытна хотя бы по тем разночтениям (не меняющим смысл, но кое-где уточняющим его), которые имеются в ней по сравнению с текстом «Русского архива»; жаль только, что А. Седельников, от внимания которого повидимому ускользнули тексты «Архива», не сличил всех трех текстов. Кроме того, не говоря уже о второй части публикации, А. Д. Седельников сопровождает издаваемый текст толково составленной статьей-комментарием социально-исторического, историко-литературного, реального и специально филологического характера.

К статье А. Д. Седельникова примыкает ценная статья В. Ржиги «Первые начатки крестьянской литературы» («Земля Советская» 1931 г., кн. 7, стр. 88—92). В. Ржига правильно и своевременно ставит вопрос о выделении крестьянского творчества XVIII в. из общей массы «низовой» литературы, обслуживавшей конечно в первую очередь представителей иных, более привилегированных общественных групп. Он прав, настаивая на том, что в среде крестьянства появлялись элементы самостоятельного творчества, опирающиеся на свою собственную идеологию. При этом он учитывает наличие диференциации крепостной массы.

Статья В. Ржиги посвящена, собственно говоря, публикации двух повестей-анекдотов, относящихся к середине XVIII в., изображающих похождения крестьян и отражающих, по мнению исследователя, их точку зрения. Существенным недостатком работы является то, что в ней только лишь изложено содержание обеих повестей и приведены цитаты из них (немногочисленные). Следовало бы конечно

напечатать повести целиком. Отказ от этого сильно понизил значение публикации В. Ржиги для науки. Если же автор имел в данном случае в виду популярность своей статьи, то ведь он мог подойти к делу и иначе, дать например текст повестей в приложении и т. п. Конечно очень хорошо, что В. Ржига показал своей статьей опыт оживления литературы XVIII в.; социологическая постановка вопроса сделала публикацию более глубокой, действенной, чем если бы повести были опубликованы по принципам старой академической науки; но он упустил из виду, что подлинность текста, непередаваемый никаким изложением содержания характер самого склада речи рассказчика старинной повести с его прибаутками, рифмованным разговорным языком и т. п.—все это, сохраненное в печати, может сделать публикацию только более нужной и более полно воспринимаемой нашим читателем (другое дело, что следовало бы может быть, публикуя полный текст повестей, дать вместе с тем нечто вроде их перевода на современный язык). Нельзя также не пожалеть о том, что В. Ржига использовал в своей статье не весь материал о крестьянской литературе XVIII в., доступный исследователю. Все же его статья—хороший почин; уже то, что она появилась в массовом журнале,—очень положительное явление в истории развития нашего знания о XVIII столетии.

Материл XVIII в. слегка затронут в небольшой статье В. Зельцер «У истоков фабричной поэзии» («Лит. и марксизм» 1928, кн. V, стр. 107—114), ставящей вопрос о начальном периоде рабочего фольклора в России, вопрос, существенный для науки, при этом ставящей его в марксистском освещении.

Несколько в стороне от этих работ стоит публикация Н. Г. Богдановой «Стихи XVIII в. о рудокопном деле» (Труды комиссии по древнерусской литературе Академии Наук СССР, т. I, 1932, стр. 231—246), в которой напечатаны примечательные стихи аннинского времени, возникшие на крупном промышленном предприятии. Это—стихи официальные, одически-хвалебного типа, но они дают не только интересное добавление к существовавшим в науке сведениям о распространении и характере «классической» силлабической поэзии, но и материал, не безразличный для истории промышленности и техники в России в XVIII в. Небольшая дельная статья при публикации заключает только лишь внешне исторический комментарий к тексту, к сожалению не давая ни экономического, ни историко-технического, ни историко-литературного объяснения его.

Проблеме «низовой» литературы XVIII в. отчасти посвящена книга В. Б. Шкловского «Матвей Комаров, житель города Москвы» (1929 г.). В книге идет речь о Комарове, составителе ряда книг, расходившихся в «низовой» среде.

Я уже имел случай весьма подробно остановиться на этой книге (см. «Звезда» 1930, № 1. Статья «В. Шкловский как историк литературы»); это избавляет меня от необходимости говорить о книге В. Шкловского здесь, поскольку я могу отослать любопытного читателя к указанной статье. Скажу лишь, что если проблема, за разработку которой взялся В. Шкловский, и актуальна, и крайне интересна, то все же книгу В. Шкловского следует признать ни в какой мере не приближающей нас к разрешению этой проблемы. Методологическая позиция автора представляет собою образец идеологической эклектики. Материал (а книга в значительной мере представляет собою пересказ и монтаж кусков книг Комарова) не приведен в систему. В. Шкловский хочет «открыть» низовую литературу XVIII в., уже открытую до него. Высказывания Шкловского об этой литературе также или не новы, или совершенно необоснованы, даже не всегда осторожны. Кроме того книге Шкловского вредит немалое число фактических ошибок, показывающих, что осведомленность его в материале XVIII в. весьма недостаточна, так же как степень тщательности в обработке этого материала. В результате книга ничего не дает читателю; она неинтересна, хаотична и ненаучна.

Книга Шкловского—лишнее доказательство мысли, не раз всплывающей в изложении настоящей статьи, о недопустимом пренебрежении науки к XVIII в. русской литературы. Она показывает воочию, что в области изучения XVIII в. наши литературоведы иной раз решаются выступать с таким багажом знаний, с таким уровнем теоретической продуманности вопросов, с которым не пришло бы в голову выступить в печати никакому исследователю XIX столетия, будь он даже самый юный и самый решительный человек.

К темам о «низовой» литературе примыкает тема статьи В. С. Нечаевой «Русский бытовой роман XVIII века. М. Д. Чулков» (ученые записки Ин-та языка и литературы Ранион, т. II, 1928, стр. 5—41). М. Чулков как романист, так же как во всех других отношениях,—один из наиболее замечательных деятелей литературы XVIII в. Напомнить о нем весьма полезно. Работа В. Нечаевой имеет однако ученический характер. Она именно только напоминает о романе и новеллах Чул-

кова, не углубляясь в их исследование и недостаточно окружая их анализ материалами современной Чулкову литературы.

Переходя к другим отделам истории русской литературы XVIII в., следует сказать, что в большинстве случаев мы сталкиваемся здесь со статьями и заметками публикаторского или библиографического характера. Так А. И. Малеин сообщает о новонайденных трех письмах Тредиаковского от 1731 г. («Новые данные для биографии В. К. Тредьяковского». Упомянутый сборник в честь А. И. Соболевского), но печатает почему-то только одно из этих писем (и то повидимому не полностью, и еще 4 строчки из другого); опубликованный им текст очень интересен, но нельзя не подосадовать на то, что не дан полный текст всей находки.

В том же сборнике В. Ф. Шишмарев дает разыскание о книге «Повесть славного Гаргантюа» (1790 г.; книга—не перевод из Рабле, а перевод другой обработки легенды о Гаргантюа), а В. Маслов сообщает о появлении Оссиана в русском переводе еще до ранее учтенных наукою изданий: в переводе Гетевского «Вертера» (1781 г.), где даны большие куски Оссиановского текста (статья называется: «К вопросу о первых русских переводах поэм Оссиана—Макферсона»).

А. Н. Филиппов в своей статье «И. П. Пнин и его опыт о просвещении относительно к России» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук СССР» 1929, т. II, кн. 2) сообщает неизвестные доселе авторские вставки в текст «Опыта», подвергшегося, как известно, цензурным гонениям; кроме того А. Н. Филиппов дает характеристику взглядов Пнина на крестьянский вопрос в связи с публикуемым материалом. Только публикацией материала лишь с самым необходимым комментарием (по преимуществу текстологическим и библиографическим) является работа С. П. Шестерикова «Из неизданных стихотворений Д. П. Горчакова» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук» 1928, т. I, кн. I, стр. 154—183). Библиографический аппарат исследования—на высоте самых строгих требований. Однако жаль, что, публикуя тексты Горчакова, весьма примечательного сатирика конца XVIII в., С. П. Шестериков ограничился тем рукописным материалом, который оказался в его руках, и не расширил своей задачи привлечением других текстов, которые можно было бы разыскать в архивах.

В журнале «Штурм» (1931 г., № 8—9, стр. 81—82) появилась заметка З. Л—ва «Поэт Державин и крепостное крестьянство», сообщающая сведения о крестьянских волнениях, происшедших в поместьи Державина после его смерти в связи с его предположениями освободить своих «подданных» по завещанию.

Ни в какой мере не библиографический характер имеют следующие статьи о литературе XVIII в.:

Б. И. Ярхо, Ритмика так называемого «Романа в стихах» (т. е. полустихотворной анонимной повести, изданной В. В. Сиповским в «Русских повестях XVII—XVIII вв.»); Л. И. Тимофеев, Силлабический стих; Л. И. Тимофеев, Вольный стих XVIII в. (все три статьи помещены в сборнике «Ars Poetica», изданном ГАХН в 1928 г., т. II под ред. М. А. Петровского и Б. И. Ярхо); затем В. Архангельский, Крылов как писатель («Лит. и маркс.» 1930, кн. IV—V, стр. 98—120).

Первые три статьи, хотя используют для своих построений материал допушкинской поэзии, относятся скорей к теоретической поэтике, чем к истории литературы; поэтому я обойду их молчанием, воспользовавшись возможностью не вчитываться в невыносимо скучный текст, страдающий пристрастием к статистике, часто подменяющий постановку теоретических проблем стиха механическим подсчитыванием тех или иных его проявлений, внешним «описанием» отдельных элементов техники метра (замечу в скобках, что в статье Л. И. Тимофеева о силлабическом стихе, если читатель проберется через весь этот лес ненужной цыфири, он найдет правильную и по существу новую концепцию русской силлабики). Некоторые попытки исторически осознать изучаемый материал наблюдаются у Л. И. Тимофеева. В конце второй своей статьи он дает даже попытку социологически обосновать свою работу; это «заключение» производит впечатление искусственного придатка к статье [12].

Совершенно иной характер имеет статья В. Архангельского о Крылове.

Статья дает весьма суммарную, беглую характеристику Крыловского творчества, спешный пробег по всем его этапам. Ряд кардинальных вопросов, связанных с литературной деятельностью Крылова, не поставлен. Анализ мировоззрения Крылова, а в связи с этим и его социальной позиции краток, использует слишком мало материала и потому носит характер поверхностности. Анализ стиля конечно отсутствует (нельзя назвать анализом несколько ничего не говорящих замечаний).

Автор хочет сделать свою работу марксистским исследованием. Но он вводит в круг своего рассмотрения так мало фактов и настолько приблизительно исследует их, что трудно извлечь из его статьи сколько-нибудь отчетливую и стройную систему суждений о социальной природе творчества Крылова. Впрочем в конце статьи автор сводит все свои замечания воедино: «Какова же общая социологическая формула Крыловского творчества?—Оно созрело под знаком проникновения буржуазных отношений в феодальное общество. Крылов выражал устремление мелкого служилого дворянства, генетически связанного с мелким поместьем. Фигура обличителя общественных пороков в феодальном обществе является центральной в творчестве Крылова, в процессе своего развития приобретая различные черты и различные функции. Трагедия расточительства—основная тема в его творчестве. Идеология Крылова является проводником идей неограниченного самодержавия и борьбы с ограничением самодержавия в пользу аристократической олигархии. Оппозиционность Крылова самодержавного происхождения. Ее умеренно радикальный в начале творчества Крылова характер в последний период его творчества принимает форму протеста против всякого прогрессивного движения, направленного в сторону ограничений централизованного абсолютизма.

Стиль Крыловского творчества—поместный стиль в стадии преодоления классических традиций и перехода к реалистической манере письма (мелкопоместный стиль)». И т. д.

Может быть основное во всем этом и не неверно, но насколько обще, неточно, неразвито, недоказано! Текст статьи мало прибавляет к этим суммирующим ее положениям.

Беда статьи конечно в том, что она недостаточно точно представляет окружение Крылова, не учитывает фактов современной ему литературы и истории вообще. Автор понимает «классицизм» в литературе как нечто обязательно «высокое» и мифологическое (аллегорическое)—представление не только расплывчатое и неполное, но и неверное. Однако же он считает, что «к комедии Крылов пришел через отрицание классической пиитики», хотя комедия, и именно такая, какие писал Крылов,—один из основных жанров русского классицизма. «Такова внутренняя диалектика его драматического творчества», замечает далее автор. Таким же образом он считает почему-то комическую оперу «в известном смысле общественной реакцией на классическую трагедию»; о сатирических статьях Крылова он говорит, что в них «Реалистическая манера изображения действительности преобладает над аллегорической... классические традиции дают себя чувствовать лишь в отдельных случаях, когда они привлекаются писателем лишь в качестве аксессуаров для аллегорического оформления»; как будто самый «классический» из русских писателей, Сумароков, обязательно пользовался аллегорией или мифологией в своих сатирических произведениях, как будто вообще аллегория—главный признак классицизма, как будто речь идет о реализме в духе Толстого, а не о том реализме, который был в высшей степени свойствен именно русскому классицизму. Нельзя отрывать изучение Крылова-сатирика от изучения сатирической и публицистической журналистики от Сумарокова до Новикова, Эмина, Радищева и мн. др.; нельзя отрывать изучение Крылова-драматурга и Крылова-лирика от изучения русской комедии, начиная с Сумарокова и кончая Клушиным, Ильиным, Ивановым и др., от русской лирики, начиная с Хераскова и до Державина и его учеников вроде того же Клушина и т. д. [13]

Изучение Радищевского творчества, которое должно быть выдвинуто как одна из первоочередных задач нашей науки, за последние годы двигалось слабо. Укажу статьи, помещенные в «Ученых записках Саратовского государственного им. Н. Г. Чернышевского университета» (т. VII, Саратов, 1929 г.); А. Скафтымов в статье «О реализме и сентиментализме в Путешествии Радищева» (стр. 173—194) ставит вопрос о стиле Радищевской книги. Статья сделана тщательно, и автор подошел к вопросу серьезно. Тем не менее никак нельзя согласиться с его основным тезисом о том, что Радищев—вовсе не сентименталист. Доказательство этого тезиса построено на урезанном, суженном и произвольном понимании термина сентиментализм (в достаточной мере неопределенном в данном контексте) и на несколько механическом анализе отдельных элементов стиля, оторванных и от общего мировоззрительного задания произведения, и от общего стилистического характера Радищевского произведения, и от проблематики социальной борьбы эпохи, и даже отчасти от окружавшей Радищева литературной современности. Неясно также понятие «реализм» в изложении А. Скафтымова. Все же следует приветствовать попытку вновь поставить вопрос о Радищеве как о писателе.

В том же сборнике имеется статья А. Н. Лозановой «К характеристике «Путешествия» и сибирских путевых заметок Радищева (этнографические элементы)»

(стр. 251—259), имеющая ученический характер. В статье отмечены следы этнографических интересов Радищева в некоторых его произведениях.

Краеведческий характер имеет и статья П. Н. Луппова «А. Н. Радищев о Вятском крае» (труды Вятского Научно-исслед. института краеведения, т. IV, 1928 г., Вятка, стр. 102—109), в которой говорится о заметках Радищева о Вятском крае в его дневниках путешествий в Сибирь и из Сибири.

Наконец последней по времени работой о Радищеве явилась статья Н. Г. Павловой «Сказка «Бова» у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры» («Звенья», т. I, 1932). Эта сумбурная статья способна только запутать ряд вопросов, связанных с изучением творчества Радищева. Так автор ее считает, что Радищев якобы изобразил в «Бове» Петра II и Григория Орлова в лице Гвидона и Додона, что он имел в виду прославить в этой поэме Петра III в благодарность Павлу I за освобождение из Сибири, что он хотел описать в ней иносказательно известные вторичные похороны Петра III при Павле и т. д. Все эти ни на чем не основанные и конечно совершенно несправедливые догадки не обоснованы сколько-нибудь серьезно, и против них можно выставить ряд веских соображений. Сверх того статья изобилует странными натяжками и предположениями. Укажу например, что автор предполагает, будто использованный им список сказки о Бове принадлежал Павлу Петровичу только потому, что в нем есть вставка-запись: «государь, ести хочется. С великою радостью»,—как будто бы обращение «государь» не было широко распространено в XVIII веке. Или такое: Павел Петрович в бытность свою в Париже смотрел в театре пьесу Лагарпа «Jeanne de Naples». Поэтому, между прочим, как пишет Н. Г. Павлова, «Жанета—девка храбра» фигурирует в «Бове», как у Радищева, так и у Пушкина... Но тут же прибавляет, впрочем, что Радищевская Жанета—это «La Pucelle» Вольтера. Убийственная логика. Я уже не говорю, что в литературные источники для Радищевского «Бовы» Н. Г. Павлова зачислила книги М. М. Щербатова, идеолога феодальной аристократии и крепостника. В целом, хотя в статье Н. Г. Павловой есть одно ценное место,—это сличение мотивов сказки о «Бове» с Радищевской поэмой, появление этой статьи никоим образом невозможно приветствовать.

IV

Как видим, плановость не сделалась еще принципом, руководящим работой нашей литературоведческой науки по изучению XVIII в. Здесь царит еще самотек, приводящий к ряду неудобств. С одной стороны, несколько ученых принимаются за одну и ту же тему, едва ли не случайно всплывшую на поверхность; с другой стороны, самые нужные, самые большие темы остаются вовсе или почти неизученными.

Вопрос об организации научных сил в данной области, о некоторой хотя бы систематизации работы стоит того, чтобы о нем подумали наши научно-исследовательские учреждения. Еще существеннее то, что анализ литературы XVIII века под углом зрения марксизма-ленинизма почти еще не начинался.

Но первой задачей, стоящей перед литературоведением по отношению к XVIII в., является задача преодоления косных взглядов на него, введение его в круг «большой» русской литературы. Пора уже отказаться от пренебрежения к «допушкинской» литературе, пора перестать смотреть на нее как на достояние лишь ультраакадемической науки, пора отнестись к ней как к искусству, т. е. как к факту и фактору социального творчества.

При этом недостаточно рассчитывать на ученых, на книголюбов, на «любителей старины». Не им мы должны показать XVIII век; они обязаны сами узнать его. Мы должны открыть XVIII век для широкого читателя, для вузовца, для преподавателя школы, для рабочего, которого интересуют судьбы нашей литературы. Мы не можем удовлетвориться борьбой за научный подход к фактам XVIII в. внутри науки; такая борьба будет бесплодна, пока мы не вынесем ее на трибуны научной мысли, в широкую печать. Только тогда можно будет говорить, что мы преодолели наследие «старозаветного» ложного отношения к литературе XVIII в., когда произойдет поворот в общественном восприятии фактов этой литературы, когда читатель, считающий долгом культуры знать и любить Толстого, хорошо помнить Тургенева и Тютчева, прочтет и оценит Державина, Карамзина и Сумарокова. Только тогда возможна будет понастоящему и широкая научная разработка наследия писателей XVIII в., потому что наука изучает по преимуществу живое, а не мертвое, потому что он апитается художественными течениями, идеями и восприятиями общества, ее создающего. Одно надо усвоить: довольно прятать целую эпоху русской литературы в архивах, в письменных столах профессиональных ученых, в научных книжных собраниях; надо вынести ее в массовую библиотеку, на витрину книжного магазина, в школу.

Я не могу конечно в этой статье останавливаться на тех проблемах, которые стоят перед будущими исследователями литературы XVIII в.; в конце концов это—проблемы всего нашего литературоведения в целом. Но я считаю возможным здесь подчеркнуть необходимость вывести из забвения самый объект изучения.

К сожалению за последние годы по линии популяризации самих произведений XVIII столетия не было сделано почти ничего.

Дело кажется ограничилось изданием однотомника Крылова, «Бедной Лизы» в школьной серии ГИЗ (1930 г., статья Н. В. Балаева при этом издании имеет характер специфический—это статья для средней школы), школьным изданием басен Крылова (Полн. собр. басен, ГИХЛ, Дешевая библиотека классиков. Школьная серия, 1931. Послесловие А. Цинговатова мало убедительно), помещением коекакого материала в книге «Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX вв. под редакцией Ю. Тынянова» (Academia, 1931) и двумя переизданиями записок Болотова (Academia, 1931 и сл. и «Молодая гвардия», 1930).

Книга Тынянова задумана интересно. Пародия конечно дает существенный материал и для историка литературы, и для историка вообще; пародия—значительный и острый вид художественного творчества. Но (имею в виду материал XVIII в.) книга пародий вышла местами суховата и малопонятна. Мешает восприятию книги и самое расположение материала; сначала идут пародии по пародируемым жанрам: ода, элегия, песня и романс и т. д., при чем например под рубрикой оды объединены произведения самых различных школ от 80-х годов XVIII в. до 30-х XIX в., под рубрикой элегии имеются в виду как «елегии» сумароковской школы, так и элегии школы Жуковского и Батюшкова, т. е. совсем разные литературные образования, и т. д. Далее группировка материала по жанрам сбивается (отдел «Эклектики, дилетанты и подражатели», «30-е годы», «экзотика»). Наконец значительная часть книги располагает материал по пародируемым поэтам, а в конце—опять новый принцип группировки материала: «Приложение. Пародические памфлет, фельетон и сатира». Я не буду говорить о подборе материала XVIII в. в книге; мне кажется, что хорошо и то, что составители книги напомнили о целом ряде примечательных памятников пародийной литературы XVIII в.

Но вот в чем беда: читатель, не знающий всей истории литературной борьбы в XVIII в. (а какой же читатель ее знает?), мало что поймет и оценит в пародиях этой эпохи. Для него лишены смысла все намеки, все особенности пародийного стиля, игравшего в свое время роль острого оружия против литературных—и не только литературных—недругов.

Весьма краткий, хотя и точный, комментарий к книге ни в малой мере не может притти здесь на помощь читателю, не улавливающему, в чем же комизм, в чем остроумие, в чем смысл пародии, поскольку он не знает пародируемого материала, не знает реалий, не знает, кто, за что и против чего борется оружием пародии. Укажу примеры: в книге напечатана пародия на сатиру И. П. Елагина. Кто такой И. П. Елагин? Что это за сатира? Разве читатель обязан знать это? Разве он помнит, что в сатире Елагина похвален Сумароков и обруган Ломоносов, что вокруг нее разгорелась целая литературная война, и т. д.? А между тем все в печатаемой пародии, начиная от заглавия ее, понятно лишь при знакомстве с относящимся сюда материалом; часть текста пародии почти вовсе непонятна (т. е. мало понятен элементарный смысл его) без знания текста сатиры Елагина. Между тем в примечании к пародии никаких сведений ни о Елагине, ни о его сатире не дано; составители удовлетворились приведением двух строк из Елагинской сатиры в виде эпиграфа к пародии (даже не указав, откуда эти две строки). Этот метод эпиграфов, указывающих пародируемый текст, принятый в книге, мало помогает читателю. Другой пример: дана пародия на В. Петрова; опять читатель ничего конечно не знает о В. Петрове; пародия непонятна для него, как впрочем и множество других (для XVIII в. почти все), потому что даже пародии на Ломоносова мало говорят без напоминания о пародируемом тексте.

Отмечу как существенное достоинство книги «Мнимая поэзия» то, что в ней опубликованы впервые некоторые примечательные стихотворения XVIII века.

Кстати: нельзя не видеть некоторой парадоксальности развития нашего знания о литературе XVIII в. в том, что ознакомление с нею широкого читателя начинается с пародии.

Я не считаю нужным останавливаться в настоящей статье на книжечке, вышедшей на год раньше «Мнимой поэзии» и по существу отмененной этой последней работой, на сборнике Б. Бегака, Н. Кравцова и А. Морозова «Русская литературная пародия» (Вступительные статьи А. Цейтлина и Л. Гроссмана. ГИЗ, 1930). К XVIII в. в этой книжечке относится лишь несколько стихотворений в самом сборнике и

несколько страниц в одной из многочисленных статей, вводящих в него, в статье Н. Кравцова «К истории русской пародии», страниц не очень содержательных, весьма развязно написанных и обнаруживающих недостаточное знакомство автора с историей литературы.

В 1931 г. ГИХЛ выпустил «однотомник»—сочинения Крылова. Однотомник содержит все 9 книг басен Крылова и избранные произведения его в других жанрах: стихи, прозу и комедии. В начале тома—статья В. М. Саянова «Крылов и русская литература», в конце и внизу страниц текста примечания и биография, автор которых не указан. Задача Гизовских однотомников—широко распространить произведения так называемых классических писателей, дать в руки школьнику или взрослому рабочему доступную по цене, портативную и в то же время вполне научно приготовленную книгу, знакомящую его с вершинными достижениями художественного творчества прошлого. В этом смысле появление однотомника Крылова—очень положительное явление. Совершенно правильно поступил при этом ГИХЛ, издав не только басни Крылова, но решив показать его во всех главных проявлениях его художественного пути—от журналистики и «левой» позиции через националистические комедии к охранительным и идейно-реакционным басням (конечно сущность Крыловского мировоззрения не так уж сильно изменилась за сорок с лишком лет его литературной деятельности; менялся состав взглядов и высказываний в соответствии с изменением социально-политической ситуации. К сожалению этот вопрос недостаточно ясно поставлен в издании). Собственно к XVIII в. относится именно не басенное творчество Крылова (до 1805 г. им написано всего несколько басен), однако я позволю себе высказаться обо всем издании в целом, так как раздробить его на части не представляется возможным. Оставляя в стороне текстологические вопросы, можно кое-что возразить по поводу выбора произведений и очень многое по поводу объясняющего текст материала. О выборе: почти совсем не показан Крылов как поэт—помимо басни. В отделе «Избранные стихотворения» дано 19 эпиграмм, мадригалов и т. п. мелочей, 2 послания—и все. Крылов-лирик, автор целого ряда стихотворений (и прекрасных стихотворений), почти вовсе скрыт от читателя за счет исторических мелочей, едва ли так уж характерных для его творчества. Что же касается драматических произведений и журнальных статей, то они отобраны, по моему мнению, достаточно правильно. Но очень неблагополучно обстоит дело с комментарием и прочим, к нему относящимся. Задача комментария в издании типа Гизовского однотомника прежде всего в том, чтобы приблизить классического писателя к современному читателю, объяснить его в целом и в тех частностях и деталях, которые непонятны по условиям отдаленности времени, чуждости быта и т. п. Надо было сделать текст Крылова, во многих местах уже не лишенный признаков обветшания языка и часто рассчитанный на понимание подразумеваемых в нем событий, отношений, идей начала XIX в., полностью открытым для школьника, тем более—для вузовца, кружковца, рабфаковца. Повидимому составители книги забыли о такой задаче. Интересная статья В. М. Саянова «Крылов и русская литература» нисколько не заботится о том, чтобы показать читателю определенные факты и осветить их. Она рассчитана на читателя, превосходно осведомленного в истории русской литературы конца XVIII и начала XIX в. и знающего к тому же французский язык (дав перевод одной французской цитаты из Лансона, автор не счел нужным перевести название оперы Руссо, а затем и цитату из Лафонтена). Это—очерк, essai, в духе какой-нибудь юбилейной речи, произнесенной в весьма академическом или литературном собрании. Автор говорит о разнообразных вещах: много о Радищеве, Карамзине, о всей литературе конца XVIII и начала XIX в. и недостаточно о Крылове, при чем он не показывает его, так же как не показывает ни Радищева, ни Карамзина, ни других, а говорит по поводу их и лишь «истолковывает», при чем читателю неизвестен объект истолкования, например взгляды Крылова той или иной эпохи, сообщить о которых Саянов не считает нужным. Однако и самое истолкование не совсем правильно уже по своей установке, поскольку оно, обходя самого Крылова, главным образом напирает на то место, которое занимает Крыловское творчество среди отвлеченно вычерченных литературно-социальных группировок эпохи и затем в «линиях», традициях, жанровых эволюциях от Хераскова до Салтыкова-Щедрина. Нехорошо конечно отрывать писателя от своей эпохи, но непохвально, особенно в данном случае, забывая о писателе, заниматься классификацией всех явлений литературы эпохи по нескольким рубрикам с тем, чтобы, пристроив своего писателя к одной из них, считать свою миссию выполненной. Между тем надо было раскрыть систему Крыловского мировоззрения, его литературной идеологии и социальной направленности, эволюции его творчества в целом. Ведь важнее было в данном случае объ-

яснить Крылова, т. е. объективный, исторический смысл его произведений, чем строить «форсоцовское» здание взаимоотношений литературных групп и фактов целой четверти века с лишком на пространстве не такой уж большой статьи. В статье Саянова есть немало интересных мыслей, которые можно было бы с пользой развить в специальных работах; это—статья даровитого, осведомленного и понимающего литературу человека; но, во-первых, она методологически беспомощна (эклектизм—от формалистических установок и формул, до часто весьма неточного социального анализа); во-вторых—она не совсем уместна в данном издании, мало даст именно тому читателю, на которого рассчитан однотомник. Еще меньше поможет читателю комментарий. Часть сведений из области реального комментария дана в подстрочных примечаниях. Необыкновенная краткость делает их иногда совершенно бесполезными, бессмысленными. Крылов начинает басню: «Когда Смоленский князь[1] Противу дерзости искусством воружась, Вандалам новым[2] сеть поставил...» к первому стиху примечание: «1) М. И. Кутузов-Смоленский», к третьему—«2) французам 1812 г.» (стр. 24); или у Крылова об осле сказано «А мой ушастый Геркулес»...; к последнему слову сноска: «В смысле—герой» (стр. 30); в другом месте к словам «Вот, новый Геркулес» сноска: «В смысле силач» (стр. 43). Или к стиху «Из Ахиллеса вдруг становится Омиром» примечание: «Т. е. из героя—певцом героев» (стр. 49), или к слову «Мегера»—«Заведывающая адскими мучениями» (стр. 85) и т. д. Едва ли читателю, который не обязан знать, что Омир—это Гомер, и даже кто такой Гомер, почему Геркулес—силач или герой, или даже кто такой Кутузов-Смоленский, что-либо дадут такие примечания. Если же он знает все это, они все-таки ничего не дадут ему, так как они слишком мало прибавляют к тексту. Что же касается Мегеры, то и она не объяснена примечанием, называющим ее служебное положение по адскому штату, поскольку не сказано даже, к какой мифологии относится это существо.

В примечаниях, данных в конце книги, также весьма мало нужного материала. Очень много в них приведено библиографических данных; это делает их неудобочитаемыми. К библиографии (вообще говоря, библиографическая точность ценна, но нужно было иначе подать весь этот материал) прибавляются варианты, «вовсе опущенные в примечаниях В. В. Каллаша» (редактора Полного собрания сочинений Крылова 1904—1905 и 1918 гг.),—совершенно неправильный для данного издания принцип, по которому может быть наиболее существенные варианты, как приведенные Каллашом (сам комментатор однотомника признает, что Каллаш в большой, хотя и не полной степени использовал печатные и рукописные источники-тексты Крылова), не попадут в комментарий, а самая малосущественная мелочь попадет в него. В комментарии далее указаны баснописцы, разработавшие до Крылова ту же басенную тему. Указания эти иной раз представляют лишь набор ничего не говорящих имен или ссылок, по которым весьма трудно даже найти соответственные тексты; например: «тему лжеца находим в баснях: Геллерта, Эмбера, Сумарокова, Хемницера и Левшина» (стр. 316). И тут же ссылка на Каллашевское Полное собрание сочинений и еще одну статью. Естественно возникает мысль—зачем же этот список имен, если все равно читателю надо для уяснения его адресоваться к работам, о значении которых уже шла речь раньше? Или еще пример, о басне «Лев состарившийся»: «Ее переводили до Крылова Тредьяковский, Сумароков, Ключарев (1795 г.), Державин и А. Е. Измайлов (1815 г.)» (стр. 363), и опять отсылки; или о басне «Откупщик и сапожник»: «До Крылова ее перевели Сумароков, анонимный писатель (1788 г.) и гр. Хвостов»... и т. д. (стр. 316). Что дает указание на этого ненаходимого по данному тексту анонимного писателя?

Сверх библиографии—объяснительный комментарий часто объясняет столь же мало, как и подстрочные примечания. Например о басне «Троеженец»: «...По свидетельству Н. И. Греча реальной основой для басни послужило бракоразводное дело Е. Б. Фукса (писателя-историка, р. 1762 г.—ум. 1829 г.)» (стр. 316), а что это было за «дело»—не сказано, или о басне «Вельможа и философ»: «По предположению Я. К. Грота, Крылов отвечал этой басней на пасквиль гр. Хвостова» (стр. 316), или о басне «Раздел»: «В. Ф. Кеневич предполагает, что басня направлена против разногласий во время войны с Наполеоном» (стр. 316), или о басне «Квартет»: «Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля... можно узнать, что в этой басне Крылов осмеял местнические счеты в «Беседе любителей Русского слова», в которых ему против воли приходилось принимать участие» (стр. 318), и т. д. и т. п. Все такие примечания заменяют одно неизвестное другим. Так и получается, что басни Крылова, бывшие в его руках сильным сатирическим или полемическим оружием, полные отзвуков активной социальной, политической, идейной, литературной борьбы его времени, вовсе не объяснены, не вскрыты комментарием; наоборот, мы найдем в нем такое вовсе ненужное замечание о басне «Гребень»: «П. А. Плетнев (в письме

к Я. К. Гроту) находил, что эта басня «самая грациозная» и что она удивительно глубока по идее и истинна в приложении к жизни» (стр. 320), или такое более чем странное «психологическое» наблюдение о басне «Василек»: «Сочинена под влиянием чувства благодарности к Марии Федоровне, приютившей баснописца в Павловске во время его болезни в 1823 г.» (стр. 315). Недостаточно объясненными остались и другие стихотворения Крылова. Так, в эпиграмме о Наполеоне и Чичагове (стр. 117) не объяснен даже первый стих «Любви Марбефовой с Летицией приплод», вовсе непонятный без знания сплетни о «незаконном» происхождении Наполеона (Летиция—его мать, Марбеф—французский губернатор Корсики), распространенной в реакционных кругах его русских ненавистников. Не объяснено, что это за «Приютино» в заглавии «Шуточные басни в Приютине», и т. д. Биография Крылова, приложенная к комментарию, составлена вполне толково.

Сверх издания сатирических статей Крылова в разобранном однотомнике, проза XVIII в. представлена в деятельности наших издательств за последние годы Болотовым. Удивителен традиционализм нашей науки и наших издательств! XVIII век оставил нам немало прекрасных мемуарных произведений, выразительных в смысле отображения эпохи, любопытных для читателя. Среди них—записки Болотова занимают одно из заметных мест; но ведь не сошелся же свет клином на Болотове! Между тем, когда В. Шкловский выпустил свою книгу о Болотове, за ним пошли и издательства. Книга Шкловского, в которой он кратко излагает жизнь Болотова по его запискам, представляет собою художественное произведение (притом удачное) и следовательно должна быть воспринимаема как новый роман Шкловского, а не как документ быта и литературы XVIII в.; книга эта не заменяет переиздания мемуаров Болотова. Переиздание их конечно полезно, и нужно приветствовать его. Но характерно, что Болотова заметил издатель тогда, когда он уже стал известен читателю; кто знает, не будь Шкловского, может быть Болотов и не был бы переиздан? Но что делать, если никого не найдется, чтобы обратить внимание кого следует на другие памятники, другие мемуары XVIII в.; мы так и останемся при одном Болотове, надо сказать довольно громоздком и даже скучноватом, несмотря на сокращения. Неплановость торжествует. Болотова уже знают; и вот издательство «Молодая гвардия» выпускает его записки в сильном сокращении: «Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков». В книге имеется обстоятельное предисловие С. А. Пионтковского, дающее характеристику Болотова как мемуариста и писателя; обработка текста и примечания выполнены Н. Кравцовым и А. Морозовым. Этого мало. Вслед за «Молодой гвардией» спешит «Академия» со своим изданием «Записок». (Книга издана с внешней стороны исправно. Первому тому предпослана статья А. В. Луначарского «Прошлое, настоящее и будущее у разных народов. К изданию памятников литерат. и общественн. быта» и статья С. М. Ронского «Болотов и его время», дающая беглую характеристику записок Болотова и жизнеописание его самого.)

Не слишком ли много для одного Болотова—два издания за два года? При этом оба издания—сокращенные, следовательно неполноценные, не заменяющие даже старого издания записок, сделанного «Русской Стариной», и вовсе не исчерпывающие вопроса о необходимости (буде таковая имеется) переиздания Болотова. Над этим следовало бы задуматься издательствам, особенно если бы они вспомнили, что бумаги у нас мало и что не стоит тратить ее без толку.

Конечно необходимо познакомить нашего читателя с мемуарной литературой XVIII в. Но ведь свет вовсе не сошелся клином на Болотовских записках. Ряд мемуаристов, на которых ни один смелый и настойчивый человек не обратил внимания наших робких издательств, вероятно долго еще будет погружен в забвение только потому, что издательства не видят традиции разговоров о них, изданий и т. п.? Напомню о мемуарах Державина (уже имя автора достаточно говорит за себя), Винского, Данилова, о записках Лабзиной, И. М. Долгорукова, первую половину которых издал «Русский библиофил», а вторая так и осталась до сих пор неизданной (!), и мн. др. Все эти мемуары дают богатейший бытовой материал. Нельзя не упомянуть также о ряде неизданных мемуарных работ и материалов того же А. Т. Болотова, так же как о других его трудах (напр. в области критики и т. п.). Вот бы издать эти работы, вместо того чтобы топтаться на одном месте вокруг остатков «Русской Старины»! Недавно появилась художественная обработка мемуаров Добрынина, сделанная Шкловским. Будем надеяться, что хоть это талантливое произведение несколько расшевелит кого следует.

Однако нужно заметить, что более первоочередная задача для наших издательских организаций, чем ознакомление широкого читателя с мемуарами или переписками,—ознакомление его с художественной литературой XVIII столетия.

Всем известно, что литературу XVIII в. узнать трудно даже при желании, так как трудно раздобыть книги, в которых она скрыта.

Даже специалист не всегда может прочесть те или другие памятники, иногда первостепенной важности. Отсюда ряд несправедливых недооценок. Приведу пример: один из наиболее замечательных, вполне живых для нашего эстетического восприятия лириков XVIII в.—без сомнения Херасков. Между тем даже специалисты-ученые ничего почти не знают о его лирике по той простой причине, что мелкие стихотворения Хераскова в большинстве не собраны; они печатались в журналах, настолько редких в наше время, что даже не все центральные научные библиотеки обладают полными экземплярами их. Вообще немало имен и множество произведений XVIII в. должно быть извлечено именно из журналов. Впрочем даже собрания сочинений не всегда помогали писателям. Даже такой шедевр эпохи, как песни Сумарокова, собранные в Полном собрании его сочинений (1781 и 1787 гг.), почти вовсе не перепечатывались с тех пор и потому очень мало известны. В общем читатель (и то литературовед по преимуществу) знает из XVIII в. только то, что помещалось в школьных хрестоматиях—Сиповского, Алферова и Грузинского; в лучшем случае к этому прибавляется Радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» и Фонвизинский «Недоросль».

В первую очередь надо дать возможность широкому читателю узнать Державина, узнать Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, всю плеяду сумароковской школы и последователей Державина. Это—по части лирики. Надо познакомить читателя и с драматургией XVIII в., и с басней, и с «легкой» поэмой, и с сатирической статьей, и с прозой вообще. Здесь широкое поле для издательской работы. Надо наконец дать читателю настоящее полное собрание сочинений Радищева, так как такого еще не существует. Кроме того необходимо широко распространить его гениальное произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» как целиком, так и в сокращенном, может быть в препарированном виде,—для юношества и т. д. Чем мучить записки Болотова, не лучше ли популяризировать первую и во многих отношениях непревзойденную по силе подъема, по художественной значительности революционную книгу русской литературы? Нужно дать в руки советскому читателю и Новикова с сатирическими (политическими) статейками его журналов, и других сатириков его типа. Нужно показать ему XVIII век целиком, во весь рост, во всей его значительности и яркости.

Необходимо собрать и издать публицистов, политических мыслителей, ораторов и писателей XVIII в. Такие имена, как Я. Козельский, Г. Коробьин, М. Щербатов и многие другие, должны быть известны так же широко, как имена дворянских и буржуазных публицистов XIX столетия.

Необходимо издать по-настоящему научно и в то же время популярно полное собрание сочинений Фонвизина и др.

Следующая задача—привести в известность множество материалов о XVIII в., имеющих первостепенную важность и до сих пор неизданных. Дело идет не об отдельных публикациях кусочками, а о введении в научный оборот всего того материала, который нужен науке, но до сих пор оставался в пренебрежении как из-за общего отсутствия интереса к XVIII в., так и из-за неорганизованности научной работы в данной области. От мелочей надо перейти к главному.

До сих пор лежат неизданными целые циклы стихотворений Державина и великое множество его писем, деловых бумаг, расчетов по изданиям его произведений и т. п. До сих пор мы ждем, когда будет приведен в известность материал о Н. А. Львове. Архив М. Н. Муравьева рассеян в разных местах; к нему относятся и замечательные критические и автобиографические заметки, и стихи, и письма; все это—драгоценный, в своем роде единственный материал. Его необходимо опубликовать. Множество документов, писем, стихотворений поэтов и писателей Державинского круга ждут своего опубликования. Целый ряд драматических произведений XVIII в., иногда весьма существенных, до сих пор не издан.

Необходимо издать и письма Радищева, до сих пор неизвестные в печати (они хранятся в Воронцовском архиве в Библиотеке Академии Наук СССР). Ограничусь этими примерами, упомянув еще лишь о вопросе, имеющем особо выдающееся значение. Мы знаем литературу XVIII в. традиционно не только в смысле общего взгляда на нее, но и в смысле все еще крепкой традиции, предписанной старорежимной цензурой и школой. Не зная толком «низовой» литературы, мы не знаем и подпольной литературы, жившей в списках и не попадавшей, вообще говоря, в печать. Вот эту-то негласную публицистику, сатиру, иногда острую и вольную в политическом отношении, надо извлечь из рукописных сборников XVIII в., собрать, обработать научно, издать. То же необходимо сделать и по отношению ко

множеству памятников «низовой» литературы вообще, в стихах и прозе. Укажу для примера на такой факт: был в конце XVIII и самом начале XIX в. поэт Сергей Никифорович Марин. Он писал сатирические стихи, памфлеты, пародии. Он был в своем роде знаменитостью. Однако из его наследия (в Публичной Библиотеке в Ленинграде и в других архивах сохранилось много его произведений) издано всего несколько стихотворений, да и те рассеяны по различным томам «Русской Старины» и т. п. Необходимо воскресить этого интересного поэта. Томик его стихов не только был бы «открытием» для науки, но и лучшей пропагандой поэзии его эпохи, так как стихи Марина легко читаются, живы, в своем роде блестящи.

Поэзия Марина—не единичный пример. Нельзя забывать, что в XVIII в. печатный станок не занимал столь исключительного положения среди других способов распространения литературных произведений, как в наше время. При весьма малом числе читателей и относительной дороговизне книг в ходу был другой способ распространения произведений, особенно небольших по размеру,—списки. Популярные стихотворения—оды, басни, сатиры, иногда даже крупного размера,—расходились в множестве списков. Произведение не нуждалось в печати для того, чтобы стать широко известным «читающей публике». Это создавало условия, при которых так много значительных произведений вовсе не появлялось в печати.

Между тем мы должны показать XVIII век не только в его официально-благонадежном благополучии, но и в его протесте, в его фронде, в его сатире и литературном бунте. Надо показать, что Радищев был не одинок, хотя равного ему и не было. Надо дополнить два-три переходящих из учебника в учебник анекдота о «Вадиме» Княжнина или «Сорене» Николева другими фактами, дающими возможность построить образ XVIII столетия по-новому.

Так от публикаций, от изданий текстов мы переходим к истолкованию их. Оба момента связаны. Без одного невозможен другой и наоборот. Весь издаваемый материал нужен постольку, поскольку он отобран и показан в аспекте определенного, методологически продуманного научного построения; но и построение это не может осуществиться, пока материал находится в общем забвении или в пользовании лишь крайне узкой группы знатоков.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Несколько лет назад журнал «На литературном посту» поместил статейку о Тредиаковском—по случаю 225-летия со дня его рождения. Статейка сама по себе была не плохая, и конечно очень хорошо, что она появилась, но выглядела она в журнале странно, так неожиданно было ее появление и вообще память о поэте, причисленном к кругу забытых, жившем и работавшем в XVIII столетии. И разве вспомнил кто-нибудь хотя бы о других юбилейных датах, связанных с литературой той эпохи?

[2] Цитата, приводимая Луначарским, взята из статьи Тредиаковского «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне в свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю. 1750, СПБ.», напечатанной впервые А. Куником в «Сборн. материалов для ист. имп. Акад. Наук в XVIII в.» (1865). См. стр. 473. А. В. Луначарский не указывает источника цитаты.

[3] Перепечатана она в т. IX Полного собрания сочинений Сумарокова 1781 г.

[4] Кстати, почему А. В. Луначарский дважды называет Малерба Малзербом (Malesherbe) на стр. 33 и 36?

[5] Я предпочитаю в ряде случаев говорить не о персональном авторе той или иной статьи, помещенной в «Литературной энциклопедии», а об «авторе» вообще, так как редакционная практика наших коллективных изданий учит нас особой осторожности в данном направлении. Свобода, с которой редакции сокращают и меняют текст, делая его иногда неузнаваемым для самого автора, терпимость, с которой редакции относятся к жесточайшим опечаткам, обязывают при разборе коллективных изданий считать ответственной за статью редакцию издания может быть иной раз более, чем настоящего автора. Поэтому-то я и не называю здесь авторов некоторых статей «Литературной энциклопедии».

[6] Предисловие к комедии «Пустомеля». Ср. также в предисловии к «Моту, любовию исправленному».

[7] Между тем о таком например французском поэте, как Беркен, дана сравнительно немалая статейка.

[8] См. статью В. И. Саитова в «*Русском биографическом словаре*» и *биографию* Капниста в примечаниях ко II тому соч. Батюшкова под ред. Л. Майкова и В. Саитова (1885). Здесь, на стр. 493, указание на старую ошибочную традицию датировки смерти Капниста.

[9] За последние годы вышел из печати ряд томов нового (расширенного) издания энциклопедического словаря «Гранат». В них помещена серия заметок о русских писателях XVIII в. Я не останавливаюсь вовсе на этих заметках потому, что большинство их написано мною. Это не значит конечно, что я не могу указать ряда существенных недостатков в этих заметках. Не останавливаюсь также на статьях о писателях XVIII в. в «Большой советской энциклопедии» и в «Малой советской энциклопедии». И те и другие также имеют ряд недостатков, напоминающих недостатки, отмеченные в «Литературной энциклопедии».

[10] Автор не сделал никаких выводов из своего указания. Он не видит даже, что зависимость Сумарокова от традиций интермедий и итальянских комедий определяет отчасти его драматургическую технику в первых комедиях; поэтому автор видит недостатки этих комедий (наивно-оценочные суждения) в том, что связано именно с этими традициями (см. примеч. на стр. 206).

[11] Так, неясно, почему В. Н. Перетц, давая оглавление произведений, помещенных в рукописном сборнике, заключающем и интересующие его сатиры, не указывает авторов этих произведений в тех случаях, когда это возможно (например ода «На верх Парнасских гор прекрасный»—Ломоносов и «Гимн солнцу»—Сумароков); говоря о том, что стих первого из подражателей «порою более ритмичен», чем у Кантемира, исследователь тем не менее не останавливается на этом вопросе, хотя стих подражателя на самом деле довольно значительно отличается от Кантемировской силлабики, не только приближаясь к правильному хореическому стиху, но и почти переходя в него (см. также характерные перестановки слов в стихах, заимствованных у Кантемира, сделанные в целях подведения их под хореическую схему; стр. 348—349 статьи В. Н. Перетца).

[12] Силлабическому стиху XVIII в. посвящена также часть работы Л. Тимофеева «Из истории и теории русского стиха» (ученые Записки Инст. яз. и литературы Ранион, т. II, 1928).

[13] Статью калечат недопустимые опечатки: трагедия «Филомел» вместо «Филомела», «капиталистические принципы» очевидно вместо «классические принципы», «Триумф» вместо «Трумф», неверные даты.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО М. В. ЛОМОНОСОВА

Обзор С. Чернова

Трудами Г. А. Князева и Л. Б. Модзалевского, в Архиве Академии Наук СССР сосредоточено основное для всякого исследователя собрание рукописей М. В. Ломоносова. Рукописями, собранными в означенном собрании, все рукописное наследие великого ученого, научного организатора, писателя, художника-мозаиста и поэта, однако не исчерпывается. Мы знаем ряд архивных фондов, не входящих в состав коллекций Академии, в которых находятся рукописи М. В. Ломоносова: таковы, например, фонды Сената [1], канцелярии и конторы строения собственных ее императорского величества домов и садов [2], мануфактур-коллегии [3], Академии Художеств [4], Министерства иностранных дел [5] и др. Кроме того, отдельные рукописи М. В. Ломоносова или с ним связанные находились ранее и ныне находятся в архангельском Городском Публичном Музее, в московской Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина, ГАИМК, Ленинградской Публичной Библиотеки и других хранилищах. Возможно, что рукописи М. В. Ломоносова и в наши дни еще хранятся в частных собраниях; так например, кажется до сих пор не имеется сведений о поступлении в какое-либо государственное или общественное хранилище немецкого письма М. В. Ломоносова, находившегося в 1911 г. в собрании П. Л. Вакселя и им представленного на выставку Академии Наук «Ломоносов и Елизаветинское время». Но при всем том надо считать, что основное богатство уцелевших от гибели рукописей М. В. Ломоносова ныне сосредоточено в Архиве Академии Наук.

М. В. Ломоносов умер 4 апреля 1765 г., и можно сказать, что почти тотчас же после его смерти его бумаги были опечатаны. Об этом мы знаем из письма И. И. Тауберта к Г. Ф. Мюллеру, о котором ниже, и академического «дела» о возвращении по принадлежности в соответственные академические учреждения принадлежащих им «книг, писем и инструментов».

По смерти Ломоносова канцелярия Академии поручила «профессорам» С. Котельникову и С. Я. Румовскому и секретарю М. Гурьеву «отобрать надлежащие до Академии книги, письма и инструменты, находящиеся у покойного статского советника Ломоносова», «были в его доме 11 числа» апреля и «уведомились изустно от самой госпожи статской советницы Ломоносовой, что все письма с прочими вещами запечатаны печатью его сиятельства графа Григорья Григорьевича Орлова, по Высочайшему соизволению Ее Императорского Величества Всемилостивейшей.. государыни» [6].

Мы ничего не знаем ни о распечатании бумаг и прочих вещей, которыми интересовалась канцелярия Академии, ни об их разборе. Знаем только, что повидимому вскоре после смерти Ломоносова и их опечатания «оставшиеся после него бумаги» «выпросил у вдовы его» фаворит императрицы и его новый и последний покровитель гр. Гр. Гр. Орлов. Трудно догадаться, что руководило Орловым, когда он «выпрашивал» у вдовы бумаги М. В. Ломоносова, с которыми видимо та—судя по слову «выпросил»—не хотела расставаться и неохотно рассталась, явственным образом лишь уступая просьбам отдать их человеку, имевшему если не власть, то во всяком случае достаточно фактической возможности их взять. Судя по тому, что рассказывает об Орлове акад. Я. Я. Штелин, сохранивший нам в одном словечке ясный намек на вынужденность передачи вдовою Ломоносова бумаг мужа всесильному временщику, можно пожалуй строить некоторые догадки, а именно: автор говорит: «граф Орлов... поручил секретарю Козицкому привести их», т. е. бумаги Ломоносова, «в порядок и положить во дворце своем, в особой комнате». Получается такое впечатление, что, во-первых, бумаги Ломоносова остались после него в бес-

порядке или были в этот беспорядок кем-то приведены, например его наследниками, во-вторых, что гр. Орлов, вероятно тотчас же по их получении, «поручил» своему главному секретарю их разобрать и поместить в особой комнате, т. е. проявил большую о них заботу и вместе с тем оказал покойному Ломоносову знаки особенного внимания и почета. Приглядываясь ко всему тому месту воспоминаний Штелина о Ломоносове, из которого взята приведенная выше цитата, видим, что автор хочет особо подчеркнуть уважение, которое оказали Ломоносову первые вельможи России: так канцлер гр. М. Л. Воронцов «воздвигнул ему... на его могиле» «памятник из белого мрамора», а камергер гр. А. П. Шувалов «напечатал на его кончину прекрасную оду на французском языке, в которой были превознесены заслуги Ломоносова и унижены зависть и коварство Сумарокова». И рядом с ними гр. Гр. Гр. Орлов, первый после императрицы человек в государстве, организовал особое хранилище рукописей Ломоносова...

И все же, всматриваясь в известие Штелина, испытываешь недоверие к его рассказу об Орлове и проявленном им уважении к Ломоносову. Дело в том, что на этом известии Штелина и кончаются все наши сведения об устроенном Орловым хранилище Ломоносовских рукописей. В этом смысле чрезвычайно показательно, что его никто и никогда не описал ни в прозе, ни в стихах ни из русских, ни из иностранных гостей и прихлебателей Орлова; нет даже сведений, чтобы его кто-нибудь видел, хотя немало людей перебывало во «дворце» и дворцах Орлова во дни его величия и славы. Почему же Орлов в скрытом виде и тайно оказывал Ломоносову знаки своего уважения—в комнате, в которую он никого и никогда не пускал?

Недоумения, о которых идет речь, поддерживает еще одно обстоятельство, само по себе представляющееся пожалуй совершенно непонятным. Дело в том, что в конце 1765 и начале 1766 г. Академия Наук была озабочена напечатанием гравированных рисунков северного сияния, которое Ломоносов наблюдал в Петербурге. «Доски уже» были «гридорованы», и оставалось «припечатать сочиненное на российском языке покойным г. статским советником Ломоносовым описание и изъяснение досок с латинским переводом и приложением гридорованных рисунков», между тем в распоряжении Академии не оказалось «описания и изъяснения» Ломоносова к «доскам»; при таких обстоятельствах казалось естественным обратиться за ними к вдове Ломоносова или гр. Орлову, который к этому времени уже переправил к себе «Ломоносовские манускрипты». Однако канцелярия Академии не пошла таким простым и самоочевидным путем, а предложила конференции поручить «одному из академических членов сочинить описание к рисункам» Ломоносова, хотя конечно и знала, что из всех «академических членов» он «единственно» наблюдал то северное сияние, «рисунки» которого сам и исполнил, и что таким образом ни один из его товарищей не сможет по-настоящему составить требуемое «описание». Конференция конечно никак не могла принять такого предложения канцелярии, более того: видимо на нее обиделась; по крайней мере в ее ответе конференц-секретарь тот же Штелин писал: «А предложение канцелярии Академии Наук в присланном в академическую конференцию указе, чтобы один из академических членов сочинил описание к рисункам, наблюденным единственно покойным г. Ломоносовым и им нарисованным северным сияниям, почитает академическая конференция за шутку, ибо то совсем невозможно» [7]. Отказываясь от предложения канцелярии, конференция указывала, что окончит работы по изданию гравированных рисунков северных сияний, «как скоро она только получит... от вдовы покойного г. статского советника или от его сиятельства г. генерал-фельдцейгмейстера, графа Григорья Григорьевича Орлова, у которого теперь находятся Ломоносовские манускрипты», «российский подлинник» Ломоносовских «описания и изъяснения досок». Получив такой ответ конференции, канцелярия тотчас же обратилась через академического архивариуса Ю. Унгебауера к вдове Ломоносова с запросом, «не найдется ли между остающимися после его манускриптами Описания о наблюденном им и при Академии на меди гридорованном достойного примечания северном сиянии». Та сообщила Унгебауеру, что «все оставшиеся после покойного мужа ее манускрипты отдала его сиятельству господину генерал-фельдцейгмейстеру графу Григорию Григорьевичу Орлову, и ей безизвестно, в числе оных находится ли помянутое описание или нет», о чем Унгебауер 27 января 1766 г. уведомил канцелярию [8]. Казалось бы, теперь академической канцелярии оставалось одно: обратиться с тем же вопросом, с которым она обращалась к вдове своего сочлена, к гр. Орлову, но она этого не сделала ни тогда, ни когда-либо позже. В результате «Описание», без которого было невозможно издавать гравированные рисунки, так и не поступило в Академию, а сами рисунки так никогда и не были ею изданы.

Не показывает ли это, что канцелярия прекрасно учитывала невозможность обращения к Орлову с просьбою отыскать нужную ей для ее ученого издания рукопись Ломоносова? Но если так, можно ли думать, что гр. Орлов был простым ценителем и коллекционером Ломоносовских бумаг?

В связи с этим приобретает особое значение замечание И.-И. Тауберта в письме к Г.-Ф. Миллеру о смерти Ломоносова: «На другой день после его смерти граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки» [9].

Повидимому дело обстояло так: тотчас после смерти Ломоносова его кабинет был опечатан по распоряжению самого гр. Орлова—вероятно в силу тех самых соображений, о которых писал Миллеру Тауберт; тогда же перед правительством стала дилемма в определении судьбы Ломоносовских бумаг: можно было—и так поступали раньше, например при смерти акад. Г.-Ф.-В Юнкера,—либо назначить



ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА „РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ" ЛОМОНОСОВА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ

Институт Книги, Письма и Документа, Ленинград

для разбора Ломоносовских бумаг комиссию смешанного состава из представителей правительства и Академии, либо под тем или другим благовидным предлогом самому правительству взять себе все бумаги Ломоносова.

Последнее и было сделано под личиною красивых поз и жестов гр. Орлова: он взял себе как меценат («выпросил») все Ломоносовские бумаги,—по словам Новикова, за плату, купив их вместе с библиотекою Ломоносова; по его распоряжению их разобрал хорошо знавший академические дела и обстоятельства Гр. Козицкий и сделал недоступными в особом хранилище семейного характера. Неясно, почему правительство избрало именно такой путь. Но можно думать, что оно стало на него, предварительно несколько познакомившись с Ломоносовскими бумагами, в которых личное так сильно переплеталось с актуальными политическими вопросами живой современности, и в которых было очень много такого, что в XVIII в. считалось государственною тайной и разглашение чего подводилось под государственное преступление... И возможно, что под влиянием живого впечатления от непосредственного знакомства с бумагами Ломоносова окрепла, а может быть и родилась мысль взять их все себе, целиком, не разрознивая.

К сожалению мы столь же мало знаем и об их дальнейшей судьбе. Рассмотрим некоторые имеющиеся о них сведения.

А. Вельтман в предисловии к напечатанным им бумагам М. В. Ломоносова, сказав, что Ек. Ник. Орлова «доверила» ему «портфель служебных его бумаг, сохра-

нившихся в семействе Раевских», замечает в примечании: «Единственная дочь Михаила Васильевича Ломоносова была замужем за бывшим библиотекарем при императрице Екатерине, статским советником Алексеем Алексеевичем Константиновым, который имел двух дочерей: Екатерину Алексеевну и Софью Алексеевну—ныне вдову покойного генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского. Таким образом бумаги Михаила Васильевича составляли родовое наследие по женской линии» [10].

Из этого рассказа явствует, что Ломоносовские бумаги—точнее «портфель служебных бумаг» Ломоносова—находились у Константиновых, от которых перешли к Раевским, чтобы наконец стать «родовым наследием» Екатерины Николаевны Раевской-Орловой.

В письме акад. Вл. Ив. Вернадскому последняя владелица «Портфелей Ломоносова», внучка М. Ф. Орлова и праправправнучка Ломоносова Елизавета Николаевна Орлова, сказав о барском доме в Усть-Рудице и его библиотеке, следующим образом сообщает о хранившихся в нем бумагах: «Архива, собственно говоря, не было. Были связки семейных писем, главным образом второй половины прошлого века» и немного далее: «Что же касалось Ломоносова, было давным-давно уже разобрано Ек. Ник. Орловой, составившей из этих бумаг два больших переплетенных тома рукописей, озаглавленных «Портфель Ломоносова», в темнозеленой, почти черной коже; заглавие вытиснено золотыми буквами. Эти бумаги она давала рассматривать Буслаеву (кажется я не ошибаюсь; во всяком случае ответное письмо Буслаева (?) приложено было к переплетенным томам, но не приплетено). После смерти Ек. Ник. Орловой эти два тома поместились в нашей библиотеке. О них знал академик Сухомлинов, и в 1899 г. он просил нас одолжить их в отделение русского языка и словесности в виду переиздания сочинений Ломоносова. Я ему их выслала и имею ответное письмо его от ноября 1899 г. за № 185. В 1902 г. я сделала запрос в Академию и получила ответ от Александра Ник. Веселовского от 22 марта 1902 г. за № 278, в котором он просит еще оставить эти два «Портфеля» в пользовании Отделения, что я разумеется и сделала. После смерти А. Н. Веселовского я справлялась через знакомых у академика Шахматова о судьбе этих бумаг и снова узнала, что они целы и нужны. О них я Вам и писала в прошлом году. Я рада, чтобы они составили собственность Академии Наук». Несколько далее Орлова пишет: «Ни о каких Ломоносовских бумагах, находящихся у Орловых-Давыдовых, я никогда не слыхала». Ниже под п. 4 Орлова сообщает: «Совершенно ничего не знаю о том, куда могли деваться бумаги Ломоносова, кроме указанных, и не знала раньше, что в архиве гр. Гр. Гр. Орлова могут быть следы их». Еще ниже она говорит, что «у Г. Г. Орлова потомства, признанного законом, не было», что «от него происходят Бобринские, но у них ничего Ломоносовского никогда не было». Затем она вновь обращается к Орловым-Давыдовым и, сказав, что Давыдовы получили фамилию и титул «екатерининских Орловых» «на основании какой-то преемственности по женской линии», замечает: «Думаю, что это слишком слабая и поздняя связь с делами графа Григория Григорьевича, чтобы можно было ожидать найти в их архивах следы взятых им, как вы мне говорили, бумаг Ломоносова» [11].

О Ломоносовском наследии у Константиновых и Раевских, но уже не у Орловых, мы имеем и еще одно известие—от одного из графов Ностицей.

Григорий Иванович Ностиц в одном из своих писем к академ. М. И. Сухомлинову, работавшему над изданием сочинений М. В. Ломоносова, пишет: «...я забыл ответить Вам на Ваш вопрос: кем писан портрет Ломоносова и как он достался сыну. Александр Николаевич Раевский (мой тесть) говорил мне, что портрет-оригинал, достался ему от его отца Н. Н. Раевского (героя 12-го года), который был женат на дочери Константинова, а жена Константинова была дочь Ломоносова. Кто писал портрет, мне неизвестно. После смерти Раевского—он пережил дочь свою (мою жену) четырьмя годами—портрет, а равно богатый серебренный чайный сервиз, подаренный Ломоносову императрицей Елисаветой Петровной, достался по наследству сыну моему графу Григорию Ивановичу Ностицу» [12].

Относительно Ломоносовских бумаг в этом письме, как и в других сохранившихся письмах Ностица к Сухомлинову, никаких указаний нет. Не значит ли это, что их и не было ни у его сына, ни у его тестя, А. Н. Раевского?

Сопоставляя все сказанное, надо предположить, что в семье Константиновых хранились как рукописи и другие бумаги, так и портрет и сервиз Ломоносова, что вместе с рукою их дочери они перешли к ген. Н. Н. Раевскому-старшему и потом раздробились в его роде: портрет и сервиз достались его старшему сыну Александру Н., а бумаги его старшей дочери Екатерине Н. Орловой. Можно догадываться, что такое выделение бумаг Ломоносова Екатерине Николаевне Орло-

Судъ
Россiйски писменъ
передъ
Разумомъ и обычаемъ
отъ Грамматики
представленный

[illegible]

АВТОГРАФ ТРАКТАТА М. В. ЛОМОНОСОВА „СУД РОССИЙСКИ ПИСМЕН ПЕРЕД РАЗУМОМ И ОБЫЧАЕМ ОТ ГРАММАТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ“

Архив Академии Наук СССР, Ленинград

вой, в прямой обход обоих ее братьев, последовало по особому положению в семье и обществе ее мужа М. Ф. Орлова.

Принимая в соображение, что для выяснения вопроса о судьбах личного фонда М. В. Ломоносова мы в настоящее время располагаем, в сущности говоря, только сведениями о переходе от Константиновых к Раевским и через них к Орловым лишь той части Ломоносовских бумаг, которой усвоено имя «Портфелей Ломоносова», трудно ставить и решать вопрос о принадлежности тем же семьям других частей Ломоносовского фонда, например так называемого «Свиньинского» сборника и второй части «Мухановского» сборника Ломоносовских бумаг, а также некоторых документов академической коллекции «Lomonossoviana», основание которой было в свое время положено ненаучным с исторической и специально-архивной точки зрения выделением Ломоносовских бумаг из различных дел академического архива, например «черновых прошений Ломоносова об учреждении химической лаборатории, 1743 г.», и т. д.

Все же присмотримся к имеющимся сведениям, а вместе с тем и отметим глубокое различие в составе обоих названных сборников.

В заметке «Известие о вновь открытых рукописях Ломоносова» в следующих выражениях говорится о приобретении П. П. Свиньиным своего сборника с крайнею и конечно преднамеренною глухотою: «Один из добрых соотечественников моих, споспешествующий усилиям моим к собранию Российского Музеума, доставил мне случай приобресть 500 листов своеручного письма знаменитого Ломоносова»,— и только [13]. Кто этот «добрый соотечественник»—неясно. Неясно и то, от кого он «доставил» Свиньину «случай» приобрести такое огромное количество разнообразных бумаг Ломоносова. Повидимому сам же Свиньин переплел свои Ломоносовские бумаги вместе со своими же шлецеровскими в особый том-сборник. Состав Ломоносовской части этого сборника совершенно определенный: бумаги личного фонда М. В. Ломоносова. Бумаг Шлецера теперь в нем нет.

В отличие от «Свиньинского сборника», так называемый «Мухановский сборник» рукописей М. В. Ломоносова состоит из материалов двоякого рода: во-первых, в него входит 8 писем Ломоносова к гр. Ив. И. Шувалову, а во-вторых, по терминологии составителя описи к нему, «разные бумаги»—все характера черновых набросков или копий. Первые могли быть получены только от потомков или правопреемников гр. И. И. Шувалова; что же касается вторых, то они должны и могут восходить только к фонду самого М. В. Ломоносова. Очевидно П. А. Муханов объединил в одном томе-сборнике Ломоносовские бумаги разного характера и происхождения,—вероятно и от разных лиц полученные.

К сожалению от кого и как получили свои бумаги Ломоносова Свиньин и Муханов нам неизвестно. Неизвестно и то, от кого и каким образом приходили к их новым владельцам и другим отдельные документы Ломоносовского архива, кроме, впрочем, одного: небольшой «памятной записки» М. В. Ломоносова, ныне хранящейся в московской Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина: в верхнем углу первой страницы записки имеется запись И. Е. Бецкого: «Получено от Н. М. Орлова, сына Мих. Фед.» [14].

Н. М. Орлов—сын не только Мих. Фед. Орлова, но и принесшей в его дом «Портфели Ломоносова» Екатерины Николаевны Раевской-Орловой. Таким путем мы возвращаемся в ту же семью, которую недавно оставили, и к тем же источникам ее Ломоносовских богатств, с которыми мы уже имели случай встретиться и иметь дело.

Но если Е. Н. и М. Ф. Орловы обладали не только теми рукописями, которые первая из них изящно переплела и назвала «Портфелями», но и другими отдельными от них бумагами Ломоносова, не естественно ли сделать предположение, что именно к ним из семьи Раевских перешли и все остальные части личного фонда М. В. Ломоносова, еще находившиеся к моменту, когда переход стал возможен, в семье Раевских? Такое предположение мне казалось бы весьма правдоподобным. Датою их перехода надо повидимому считать брак Е. Н. Раевской с с М. Ф. Орловым, в крайнем случае смерть Н. Н. Раевского-старшего. Заключаю так из того, что в 1840 г., когда Вельтман печатал отрывки из «Портфелей», последние принадлежали уже Е. Н. Орловой, а не вдове Н. Н. Раевского и ее матери С. А. Раевской [15].

Поэтому я считал бы совершенно сообразною с обстоятельствами дела мыслью о приобретении Свиньиным и Мухановым Ломоносовских бумаг именно у Е. Н. и М. Ф. Орловых,—конечно за вознаграждение, что и покрыло источник приобретения тьмою, точно так же, как Вельтман или Пассек, конечно тоже за вознаграждение, приобрели у них же возможность печатания «служебных портфелей» Ломоносова.

Если искать других путей проникновения Ломоносовских бумаг в среду собирателей (Свиньин, Муханов и др., но не Бецкий, который получил свою «памятную записку» Ломоносова от Н. М. Орлова), естественно прежде всего подумать о наследстве того самого гр. Г. Г. Орлова, который в свое время опечатал, а потом «выпросил» себе бумаги Ломоносова [16]. Однако все данные говорят за то, что у возможных наследников Г. Г. Орлова—его братьев и у их детей—Ломоносовских бумаг не было. Значит путь проникновения Ломоносовских бумаг через прямых наследников Г. Г. Орлова в среду собирателей остается недоказанным. Естественнее допустить их переход целиком от Константиновых к Раевским и от последних к Орловым.

Остается неясным вопрос о том, как они оказались у Константиновых. Не естественнее ли всего предположить, что библиотекарь императрицы, каким был зять Ломоносова, сумел их «выпросить», как некогда Орлов, хотя и в другом смысле, либо у него самого, либо у императрицы, купившей в числе прочего имущества Орлова и его библиотеку, в одной из комнат которой могла находиться и коллекция бумаг М. В. Ломоносова, как раз приходившегося тестем библиотекарю императрицы? Но тогда неясно, все ли бумаги тестя он сумел «выпросить» себе.

Сочинения М. В. Ломоносова издавались неоднократно, а некоторые из его произведений печатались не только много раз, но, можно сказать, многие десятки раз. Самое печатание сочинений Ломоносова началось повидимому летом 1741 г.,—по крайней мере 18 августа 1741 г. в «Примечаниях к Ведомостям на 1741 г.», чч. 66—69, была напечатана его «Ода, которую в торжественный праздник высокого рождения Всепресветлейшего Державнейшего Великого Государя Иоанна Третиего, Императора и Самодержца Всероссийского 1741 года Августа 12 дня веселящаяся Россия произносит» [17]. Чрезвычайно показательно для истории Академии Наук и биографии М. В. Ломоносова, что в августе и сентябре 1741 г. он сам и Академия его устами усердно и льстиво пели хвалу младенцу-императору, а уже в декабре этого года им пришлось с большой быстротой перестроить свой политический фронт и начать петь «дщерь Петрову», внезапно сменившую малютку-государя, «всеподданнейший раб» которого стал и навсегда остался «всеподданнейшим рабом» его счастливой удачею тетки. С осенних месяцев 1741 г. идет печатание и прозаических сочинений Ломоносова,—переводов чужих работ научного и практического характера—«О сохранении здравия», «Продолжение о твердости тел», «О варении селитры». Так во второй половине 1741 г. М. В. Ломоносов прочно завоевал себе типографский станок Академии.

С этого года сочинения Ломоносова в стихах и прозе, литературные, политические и научные, заполняют собою два с небольшим десятилетия его активной деятельности в Академии и вокруг нее на разнообразных поприщах жизни. И после его смерти, в течение почти полутораста лет, шло печатание его и давно известных и вновь находимых произведений.

Не всегда это продвижение Ломоносовских сочинений в читательскую массу совершалось беспрепятственно. Наоборот, некоторые сочинения М. В. Ломоносова, как это ни может показаться на первый взгляд странным при его связях во дворце и правительстве, в свое время подвергались большим цензурным стеснениям: одни были совершенно изъяты из печати, другие получали в нее доступ лишь с большими пропусками. Так уже в первом издании сочинений Ломоносова, выпущенном в свет в 1751 г., отсутствуют некоторые его произведения, совершенно аналогичные тем, которые вошли в «книгу первую» этого издания; остается впечатление, что они были сознательно осуждены на забвение. Таковы: первая же ода в честь императрицы Елизаветы и ряд других произведений Ломоносова, в том числе конечно и оды, писанные этим недавним «всеподданнейшим рабом» кратковременному императору Иоанну III, политически невозможные в сборнике, изданном при Елизавете и проникнутом ее культом [18]; думается, что в условиях этого культа невозможно было и печатание стихотворения, посвященного низвержению теткой племянника-императора. Именно в этом смысле чрезвычайно показательно, что названные оды Ломоносова, кроме оды на победы имп. Иоанна III, напечатанной в «Сыне Отечества» за 1838 г. [19], т. II, воскресли в русской печати только через почти 110 лет после их первого напечатания и притом в издании, которое никоим образом не было рассчитано на широкое распространение: в «Ученых Записках» Академии Наук по I и III отд. (III, СПБ., 1855, стр. 270—290). И пожалуй еще показательнее, что даже после этого опубликования названных стихотворений в «Ученых Записках» Академии Наук, они опять оказались точно под каким-то спудом: по крайней мере их нет ни в одном собрании сочинений Ломоносова, вышедшем до 1891 г.,—только в этом году они были вновь опубликованы в I томе тяжело-

весного академического издания «Сочинений М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова». Лишь эта публикация раскрепостила их, и в 1893 г. они вошли в томик «Сочинений М. В. Ломоносова в стихах», вышедший под редакцией А. И. Введенского. Полнота их раскрепощения ясна уже потому, что этот томик составил так называемое «бесплатное» приложение к рассчитанному на очень широкое распространение и действительно уже тогда достаточно широко и в самой разнообразной среде распространенному журналу «Нива». Политический запрет коснулся конечно не только этих трех стихотворений Ломоносова: такова же, даже еще тяжелее, была судьба его сатирического стихотворения «Гимн Бороде», которое не было напечатано ни при его жизни, ни после его смерти и только в том же академическом издании его сочинений, где были повторно воспроизведены его оды (ода имп. Иоанну III и первая имп. Елизавете), наконец увидело свет—почти чрез полтора века после того, как было написано. Несколько иная судьба преследовала замечательное «Рассуждение» Ломоносова «о размножении и сохранении российского народа», которое впервые было напечатано с большими пропусками В. Олиным в «Журнале Древней и Новой Словесности» за 1819 г., № 6, затем по другому списку, но также с пропусками в «Москвитянине» за 1842 г., № 1, повторено в Смирдинском издании «Сочинений» Ломоносова (1847), пополнено некоторыми из опущенных мест в «Библиографических Записках» за 1859 г., т. II[20] и только в 1871 г. издано целиком Н. С. Тихонравовым в его «Беседах» по новой рукописи, а затем в 1873 г. напечатано ак. П. П. Пекарским по неизвестному до того времени списку. Такова долгая и многострадальная история этого любопытнейшего произведения М. В. Ломоносова... Подозрительное отношение цензуры М. В. Ломоносов вызвал к себе двумя обстоятельствами: во-первых, известным не столько религиозным[21], сколько церковным вольномыслием, и во-вторых, теми славословиями, с которыми он обращался к впоследствии низвергнутым императорам Иоанну III и Петру III; первое проникает собою его «Гимн Бороде» и «Рассуждение», второе имеет место в одах.

Первое собрание сочинений М. В. Ломоносова начало выходить только в 1751 г. под названием «Собрание разных сочинений в стихах и прозе Михаила Ломоносова. Книга первая».

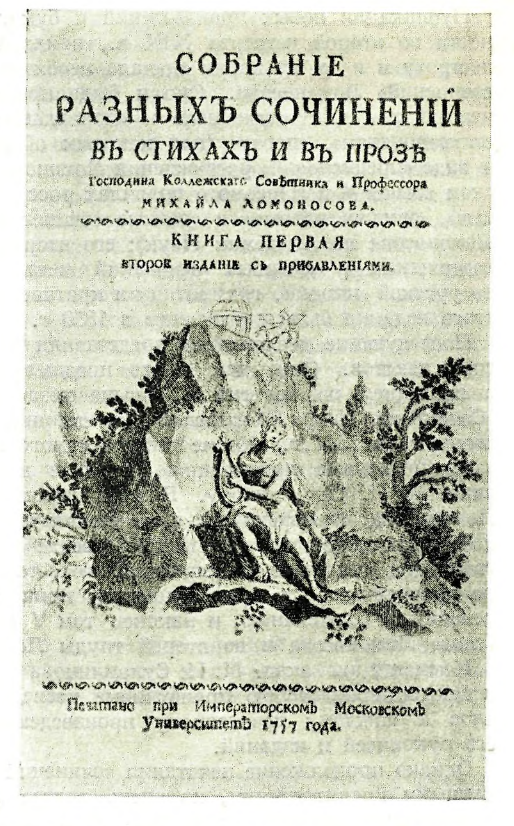
Состав первого «собрания», по которому в известной мере строились и другие, таков: «Оды духовные», числом 10, «оды похвальные» (так сказать, политические), числом также 10, «похвальные надписи» (произведения, в сущности говоря, также политического характера) числом 19 и вместе с ними одно «Слово похвальное» (т. е. политическая речь) имп. Елизавете. Это собрание Ломоносовских стихов и прозы конечно никоим образом не было полным: считая, что научные сочинения М. В. Ломоносова частью не были совсем предположены к переизданию, частью же относились на «книгу вторую» «собрания», надо отметить, что ряд произведений, которым было бы место именно в первой книге, в ней отсутствует, примеры чему приведены выше. Отсутствие некоторых стихотворений Ломоносова в этом издании в известной мере восполнялось опубликованием в нем «надписей», часть которых до того никогда напечатана не была.

Издание «Сочинений» М. В. Ломоносова, вышедшее в 1757 г., дает ряд новых его произведений в старых отделах и вводит новый отдел «Слова, в публичных собраниях Санктпетербургской Императорской Академии Наук говоренные», ранее представленный всего одним «словом похвальным... имп. Елизавете» от 26 ноября 1749 г. В число этих «слов» Ломоносов ввел главным образом не свои политические, а свои научные академические речи, некоторые из которых составили эпоху не только в русской, но и в европейской науке. Мы находим в числе их его знаменитые академические речи «О пользе химии», «О явлениях воздушных, от електрической силы происходящих», с «Изъяснением надлежащим к слову о електрических воздушных явлениях», «О происхождении света, новую теорию о цветах представляющее» и «О рождении металлов от трясения земли»; к ним же оказалось присоединенным и общеизвестное «письмо»-трактат в стихотворной форме «О пользе стекла». Такою же новинкою, как они, в этом собрании сочинений был и замечательный трактат Ломоносова «О пользе книг церьковных в российском языке», включенный в его первый том второго издания в виде «Предисловия». Второй том, вышедший в 1759 г., был целиком занят «риторикою» Ломоносова.

Посмертное издание сочинений М. В. Ломоносова, вышедшее в 1768 г., в своем I томе повторяет единственную «книгу перьвую» издания 1751 г., а во второй вводит длинный ряд новых его произведений,—новых в отношении не только к первому, но и ко второму изданию, однако с опущением всех ученых «слов» Ломоносова: «похвальные оды», «надписи», поэму и речь о Петре Великом и т. д.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО ТОМА ВТОРОГО ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ М. В. ЛОМОНОСОВА, ПРИГОТОВЛЕННОГО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ И. И. ШУВАЛОВА И М. М. ХЕРАСКОВА (1757 г.)

Библиотека Академии Наук СССР, Ленинград



Следующее посмертное собрание сочинений М. В. Ломоносова, выходившее в 1775—1776 гг., также повторяет I том издания 1751 г., но во II томе даст ряд по преимуществу не входивших в предыдущие собрания произведений Ломоносова, и притом произведений весьма пестрого характера (ученые трактаты, программа по физике, политические «слова», стихи, трагедии, переводы из классиков и по астрономии,—и все без должного расчленения и какой бы то ни было группировки материала).

При таких условиях некоторым событием, в смысле внесения известной системы в самое размещение печатаемых сочинений М. В. Ломоносова, было издание его сочинений, вышедшее в 1778 г. под редакцией архим. Дамаскина, посвятившего свое «собрание трудов славнейшего российского писателя» «почтеннейшим господам Вольного Российского Собрания достойнейшим членам, о поправлении и обогащении российского языка старающимся» и с горделивою пышностью прописавшего в своем «посвящении» свой ученый титул. Он, за некоторыми изъятиями, объединил в «книге первой» своего издания «духовные» и «похвальные» оды Ломоносова и его «похвальные надписи», во второй повторил второй том издания 1776 г., а в третьей свел политические и научные «слова» Ломоносова, им «в публичных собраниях Санктпетербургской Императорской Академии Наук говоренные». Таким образом первый и третий тома издания приобрели некоторую принципиальную установку и ясность состава, но второй том продолжал оставаться в известной мере лишенным их. Следующее издание 1787 г. впервые именует себя «полным» и в самом своем заглавии обещает «прибавление» к тому, что уже печаталось, «многих нигде еще не напечатанных творений». И оно действительно ввело в свой состав ряд ранее никогда не печатавшихся сочинений М. В. Ломоносова, как и несколько таких, которые, хотя ранее и печатались, но в «собрания» его сочинений не вводились; таковы например помещенные в частях 4-й, 5-й и отчасти 6-й издания. В распределении материала меж отдельными томами оно выдержаннее предыдущих. Издание 1794 г. удержало состав и распределение материалов, данные в издании 1787 г., также и издание 1803—1804 гг. Вместе с тем продолжавшие выходить «собрания» «разных» избранных сочинений Ломоносова сохраняли колебания в своем составе и размещении Ломоносовских материалов.

Публикация новых произведений и бумаг Ломоносова, имевшая место в особенности во второй четверти XIX в., придала этим последним «собраниям» большую пестроту и в то же время сделала необходимым издание нового «полного собрания сочинений» Ломоносова. Оно и было предпринято А. Смирдиным в 1847 г. Его первый том дает «духовные» и «похвальные» оды, «похвальные надписи», «разные стихотворения», «прозу» (под каковым обозначением сокрыты печатавшиеся ранее в виде «предисловий» рассуждения Ломоносова «О пользе книг церьковных в российском языке» [22] и «Письмо о правилах российского стихотворства» [23]), «слова похвальные», «письма разные» и «разные сочинения» (главным образом служебные бумаги Ломоносова по Академии Наук); его второй том дает «слова» Ломоносова научного содержания и «Первых оснований металлургии», а третий—работы Ломоносова по русской истории, грамматику и краткое руководство к красноречию; II и III тома этого издания были переизданы в 1850 г.

Последующие десятилетия представили несколько новых публикаций Ломоносовских текстов. Они, как и все предшествующее, были собраны и использованы в последнем по времени и доныне незавершонном новом академическом издании «Сочинений М. В. Ломоносова», предпринятом в 80-х годах XIX в. и начавшем выходить в 1891 г. Кроме текстов самого Ломоносова издание содержит обширные «объяснительные примечания», которые в вышедшей части издания принадлежат акад. М. И. Сухомлинову. В этом издании I и II тома заняты стихотворениями Ломоносова, помещенными в хронологическом порядке, без разделения по родам поэтического творчества, III том отведен трактату Ломоносова по русскому «стихотворству», «риторике» и «красноречию», том IV разделен меж работами Ломоносова по русскому языку и его «словами», приведенными в хронологическом порядке, без деления по содержанию, и наконец том V содержит в первой половине продолжение «слов» Ломоносова и во второй труды Ломоносова по русской истории.

Комментарии акад. М. И. Сухомлинова содержатся при всех томах «Собрания» и представляют собою кропотливые исследования и сводки разнообразных материалов к каждому печатаемому произведению Ломоносова, в том числе варианты его рукописей и изданий.

Однако продолжение печатания сочинений М. В. Ломоносова встретилось с неожиданными препятствиями, на очень долгое время сперва затормозившими, а потом и приостановившими все работы. Дело в том, что 8 июля 1901 г. умер редактор издания акад. М. И. Сухомлинов: лишь через $1^1/_2$ года—в начале 1903 г.—Отделение русского языка и словесности смогло приступить к продолжению работ М. И. Сухомлинова и поручило редактирование VI и VII томов акад. В. И. Ламанскому, который только четыре с лишком года спустя получил возможность приступить к исполнению этого поручения. Но через несколько лет после того смерть В. И. Ламанского 19 ноября 1914 г., смена редакторов, война, смерть привлеченного к работе Ламанским Г. М. Князева сначала чрезвычайно затруднили, а потом совершенно приостановили трудные работы по этому изданию. Их возобновление связано с именем акад. В. И. Вернадского, который сумел поднять и поставить это почти погибшее дело [24]. В настоящее время работы по изданию VI и VII томов ведет авторитетный историк химии проф. Б. Н. Меншуткин. Эти тома объединяют естественно-исторические сочинения Ломоносова, по преимуществу—латинские, всего за 30 работ; некоторые из них печатаются здесь впервые. Часть примечаний к VI т. печатается; остальные к нему и VII т. будут напечатаны дополнительно. К настоящему времени они еще не все составлены.

В том VIII и последний академического издания «Сочинений М. В. Ломоносова» предположено включить его служебные рапорты, доношения и другие документы и его же частные письма с необходимыми приложениями к тем и другим. При этом, в виду установленных недостатков и некоторой неполноты прежних изданий означенных документов, было предположено произвести их проверку в смысле их полноты и правильности воспроизведения в них Ломоносовских текстов по подлинным его рукописям и их им авторизированным копиям. Произведенные розыски и справки охватили прежде всего академическое собрание рукописей и документов Ломоносова, а затем фонд канцелярии Академии Наук и фонды некоторых других ее учреждений, при чем было взято на учет несколько сот документов. Кроме того поиски велись в некоторых других хранилищах, в особенности же в «Древлехранилище» Центрархива в Москве (ныне ГАФКЭ), где были изучены сенатские дела, относящиеся до Академии Наук, а также некоторые другие фонды; в них оказалось несколько документов, подписанных Ломоносовым и в процессе своего составления несомненно связанных с ним. Три письма Ломоносова оказалось в «портфелях Миллера». Гораздо хуже обстояло дело с поисками в фонде Главной

Соляной Конторы, где по описи не удалось обнаружить ни одного Ломоносовского документа. Между тем поиски в этом фонде, как отчасти и в фонде Сената, велись в виду имеющихся в печати указаний на возможность нахождения в них писем Ломоносова к академику Юнкеру, его переводов для последнего и т. д. В виду ненахождения в них отыскиваемых материалов были пересмотрены сенатские «дела» по Главной Соляной Конторе, в которых однако также не было обнаружено ни одного документа руки Ломоносова или хотя бы к нему восходящего. Затем по разным признакам были изучены десятки книг сенатского делопроизводства, не связанных в своем происхождении ни с Академиею Наук, ни с Главною Соляною Конторою, но подававших надежду по своему заголовку или составу на возможность найти в них если не письма Ломоносова к Юнкеру и другие бумаги, относящиеся до их совместных занятий, то по крайней мере какие-либо конкретные указания на их судьбу,—но все эти работы остались безрезультатными. Позже поиски этих документов или хотя бы их слабых следов были возобновлены в Ленинграде, где в ЛОЦИА были просмотрены жалкие остатки многострадального фонда Главной Соляной Конторы, разгромленного еще в 1911 г.; такие же остатки этого фонда затем были изучены в некоторых других хранилищах Ленинграда, но нигде не нашлось ни отыскиваемых документов, ни каких-либо сведений о них. Равным образом ничего не дало и внимательное изучение «описи» уничтоженных дел Главной Соляной Конторы» [25].

Из собранных материалов многие представляют особенную ценность, потому что дают возможность восстановить работу Ломоносова над своими—главным образом служебными—письмами, к сожалению обычно оставляемую без должного внимания. Часть учтенных материалов доселе не была известна или, будучи уже зарегистрированной, не была еще напечатана.

В настоящее время оканчивается просмотр фондов и коллекций Архива Академии, в которых возможно встретить письма или близкие к ним документы Ломоносова, и организуются поиски их в тех хранилищах в СССР и за границею, где можно рассчитывать их встретить.

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА, „ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 103“

Архив Академии Наук, Ленинград

Возможно, что в этот же том удастся включить и «Лифляндскую Экономию» в переводе Ломоносова, находящуюся в московской Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина, представляющую огромный интерес, так как Ломоносов, судя по результатам предварительного изучения, не ограничился ролью переводчика и внес в свой перевод элемент своего понимания и своих деталей вопроса о строении хозяйства.

Комментарии к письмам Ломоносова должны дать подробное изъяснение обстоятельств, при которых письма были составлены; в этих целях в них должны быть включены письма к Ломоносову и некоторые другие документы.

Что касается приемов издания сочинений Ломоносова, то конечно только последнее академическое их издание может удовлетворить современного научного работника, да и то вероятно уже не всегда. Из старых изданий может быть наибольшую ценность в этом смысле и в свое время представило издание 1778 г.

Изданием названных трех томов академического собрания «Сочинений» М. В. Ломоносова дело обнародования литературного наследия Ломоносова будет поставлено на очень прочную почву и изучение его как поэта, разностороннего ученого, академического и государственного деятеля окажется очень облегченным. Но необходимость обращения к рукописным текстам Ломоносова конечно не исчезнет, особенно в тех случаях, когда воспроизведение его сочинений, бумаг или писем шло по черновикам или с их привлечением: так трудно в ученом, даже по-сухомлиновски скрупулезном, издании предусмотреть все вопросы, с которыми перед воспроизведенным текстом встанет историк.

Поэтому вопрос о сбережении от всяких случайностей уже учтенного литературного наследия Ломоносова и о разыскании новых Ломоносовских текстов продолжает стоять перед всяким, кто занимается Ломоносовым, его временем или проблемами, так или иначе связанными с ним.

Пожелаем же, чтобы быстро завершилось дело сосредоточения в на редкость благоустроенном архиве Академии Наук СССР тех рукописей Ломоносова, которые находятся вне его и могут быть в него включены без нарушения каких-либо коллекций, фондов или единиц хранения, в составе которых они ныне находятся. Пожелаем и другого: чтобы как можно более полно и скоро был выявлен весь еще сокрытый в тьме разных фондов, коллекций, «дел» и других единиц хранения материал собственноручных рукописей Ломоносова и авторитетных копий с них.

Старые и новые накопления вместе с этими ожидаемыми счастливыми находками и послужат базою для нового исправленного и дополненного академического издания Ломоносова, или по крайней мере на первое время для частичных поправок и дополнений к старому.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Фонды находятся частью в Ленинграде в ЛОЦИА, частью же в Москве в ГАФКЭ.

[2] Фонды находятся частью в Москве в ГАФКЭ, частью в Ленинграде в ЛОЦИА.

[3] Фонд находится в Ленинграде в ЛОЦИА. О нем смотри у Н. И. Сидорова в ст. «Из истории мозаических составов М. В. Ломоносова» («Известия А. Н. СССР», VII серия, Отд. Физ.-Мат. наук, 1930, № 7, стр. 679—706).

[4] Фонд находится в Ленинграде в ЛОЦИА.

[5] Фонд находится в Москве в ГАФКЭ.

[6] «Чтения в имп. О-ве Ист. и Др. Росс. при Моск. Универ.», 1865, I, Смесь, стр. 174 (ст. В. И. Ламанского «Ломоносов и Петербургская Академия Наук. Материалы к столетней памяти его: 1765—1865, апреля 4-го»).

[7] См. у П. П. Пекарского в «Истории Имп. Ак. Наук», II, СПБ., 1873, стр. 360—361. Автор справедливо замечает, что в «немецком подлиннике... заключение» Штелинского документа «выражено несколько сильнее».

[8] См. у Билярского в «Материалах для биографии Ломоносова». СПБ., 1865, стр. 747.

[9] См. у П. П. Пекарского в «Дополнительных известиях для биографии Ломоносова». СПБ., 1865, стр. 88.

[10] «Очерки России», изд. В. Пассеком, II, М., 1840, стр. 8.

[11] Архив А. Н. СССР. Ф. 20, оп. 6, № 38. Письмо Елиз. Ник. Орловой к акад. В. И. Вернадскому от 14 июля 1929 г.

[12] Архив А. Н. СССР. Ф. 20, оп. 3, № 187.

[13] «Отечественные Записки», т. XXXI, 1827.

[14] «Отчет Публичного Румянцовского музея» за 1867—1869 гг., стр. 23.

[15] См. названную статью Н. И. Сидорова.

[16] Впрочем, соображая, что с 1825 г. начинает печатание ломоносовских материалов П. А. Муханов, а в 1828 г. к нему присоединяется П. П. Свиньин, полагаю возможным предпочесть первую дату второй. См.: выставка «Ломоносов и Елизаветинское время», VI, II, 1918 и Г. З. Кунцевич «Библиография изданий сочинений М. В. Ломоносова на русском языке», стр. 105—108.

[17] Существует рассказ акад. Я. Штелина о напечатании в 1739 г. (судя по контексту его рассказа) «оды» Ломоносова «на победу над турками и татарами и на взятие Хотина», но ее издание, отдельное или в каком-либо повременном сборнике, относящееся ко времени до 1751 г., никогда, нигде и никем не было зарегистрировано, а в «делах» Академии нет о нем или о подготовке к нему никаких сведений. Равным образом нет возможности проверить указание Н. В. Губерти (III, № 39, стр. 142—144) на отдельное издание оды в честь дня рождения Иоанна Антоновича.

[18] Любопытно, что эти оды были вырезаны из «Примечаний к СПБ. Ведомостям» за 1741 г., где они были напечатаны.

[19] Она была напечатана с некоторыми погрешностями.

[20] Автор заметки «Материал для будущего издателя сочинений Ломоносова», восстанавливая часть пропусков в издании Смирдина, писал: «Это любопытное сочинение... вероятно еще не скоро появится в печати в удовлетворительном и полном списке... Положения, высказанные Ломоносовым, хотя и не могут быть у нас приняты, тем не менее заслуживают внимания как мнения великого человека». См. «Библиографические Записки» 1859, II, стр. 345.

[21] Религиозные, как и социально-политические, взгляды М. В. Ломоносова заслуживали бы гораздо большего внимания, чем то, которое им было оказано. Поэтому совершенно необходимо их изучение заново и методами более глубокого и вдумчивого вчитывания в Ломоносовские тексты и известия о нем (в том числе и о разнообразных фактах его биографии), чем доселе практиковалось.

[22] Предисловием к первому тому издания 1757 г.

[23] С издания 1776 г. первым номером второго тома; в издании 1787 г., в первом томе, в составе предисловия, после «О пользе книг» и т. д.

[24] Одним из его помощников в этой работе был покойный М. Н. Буткевич (ум. 27 марта 1933 г.), известный революционный деятель в молодости, потом видный земец.

[25] Зато проведенные изучения дали некоторый материал для работ по такому своеобразному академику и деятелю русской государственной промышленности, как ученый и поэт Юнкер, неожиданно для всех из чистого гумманитария ставший выдающимся организатором соляного дела в России, особенно в районах Бахмута и Тора.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО А. Н. РАДИЩЕВА и Н. И. НОВИКОВА

Обзор Я. Барскова

Когда хотят указать ступень, выше которой не поднималась русская литература во второй половине XVIII в., называют М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова и, на рубеже столетий, Н. М. Карамзина; указывая такую же ступень для русской общественной мысли, ставят рядом А. Н. Радищева (1749—1802) и Н. И. Новикова (1744—1818), и недаром: оба они несправедливо и жестоко наказаны были Екатериной II. Первый был сослан ею на 10 лет в Сибирь в «Илимской острог», Иркутской губернии, за 6788 верст от Петербурга; второго велела она «запереть на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость». За что? В указе от 4 сент. 1790 г. она отвечает: «Кол. сов. и ордена св. Владимира кавалер, Александр Радищев, оказался в преступлении противу присяги его должности подданного изданием книги под названием «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвесть в народе негодование и неистовыми изражениями противу сана и власти царской; учинив, сверх того, лживый поступок прибавкою после цензуры многих листов в ту книгу, в собственной его типографии напечатанную, в чем и признался добровольно. За таковое его преступление осужден он Палатою уголовных дел Спб. губернии, а потом и Сенатом нашим, на основании государственных узаконений, к смертной казни»...

«Последуя правилу соединять правосудие с милосердием», императрица заменила смертную казнь ссылкой. В России и за границей указ произвел потрясающее впечатление. Гр. С. Р. Воронцов писал другу и начальнику Радищева, брату своему гр. Александру Романовичу, 1 (12) октября 1790 г. из Ричмонда: «Осуждение бедного Радищева причиняет мне крайнее страдание. Какой приговор и какое смягчение за опрометчивость (étourderie)! Что же сделают за преступление и за форменное возмущение? Десять лет Сибири хуже смерти для человека, имеющего детей, с которыми он должен разлучиться, или же он должен лишить их образования и службы. Это приводит в содрогание» («Cela fait frémir». «А. В.», IX, 181). Жена А. Н. Радищева, Анна Васильевна, р. Рубановская, скончалась 3 августа 1783 г., и дети росли полусиротами; старшему сыну Василию было в 1790 г. 13 лет, второму Николаю—12, дочери Екатерине шел 8-й год, младшему сыну Павлу—7-й. До какой степени рассвирепела Екатерина, прочитав «Путешествие», видно из ее собственноручных замечаний на книгу, из отметок на полях и в тексте экземпляра, находившегося в Тайной экспедиции, и наконец из устных замечаний, занесенных статс-секретарем императрицы А. В. Храповицким в его дневник. Радищев ожидал смертного приговора с первых дней ареста. Друзья предупредили его, что другого выхода не было, как принести повинную и просить о помиловании. Он так и поступил. Не сделав ни малейшего намека на чье-либо соучастие в книге, он принял всю вину исключительно на себя, а мысль о детях, которые должны были остаться круглыми сиротами, и о родителях, которых потрясла бы казнь сына, заставила его взывать к «мягкосердой» монархине о пощаде. Указ считает признание Радищева «добровольным». Если бы Радищев не повинился, «кнутобоец» С. И. Шешковский принудил бы его к этому силой и все-таки назвал бы его раскаяние добровольным, да еще привлек бы, пожалуй, заподозренных лиц—П. И. Челищева, гр. А. Р. Воронцова, кн. Е. Р. Дашкову, И. А. Крылова и др.

Бумаги по «делу» Радищева напечатаны несколько раз, но не все и не точно. Всего обстоятельнее изданы они под ред. А. К. Бороздина, И. И. Лапшина и

ПУТЕШЕСТВІЕ

ИЗЪ

ПЕТЕРБУРГА ВЪ МОСКВУ.

Радищева

„Чудище обло, озорно, огромно, стозѣвно,

и лаяй."

Тилемахида, Томъ II. Кн: XVIII. стих: 514.

1790.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО СОЖЖЕННОГО ИЗДАНИЯ „ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" А. Н. РАДИЩЕВА

С экземпляра, принадлежавшего Пушкину

Публичная Библиотека, Ленинград

П. Е. Щеголева в «Полном собрании сочинений Радищева» (изд. М. И. Акинфиева, СПБ., 1907, т. II, стр. 295—354) под заглавием «Процесс Радищева. Официальные материалы и свидетельства современников (из дела Государственного Архива и печатных источников)».

Редакция правильно отмечает четыре стадии в этом деле: 1) дознание полиции об авторах «Путешествия», 2) следствие С. И. Шешковского и разбор в Уголовной палате, 3) разбор в Сенате и 4) в Совете. К первой стадии относятся три записи Храповицкого, две записочки Екатерины, три письма гр. А. А. Безбородко и рапорт дежурного полковника Д. Горемыкина Шешковскому. Рапорт напечатан не с подлинника, а по статье М. И. Сухомлинова «А. Н. Радищев» («Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», СПБ., 1889, т. I, стр. 539—671).

К производству Шешковского относится большинство документов. Редакция заявляет, что берет их в «деле» Гос. Архива и помещает на первом месте копии с замечаний Екатерины; они печатались раньше в «Чтениях О. И. и Д. Р.» (1865, кн. III, стр. 67—77 и отд. стр.) и в «Архиве гр. Воронцова», кн. V, М., 1872, стр. 407—422). Повидимому она и взяла архивный текст, но воспроизвела его не точно.

Далее идут вопросы Шешковского и ответы Радищева. «Домашний палач» Екатерины знал, с чего начать, и прежде всего спросил, где жил Радищев и у которой церкви и кто у него и у всей его семьи отец духовный и когда он со своей семьей был у исповеди и святого причастия? Ценным дополнением к ответу Радищева служит документ, кратко изложенный М. И. Сухомлиновым; хотя он имеется в деле и невелик по объему, редакция предпочла сокращенный текст. Вопросные пункты и ответы напечатаны опять-таки небрежно.

Документы, относящиеся к двум последним стадиям, взяты из печатных изданий: из статьи В. Е. Якушкина «Суд над русским писателем в XVIII веке. К биографии А. Н. Радищева» («Р. С.» 1882, сентябрь, стр. 457—532) из «Сочинений имп. Екатерины II» (изд. Смирдина, СПБ., 1850, т. III, стр. 393—394), из сообщения Г. К. Репинского («Р. С.» 1872, т. VI, стр. 436—438), из заметки М. И. Сухомлинова «К биографии А. Н. Радищева» («И. В.» 1889, январь, стр. 244—246), из «Сб. Р. И. О.» (СПБ., 1881, т. XXIX, стр. 468), «Арх. Гос. Сов.» (СПБ., 1869, т. I, ч. 2, стр. 737), «П. С. З.» (т. XXIII, № 16901).

В различных изданиях бумаги по делу Радищева размещаются и датируются по-разному и, как выше указано, даже при наличности автографов печатаются и перепечатываются по непроверенным копиям.

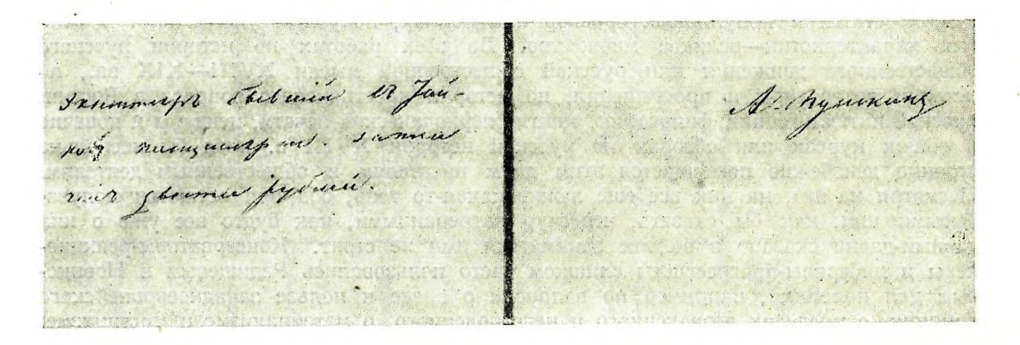
В настоящее время Всесоюзным обществом политкаторжан предпринято новое издание сочинений А. Н. Радищева; есть основание надеяться, что здесь помещены будут указанные выше бумаги в должном порядке и при полном внимании к архивным материалам.

На вопрос о Н. И. Новикове императрица ответила в рескрипте от 1 августа 1792 г.: «Рассматривая произведенные отставному поручику Николаю Новикову допросы и взятые у него бумаги, находим мы, с одной стороны, вредные замыслы сего преступника и его сообщников, духом любоначалия и корыстолюбия зараженных, с другой же, крайнюю слепоту, невежество и развращение их последователей. На сем основании составлено их общество; плутовство и обольщение употребляемо было к распространению раскола не только в Москве и в прочих городах. Самые священные вещи служили орудием обмана. И хотя поручик Новиков не признается в том, чтобы противу правительства он и сообщники его какое злое имели намерение, но следующие обстоятельства обнаруживают их явными и вредными государственными преступниками. Первое. Они делали тайные сборища, имели в оных храмы, престолы, жертвенники; ужасные совершались там клятвы с целованием креста и Евангелия, которыми обязывались и обманщики и обманутые вечною верностию и повиновением ордену златорозового креста с тем, чтобы никому не открывать тайны ордена, и еслибы правительство стало сего требовать, то, храня оную, претерпевать мучение и казни. Узаконения о сем, писанные рукою Новикова, служат к обличению их. Второе. Мимо законной, богом учрежденной власти дерзнули они подчинить себя герцогу брауншвейгскому, отдав себя в его покровительство и зависимость, потом к нему же относились с жалобами в принятом от правительства подозрении на сборище их и чинимых будто притеснениях. Третье. Имели они тайную переписку с принцем гессенкассельским и с прусским министром Вельнером изобретенными ими шифрами и в такое еще время, когда берлинский двор оказывал нам в полной мере свое недоброхотство; из посланных туда от них трех членов двое и поныне там пребывают, подвергая общество свое заграничному управлению и нарушая чрез то долг законной присяги и верность подданства Четвертое. Они употребляли разные способы, хотя вообще к уловлению

в свою секту известной по их бумагам особы; в сем уловлении так, как и в помянутой переписке, Новиков сам признал себя преступником. Пятое. Издавали печатные у себя, непозволенные, развращенные и противные закону православному книги и после двух сделанных запрещений осмелились еще продавать новые, для чего и завели тайную типографию. Новиков сам признал тут свое и сообщников своих преступление. Шестое. В уставе сборищ их, писанном рукою Новикова, значатся у них храмы, епархии, епископы, миропомазание и прочие установления и обряды, вне святой нашей церкви непозволительные. Новиков утверждает, что в сборищах их оные в самом деле не существовали, а упоминаются только одною аллегорией для приобретения ордену их вящшего уважения и повиновения; но сим самым доказывается коварство и обман, употребленные им с сообщниками для удобнейшего слабых умов поколебания и развращения. Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровенных своих замыслов, но вышеупомянутые обнаруженные и собственно им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни».

«Следуя сродному ей человеколюбию», Екатерина ограничилась тем, что заточила Новикова в тот каземат, где более 20 лет томился и наконец был убит злосчастный император Иван Антонович.

Кто в большей мере пострадал от ожесточения императрицы—Радищев или Новиков, трудно сказать. Родители Н. И. Новикова давно уже покоились в могиле, жена его скончалась за год до катастрофы, но дети были еще малы: старшему



НАДПИСЬ А. ПУШКИНА НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ „ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ“ А. Н. РАДИЩЕВА

Публичная Библиотека, Ленинград

Ивану было 10, дочери Варваре—9 и Вере—5 лет. Сын и старшая дочь были так потрясены арестом отца, что навсегда остались неизлечимо больными. Н. М. Карамзин, многим обязанный в своей молодости Новикову и до отъезда своего за границу (18/V 1789) принадлежавший к числу масонов, писал 20 декабря 1818 г. имп. Александру I: «Новиков, как гражданин, полезной своей деятельностью заслуживал общественную признательность; Новиков, как теософический мечтатель, по крайней мере, не заслуживал темницы; он был жертвою подозрения извинительного, но несправедливого» («Неизд. сочин.» СПБ., 1862, ч. I, стр. 225—226).

Многочисленные документы по делу Н. И. Новикова и прикосновенных к этому делу «братьев златорозового креста» (И. В. Лопухина, кн. Н. Н. Трубецкого, И. П. Тургенева), книгопродавцев (Н. Кольчугина, И. Переплетчикова, М. Глазунова, Г. Полежаева, И. Козырева, И. Луковникова, П. Вавилова, П. Заикина, В. Глазунова) и переплетчика (Н. Водопьянова) напечатаны в «Летописях русской литературы» Н. С. Тихонравова (М., 1863, т. V, отд. II, стр. 3—96), в исследовании М. Н. Лонгинова «Новиков и московские мартинисты» (М., 1867, приложения) и в его статьях, собранных в I томе «Сочинений» (М., 1915), в статье П. Пекарского «Дополнения к истории масонства в России в XVIII веке» (Сб. II отд. Ак. Н., т. VII и отдельно, СПБ., 1889), в статье А. Н. Попова «Новые документы по делу Новикова» («Сб. Р. И. О.», т. II, стр. 96—158; см. его же «Дело Новикова и его товарищей». «В. Е.» 1868, кн. IV). Сюда же относятся «Подлинные реестры книгам, взятым по высочайшему повелению из палат Н. И. Новикова в Московскую духовную и светскую цензуру» («Чтения О. И. и Д. Р.», 1871, кн. III, Смесь, стр. 17—48), а также заметки и сообщения в I томе «Летописей»

Н. С. Тихонравова (отд. II, стр. 23—28), в «Р. А.» (1872, стр. 878; 1876, I, стр. 10, 14—17; 1891, I, стр. 425—429; 1895, I, стр. 480—482; 1900, I, стр. 488—490), в «Чтениях О. И. и Д. Р.» (1867, кн. IV); наконец указы в «П. С. З.» (т. XXII, №№ 16086, 16301, 16362).

Весь этот весьма обильный материал опубликован безупречно; значительная часть его хранится в подлинниках в VIII разряде б. Гос. Архива, №№ 218—219; но где в настоящее время находятся рукописи по делу Новикова, хранившиеся в Архиве Старых Дел Московского Губернского Правления, мне к сожалению не известно.

В тесной связи с «делом» Н. И. Новикова стоят его издания. В 1921 г. В. П. Семенников напечатал превосходную работу «Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической Компании». Книги описаны de visu и отнесены к двум периодам: к петербургскому, с 1766 по апрель 1779 г., №№ 1—53, и к московскому, с мая 1779 по апрель 1792 г., № 54—928; во втором периоде издания распределены по годам; в особые отделы отнесены «издания, печатанные тайно», №№ 929—944 и dubia. Этот основной список легко дополнить мелкими «листовками», преимущественно «словами» и «речами» в разные «торжественные дни», для истории литературы и книги мало имеющими значения.

Весьма ценными для выяснения издательской деятельности Новикова являются статьи В. Я. Адарюкова «Книга второй половины XVIII века» и А. И. Кондратьева «Новиковские издания» в коллективном труде под ред. В. Я. Адарюкова и А. А. Сидорова «Книга в России, ч. I. Русская книга от начала письменности до 1800 года», М., 1924.

Научных исследований, посвященных Радищеву и Новикову, имеется мало, но мелких статей и популярных брошюр или беглых, попутных упоминаний и сжатых характеристик—великое множество. Во всех работах по истории русского общественного движения или русской общественной мысли XVIII—XIX вв., по истории литературы и просвещения, по истории крестьянского вопроса в России, русской интеллигенции, философии, книги, периодической печати, цензуры и конечно в общих курсах или обзорах по русской истории XVIII в. хотя бы несколько страниц неизбежно посвящается этим двум писателям и общественным деятелям. Несмотря на это, на них все еще лежит какая-то тень, оба они остаются полузабытыми или, как бы сказать, чересчур затрепанными, как будто все уже о них давным-давно сказано и больше заниматься ими не стоит. Консерваторы-реакционеры и либералы-прогрессисты слишком часто пользовались Радищевым и Новиковым для полемики, например по вопросам о вреде и пользе западноевропейского влияния, о пределах дозволенного и недозволенного, о материализме и мистицизме, о народности, даже о Москве и Петербурге как центрах истинного и ложного просвещения. Публицисты, приводя всем знакомые отрывки из сочинений обоих писателей, превратили эти цитаты в «общие места» и понизили интерес к самим авторам, подобно тому как школьная хрестоматия иногда надолго убивает в учащемся интерес к великому произведению. Самая постановка имен Радищева и Новикова рядом, привычка брать их, так сказать, за одну скобку, сделала то, что для широкого круга читателей стерлись глубочайшие различия между ними: первый является подлинным революционером, а от второго путь ведет если не к Каткову и Победоносцеву, то по крайней мере к «новым христианам»—к автору «Бесов» и К. Н. Леонтьеву. Правда, они стремились оба к одной и той же цели—положить конец тому состоянию России, в какое привел ее деспотизм Екатерины и Потемкина, но шли они путями полярно противоположными: Радищев был пророком и предтечей революции, Новиков—реакции.

Некоторое время впрочем они работали рядом и вращались в одной и той же культурной среде. То был первый «петербургский» период в деятельности старшего из них, Н. И. Новикова; тогда и Екатерина была еще непрочь от содействия освободительному движению в известных конечно «пределах». Оба писателя были лично известны императрице. Новиков служил в Измайловском полку и стоял на часах у моста перед полковыми казармами, когда А. Г. Орлов привез туда Екатерину из Петергофа. За участие в перевороте 28 июня 1762 г. Новиков, наравне с другими нижними чинами, был награжден производством в унтер-офицеры. Общее оживление русской литературы и книжного рынка в первые годы Екатерининского царствования захватило и Новикова; в 1766 г. он издал «Дух Пифагоров или нравоучения его, состоящие в Золотых стихах». В том же году им напечатаны «Две повести: Аристоноевы приключения и рождение людей Промифеевых», переведенные М. И. Поповым, а также «Реестр книг, продаваемых в Большой Морской улице, в Кнутсовом доме у живущего там книгопродавца». Самые названия этих книг говорят, куда направлены были первые шаги будущего моралиста, основателя и хозяина самой крупной книгоиздательской и книгопродавческой фирмы в России

Читал я вслух вольность — Ода — За одно название отказали мнѣ изданіе сихъ Стиховъ, но я очень помню, что въ наказѣ, О сочиненіи новаго уложенья говорится О вольности, и сказано; вольностью называть должно то, что всѣ одинаковымъ повинуются законамъ — Слѣдовательно О вольности у насъ говорить въ мѣстно — Сію строфу обвиняли для двухъ причинъ, за стихъ во свѣтъ рабства тьму претвори — Онъ очень тупъ и труденъ на изреченіе ради частаго повторенія буквы, Т. и ради соитія частаго согласныхъ буквъ; бства тьму претв. на десять согласныхъ, а на россійскомъ языкѣ, толико же можно писать сладостно, какъ и на Латинскомъ — Согласенъ . . . хотя иныя почитали стихъ сей удачнымъ, находя въ негладкости стиха изобразительное выраженіе трудности самаго дѣйствія — Но вотъ другой ! да смятутся отъ гласа твоего царие. желать смятенія царю, есть тоже, что желать ему зла. Чудо — но продолжайте безпрепятственно, я нехочу вамъ наскучить всеми примѣчаніями на стихи мои здѣланными, Многія признаюсь изъ нихъ справедливы — Строфы 3. 4. 6. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 30. 31. 32. 35. 38. 39. 40. 41. 42. прочитавъ я ему

Сказалъ: Есть ли вы Государь мой ! не зачемъ другимъ идете въ Петербургъ; какъ дабы истребовать дозволеніе на напечатаніе вашихъ стиховъ, то возвратитесь въ покое домой, и подщитесь исправить ихъ отъ двухъ погрѣшностей, отъ нелѣпости выраженія, и сказать вамъ могутъ отъ нелѣпости мыслій — Онъ поглядѣвъ на меня съ презрѣніемъ, Прочтите сію бумагу, и скажите мнѣ не посадятъ ли и за нее . . . . Читайте: Сіе долженствовало быть для великаго поста но потерялся случаемъ не доконченно. да будетъ оно примѣромъ, какъ можно писать не одними ямбами. развернувъ прочелъ слѣдующее.

Творение мира
Пѣснословіе
Хоръ. .

Тако предвѣчная мысль осѣнялась собою и проч:

Вы уже улыбаться начинаете, вамъ кажется уже, что читаете Телемахиду. но смѣйтесь какъ хотите чудище обло, озорно, стризевно и лая не столь дурной стихъ — Но есть ли теперь не достанете, продолжайте и смѣйтесь.

Творение Мира
Пѣсно-словіе
Хоръ.

РАЗВОРОТ НА 152—153 СТРАНИЦАХ СПИСКА „ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ“ А. Н. РАДИЩЕВА, СОДЕРЖАЩЕГО РАННЮЮ РЕДАКЦИЮ КНИГИ, ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОДЫ „ВОЛЬНОСТЬ“ И ПОЭМУ „ТВОРЕНИЕ МИРА“

Список принадлежал библиографу М. Н. Лонгинову

Институт Русской Литературы, Ленинград

XVIII в. По вполне обоснованному предположению В. П. Семенникова («Материалы для истории русской литературы и для словаря русских писателей эпохи Екатерины II», П., 1915, стр. 74) Новиков тогда же (1766), может быть чрез какое-нибудь подставное лицо, занимался и книжной торговлей. По всей вероятности в эти годы (1762—1766) он завязал первые свои знакомства в литературных кругах столицы. Участие, по назначению императрицы, в Комиссии о сочинении нового уложения (1767) расширило эти круги; некоторые из новых знакомых стали впоследствии ревностными масонами и друзьями Новикова. Через несколько месяцев по возвращении императрицы из поездки по Волге (летом 1767 г.) возникло общество для перевода статей из «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера, и в том же (1767) году вышло три книжки этих переводов. В следующем (1768) году Екатерина «изволила пожаловать ежегодно по 5 т. руб на российские переводы хороших иноземных книг». Во главе Собрания переводчиков поставлены были: 1) директор Академии Наук гр. В. Г. Орлов, брат фаворита; 2) гр. А. П. Шувалов, находившийся в переписке с Вольтером и сам писавший хорошие французские стихи; 3) секретарь императрицы у принятия челобитен Г. В. Козицкий. Этот последний и руководил работой Собрания. В 1769 г. под его редакцией и при участии Екатерины стал выходить еженедельный журнал «Всякая Всячина». Новиков состоял тогда (повидимому до 1774 г.) переводчиком в Иностранной коллегии и не принимал участия в работах Собрания; но в 1769 г. вслед за «Всякой Всячиной» появилось семь новых журналов, и первое место среди них занял «Трутень» Н. И. Новикова. Так как императрица была недовольна полемикой между журналами и общим направлением «Трутня», Новиков простился с читателями в XVII листе «Трутня» (27/IV 1770 г.) и, месяц спустя, при помощи подставного лица, приступил к изданию нового журнала «Пустомели» (В. П. Семенников, «Русские сатирические журналы 1769—1774 гг. Разыскания об издателях и сотрудниках», СПБ., 1914, стр. 72—80). Выпустив две книжки (за июнь и за июль), Новиков прекратил издание и в течение следующего (1771) года напечатал лишь два небольших перевода, в малую осьмушку, с общей нумерацией страниц; то были «Переписка Вольтера с епископом А***» и «Поема о нынешних делах или увещании о восприятии против турок оружия. Сочинение г. В[ольтера]». В ту пору Россия переживала двойное бедствие: надолго затянувшуюся, хотя и победоносную войну с турками (1768—1774) и чуму, которая унесла с апреля 1770 по март 1772 г. по официальному подсчету 133.086 чел. и привела к народному бунту в Москве (сентябрь 1771). Для борьбы с чумой и для следствия отправлен был из Петербурга фаворит императрицы гр. Г. Г. Орлов. Едва стихла чума и наказаны были виновные в бунте (согласно приговору 10/XI 1771, П. С. З., № 13695), как возвратился из-за границы А. Н. Радищев.

Когда Новиков был произведен в унтер-офицеры, А. Н. Радищев пожалован пажем (25/XI 1762) и в конце 1763 г. переехал из Москвы в Петербург. Здесь он стал лично известен императрице и непосредственно познакомился с жизнью двора. В корпусе он поселился вместе с А. К. Кутузовым и нашел в нем верного друга на всю жизнь; в течение 14 лет, до женитьбы Радищева, друзья жили неразлучно в одной комнате. Кутузову было впоследствии посвящено «Путешествие». В поисках популярности Екатерина уже в 1763 г. завязала сношения с французскими просветителями и пошла навстречу русским писателям. Говорили, что на малых собраниях в Эрмитаже, где императрица держала себя с гостями запросто, бывал и Новиков.

При дворе часто давались спектакли. В обязанности пажей входило составлять для них программы, с экстрактами из театральных пьес. К 1764—1765 гг. относятся два таких экстракта, найденные А. Н. Пыпиным среди бумаг Екатерины: 1) «Le philosophe marié ou le mari honteux de l'être» (автор Destousches), составленный Кутузовым и написанный (écrit) Корсаковым, 2) «Le procureur arbitre; comédie en un acte en vers par m-r Poisson», составленный Челищевым и написанный Радищевым (Сочинения Екатерины II, СПБ., 1901, т. IV, стр. 237—244).

Сгоряча, только что ознакомившись с «Путешествием» Радищева в 1790 г., императрица писала гр. А. А. Безбородко, ведавшему «тайные дела»: «По городу слух, будьто Радищев и Щелищев писали и печатали в домовой типографии ту книгу («Путешествие»); изследовав, лутче узнаем». А когда в ее руки попало «Письмо к другу», напечатанное в типографии Радищева (1790), она писала (С. И. Шешковскому): «Сие сочинение такожде господина Радищева и видно из подчерченных [мною] мест, что давно мысль ево [Радищева] готовилась ко взятому пути, а французская революция ево решила [от] себя определить в России первым падвизателем. Я думаю, Щелищев едва ли не второй; до протчих добратся нужно; изо Франции еще пришлют вскоро паричко». Память на лица у Екатерины была острая; вероятно за четверть века перед тем императрица выделяла таких пажей, как Радищев,

Кутузов, Челищев. Эти трое проводили в корпусе свободное время иначе, чем большинство их товарищей, которых нередко наказывали за «шалости»: Кутузова и Радищева привлекала литература иностранная и русская, а в ней романы и повести на морально-философские и социальные темы, выдвинутые Руссо и руссоистами.

В 1766 г. императрица велела выбрать и отправить в Лейпциг для обучения на юридическом факультете 12 лучших пажей, в том числе Кутузова, Радищева и Челищева (23/IX 1766). Занятия, радость и горе четырех с лишком лет, проведенных в Лейпциге, Радищев описал в «Житии» старшего своего товарища Ф. В. Ушакова, бросившего служебную карьеру, присоединившегося к студентам и служившего для них непререкаемым авторитетом. «Житие» написано 18 лет спустя по



СОЧИНЕНІЯ

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

РАДИЩЕВА.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА

И СТАТЬЕЮ «О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ РАДИЩЕВА»

А. П. Пятковскаго.

(Редакція изд. П. А. Ефремова).

ТОМЪ I

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ИЗДАНІЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА ЧЕРКЕСОВА

1872.

ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ РАДИЩЕВА ПОД РЕДАКЦИЕЙ П. А. ЕФРЕМОВА

Издание это было конфисковано и уничтожено; единственный известный экземпляр издания сохранился в библиотеке библиографа М. Н. Лонгинова

Институт Русской Литературы, Ленинград

смерти Ушакова в июне 1770 г.) и напечатано в 1789 г. Рукопись не сохранилась и книга осталась неизвестной императрице; на допросах о ней не было упомянуто, а между тем она служит как бы введением к «Путешествию» и вскрывает главные его источники. Там и сям рассеяны в «Житии» указания на чтение Радищева и на впечатления от лекций, университета, города и быта. Самое важное указание относится к общему увлечению всего студенческого кружка книгой Гельвеция «De l'esprit». «Мы,—пишет Радищев,—читали сию книгу, читали со вниманием, и в оной мыслить научилися... В сем отношении сочинение Гельвеция не малую может всегда приносить пользу». «Всегда»—так думал Радищев в 1788 г.; впоследствии он изменил этот взгляд; но, воскрешая в памяти свои студенческие годы, он самые «сильные» строки «Жития» посвятил Гельвецию. С большим сочувствием он отзывается также о молодом и популярном профессоре Платнере, увлекавшем слушателей свежестью своих курсов и живостью изложения. Он «настаивал на общении науки с жизнью, с насущными потребностями; затрагивал социальные

вопросы; подвергал критике существующие законы и общественные порядки; указывал вопиющую неправду в отношениях между бедными и богатыми» (Сухомлинов, I, 549).

Лейпциг занимал одно из первых мест в Европе по размаху книгоиздательства и книготорговли. Интерес и любовь к книге, вынесенные Радищевым из Москвы и Петербурга, здесь увеличились и окрепли. Из писем Радищева гр. А. Р. Воронцову видно, что у него была солидная библиотека даже в Илимске.

Что касается экономического и социально-политического уклада 1500 светских и духовных «государств», из которых состояла Германия XVIII в., то Радищев всюду видел знакомые картины: полное засилье дворянства и гнет, тяготевший над крестьянами и ремесленниками, которые отданы были во власть господ и хозяев; «гражданство», более многочисленное и более «просвещенное», чем в России, не вступало еще в борьбу со знатью, держалось от нее в стороне и обогащалось от промышленности и торговли. Пути сообщения, постоялые дворы, грязь и нищета в деревнях были не менее отвратительны, чем на родине.

«Воспомни,—обращается Радищев к верному другу Кутузову в «Житии Ушакова»,—нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, воспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую... если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнию для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого».

Это настроение было однако непродолжительно. Хотя подходил уже к концу десятый год с тех пор, как в России воцарилась сама «Минерва», застарелое зло крепостничества расцветало еще пышнее; в управлении и суде всем ворочали воры и взяточники; война разоряла рекрутскими наборами крестьян и помещиков и налогами—купцов и ремесленников; в довершение всех этих зол разразилась чума, в которой со всей силой выступило суеверие и народной массы, и духовенства. Наконец по отъезде кн. Г. Г. Орлова (в апреле 1772 г.) на конгресс в Фокшаны императрица взяла нового фаворита А. С. Васильчикова, и при дворе разгорелась борьба партий, питавшая бесконечные сплетни и слухи в городе. В том же году оживилась масонская деятельность—в Петербурге учреждена была первая «великая ложа» в России и И. П. Елагин стал «провинциальным гроссмейстером». В ожидании совершеннолетия цесаревича Павла (20/IX 1772 г.) говорили об его правах на престол, захваченный матерью. Новиков выпустил «Опыт исторического словаря о российских писателях» и посвятил его Павлу. Падение Орловых означало возвышение гр. Н. И. Панина, воспитателя и друга цесаревича. Вероятно уже на пути от границы до Петербурга Радищев и Кутузов расспрашивали о том, что делается в столице, и были свидетелями-очевидцами бедственного положения городов и деревень, усиленного войной и чумой. «Признаюсь, и ты, мой любезный, признаешься,—обращается Радищев к Кутузову,—что последовавшее по возвращении нашем жар [наш] в нас гораздо умерило».

Зная силу печати и сцены, Екатерина написала в 1772 г. две комедии «О, время» и «Именины г-жи Ворчалкиной», в которых обрушилась на ханжество, ростовщичество и вертопрашество. Новиков подхватил эти темы и 12 апреля 1772 г. выпустил первую книжку своего лучшего журнала «Живописец» с обращением к «неизвестному» автору комедии «О, время» и с просьбой принять в нем участие. Императрица не отвергла этой просьбы и прислала сочувственную заметку о вновь возникшем «Обществе, старающемся о напечатании книг» (в 18 листе второй части «Живописца»). Новиков, со своей стороны, поднял вопрос о распространении уже напечатанных книг, особенно в провинциальной глуши, о чем «уже не государю, а частным людям помышлять надобно» («Живописец», изд. П. А. Ефремова, стр. 260—265).

Ближайшим сотрудником Новикова в этом предприятии был книгопродавец Миллер—у него продавались издания Общества и принималась подписка на журналы Новикова. Других сотрудников, по мнению В. П. Семенникова, следует искать среди авторов и переводчиков книг, которые изданы Обществом; в числе их, надо полагать, был и Радищев. Дело подвигалось туго, и в 1774 г. Общество распалось; но в 1772 Новиков был полон надежд на успех книгоиздательства и книготорговли, тем более, что его ободряла сама императрица.

В пятом листе «Живописца» он напечатал «Отрывок путешествия в ***», за подписью И*** Т***, с заметкой: «Есть ли бы ето было в то время, когда умы и сердца заражены были французскою нациею [при имп. Елизавете], то не осмелился бы я читателя моего потчивать с етого блюда, потому что оно приготовлено очень солоно и для нежных вкусов благородных невежд горьковато. Но ныне [1772] премудрость, седящая на престоле, истинну покровительствует во всех деяниях».

Н. И. НОВИКОВ

Портрет, гравированный Коском с оригинала Н. Черепанова; приложен к первому тому рукописной „Герметической библиотеки" (1806 г.)

Публичная Библиотека, Ленинград



Блюдо действительно было горьковато, но не для одних невежд, зараженных галломаниею, а для всего благородного российского дворянства. Автор «Отрывка» поставил ребром жгучий вопрос о крепостном праве и с необычайной силой описал деревню Разоренную всего на семи с небольшим страничках, обещая, что продолжение будет впредь. В 13-м листе в статейке «Англинская прогулка» помещен был ответ (Н. И. Новикова) на вопрос, почему не появлялось это продолжение, а в 14-м напечатано еще пять страничек «Отрывка» с указанием автора, что он отправился в дальнейший путь, «горя нетерпеливостью увидеть жителей Благополучные деревни». И на этот раз потребовалось замечание под строкой, что «путешественник имел справедливые причины обвинять помещика Разоренной деревни, и подобных ему».

Читатели «Живописца» не увидели описания деревни Благополучной. Зато в литературе о Новикове и Радищеве все еще не закончен спор об авторе «Отрывка». В. П. Семенников посвятил ему специальное исследование («Радищев. Очерки и исследования. Приложение 1-е. К истории создания «Путешествия из Петербурга в Москву». М.-П., 1923, стр. 319—364). Следует с ним согласиться и признать автором «Отрывка» Радищева. Главное возражение, что Радищев не мог вскоре по приезде написать «Отрывок», не убедительно; для немногих страничек, которые он занимает, достаточно было, как говорится, одного присеста за письменный стол, тем более, что, возвращаясь в столицу, Радищев, по его собственному признанию, находился «в исступлении» и «жар» его остыл не сразу. Именно горячий тон «Отрывка» и должен был подкупить Новикова. Он опасался, как бы не раздразнить «гусей», сделал для них оговорки и все-таки напечатал «Отрывок».

В следующем (1773) году он издал перевод Радищева—«Размышления о греческой истории» Мабли, с чрезвычайно смелым по тому времени примечанием переводчика: «Самодержавство (у Мабли despotisme) есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти, но ниже закон, извет общие воли, не имеет другого права наказывать преступников опричь права собственные сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не для того, что мы оное делать долженствуем неотменно, но для того, что мы находим в этом выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природные власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу: о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества» (подчеркнуто в первом изд.).

Мабли утверждал, что непосредственное народовластие вреднее господства немногих или даже одного, ибо тогда нет границ произволу; он требует представительства, монарх, по его мнению,—первый гражданин в обществе и только; как скоро законодательная власть предоставлена монарху или аристократии, она неизбежно

превращается в орудие личных страстей и частных выгод правителей. На Мабли сказалось влияние английской морально-философской литературы. Радищев делал прямые выводы из теории Руссо, изложенной в «Общественном договоре». Не ограничиваясь приведенным примечанием, он вносит поправку там, где Мабли касается учреждения должности эфоров в Спарте; приводит разговор Александра Македонского с Парменионом по первоисточнику, исправляя таким образом пересказ Мабли; делает точные ссылки на «Дух законов» Монтескье; словом, не ограничивается механической передачей текста Мабли.

Прочел ли издатель книгу Мабли и примечания Радищева? Едва ли. Повидимому не знала об них и Екатерина, а между тем в примечании о самодержавии (1773 г.) кратко выражены взгляды, развитые в «Путешествии», за которое она позднее угнала Радищева в Илимск.

В том же 1773 г. напечатан перевод Радищева (с немецкого) «Офицерские упражнения» с пометой: «Иждивением Общества, старающегося о напечатании книг». Кому эти «Упражнения» понадобились—трудно сказать. Радищев перешел тогда из Сената, где со времени приезда состоял протоколистом, на должность обер-аудитора в штате генерал-аншефа гр. Я. А. Брюса. Вероятно перевод был заказан начальством, или же Общество переводчиков надеялось на скорый сбыт книги в виду военного времени. В продажу она поступила лишь в 1777 г. с перепечатанным заглавным листом (В. П. Семенников, «Книгоиздательская деятельность», стр. 16, № 49).

Новиков обратился в то время к русской истории и русским древностям, в частности к родословным наиболее знатных домов. В 1773 г. он издал I том «Древней российской вивлиофики» и «Древнюю российскую гидрографию». На «Вивлиофику» подписались Радищев и его товарищ по Лейпцигскому университету А. К. Рубановский. У брата этого последнего, камер-фурьера В. К. Рубановского, было две дочери — Анна и Елизавета Васильевны. Первая из них в 1775 г. стала женою А. Н. Радищева. Свадьбу праздновали в Москве, где двор оставался почти весь год, празднуя годовщину заключения мира с турками (10/VIII 1774 г.) и подавление пугачевщины, а может быть и тайный брак Екатерины с Потемкиным.

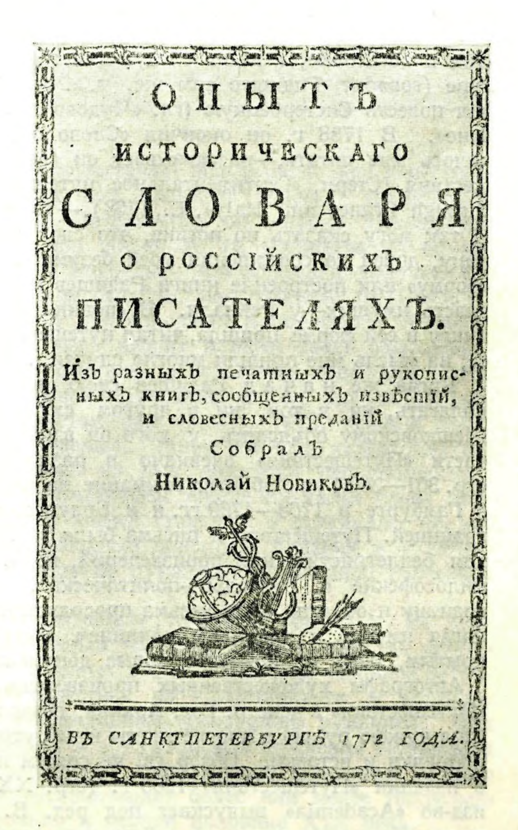
В 1773 г. приняты в члены ложи Урании (учр. 31/I, откр. 16/III) товарищи Радищева по корпусу и Лейпцигскому университету—П. Н. Янов и Я. Ф. Дубянский; ее посещали также П. И. Челищев, А. К. Рубановский и А. Н. Радищев; все они были переводчиками в «Обществе» вместе с М. И. Поповым, В. И. Майковым и А. М. Кутузовым (впоследствии «братом» златорозового креста). Мастером стула в Урании был В. И. Лукин, автор комедии «Мот, любовию исправленный»; ложа сначала и помещалась в его доме; но когда Лукин его продал, взято было новое помещение на Мойке, против Галерного двора; здесь заведены были, как в клубах, карты, биллиард, ужины. В 1774 г. число членов ложи достигало 55. Радищев вел в это время несколько рассеянную жизнь, состоял членом Английского клуба, посещал дом Брюса, где бывало много гостей и где царила его жена, гр. Прасковья Александровна, которую императрица считала своим лучшим другом; он бывал у знакомых Брюса на балах и маскарадах и всюду пользовался успехом благодаря своей внешности, уму и образованию. Может быть отчасти эта рассеянная жизнь отвлекла его на время от работы в журналах и от переводов. Впрочем в конце июня 1773 г. Новиков прекратил издание «Живописца», а в 1774 г. распалось Общество переводчиков. Да и время было чересчур беспокойное: вся страна была встревожена пугачевщиной; едва вернулись к власти Орловы, как появился самый влиятельный из всех фаворитов, типичный временщик и деспот—Г. А. Потемкин.

В июле 1774 г. Новиков сделал попытку издавать новый журнал «Кошелек». Посвящая его отечеству, Новиков писал: «Две причины побудили меня издавать в свет сие слабое творение и посвятить оное Отечеству моему, первая, что я, будучи рожден и воспитан в недрах Отечества, обязан оному за сие служить посильными своими трудами и любить оное, как я и люблю его по врожденному чувствованию и почтению к древним великим добродетелям, украшавшим наших праотцев и кои некоторых из наших соотечественников еще и ныне осиявают»... Далее он осуждает тех, кто думает, что «Россиянин должен заимствовать у иностранных все даже и до характера»... К тому же, замечает он, «ныне развращение во нравах учителей наших [французов] столь велико, что они и изъяснение некоторых добродетелей совсем потеряли и столь далеко умствованиями своими заходят, что во аде свой рай найти уповают».

Вероятно не без удивления читал эти строки Радищев, припоминая, что всего лишь за год перед тем Новиков издал книгу Мабли, а в 1772 г. положил основание «Живописцу» и поместил в нем описание деревни Разоренной. В эти три-четыре года (1772—1775) под влиянием войны, чумы и пугачевщины произошел

заметный сдвиг и в обществе, и в правительстве. От сатирических журналов Новиков перешел к «Утреннему Свету» (1777—1781), который распространяли архиереи по своим епархиям, и к устройству училищ для подготовки будущих пастырей церкви; если бы честность Новикова не была вне сомнения, то можно было бы подумать, что он угождал новому фавориту, зная его связи с духовенством; о Дидро, приезжавшем в 1773 г. в Петербург отблагодарить императрицу за оказанные ему милости, Новиков отзывался, как об «умном» французе, но добавлял, что «ему, как неверующему, верить нельзя»; от ложи Урании группой в 9 человек, в том числе и Новиковым, 30 мая 1775 г. основана была ложа Астреи, где мастером стула был Я. Ф. Дубянский; в нее через несколько дней был принят Новиков на исключительных условиях: не давать никакой присяги, получить прямо степень мастера и сохранить право выхода, если встретится что-либо противное его совести. Новиков искал «истинного» масонства, а первым признаком истинности считал отказ от политических целей. Его привлекало мистическое учение Сен-Мартена, изложенное в трактате «О заблуждении и истине» («Des erreurs et de la verité», à Edimbourg [Lyon] 1775) и получившее у нас название мартинизма. В действительности именно Сен-Мартен развивал, кроме мистических идей, политические, но прямо противоположные идеям Руссо, Мабли и других «просветителей». С этого времени пути Радищева и Новикова разошлись, хотя у того и другого не было недостатка в общих врагах.

С 1773 г. Радищев не выступал в печати в течение 15 лет. Это не значит, что он утратил интерес к литературе, науке, чтению и работе с пером в руках». Напротив, в повинной и в показаниях он настойчиво выдвигал свое желание «прослыть хорошим писателем» как одну из основных причин появления его «злосчастной книги. «До женитьбы моей,—говорит он в письме Шешковскому,—я более упражнялся в чтении книг, до словесных наук касающихся; много также читал и книг церковных, следуя совету Ломоносова... дабы в состоянии быть управлять пером. Родяся с чувствительным сердцем, опыты моего письма обращалися всегда на нежные предметы, но все было с неудачею. Когда же я женился, то все любовное вранье оставил и наслаждался действительным блаженством, не занимаяся ничем более, как домашними делами».


ОПЫТЪ
ИСТОРИЧЕСКАГО
СЛОВАРЯ
О РОССІЙСКИХЪ
ПИСАТЕЛЯХЪ.
Изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ, сообщенныхъ извѣстій, и словесныхъ преданій
Собралъ
Николай Новиковъ.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 1772 ГОДА.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА „ОПЫТА ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ О РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЯХ“ Н. И. НОВИКОВА (1772 г.)

Публичная Библиотека им. Ленина, Москва

Напрасно ссылаются на эти строки, чтобы отвергнуть принадлежность «Отрывка» о деревне Разоренной Радищеву: он благоразумно умолчал о переводе Мабли, об участии в Обществе переводчиков, о своих связях с литературными кругами, о чтении книг не только церковных и до словесных наук касающихся... Свои стихи на «нежные предметы» он может быть в праве был считать «неудачными» или «любовным враньем», но его крупный поэтический талант высоко ценил такой судья, как Пушкин.

Служба в Коммерц-коллегии с 1777 г. и в таможне с 1780 г., по словам Радищева, побуждала его читать сочинения по специальности, а также по общей истории и путешествия. В 1780 г. он начал писать «Слово о Ломоносове», помещенное в конце «Путешествия» взамен главы, сохранившейся в рукописи (не полностью).

Тогда же он приступил к чтению многотомного труда Рейналя «История обеих Индий» (Raynal, «Histoire philosophique et politique des Établissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes»).

Первое издание «Истории» вышло в 1770 г.; значительно расширенное, которым пользовался Радищев—в 1780 г. (в Женеве, т. I—X); в нем участвовало до двадцати писателей—Гольбах, Нэжон, Гиберт, Пешмежа, Левек, Томас, Дюбюк, Дюбрейль и др. Рейналь приводил в порядок пестрый материал и делал свои вставки в приподнятом стиле (le style ampoulé). Для большего успеха «Истории» он сам добивался ее преследования и даже своего изгнания из Парижа. С этой целью он внес в свой труд множество тирад, в которых громит современников, обличает пороки общества, поучает королей, правительства, народы. Издание было арестовано и сожжено рукой палача; но это не помешало, а помогло Рейналю в короткий срок выпустить 20 изданий; сверх того вышло до 50 подделок.

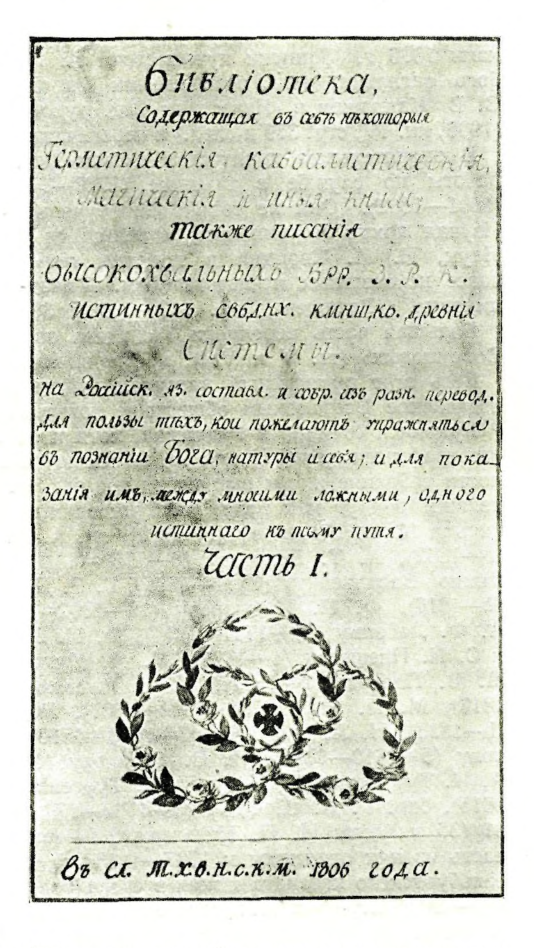
Работа над новым тарифом (1781—1782) оторвала Радищева от интересного чтения. Однако в 1782 г. он написал главу «Путешествия» «Подберезье» (1790, стр. 86—98) и может быть «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» (об открытии памятника Петру I), напечатанное в 1790 г. Смерть жены (3/VIII 1783 г.) причинила ему тяжкую скорбь. Он написал эпитафию, но ее сочли безбожной, и памятник с этой надписью он поставил у себя в саду. «Печаль и уныние, — говорит Радищев в письме Шешковскому,—на время отвлекли мой разум от всякого упражнения». Лишь в 1785 г. он кончил чтение Рейналя и стал писать повесть о проданных с публичного торга (главу «Медное», 1790, стр. 341—349). «В следующие годы (так в автографе, а не «в следующий год»), читая Гердера, я начал писать о ценсуре (говорит Радищев там же, т. е. главу «Торжок», 1790, стр. 289—340), начал повесть Систербецкую (гл. «Чудово», 1790, стр. 21—40), но все не было докончено». В 1788 г. он окончил «Слово о Ломоносове» и всю книгу. «А как случилось мне читать,—рассказывает он (там же),—перевод немецкий Иорикова путешествия (Стерн, «Сентиментальное путешествие»—Sterne, L., «A Sentimental Journey through France and Italy», L., 1768),—то и мне на мысль пришло ему последовать. И так могу сказать по истине, что слог Реналев, водя меня из путаницы в путаницу, довел до совершения моей безумной книги»... Отсюда как будто следует, что «форму» или построение книги Радищев взял у Стерна, а «стиль» или выпады против власть имущих—у Рейналя. В «повинной» он признается: «Первая мысль написать книгу в сей форме пришла, читая путешествие Иорика. Я так ее и начал. Продолжая ее, на мысль мне пришли многие случаи... Я вознамерился их поместить в книгу сию».

Когда же н а ч а л Радищев свою книгу: читая Рейналя или Стерна? Надобно полагать, ни в том, ни в другом случае: он хотел и в «повинной», и в письме Шешковскому объяснить, у кого он взял форму и стиль, а начал он различные части «Путешествия» очевидно в разное время. В. П. Семенников («Радищев», стр. 361—362) уже обратил внимание на то, что немецкий перевод Стерна напечатан в Гамбурге в 1768—1769 гг. и в Брауншвейге в 1769 г. когда Радищев был еще за границей. Путешествия и письма были в XVIII в. излюбленными формами не только для беллетристических произведений, но и для рассуждений на темы морально-философские и социально-политические. Наконец поездка самого Радищева за границу и обратно была весьма продолжительным п у т е ш е с т в и е м. Вопрос о том, когда именно и под чьим влиянием задумал Радищев свой труд, останется открытым, пока не найдутся новые документальные данные.

Автографы художественных произведений Радищева не сохранились. Рукопись «Путешествия» в деле б. Гос. Архива, дозволенная к печати Н. И. Рылеевым, переписана чужою рукою и многие листы в ней утрачены; кое-где имеются авторские пометы, поправки и вставки. Обзор ее, не совсем полный и точный, дан П. Е. Щеголевым в издании «Путешествия» 1905 г. (стр. XXI—XL и 255—283). В настоящее время изд-во «Academia» выпускает под ред. В. И. Невского комментированный мною текст «Путешествия»; сюда войдет детальный обзор рукописи.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСНОЙ „ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ" Н. И. НОВИКОВА и И. С. ГАМАЛЕИ (1806 г.)

Публичная Библиотека, Ленинград



Библіотека,
Содержащая въ себѣ нѣкоторыя
Герметическія, каббалистическія,
магическія и иныя книги;
также писанія
высокохвальныхъ Брр. З. Р. К.
истинныхъ свѣдн. книж. древнія
Системы.
На Россійск. яз. составл. и собр. изъ разн. перевод.
для пользы тѣхъ, кои пожелаютъ упражняться
въ познаніи Бога, натуры и себя; и для пока-
занія имъ, между многими ложными, одного
истиннаго къ сему пути.
Часть I.
Въ Ст. Т.х.в.н.с.к.м. 1806 года.

Большой интерес представляют списки «Путешествия»; общее число мне известных списков достигает 25; главное место среди них занимает список, хранящийся в Ленинграде в Институте Новой Русской Литературы; он широко использован В. П. Семенниковым. Список сделан еще при жизни А. Н. Радищева на бумаге с водяными знаками 1794 и 1796 гг. и с надписью, что владелец получил его в подарок от своей приятельницы в 1800 г. в Бессарабии. Впоследствии (9/II 1856 г.) он был куплен М. Н. Лонгиновым в Москве у книгопродавца Зайцевского. Главное его достоинство заключается в том, что в него входит полный текст оды «Вольность», помещенной в первом издании «Путешествия» с большими купюрами; здесь же находится и незаконченное «песнословие»—«Творение мира», опубликованное В. П. Семенниковым вместе с полным текстом оды (М.-П., 1922, «Новый текст «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева»). Мною отмечено свыше 1500 вариантов этого драгоценного списка. Многие из них являются перестановками, которые часто делаются писцами, плохо понимающими текст; кое-какие слова пропущены, иные может быть вставлены писцом взамен стоявших в оригинале; но нет сомнения, что у него перед глазами был особенный оригинал, близкий и к печатному, и к первоначальному тексту, известному по рукописи, дозволенной Рылеевым к печати.

Третье по научному интересу место занимает список, принадлежавший М. Н. Анучину и описанный его братом Д. Н. Анучиным («Судьба первого издания «Путешествия» Радищева», М., 1918). Одна из главных его особенностей—двойное заглавие: «Проницающий гражданин или Путешествие из С.-Петербурга в Москву». И в нем есть вставки, соответствующие разночтениям «цензурной» рукописи. Два списка с таким же двойным заглавием хранятся в Рукописном отделении Публичной Библиотеки в Ленинграде; но ценных вариантов, сравнительно с текстом первого издания, в них нет. Остальные списки воспроизводят более или менее тщательно первое издание и относятся преимущественно к первой половине XIX века.

В Историческом Музее в Москве хранятся в копиях на бумаге с водяными знаками 1806 г. «Записки путешествия А. Н. Радищева в Сибирь» (1790) и, без особого заглавия, при возвращении из Сибири (1797). Они напечатаны впервые В. В Каллашем в «Известиях Отд. русского языка и словесности Академии Наук» (1906, кн. IV, стр. 379 и след.) и перепечатаны в издании Акинфиева (II, стр. 355—393).

В значительном количестве сохранились деловые бумаги А. Н. Радищева, его работы по службе в таможне (1780—1790) и в Комиссии составления законов (1801—1802). Они не только не изучены, но не все еще собраны и опубликованы. Изучая архив Воронцовых, хранящийся в Археографическом Институте Академии Наук, И. М. Троцкий в текущем году открыл несколько таких бумаг, доселе вовсе неизвестных исследователям. Главные из этих работ изучены В. П. Семенниковым («Радищев», стр. 112—195 и 365—396).

Большая часть переписки Радищева опубликована П. И. Бартеневым в «Архиве Воронцовых» (тт. V и VII), но не вполне исправно и с купюрами.

Весь этот рукописный материал войдет в собрание сочинений А. Н. Радищева, издаваемое Всесоюзным обществом политкаторжан.

Рукописи сочинений Радищева, хотя и не в большом числе, все-таки сохранились; автографы сочинений Новикова, за исключением писем, не уцелели. Полное по возможности собрание писем выпускает под ред. В. И. Невского изд-во «Academia». В это издание войдут как ранее опубликованные письма, так и вновь найденные. Это— письма К. В. Баженову (1—1802), гр. А. А. Безбородко (1—1786), П. П. Бекетову (1—1802), А. Т. Болотову (6—1780—1815), Я. И. Булгакову (5—1779—1780), Василию Васильевичу [?] (1—1806), Г. Р. Державину (1—1786), Н. М. Карамзину (2—1816), Ф. П. Ключареву (17—1802—1817), Г. В. Козицкому (7—1773—1775), А. Ф. Лабзину (18—1797—1816), Ф. И. Ладыженскому (1—1818), А. А. Ленивцеву и С. И. Плещееву (1—1801), М. Я. Мудрову (1—1813), А. А. Николеву (1—1817), М. В. Перваго (2—1817), А. А. Ржевскому (6—1783), Д. П. Руничу (44—1806—1817), М. П. Рябову (4—1804—1807), М. И. Рябовой (2—1817), А. Л. Сафонову (1—1813), Н. Л. Сафонову (7—1788—1810), Н. П. Сафонову (1—1816), П. Л. Сафонову (5—1810—1818), И. В. Страхову (1—1774), кн. Н. Н. Трубецкому (2—1816), А. И. Тургеневу (1—1816), И. П. Тургеневу (2—1788), Х. А. Чеботареву (6—1813—1815), бар. Г. Я. Шредеру (3—1784—1785),—всего 151; из них печатаются впервые 51 (36 найдены Н. П. Киселевым, 9—мною и 6—Б. Л. Модзалевским). Большая часть из них относится к 1797—1818 гг., когда Новиков был освобожден из Шлиссельбургского каземата и жил в своем родовом селе Авдотьине-Тихвинском. В целом это—автобиография или исповедь, освещающая весь жизненный путь Новикова и, главное, его мировоззрение не только после, но и до катастрофы 1792 г.

Весьма поучительна судьба печатных изданий «Путешествия» и вместе с ним других сочинений Радищева.

Согласно показанию автора, «Путешествие» напечатано в количестве 650 экземпляров; из них разосланы: Козодавлеву два (в том числе один для Державина), Дарагану, Олсуфьеву, Вицману, Вальцу (для Кутузова в Берлине) и Царевскому по одному, да купцу Зотову продано 25; остальные с черновиками и макулатурой он велел сжечь. Зотов, путаясь в показаниях, утверждал, что он получил 76 экземпляров и быстро их распродал: книга пошла ходко. «За то, чтобы иметь ее для прочтения тайком на один час,—говорит Массон (Masson, «Mémoires secrets sur la Russie». P., 1800, II, p. 200),—купцы платили по 25 р.».

По приговору Уголовной палаты полиция должна была розданные и проданные экземпляры отобрать и затем немедленно сжечь. Возвратили свои книги Козодавлев, Державин, Олсуфьев, Вальц и кн. Трубецкой; И. И. Шувалов заявил, что свою книгу, полученную от Хитрово, истребил; Дараган отдал свой экземпляр Царевскому, а тот передал его вместе со своим квартальному Богдановичу и купцу Овчинникову; у них книги были отобраны. Ясно, что в публику проникло никак не более сотни экземпляров, если верить Зотову, и не более 32, если верить Радищеву, с которым согласился после очной ставки и Зотов. Из этих 32 экземпляров по крайней мере 6 были отобраны. Следует принять цифру Радищева не только потому, что он заслуживает большего доверия, нежели Зотов: 1) в настоящее время известно лишь 16 экземпляров «Путешествия», а между тем цена на лучшие из них достигала 500 р. и более; 2) это все одни и те же экземпляры, менявшие своих владельцев; 3) число рукописных копий (25) превышает количество сохранившихся экземпляров; 4) наконец с выходом новых изданий появились на рынке не книги, а рукописные копии.

Никто еще не встречал корректурный экземпляр, отобранный у Царевского и представленный в Уголовную палату: в нем были поправки рукой автора и «многие

письменные приписки». Не послужил ли этот экземпляр основой для списка, исполненного в Бессарабии в 1800 году?

Среди уцелевших книг первое место занимает экземпляр, находившийся в Тайной экспедиции, купленный А. С. Пушкиным и хранящийся ныне в Публичной Библиотеке в Ленинграде. В нем отчеркнуты на полях и подчеркнуты в тексте строки, инкриминированные императрицей. За ним следуют экземпляры Всесоюзной Библиотеки имени Ленина и Исторического Музея в Москве: они превосходной сохранности и заключены в великолепные переплеты. Экземпляр еще лучшей сохранности, по свидетельству П. П. Шибанова, принадлежит Публ. Б-ке в Одессе.

Несравненно реже, чем «Путешествие», встречаются «Житие Ф. В. Ушакова» (лучший экземпляр в Историческом Музее в Москве) и «Письмо к другу» (наиболее ценный экземпляр в «деле» Радищева—на нем имеются отметки Екатерины). Плохо и в ничтожном количестве сохранились «Размышления» Мабли и «Офицерские упражнения». Другие произведения Радищева при жизни отдельно не издавались.

Через три года по смерти Радищева издатель журнала «Северный Вестник» перепечатал из «Путешествия» главу «Клин» без имени автора и даже с пропуском слов «Клин» и «клинской» (СПБ., 1805, ч. V, стр. 61—67). В следующем (1806) году наследники Радищева предприняли издание его сочинений в 6 частях, законченное печатанием через 5 лет (1811), перед московским пожаром (1812), в котором (за исключением небольшого числа экземпляров) оно и погибло. Издатели заявляли: «Вот все, что осталось из сочинений человека, известного уже публике; надеемся, издавая их в свет, принести ей удовольствие. Жаль, что многие другие творения как важные, так и забавные пропали. Мы бы почли себе преступлением, имея оставшиеся г. Радищева бумаги в руках своих, предать их забвению и не издать их в свет».

Читатель напрасно стал бы искать в этом издании «Путешествие». Нет здесь ни писем, ни деловых бумаг, ни работ по законодательству. Книгопродавец Сопиков



РИСУНОК ИЗ ТРАКТАТА ПО АСТРОНОМИИ „ВОСХОДЯЩАЯ ДЕННИЦА“, ПОМЕЩЕННОГО В ШЕСТОМ ТОМЕ „ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ“

Публичная Библиотека, Ленинград

внес было в 1816 г. в свой «Опыт российской библиографии» (ч. IV, стр. 249) посвящение А. М. Кутузову, но и то заставили вырезать—стр. 250-я осталась чистой; экземпляры, в которых она уцелела, представляют собой исключительную библиографическую редкость.

А. С. Пушкин, задумав (в 1836 г.) издавать «Современник», предполагал поместить в нем свою статью «Александр Радищев». Переписка о ней дошла до министра народного просвещения, гр. С. С. Уварова: тот нашел «совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения». Небольшой отрывок из «Путешествия» Пушкин включил в свою статью «Мысли на дороге». И она не сразу появилась в печати. Из-за этих двух статей возник большой и все еще не законченный спор об отношении Пушкина к Радищеву. Он изложен в примечаниях к IX тому академического издания сочинений Пушкина под ред. Н. К. Козмина (Л., 1929, стр. 538—578; 715—759).

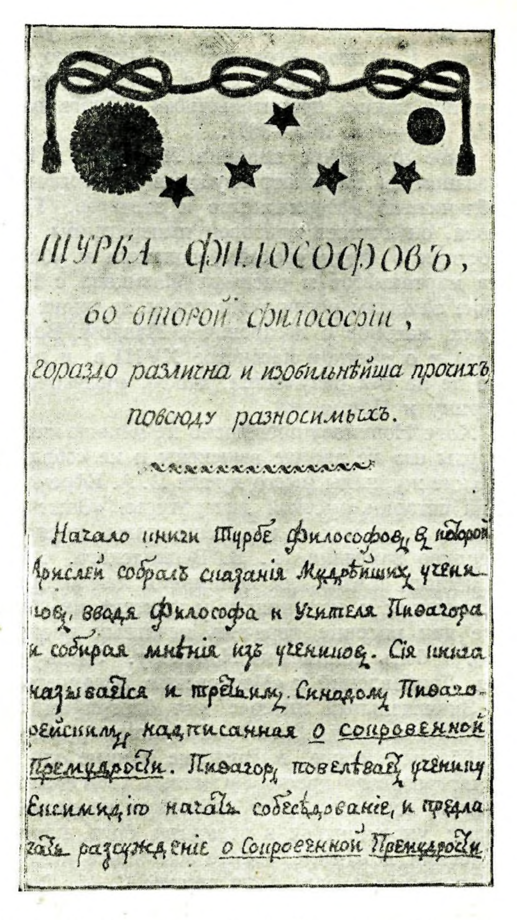
В 1858 г. А. И. Герцен напечатал в Лондоне полный текст «Путешествия» (вместе с сочинением кн. М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России») не по оригиналу 1790 г., а по довольно-таки плохой копии. Это издание было впоследствии перепечатано в Лейпциге (Каспровичем, в XVII выпуске «Международной библиотеки» 1876), и у нас (СПБ., 1906) В. Врублевским и в приложении к журналу «Всемирный Вестник».

До 1905 г. было несколько попыток «воскресить» Радищева, но все они кончались плачевно: в 1858—1859 гг. редактору журнала «Иллюстрация» Зотову отказано было в разрешении поместить портрет Радищева, вид Илимска и вид дома Радищева в Илимске с небольшой биографической заметкой; в 1860—1861 гг. отказано было П. А. Радищеву в его просьбе о разрешении перепечатать «Путешествие» хотя бы частично, при чем остальные сочинения его отца (в 6 частях, изд. 1806—1811 гг.) были подвергнуты в цензуре «рассмотрению», и 9 февраля 1861 г. решено было не дозволять к печати ни одного из них; вскоре после этого (17/III 1861 г.) снова поднялось дело о рисунках и кончилось (1/IV 1861 г.) тем, что издателю предложено было переменить редактора. П. А. Радищев возобновил свое ходатайство в 1865 г. и снова получил отказ, а через два года началось дело об издании «Путешествия» книгопродавцем Н. А. Шигиным. Оказалось, что издатель так обкарнал «Путешествие», что и сама цензура не исключила бы того, что он выбросил; издание было разрешено, но печать дружно заклеймила издателя в своих отзывах как игрока на запретном имени. Однако эпизод этот заставил цензуру опасаться, как бы другие издатели не вздумали печатать «Путешествие» уже без тех сокращений, на какие пустился Шигин (закон 6/IV 1865 г. разрешал печатать сочинение не свыше 10 листов без предварительной цензуры). Запрещение, тяготевшее над «Путешествием» с 4 сентября 1790 г., было снято указом 30 марта 1868 г.; сочинения Радищева подлежали с тех пор общему уставу наравне со всеми остальными. В виду этого П. А. Ефремов решился напечатать в двух томах все сочинения Радищева, включая «Путешествие». Издание было арестовано 27 апреля 1872 г. и уничтожено 11 июня 1873 г. в количестве 1960 экземпляров на фабрике Крылова «посредством обращения в массу» (а не сожжено, как иногда пишут); остальные 25 экземпляров были доставлены в Главное управление по делам печати (20/IV и 11/VI 1872 г.); уцелело, по слухам, не более 15 экземпляров, и сам Ефремов добывал их окольным путем («Памяти П. А. Ефремова», стр. 16).

В 1888 г. А. С. Суворин исходатайствовал разрешение напечатать 100 экземпляров «Путешествия» по высокой цене, при чем вся выручка от продажи должна была пойти на устройство Радищевского музея в Саратове. Хотя Суворин и хвастался, что его типография воспроизвела «Путешествие» буква в букву, даже с опечатками, это неверно: новых опечаток мало, но они имеются. Курьезно, что на 1 и 5 страницах А. Н. Радищев переименован в А. И. Радищева.

Через 7 лет С. А. Венгеров перепечатал в V выпуске «Русской Поэзии» статьи А. С. Пушкина и Н. А. Радищева об А. Н. Радищеве и тут же—несколько произведений последнего, в том числе оду «Вольность», но с пропуском 12 строф. Сполна перепечатал текст «Путешествия» А. Е. Бурцев в своем «Дополнительном описании библиографически-редких, художественно-замечательных книг и драгоценных рукописей» (СПБ., 1899, стр. 25—247). В последний раз уничтожено было 26 июня 1903 г. издание «Путешествия», напечатанное П. А. Картавовым (1902) в числе 2900 экземпляров. Через два года вышло научное издание «Путешествия» под ред. Н. П. Павлова-Сильванского и П. Е. Щеголева, а в следующем году (кроме двух названных выше перепечаток издания Герцена) вышло три издания: 1) Ефимова, под ред. Д. И. Уманского, 2) Глазунова, под ред. А. Н. Чудинова, и 3) Суворина (стереотип.). Тогда же издательство «Сириус» напечатало полный текст оды «Воль-

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ТРАКТАТА „ТУРБА ФИЛОСОФОВ“ ИЗ „ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ“
Текст рукой Н. И. Новикова
Публичная Библиотека, Ленинград



Турба философовъ,
во второй философіи,
гораздо различна и изобильнѣйша прочихъ
повсюду разносимыхъ.

Начало книги Турбе философовъ, въ которой Арислей собралъ сказанія мудрѣйшихъ учениковъ, вводя философа и учителя Пиѳагора и собирая мнѣнія изъ учениковъ. Сія книга называется и третьимъ Синодомъ Пиѳагорейскимъ, надписанная о сокровенной премудрости. Пиѳагоръ повелѣваетъ ученику Еисимидію начать собесѣдованіе, и предлагать разсужденіе о сокровенной премудрости.

ность». К 1907 г. относятся два «полных» собрания сочинений Радищева (каждое в двух томах): Акинфиева (СПБ., под ред. А. К. Бороздина, И. И. Лапшина и П. Е. Щеголева) и Саблина (М., под ред. В. В. Каллаша), а также первый том (из намеченных трех) С. Н. Тройницкого. В 1921 г. В. Л. Бурцев напечатал в Париже перевод «Путешествия» на «язык нашего времени», а в 1928 г. в Лейпциге вышел перевод А. Лютера на немецкий язык.

Царская цензура XIX—XX вв. твердо держалась на почве указа 4 сентября 1790 г. и даже превзошла его в строгости к столь вредному, на ее взгляд, писателю, как А. Н. Радищев, и видела в нем потрясателя всех основ общества, разрушителя церкви и государства. Когда возникло «дело» П. А. Ефремова (1872), во главе цензурного ведомства стоял М. Н. Лонгинов, выдающийся библиофил и библиограф, автор многочисленных и ценных разысканий по истории русской литературы именно XVIII в., наконец автор исследования («Новиков и московские мартинисты», М., 1867), без которого нельзя обойтись при изучении русского масонства и в наши дни; тем не менее при нем состоялись и утверждены были доклады о Радищеве, в которых подвергнуты суровой критике не только «Путешествие», но и все его остальные сочинения. «Путешествие» он считает книгой, «появление которой было не только какой-то безумной отвагой, но и делом ничем не объяснимым со стороны автора, лично известного императрице». Гнев Екатерины, «не ожидавшей желчных обвинений на существующий порядок вещей, особенно в царствование, исполненное кротости и милосердия к народу», он считает вполне справедливым. «Радищев,—говорит он,—преданный размышлениям, внушенным ему чтением современных правоведов и публицистов, особенно французских, пришел повидимому в отчаяние от неизбежных во всяком обществе людей недостатков и несправедливостей. Такое направление ума заставило его преувеличивать себе эти уклонения от вечных законов правды и он решился на несвоевременный и опасный протест». Осуждение Радищева Лонгинов признает «необходимым следствием издания возмутительной книги и притом с подделкою против текста, пропу-

щенного легкою тогдашнею ценсурою управы благочиния». «Читавший «Путешествие» Радищева,—говорит он,—конечно согласится, что страницы, подобные знаменитому сну, описанному в главе «Подберезье», не остались бы без преследования ни под каким правительством» (Лонгинов, «Новиков», стр. 302.—Сочинения, т. I, стр. 100—101, 366—367).

Иное отношение проявил Лонгинов к Новикову; в разных местах своего исследования он выражает глубокое сочувствие этому борцу за веру, царя и отечество, обличителю материалистов и атеистов. Поставив своей задачей «оправдать» Новикова, он считает приговор императрицы печальным недоразумением: встревоженная вестями о Французской революции и убийстве шведского короля, она обрушилась на мартинистов и смешала Новикова с Радищевым. Лонгинов отрицает политические замыслы розенкрейцеров и не видит ничего опасного для Екатерины в сношениях масонов с цесаревичем Павлом. Вопрос об издательской деятельности Новикова и о русском масонстве XVIII в. и первой четверти XIX в. требует пересмотра, но не за тем разумеется, чтобы, «развенчав» Новикова, оправдать и восславить Екатерину и Потемкина.

Хотя Новикову посвящено не меньше книг и статей, чем Радищеву, но литературные труды его не вполне выяснены и не собраны. Несколько раз перепечатаны сатирические журналы (всего лучше П. А. Ефремовым; им же перепечатан в его «Материалах для истории русской литературы» «Опыт словаря о российских писателях». СПБ., 1867); но из них не выделены статьи, принадлежащие именно Новикову. Вполне справедливо замечание Г. В. Вернадского, что «предисловия Новикова к историческим изданиям важны для понимания как историко-философских его взглядов, так и его отношения к источникам и критике их» («Н. И. Новиков». П., 1918, стр. 144). Им же дан впервые перечень печатных произведений, которые с полной уверенностью могут быть приписаны Новикову. Здесь отсутствуют однако педагогические статьи из Прибавлений к «Московским Ведомостям» 1783 (там же, стр. 144—148).

Значительный интерес для биографии Н. И. Новикова и для истории русского масонства представляет «Библиотека, содержащая в себе некоторые герметические, каббалистические, магические и иные книги, также писания высокохвальных брр. Златорозового креста, истинных свободных каменщиков древния системы на русском языке, составленная и собранная из разных переводов для пользы тех, кои пожелают упражняться в познании бога, натуры и себя, и для показания им, между многими ложными, одного истинного к тому пути». Библиотека эта задумана была Новиковым вместе с его другом С. И. Гамалелей, и выполнена ими в 43 рукописных томах в селе Тихвинском, родовом поместьи Новикова, где он жил почти безвыездно, по освобождении из тюрьмы в Шлиссельбурге. Первые два—три десятка томов переписаны чрезвычайно тщательно, на хорошей бумаге, с рамкой на каждой странице, украшены рисунками и заставками и переплетены в зеленый сафьян. На обороте входного листа обычно повторяется цитата из Евг[ения] Филал[ета]: «Покажите мне науку, которая была бы совершенным и неподделанным отпечатком творения, которая могла бы вести меня прямым путем к познанию истинного бога, чрез которую мог бы я исследовать всеобщие и невидимые сущности, ему подвластные! — науку, которая ни в чем не подвержена злу! науку, чрез которую могу я верно прийти к познанию всех тайн, в натуре скрытых! Такова есть та наука, в которой физика Адама и всех патриархов состояла и которая ему была открыта». Из 43 томов 37 хранятся в Публичной Б-ке в Ленинграде, 6—в Б-ке имени В. И. Ленина в Москве; первый относится к 1806 году, последний—к 1818-му; об этом труде часто идет речь в письмах Н. И. Новикова из Тихвинского.

Литература о Радищеве и Новикове чрезвычайно велика. Для первого лучшим указателем служит превосходная работа Р. С. Мандельштам «Библиография Радищева» (под редакцией Н. К. Пиксанова), помещенная в «Вестнике Коммунистической Академии» (1925, т. XVIII, стр. 282—301; т. XIV, стр. 312—334; т. XV, стр. 339—352; всего 54 стр.). Основные сочинения, посвященные Н. И. Новикову, отмечены Г. В. Вернадским («Н. И. Новиков», стр. 159—162).

Хотя пути Новикова и Радищева расходились, но связь между ними была и останется навсегда неразрывной.

Условные сокращения: А. В.—Архив Воронцова. Арх. Гос. Сов.—Архив Государственного Совета. В. Е.—Вестник Европы. И. В.—Исторический Вестник. П. С. З.—Полное Собрание Законов. Р. А.—Русский Архив. Р. С.—Русская Старина. Сб. II отд. Ак. Н.—Сборник II отделения Академии Наук. Сб. Р. И. О.—Сборник Русского Исторического Общества. Чтения О. И. и Д. Р.—Чтения Общества истории и древностей российских.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО Я. Б. КНЯЖНИНА

Обзор М. Габель

«Наш Эврипид», «Наш Расин», «Северный Расин»—так восхваляли Княжнина современники, полагая, что он, как никто другой, «с равным совершенством владел кинжалом Мельпомены и смеющеюся маскою Талии»; он, ученик Сумарокова, не только сравнялся со своим учителем, но во многих отношениях превзошел его. Впрочем слава Княжнина быстро тускнела. Казавшаяся современникам большим художественным достоинством близость писателя к великим драматургам-классикам уже в пушкинскую эпоху расценивалась как подражательность, за которою не ощущалось живой творческой силы. Меткое и острое слово Пушкина, брошенное им в «Евгении Онегине» и перефразировавшее Крыловского Рифмокрада, стало популярной характеристикой писателя: «переимчивый Княжнин». К середине XIX в. живое читательское отношение к Княжнину умирает; он перестает возбуждать эстетические эмоции, не ставши фактом той литературы, которая, вдохновляя и волнуя иные поколения, переживает свою эпоху. Смирдинское издание сочинений писателя (1847—1848) не подогрело интереса к нему, и историкам литературы, писавшим о нем в 50-х годах (Галахову, Стоюнину), пришлось пояснять свой научный интерес к Княжнину отнюдь не актуальностью писателя в XIX в., а его значением для второй половины XVIII в. Казалось бы, Княжнин умер как писатель, отойдя в историческое прошлое литературы. Но пройдет каких-нибудь двадцать лет, и начнется новая его жизнь. На страницах «Русской Старины» в 1871 г. появится его трагедия «Вадим Новгородский», при жизни автора не напечатанная, а по смерти его вырванная со страниц «Российского Феатра» и сожженная по сенатскому указу. Она даст толчок многочисленным суждениям о трагедии, очень часто противоречивым, и послужит материалом для создания легенды о Княжнине-революционере. Эта буржуазная легенда, менявшая дворянский облик писателя, спокойно доживет до наших дней, попав даже в школьные пособия. Литературное наследие Княжнина нуждается в пересмотре. Кто прав—современники, видевшие в нем писателя, блюстителя дворянских интересов, верноподданного Екатерины II, не раз воспевавшего царские достоинства и милости, или та читательская группа, которая почти через сто лет усмотрела в нем революционера, ярого республиканца, чуть ли не якобинца?

Чтобы судить о правильности раздела Княжнинского наследства между дворянской и буржуазной литературой, надо пересмотреть его; следует хорошо представить себе его состав. Существующие четыре собрания сочинений Княжнина в настоящее время являются библиографическою редкостью. Первое издание было подготовлено автором, поднесено им Екатерине II и по ее приказанию напечатано в 1787 г. в четырех частях. Оно легло в основу всех последующих, повторивших его разбивку материала: трагедии, комедии, комические оперы, стихотворения. Второе издание 1802/03 г. дополнило первое пятым томом, добавленным, по сообщению первого био-библиографа Княжнина («Улей» Анастасевича, 1811 г., № IX), сыном писателя. Третье издание 1817/18 г. наиболее полно; оно подводит итог всей литературной деятельности писателя в биографической статье первого тома. Два первых тома заключают шесть трагедий Княжнина («Дидона», «Титово милосердие», «Росслав», «Владисан», «Владимир и Ярополк», «Софронисба»); третий том—четыре комедии («Хвастун», «Чудаки», «Неудачный примиритель или без обеду домой поеду», «Траур или утешенная вдова»); четвертый том—четыре комических оперы («Сбитенщик», «Несчастье от кареты», «Притворно сумасшедшая», «Мужья—женихи своих жен») и мелодраму («Орфей»); пятый том—мелкие сочинения в стихах и прозе, по сравнению

со вторым изданием дополненные рядом лирических стихотворений, басен, сказок и прозаических произведений. Издание открывается стихотворением-посвящением Екатерине II. Его не было во втором издании. Издатель, возможно потому, что в издании принимал участие сын Княжнина, помня не так давно произведенную Екатериной суровую расправу над «Вадимом Новгородским», привлекшей к допросу родственников писателя, не счел удобным вносить в издание панегирик императрице. Включение его в издание 1817/18 г. вполне понятно потому, что оно стремится быть памятником, который воздвигает дворянство своему писателю; биография обходит полным молчанием злоключения умершего писателя с «Вадимом Новгородским». Издатель хочет показать читателю Княжнина, украшенного «сияньем имени бессмертна» Екатерины, ее «вниманием удостоенного» и верного слугу престола. В этом отношении интересна биография Княжнина, открывающая первый том, написанная в форме панегирика, весьма небогатая фактами и выбирающая из них лишь те, которые характеризуют Княжнина в его отношении к Екатерине. «Одобрение монархини по поводу «Дидоны» как драгоценный венок украсило молодого автора». «Премудрой Екатерине угодно было видеть на нашем собственном языке изображение великого Тита, как совершенное подобие ангельской души ее», и для этой цели признан был самым подходящим Княжнин; трагедия была готова в три недели, и «Екатерина изъявила благоволение свое к талантам писателя подарком осыпанной бриллиантами табакерки, на коей вензель с бессмертным ее именем стократ более возвеличил награду сию». Княжнин, увидя, «сколь он много принес удовольствия своим согражданам», решил собрать свои сочинения, и «премудрая монархиня приняла с благоволением труды его». В этом елейном тоне биограф курит фимиам Екатерине и Княжнину, заслужившему ее милости. Перед нами весьма определенная и достаточно ярко выраженная точка зрения на писателя дворянского, придворного, работавшего с успехом по заказу Екатерины и ее приближенных. Круг деятельности писателя достаточно ограниченный; в нем нет ни одной червоточины; и конечно не может речи итти о каких-либо республиканских его настроениях.

Четвертое издание Смирдина 1847/48 г. в двух томах, незначительно изменив распределение материала третьего издания, без всяких дополнений перепечатало его, не поместив лишь биографии: оценка писателя, сделанная в ней, устарела и не могла удовлетворить читателя середины XIX века.

Все указанные издания конечно не претендуют на научность; они дают лишь основной материал, не отличающийся исчерпывающей полнотой. В 1866 г. в № 11—12 «Русского Архива» были напечатаны материалы для полного собрания сочинений Княжнина, среди которых были указаны «Вадим Новгородский», «Ода на бракосочетание великого князя Павла Петровича с великою княгинею Натальей Алексеевной», изданная в 1773 г.; переводы трагедий Корнеля 1779 г.—«Сид», «Смерть Помпеева», «Цинна»; «Генриады» Вольтера, 1777 г.; «Граф Коминж» («Несчастные любовники или истинные приключения графа Коминжа, наполненные событий жалостных и нежные сердца чрезвычайно трогающих», с фр. П., 1771), «Идиллии» Геснера, печатавшиеся в «Санктпетербургском Вестнике», «Записки историографические о Морее» (с итальянск., 2 ч. П., 1769).

Следует думать, что этот дополнительный список не привел в полную известность литературного наследства Княжнина. Нет полного списка его переводов, а между тем биографы говорят, что он переводил Кребильона; не полон состав его лирических произведений—третье и четвертое издания дают всего-на-все двадцать восемь лирических стихотворений, басен, сказок, тогда как Новиков в своем «Опыте исторического словаря» 1772 г. сообщает, что Княжнин уже известен рядом стихотворений и трагедией «Дидона», «которая позволяет ожидать в нем хорошего трагического стихотворца». Журнал «Улей», делающий о нем самую раннюю библиографическую разведку, сообщает о первом его произведении «Ода к Икару», написанном еще в годы учения, о найденных после смерти Княжнина отрывках из поэмы о Петре Великом и первом монологе из трагедии «Пожарский», о переводе стихотворения «Письмо графа Коминжа к матери», напечатанном в 1-й части «Модного ежемесячного издания» 1779 г. Но и эти справки не могут считаться полными. Дело в том, что у Княжнина были рукописные произведения, судьба которых связана с судьбой «Вадима Новгородского». Не раз исследователи рассказывали историю этой трагедии, но кое-что придется напомнить из нее, так как она дает некоторый дополнительный материал к суждению о характере литературного наследства Княжнина. После смерти писателя опекун детей его Чихачев обнаружил среди бумаг несколько ненапечатанных произведений и показал рукописи петербургскому книгопродавцу Глазунову, который и купил их. Среди рукописей была трагедия «Вадим Новгородский», написанная еще в 1789 г. и переданная автором для постановки директору

придворного театра Стрекалову, но вскоре взятая им обратно, так как она оказалась неподходящей к моменту: во Франции началась революция. Глазунов показал купленные им рукописи президенту Российской Академии кн. Дашковой, которая и приказала напечатать трагедию в типографии Академии Наук отдельно и в 39-м томе «Российского Феатра». Трагедия показалась Екатерине и ее приближенным слишком «язвительною» (mordante) против монархической власти, как рассказывает в своих «Записках» Дашкова. Была приостановлена продажа трагедии, и началось по поводу нее следствие: допрашивали Чихачева и старших сыновей Княжнина, интересуясь, действительно ли автором трагедии был их отец, а книгопродавца Глазунова взяли под арест. Сенату предложено было рассмотреть трагедию, так как в ней «помещены некоторые слова, не токмо соблазны подающие к нарушению благосостояния общества, но даже есть изражения против целости законной власти царей»... Сенат, рассмотрев книгу, вынес решение: «Оную книгу, яко наполненную дерзкими и зловредными против законной самодержавной власти выражениями, а потому в обществе Российской империи нетерпимую, сжечь»... («Русская Старина» 1871, т. IV). Вполне естественно, что первое издание «Вадима Новгородского» стало величайшей редкостью. «Вадим Новгородский», трагедия в стихах, в пяти действиях, сочинена Як. Княжниным. В С.-Петербурге, при императорской Академии Наук, 1793 г., in. 8, стр. 73», как свидетельствует М. Лонгинов («Русский Вестник» 1860, т. 25, ч. 2, февраль), встречается чаще, чем издание «Вадима» в 39-м томе «Российского Феатра». Он сообщает о двух полных экземплярах его: в библиотеке Эрмитажа и у С. Д. Полторацкого. При ауто-да-фе пострадал не только «Вадим», но и соседние с ним пьесы 39-го тома «Российского Феатра». Несмотря на уничтожение трагедии, она получила распространение. Так С. Глинка, один из немногих, кто, зная лично Княжнина, рассказал о нем в своих «Записках» (изд. редакцией журнала «Русская Старина», СПБ., 1895), сообщает, что в 1795 г. его сокровищем был «Вадим» и другое изъятое Екатериной произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева.

Во время катастрофы, постигшей «Вадима Новгородского», могли погибнуть и другие произведения Княжнина, так как генерал-прокурор гр. Самойлов, предложивший московскому главнокомандующему кн. Прозоровскому допросить книгопродавца Глазунова и отобрать у него непроданные экземпляры трагедии, предписал изъять и другие сочинения Княжнина, если в них окажутся «нелепые изречения» или «если и без таковых изречений покажутся сумнительны»,—директива достаточно широкая, чтобы испуганному начальству не заняться изъятием всего, что подвернется под руку у крамольного писателя. Тот же Глинка, правда, очень глухо, свидетельствует о том, что у Княжнина были и при жизни неприятности из-за одного произведения. «Предполагают, что рукопись его под заглавием «Горе моему отечеству», попавшая в руки посторонние, отуманила последние месяцы его жизни и сильно подействовала на его пылкую чувствительность. В этой рукописи страшно одно только заглавие. Я читал несколько черновых листов. Главная мысль Княжнина была та, что должно сообразоваться с ходом обстоятельств и что для отвращения слишком крутого перелома нужно это предупредить заблаговременным устроением внутреннего быта России, ибо Французская революция дала новое направление веку. Такую же почти мысль изложил он в трагедии «Росслав» и в некоторых других местах сочинений своих. Вероятно, что рукопись умышленно или неумышленно перетолкована была людьми пугливыми, которые видят страх там, где его нет, а не видят его там, куда он действительно затеснился... Патриотические, но не дерзновенные мысли Княжнина оправданы были событиями, быстро изменившими прежний мир политический»... Сообщение Глинки чрезвычайно интересно; при скудости всякого рода источников для биографии Княжнина оно не может быть проверено, но все же оно весьма знаменательно, указывая, с одной стороны, на рукописный материал Княжнина, а с другой—обнаруживая, что «Вадим Новгородский» и его история имеют прецедент в рукописи «Горе моему отечеству».

Нам пришлось указать на повидимому безвозвратно погибшие рукописи Княжнина. Но вместе с тем мы имеем возможность отметить и одну сохранившуюся рукопись. Так в Ленинской библиотеке в Москве имеется рукопись его трагедии «Ольга»—№ 52 (2968)—«Сборник списков с оригинальных и переводных драматических произведений»: 1. «Ольга», трагедия Княжнина. 2. «Альзира», пер. Фонвизина. 3. «Заира», пер. Дубровского. 4. «Корион» (из Грессе) Фонвизина. 5. «Философы», пер. Ал. Х. в 3 д. 30 апреля 1773. 6. «Ученая Шайка», ком. в 3 д., соч. Ф. Эмина (см. отчет Моск. Рум. Музея 1883—1885, М., 1886, стр. 33). (Сообщено мне об этой рукописи А. И. Белецким, передавшим мне и копию; за сообщение и список трагедии приношу ему мою искреннюю благодарность.) В той же Ленинской библио-

теке имеется и два письма Княжнина к Гогелию от 26 мая и от 25 июля 1788 г. по поводу издательских дел писателя (за указание благодарю И. В. Сергиевского).

Кара, постигшая «Вадима», послужила к его известности; из всех произведений Княжнина она единственная трижды была напечатана в позднейшее время—в «Русской Старине» 1871, т. III, только с пропуском четырех строк, начинавшихся со слов: «Самодержавие повсюду бед содетель...», затем Бурцевым в его «Описании редких российских книг», ч. I, СПБ., 1897 с тем же пропуском и наконец полностью Саводником с его предисловием в 1914 г. Правда, посчастливилось еще одному произведению Княжнина—комической опере «Сбитенщик», включенной в сборник «Комическая опера XVIII в.» с предисловием и под редакцией И. Розанова и Н. Сидорова. К-во «Польза», М., 1913 г. Универсальная б-ка № 588—589.

«Вадим Новгородский» вызвал интерес к себе исследователей; все творчество Княжнина, правда, весьма мало изученное, не привлекло внимания ученых в той степени, в какой остановила его на себе уничтоженная Екатериной трагедия (Лонгинов, Ефремов, Стоюнин, Саводник, Замотин, Ю. Веселовский, Сиповский), при чем всех интересует один вопрос: почему произведение вызвало такую бурю негодования у Екатерины II, хотя ни в теме своей, ни в образах оно не давало ничего неожиданно нового для литературы XVIII в.? Социальная функция пьесы не разъяснена исследователями, при чем существует две, одна другую исключающие интерпретации произведения: обе сложились в эпоху первого печатного появления «Вадима»—в 1793 г. Кн. Дашкова, напечатавшая его, не усматривает в произведении «ничего предосудительного ни по мыслям, ни по языку для самодержавия, так как развязкой пьесы служит торжество монарха над Новгородом и бунтом» (см. Ефремов, «Русская Старина» 1871 г., т. III, стр. 728). Иную оценку дала Екатерина, при чем ее мнение не было единичным. «Трагедия—набат,—говорит митр. Евгений («Словарь русских светских писателей», 2-е изд., М., 1845),—Вадим—республиканец, восстающий против самодержавия». Эти две точки зрения сожительствуют до наших дней: Лонгинов, Ефремов, Ю. Веселовский, Саводник считают произведение невинным и уничтоженным лишь в испуге перед Французской революцией. Другая группа (Замотин, Сиповский) полагают, что произведение для своего времени политически опасное и дает материал для суждения о росте освободительных идей в конце XVIII в. «Вадим—яркий образ свободолюбца» (Сиповский), «Брут, остающийся даже и в момент своей смерти на высоте своего республиканского призвания» (Замотин). Трагедия Княжнина дает образец того, как театр XVIII столетия делался «школой, в которой проповедывались освободительные идеалы, он тоже в сознание русских людей внедрял новые понятия о свободе, равенстве, религиозной терпимости», т. е., добавим от себя то, чего не сказал автор этих слов, Сиповский,—буржуазно-либеральные идеи, и таким образом Вадим воспринимается им как буржуазный революционер.

Итак, с одной стороны, трагедия—апофеоз монархизма; с другой—республиканская пропаганда. Надо признать, что противоречие это вытекает из беспочвенности методологических установок исследователей; путь, взятый ими в изучении Княжнинского произведения, до наивности прост: базой своих социологических объяснений они делают свои субъективные впечатления от персонажей: Рурик кажется им симпатичнее Вадима, а этого достаточно для них, чтобы усмотреть монархические тенденции в пьесе. Понятно, что читательское впечатление симпатичности героя критерием объективности суждения быть не может. Выдвигается развязка трагедии; автор заставляет Вадима погибнуть, а Рурику дарует жизнь; Вадим наказан за свое свободолюбие; следовательно, автор—защитник самодержавия. Примитивность такого подхода выступает очень решительно; следовало бы осветить характер развязок в классической трагедии, чтобы утверждать их карающий и обличающий характер. Независимо от отношения автора к герою в классической трагедии главный трагический герой, протагонист, гибнет чаще, чем антагонист. Например у Николева в «Сорене и Замире» Сорена, желая убить Мстислава, нечаянно убивает Замира, после чего кончает с собой. Гибнут первые герои трагедии, а тиран Мстислав остается жить. Подобная же развязка в трагедии Майкова «Фемист и Иеронима»: тиран, захватчик власти, Магомет убивает невинную Иерониму, ее возлюбленный кончает самоубийством, а Магомет остается жить. Так и в трагедии Княжнина—трагическая гибель постигает первого героя, его противник остается жить. Наконец третий момент, обращающий внимание в методе интерпретаторов «Вадима»,—полная беспочвенность их социологических истолкований, характерная для буржуазных социологов: ими устанавливается отвлеченная шкала роста политического самосознания в XVIII в. (Сиповский) или шкала прогресса либерализма от XVIII в.

к 20-м годам XIX в. (Замотин), устанавливается вне классовой борьбы, вне тех социальных условий, которые могли вызвать к жизни республиканские идеи. «Вадим» лишь звено в этом, неизвестно чем предопределенном прогрессе освободительных идей. Становится вполне понятным, что при такой методологической установке разъяснение классовой направленности трагедии невозможно. Трагедия XVIII в., столь абстрактная по своей форме, отнюдь не была отвлеченной по своей внутренней сущности, насыщаясь живым политическим содержанием. Она не раз давала назидания монархам в том, как управлять, при чем всегда проводила в этих наставлениях определенную классовую точку зрения. Недаром Екатерина хотела, чтоб в милосердном, прощающем своих врагов Тите видели именно ее: она пропагандировала в трагедии ту форму дворянского самодержавия, которая установилась во второй половине XVIII в. Живое политическое содержание и в «Вадиме». Это—политический трактат-памфлет, скрытый под формой трагедии, вышедший из среды, оппозиционной Екатерининскому самодержавию, поддерживаемому средним поместным дворянством, дворянской аристократии и являющийся политическим средством в борьбе аристократической фронды с деспотизмом конца XVIII в. Как политический трактат памфлет «Вадим» перекликается с политически оппозиционной публицистикой XVIII в., в частности с произведениями Щербатова «О повреждении нравов в России», с его «Письмом к вельможам правителям государства», «Оправданием моих мыслей и часто с излишнею смелостью изглаголанных слов», с «Разными рассуждениями о правлении».

Словесный материал трагедии в своем сыром виде публицистичен. Это отнюдь не значит, что стиль трагедии—стиль публицистики XVIII столетия. Публицистичность словаря—в усиленном употреблении политических и государственных понятий, при чем эта тенденция у Княжнина углубленнее, чем в любой трагедии XVIII в.: самодержавие, самодержавна власть, самодержавно царство, самовластие, царь, держава, трон, престол, скипетр, тиран, вельможи, граждане, граждански силы, народ, общество, уставы, законы, свобода, вольность, рабство, раб, рабская душа. В словосочетаниях обращает внимание прямое значение этих слов-понятий, а не метафорическое; они употреблены именно как понятия: «самовластия... следства»; «народ... уставы подавал»; «вельможи... царям законы подавали»; «спасти отечество»; «граждански слабы силы», «бедство сограждан», «вольность сограждан»; «отдал власть»; «я гражданин, хотел лишь только гражданина»; «спаситель общества» и т. п. Словесная тенденция трагедии к публицистичности не исключает использования в трагедии обычных поэтических средств классического стиля (олицетворение, перифраза и т. д.); насыщенность языка публицистическим элементом не одинакова; она значительнее в речах Вадима, Пренеста—I действие; в монологе Пренеста—II действие; в речи Рурика—V действие. Концентрация публицистического словесного материала именно в этих местах вполне обнажает тенденцию трагедии, превращая ее в политический трактат; особенно резко выступает эта особенность при сравнении с тематически сходной трагедией Николева «Сорена и Замир», где политическое значение слова скрыто метафорической игрой слов: тиран—монарх—тиран—любовник. Это второе значение (любовное) слова «тиран» уводит от прямого его понимания, затушевывая обличение самодержавия, и пьеса не показалась современникам столь опасной и дерзновенной, как «Вадим».

Как политический трактат трагедия представляет собою спор о формах правления и преимуществах власти вельмож, аристократического правления над неограниченной монархией; защита и пропаганда аристократической формы правления, как и критика самодержавия,—в речах Вадима и Пренеста; критика власти вельмож и апология самодержавия—в речах Рурика.

Являясь ярым противником самодержавия, Вадим готов все же его признать в том случае, если монарх делит свою власть с вельможами—единственными защитниками свободы; иначе неограниченная монархия приведет к рабству граждан; но каких граждан? Тех же самых вельмож, о вольности которых и печется Вадим.

Что вижу здесь? Вельмож утративших свободу,
В подлейшей робости согбенных пред царем
И лобызающих под скиптром свой ярем.

Теория, высказанная Вадимом, идеологически вполне соответствует политическим воззрениям той группы дворянства, именно дворянства высшего, которое в течение всего XVIII в. боролось за власть с самодержавием, поддерживаемым средним дворянством. Высказывания Вадима созвучны политическим взглядам дворянского оппозиционера екатерининского времени Щербатова, утверждающего, что «несть ничего прекраснее» аристократического правления («Разные рассуждения о пра-

влении». Соч., т. I, изд. кн. Б. С. Щербатова, СПБ., 1896, стр. 338—339). И Вадим, и Щербатов, защищая власть вельмож как лучшую, полагают, что она легко может выродиться и повести к злоупотреблениям и неурядицам, если вельможи обуреваемы будут честолюбием, гордынею и завистью. Интересно сравнить одно из высказываний Щербатова о том, что аристократическое правление «можно почесть совершенным, если бы люди могли укрощать их страсти; но сия только мудрая форма правления, какова она, если ее в тонкость рассмотреть. Сии столь мудрые люди, сочиняющие сенат, также бывают заражены честолюбием и собственно к себе любовию; каждой, хотя и равен в Сенате, однако хотел бы властвовать и чтобы его голосу предпочитательно пред другими последовали» («Разные рассуждения о правлении», стр. 339—340) со словами Вигора, в которых указаны те же причины, дискредитирующие правление вельмож:

Вельможи многие к злодейству видя средство
И только сильные отечества на бедство,
Гордыню, зависть, злость, мятеж ввели во град.
Жилище тишины преобразилось в ад;
Святая истина отселе удалилась;
Свобода, встрепетав, к паденью наклонилась;
Междуусобие со дерзостным челом
На трупах сограждан воздвигло смерти дом.

Противник Вадима Рурик не столько выступает теоретически в защиту неограниченной монархии, сколько указывает на свои «добродетели» монарха, дающие ему право неограниченной власти («кротость», «щедрота»; он не был зла «содетель», «единой правды чтя священнейший устав» и т. д.). Рамида, влюбленная в Рурика, признающая в нем «добродетели» монарха и видящая в нем «спасителя граждан», тем не менее предлагает ему разделить свою власть с вельможами; ни Рурик, ни его защитница Рамида не дают апологии самодержавия как лучшей формы правления, а дают лишь апологию Рурика как хорошего монарха. Враги Рурика тоже признают его достоинства, но они не верят в его «добродетель», потому что борются не с человеком, а со строем, портящим правителя и превращающим сомодержавие в тиранию, в деспотию, аргументируя таким способом против самодержавия. Ср. речь Пренеста во II действии, явл. 4-е

Великодушен днесь, он кроток, справедлив,
Но укрепя свой трон, без страха горделив,
Коль чтит законы днесь, во всем равняясь с нами,
Законы после все и нас попрет ногами.
Проникнув в будуще вы мудростью своей,
Не усыпляйтеся блаженством власти сей:
Что в том, что Рурик сей героем быть родился,
Какой герой в венце с пути не совратился.
Величья своего отравой упоен —
Кто не был из царей в порфире развращен.
Самодержавие повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.
Воззрите на владык вы разных царств и веков,
Их власть — есть власть богов, а слабость—человеков».

со словами Щербатова: «Но коль мало есть таковых монархов, которые, имея уже вышнюю власть, быв склонены честолюбием, разными страстьми, а паче сим ацким чудовищем (т. е. лестию придворных) не покушаются достигнуть до самовластия» (назв. соч., стр. 338).

Речь Пренеста, заключающая критику монарха, неизбежно становящегося деспотом, в 1793 г., в год напечатания трагедии, не была лишь теоретическим рассуждением, а звучала достаточно злободневно, воспринималась как памфлет, направленный против Екатерины и ее самовластия со стороны дворянской оппозиции. Монолог Пренеста снова полон совпадений с Щербатовым, с его сочинением «О повреждении нравов в России». Рурик, иноземец, вступает на престол во время возмущения вельмож. «Не рожденная от крови наших государей, жена свергнувшая своего мужа возмущением, [и] вооруженной рукою, в награду за столь добродетельное дело, корону и скиптр Российской получила» (соч., т. I, стр. 226). Щербатов, как и Княжнин у Рурика, находит у Екатерины «добродетели»: она «качествами

достойна править толь великой империей», при чем, как Рурик, вступив на престол, «не учиняет жестокова мщения всем тем, которые до того ей досаждали». Переходя к недостаткам Екатерины, Щербатов перечисляет те именно, которые отметит и Пренест. «Общим образом сказать, что жены более имеют склонности к самовластию, нежели мужчины; о сей же со справедливостью можно уверить, что она наипаче в сем случае есть из жен жена. Ничто ей не может быть досаднее, как то, когда, докладывая ей по каким делам, в сопротивление воли ее законы поставляют и тотчас ответ от нее вылетает: разве я не могу, не взирая на законы сего учинить?» (стр. 235). Полное соответствие словам Щербатова в «Вадиме».

Представьте, я сказал, вы смертных сих богов,
В надменности свою законом чтущих волю,
По гнусным прихотям влекущих нашу долю
И первенство дая рабам своих страстей,
Пред нами тот велик—кто паче всех злодей.

«Первенство рабам своих страстей» Екатерина неоднократно давала, как это хорошо известно; трагедия несомненно должна была ощущаться как политический памфлет, вышедший из лагеря аристократии, лишенной политических прав и власти, оппозиционной к самовластию Екатерины, к ее бюрократическому самодержавию; и здесь кроются причины разразившейся над трагедией грозы. Тем более для современников был прозрачным политический смысл трагедии, что Княжнин использовал в своей пьесе сюжет, незадолго перед тем появившегося «Исторического представления, без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни Рурика» Екатерины II, где Вадим охарактеризован противоположно Княжнинскому Вадиму. Он незаконно посягает на власть Рурика, вопреки воле Гостомысла, завещавшего ему не Новгород, а «славянские маетности», удел вместо престола великого князя: разбитый Руриком, он раскаивается, становясь его «верным подданным вечно». Рурик Екатерины II и Рурик Княжнина с его «добродетелями» на первый взгляд сходны, но у Екатерины, вполне естественно, отсутствует вторая половина образа Княжнинского Рурика—Рурик-тиран в будущем. При общности сюжетной схемы резкое различие идеологической трактовки: у Екатерины самоутверждение монархизма, у Княжнина—энергичная его критика с точки зрения ущемленной в своих политических правах аристократии.

Остается подвести итоги. Где же автор? Где его окончательное решение в вопросе о формах правления? Или выбор лучшей формы так и не был сделан Княжниным, как утверждал один из поклонников трагедии, Воейков: «нерешенною осталася борьба величья царского с величьем гражданина». Колебаний быть не может: не только Пренест и Вадим, герои Княжнина, защищают аристократическое правление; сам писатель стоит за ними; слова их—слова автора. На протяжении всей пьесы Вадим остается верным своим аристократическим взглядам; они не сокрушены; его победила сила войска Рурика, а не сила его аргументов. Смерть свою Вадим рассматривает как освобождение от власти тирана, как протест против нее. Для автора он—герой, и геройство его признает даже враг, Рурик, говоря Рамиде: «Друг верный общества, герой наш, твой отец...»; после победы над ним, он хочет «объять колена героя и отца». Наоборот, для Вадима Рурик навсегда остается тираном, «рабов властителем». Следует указать, что в отношении вельмож у Княжнина та же «героическая» фразеология, которая была отмечена в характеристике Вадима (они—«героев сонм», «держава истребила к отечеству ту страсть, которая граждан героями творила»). Если Вадим ни в чем не уступает Рурику, то Рурик, наоборот, готов вступить в содружество с ним. Мы в праве отождествлять Вадима и Княжнина, полагая, что Вадим—герой, яростный враг самовластья, сражающийся за власть вельмож, признающий титул царя лишь в том случае, когда царь делит власть свою с вельможами,—является знаком автора. Княжнин в трагедии выступает как оппозиционер Екатерининскому бюрократическому самодержавию, как представитель дворянской фронды, приведшей в скором времени к дворцовому перевороту (убийству Павла I), а произведение его было политическим средством во внутриклассовой борьбе, которую вели в XVIII в. потомки старого боярства с самодержавием, опиравшимся на среднее дворянство. Остроту этого оружия прекрасно ощутила Екатерина и поспешила обезвредить его, подвергнув сожжению.

Слишком решительные меры, принимавшиеся правительством для полной нейтрализации произведений дворянской оппозиции, объясняют, почему лишь немногие из них увидели свет; в рукописях они хранились авторами, как хранил их и Княжнин; из таинственных намеков Глинки мы знаем о крамольной рукописи «Горе моему отечеству». Рукописная трагедия «Ольга», менее дерзновенная, чем

«Вадим», дает лишнее подтверждение, что выпады Княжнина в «Вадиме» против Екатерины и самодержавия не случайны и что писатель далеко не всегда был примерным и верным их слугою, как изображает его панегирическая биография 3-го издания. В виду неизвестности «Ольги» придется остановиться несколько подробнее на ее содержании. Трагедия написана обычным александрийским стихом, с чередующимися женскими и мужскими рифмами.

Действующие лица

Ольга—вдовствующая супруга великого российского князя.

Мал — князь древлянский, подвластный российским князьям, похитивший престол российский.

Святослав — сын Ольги.

Волод — вельможа, воспитавший Святослава в лесах.

Мирвед — наперсник Ольги.

Всевеста — наперсница Ольгина.

Зловред — наперсник Малов.

Воины.

Жрецы.

Первое действие. В течение пятнадцати лет Ольга находится в неволе у Мала, убившего Игоря и двух ее сыновей и завладевшего российским престолом. Она жаждет отомстить Малу и надежды возлагает на сына своего Святослава, спасенного ею от убийцы мужа и отданного на воспитание Володу. Оба живут в неизвестности, «в лесах». Чтобы упрочить свою власть, Мал хочет жениться на Ольге, которая колеблется, не зная, что выбрать: брак с ненавистным ей тираном или заключение в темнице. Нерешительность ее поддерживается ожиданием скорого появления Святослава. Мал, зная о Святославе, боится его и решает убить.

Второе действие. Ольга узнает, что в город приведен неизвестный юноша, совершивший убийство. Она хочет его увидеть, предполагая в нем убийцу сына. В действительности же это Святослав, который, защищаясь, убил юношу, напавшего на него. Ольга чувствует влечение к Святославу, как и Святослав, глубоко взволнованный встречей с Ольгой. Но Ольга убеждается, что перед ней убийца ее сына, так как у него нашли меч Игоря, будто бы снятый им с убитого. Ольга хочет своей рукой казнить мнимого убийцу своего сына.

Третье действие. Появляется Волод, разыскивающий Святослава и узнающий об убийстве Святослава, о горе Ольги, которая готовится к казни. Она заносит меч над Святославом, но ее останавливает Волод, открывающий, что юноша, обреченный на казнь,—Святослав. У Мала, видящего, что Ольга не хочет подвергнуть казни убийцу своего сына, закрадываются сомнения, и он сам хочет его казнить.

Четвертое действие. Мал твердо решил казнить Святослава, желая показать, что он разделяет горе матери. Когда отдан приказ убить юношу, Ольга открывает, что он ее сын. Мал попрежнему хочет жениться на Ольге, усыновить Святослава, который считает это для себя бесчестьем.

Пятое действие. Все готово к венчанию Ольги и Мала; Святослав пронзает мечом Мала; воины хотят его схватить; он объявляет себя сыном Игоря, Волод появляется с народом и подтверждает его слова. Все на коленях перед Святославом, в заключение произносящим:

Коль будет щастлив Росс, коль будет он спокоен,
Коль подданных любви пребуду я достоен,
Когда народ меня своим отцом почтет,
Вот слава вся моя, иной мне славы нет,
Народная любовь есть твердый столп державы.
Сердцами обладать нет лучшей в свете славы.

Нас не интересует сейчас вопрос об источниках трагедии, о ее несомненной связи с «Меропой» Вольтера; нам важно отметить однородную с «Вадимом» классовую целеустремленность. Многие положения пьесы могли восприниматься как намеки на события дворцовой жизни, в частности жизни Екатерины. Мал, древлянский князь, варвар, иноземец, захвативший русский престол, но не совершающий ничего злодейского: Ольга спокойно живет при его дворе, замышляя переворот в пользу своего сына; Мал хочет вступить с нею в брак, а главного своего соперника, Святослава, усыновить и преподать ему науку управления:

Служа, учись при мне, как скипетром владеть,
О благе общества неусыпимо бдеть,
Себе единому быть должным славной властью.

Свой захват власти у «россов» Мал объясняет не «злодейством», а мщением за обиду, нанесенную россами древлянам. Тем не менее целым потоком изливает Княжнин на своего героя эпитеты «злодей» и «тиран». Авторское негодование объясняется тем, что у власти находится не тот, кто по своему происхождению имеет больше оснований быть на престоле и кто «во бедности» и «гладе» скрывается «в лесах», «в пустыне». Не была ли Екатерина II тем же Малом на престоле—иноземка, захватившая в свои руки власть и ставшая тираном (ср. Щербатов, вышеприведенная характеристика Екатерины из сочинения «О повреждении нравов в России»); не было ли подобных фактов в истории XVIII века? Родовитое дворянство, Рюриковичи, потомки великих князей, полагающие, что только им должна принадлежать власть, прозябают, лишенные политического значения. И трагедия Княжнина превращается в спор между Малом и Святославом о том, достаточно ли «породы», чтобы претендовать на власть. В этом споре ясно выступает точка зрения дворянской аристократии, подтверждающей свои претензии на власть своим происхождением (Святослав «владеть родился», потому что у него «геройска кровь прехрабрых толь князей, которы властию давили мир своей»). За Святослава только «порода» и вытекающие из нее врожденные свойства: доблесть, честь, геройство. Он «врожденну вдался свойству, оставил тень лесов, чтоб вслед итти геройству»; он «бесчестие одно нещастьем только чтил»; он несокрушим: «сей твердости не зрел из низких я ни в ком», говорит о нем Мал, полагающий, что «предрассуждение о крови и о роде» не позволяет ему чувствовать себя прочным на престоле, хотя он и хороший правитель.

Но раб такой, как я, достойный князем быть,
Могущий царствовать, земных владык учить,
Удобен твоему казать путь сыну к славе
И первой кто достиг над смертными к державе,
Не родом был он князь, достоин был владеть,
Преславных праотцев нет нужды мне иметь.
Породой славные на свете суть не редки.
Престол мой есть мой род, мои победы предки.
Пускай твой придет сын, воспитанный в лесах,
Учиться у меня владети в сих странах.
Я славы в тяжкий путь его наставлю младость,

так как «Не славный нужен род, но мудрое правленье». Тем не менее «порода» побеждает над «мудрым правлением», и Святослав получает власть убийством Мала, «геройску кровь в себе свидетельствуя».

Оппозиционной аристократии претила всякого рода служба при дворе, и в трагедии—энергичный выпад против придворных льстецов, готовых служить каждому, имеющему власть. Приближенные Ольги забыли ее милости, изменили ей.

И в бедствии своем презренна я и теми,
Которых я тогда, как щастлива была,
На верх величия и щастья возвела.
Се оные льстецы предшествуют тирану,
Изменники сии мою сугубят рану.

Святослав выступает с той же характеристикой придворных, что и Ольга:

Оставим мы толпу сих низких человек,
Которые зыбям морей подобясь в век
Туда текут, куда ветр щастия подует.
И сын твой на себя зато днесь негодует,
Что он унизился себя надеждой льстить
Сих пресмыкающих своей подпорой чтить.
Оставим тварей сих злодея обожати
И станем на богов, на правду уповати.

«Ольга» Княжнина интересна не только тем, что подтверждает наше положение о наличии оппозиционно-аристократических тенденций у Княжнина, она намечает также некоторые новые пути в преодолении устойчивых штампов трагедии. Можно думать, что для Княжнина уж не столь характерна «переимчивость», подражательность, упорное следование за иностранными образцами, присвоение отдельных

сцен, ситуаций, монологов популярных французских трагедий, о чем неоднократно писалось. У любого писателя встречаются «общие места», и не так существенно их наличие, как важны тенденции к их преодолению. Как раз в области сюжетной, именно там, где больше всего отмечена его подражательность, следует видеть борьбу с установившимися канонами. Княжнин стремился отойти от сюжетов, взятых из античной истории, обращаясь к русской и пытаясь выйти за пределы «исторического баснословия» по Татищеву, образцы которого он дал и в «Росславе», и в «Владисане». Место действия последнего—мифический Славянск, а действующие лица измышлены, отнюдь не истóричны. Но он шагнул затем дальше других, от Хорова, Синава и Трувора через Вадима и Рурика добравшись даже до Ольги, киевлян и древлян, до лесов и пустыни, в которых скрывается Святослав. Другим смельчаком, правда, был еще Сумароков с «Димитрием Самозванцем»; у Хераскова не хватило такой храбрости, и, выбрав героем Бориса Годунова, он превратил его в «Борислава», переодев соответственным образом и других действующих лиц. Интересное свидетельство на этот счет имеется в «Драмматическом словаре» 1787 г.: «Вся трагедия была сочинена под другими именами; некоторые обстоятельства принудили переменить оные и поставить вымышленные. При чем должно упомянуть, что пятый акт совсем переменен и при выборе других имен сочинен новый». Это свидетельство, с одной стороны, а с другой—самый сюжет, показ Борислава—Бориса Годунова в момент аналогичный Пушкинскому Годунову (вообще «Борислав» и «Борис Годунов» напрашиваются на сопоставление), заставляют предполагать, что Херасков побоялся вывести исторических лиц. Борислава Хераскова, как и Бориса Годунова Пушкина терзает совесть: он мучим убийствами, казнями, совершонными им для упрочения своего на престоле, который не должен был достаться ему, человеку низкой породы. Его последнее преступление связано с желанием удалить мнимого врага, Пренеста, жениха его дочери Флавии, которая, как и Ксения, дочь Годунова, очень любит своего жениха и в отчаянии от мысли его потерять. Боярин Вандор, приближенный Борислава, не имеет в трагедии роли наперсника, а как Шуйский, ведет двойную игру он, доверенное лицо Борислава, предает его. А Ольгу выводить было еще рискованнее: ведь как никак на сцене должна была бы явиться будущая «благоверная великая княгиня Ольга», причтенная к лику святых. В XIX в. театральная цензура запрещала появление на сцене царей из дома Романовых: например, выход Екатерины, в «Пиковой даме» лишь возвещался перед занавесом.

Для «Ольги» характерны типичные для Княжнина сентенции, крылатые слова, которые ценил в нем Пушкин: «На свете все тиран иль все на свете жертва», «Где злоба властвует, законы там бессильны», «Хоть мал, хотя велик, мы все подвластны бедству, и все несчастны мы», «Когда ты князь, меня ты должен защищать».

Подводя итог обзору литературного наследия Княжнина, следует еще раз подчеркнуть: буржуазный миф о Княжнине-революционере должен быть отброшен навсегда; нет нужды фальсифицировать наследство писателя, чтобы мнимой его революционностью протащить его в нашу эпоху; оппозиционные настроения Княжнина не созвучны нам, но нужно было пересмотреть его наследство, чтобы увидеть настоящее лицо писателя.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Обзор Г. Гуковского

I

Державин, величайший русский поэт XVIII столетия, заслуживает серьезного, в подлинном смысле научного полного издания его сочинений и тщательного изучения его литературного наследия. Между тем судьба Державинского творчества в русской науке была особенно печальна.

В отношении издательском стихотворениям Державина не повезло еще при жизни самого поэта.

Популярность Державина в его время была в значительной мере популярностью рукописного, полуподпольного поэта. При Екатерине, при Павле, даже при Александре I многие его стихотворения не были, да и не могли быть изданы. Написанные на злобу дня, полные намеков на сильных мира, намеков, нередко дерзких, такие стихотворения играли роль негласной прессы; они давали читателю и сатирический фельетон, и передовую статью. Они расходились по рукам, «носились в народе» в списках. Державин добился положения сановника, придворного (хотя он всегда был белой вороной в кругу «настоящих» вельмож), но он не был придворным поэтом. Он писал не только от лица массового мелкого дворянина, провинциального помещика, офицера, чиновника екатерининских «общественных» дворянских учреждений, но и для всех этих людей, не слишком грамотных, но активизированных правительственной политикой конца XVIII в. Он обращался к своему безымянному многочисленному читателю помимо официального контроля власти, и он позволял себе фрондерство, сатирические выпады, выражение недовольства той или иной стороной практики монархии. Поэзия в руках Державина становилась общественной силой, поскольку она стремилась организовать пропаганду свободы авторской личности в читательском массиве и поскольку она устанавливала непосредственные отношения взаимного понимания и доверия между писателем и поддерживающей его социальной группой вне зависимости от направления, которое хотело бы сообщить общественной идеологии правительство.

Державин, крепостник и реакционер, оказывается в двусмысленном положении по отношению к власти.

Многочисленные читатели Державина видят в нем ядовитого и смелого сатирика, борца за дворянскую правду с самовластьем вельмож, обличителя общественной неправды.

Державину приписывают стихотворения антиправительственного характера, ходящие по рукам, хотя бы они не имели ничего общего с его творчеством.

Если мы учтем, с другой стороны, что сам Державин любил выдвигать на первый план свою деятельность как чиновника и организатора дворянской общественности, а вовсе не свою литературную работу, то мы поймем, почему так сравнительно мало печатался Державин при жизни.

Не останавливаясь на стихотворениях, помещенных в журналах (и изданных отдельно брошюрками и листовками), укажу все изданные при нем сборники его стихотворений.

В 1776 г. был издан сборничек из восьми произведений (четырех прозаических переводов од прусского короля Фридриха II и четырех оригинальных од) под названием «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». Если не считать этого раннего выступления, первая попытка Державина собрать свои произведения относится к 90-м годам, т. е. к эпохе, когда уже завершался едва ли

не центральный период его творчества. Поощряемый Екатериной, Державин решил подготовить к печати собрание стихотворений; был произведен строгий отбор вещей; друзья-литераторы помогли отредактировать тексты. 6 ноября 1795 г. Державин «поднес» царице великолепный рукописный том своих стихов, переписанный писцом, переплетенный в красную кожу. В начале и в конце каждого из 60 стихотворений, помещенных в этом томе, А. Н. Олениным был сделан рисунок тушью или акварелью. В этом рукописном томе была помещена между прочим ода «Властителям и судиям», переложение из 81-го псалма, ранняя редакция которой была уже в 1780 г. вырезана цензурой из журнала «С.-Петербургский Вестник». Ода призывала громы небесные на головы царей (злых). Шла Великая французская революция. Екатерина испугалась, и Державин попал было в совершеннейшую «немилость»; он поспешил оправдаться, и ему удалось выпутаться из опасной истории.

Однако при жизни Екатерины собрание стихотворений Державина так и не было издано.

Роскошный том, поднесенный Екатерине, украшенный подлинными Оленинскими рисунками, Державину удалось получить обратно, но уже после смерти Екатерины. В 1811 г. он подарил его собирателю книжных редкостей П. П. Дубровскому; вместе с другими материалами собрания Дубровского том «Сочинений Державина» поступил в Публичную Библиотеку в Ленинграде, где хранится и теперь (шифр F, XIV, № 16). На первой странице его рукою Державина написано: «Сей манускрипт, как охотнику до подобных редкостей, подарен самим автором Петру Петровичу Дубровскому в Петербурге 1811 году января 11 числа и подписан собственною моею рукою, Гавриил Державин». На титульном листе, тоже рукой Державина, написано: «Поднесена была сия книга автором лично в Петербурге императрице Екатерине второй 1795 г. ноября 6, которая по прочтении Ею и оставалась у Ея Величества в Кабинете, по самую ее кончину; а по возшествии на престол Императора Павла I отдана обратно автору. Г. Державин».

После вступления на престол Павла I, по инициативе И. И. Шувалова в Москве при университете принялись за печатание первого тома «Сочинений Державина». Он вышел в свет в 1798 г., когда Шувалов уже умер, и получился очень неудачным. Державин, дождавшийся на 55-м году своей жизни первого издания своих од, был недоволен. Он писал: «Сочинения мои перепортили в Москве. Кроме того, что не по тому порядку напечатали, как я приказал, и не те пьесы, коим в 1-й части быть следует,—но само по себе так скверно, что истинно в руки взять не можно, и бумага и печать плоха и ошибок премножество» (письмо к Ф. Н. Голицыну от 17 июня 1798 г.). Продолжения издания не было.

Между тем и первому тому пришлось выдержать еще до выхода в свет цензурные мытарства. Ода «Властителям и судиям» конечно не смогла появиться в нем. Павловская цензура оставила далеко позади екатерининскую, даже последних лет ее царствования. Конечно целый ряд стихотворений Державина не мог быть даже представлен в цензуру в то время. Но история началась из-за двух стихов в оде «Изображение Фелицы». В ней есть такие строки.

Самодержавства скиптр железный
Моей щедротой позлащу

(строфа 33; говорит эти слова в оде сама Фелица-Екатерина). Ода с этими двумя стихами была напечатана уже трижды при Екатерине II. Но в 1797 г., когда издание «Сочинений Державина» печаталось в Москве, цензура, пропустившая было оду, спохватилась и приостановила издание, требуя исключения криминального двустишия, порочащего самодержавие.

Тогда Державин написал письмо к куратору Московского университета, кн. Ф. Н. Голицыну; он жаловался на остановку книги: «Зачем же? За такой фразой, которая уже не один раз была напечатана, всем известна и которая одна из многих истинную делает честь самодержавному нашему правлению. Ее при покойной государыне приняли все с чрезвычайной похвалою; почему же теперь нет? Разве теперешнее правление не толь щедро и великодушно, как прошедшее? Истинно, я боюсь подумать, чтоб, выпустив две строки, не сделать сатиры оскорбительнейшей, нежели Ювенал на свое время» (письмо от 16/XII 1797 г.). Затем Державин просил Голицына добиться через генерал-прокурора кн. А. Б. Куракина пропуска этих стихов.

Голицын ничего не сделал, и Державину пришлось самому обратиться к Куракину. 3 марта 1798 г. он написал генерал-прокурору длинное письмо, убеждая его «вразумить» цензоров и доказывая ему невинность заподозренных стихов. Куракин довел дело до царя. На письме Державина сохранилась надпись Куракина: «Государь император приказать соизволил: внушить господину Державину, что по искус-

Сочиненїи Державина.

Часть 1я.

Поднесена была сия книга автором лично в Петербурге императрице Екатерине второй, 1795 г. в ноябре, которая по прочтении ея и оставалась у Ея Величества в кабинете, по самую ея кончину. а по восшествии на престол Императора Павла 1го отдана обратно автору.

Г. Державин.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСНОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ Г. Р. ДЕРЖАВИНА, ПОДНЕСЕННОГО ИМ В 1795 Г. ЕКАТЕРИНЕ II

Публичная Библиотека, Ленинград

ству его в сочинении стихов подчеркнутые бы переменил, чтоб получить дозволение сочинения его напечатать».

Державин не послушался царя или не узнал о его резолюции. В «объяснениях» к своим стихотворениям (1809—1810) он дает вторую версию, говоря, что «не получил никакого отзыва на свое отношение и неизвестно, докладывал ли Куракин о том императору». Однако едва ли можно в данном случае безусловно доверять свидетельству «объяснений».

Во всяком случае Державин не изменил своих стихов, и в издании 1798 г. они выпущены (вместо них—пробел). Упрямый Державин внес «в нескольких экземплярах сии строки своею рукою» («объяснения»). В Публичной Библиотеке в Ленинграде есть экземпляр издания 1798 г., подаренный Державиным Суворову. В нем выпущенное из оды «Изображение Фелицы» двустишие вписано рукою Державина.

В 1804 г. Державин напечатал сборник стихотворений под названием «Анакреонтические песни».

В 1808 г. вышли в свет четыре тома «Сочинений» Державина; это издание, составленное самим поэтом, печаталось под наблюдением А. Ф. Лабзина. Оно является основным источником при изучении текстов Державинских произведений. Собственно говоря, это—единственное авторитетное прижизненное собрание сочинений поэта. Однако (не говоря об опечатках) существенным ограничением полезности издания 1808 г. для текстолога и редактора является неполнота его. Правда, в него попало много произведений, не бывших ни в издании 1798 г., ни в сборнике «Анакреонтических песен». Тем не менее весьма значительный процент стихотворных вещей Державина не вошел в издание 1808 г., не говоря о его прозе, мемуарах, письмах и т. д.

В конце жизни Державин затеял продолжение изданного в 1808 г. четырехтомника. В 1816 г., в год его смерти, вышел V том, как бы дополнительный к первым двум, заключавшим «высокую» лирику (в III томе была анакреонтическая поэзия, в IV—драмы и описание Потемкинского праздника).

Вслед за V томом Державин подготовлял VI и VII тт., но выпустить их не успел. Между тем оба эти тома были, можно сказать, закончены, переписаны набело писцом; оставалось только отдать их в цензуру и в набор.

В VI том (менее отделанный) входили прозаические произведения Державина, в VII—поэтические мелочи: надписи, надгробия, эпиграммы, мадригалы и т. д., в большинстве неизданные.

Из-за смерти Державина (9 июля 1816 г.) VI и VII томы собрания его сочинений так и не были изданы, отчасти даже до сего дня.

Начался длительный период рыночных и полурыночных изданий Державина. Помимо изборников, в 1831 г. вышло первое посмертное собрание его сочинений в издании Смирдина (4 т.), повторенное в 1833 и 1834 гг. Затем идет издание Глазунова 1845 г. (4 т.), издание Штукина в том же году (1 т.) и издание Смирдина в «Собрании сочинений русских авторов» 1847 г. (2 тома), повторенное в 1851г. В 1857 г. были изданы отдельно анакреонтические стихотворения Державина. Наконец в 1864 г. вышел первый том знаменитого академического издания сочинений Державина под редакцией и с примечаниями Я. К. Грота. Это огромное издание выходило в течение 19 лет и заняло девять томов in 4° (I—III томы—стихотворения, IV—драматические произведения, V—VII—переписка, записки, прозаические произведения, VIII—биография Державина, написанная Я. К. Гротом, и IX—составленные им же материалы для биографии, библиографии, изучения творчества Державина).

Выход первого тома Гротовского издания был событием в русской литературе. Ни один русский писатель до тех пор не был так издан. Прежде всего новостью был самый формат, объем книги, распухшей во всех направлениях, вся внешность «роскошного» по официальной терминологии издания.

Затем—научный аппарат издания. Ничего подобного еще не видал русский читатель. Первый том Гротовского издания заключал 139 пьес, в том числе немало поэтических мелочей (лишь одна большая сравнительно вещь—описание Потемкинского праздника). Весь этот материал умещался в прежних изданиях Державина на двухстах страницах среднего формата. В Гротовском томе было восемьсот страниц большого формата. Он был до краев переполнен примечаниями, набранными мелким шрифтом, заполняющими нередко целые страницы, в сумме составляющими многие десятки печатных листов.

Таким же образом обставлен текст второго и отчасти (в меньшей степени) третьего тома. Остальные томы не имеют столь обильных примечаний.

Гротовское издание Державина вызвало противоречивые отклики; с одной стороны, оно приобрело репутацию крупной победы русской академической науки, образцо-

вого издания классического автора, примера подлинной научности, иже не прейдеши,—предела, к которому следует стремиться всем редакторам будущих изданий сочинений русских писателей. Что же касается Державина, то казалось, что его дело сделано Гротом навсегда. Самый объем Гротовского левиафана, море материала, предоставляемого читателю, в котором этот читатель неизбежно тонул, все это оглушало критиков, внушало им священный трепет. Никакие сомнения в достоверности, в полноте издания Грота не могли им притти в голову; мысль о ревизии работы Грота, о возможности ее устранения показалась бы им кощунственной. Державин был издан образцово и навеки; больше по Державину делать науке нечего.

благоугодно вамъ будетъ, разрѣшить недоумѣнiе Гд Цензоровъ.

Пребываю въ прочемъ съ истиннымъ высокопочитанiемъ и таковою же преданностiю.

[illegible]

Вашего Сiятельства
Милостивый Государь!
Всепокорнѣйшiй Слуга
Гаврила Державинъ

главы Фелицы.
„Настави меня, Мiровъ Содѣтель!
„Да волю слѣдуя Твоей;
„Тебя любя и добродѣтель
„И зиждy щастiе людей;
„Да [illegible] мои [illegible] полезны
„И славу имъ я посвящу;
„Самодержавства Скиптръ желѣзный
„Моей щедротой позлащу.

Марта 2 Дня
1798 года

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ПРОШЕНИЯ Г. Р. ДЕРЖАВИНА, ПОДАННОГО А. Б. КУРАКИНУ ПО ПОВОДУ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНЗУРОЙ ДВУХ СТИХОВ ИЗ ЕГО ОДЫ „ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЕЛИЦЫ“

Слева надпись А. Б. Куракина, заключающая резолюцию Павла I

Центрархив СССР, Москва

Однако этой академической, благоговейной точке зрения противостояла еще в самое время выхода в свет издания Грота другая—непочтительная и смелая. Радикальная критика, современная изданию, высмеивала его за ультра-академизм, за показную научность и за реакционную в сущности установку.

Самый выбор Державина, поэта прошлого века, поэта, якобы только прославлявшего дворянскую екатерининскую Россию, поэта, якобы назидательного для современных Гроту «ниспровергателей основ»,—принципиальная защита Гротом такого выбора, изучение XVIII века не для современности, а ради отказа от нее—все это типически характеризует замысел издания, не случайно подготовлявшегося и начавшего выходить в первое десятилетие царствования Александра II.

Освещение, которое Грот дает в своем издании фактам политической истории XVIII и начала XIX в.,—вполне официальное, правительственное. Он и здесь, как и в других своих работах,—пропагандист отвратительной легенды о Екатерине—«великой монархине» и т. д. и т. д.

Академическая мертвенность издания Грота губит самого издаваемого поэта, даже независимо от ложной тенденции комментария. Я не говорю уже о хронологическом расположении стихотворений, с одной стороны, плохо применимом к творчеству Державина, с другой—не до конца выдержанном Гротом, что окончательно сбивает читателя. Но дело в том, что читателю вообще трудно добраться до текста Державина через дебри примечаний, затопившие страницы книги. Примечания под строкой, иногда оставляющие для текста поэта места лишь на несколько стихов; примечания, вырастающие в целые статьи перед стихотворением, примечания повсюду. Академизм убивает Державина как поэта; читатель не может отнестись к его стихам как к художественному произведению, но только лишь как к памятнику былого величия, объекту официально-чиновничьего почитания.

Пользование изданием затруднено и многосоставностью его, объясняющеюся конечно длительностью его подготовки. Оно изобилует дополнениями, дополнениями к дополнениям, прибавлениями и т. д. Стихотворения расположены в трех хронологических порядках: от 1770 до 1816 г., затем в III томе—опять стихи от 1767 до 1815 г. и опять—в том же томе—стихи без точных дат—1762—1778 гг., стихи 1779—1800 гг., стихи 1801—1816 гг. Кроме того стихотворения помещаются в тексте примечаний, в биографии Державина, написанной Гротом, в дополнительных примечаниях, где угодно. Попробуйте, найдите их там!

Тем не менее было бы ошибкой отрицать большое значение издания Державина, сделанного Гротом. Это было все же первое научное издание русского писателя, и Гроту удалось сделать очень многое для того, чтобы оправдать академическую репутацию этого издания.

Прежде всего Грот опубликовал множество неизданных текстов Державина— и поэтических, и прозаических, а также его писем, докладных записок и т. д. С помощью Академии Наук, поставившей дело широко, Грот в течение двух с лишним десятков лет собирал материалы, относящиеся к Державину. Еще в 1859 г. Академия опубликовала план издания с приглашением предоставить ей все имеющиеся у кого-либо материалы. В это время живы еще были родственники Державина, хорошо знавшие его, живы были непосредственные традиции воспоминаний его эпохи. Рукописные материалы потекли к Гроту в изобилии; тут были и тетради самого Державина, и целые кипы его рукописей, и множество всевозможных бумаг, принадлежавших ему, и сотни его писем и писем к нему, и воспоминания о нем, и документы официального характера,—словом все, что угодно.

Очень много материалов поступило в полное распоряжение Грота; были и такие материалы, которые он использовал, но принужден был оставить в руках их владельцев. Первая группа материалов составила в основном: собрание «Бумаг Державина», переданное в 1892 г. Я. К. Гротом Публичной Библиотеке в Ленинграде и заключающее 40 более или менее объемистых томов, и собрание бумаг, хранящихся ныне в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР. Вторая группа материалов в значительной части недоступна исследователю и будет выявляться вероятно постепенно. Итак, первая заслуга Грота по отношению к Державину— это собранный им огромный Державинский архив. Именно этот архив позволил ему дать в своем издании так много новых текстов Державина. В отношении полноты издание Грота—без сомнения первое издание Державина.

Затем собранный Гротом материал позволил ему дать в своих примечаниях действительно огромное количество сведений, пусть использованных ложно, в интересах пагубной идеологической позиции самого Грота, но все же представляющих такой фонд, который невозможно обойти и сейчас.

Конечно хаотичность издания до крайности затрудняет возможность разобраться в море фактов, собранных Гротом, но в конце концов исследователь, потративший немало времени, чтобы ориентироваться в нем, не потеряет этого времени даром.

В течение многих лет исподволь собирал Грот материалы для своего комментария и для биографии Державина. Академия предоставляла ему для этого все возможности. Он ездил в специальные научные экспедиции: в места, связанные с жизнью Державина, в имения, принадлежавшие в свое время родным и знакомым поэта. Он мог широко воспользоваться и устной традицией воспоминаний и фактов, сообщаемых ему современниками Державина. Он собрал также многое и в архивных материалах, доступных ему. Хорошо обследовал он и всевозможные печатные источники.

В результате издание Грота предоставляет современному ученому большой склад не очень хорошо систематизированных материалов, но такой, из которого можно почерпнуть немало сведений.

Однако комментарий Грота устарел, и устарел не только в смысле его идеологической установки. За те десятилетия, которые отделяют нас от Гротовского изда-

СТРАНИЦА ИЗ РУКОПИСНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА „СОЧИНЕНИЙ" Г. Р. ДЕРЖАВИНА С РИСУНКАМИ ХУДОЖНИКА И. ИВАНОВА

Институт Русской Литературы, Ленинград



ния, наука так обогатилась материалами о XVIII в., что сведения Грота часто оказываются неточными, а его представления о событиях—наивными. Здесь уж вина не его, а времени.

Устарело Гротовское издание и в смысле отношения к текстологической проблеме. То, что было ультра-научно в 1864 г., совсем ненаучно теперь. Современная текстология предъявляет к научной работе куда более строгие требования, чем это мог предвидеть Я. К. Грот.

Прежде всего его издание все-таки далеко не полно: он не поместил в нем очень многих произведений, бывших у него в руках,—как сознательно, так и бессознательно, по небрежности.

Приведу два-три примера. Первый же том собранного Я. К. Гротом архива, хранящегося в Публичной Библиотеке, открывается двумя тетрадями, писанными рукою Державина и заключающими стихотворения первой поры его творчества—60-х и 70-х годов.

Первая из них озаглавлена так: «Песни, сочиненные Г. . . . . Р. . . . . Д . . . .», т. е. по числу точек: «Гавриломъ Романовичемъ Державинымъ». Эта тетрадь содержит 19 песен (из которых лишь четыре были напечатаны в поздних редакциях при жизни Державина, при чем одна не полностью). Вторая тетрадь озаглавлена «Разные стихотворения» и заключает 54 стихотворения различных жанров.

О песнях Державина Грот писал: «Почти все они слабы, язык их тяжел, стих часто неправилен, а потому мы и не сочли себя в праве дать им место в издании сочинений нашего поэта» (т. VIII, стр. 264—265.—Ср. т. III, стр. VII). Повидимому так же оценивал Грот и «разные стихотворения». Так или иначе, пятнадцать песен ранней поры творчества Державина и целый ряд «разных стихотворений» (часть их попала в III том Гротовского издания) так и остались неизданными.

Между тем все ранние произведения Державина весьма важны для изучения его творческого роста.

Еще пример: в IV томе своего издания Грот собрал драматические произведения Державина. Тут же в числе «Приложений» он поместил небольшой отрывок (2 страницы) из оперы «Эсфирь», которую он считал переводной вещью (см. т. IV, стр. VIII

и 802) и, в качестве перевода, неинтересной. Затем, в конце IX тома, в «Поправках и дополнениях» Грот оговорил, что «Опера Эсфирь, как оказывается из рукописей Державина,—оригинальное его сочинение, которое должно быть отнесено к 1814 году» (стр. 758). И все-таки «Эсфирь» так и не попала в издание Грота, хотя в собранных им самим «Бумагах Державина» в Публичной Библиотеке сохранился полный текст ее, целиком автограф (в томе 6-м собрания).

Еще характерный пример: 23-й том «Бумаг Державина» в Публичной Библиотеке, переплетенный еще при жизни поэта, открывается почти совсем чистым автографом стихотворения Державина, названного «На смерть Катерины Яковлевны, 1795 году июля 15 дня приключившуюся». Это стихотворение, и, надо сказать, превосходное стихотворение, даже не упомянуто Гротом; он просто не знал этого стихотворения, бывшего в его же собрании, на первой странице тома. Почти невероятный факт, что Грот даже не заглянул в этот том, доказывается вот чем: в том же 23-м томе помещено стихотворение А. В. Храповицкого, ода—послание к Державину («Ода милому товарищу и соседу»), помеченная 17 июня 1793 г. Ответом на стихи Храповицкого явилась известная ода Державина «Товарищ давний, вновь сосед» («Храповицкому»). Между тем Грот, комментируя эту оду, пишет, что стихи Храповицкого, вызвавшие ответ Державина, «к сожалению нам неизвестны».

Мы говорили выше о подготовленной Державиным перед смертью рукописи «Части VII» его сочинений, заключавшей мелкие стихотворения, надписи, эпиграммы и т. п. Несмотря на то, что Державин сам хотел издать эту рукопись и без сомнения издал бы ее, если бы прожил еще несколько месяцев, Грот не счел нужным опубликовать ее полностью. Он взял из нее лишь часть стихотворений, а другие оставил неизданными, при чем невозможно понять, чем он руководился, производя этот отбор (иногда вступали повидимому в силу идеологические, даже политические мотивы).

Наконец укажу еще последний пример: среди множества поэтических рукописей Державина, среди черновиков, набросков, планов попадаются и законченные произведения, иногда весьма замечательные. Грот не дал себе труда внимательно разобраться во всем этом материале и оставил неизданными немало готовых стихотворений Державина, из которых часть он знал, а других, видимо, не заметил (напр. стихотворений, включенных в неизданную часть «Рассуждения о лирической поэзии или об оде»).

Особо следует поставить вопрос о неоконченных стихотворениях Державина. Их много, и среди них есть настоящие шедевры. В научном издании они должны были бы найти место все. Но Грот предпочитал занимать страницы своими примечаниями. Он напечатал лишь несколько неоконченных вещей, и то не всегда точно. Не могу не упомянуть здесь о таком случае: Грот опубликовал в III томе (стр.379) среди стихотворений 1800 г. (в числе «опытов первой эпохи и стихотворений неизданных») отрывок:

Всторжествовал — и усмехнулся
Внутри души своей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дан
Непобедимому герою,
Который в тысящи боях
Боролся твердой с ним душою
И презирал угрозы страх.

Нет, не тиран, не лютый рок,
Не смерть . . . . сразила:
Венцедаятель, славы бог
Архистратига Михаила
Послал небесных вождя сил,
Да приведет к нему вождя земного,
Приять возмездия венец,
Как луч от свода голубого...

Что означают восемь точек в десятом стихе? Нетрудно догадаться, что они заменяют буквы имени Суворова, гонимого Павлом I и умершего в 1800 г. в опале.

В самом деле, в рукописи Державина ясно написано имя Суворова. Очевидно Грот не решился напечатать это имя из соображений политических. Вводя его в текст, он признал бы тем самым, что русский царь обозначен у Державина названием тирана и вообще подвергся порицанию поэта. Все это было нежелательно,

и Грот постарался елико возможно скрыть фактическое содержание стихотворения, сделать вид, что оно ни к чему определенному не относится.

Поэтому же он принужден был в примечании сказать, что «Год сочинения указан рукописью», тогда как он указан датой смерти Суворова. Единственным же намеком на реальное значение Державинского отрывка в издании Грота может служить то, что вслед за ним Грот поместил четверостишие «На смерть Суворова» и затем надпись «На гробницу Суворова в Невском [монастыре]».

В Отчете Публичной Библиотеки за 1892 г. (стр. 15) искалеченный Гротом текст отрывка был восполнен указанием на пропущенное в нем имя Суворова.

Таким образом очень много оригинальных стихотворений Державина не вошло в академическое издание его сочинений. К переводам Грот относился еще более «свысока». Те переводы, которые Державин не напечатал сам, он вообще не считал особенно нужным опубликовывать. Так остались неизданными переводы Державина из немецких поэтов Галлера и Клопштока, почти совсем неизданными оказались и драматические стихотворные переводы. В предисловии к IV тому своего издания Грот прямо пишет: «Что касается до переведенных им [Державиным] пьес, то мы не сочли нужным печатать их целиком. Драматические переводы прежнего писателя могли бы только в таком случае иметь право на внимание наше, еслиб отличались, по крайней мере, отделкою в языке и стихе, но Державин ни по образованию, ни по роду своего таланта не в состоянии был придать переводам своим этого достоинства, тем более что не мог изучать в подлиннике избранных им итальянских и французских образцов и должен был переводить их по подстрочным переложениям, сделанным ему приятелями или родными... По этим соображениям мы решились представить читателям только отрывки из переводных пьес Державина» (стр. IX). У Грота в руках был текст четырех драматических переводов Державина: трагедий «Федра» Расина и «Зельмира» Де-Беллуа и опер «Тит» и «Фемистокл» Метастазио. Он напечатал из каждой оперы по отрывку; больше всех повезло «Зельмире»: из нее попал в издание довольно значительный кусок, 5 сцен (по Де-Беллуа—6) из II действия. Из обеих опер дано лишь по одному явлению, что же касается



Желаніе.

Богамъ земнымъ сближаться
Ни чуть я не ищу;
И больше возвышаться
Ни какъ я не хочу.

Души моей покою
Желаю только я:
Лишь будь всегда со мною
Ты Дашинька моя.

СТРАНИЦА ИЗ РУКОПИСНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА „СОЧИНЕНИЙ“ Г. Р. ДЕРЖАВИНА С РИСУНКАМИ ХУДОЖНИКА И. ИВАНОВА

Институт Русской Литературы, Ленинград

«Федры», то Грот не нашел ничего лучше, как поместить в своем издании перевод знаменитого монолога Терамена, напечатанный еще при жизни Державина (Грот пишет, что и этот отрывок «помещается здесь только потому, что он уже был напечатан», т. IV, стр. 767), остальной же, совсем неизвестный текст так и остался неопубликованным.

То обстоятельство, что Грот так обошелся с драматическими переводами Державина в стихах, печально в особенности потому, что тексты этих переводов не сохранились в архиве, собранном Гротом.

Почти так же, как с поэтическим наследием Державина, управился Грот и с его прозой. Для литературоведа представляет значительный интерес трактат Державина о поэзии, содержащий теоретические высказывания поэта о его искусстве,—«Рассуждение о лирической поэзии». Державин печатал свою объемистую работу в «Чтениях в Беседе любителей Российского слова». Здесь была помещена в 1811 и 1812 гг. основная часть работы, посвященная по преимуществу оде. Потом, в 1815 г., печатание возобновилось после следующего примечания: «Почтенные посетители благоволили слышать рассуждения мои.... о древней и средних веков лирической поэзии. По порядку теперь должно бы говорить о новейшей, то-есть: о Кантате, Оратории, Сонете, Мадригале, Триолете, Рондо, Серенаде, Опере, Балладе, Стансе, Романсе и простой песни, в чем они различествуют между собою и что в них сочинители наблюдать должны, но как это более относится к классическому наставлению учеников и навело бы может быть скуку, то, предоставя себе такое Рассуждение напечатать вообще в особой книжке, здесь скажется только об опере... и также о самом последнем степени лиры, т. е. о простой песни»... и т. д.

Далее идут главы об опере и о песне.

Грот ничего не говорит о том, написал ли Державин вторую часть своей работы, посвященную всем перечисленным им жанрам или нет. В Гротовском же издании «Рассуждение» дано в том объеме, в котором оно было напечатано в «Чтениях».

Между тем продолжение «Рассуждения» было написано и вполне закончено Державиным; более того: оно было подготовлено к печати при общей подготовке последующих томов собрания сочинений, начавшего выходить в 1808 г.

В целом—это большой труд, изобилующий интереснейшими суждениями Державина, дающий представление о круге его сведений о литературе, о его вкусах, о путях его эстетической мысли.

Вся эта вторая часть трактата осталась совсем неизданной Гротом, может быть не заметившим ее среди бумаг, собранных им. Примечательно здесь еще следующее обстоятельство: в «Рассуждение» Державин включил множество примеров—стихотворений своих и чужих. Так было в первой изданной части, так и во второй. В частности, во второй части помещено несколько неизданных стихотворений самого Державина. Грот конечно «пропустил» их, и они не попали в его издание.

Приведенных выше материалов, как кажется, достаточно для характеристики полноты издания, выходившего под редакцией Я. К. Грота с 1864 по 1883 г.

Остается сказать несколько слов о работе Я. К. Грота над текстом своего издания и о датировке стихотворений, которую он дает. В отношении к датам Грот не всегда точен. Приведу один пример. Грот печатает стихотворение «Лето» под 1805 годом. Основанием для этого служило повидимому лишь то, что как это стихотворение, адресованное И. И. Дмитриеву, так и ответное послание Дмитриева были напечатаны в «Вестнике Европы» в 1805 г. (в сентябрьской и октябрьской книжках). Грот объясняет, что Державин послал свое стихотворение Дмитриеву из Званки, где он проводил лето (все это верно).

Между тем он сам тут же приводит цитату из Жихарева, записавшего 9 января 1805 г., что Дмитриев заставил его «прочитать послание его [Дмитриева] к Державину, в ответ на присланные стихи нашего Пиндара». И так у Грота получается, что Жихарев в январе 1805 г. читает ответ Дмитриева на стихи Державина, написанные летом 1805 г.

Вслед за стихотворением «Лето» под тем же 1805 годом Грот печатает «Цыганскую пляску», явившуюся своеобразным ответом Державина на ответ Дмитриева. «Цыганская пляска» была напечатана в «Вестнике Европы» за ноябрь 1805 г. (очевидно журнал сознательно из номера в номер сообщал по частям эту поэтическую переписку).

В Державинских рукописях (бывших у Грота) есть автограф (получерновой) «Цыганской пляски». На нем прямо под заглавием написана рукою Державина дата, потом жирно зачеркнутая. Однако под зачеркнутым можно прочесть: «10 Генваря 1805 года»; та же дата повторена и в списке стихотворения, выправленном Державиным.

Следовательно «Лето» написано в 1804 г.[1]

Это отсутствие внимательной работы, детального и тщательного чтения рукописей слишком часто дает себя чувствовать в издании Грота. В частности это сказывается например в публикуемых Гротом вариантах. Объясняя в предисловии к первому тому своего издания необходимость публикации Державинских вариантов, Грот писал: «...Для избежания произвола в выборе их [вариантов] мы обыкновенно приводим все отличия прежних печатных редакций стихотворений, исключая разве самые ничтожные несходства... Когда рукописи представляют стоящие внимания варианты, то они извлекаются и оттуда» (стр. XXXVIII).

Конечно это «стоящие внимания» открывает простор для того самого произвола, о котором пишет Грот; к тому же анализ рукописей Державина показывает, что Грот слишком часто считал «стоящими внимания» те варианты, которые были написаны Державиным четко; те же, прочтение которых представляло затруднения (хотя бы и вполне преодолимые), оказывались не стоящими внимания и в издание Грота не попадали. В результате читатель не получает достаточно полного представления о рукописных вариантах Державина.

Вольное обращение с текстом поэта сказалось и в пунктуации (и в орфографии) Гротовского издания. Говоря о точности воспроизведения текста, Грот пишет в том же предисловии к первому тому: «Впрочем точность наша не простиралась ни на правописание, ни на знаки препинания, потому что то и другое в сделанных при жизни Державина изданиях не принадлежит вполне ему самому; в рукописях же его нельзя отыскать каких-либо постоянных оснований орфографии»... и т. д. (стр. XXXVII). Грот не совсем прав. Текст издания 1808 г. утвержден самим автором во всех деталях. Он авторитетен и в отношении правописания и пунктуации. Изменяя пунктуацию, подгоняя ее под нормы, им же отчасти декретированные, Грот очень часто менял весь характер Державинской фразы, тем более что у Державина знаки препинания призваны были играть своеобразную роль указателей смысловых акцентов и в то же время адэкватного способа произнесения стиха. И смысловатые оттенки, и ритмический рисунок Державинского стиха сглажены Гротовским насилием над ним.

Ряд оттенков смысла утерян в Гротовском издании и благодаря нивелировке правописания, подгонки его под нормы второй половины XIX в. (напр. в области слитного и раздельного написания слов).

Таким образом необходимо признать, что издание сочинений Державина, сделанное Гротом, в свое время без сомнения ультра-научное и в течение ряда десятилетий пользовавшееся репутацией образцового, в настоящее время в значительной мере устарело. Между тем огромность и крайний академизм Гротовского издания до последнего времени производили сильное впечатление на литературоведов и парализовали развитие изучения Державина.

С 1868 по 1878 г. выходило повторение большого Гротовского издания в малом формате, без иллюстраций и без последних двух томов. После обоих Гротовских не появлялось вовсе сколько-нибудь серьезных изданий Державина, даже вообще полных собраний его сочинений. Были лишь «избранные» и ничем не примечательные.

В журналах («Русский Архив» и др.) появлялись кое-какие материалы о Державине, отдельные его письма и т. п., но в малом сравнительно количестве и не очень значительные по содержанию.

В смысле приведения в известность литературного наследства Державина после Грота следует указать лишь три факта.

В 1892 г. в Публичную Библиотеку поступило 40 томов «Бумаг Державина», бывших в руках Грота; в 1895 г. вышел отчет Публичной Библиотеки за 1892 г. В нем дано описание вновь поступившего собрания и опубликовано из него кое-что.

Затем в 1916 г. по случаю столетия со дня смерти Державина его памяти был посвящен целый выпуск казанского «Вестника Образования и Воспитания» (кн. 5—6) под редакцией Л. К. Ильинского и В. Л. Богоявленского. Здесь кроме ряда статей даны также сведения о музейных реликвиях, связанных с памятью Державина, находящихся в Казани, и опубликован ряд документов, относящихся к его биографии, и варианты к его стихотворениям по рукописям, хранящимся в Казани.

Наконец в 1917 г. в «Известиях Отделения русского языка и словесности Академии Наук» (т. XXII, кн. 1) была напечатана статья Л. К. Ильинского «Из рукописных текстов Г. Р. Державина». Автор высказывает несколько критических замечаний о текстологической работе Грота, отмечает недостатки ее и затем дает исследование нескольких стихотворений Державина, привлекая рукописный материал, неиспользованный Гротом.

II

Если литературовед, работающий над Державиным, располагает помимо Гротовского издания лишь самыми скудными печатными материалами, то, наоборот, множество материала он может почерпнуть из рукописей, из архивных фондов. Я укажу самые основные фонды, обследованные мною.

В первую очередь необходимо назвать упоминавшиеся уже неоднократно «Бумаги Державина», поступившие в Публичную Библиотеку в 1892 г., описанные в отчете Библиотеки за этот год и составляющие 40 томов. Почти все они в переплетах. Часть этих томов собрана и переплетена еще при жизни Державина под его наблюдением и при его участии.

Такие томы удобны для изучения, так как материал в них подобран более или менее единообразный и ограниченный даже хронологически. Впрочем и здесь случается, что в томе, заключающем например стихи не Державина, подаренные ему авторами, и т. п., мы найдем рукописи его собственных произведений. Но гораздо хуже обстоит дело с томами, переплетенными уже после того, как соответственные бумаги попали к Гроту. Между тем именно рукописи стихотворений Державина в основном заключаются в этих последних томах.

Эти рукописи представляют собою целые кипы тетрадей, листов, листков разного формата, разного вида. В томах собрания Публичной Библиотеки они переплетены врассыпную. Некоторая, впрочем далеко не реализованная вполне, тенденция распределить материал между томами была. Так в первом томе помещались стихотворения XVIII в., во втором—стихотворения последних лет жизни Державина. Но не говоря уже о том, что в других томах рассыпано множество рукописей, вовсе недиференцированных хронологически, внутри томов, даже если говорить о первых двух, царит полный хаос.

Черновики одного и того же стихотворения, относящиеся к одному и тому же времени, находятся в разных местах.

Более того: первый лист одной и той же рукописи может быть отделен от второго десятками посторонних листов. В общем есть все основания предполагать, что тома вовсе не собирались исследователем, а отобранные кипы просто передавались переплетчику, который и переплетал их в том более или менее случайном порядке, в котором они лежали в папке у этого исследователя.

Между подлинными рукописями (автографами и списками, сделанными под наблюдениями Державина и чаще всего им поправленными) попадаются списки, повидимому сделанные для Грота.

Наконец толстенные томы переплетены так, что края листов, уходящие под корешок, недоступны для взора исследователя, а с ними нередко и части Державинского текста.

Полагаем, что было бы крайне желательно просто расшить эти поздние переплеты и хранить Державинские рукописи более культурно.

Укажу некоторые разделы собрания Публичной Библиотеки, в особенности примечательные с точки зрения содержащегося в них нового материала для изучения Державина.

В области его поэтического наследия, как я уже говорил выше, собрание Публичной Библиотеки дает много неопубликованного материала. Здесь имеются помимо огромного количества неизвестных в печати вариантов к стихотворениям, вошедшим в Собрание сочинений Державина, неизданные стихи ранней поры его творчества, неизданные вещи зрелой эпохи, поэтические мелочи, стихотворные переводы, неоконченные произведения, отрывки. Для иллюстрации приведу несколько текстов. Вот одна из ранних песен Державина (15-я), доселе неизданная.

Вседневно муки умножая,
Всечасно прелестьми маня,
Не льсти напрасно, дорогая,
Своей любовию меня.
Кто может быти столько страстен,
Как я, тебя любя, мой свет.
Во мне рассудок мой не властен;
В тебе душа моя живет.
  Так кто ж меня и в том уверит,
  Коль чувствую сто раз собой,
  Что твой мне вид не лицемерит,
  Что я равно любим тобой?

Их Превосходительству милостивому государю Ивану Петровичу Тургеневу от Сочинителя

ПЕРЕХОДЪ ВЪ ШВЕЙЦАРІИ

ЧРЕЗЪ АЛПІЙСКІЯ ГОРЫ,

РОССІЙСКИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВОЙСКЪ,

подъ предводительствомъ Генералиссима;

1799 года.

Гдѣ только вѣтры могутъ дуть,
Проступятъ тамъ полки орлиныя.
Ода Г. Ломоносова.

Съ дозволенія Санктпетербургской Цензуры.

Въ Санктпетербургѣ, 1800.

Печатано въ Императорской Типографіи.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ОДЫ Г. Р. ДЕРЖАВИНА „ПЕРЕХОД В ШВЕЙЦАРИИ ЧРЕЗ АЛЬПИЙСКИЕ ГОРЫ“ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ И. П. ТУРГЕНЕВУ (1880 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Когда в свиданиях напрасно
Способны случаи проши,
Где б мы взаимно, нежно, страстно
С тобой утешиться могли.
Мою ты страсть и муку зрела
И видела, как я грустил.
Во мне вся кровь тогда кипела,
Я млел и вне себя весь был.
Ты видела и все то знаешь,
Как много я тебя люблю;
Ты видела, а не смягчаешь
Тех мук, что я тобой терплю.

Вздыхаешь ты, как я вздыхаю,
Горишь, как я горю любя,
А я еще не получаю
Чего желаю от тебя.
Грущу, мятусь, стеню, страдаю;
Когда я вправду буду мил?
Всех царских тронов не желаю,
Лишь бы тобою счастлив был.

Значительно позднее Державин обработал эту песнь заново, переделывая четырехстопный ямб в трехстопный. Вот начало позднейшего текста.

Мученье умножая
И прелестьми маня,
Не льсти своей, драгая,
Любовию меня.

Ты видишь, что я страстен,
Что я люблю тебя,
Что разум мой не властен
Преодолеть себя...

Сначала переработка производилась прямо на старом тексте, путем внесения в него исправлений; но на этой стадии работа не была доведена до конца. Законченный новый текст песни находится в позднейшем рукописном томе в собрании ИРЛИ (здесь он писан рукою писца).

Приведу примеры отрывков неоконченных стихотворений, рассеянных среди бумаг Державина. Первый из них относится скорей всего к 1790—1791 гг. (так как увольнение Державина от кабинет-секретарства с переводом в сенаторы в 1793 г. не было увольнением от службы вовсе).

КАРТИНА СВЕТА

К Полуехтовичу, или ко счастию.
По увольнении от службы автора
179*

Надежда, счастие прощайте,
Довольно вы играли мной
Теперь другими вы играйте,
Меня пустите на покой
Жиблаз лист (

Спасибо Полуехтыч милой
За хлеб, за соль и за тепло
Твой света оборот игривой
В большое видел я стекло.
Так видел каверзы, затеи
И дурь и мудрость всю твою.
Вчерась крючки, днесь портупеи
Вскружили голову мою...

Видимо сюда же относится такой набросок:

Ни на кого не нападал,
Лишь защищал и защищался,
Царей и бога прославлял
И сам лишь ими прославлялся...

(Пропускаю 4 стиха, менее отделанные)

Героев зрел не раз в мой век,
Как Полуехтыч их кидает,
Весь ум и блеск их исчезает,
Лишь остается человек...

Ряд отрывков относится к последним годам жизни Державина, частью к войне с Наполеоном.

Начало стихотворения «Завоевателю Вселенной» набросано на обороте письма к Державину от 30 сентября 1813 г.

ЗАВОЕВАТЕЛЮ ВСЕЛЕННОЙ

Брось свет, как бисер многоценный
По небу, как по блюду, Фив.
И персты розовы священны
На струны Арфы наложив,
Бряцай, звучи, греми блистая
Как вихрь, из тону в тон летя,



Сквозь тучи вкругъ лежащи, черны,
Твой горній кроющи полетъ,
Носящи страхъ намъ, скорьби зѣльны,
Ты грянулъ наконецъ! — и свѣтъ
Отъ молніи твоей горящей,
Сердца Алпійскихъ горъ потрясшей,
Струей Вселенну пролетѣлъ;
Чрезъ не приступны переправы,
На высотѣ ты новой славы
Явился Сѣверный Орелъ!

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОТДЕЛЬНОГО ИЗДАНИЯ ОДЫ Г. Р. ДЕРЖАВИНА „ПЕРЕХОД В ШВЕЙЦАРИИ ЧРЕЗ АЛЬПИЙСКИЕ ГОРЫ“ (1800 г.)

Институт Русской Литературы, Ленинград

Как Пиндар дерзко начиная
Или Гораций как, шутя
Пой песнью звучной, несравненной
Завоевателя вселенной.
Европе наложи[в] оковы
Из бренья сотворя царей
Занес уж он перун готовый
На росских тьмы земель, морей
И мнил завоевать вселенну;
Но что? о Горе богатырь!
Ты из орла, став нетопырь!
У ног кружишься Александра
Где зев твой, где огнь Саламандра?

Вот законченная строфа:

Я воспел бы тебе гимны
Как владычице моей,
Но огни мастики дымны
Коль святой душе твоей,
То позволь хоть мне невинно
Чувствы петь твоих детей
Отличившихся средь боев,
Шедших на огонь челом;
Мы почтим теперь героев
Лавром, дружбой и вином
И воскликнем в вечну славу
Роску бранную державу
Славу белого царя
Ура, Ура.

Следующее четверостишие относится повидимому к Наполеону:

Какой тиран со древних веков
Мог высших зол явить степень;
Рек: тысящами человеков
Могу плевать я всякой день.

Следующий отрывок написан на обороте письма к Державину от 3 апреля 1811 г.

ЧЕЛОВЕК

Див средоточие господних
Объемлющих Зенит, Надир,
Стихиев связь противоборных,
О человек! о малый мир.

Затем идет набросок:

На темную ночную сферу
Свет бледный сыпала луна;
Так очарованный в пещеру
Введен я некоей рукой
Средь дремлющего всюду бору
Где осязанью, слуху, взору
Ничто не прикасалось
В глубокой тишине.

Следующий набросок начала стихотворения относится может быть к 1790—1791 гг., когда Державины заново переделывали купленный ими дом на Фонтанке.

Зодчий Аттики преславный,
Мне построй покойный дом,
Вот чертеж и мысли главны
Мной написаны пером.
На брегу реки Фонтанки
Положи...

К последним годам жизни относится набросок шуточного романса «Тай и Нета», посвященного собачкам Державина.

РОМАНС «ТАЙ И НЕТА»

Был Тай, была и Нета,
Сошлись они судьбой
От стран различных света
Жить в дом господской мой.
Та маленькая сучка,
Сей кроткий кобелек;
Та лекаршина внучка,
Он звался мой сынок.
Их долг—было в лежанье
Все время провождать,
А иногда в игранье;
А иногда брехать.

(Послѣдніе стихи Державина.)

Рѣка временъ въ своемъ стремленьи
Уноситъ всѣ дѣла людей
И топитъ въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей;
А если что и остается
Чрезъ звуки лиры и трубы
То вѣчности жерломъ пожрется
И общей не уйдетъ судьбы...

1820 ноябр 26
Пушкинъ.

„ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ ДЕРЖАВИНА“,
ЗАПИСАННЫЕ ПУШКИНЫМ В АЛЬБОМ Б. А. ОСТАФЬЕВА
Автограф ныне утерян
Собрание Б. В. Садовского, Москва

И всякой день доволь[но]
Покушать и попить,
На ложе своевольно
Или на двор сходить.
Такая жизнь приятна
Казалась им текла,
Но чья же не превратна
На свете где была? (конъектура)
Хотя была уж Нета
Не так-то молода,
Очьми не зрела света,
Зубами не тверда,

Но Таю показалась
Богиня в ней собак,
В взор белизна мешалась *(конъект.)*
Его пленяла зрак.
В дни древни и богами
Ворочала любовь
И вот она сердцами
Шутя, зажгла в них кровь.
По черепья и[х?] белизне
Глаз черных и носов
По ног их кривизне
Одна была в них кровь.
Или чрез все преграды
При дверях слезы лил:
Пел жалки серенады,
Кастрат, сопран он был.

В «Бумагах Державина» хранятся автографы и списки рукой писаря, проверенные и исправленные автором, и множества его прозаических произведений.

Я говорил выше о второй части его «Рассуждения о лирической поэзии», текст которой сохранился в этом собрании, но не был опубликован Гротом. Эта вторая часть начинается главой, посвященной характеристике и истории жанра кантаты как светской, так и духовной (здесь говорится между прочим и о истории церковной музыки).

Дальше идут краткие главки о мадригале, сонете, триолете, рондо, серенаде. В главе о сонете интересно указание на то, что сам Державин перевел свои сонеты из Петрарки («Посылка плодов», «Прогулка», «Задумчивость») с «Буквального перевода г-на Шишкова».

Приведу для примера главку о серенаде.

«С е р е н а д а слово Итальянское, означающее вечер, потому что стихотворное сие сочинение, положенное на инструментальную и вокальную музыку, поется при вечере в хорошую погоду пред каким-либо домом в честь любезному предмету. Серенада более употребляется в Гишпании. Будучи препровождаема тихо в безмолвии, в мрачную, или несколько лунную ночь, на цитре, на гитаре, или на какомнибудь другом инструменте в открытом воздухе, весьма трогает сердце. Само по себе разумеется, что она должна быть нежною, страстного содержания. Греки весьма пристойно называли ее жалобною песнию, пред дверями воспеваемою. Эстетики полагают в сей род Горациеву I части XXV-ю оду к Лиде».

Далее, вслед за примерами стихотворений различных жанров, идет большая глава об оратории, содержащая и исторические сведения, и анализ жанра; затем— глава об опере, напечатанная, затем—глава о романсе, снабженная двумя примерами: «Вахмистр» И. И. Дмитриева (в поздних изданиях Дмитриева «Каррикатура») и «Царь-Девица» самого Державина.

Вслед за главой о романсе идут главы о балладе (краткая с рядом примеров) и о стансе (большая глава с историческим экскурсом). В этой последней интересно замечание о рифмах; речь идет о стансах во французской поэзии:

«В сем случае стихи их располагаются таким образом, что веселые чувства изъясняются при окончании каждого станса мужеским стихом, потому что будто мужеские не столько располагают к нежной унылости, сколько женские; но сие может быть свойственно французской поэзии, а в Российской унылость, веселость или нежность не привязаны кажется ни к мужеским, ни к женским стихам, но дают им оттенки те или другие чувства сердца стихотворческого»...

Дальше идет напечатанная глава о песне.

После нее начинается новый раздел «Рассуждения». Здесь дана классификация всей лирической поэзии не по жанрам, а по тематическим типам: у французов— разделение на духовную, героическую, философическую и общежительную оду, у немцев—на размыслительную или философическую, фантастическую (вообразительную) или описательную, «чувственную или чувства одни изъявляющую, смешанную, или те и другие свойства содержащую; но г-н Гецель к оным прибавляет и V-ю так называемую им Амбеическую, или перекликную».

Далее идет объяснение этих терминов и примеры—отрывки из од.

Например об оде смешанной говорится:

«Ода смешенная та же самая и общежительная, о коей говорено выше. Поелику же оба вышеимянованные противусмысленные филологи ее допускают, то кажется

и все разделы прочих едва ли не напрасны, потому, что в ней одной стихотворец может говорить обо всем. Похваляя героя, прославлять бога; описывая природу, проповедывать нравоучение и проч. Разность предметов производит разнообразие и рождает изобилие, оказывает остроту ума, как молнию от одного края неба до другого мгновенно устремляющуюся; что возбуждает удивление; но только тут весьма нужно здравомыслие или логика. Поелику в таковых смешанных одах удобно помещаются похвалы иносказательные и намеками, которые подобно тонкому благоуханию или тихой гармонии издалече со стороны приносимыя увеселяют более сердца чувствительные и благородные, нежели близкое и грубое громогласие или густой фимиама дым, прямо в лицо куримый, то они и нравятся лучше людям, вкус имеющим. Внезапное же совокупление всех далеких и близких лучей или околичностей к одной точке есть верх искусства; оно-то потрясая душу называется изящным или высоким». Вслед за этим идут примеры из «Оды к Фелице» и др.

Далее дается классификация од по новому признаку на следующие группы: Генетлиаческая—на день рождения. Эпиталамическая—на брачное сочетание и т. д. вплоть до Просевтической — просительной у бога, у государя или вельмож, и Апологической — басельной.

За объяснением этих терминов Державин отсылает к Способу к сложению стихов Тредиаковского, «им выданном в 1735 году». Впрочем тут же он высказывает скептическое отношение к «умничеству», заключающемуся в этой номенклатуре.

Вслед за этим следуют две страницы текста, зачеркнутые автором; в них высказана весьма существенная мысль о том, что в творчестве каждого мастера искусства выражаются черты его индивидуального дарования и потому произведения искусства удобно располагаются не по жанрам, а по характеру личных творческих типов их творцов. Если художники, музыканты, зодчие и ваятели «распознаются... по их характерам, привычкам и вкусам, то для чего бы кажется не различить и не распределить и лирических поэм по именам их славных мастеров, не говоря о их содержаниях, или не ограничивая их, о чем бы они ни были.

Например: оставя духовные неприкосновенными, для чего бы не назвать героической или похвальной оды — Пиндарическою. Философической или размыслительной — Горацианскою. Страстной или пламенно-любовной — Сафическою. Роскошной или веселошутливой — Анакреонтическою. Меланхолической или военно-унылой — Оссиянскою; Применяясь к почерку или вкусу их, как выше они написаны; Ломоносов более отменен частыми радостными, почти одинаковыми восторгами, величественными картинами и благозвучием, нежели беспрерывным парением и глубокими мыслями».

Здесь заканчивается зачеркнутый текст, далее идет исторический обзор форм композиции и стиха лирики.

«Состав, форма, или наружный распорядок од еврейских можно видеть в псалтире, на немецкой язык переведенной славным Мендельсоном, напечатанной 1783 года в Берлине».

Потом описываются оды Пиндара и других греческих поэтов, затем говорится о Горации; к этому месту в рукописи дано приложение, которое в печати должно было быть прибавлено в конце книги с ссылкой на него в тексте.

Это приложение содержит метрические схемы од Горация первых двух книг и названия соответственных строф. Составил приложение (оно занимает 10 страниц) А. Котельницкий.

Затем Державин пишет: «В Германии, в новейшие времена, Клопшток первый ему (Горацию.—*Гр. Г.*) в том последовал, а после его и многих уже видим немецких стихотворцев пишущих свои оды разными формами и разномерными стихами с рифмами и без рифм, каковы и у нас ныне появляются. Тредьяковский давно уже о них говорил в способе своем о сложении Российских стихов, изданном им в 1735 году. Там он показал многие примеры, не токмо разномерных стихов, но и разносчетных куплетов, сказав, что будто не бывает более десятистрочных; но напротив в Пиндаре видим не токмо в строфах и антистрофах, но и в некоторых эподах более нежели по 14-ти стихов. Клопштокову оду для примера прилагаю».

Здесь Державин сделал на полях помету:

«Тут на 102 строки оставить место». Мне неизвестен в его рукописях текст перевода из Клопштока логаэдическими строфами на 100—102 стиха.

Затем Державин переходит к формам поэзии индийской, арабской, персидской, грузинской и скандинавских скальдов (эдды), потом китайской. Наконец Державин дает краткий очерк русской метрики. (Рукопись, изложенная выше, находится в 5-м томе «Бумаг Державина».)

III

Собрание «Бумаг Державина» в Публичной Библиотеке в Ленинграде интересно не только благодаря большому количеству собственно Державинских рукописей, заключающихся в нем, но и по рукописям, относящимся к Державину и просто собранным им и заполняющим в этом собрании целые томы.

Нет необходимости давать хотя бы краткое описание этого собрания целиком, поскольку оно описано по томам в Отчете Публичной Библиотеки за 1892 г. Но я считаю полезным указать некоторые его составные части.

В «Бумагах Державина» сохранилось в рукописях множество стихотворений, ему посвященных и адресованных. Здесь оды и послания, стихи на разных языках, автографы и каллиграфические подносные списки, иногда разукрашенные.

Эти стихотворения как написанные настоящими поэтами, так и составленные дилетантами или же просто неискусными виршеслагателями интересны и сами по себе, и для характеристики значения Державина как деятеля и поэта, характеристики отношения к нему тех или иных групп его читателей и современников.

Кроме стихов, непосредственно адресованных Державину, в его бумагах сохранилось множество рукописных стихотворений (и документов), подаренных ему, переданных ему для отзыва или исправления, или же заинтересовавших его чем-нибудь. Конечно в его архиве много стихов его друзей; так, целый том занят произведениями Н. А. Львова (том 37), и кроме того они встречаются в других томах (38,39). Попадаются стихотворения Капниста (см. напр. тт. 39, 22), Дмитриева и т. д. Попутно отмечу, что друзья Державина немало исправляли его стихи, хотя далеко не всегда он принимал их исправления. Грот в своем издании Державина опубликовал не все «редакции», предложенные друзьями. Соответственные рукописи есть в бумагах Державина в Публичной Библиотеке.

В многочисленных томах этого собрания мы найдем и стихотворения Котельницкого, и стихотворения В. Миклашевичевой, и целую непристойную поэму Н. Осипова(?), перелицовку «Душеньки» Богдановича и т. д. и т. д.

В виду подъема интереса к судьбе литературного наследия Гете в России в связи с прошедшей только что датой столетия его смерти я приведу здесь два стихотворных перевода из его произведений, также нашедших себе место в Державинском собрании. Они написаны видимо авторской рукой в тетради, в которой вписаны также следующие стихотворения: перевод баллады Шиллера «Журавли Ибика», перевод баллады Лангбейна «Отцеубийца» и стихотворение «Каков Свет? (Рапсодия)», подписанное «В. Бр—ръ». Эта подпись, без сомнения, может быть распространена на все стихотворения тетрадки. Тетрадь заканчивается заметкой (может быть представляющей начало переводной статьи) о Гете, необычайно хвалебного содержания.

Первое приводимое ниже стихотворение—перевод из Гете—написано в тетради дважды; в первом тексте есть поправки. Второй текст чистовой. В тексте второго стихотворения—также поправки, может быть даже рукою Державина.

Оригинал первого стихотворения называется «Verschiedene Empfindungen an einem Platze», второго—«Der Schatzgräber».

РАЗЛИЧНЫЕ ЧУВСТВОВАНИЯ НА ОДНОМ МЕСТЕ

(ПОДРАЖАНИЕ ГЕТЕ)

Девушка

Где скрылся мой милой?
Какой это силой
Влекусь я к нему!
Его лишь примечу,
То брошусь на встречу,
Предамся ему.
Ах нет! так забыться,
Чтоб в том мне открыться!..
Скалы и деревья!
Сокройте меня.

Юноша

Здесь должно прекрасной,
Но ах! и бесстрастной
Быть Девушке, здесь.
Я, как ни пылаю,
Скрывал и скрываю
Страсть сердца по днесь.
Но полно таиться,
Уж время открыться.
Скалы и деревья,
Меж вами она.

Наскучивший светом

Во веки, во веки
(О горы! о реки!
Клянуся вам в том)
Жить в сих местах буду.
Все, все я забуду!
Построю здесь дом.
Здесь сердце не страждет,
И славы не жаждет—
Я с светом простился
И с горем его.

Охотник

Сегодня мне было
И любо и мило

Почти через чур.
Набил я, охотник,
Досужый работник,
И уток и кур.

Какое же счастье
Мне—в ведро, в ненастье!
Да здравствует порох!
Да здравствует дробь!

ВОРОЖЕЙ

(Из Гете)

Беден златом, сердцем болен
Влек я в грусти жизнь несносну.
Нищету терпев поносну,
Вздумал кладу я искать
Быв всем в свете недоволен
Беден—и чего ж бояться?
Лучше дьяволу отдаться:
Он умеет помогать.

Начертил я круг за кругом,
Разложил огонь всеместно,
Ворожить ведь не бесчестно—
Заклинание свершил.
Погоняем недосугом,
Стал искать я клад зарытый;
Звезды тучами покрыты,
Луч блистал, и ветер выл.

Вдруг я вижу свет, похожий
На звезду, в дали, в тумане.
То случилося не ране
Как полночною порой.
Был ли то какой прохожий
С фонарем, иль черт, иль леший,
Иль безумец в лес зашедший
Нет то Отрок был. Какой?

Отрок милой, Отрок нежной,
На главе с венком, с улыбкой
На устах, веселой, гибкой,
С чашей золотой в руке,
Он рукою белоснежной
Дал мне пить из этой чаши
Что-то, пред чем вины наши,
То же что вода в реке.

Услади свое ты горе,
Он сказал, и ты узнаешь
То, что счастьем называешь;
Перестанешь ворожить.

Ты себе пособишь вскоре,
Естьли днем прилежен будешь,
Вечер придет—все забудешь,
Чтобы с кем поесть, попить.

(«Бумаги Державина», т. 39.)



ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА „АНАКРЕОНТИЧЕСКИХ ПЕСЕН“ Г. Р. ДЕРЖАВИНА (1804 г.)

Публичная Библиотека, Ленинград

Из документов, хранящихся в числе «Бумаг Державина» в Публичной Библиотеке, укажу например на любопытные замечания членов «Беседы любителей Российского слова» о литературных произведениях, представляемых на суд «Беседы».

Приведу замечания об ироикомической поэме Шаховского «Расхищенные шубы» («Бумаги Державина», т. 5).

«Замечания 2 разряда о Предисловии.

стр. 1. Шутливым поемам между классическими произведениями почетное место, кажется, не принадлежит.

стр. 2. Италиянского стихотворца Tassoni надлежит, кажется, и по-русски называть Тассони, а не Тассоний, Английского же Prior—Прайер, а не Приор, потому что и в епитафии его в рифму к его имени поставлено слово higher.

стр. 4. Говоря о Брачиолини, сказано: в комической своей поеме; здесь своей кажется не нужно.

стр. 5. Поема г. Попе на англинском названа Похищение Локона, а не Похищенный Локон, The rape of the lock, а не The ravisched lock. Многим покажется дико считать, что сия поэма делает сочинителю таковую же честь как и Опыт о человеке; не лучше ли бы сказать о ней так, как говорят сочинители Британской Енциклопедии?

Развеселить словесность, выражение несвойственное. стр. 6. Lutrin не довершает славы Боало: он и без сей шуточной поемы был бы славен.

Говоря о поэме Майкова, надлежало бы упомянуть преимущественно о Игроке Ломбера.

стр. 7. Душенька не потому не принадлежит к шуточным поемам, что содержание ее почерпнуто из баснословия и что она написана вольными стихами, но потому, что содержание сие не смешное и слог не шуточный.

Вообще кажется, что в предисловии слог не имеет той живости, какая была бы прилична для приступа к шуточному сочинению. В некоторых местах проза идет стихами. Есть ошибки в правописании; но они, конечно, от переписчика.—Все то, что сказано к лицу Беседы, надлежало бы выпустить: хвалить то общество, в котором сочинитель сам членом, не совсем пристойно; и суд публики страшнее, нежели суд Беседы.

Замечаний же Беседы не за настоящую критику, но только за приятельские советы принимать должно. По сей причине и мы не будем говорить ни слова о игривых картинах и хороших стихах, коих в первой песни весьма много, желаем, чтобы и вся поэма на оные походила, о всей же песни вообще мнения нашего сказать не можем, потому что нам ни расположение поемы ни число песней не известно.

О ПОЕМЕ.

Стих 1. Крамола—значит междоусобие, тайный скоп или заговор: у места ли здесь сие слово?

8. Возгнел. Употребителен ли глагол сей в прошедшем? Не лучше ли возжег?

10 и 12. Куда... собирались и праздновали. По словосочинению выходит здесь куда собирались и куда праздновали, надобно где праздновали.

20. Все вести, все слова. Вместо вести, не лучше ли поставить речи, тем более что в 23 стихе слово вести повторяется.

24. Вместо ты, муза лучше бы, кажется, о муза, и вместо твоей, своей.

25 и 26. Вместо местоимения кто не хуже было бы которого. 28, 29 и 30. Первые полустишия все оканчиваются на ы.

30. Родительный падеж множественного числа имяни крыло, крил, и крыльев, но не крылиев. Не худо бы избежать и повторения союза уж.

42. Здесь, кажется, веселость принимается в отвлеченном смысле, а в 44 в олицетворенном, и так не можно ли вместо сего поставить со стариной простились?

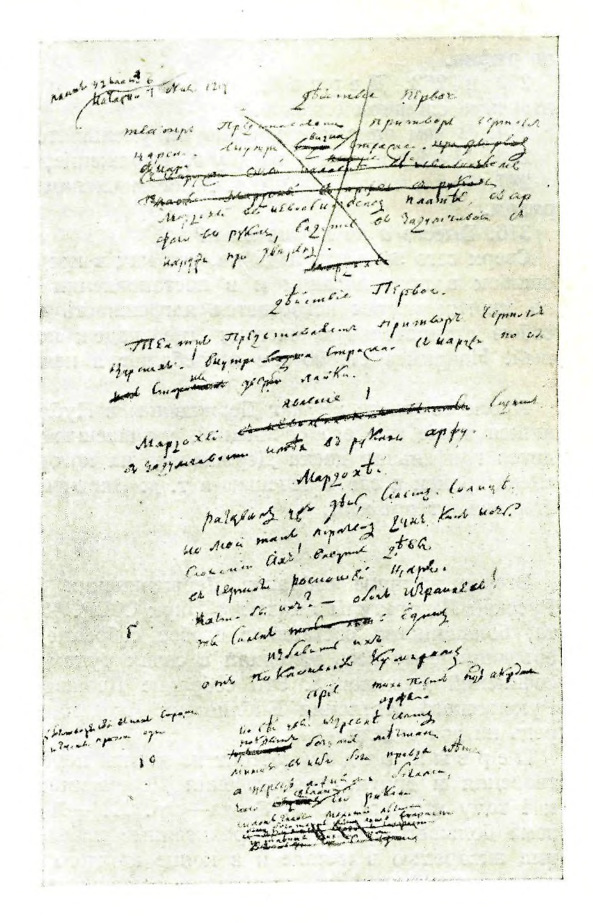
43—50. Катаются ли ночию на коньках, и зимою может ли оживиться Природа?

62. Вместо удержал не лучше ли хотел удержать, хотел ее схватить?

64—67. Не слишком ли сердито говорит веселость? Если же взгляд на Раздора произвел над нею сие действие, то хорошо бы это выразить.

68. Наречие быстро ослабляет смысл глагола мелькнула.

69—73. От огненного чувства, какова ярость, нельзя превратиться в камень, и в очах у камня не можно быть пламени; вышед же из окаменения, скорее возгореться, нежели охладеть можно.



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ ОПЕРЫ Г. Р. ДЕРЖАВИНА „ЕСФИРЬ“ (1814 г.)
Публичная Библиотека, Ленинград

75. Бодрый дух приять. Раздор и всегда духа не слабого. Не в утешение ли себе исчислял он свои подвиги? И пред кем он исчислял их? не воспоминал ли только?

78. Можно ли быть оглушену шипением и шиканием? Не был ли он ими только огорчен или оскорблен?

84. По смыслу как относиться может и к глаголу воспоминает, а по словосочинению показывает уподобление, что он был расхвален, так как в приятельском журнале.

88. Прилагательное пагубные совсем ли дверям прилично?

94. Пир ею у... неприятное стечение гласных.

106. Жребий имеет ли множественное? Если же и имеет, то жребия, но не лучше ли бы здесь поставить участи?

117. Под пухлою щекою конечно описка вместо над пухлою.

139. Родительный падеж мн. числа странствий, а не странствии.

141. Писаний, а не писаньи.

142. Подражанья, а не подражаньи.

142 и 148. Безчетны повторяется.

149. Мудрствия, а не мудрствии. Но природы мудрствия ушам не приятно.

162 и 163. В шуточной поеме говорить о развращении света и о упадке веры, кажется, не прилично.

182. Не можно ли слова Кипенье заменить каким иным?

187 и 189. Слово тма употреблено в двух различных смыслах; что, кажется, не хорошо.

196 и 217. Стихи начинаются: причина тайная.

Причину тайную так же довольно близко.

221. Рушилось ли сим волшебство? Раздор все еще предстоит в виде деда.

245 и 246. Множественное учрежденья и единственное смешенье не рифма.

259 и 263. Дерзай, стремись и стремись, дерзай опять повторение слишком близкое.

274. В сем описании хорошо ли уменьшительное спинкой?

276. Найтиться вдруг, выражение, в сравнении с предыдущими, слабое.

287. Уличитель вид. Многим членам не нравятся сии два существительные рядом.

316. Вместо *а* не лучше ли *и*?

Сверх сего заметить надобно, что как в предисловии, так и в поеме весьма много ошибок в правописании и в постановлении строчных знаков; против грамматики во многих местах встречается погрешность та, что с глаголами, имеющими пред собою отрицательную частицу не, падеж поставлен не родительный, а винительный. Например ст. 90 не истребляют в нем стыд, вместо стыда».

Кроме собрания «Бумаг Державина» в Публичной Библиотеке хранится упоминавшийся выше том его сочинений, украшенный рисунками Оленина. Здесь же находится грифельная доска Державина, на которой он написал свои последние стихи: «Река времен в своем теченьи» и т. д. Впрочем слова этих стихов почти совершенно стерлись от времени.

IV

Второе крупное собрание Державинских бумаг находится в архиве Института Русской Литературы Академии Наук СССР. Часть бумаг входит в архив Я. К. Грота, большинство составляет особое собрание, также восходящее к Я. К. Гроту, объединившему весь материал в своих руках во время работы над своим изданием сочинений Державина. Это собрание Державинских бумаг поступило в ИРЛИ из Рукописного отделения Библиотеки Академии Наук. Оно распадается в свою очередь на два отдела.

Первый отдел состоит из десяти переплетенных томов, заключающих стихотворения и другие произведения Державина. Они описаны вкратце в предисловии к I тому издания Я. К. Грота—стр. XII—XVI, №№ 4, 6 и 8^2,—в том числе три тома большого формата, переписанные набело очень красиво—с рисунками тушью или акварелью в начале и в конце каждого стихотворения (тут же вклеены часто карандашные рисунки, служившие эскизами для этих иллюстраций).

Кроме этих трех томов, конечно не имеющих даже поправок руки Державина, остальные, хотя и написаны в значительной части рукою писца, служили, как видно, рабочими тетрадями. В них много автографов; кроме того Державин часто сильно исправлял списки, сделанные писцом, превращая их в черновики. Таким образом эти семь томов имеют, наравне с первыми томами собрания Публичной Библиотеки, первостепенное значение для изучения текстов и творчества Державина.

Есть в этих томах и стихотворения, не опубликованные Я. К. Гротом. Приведу некоторые:

«ЗА ПРИСЫЛКУ КНИЖКИ
ОТ КНЯЗЯ ПАВЛА ГАВР. ГАГАРИНА».

Какие ты прислать имел мне книжку виды?
Ужель оценивать твой ум в ней должен я?
Опасен стрел колчан для жен и дев—Купиды,—
Вот мысль моя».

Это четверостишие относится повидимому к книге П. Г. Гагарина «Эротические стихотворения» (1811 г.; целый ряд библиографов приписывает этот сборник то Григорию, то Гавриилу Гагарину). Принадлежность его Павлу Гагарину удостоверяется, помимо косвенного указания печатаемого здесь четверостишия Державина, сличением стихотворений, помещенных в «Чтении для вкуса, разума и чувства» с подписью К. П. Г., т. е. князь Павел Гагарин, с сборником 1811 г. Может быть четверостишие Державина содержит и злой намек: жена Гагарина была любовницей Павла I; правда, это было дело давно прошедших дней: в 1811 г. не было уже в живых ни Павла, ни Анны Петровны Гагариной. Следующее стихотворение написано около 1810 г.; на нем есть помета «Авгсута 18 на Званке»

ИВА

Развесиста, ветвиста ива.
Белозеленый коей лист,
Приятна тень и тихий свист

Погодки дышущей, для дива
И для прохлад Харит сзывает,
Под коей Лиза отдыхает
На мягком луге в знойный час,
  О как ты ива тем счастлива,
Что стольких прелести зараз
Зефира порханьем игрива
Под тканью иногда у ней
Миг можешь зреть и утешаться;
Но сколь блаженней!—наслаждаться
Кто будет уже вечной ей;
  К кому она склонясь главою
И грудью прилепясь своей
В томящий час, как ты средь зною,
В уста прольет вздох с сладких уст,
И жизни удалит заботы;
Души своей явя доброты
Не даст злых чувствовать минут.

На следующем стихотворении есть помета «Июня 4 дня 1811 года на Званке»:

ДЕВИЧЬЯ МОЛИТВА

Амур! Амур! любви бог властный!
В день самый первый*, майский, ясный,
Алтарь тебе поставлен мной.
В саду, в тени древес густой.
Как* сводом мирт покрыт ветвями
И огражден вкруг роз кустами;
Я каждой утренней зарей
Из лилиев, сплетенных мной,
Венки тебе там посвящаю
  И в жертву вздохи воссылаю
  Молясь, чтобы приняв ее
  Желанье ты свершил мое
  Но ах! то все, то все напрасно,
  Прошла весна и лето красно
  И осень идет уж * на двор,
  А мой не обольщает взор
  Поднесь мущины ни какова.
  Се глас:—будь к ним с умом сурова.

Второй отдел собрания ИРЛИ состоит из большого количества официальных «дел» и документов, относящихся к служебной, административной, общественной и личной жизни Державина, они образуют более двух десятков объемистых связок. Для изучения биографии Державина они содержат большой материал.

Помимо этого собрания в ИРЛИ хранится довольно много отдельных материалов, относящихся к Державину. Здесь имеются автографы его стихотворений, его письма, документы; так в своем роде любопытна карандашная надпись под гравюрой, изображающей философа Платона.

О мудрый аристон! Взираешь ты бесстрастно
На гордость пышную, на варварство ужасно,
Глаза твои ни в чем никак тебе не лгут,
Что свет сей сборище, где дураки живут.

Тут же эта надпись переписана чернилами М. Лобановым (есть его подпись) и сделана им же помета:

«Сочинял и писал Державин у князя Н. Ал. Гагарина».

Между тем эти стихи, которые Лобанов считал экспромтом Державина (его считает автором четверостишия и подробный научно комментированный рукописный каталог собрания ИРЛИ по XVIII веку), представляют собой первые четыре строки из обширного дидактического стихотворения «Речь о равенстве состояний. Перевод», открывающего журнал «Невинное упражнение» 1763 г. (месяц Генварь. Третий стих Державин передал неточно).

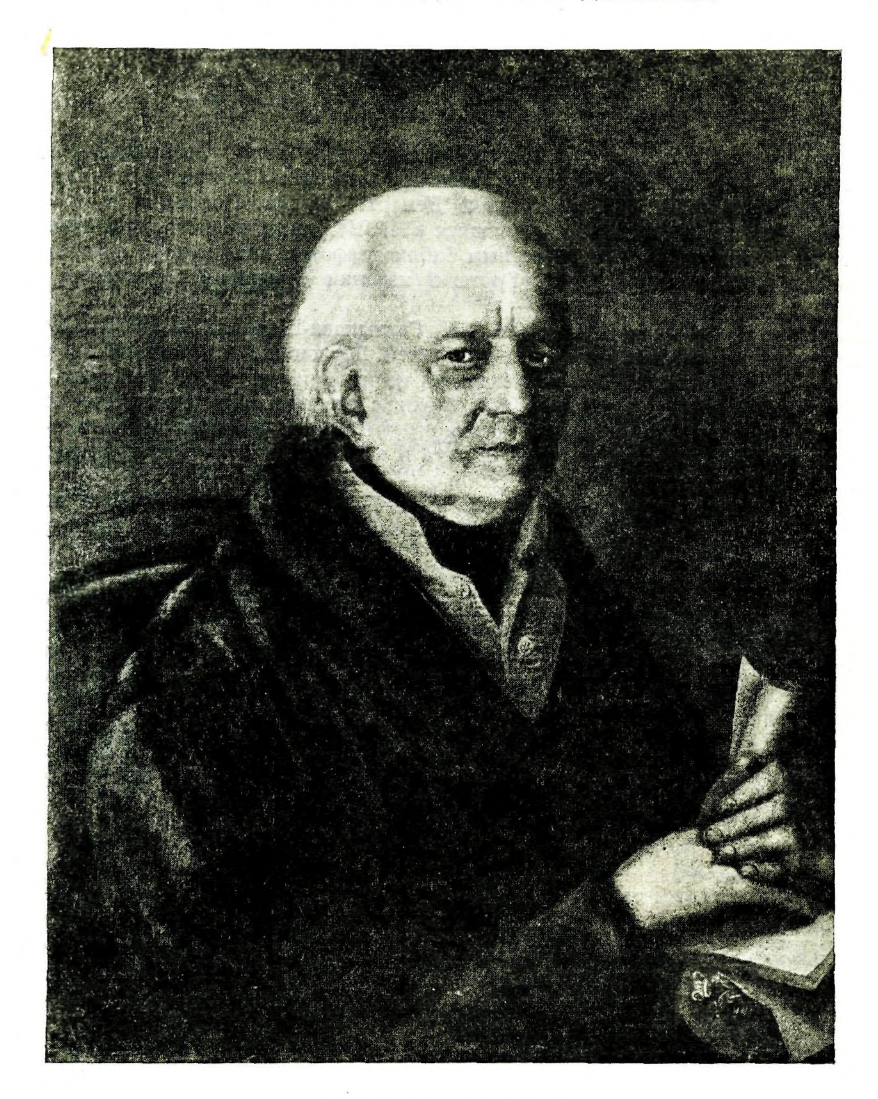
---

* Звездочкой отмечены конъектуры.

Из писем Державина, хранящихся в ИРЛИ, интересно например письмо его к А. С. Шишкову от 13 января 1814 г., кажется до сих пор неизданное.

Милостивый Государь мой
Александр Семенович.

Вчерась у Супруги вашей видел я ваше письмо, в котором вы чрез нее уведомляете меня, что предстательством вашим по моей просьбе государь император пожаловал пенсион г-же Гетте, дочери покойного Баженова—я чувствительно благодарю вашего превосходительства о напамятовании моей к вам просьбы. Г-жа Гетте мне не знакома, но по убеждению Г-на Политковского, принял в ней участие, зная ваше сострадательное серце ко всем бедным. Должно делать добро где только можешь. Бог сам за это вам заплатит. Поэтому же самому правилу я отношусь еще к вам с докуками, но ради бога не обременитесь ими и не посетуйте на меня, а что вам можно только, то помогите: ежели ж чего не можно, то оставьте и не беспокойтесь, ибо бог и намерении приемлет за настоящее действие, когда не в силах мы чего сделать. Вот о чем мои просбы: 1-е) О графе Струтинском, о коем я прежде лично вас просил, а после и чрез письмо мое. Он не токмо лишен крайнею несправедливостию знатного имения, но и подвергнут, за достойную уважения его просьбу государю императору, под уголовный суд чрез г-на Дмитриева в защиту его канцелярии.—И как по суду притеснение его непременно б должно быть обнаружено, то два года уже проходит, а суда не производят и не выпускают его отсюда и на малое время в деревню к его матери, которая думает, что он за какими-либо шалостями здесь зажился, не присылает ему доходов, и он, не получая содержания, почти умирает здесь с голоду.—Он просит, чтоб его просьбу благоволено было приказать рассмотреть в государственном совете, и особо бы он поручен был в покровительство графа Николая Ивановича Салтыкова, или другому, кому благоугодно будет.—2-е) Прилагаю при сем стихи г-на Язвицкого.—Вы увидите, что они не токмо чем-либо удивительны и отличны, но и весьма посредственны, каковых у нас много, однако ясно доказывают, что он не сумасшедшей, каковым его многие почитают.—Это же правда, что примечается в нем великая меланхолия, по причине той, что на него напало, так сказать, все просвещение, потому что он не чрез него, а по именному государя императора указу получил было по ученой части какое-то изрядное место, то и вытеснили его из оного всякими каверзами, так что принужден он подать просьбу о выпуске его в военную службу, к которой он никак не способен и по слабому здоровью перенести ее не может. Я не могу вам сказать, чем он, находясь при государыне императрице учителем, прослужился, но только знаю, что удален от сей должности и не получает никакого жалованья, не имея собственного куска хлеба. Будьте милосерды, войдите в его бедное состояние и поговорите с г-м Лонгиновым, государыниным секретарем, который, я думаю, всю историю его знает; и естьли чего не сделал он законопреступного, то неужто сердце милосердой государыни не тронется его бедностию, узнав, что он без пропитания?—3-е) Прилагаю при сем письмо к земляку, сочиненное Федором Петровичем Львовым для чтения в Беседе.—Оно было апробовано всеми членами и Гг-ми Попечителями; но в самой день чтения по политическим каким-то соображениям отменено.—Вы увидите, что в нем ничего кажется нет противного ни политике ни законам; но думаю я по некторым внушениям тех, которые при открытии Библиотеки заводят подобное чтение и превозносят тех сочинителей, которые им нравятся, не упомянув даже и славных в нашей словесности мужей, как то: Феофана, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и вас.—Как бы это ни было, это состоит в воле сих высокомудрых; но я сию бумагу посылаю к вам для того, чтоб не доведены были до слуха императора какие-либо вредные на счет нас слухи. Прошу ее иметь только к вашему сведению, и ежели бы что вы узнали неблагоприятное, тогда можете употребить ее в дело, как вы знаете.—4-е) В доме вашем спознакомился я с молодым человеком г-н Петровым, сыном покойного поэта. Он молодец, преисполненной способностей и дарований; кроме многих языков знает так англинский, что переводит на оный с русских стихов на англинские, кои весьма одобряют здесь живущие англичане, искусные в литературе. Он почти уже перевел на сей язык гимн мой на прогнание французов. Я, чтобы ободрить сего молодого человека, по знакомству с графом Семеном Романовичем Воронцовым намерен перевод его отослать в Лондон для напечатания в пользу сего начинающего расцветать поэта. А как мне хочется украсить оный картинками, которые в подлиннике при заглавии и при конце находятся, то и покорнейше прошу вашего превосходительства, ежели не можно подлинного гимна мне возвратить, то приказать снять с тех картинок копии и с объяснениев о них в том манускрипте находящихся и доставить сколько можно поскорее ко мне,



Г. Р. ДЕРЖАВИН В СТАРОСТИ
Портрет маслом неизвестного художника
Русский Музей, Ленинград

дабы я при вскрытии морской коммуникации, мог при переводе послать оные в Англию. Наконец извиняюся, что так много вас обременяю, надеяся на ваше ко мне благоприятное расположение, уверен будучи, что вы возможное сделаете, а чего не можно, тем не беспокоясь и на меня не прогневаетесь. Пребываю впрочем с истинным моим почтением и преданностию, пожелав вам совершенного здоровья и всех возможных благ,

вашего превосходительства милостивого государя моего
покорнейший слуга Гавриил Державин.

Генваря 13 дня
1814 года.
С.-Петербург.

P. S. Мы сего Генваря 7 дня отправили кое-как нашу Беседу собранными на скорую руку сочинениями.

(Все, кроме своеручных подписи и приписки,—рукою писца. В пункте 3-м письма—намек на речь Н. И. Гнедича «О причинах, замедляющих успехи отечественной словесности», произнесенную 2 января 1814 г. при открытии Публичной Библиотеки.)

Особо следует указать хранящуюся в ИРЛИ переплетенную книгу, заключающую первую, наиболее раннюю редакцию объяснений Державина к своим стихотворениям. Текст этой редакции объяснений, относящейся к 1805—1806 гг., до сих пор не издан.

Он был переработан, сокращен и издан в таком виде Н. Ф. Остолоповым в книге «Ключ к сочинениям Державина, с кратким описанием жизни сего знаменитого поэта» отдельно в 1822 г. (Ср. в «Журнале Департ. Народн. Просв.» и в «Сыне Отечества» в 1821 г.). Рукопись, находящаяся в ИРЛИ, представляет собою копию, сделанную В. Г. Анастасевичем, известным библиографом и литератором начала XIX в. (об этой рукописи см. у Я. К. Грота в издании сочинений Державина, т. IX, стр. 279).

Материалы Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина и ИРЛИ Академии Наук представляют основные фонды рукописей Державина и рукописей, связанных с его творчеством вообще. Тем не менее они не исчерпывают всех архивных данных о Державине. Множество официальных бумаг с его подписью в качестве крупного чиновника (в частности—министра юстиции) имеется в архивах центральных правительственных учреждений (немало их есть и в ИРЛИ в числе бумаг, поступивших от Б. Л. Модзалевского).

Вообще официальная чиновничья деятельность Державина может быть освещена документами учреждений, с которыми он был связан прямо или через промежуточные инстанции.

Из материалов поэтических следует указать еще на переплетенную тетрадь, заключающую по преимуществу «анакреонтические» стихотворения Державина (автографы), находящуюся в Казани, в Рукописном отделении библиотеки Казанского университета (см. Я. Грот—предисловие к I тому его издания сочинений Державина, стр. XV, № 7 и «Вестник образования и воспитания» 1916, кн. 5—6, тут же сведения о других Державинских документах, хранящихся в Казани).

Конечно весьма возможно, что в других архивах и в других городах имеются Державинские материалы. Следует пожелать, чтобы исследователи, знакомые с такими материалами, напомнили о них хотя бы столь же кратко, как это сделано в настоящем обзоре.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пользуюсь случаем исправить здесь ошибку, попавшую в мое издание стихотворений Державина (Л., 1933); не располагая в период работы над этим изданием частью материалов, исследованных мною позднее, я датировал там «Лето», основываясь на иных материалах, 1802 годом.

[2] Сведения о рукописях Державина кроме этого предисловия см. также в брошюре Я. К. Грота «Рукописи Державина и Н. А. Львова», 1859 г. (оттиск из «Известий II отделения Академии Наук»).

АРХИВ ВОРОНЦОВЫХ

Обзор И. Троцкого

Наряду с архивными материалами государственного происхождения огромное значение в исследовательской работе имеют источники, сохранившиеся в частных собраниях. Количественно всегда уступая первым, они по содержанию своему иногда представляют чрезвычайную важность, особенно в разработке истории общественной мысли, литературы и т. п., а также для освещения историко-бытовых моментов и закулисной стороны политической жизни.

Существовало в основном два пути частного накопления архивных богатств. С одной стороны, отдельные лица сохраняли свои документы, передавали их наследникам, те прибавляли к ним новые и таким путем создавались личные и фамильные архивы. В тех случаях, когда эти архивы отражали деятельность выдающихся людей, они представляли первостепенный интерес; но даже тогда, когда подобные собрания формировались в результате бережного отношения к документу людей ничем не примечательных, рядовых представителей своего класса, большое количество накопленного материала оказывалось важным историческим источником. На основании подобных фондов исследователь легко восстанавливает типовые явления, изучает быт и идеологию определенных групп. К сожалению подобные собрания дошли до нас почти исключительно только от представителей господствующих классов прошлого. Собирание и хранение архивных документов прежде всего требовало известной бытовой устойчивости и обеспеченности хотя бы в смысле помещения, не говоря уже о том, что фамильные архивы вырастали как определенное явление общественной идеологии: если хранение «старых бумажек» не вызывалось реальными интересами имущественного порядка, то они собирались в плане классового и личного самоутверждения, в назидание потомству, из соображений сословной гордости. Как дорого бы дали мы за дневники или переписку пролетариев прошлых веков, за мемуары участников крестьянских войн и движений! Но они существуют лишь в единичных документах, и о жизни угнетенных классов мы очень часто вынуждены судить по показаниям эксплоататоров. Маркс и Энгельс, чрезвычайно внимательно относившиеся ко всякого рода историческим источникам и давшие блестящие образцы их изучения, сами стимулировали появление их из рабочей среды, в противовес источникам, выражающим идеологию господствующих классов. В этом отношении чрезвычайно характерны заботы Энгельса о появлении мемуаров деятелей пролетарской партии. «...Мемуары Беккера,—писал Энгельс Эдуарду Бернштейну 9 октября 1886 г.,—были бы... новым источником для доистории (революционное движение 1827 г.—40-х гг.) и истории (от 50-х гг. и до нашего времени) нашей партии, документом, мимо которого не мог бы пройти ни один настоящий историк... Это было бы настоящее чтение для народа... Изложение всех этих событий участником их и при том единственным человеком 30-х годов, стоящим на нашей точке зрения, абсолютно необходимо; оно рисует всю эпоху 27—40-х гг. в совершенно новом свете, и если Беккер не даст его, то оно окончательно пропало. Или же эту задачу возьмут на себя люди враждебно настроенные к нам, члены народной партии и другие вульгарные демократы, а это для нас не выгодно. Это—случай, который никогда больше не представится, и я считал бы преступным упустить его» [1].

Другой вид частного накопления документов, практиковавшийся, по вполне понятным причинам, тоже представителями обеспеченных слоев,—это коллекционирование. Известны рукописные собрания отдельных аристократов и богатеев-купцов, большей частью бессистемные, сложившиеся не в результате определенных исторических интересов и источниковедческих занятий, а под влиянием неопределенного меценатства или коллекционерской спортивной погони за раритетами. Такие собиратели, как известные Дашков, коллекция которого ныне хранится в учрежде-

ниях Академии Наук СССР, или Щукин, собрание которого находится в Государственном Историческом Музее в Москве, любовно приобретали и действительно ценные рукописи, и разный исторический мусор, и подлинные картины, и Рафаэлей сухаревского происхождения, и монеты, и печати, и отжившее тряпье замоскворецких бабушек, мало пригодное даже для историко-бытовых экспозиций. Но среди множества бесполезного для познавательных целей хлама в их коллекциях встречаются и подлинные редкости, и объективно их работа все же приводила, если в дальнейшем эти коллекции не исчезали, а делались общественным достоянием, к накоплению культурных ценностей.

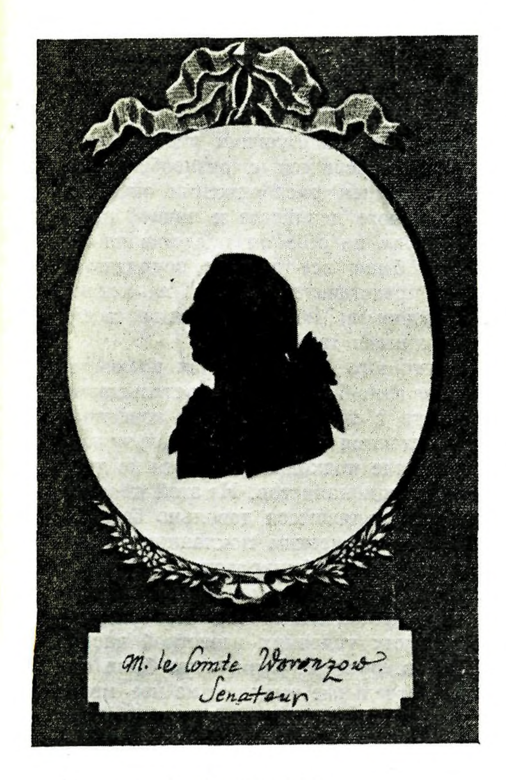
Собрания обоих родов дают ценный исторический материал. Кому из занимавшихся русской историей или историей русской литературы не приходилось пользоваться изданиями таких фамильных архивов, как Тургеневский, Остафьевский, Раевских, Мордвинова или знаменитыми «Щукинскими сборниками»? Реже встречаются собрания комбинированного типа, появившиеся в результате сочетания в одном лице и выдающегося деятеля, и коллекционера исторических документов. Чаще всего это собрания профессионалов-историков и историков литературы, редакторов журналов и т. п. Таковы например замечательные и непохожие друг на друга архивы двух братьев Семевских: редактора «Русской Старины» М. И. Семевского (хранящийся в учреждениях Академии Наук СССР) и редактора «Голоса Минувшего» В. И. Семевского (находится в библиотеке Коммунистической Академии). Но иногда исторические документы собирали любители, сами выделявшиеся не в научной, а в политической жизни, и тогда в результате получались собрания особо интересного состава.

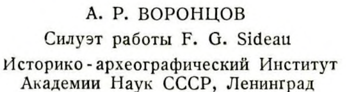
Одному из таких собраний и посвящен настоящий очерк. Мы имеем в виду дать общий обзор одного из богатейших частных архивов по преимуществу XVIII в., архива, накопленного в известной аристократической семье Воронцовых. Размеры этого архива так велики и содержание так разнообразно, что мы поневоле ограничиваемся беглым обозрением и случайными иллюстрациями. Научное описание этого архива заняло бы вероятно несколько солидных томов.

Прежде всего несколько слов из истории самого архива и его собирателей. Воронцовы XVIII в. являлись одной из самых родовитых фамилий российского дворянства, богатейшими земельными собственниками и господами огромной массы крепостного населения. Предки их уже издавна состояли в первых рядах московского боярства; были они и воеводами, и думными людьми, ходили в «ответе», т. е. выполняли дипломатические поручения, а в период боярского управления во времена малолетства Ивана Грозного один из Воронцовых был ближайшим сподвижником фактического правителя Михаила Глинского, за что в свое время поплатился тюремным заключением. Но особенно высоко вознеслись на ступенях дворцовых лестниц Воронцовы с середины XVIII в. Возвышению этому более всех способствовал граф Михаил Ларионович Воронцов (1714—1767), во-время нашедший себе местечко сзади саней, на которых поехала в Преображенские казармы Елизавета Петровна в ту ночь, когда преображенцы «уговорили» ее захватить престол. С задка саней Воронцов умело пробрался к высшим государственным должностям, укрепив свое влияние женитьбой на двоюродной сестре императрицы. В течение ряда лет вице-канцлер, он стал после опалы А. П. Бестужева-Рюмина канцлером. Положение его несколько пошатнулось лишь после того, как он «как Миних верен оставался паденью третьего Петра». Впрочем «в крепость, в карантин» он не попал, оставался еще некоторое время канцлером и в 1763 г. вышел в отставку.

Старший брат его Роман (1707—1783) тоже достиг степеней немалых и изрядно округлил свое состояние царскими щедротами и поборами с тех местностей, где ему пришлось быть начальником. Но самостоятельной фигуры он не представляет, и силу его составляло влияние брата и детей, особенно дочерей, сделавших с точки зрения придворного отца хотя и противоположные, но равно удачные карьеры. Одна из них Елизавета, в замужестве Полянская, была фавориткой Петра III, другая же, Екатерина, известная по своей фамилии по мужу кн. Дашкова, была участницей переворота 29 июня 1762 г., подругой Екатерины, впоследствии президентом Академии Наук и т. д. В первую шеренгу вельмож конца XVIII в. вышли и сыновья Р. П. Воронцова, графы Александр и Семен Романовичи.

А. Р. Воронцов (1741—1805) начал свою карьеру дипломатом, в период фавора сестры, когда двадцатилетним молодым человеком уже состоял сначала поверенным в делах в Вене, а затем полномочным министром в Лондоне. Позже он был сенатором и довольно долгое время президентом Коммерц-коллегии. Однако отношения его со двором всегда оставались довольно натянутыми, а после Радищевской истории, когда его, по дружбе с автором «Путешествия из Петербурга в Москву», заподо-




А. Р. ВОРОНЦОВ
Силуэт работы F. G. Sideau
Историко-археографический Институт
Академии Наук СССР, Ленинград



Г. И. РЖЕВСКАЯ
Силуэт работы F. G. Sideau
Историко-археографический Институт
Академии Наук СССР, Ленинград

зрили в соучастии (подробнее см. в настоящем томе статью «Из истории сибирской ссылки Радищева», стр. 441 сл.), положение его и вовсе пошатнулось, и он был вынужден сначала отойти от дел, а в 1794 г. окончательно выйти в отставку. К практической государственной деятельности он был призван лишь Александром I, назначившим его в 1802 г. на тот же пост, что некогда занимал его дядя,—пост государственного канцлера, в каковой должности он и пробыл до окончательного выхода в отставку в 1804 г. Враждебно относившийся к Французской революции, Воронцов на посту канцлера работал по образованию новой антифранцузской коалиции, подготовляя бесславную для российской империи войну 1805—1807 гг.

Ту же позицию, обусловленную как политическими, так и экономическими интересами русских крепостников, занимал и его брат С. Р. Воронцов (1744—1832), дипломат большого европейского масштаба, двадцать лет бессменно пробывший послом в Англии—с 1785 до 1806 г. Последовательный сторонник союза России с Англией, Семен Воронцов был одной из центральных фигур лагеря контрреволюции, принимая участие во всяческих антифранцузских дипломатических комбинациях. Впрочем по отношению к собственному двору он, как и его брат, являлся фигурой самостоятельной, резко подчас выступая против петербургской политики, протестовал против разделов Польши, разошелся с фаворитом Зубовым и т. п. По быту своему он сильно отличался от обычного российского боярина, являясь скорее инглизированным европейским вельможею. В Англии он остался по выходе в отставку, там и умер.

Чтобы закончить перечисление членов семьи, деятельность которых отложилась в интересующем нас архиве, нужно упомянуть еще сына С. Р. Воронцова Михаила Семеновича (1782—1856), известного военного деятеля и царского сатрапа первой половины XIX в., бывшего в 1815—1818 гг. командиром русского оккупационного корпуса во Франции, в 1823 г. назначенного новороссийским генерал-губернатором и бессарабским наместником, а с 1844 г. кавказским наместником, того самого, которого Пушкин, имевший основания не любить его, язвительно уколол четверостишием:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полный наконец.

Итак перед нами династия аристократов-крепостников, занимавших видные государственные посты и по своей деятельности соприкасавшихся с разнообразными кругами и странами. Естественно, что если бы в нашем распоряжении оказался один только фамильный архив с материалами вотчинного хозяйства и личной перепиской и деловыми бумагами названных лиц, то и сам по себе он представлял бы огромную историческую ценность. Но Воронцовы были все-таки не заурядными придворными куртизанами. Почти все помянутые представители семьи, за исключением разве Р. Л. Воронцова, оказываются передовыми представителями своего класса, с довольно широким кругозором и культурными интересами.

Начало разложения крепостного хозяйства, связанного с появлением элементов капитализма, ростом внешней торговли и обусловленной этими обстоятельствами товаризацией дворянского хозяйства, явилось вместе с тем и периодом известных идеологических сдвигов. Именно на этой основе рождаются настроения в пользу аристократической конституции, охотно питавшиеся внешне подходящими, хотя по духу очень далекими теориями западноевропейских конституционалистов. На этой же почве развивается знаменитое вольтерьянство, по существу являвшееся довольно безобидной словесной фрондой, ни мало не препятствовавшей русским поклонникам фернейского патриарха заводить крепостные гаремы и интенсифицировать барщинный труд. На этой же почве, на которой прорастали первые семена промышленного капитализма, возникает идеология национализма, в законченном виде по существу буржуазная, но первоначально развиваемая в русских условиях известной частью дворянства и дворянской интеллигенции. В XVIII в. русская буржуазия была еще слишком слаба для идеологической работы, и лишь отдельные выходцы из нее могли помогать передовым представителям господствующего класса, идеологически реагировавшим на новые явления общественной жизни.

Одним из составных элементов национализма является интерес к старине, к «отечественной истории». Именно во второй половине XVIII в. появляются первые дворянские историки (если не считать Татищева, бывшего, собственно, и первым историком, и последним летописным сводчиком; к тому же и работа его увидела свет только в это время), пробуждается интерес к документу и начинается работа собирателей и археографов. В это время появляются первые издания актов и летописей (большую работу в этом плане произвел Новиков в своей «Русской исторической вивлиофике»), извлекаются на свет былинные сказания (знаменитый сборник Кирши Данилова), обретается рукопись «Слова о полку Игореве», появляются первые историко-краеведческие труды. Правда, методологические приемы исследователей донельзя наивны, а классовые тенденции ничем не завуалированы, так что немецкий ученый Август Шлецер, применивший приемы критического анализа к русским материалам, кажется среди своих российских современников Гулливером среди лилипутов, а Радищев довольно иронически рекомендует своим читателям обращаться за разрешением исторических вопросов к «толкователям древностей»; но работа в этом направлении начинается именно в данный период. И конечно ни курский купец Голиков, фанатически собиравший документы для биографии Петра Великого, ни архангелогородский Крестинин, с неменьшей ревностью сочинявший историю родного города, не могли обойтись без поддержки просвещенных меценатов; последних же выделяла уже разумеется аристократия.

Можно наметить даже тип мецената-покровителя художеств и наук, особенно наук исторических. В этом отношении любопытно сопоставить братьев Воронцовых, особенно Александра Романовича, с их приятелем и корреспондентом гр. Н. П. Румянцевым. А. Р. Воронцов был несколько старше, но карьеры их и направление довольно сходны. Оба были дипломатами и государственными канцлерами; оба стояли во главе учреждений, ведавших дела торговли (Н. П. Румянцев был министром коммерции) и непосредственно сталкивались с новыми явлениями в хозяйственной жизни России, знаменовавшими кризис феодально-крепостнических отношений; оба были просвещенными меценатами, и если Румянцев покровительствовал профессионалам-археографам Калайдовичу и Строеву, то Воронцов поддерживал историков-самоучек Голикова и Крестинина. Тип вельможи-мецената, воспринимающего западную культуру не только в силу очередной придворной моды, но под влиянием практической государственной деятельности, представлен достаточно ярко у обоих; и обоим же свойственен известный «национализм» и в политической деятельности, и в исторических интересах.

ПИСЬМО А. Д. КАНТЕМИРА К М. Л. ВОРОНЦОВУ ОТ 27/16 МАЯ 1743 г.

Историко-археографический Институт Академии Наук СССР, Ленинград

Собственно говоря, основной фонд архива Воронцовых связан с деятельностью А. Р. Воронцова. Правда, как мы увидим ниже, немалое количество документов связано с именем его дяди, канцлера М. Л. Воронцова. Но нам легко будет убедиться, что в массе своей это документы, отложившиеся непосредственно в результате его служебных дел и отношений. Хотя М. Л. Воронцов тоже был по своему времени «просвещенным» вельможею и в дипломатической переписке с Н. И. Паниным обменивался впечатлениями по поводу новых од Ломоносова, а самому Ломоносову оказывал покровительство, но данных об его исторических вкусах у нас нет. Правда, он повидимому уже испытывал некоторое уважение к документам. Об этом свидетельствует его письмо к статскому советнику Топильскому от 1 июня 1753 г., в котором он, по ознакомлении с бумагами Петра I, отдает распоряжение, «чтоб находящиеся по разным столбцам, корреспонденциям и связкам дела, иные подписанные, иные писанные все, иные же черные рукою выше помянутого его императорского величества, как то грамоты, имянные указы, письма к министрам, резолюции, писанные собственноручно на докладах, разные приказы, образом записок концепты грамот, рескриптов и прочее, выправленные собственною его величества рукою, все, как драгоценное сокровище, в одно место собрать, переплесть и хранить должно, а в тех местах, откуда оные вынуты будут, оставить точные копии, каждую за подписанием секретарским с таким притом означением, что подлинные собраны и хранятся в особливой книге»[2]. Пиэтет к особе Петра I по тем временам еще не имел исторического характера, но заботливость, хотя бы и обусловленная практическими соображениями, о неразрознении фонда свидетельствует о внимательном отношении к сохранности архивов. Возможно, что некоторые старые рукописи, имеющиеся в Воронцовском архиве, собраны и М. Л. Воронцовым, но все же основным собирателем его явился А. Р. Воронцов, о розысках которого у нас сохранились документальные данные.

По высокому своему служебному положению он имел широкий доступ к государственным архивам, ценившимся в те времена не очень высоко. Распоряжения Воронцова было конечно достаточно, чтобы любой документ был отправлен к нему на дом, и вероятно чиновники смотрели сквозь пальцы, если государственный канцлер возвращал взятое не вполне исправно. Помимо того Воронцов заказывал для себя копии самых разнообразных архивных памятников, и для послушных писцов исполнение желаний просвещенного сановника было государственной службой.

Впрочем у Воронцова много было и других источников для приобретения рукописей. И просители, знавшие о слабости своего патрона к старому бумажному хламу, угождали ему соответствующими подношениями, и сам он зорко следил за всякой возможностью приобретения документов. В этом отношении любопытно письмо Д. П. Трощинского Воронцову, написанное после смерти секретаря Екатерины, автора знаменитого дневника, А. В. Храповицкого. По весьма правдоподобному предположению П. Бартенева, Воронцов знал о существовании дневника и попытался заполучить его. Розыски Трощинского оказались однако малоэффективными. «Из числа поступивших от братьев покойного Храповицкого бумаг,—пишет он,— назначенные вашим сиятельством три номера при сем препроводить честь имею. Из шести связок я приказал списать оглавления и доставлю их к вашему сиятельству, дабы изволили выбрать, какие вам прислать, ибо сумневаюсь, чтобы на все простерлось любопытство по ничтожности оных; да и вообще можно сказать, что сие приобретение совсем неважное и что я ожидал гораздо интереснейших бумаг, знавши склонность, охоту и способности покойного в собрании оных»[3].

Розыски документов производились Воронцовым и за пределами России. В архиве сохранилось немало иностранных рукописей; существует и письмо Воронцова во Францию, писанное повидимому в первые годы Французской революции. Любопытна мотивировка письма: «По нынешнему образу правления во Франции уповать надобно, что многие дела и бумаги, кои до сего сокрыты были с некоторым старанием, смогут сделаться известными, а потому самому их и достать можно или по крайней мере копии с оных как из архивов тамошних, так и от приватных людей, коим иногда таковые бумаги или дела по наследству доходили»[4].

На закупку рукописей во Франции Воронцов ассигновал изрядную сумму в 2400 ливров, прося разыскать преимущественно материал французских послов и агентов в России. Момент был выбран повидимому верный, так как ряд документов, интересовавших Воронцова, оказался в его собрании.

Меньше данных этого рода у нас о С. Р. Воронцове. Правда, и он интересовался историческими вопросами, но прямых указаний на собирательство мы для него не имеем. Когда Н. П. Румянцев с разрешения английского правительства снимал копии с дипломатической переписки Англии с Московским государством, один экзем-

пляр был сделан для С. Р. Воронцова. Но возможно, что документы эти интересовали Воронцова практически как посла в Лондоне; возможно также, что копия снималась для пополнения коллекции брата. Во всяком случае мы можем предположить, что хранящиеся в Воронцовском архиве немногочисленные английские рукописи были собраны именно С. Р. Воронцовым.

Бумаги Воронцовых XVIII в. в XIX в. достались в наследство М. С. Воронцову. Последний повидимому с меньшим интересом относился к пополнению архива, хотя тоже числился по штату просвещенных сановников и покровительствовал наукам, в частности способствовал развитию Одесского общества истории и древностей. Собственные свои бумаги он хранил без особого внимания, что явствует хотя бы из сравнительно малого количества имеющихся в архиве его писем. Но и при нем коллекция пополнялась; так несомненно, что именно им включены в общее собрание рукописи на языках кавказских народов. Бумагами М. С. Воронцова по существу кончается Воронцовский архив, позднейшие владельцы которого почти ничего к нему не прибавили.

Публикация документов Воронцовского собрания началась очень давно, еще при жизни М. С. Воронцова, когда архив находился в Одессе. Так еще в «Одесском Вестнике» за 1837 г. была издана «Записка о том, сколько я помятую о крымских и турецких походах», принадлежащая перу современника (позднее перепечатана в «Русском Архиве» за 1873 г., кн. I). В 1846 г. в Одессе же появились извлеченные из Воронцовского архива письма цесаревича Алексея Петровича к Петру I, Екатерине I и кабинет-секретарю Макарову. В 1847 г. был издан найденный в одном из рукописных сборников архива замечательный памятник русского феодализма— дошедшая в единственном списке «Псковская Судная грамота». В дальнейшем целый ряд публикаций появился отдельно (напр. «История о казаках запорожских, как оные издревле зачалися и откуда свое происхождение имеют и в каком состоянии ныне находятца») и в различных томах «Записок Одесского общества истории и древностей» (ордера Потемкина по управлению Новороссией и Таврической областью, Устав для генуэзских колоний в Черном море, составленное для А. Р. Воронцова А. Малиновским «Историческое и дипломатическое собрание дел, происходивших между российскими великими князьями и бывшими в Крыму татарскими царями с 1462—1533 гг.» и др.).

Однако широкая публикация Воронцовских материалов началась лишь во второй половине XIX в., когда наследник М. С. Воронцова, С. М. Воронцов привлек П. И. Бартенева для издания монументального «Архива князя Воронцова». К этому времени архив повидимому покинул Одессу и переехал в Петербург, в принадлежавший Воронцовым дом по Моховой улице. Богатая библиотека Воронцовых, хранившаяся в одесском доме, впоследствии поступила в Новороссийский университет и поныне является одной из составных частей Одесской публичной библиотеки, представляя особую ценность богатым собранием различных, особенно эмигрантских, памфлетов эпохи Великой французской революции (другая библиотека, хранившаяся в Алупкинском имении Воронцовых, осталась там и ныне, если не ошибаемся, является достоянием Алупкинского музея). Однако какая-то группа старинных рукописей, числившихся должно быть не в архиве, а в библиотеке, перешла вместе с книгами в Одесский университет.

Дальнейшая судьба Воронцовского архива была такова: в 1882 г. С. М. Воронцов умер и архив вместе с другими майоратными наследиями перешел к его племяннику гр. П. А. Шувалову, от которого затем достался кн. Е. А. Воронцовой-Дашковой. Территориальных перемещений архива в дальнейшем больше не происходило вплоть до первых лет революции, когда архив был оставлен владельцами на произвол судьбы и перевезен в Рукописное отделение библиотеки Академии Наук СССР, где и находился целиком до 1930 г. В этом году произошла реорганизация Рукописного отделения, и там остались из Воронцовского собрания только старинные (до XVIII в.) рукописи и некоторые другие, имеющие отношение к истории литературы. Вся же масса переплетов Воронцовского собрания перешла в Историко-Археографический Институт Академии Наук, где ныне и находится. По некоторым сведениям часть материалов, неописанных и не вполне разобранных и повидимому позднейшего происхождения, была передана в Центрархив. Эти материалы находятся вне поля нашего зрения и соответственно не будут фигурировать в настоящем обзоре[5].

Итак, широкая публикация Воронцовского архива началась в 1870 г. выходом в свет 1-й книги «Архива князя Воронцова», подготовленной к печати редактором «Русского Архива» П. И. Бартеневым. Издание это продолжалось до 1895 г. и составило сорок довольно объемистых томов. Нам неизвестны причины прекращения издания—пожалели ли владельцы архива денег, затрачиваемых на него, или же

решили, что наиболее интересные (разумеется с их точки зрения) документы опубликованы и продолжать «Архив» незачем. Во всяком случае в 1897 г. вышла в свет «Роспись сорока книгам архива князя Воронцова»—факт, с несомненностью свидетельствовавший, что издание бесповоротно окончено.

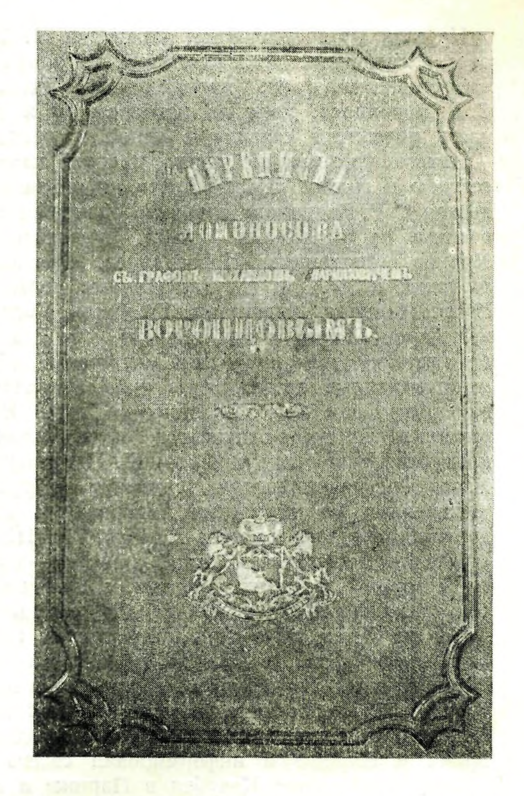
В рамках настоящего обзора представляется нецелесообразным знакомить читателя с содержанием вышедших томов «Архива князя Воронцова». Роспись материалов (без указателя) занимает 63 печатных страницы, между тем как опубликованная часть составляет лишь небольшую долю всего обозреваемого нами собрания. Это обстоятельство вместе с тем послужит извинением в неизбежной беглости настоящего обзора.

Стоит сказать только несколько слов о методах отбора материалов у П. И. Бартенева. Реакционер в духе квасного патриотизма, поклонник «героев» XVIII в., он интересовался в первую очередь лицами и притом такими, каких он считал «достопамятными». Поэтому основное содержание его издания—переписка. В этом смысле он был достаточно опытным и прилежным археографом, чтобы извлечь из собрания наиболее интересные с его точки зрения документы. Таким образом переписка различных коронованных особ, а также и крупных деятелей была им опубликована довольно полно, особенно в части придворных интриг, высказываний о людях, литературных мнений и т. п. Гораздо меньше внимания уделил Бартенев письмам делового содержания, дававшим экономические и бытовые данные. И уже совсем мало места (по сравнению с находившимся в его распоряжении фондом) отвел он публикациям не эпистолярного характера. В этом плане показательно его отношение к Радищевским документам: напечатав сравнительно полно письма Радищева, он почти совсем пренебрег его сочинениями, которые таким образом стали доступны изучению лишь после Октябрьской революции и превращения Воронцовского архива в государственное достояние. Небрежное отношение к отдельным историческим документам выразилось и в самой систематизации собрания; по нашим наблюдениям последняя производилась под руководством Бартенева, при чем уже после отбора документов они переплетались (большинство переплетов не аутентичного происхождения). При этом рукописи повидимому просматривались кое-как, и в результате бумаги С. Р. Воронцова попадали в переплет, озаглавленный «бумаги А. Р. Воронцова», и т. п. Случайность руководила Бартеневым и при отборе материалов для публикации. Правда, в соответствии с пропорциями отдельных частей архива и собственными вкусами он наибольшее место уделил документам дипломатического порядка, но установить закономерность подбора довольно затруднительно. И совсем случайна выборка из экономических материалов, материалов по истории колониальной политики и отдельных народов царской России и т. д.

Помимо большого издания, материалы Воронцовского архива просачивались в печать небольшими количествами и порознь. Так опубликованы были в сборниках Русского исторического общества письма известного публициста XVIII в. барона Гримма к Екатерине II—частью по документам Воронцовского собрания. В Гротовском академическом издании сочинений Державина напечатаны письма Державина к А. Р. Воронцову, В. С. Попову и другие Державинские документы. Наконец ряд мелких публикаций был помещен тем же Бартеневым в «Русском Архиве» и другими издателями в «Чтениях Московского общества истории и древностей». Кроме того привлекались рукописи Воронцовского архива и при издании старинных текстов, летописей и т. д.

При всем том Воронцовское собрание хранит еще огромное количество неизданных материалов как по истории XVIII—первой половины XIX в., так и по предшествующим столетиям. Отсутствие научного описания до сих пор затрудняет пользование им, но даже беглое ознакомление даст представление о значении архива. Попытаемся в общих чертах изобразить основные разделы собрания.

Легче всего выделяется из Воронцовского собрания самостоятельный фонд материалов по собственному хозяйству Воронцовых. Здесь мы имеем довольно значительное количество переплетов и папок донесений управляющих и приказчиков, отчетов по имениям, приходо-расходных книг и т. п. В отдельности эти документы не представляют особого интереса, но в совокупности своей делают возможной постановку изучения крупного помещичьего хозяйства за ряд десятилетий. В документах находят отражение и рост имущественного благосостояния Воронцовых, и методы эксплоатации крестьян, и взаимоотношения с зажиточной верхушкой крепостного населения Воронцовских вотчин, и попытки рационализации хозяйства, и операции с казной—словом, все виды хозяйственной деятельности крупных землевладельцев XVIII—XIX вв. Правда, не по всем вотчинам материал представлен равномерно, но нужно отметить, что помимо специальных переплетов вотчинной



ПЕРЕПЛЕТ ТОМА АРХИВА ВОРОНЦОВЫХ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ПЕРЕПИСКУ М. В. ЛОМОНОСОВА С М. Л. ВОРОНЦОВЫМ

Историко-археографический Институт Академии Наук СССР, Ленинград

переписки мы находим данные о хозяйстве Воронцовых и в других местах собрания, так как классификаторы не всегда умели отделить хозяйственную переписку от личной. Кроме того Воронцовы, особенно живший в Лондоне С. Р. Воронцов, часто поручали ведение своих дел местным чиновникам, и иногда в письмах какого-нибудь сенатора или губернатора попроще мы находим сведения об имениях их корреспондентов.

Наиболее богатый раздел архива—это переписка, при чем не одних только Воронцовых. В их собрании мы находим подлинники и копии переписки А. Д. Меншикова, Н. И. Панина, Г. А. Потемкина, Вольтера и других деятелей эпохи. Но конечно основной эпистолярный фонд составляет переписка самих владельцев архива, в особенности М. Л., А. Р. и С. Р. Воронцовых. Эта переписка составляет свыше ста томов, обычно содержащих переписку с разными лицами. Только несколько корреспондентов, ведших регулярную переписку с Воронцовыми в течение ряда лет, представлены самостоятельными переплетами, да и то разбор писем производился настолько неряшливо, что письма одного и того же лица (даже если для него был выделен самостоятельный переплет) встречаются в разных местах. Очень часто письма сопровождаются приложениями документов (подлинников или копий) самого разнообразного характера. Здесь и дипломатические досье, и военные реляции, и коммерческие расчеты, и статистические таблицы, и судебные дела и решения, и выписки стихов и прозы—характер приложений определяется отношениями, связывающими корреспондентов.

С точки зрения занимающих нас сейчас проблем XVIII в. сравнительно меньший интерес представляет переписка канцлера М. Л. Воронцова. Хотя среди его корреспондентов мы находим и царицу Елизавету, и Екатерину II, и иностранных принцев, и государственных деятелей, и писателей, для проблем, привлекающих сейчас интерес советских исследователей, они дают не очень много. Экономические вопросы трактуются в них редко, а дипломатическая история царствования Елизаветы Петровны хорошо освещена публикациями Русского исторического общества и в настоящий момент лежит в стороне от большой дороги исторических исследований. Тем не менее не следует недооценивать значение переписки М. Л. Воронцова. В связанных с его именем переплетах мы находим письма Бестужевых-Рюминых, Бирона, Гросса, Демидовых, Панина, Разумовских, И. И. Шувалова, писателей—А. Кантемира и М. В. Ломоносова и целого ряда других деятелей эпохи.

Но если дипломатическая переписка М. Л. Воронцова и не вызовет особого интереса современных исследователей, то значительно большего внимания заслуживает корреспонденция его племянников. Здесь особенно нужно подчеркнуть архив С. Р. Воронцова: хотя по размерам он и меньше, чем у брата, но зато большая часть переписки связана с одной и притом существенной исторической темой.

Помимо чрезвычайно содержательной переписки С. Р. Воронцова с отцом, братом, сестрою и сыном, помимо писем коронованных особ мы встречаем среди корреспондентов С. Р. Воронцова довольно разнообразные фигуры: здесь и русские сановники, военные и дипломаты (Грейг, Завадовский, Безбородко, Италинский, Кочубей, Морков, Мордвинов, Новосильцев, Орловы, Поццо-ди-Борго, Румянцевы, Чарторижский и др.), и государственные деятели Запада, в особенности английские— Питт, Каннинг, Аддингтон, Гренвиль, Гескисон и множество других, и философы, как барон Гримм, и архитекторы, как Гваренги, и живописцы, и писатели, и просто светские дамы, и русские мастеровые, обучающиеся за границей, и разномастные международные авантюристы типа Миранды, и т. д. Но особенно оживленную переписку вел С. Р. Воронцов в годы Великой французской революции, когда русско-английские отношения были узлом международной политики и основой контрреволюционных комбинаций. Переписка Воронцова по этим вопросам с английскими государственными деятелями, с русскими послами за границей, с многочисленными французскими эмигрантами вплоть до графа Прованского и графа д'Артуа (будущие короли Людовик XVIII и Карл X), наконец собственные рассуждения Воронцова по этим вопросам—все это источник первостепенной важности по истории отношений Европы к Великой французской революции, один из тех секретных дипломатических фондов, которые так ценил и умел использовать Маркс [6].

Мы не будем приводить иллюстраций иностранной переписки С. Р. Воронцова — она многообразна, велась на нескольких языках и классифицировать ее, а следовательно и иллюстрировать, при наличии нескольких сот корреспондентов, довольно трудно. Для образчика дипломатической переписки приведем только одно письмо В. П. Кочубея, который, состоя при лондонской миссии, жил в 1791 г. некоторое время в Париже и информировал своего патрона о местных делах.

Хотя пребывание Кочубея в Париже и вызывало опасение дяди его и покровителя, гр. А. А. Безбородко, который даже писал ему: «Во Францию вы ехать не можете и не должны, ибо иначе вы подвергнете себя опасности не только не употреблену быть никогда в дело, а иногда и секвестру имения», но почтительный племянник не заразился «духом разврата французского». Впрочем к готовившемуся нападению на Францию он, как и его шеф С. Р. Воронцов, относился довольно скептически. Приводимое письмо сохранилось в копии (или переводе) руки одного из секретарей Воронцова; повидимому последний выполнил желание Кочубея и предал огню автограф, криминальный конечно не по основному своему содержанию, а по тем петербургским слухам, о которых сообщал Кочубей, и по критическому настроению автора относительно предприятий Екатерины в помощь эмигрантам. Сохранившись в неподписанной копии, письмо не попало в общую массу Кочубеевских писем, отдельно переплетенных и опубликованных в XIV и XVIII томах «Архива князя Воронцова», и оказалось среди различных непереплетенных рукописей, в «россыпи».

Не все сведения Кочубея одинаково достоверны, но для характеристики слухов и настроений парижских придворных кругов конца 1791 г. и для уяснения русско-французских отношений начала революции оно представляет несомненный интерес.

«Прежде всего должен я просить вас, Милостивый Государь Граф Семен Романович! о снисходительном прощении всех погрешностей, кои без сумнения в сем письме найдутся. Я сего вечера узнал только об отъезде г. Виндама члена Парламентского, которой, видясь здесь часто со мною в одном доме, обещает исправно доставить вам сие письмо. Я весьма рад сему случаю: потому что он доставляет мне удовольствие откровенно с вами говорить.

Вы конечно хорошо осведомлены о всем том, что у нас происходит с иностранными дворами. Но может быть стыдятся открывать вам разные смешные поступки наши. Хотя требование мое о рекомендательных письмах к гос. Симолину от гр. А. А. [Безбородко] осталось без действия, однакож иногда говорит со мной сей министр о делах, сохраняя большую осторожность и не показывая почти никогда донесений своих. Из речей его узнал я, что во время негоциации двора нашего с Аглицким имел он комиссию всеми мерами стараться о побуждении французов вооружить в пользу нашу довольную морскую силу, в таком случае, когда бы Агличане послали флот в Балтийское море. Для исполнения сего желания позволено было употребить неограниченную сумму денег, посредством которыя имели

мы в интересах наших большую часть из депутатов, составляющих дипломатический комитет; смерть г. Мирабо, сказывают, причиною, что от 40 до 45 кораблей, естьли не вооружены были, то по крайней мере не имели приказания приуготовить вооружения. По всему видно что намерение сие было с начала только известно гр. Безбородке, а по нем, конечно, гр. Ал. Ром. [Воронцову], для лучшего же поощрения негоциатора прибавили ему без всякого от него требования к обыкновенному жалованью шесть тысячь ефимков не из иностранной коллегии, но из казначейства. Дело сие ни в каком случае не могло бы иметь никакого действия при настоящем положении Франции, и мы только остались при издержках.

Вам известно, какое участие принимаем мы в делах французского дворянства. Состояние их считают у нас таковым, что оно должно непременно коснуться до других наций. Действуя на сем основании, посланник наш, как из речей его приметить я мог, имел приказание зделать из сего общее дело как с Прусским посланником так и с Шведским послом. Думают, что Принц Нассау и Бомбель вселили наиболее у нас намерения и поступки в рассуждении Принцов и прочего дворянства; я подозреваю, что Барон Грим тут же не без участия. Из разговоров его видал я преданность его к Кобланской партии. Похвалы, которые он делает великодушному государынину поведению, заставляют меня думать, что он в сем же смысле к ней писал; а то конечно не оставит можеть быть еще умножить настоящую горячность. Я уверен был, и вы гадание мое подтвердили, что граф Румянцов, которой вместе с ним был в Коблансе, одинаких же мыслей. Вы знаете, что барон Грим, вояжируя в Германии, хотел видеть друга своего графа Николая Петровича в Франкфурте. Но застав его на выезде в Кобланс, он хотел остаться с ним долее и для того решил туда же вместе с ним отправиться. С самой арестации королевской г. Симолин не имеет накакого сношения с министерством. При сем за любопытное приметить можно, что до получения о сем повеления от двора, Шведской посол сказал г. Симолину, что он оное получит; что доказывает короля Шведского

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА
М. В. ЛОМОНОСОВА
К М. Л. ВОРОНЦОВУ
ОТ 30 АВГУСТА 1753 г.

Историко-археографический
Институт Академии Наук СССР,
Ленинград

какой-то странной кредит, который подтверждается заключением оборонительного трактату.

Вы без сумнения уведомлены, что Принцы получили от нас довольную сумму денег. Б. Грим говорит, что им перевели 500 000 рублей. Но бог весть, к чему все сие, кроме умножения собственного нашего разоренного состояния послужит? У нас имеют от сель, как мне кажется, весьма достоверные известия. А из них (естьли только все они в таком смысле, в каком я некоторые видел) судить должно: что партия принцов не может иметь никакого успеху. С самого начала, когда еще королева не была подлинно привязана к нынешнему правлению, было три партии между дворянством. Первая, под предводительством графа Артоа и Калона, вторая принца Конде, Кардинала и пр., третья партия была королевина, в которой главные участники были Бретель, Бомбель, Буле. Естьли бы королевской побег имел место, сей последний был бы наименован Министром военного Департамента, а иностранной и внутренной назначаемы были двум другим. Я думаю, что приятель наш здесь С. придерживался к сей партии. Не удивляйтесь, что я сказал выше о привязанности королевиной к нынешнему правлению; она, сказывают, думает, и конечно с основанием, что время переменит как порядок вещей в правлении, так и состояние королевской фамилии, в чем и не ошибается, ибо не понятно, сколько публика в рассуждении ее переменила мысли и сколько хорошо она принята везде, где покажется. Сверьх сего она не любит ни графа Артоа, ни Калона, а Кардинала ненавидит. Сей образ мыслей ее недавно подтвержден был следующим происшествием: которое я, так как и все, что вы в письме моем читали, имел от весьма верного источника. Некто, отъезжая недавно в Кобланс, будучи королеве весьма предан, спрашивал приказаний ее туда, уверяя притом, что как тайна сохранена, так и все исполнено будет как возможно лучше. На сие с сердцем она отвечала, что она не только не имеет никаких приказаний туда давать, но что и видеть ей гораздо приятнее тех, кои оттоль приезжают, нежели тех, кои туда отправляются. Она с тех пор, как я уже здесь, сказала, сколько великодушие государыни для принцов велико, и сколько великие качества государыни вселяют к ней почтение; но при всем том нет сумнения, чтоб она не была противна всякому военному на Францию предприятию. Я признаться должен, что люди беспристрастные между теми из французского дворянства, кои здесь остались, приписывают больше поступки государыни какому-то разуму древнего кавалерства, нежели великодушному желанию помочь.

Я мог бы может быть найти еще что писать любопытное сообщить вам, милостивый государь, но краткость времени не позволяет сего исполнить. Мы получили третьего дня известие о смерти князя Потемкина. Вы легко представить можете, сколько произшествие сие меня вдруг заняло. Большие перемены, которые то произведет и может быть полезные перемены, конечно всем русским, не имеющим пристрастия, должны быть ясны, [но] кто теперь кредит князя Потемкина будет иметь? Вот большая проблема. Граф Сегюр, который удивительным образом знает все обороты двора нашего и с коим я сего вечера виделся, думает, что большая часть кредиту перейдет к гр. А. А. [Безбородке] и что Николай Иванович Салтыков также возвысится: потому что племянник его Зубов, коего он весьма часто видал, не имеет довольно головы к сохранению большой роли, но что он будет только дядю своего поддерживать. Все сие мне весьма вероятным кажется.

Продолжая разговор со мною, граф Сегюр удивил меня немало, дав мне почувствовать, сколько он даже и приватное поведение почетнейших наших особ знает. Вы, сказал он мне, конечно назначаетесь к вступлению в дипломатическую кариеру, на сие отвечал я ему словом не знаю. Естьли вы сие намерение имеете, продолжал он, то вы без сумнения возвратитесь весною в С. Петербург: ибо вы знаете, сколь гр. Безбородко легко забывает не только знакомых своих, но и родных, и что для получения какой-либо милости должно долго ему докучать. Сколько сие ни справедливо, однакож ничто меня не заставит не только возвратиться, но ниже писать к гр. А. А. Он знает о приезде моем в Париж из донесений г. Симолина, коему однакож всегда скрою я сие намерение мое, уверен будучи, что его ко мне ласки племянническим моим достоинством приобретены. Что всего для меня на свете несноснее.

Я много у вас отнял времени пространным моим писанием. Вы извините сию нескромность и отнесете ее искреннему моему желанию удостоверить вас при всех случаях, сколько я истинно вам предан и сколь высокопочитание мое к вам не лицемерно.

Г. Одион уже не в числе кандидатов для определения в министры иностранного департамента. Теперь остается сие нерешимым между Нарбоном и Бартелемием,

ВТОРАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА
М. В. ЛОМОНОСОВА
К М. Л. ВОРОНЦОВУ
ОТ 30 АВГУСТА 1753 **г.**

Историко-археографический
Институт Академии Наук СССР,
Ленинград

что в Лондоне, и к коему послали, как сказывают, на сих днях куриера, дабы он уведомил найскорее, захочет ли он сие место принять.

Покорно прошу сие письмо предать огню, тот час по прочтении оного».

При чрезвычайно разнообразной массе корреспондентов С. Р. Воронцова выделяется сравнительной бедностью его переписка с соотечественниками. Помимо дипломатов, нескольких сановных друзей и людей, связанных с ним деловыми отношениями, мы здесь почти никого не находим. Совсем нет писем писателей, если не считать записки В. Л. Пушкина, знакомство которого с Воронцовым произошло вероятно во время путешествия первого в 1803—1804 гг. Приводим текст ее (в переводе с французского).

Господин Граф,

Я беру на себя смелость послать вам отрывок перевода, или скорее подражания Томпсону. Я присоединяю свой перевод знаменитой идиллии Биона и одну из моих басен, род произведений, который мне наиболее всего удается. Смею надеяться, что ваше сиятельство удостоите прочесть сии слабые опыты с должной снисходительностью и что вы соизволите принять уверения глубокого уважения, с которым я имею честь пребыть

Господин Граф

Вашего Сиятельства покорнейшим и послушнейшим слугою

Пушкин.

14 октября
1804.

Если в переписке М. Л. и С. Р. Воронцовых преобладают дипломатические моменты, то в корреспонденции А. Р. Воронцова они представлены относительно

слабее. Хотя и он начинал и кончал службу на дипломатическом поприще, основная масса писем к нему—русского происхождения и содержания. Среди корреспондентов мы встречаем разумеется и иностранцев, зачастую с довольно громкими именами—Вольтера и его секретаря Ваньера, барона Гримма, Даламбера, Жозефа де Местра, Пиктета, Питта-Старшего и т. п., но не они определяют значение его переписки, судить о которой на основании публикации Бартенева, между прочим, совершенно невозможно, так как последний, собрав то, что ему казалось «сливками», на самом деле оставил без внимания важнейшие с исторической точки зрения составные части этой обширной переписки.

Мы не говорим о том, что в эпистолярном наследии А. Р. Воронцова имеется такое сокровище, как письма Радищева, и нимало не склонны обвинять Бартенева за то, что он их опубликовал—наоборот, в вину ему нужно поставить не полную и недостаточно тщательную публикацию Радищевских материалов. Несомненный интерес представляют и письма таких видных современников, как Безбородко, Завадовский, Морков, Трощинский, Храповицкий и т. д. Но чем особенно примечательны переплеты А. Р. Воронцова—это его перепиской с местными администраторами—генерал-губернаторами, губернаторами, директорами таможен и т. п., как раз меньше всего отразившейся в сорока томах «Архива князя Воронцова».

По своей должности президента Коммерц-коллегии Воронцов неизбежно входил в круг экономических вопросов самого разнообразного характера, а так как он стремился повидимому действительно быть в курсе этих дел, то и считался «спецом» и получал еще самостоятельные правительственные задания экономического свойства. В результате его корреспонденция с местными правителями фактически превращалась в подробные инструкции, с одной стороны, и отчеты—с другой. Широкие интересы министра заставляли его зачастую просить сведений о делах, лежавших вне его компетенции, но провинциальные администраторы, уважавшие родовитого вельможу, послушно информировали его обо всех «происшествиях», заслуживающих его внимания. Поэтому переписка Воронцова представляет чрезвычайно существенный источник для изучения внутреннего управления и экономической истории всех почти районов Российской империи конца XVIII в. Переписка эта возобновилась и в период канцлерства Воронцова, а от некоторых администраторов, лично обязанных Воронцову, он получал сообщения и находясь в отставке. Письма при этом посылались чрезвычайно подробные, с приложением статистических таблиц и даже целых дел. Этого рода переписка Воронцова составляет целый ряд переплетов. Приведем иллюстрации. В первом, взятом наудачу томе этой переписки (№ 564) мы находим «письма к графу А. Р. Воронцову князей Г. С. Волконского и П. В. Лопухина, графов Н. И. и П. И. Паниных, князей А. А. Прозоровского и Н. И. Репнина, графа З. Г. Чернышева и его супруги, 1763—1804, на 217 листах». Для наших целей лучше всего воспользоваться письмами Г. С. Волконского, отца декабриста, писавшего Воронцову в качестве оренбургского военного генерал-губернатора. Приведем небольшое, но любопытное письмо, сообщающее об усмирении уральских казаков, славившихся своим непокорством и за тридцать лет до приводимого ниже письма начавших Пугачевщину.

Милостивый государь граф Александр Романович!

Приношу вашему сиятельству чувствительную признательность за почтенное ваше от 20 ноября писание. Отзыв ваш, милостивый государь! изображенный в оном, весьма для меня лестен.

Сие пишу к вам из Уральска, куда по высочайшей воле вступил я с двумя почти полками и иррегулярными командами. По случаю нового образования уральского войска произошло в простом и необразованном здешнем народе беспокойство. Слепое пристрастие к старинным обыкновениям и суеверие были причиною упорства козаков к принятию новых установлений, ограждающих благосостояние их и утверждающих благоденствие сего края.—Уральцы известны.—К щастию приняты заблаговременно меры; и все теперь в городе спокойно. Козаки принялись за обыкновенные домашние упражнения и рыбные промыслы. Заблудшие в умах уральцы обращаются на путь правый и повинуются верховному правительству; а дерзновенные получат должное возмездие. Извещая о сем ваше сиятельство,

с отменным почтением и преданностию честь имею быть

Милостивый Государь!
Вашего сиятельства
совершенно преданной слуга
кн. Г. Волконский.

в 11 д. декабря 1804 г.
г. Уральск.

Вместе с письмами к Воронцову иногда переплетены и черновики его ответов; но, как правило, даже при наличии таковых их меньше, чем писем к нему. Например писем его к Волконскому мы находим только одно, от 29 сентября 1804 г.; зато оно чрезвычайно интересно для характеристики колониально-завоевательной политики царизма в конце XVIII—начале XIX в. Оренбургский генерал-губернатор был не только надзирателем «известных уральцев», старых яицких бунтовщиков, но и передовым застрельщиком колониальной экспансии империи на путях в Среднюю Азию.

Вот что пишет ему Воронцов:

«Министр внутренних дел сообщил мне представления ваши о укреплении линии и о заведении устройства и тишины между киргисцами, а равно и план в. с. на экспедицию в степь и Хиву. Гр. Виктор Павлович сообщил мне также и содер-



ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСНОГО КОММЕРЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПОД НАЗВАНИЕМ „СОВЕРШЕННЫЙ КУПЕЦ" ИЗ АРХИВА ВОРОНЦОВЫХ

Историко-археографический Институт Академии Наук СССР, Ленинград

жание резолюции на все сии ваши представления. Все сии бумаги прочтя со вниманием, без лести сказать могу, я с большим удовольствием увидел, что все в. с. предположения основаны на пользе государства и на точных сведениях обстоятельств и положений края, вам вверенного.

Если линия так будет устроена, как вы предлагаете, тогда можно щитать Оренбургской край безопасным. Я не могу также не отдать справедливости основательным рассуждениям вашим о неудобности прежде предполагаемого переноса линии на Ембу, сопряженного с страшными издержками и затруднениями.

Экспедиция, предполагаемая в степь и Хиву, на которую вы уже и разрешены, принесет конечно большую пользу как обузданием киргизцов от грабежа караванов, так и воспрещением к хивинцам, чтоб они перестали покупать у киргизцов людей, увозимых от нас. Можно сказать, что не без стыда для толь сильного государства, каково есть Россия, спокойно взирать, что хивинцы и бухарцы в неволе держат толь большое число российских подданных. Хивинцы сверьх того оставались, по небрежению нашему, толь долго без наказания за варварский их поступок с корпусом Бековича. Остается мне теперь желать, чтобы подвиги в. с. были увенчаны совершенным успехом, а по дружбе и откровенности вашей ко мне считаю взаимным долгом сделать следующие два примечания.

1-е. По всем сведениям, кои я имел не только в бытность мою в Оренбурге, но и позже, число пленных наших в Хиве и Бухарии должно быть довольно значущо. Они, содержась в неволе, употребляются в садовых работах, в хлебопашестве, а некоторые в Бухарии на их фабриках. Буде сия экспедиция удастся, люди наши возвратятся, надо помышлять о поселении их и устроении их жребия. Те из них, кои, в неволе будучи, хлебопашеством занимались, могли б, кажется мне, с некоторою помощью поселены быть в тех частях края вашего, где земли хороши и удобны, а тем, кои на фабриках употребляемы были, доставить можно способы тем же ремеслом заниматься, что и способствовало бы умножению внутренней промышленности, в обоих сих случаях я разумею таких пленников, коих прежнее сдесь состояние таковым об них распоряжениям не препятствует.

2-е. Не сумневаясь в успехе предприятий ваших в степь и Хиву, чтобы непослушные киргизцы не были усмирены, а и Хива устрашена в. с., однакоже сами признаете, что оно будет только на некоторое время и что сия острастка помалу станет выходить у них из памяти после того, как войска наши возвратятся в Оренбург; но дабы от сей экспедиции произошла прочность и на будущие времена, то приходит мне на мысль, нельзя ли построить, избрав удобное место, крепость на реке Ембе, которая бы держала и Хиву и киргизцов в узде. Мне помнится, при Петре великом построена была крепостца прежде экспедиции Бековича, которая по истреблении его корпуса разорена была хивинцами; но на таковое построение надобны будут морские пособия, а баталион гарнизону и несколько сот уральских казаков могли б оную крепость содержать.

В. с. меня весьма обяжете, когда сообщите мне откровенно мысли свои на сии два пункта, тем паче, что мои рассуждении по сей материи основываются может быть только на гаданиях.

Из представлений ваших видел я, что вы и о кара-калпаках упоминаете. Сей народ после правления покойного Ивана Ивановича Неплюева кажется совсем из виду был у нас потерян.

Впрочем имею честь быть с искренним почтением».

Два приведенные нами письма довольно типичны, и по ним можно составить представление, какой разнообразный материал содержит переписка А. Р. Воронцова, существенно дополняющая правительственные архивы по вопросам экономики, колониальной политики, администрации и т. п. Но не только письма, получавшиеся ex officio, дают этот материал. Находясь в опале и отставке и с 1793 г. живя вдали от Петербурга, Воронцов неизменно получал подробную информацию от своих друзей и протеже. Социальный состав корреспондентов этого рода довольно пестрый—здесь и видные сановники, и чинуши помельче, и выслуживающиеся семинаристы, и разных гильдий купцы, и т. п. Соответственно с положением пишущего меняется и содержание: то читаем мы новости большой политики и двора, то знакомимся с интригами в правительственных учреждениях, то попадаем в круг биржевых интересов и узнаем о сенсационных банкротствах.

Историк русской внешней торговли конца XVIII в. не должен обойти вниманием, например, переплет № 117 Воронцовского архива, содержащий письма к Воронцову его петербургского фактора—купца Алексея Девкина—за 1793—1801 гг., дающий довольно конкретное представление о пульсе Петербургского порта в эти годы.

Вот первое письмо из этого переплета:

Сиятельнейший Граф!
Милостивый Государь!

Обременен будучи высокою милостию вашего сиятельства, не могу сими строками изъявить той чувствительнейшей благодарности, каковую благодарное и облагодетельствованное мое сердце принести долженствует с усердностью желания моего, чтоб сие письмо нашло вашего сиятельства в возжделеннейшем здравии. По от судствии вашем далнейших новостей нет, при биржи к покупки товаров остановительние послучию сведениев первого о банкрутстве Варшаве банкира и за ним никаторых кантор, впоследствие сего по сведению первому что и в Амстердаме об одной канторе, а севодни говорили еще 6 оказавшихся остановились платежами, *и будто г-н Гоп удалился в Англию, опосаяся по входу в голанские владении* французских войск, и здесь на Амстердам мало начинают трасировать, говорят и придостановются если не поддержут от опасности от неприятелей, в виду весма охотние бы могли покупать товары. Последние продажа была: пенку за все впериод денги 22 р. на задаток 23 р. Севодни за последнюю цену частию купили, полотны таюже изретко требуют, сало свечное белое купили уменшительно 42, желтое 45.

Курс впоследнию 11-го числа почту был 24 3/4—лондонской 25 7/8. У нас слава богу все благополучно, вчера принет был при дворе приезжий гость, молодец видной, имел честь и я видеть.

Если поднесенную прозбу мою по посредству вашего сиятельства московские господа мои видели ничего еще они ко мне не пишут; в протчем донесу толко что без вашего сиятельства скучно и грусно нам, за первейшее сщастие почитаю именоватся с истинным глубокопочитанием и преданностию моею

Вашего Сиятельства

Милостивый Государь

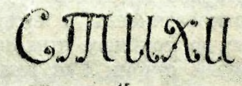
всепокорнейший и вернейший слуга

14-го марта 1793 года
Санкт-Петербург.

Алексей *Девкин.*

Это—письмо биржевика и поэтому о политических событиях, как например о приезде графа д'Артуа, упоминается вскользь. Но Девкин для того и нужен был Воронцову, чтобы узнавать колебания ассигнационного рубля и голландского штивера. Другие корреспонденты, как например Д. П. Трощинский, могли с большим знанием дела информировать Воронцова о политических событиях. Помимо опубликованных Бартеневым писем Трощинского есть целый переплет неизданных его писем (№ 1082), озаглавленный почему-то «Письма без подписи (конфиденциальные) — 1800 г. в царствование Павла I». Письма эти действительно без подписи и могут претендовать на название конфиденциальных, но относятся они в массе своей к екатерининскому периоду, как раз ко времени опалы Воронцова. Автор писем легко устанавливается как по почерку, так и по содержанию.

Письма эти чрезвычайно характерны для настроений правящих кругов, в частности группировки вельмож во главе с Безбородко, противостоявшей клике всесильного фаворита Зубова. Переписка эта заслуживала бы полного опубликования; для примера приведем два письма—одно совпадающее по времени с письмом Девкина, другое относящееся к периоду восстания Костюшки.



Стихи
и
Рѣчи
на разныхъ языкахъ
при бывшихъ философическихъ состязанияхъ
въ присудствии
его сиятелства
высокопревосходителнѣйшаго господина
дѣйствителнаго тайнаго советника
сенатора, дѣйствителнаго камергера
государственной коммерцъ коллегии президента, коммисии о коммерции члена
и разныхъ орденовъ кавалера, графа
Александра Романовича Воронцова
въ Архангелской семинарии
говоренныя
и
во свидѣтелство всеусерднѣйшия благодарности
посвященныя
1786го года
февраля 28 дня

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСНОЙ КНИГИ ИЗ АРХИВА ВОРОНЦОВЫХ

Историко-археографический Институт Академии Наук СССР, Ленинград

В С.П.бурге. апреля 14 1793.

Письмо вашего сиятельства от 31 марта я сей день имел честь получить, и из приложенных при нем таковых же одно к П. И. Новосильцову тот час доставил, а другое к Бароци пошлю уже в Константинополь при первом случае.

Гость наш граф д'Артуа сего дня отъезжает отсюда. На каком основании распоряжено его отправление, ваше сиятельство изволите увидеть из копий указов, здесь приложенных. При отъезде его пожаловано ему 10 000 р., перстень с портретом, покрытым брилиянтом ценою в 30 000 р., и шпагу золотую, на которой в верху большой вставлен брилиянт, а на ефесе надпись avec dieu pour le roi. Сия шпага с перва положена была на гробнице Александра Невского и окроплена святою водою. Свита его также получила подарки вещми и денгами.

Дни с четыре как отправлен курьер в Лондон; но я не могу донести вашему сиятельству содержания предложений, не видевши их и сам; они были писаны Аркадием Ивановичем [Морковым].

Вчера указы даны Сенату с разными распоряжениями по губерниям во вновь приобретенных польских землях. Сии указы вышли из известного места. Сколь скоро напечатаются они, я поспешу доставить вам, милостивый государь, печатные екземпляры. По городу слух идет, будто бы уже вышло и награждение трудившимся в сих делах; но я сему не верю, ибо кажется не имея от Кречетникова ведомостей о староствах, короне принадлежащих, не из чего еще назначать раздачи. По словам публики, заимствуемым из слов людей, приближенных к той партии, жалуют Платону Алекс. [Зубову] 14 000 душ, Валериану Алек. [Зубову] 6000, Арк. Ив. Моркову 4000, Алтестию 800 и Грибовскому 600.

Я не оставлю ваше сиятельство уведомлять о переменах случающихся чинов первых по губерниям, а по сю пору только еще и определен в Нижний-Новгород в вице-губернаторы какой-то отставной полковник князь Долгоруков, женившийся на одной девице питомице Зубова и в приданое сие место получивший.

Прот-Потоцкий воевода киевский пожалован тайным советником, сенатором и кавалером ордена Св. Александра Невского.

Граф А. А. [Безбородко] располагается после праздника ехать в Москву. Хотя он не весьма привязан к своему мнению и ежечасно оное переменяет, не менше однакож смущаюсь я настоящим моим положением. Я останусь здесь как архивариус, которого потыкать будет всякой хто захочет. — Отпустите мне, ваше сиятельство, откровенность, с которою я изображаю вам горестные чувства души моей и состояние, до крайнего отчаяния меня доводящее.

Наш добрый старик Ган крайне опечален смертию жены его.

Более ничего примечательного у нас нет.

Поручаю себя продолжению драгоценной для меня милости вашей.

В С.п.бурге. Апреля 25 [1794].

О произшедшем в Варшаве, а может статься и в других местах, не имеем мы никаких подробнейших известий. Граф Николай Зубов, один из спасшихся генералов, приехал сюда, но на его показания увериться не можно, тем более что он сколько раз принимается рассказывать сие нещастное произшествие, столько раз переменяет оное, так что можно думать, что он тогда и себя не помнил: при всем том бесстыдно кажется везде, как будто приехавший с вестию о славной победе. Меры здесь взяты на первой случай те, что князю Николаю Васильевичу [Репнину] поручено главное начальство над всеми корпусами войск, бывшими под командою Игельстрома, к коим прибавлено еще от графа Салтыкова 32 000. До дальнейшего усмотрения обстоятельств, ему предписано только главнейшие два предмета, 1-е чтоб собрать рассыпанные части войск наших и 2-е чтоб обеспечить пределы свои и не допустить в оных возникнуть подобному мятежу. По известиям из Венеции полученным с курьером видно, что Костюшка действует по плану, данному из Парижа от злодейского конвента, коему он и рапорт послал об успехах своих. — Еще одна новость из Неаполя, что там открыт страшный заговор, который едва не произведен в действо. Оный состоял в том, чтоб короля, королеву, всю фамилию их и министерство захватить и отправить во Францию. Изверги тамошние ужасно как действуют происками по всюду.

Ежели могу достать, то с будущею почтою сообщу вашему с-ву копии с повеления князю Репнину и пр., а здесь прилагаю посланную отсюда для опубликования в новых наших губерниях грамоту архиерейскую.

В нынешнем критическом положении дел совершенное было торжество для гр. А. А., которому поручено было составление и все распоряжение експедиции польской. Министры, управлявшие так хорошо доселе, весьма упали, особливо

в мнении публики о их дарованиях: и от каждого внимания не сокрыто было то преимущество, какое имеет граф А. А. и те отличия, какие ему тут оказывать начали.

Заканчивая наш затянувшийся обзор переписки А. Р. Воронцова, отметим еще большое количество писем просителей различного рода и звания по всяческим нуждам; среди них немало иерархов церкви. Церковные князья в разговорах с могущественным вельможей превращаются поистине в скромных пастырей; сам же Воронцов в своих черновых ответах обычно даже не выполняет этикета, требовавшего просить «благословения» у такого рода корреспондентов.

Перейдем теперь к рассмотрению других отделов Воронцовского архива. Большинство рукописей (всего переплетов в собрании, считая переписку и хозяйственные документы, около 1400) отложилось в результате правительственной деятельности самих Воронцовых и обусловленных этой деятельностью их интересов к документам. Здесь на первом месте по количеству следует пожалуй поставить материалы дипломатического порядка. Среди них мы находим большое количество «дневных записок» Коллегии иностранных дел по годам, протоколов и других материалов по конференциям русских представителей с иностранными дворами, донесения послов и других дипломатов, специальные дела, посвященные взаимоотношениям России с различными государствами, и т. д. К этому же разделу примыкает значительное количество иностранных рукописей по политической истории отдельных западноевропейских стран и собранные по поручению А. Р. Воронцова копии дипломатической переписки Московского государства.

Довольно значительно собрание различных официальных распоряжений—сенатские указы, выписки из законов как русских, так и иностранных и т. п. Это конечно относительно менее ценная часть архива, повторяющая материал, в общем доступный и по другим источникам.

Большое число переплетов посвящено материалам военно-исторического порядка. Однако материал этот сравнительно случаен, если не считать бумаг М. С. Воронцова, относящихся к пребыванию русских войск за границей в 1813—1814 гг. и к оккупационному русскому корпусу во Франции в 1815—1818 гг., которым командовал М. С. Воронцов. Большинство документов не представляет особого интереса: это обычная штабная переписка о перемещениях войск и отдельных лиц, о наградах, продовольствии, смотрах и т. д. Материал этот представляет занимательность только

Mr Monroe presents his compliments to the count de Worontzow & has the honor to inform him that he has just received a letter from Mr Harris consul [illegible] the UStates of America at St Petersburg containing a copy of a letter from the chancellor of the Empire in which that very respectable minister by order of the Emperor, assures Mr Harris in reply to his application on the subject, that his Imperial majesty will interpose his good offices with the Ottoman Porte to obtain thereby the restitution of the frigate & crew from the corsairs of Tripoli, which by being lately unfortunately stranded on that coast fell into their hands. Mr Monroe will hasten to communicate this important information to his government, by whom he is well persuaded that it will be received with the high consideration which is due to so signal a proof of the friendship of his Imperial majesty for the UStates. He has the honor in the mean time to express to the Count de Worontzow his own sensibility on the occasion, and to assure him of the pleasure with which he becomes the organ to his government of a communication so honorable & interesting to his country.

61 Wimpole Street March 27. 1804.

ЗАПИСКА ДЖ. МОНРОЭ
К С. Р. ВОРОНЦОВУ ОТ 27 МАРТА
1804 г.

Историко-археографический Институт
Академии Наук СССР, Ленинград

благодаря разбросанным в отдельных местах документам, характеризующим настроения населения, столкновения бонапартистов с роялистами и т. п. В этом смысле представляют особый интерес относящиеся к делам оккупационного корпуса три переплета — один, озаглавленный «Sur la Prusse» (№ 1139), и два — «Sur Paris» (№№ *1153, 1154*). Это агентурные донесения и сводки о политическом, военном, экономическом и т. д. положении Пруссии и Парижа. Прусский том целиком составлен полковником Ностицем, парижские донесения частью им же, частью каким-то другим лицом. Если материалы тома «Sur la Prusse» сравнительно бледны и посвящены в основном вопросам организации прусской армии, то донесения о Париже очень содержательны и рисуют жизнь Франции с самых различных сторон в течение нескольких лет.

В других отчетах мы находим дополнительный материал об обывательских разговорах, об ученых и литераторах и т. п. — в общем обычный тип русских агентурных сводок того времени, но на французском материале.

Из материалов военно-политического порядка заслуживает упоминания еще трехтомное «Описание военных действий российских войск против венгерских мятежников 1849 г.»

Важнейшим и чрезвычайно разнообразным по содержанию разделом Воронцовского архива являются экономические материалы, восходящие по преимуществу к деятельности А. Р. Воронцова. Этим темам специально посвящено свыше ста переплетов, о содержимом которых однако судить по заглавиям без исчерпывающего научного описания довольно трудно.

Отметим также некоторые компактные части раздела экономических материалов: в нем имеется около 50 описаний губерний, составленных преимущественно в конце 1780-х, начале 1790-х гг., имеются дела комиссии о коммерции, дела комиссии об отвращении недостатка в хлебе и т. д.

В Воронцовском архиве в составе различных переплетов смешанного содержания встречаются первоклассные документы (подлинники и копии) по истории отдельных угнетенных народов царской России и колониальной политики правительства. Помимо того в собрании находим и специальные переплеты на эту тему, содержащие аналогичные официальные документы, иногда же рукописные исторические и этнографические трактаты. Так переплет № 5 содержит «Разные сведения о зюнгорском народе», № 247 — «Представление о состоянии Киргизских орд», № 275 — «Краткое описание малороссийского казацкого народа», № 322 — «Исторические примечания о древностях Олонецкого края и его народах», № 340 — «Описание калмыцких народов», № 936 — «Сочинение Евг. Кемфлера о Казани, Астрахани и Грузии» и т. п. Большинство документов и сочинений относится к XVIII в. и собрано, надо полагать, А. Р. Воронцовым. Но и М. С. Воронцов, один из практических военных руководителей русской ближневосточной экспансии второй четверти XIX в., пополнил собрание рядом новых приобретений, как например «Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии» (1841 г., пер. № 732), рукопись «Рассказа кн. Орбелиана, бывшего в плену у Шамиля в 1842 г.» и др., в том числе замечательным по графической работе, хотя и дефектным экземпляром знаменитой поэмы Шота Руставели о «носящем барсову шкуру».

Сенаторская деятельность Воронцовых и участие их в обсуждении различных законоположений является причиной наличия в архиве различных судебных дел, довольно большого количества переплетов, относящихся к работам Комиссии по составлению нового уложения в 1767 г., различных проектов, записок и т. п. Среди смешанных переплетов находим ряд томов «Материалов по внутреннему управлению», очень пестрых по своему составу. Наконец имеется некоторое количество дел (в большинстве в копиях) по государственным преступлениям XVIII в., отчасти из тайной канцелярии.

К этим же разделам относятся переплеты, заглавия которых не дают никакого представления об их содержании. Это различных объемов по большей части довольно внушительные томы, озаглавленные «Бумаги гр. А. Р. Воронцова», «Материалы для истории российской», «Бумаги гр. М. Л. Воронцова», «География и статистика» и т. п. В этих сборниках можно найти документы всякого рода — и личную переписку, и копии старых актов, и записки различных прожектеров, и официальные распоряжения. Чтобы не утомлять читателя пространным перечнем, приведем на выборку заглавия нескольких документов из переплета № 949, содержащего «Материалы для истории российской». Здесь между прочим находим: упомянутое выше письмо М. Л. Воронцова к И. И. Топильскому, копию с письма Дмитрия Ростовского к стольнику и воеводе Л. Г. Воронцову, книгу посольскую о походах на службу в Царьград ко царю Магмету Салтану 7063 (1555) года,

ВНЕШНИЙ ВИД
ВОРОНЦОВСКОГО СОБРАНИЯ
В ИСТОРИКО-АРХЕОГРАФИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР
В ЛЕНИНГРАДЕ



копию духовного завещания князя Никиты Репнина, описание посольства царя Алексея Михайловича к имеретийскому царю Александру, записку А. Р. Воронцова о шведской и турецкой войнах 1790 г., переписку А. Р. Воронцова с известным историком Миллером по вопросам русской истории (любопытно отметить, что Воронцова интересовало прошлое русской аристократии и законодательная компетенция боярской думы), экстракт о выезде из Молдавии генерал-майора князя Кантемира и показанной Кантемировою фамилиею Российской империи верности, известие о посольском приказе, что ныне государственная коллегия иностранных дел, сочиненное надворным советником Мартыном Соколовским; далее находим среди других документов копию челобитной фельдмаршала Миниха, копии «обельных грамот о заведении чугунных пушечных заводов в Повенце и Петрозаводске», записку «Удобный способ о истреблении мухаметанской секты и о пресечении французских интриг», записку «О состоянии тюрем в России в царствование императрицы Екатерины II», довольно любопытное «изъяснение ко истреблению бунтовщика и злодея Пугачева» (здесь между прочим рекомендуется поручить «истребление» Пугачева «человеку, сведущему злодейственные обряды или их намерения, к чему практику первейшим предводителем избрать надлежит; следовать к нему должно, ежели повелено будет, не инаково как в лице такового ж изменника, а удобнее и под видом сущего злодея...»), копию письма императрицы Марии к Плещееву о смерти Павла I, выписки из дела патриарха Никона и т. п. Подробное обследование этих сборных переплетов может конечно привести к обнаружению новых данных по самым разнообразным вопросам.

Следует отметить далее ряд материалов биографического характера об отдельных членах семейства Воронцовых: это автобиографические заметки М. Л. Воронцова, записки А. Р. Воронцова, автобиография С. Р. Воронцова, записки Е. Р. Дашковой и наконец целый ряд записных книжек М. С. Воронцова, полудневников по типу, за ряд лет. Впрочем несколько просмотренных нами книжек оказались по содержанию довольно бледными.

В архиве Воронцовых находим личные бумаги и переписку ряда деятелей XVIII в. (в подлинниках и копиях), как например царевича Алексея Петровича, А. Д. Меншикова, Г. А. Потемкина, П. В. Завадовского, Паниных, Бестужевых-Рюминых и др.

Особо нужно подчеркнуть шесть переплетов, связанных с именем А. Н. Радищева. По большей части документы этих переплетов были напечатаны в «Архиве кн. Воронцова», но известная доля их, остающаяся до сих пор неопубликованной, стала входить в научный оборот только после переезда архива в Академию Наук благодаря работам В. И. Семенникова и др. Однако помимо рукописей Радищева, помещенных в соответствующих томах архива, нам удалось обнаружить в трех переплетах сборного содержания еще пять автографов Радищева—его записок по различным экономическим вопросам. Не исключена возможность и дальнейших находок. Кроме того есть основания думать, что среди различных бумаг и проектов, писанных писарской рукою и неподписанных, могут также быть Радищевские тексты, но установление их—дело очень сложного и не дающего гарантий анализа.

Далее следует отметить наличие в архиве Воронцовых довольно большой группы старинных рукописей. Здесь мы находим и летописи, и разрядные книги, и статейные списки, и различные сборники, и т. д. Некоторые из них весьма примечательны по содержанию. Таковы например «История бунта стрелецкого», «Книга о царствии российском», «Указы государей и боярские приговоры о вотчинах», «Известие о житии Никона патриарха московского», «Древние узаконения России», «История о взятии Казани» и т. п.

Немалое число находим мы также различных художественных, исторических и прочих сочинений, оригинальных и переводных. Больше всего исторических, вроде «Достопамятных происшествий в Российской империи с Петра Великого до кончины его», «Краткой российской истории с описанием жизни Петра Великого», «Краткого описания событий во дни царствования Екатерины II», записок Екатерины II, Миниха, Шаховского, Ермолова и т. п. Значительное количество сочинений по историческим вопросам находим на иностранных языках: здесь и «Mémoires concernant le gouvernement d'Angleterre en 1687», и «Sur le gouvernement de Venise» XVIII в., и «Réflexion sur le gouvernement d'Allemagne», и многотомные мемуары маркиза де Данжо, и т. д. Среди художественных произведений находим тексты опер, комедии, повести, русские оригинальные, переводные и на иностранных



ВЫВЕСКА „КОНТОРЫ ГЛАВНОЙ ИРКУТСКОЙ СОЕДИНЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ"
(1797 г.)
Историко-Бытовой отдел Русского Музея, Ленинград

языках. Некоторые из них являются списками с печатных текстов, но для большинства требуются еще дополнительные библиографические разыскания. Особенно примечательных русских сборников нам не попадалось, но зато среди иностранных имеются любопытные. Таков например сборник «Mélange pour servir de mémoires à l'histoire et à la vie des gens de lettres», где находим биографии Лафонтена, Прадона, «Histoire satirique de la Ligue» и др. Любопытен также сборник эпиграмм и памфлетов на французский двор и правительство, датированный довольно характерно «A Paris chez Jean Satyre, rue des mauvaises pensées à la Sottise» и открывающийся собранием «Les faits mémorables de Louis quatorze à qui il fut donné en naissant le nom de Dieudonné et que la colère céleste accorda par vengeance à nos désirs ardents».

Закончим наш затянувшийся обзор указанием на приличествующий каждому большому архивному собранию отдел «смеси». Сюда мы включаем такие рукописи, как «Стихи и речи на разных языках при бывших философических состязаниях в присудствии его сиятельства высокопревосходительнейшего господина действительного тайного советника, сенатора, действительного камергера, государственной Коммерцколлегии президента, комиссии о коммерции члена и разных орденов кавалера графа Александра Романовича Воронцова в Архангельской семинарии говоренные и во свидетельство всеискреннейшия благодарности посвященные 1786-го года февраля 28 дня» или такие, как «Описание замечательных зданий в Риме», «Chevaux» или «Полный список андреевским кавалерам 1699—1821 гг.».

Наш обзор, чрезвычайно беглый, не мог конечно исчерпать ни одной из поставленных тем. Нашей задачей было показать (и надеемся, что приведенные иллюстрации помогли этому) историко-культурное значение самого архива и ценность содержащихся в нем материалов по социальной, экономической и культурно-бытовой истории XVIII в. Архив еще ждет своего описателя и исследователя хранящихся в нем материалов. Последние, за исключением того, что вошло в «Архив кн. Воронцова» и в несколько случайных публикаций, оставались под спудом достаточно долгое время. Лишь последние годы, с переходом основной массы архива в Историко-Археографический Институт Академии Наук СССР, началась широкая разработка материалов и подготовка их к печати. Документы Воронцовского архива вошли в два подготовленных Институтом тома по экономической истории второй половины XVIII в. и широко привлекаются в работах Института по истории колониальной политики царизма и угнетенных народов России. Но для того, чтобы исчерпать важнейшие фонды архива, понадобится еще работа многих лет и многих исследователей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Арх. Маркса и Энгельса», т. I, стр. 376.

2 «Арх. кн. Воронцова», т. IV, стр. 179.

3 Там же, т. XII, стр. 407.

4 Там же, т. XIII, стр. 481—482.

5 В последнее время своего пребывания в частных руках архив, можно думать, не вызывал интереса со стороны владельцев, и хранение его имело весьма кустарный характер. Это видно по расстановке и нумерации томов, сохранившейся до сего времени. В какой-то момент (может быть при переноске из одного помещения в другое) переплеты были расставлены кое-как, без всякой системы, и перенумерованы таким образом, что одно и то же рукописное сочинение или тематически объединенное собрание бумаг в нескольких томах могло разрозниться на отдельные переплеты, при чем какой-нибудь, например пятый, том получал номер меньше первого и т. п. Эта небрежность могла отразиться и на сохранности документов, хотя беглое сопоставление нынешней инвентарной описи (подробного описания архива к сожалению не имеется до сих пор) с описаниями, составленными еще у Воронцовых, говорит о том, что в общем архив сохранился довольно полно.

6 Известно, с какой внимательностью анализировал Маркс русскую дипломатическую переписку XVIII в. «По просмотре находящихся в Британском музее дипломатических бумаг» Маркс «нашел ряд английских документов, которые тянутся от эпохи Петра Великого до конца XVIII столетия и свидетельствуют о постоянном тайном сотрудничестве между лондонским и петербургским кабинетами, при чем колыбелью этого сотрудничества является как раз эпоха Петра Великого». Маркс сам опубликовал письма английских представителей при петербургском дворе XVIII в., сопроводив их убийственно саркастической характеристикой. В письме

к Энгельсу от 29 февраля 1856 г. Маркс следующим образом сообщал о своей находке: «В музее я нашел пять томов in folio рукописей о России (только о XVIII веке) и сделал из них выписки. Они составляют часть наследства архидьякона Кокса, известного своим коллекционерством. Они содержат много оригинальных писем (до сих пор не напечатанных) английских посланников в Петербурге к здешнему кабинету, из которых некоторые действительно весьма компрометирующего характера. Между прочим среди них имеется рукопись 1768 г., принадлежащая одному из польских атташе, о «характере русского народа». Я тебе пошлю выписки из него. Также есть интересный доклад о русских «артелях», написанный двоюродным братом Питта, капелланом посольства» (Сочинения, т. XXII, стр. 121).

С О О Б Щ Е Н И Я

У ИСТОКОВ ДВОРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

ПОЭТ МИХАИЛ СОБАКИН

Сообщение П. Беркова

В 1739 г. студентом Ломоносовым, находившимся в то время в Фрейберге, была прислана в Академию Наук «Ода на взятие Хотина»; в следующем году были напечатаны две поздравительные оды Сумарокова. С появлением этих двух писателей, т. е. с 40-х годов XVIII в., обычно начинается изучение нового периода истории русской литературы. Из предшественников Ломоносова и Сумарокова историкам литературы известны едва ли не только кн. Антиох Кантемир и В. К. Тредиаковский, но и их творчество рассматривается по преимуществу в качестве материала, предваряющего и оттеняющего деятельность Ломоносова и Сумарокова. Других писателей—светских и притом «художников слова», а не публицистов и историков вроде И. Посошкова и В. Н. Татищева—историки русской литературы не называют. Между тем для характеристики тогдашней литературы, в частности для уяснения постепенного формирования дворянской литературы в России, необходимо более детальное обследование этой эпохи со стороны ее литературной производительности.

К сожалению эта производительность до настоящего времени вовсе не изучена. Даже в самой новой по времени и по своему подходу работе о русской литературе XVIII в., в книге Г. А. Гуковского «Русская поэзия XVIII века» (Л., 1927), 30-м годам уделено не более двух страниц, и притом рассматриваются те же Кантемир и Тредиаковский. В старых же работах твердо установилось мнение, что во времена Тредиаковского «стихотворство было пока уделом школьного люда» [1]. Между тем именно 30-е годы XVIII в. нужно считать началом дворянской литературной производительности.

Первым дворянским поэтом, если не считать кн. А. Кантемира, обыкновенно называют Сумарокова. Но полагать, что Сумароков явился независимо от какой-либо общественной среды, его подготовившей и создавшей вокруг него литературную атмосферу, неверно. Биографы автора «Хорева» указывают, что в годы обучения Сумарокова в Рыцарской Академии (позднее Сухопутный Шляхетный Корпус) в этом учебном заведении существовало «Общество любителей русской словесности» [2].

По словам С. Н. Глинки, центром этого кружка был якобы Сумароков. Между тем, как указано выше, первые оды Сумарокова, еще силлабические, были напечатаны в 1740 г. Появление их связано было с установившейся в 30-х годах XVIII в. традицией подносить Анне Иоанновне к новому году торжественные оды от «рыцерской академии». «Поздравительным одам в первый день нового года 1740 от кадетского корпуса, сочиненным чрез Александра Сумарокова» предшествовали аналогичные издания 1735—1738 гг. и, вероятно, 1739 г. Состоят они из двух частей: немецкого текста и русского перевода, или может быть наоборот (см. об этом дальше). Названия их чрезвычайно длинные и искусственные [3]. Писаны они силлабическим размером, но нельзя им отказать в достаточной гладкости и сравнительной удобочитаемости. Ода на 1738 год («Благополучное соединение свойств» и т. д.) написана ритмической прозой с дактилическими окончаниями строк.

Н. Н. Булич, обративший впервые внимание на эту литературную продукцию, но недостаточно оценивший ее, приведя два образца из од «юности рыцерской академии», замечает: «Кто был настоящим автором этих стихотворений—мы не знаем. Писанные от лица всего корпуса, они может быть принадлежали и Сумарокову и могли быть исправлены каким-нибудь учителем, вышедшим из школы Тредиаковского, или даже им самим» [4].

Предположения Булича едва ли основательны. Во-первых, нужно исключить возможность участия Тредиаковского в одах кадетов: в опубликованных в III томе «Материалов по истории Академии Наук» (СПБ., 1886) сведениях о составе педагогов Шляхетного корпуса за 1735—1737 гг. имени Тредиаковского нет. «В российском штиле» кадетов, вопреки мнению историка С. М. Соловьева [5], обучали не русские, а немецкие педагоги Весман и Кларген, каждый по 25 кадетов (назв. соч., стр. 449). Как велось преподавание, видно из помещенной там же «Спецификации авторам, которые при рыцерской академии шляхетного кадетского корпуса для обучения кадетов употреблялись». «В российском язычном классе (т. е. у того же Весмана): «За неимением российской грамматики первое грамматическое основание кадетам письменно давалось, а кроме того и военный артикул на немецком и русском языке с Питербургскими ведомостьми им толковались» (стр. 464).

«В немецком штиле (учителя Росток и Людвиг) «బениямин Нейкирхс анлетунг [6] употреблялся, а в нижних классах токмо письма диктировались и по орфографии исправлялись, а в высшних классах по правилам данным сами кадеты письма сочиняли» (стр. 465). «В российском штиле (у Весмана и Кларгена): «Равным образом поступлено, и немецкие письма на российский язык перевождены, також и по диспозициям письма сами кадеты сочиняли» (стр. 466) [7].

Таким образом очевидно, что не педагоги насаждали эту кадетскую поэзию, а она явилась результатом их личного творчества. Искусство стихотворства, как известно по программам других учебных заведений того времени, было достаточно сложно и требовало большой и длительной подготовки. Никаких намеков на занятия стихотворством в приведенных выше отрывках нет. Это и убеждает в том, что оды «юности рыцерской академии» были произведениями дворянских дилетантов и повидимому исходили из упомянутого выше «Общества любителей русской словесности». Состав его точно неизвестен. Впрочем благодаря сохранившимся спискам кадетов первых лет существования «рыцерской академии» можно предположить, что в состав кадетского «Общества» входили, помимо Сумарокова, будущие литературные деятели: Ив. Мелисино, Ад. В. Олсуфьев и некоторые другие. Во всяком случае наиболее активным деятелем общества был повидимому кадет Михаил Собакин. По словам Булича (цит. соч., стр. 17), «к общему поздравлению Корпуса, поднесенному в 1737 году в знак верной ревности своей присовокупил всепокорнейше и свое кадет Михаил Собакин». Не касаясь сейчас данного произведения Собакина и некоторых других его литературных выступлений, необходимо отметить, что имя этого писателя отчасти известно в истории русской литературы. В «Русской поэзии» С. А. Венгерова сообщены следующие сведения о нем:

«Са[о]бакин, Михаил Григорьевич. Один из первых по времени поэтов 18 века. Штелин в своей Записке [8], относя его к 1732 году, говорит о нем: «Г. Собакин, стихотворец, служил в Шляхетском кадетском корпусе; писал старинным стихосложением, не отличался особенным дарованием и был вскоре забыт». Новиков несколько более детален:

«Собакин, Михайло Григорьевич, тайный советник, государственной коллегии иностранных дел член, мастерской оружейной конторы главный судья и ордена святыя Анны кавалер. В молодых своих летах писал разные стихотворения, из коих известным осталось только одно его стихотворное сочинение, Совет добродетели, хранящееся в императорской библиотеке; а о протчих же его сочинениях известия нет».

Евгений называет его сенатором и «Московского иностранного архива начальствующим» и сообщает, что он умер 1773 г. Февраля 6 [9].

Таким образом к концу XIX в., когда издавалась «Русская поэзия», сведения, которыми располагала история литературы о Собакине, были не больше того, что было о нем известно ко времени митр. Евгения, автора «Словаря русских светских писателей», т. е. к началу XIX в. Между тем в течение прошлого и начале текущего столетия было опубликовано довольно материалов, по которым биография Собакина может быть восстановлена довольно подробно.

Родился Михаил Григорьевич Собакин в 1720 г. [10] Он принадлежал к старинному боярскому роду Собакиных, одна из представительниц которого, Марфа Васильевна, была третьей женой Ивана Грозного [11]. Надо полагать, что у некоторых ветвей этой фамилии были очень долго живы родовые воспоминания; так у двух Собакиных, умерших в 1828 и 1837 гг., на надгробных плитах было отмечено, что они «из бояр» [12]. Есть основания предполагать, что и М. Г. Собакину была свойственна эта фамильная черта. По крайней мере он был автором «Известия о старинных чинах и должностях», которое в рукописном виде хранится в б. Московском архиве Министерства иностранных дел [13].



ПОЭТ М. Г. СОБАКИН

Портрет неизвестного художника (середина XVIII в.)

Центрархив СССР, Москва

Первоначальное образование М. Г. Собакин получил в «рыцерской академии». В изданном в 1761 г. «Имянном списке всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе Штаб- и Обер-Офицерам и Кадетам, с показанием, кто из оных и с какими удостоинствами, в какие чины выпущены и в каких чинах ныне» о Собакине даны следующие сведения: «183. Михайла Григорьев сын Собакин, вступил в Корпус 1732 года маия 31 дня, выпущен 1738, октября 23 из сержантов в армию в порутчики, с нижеследующим аттестатом: арифметику и геометрии все части окончал, знает с доказательствами твердо, переводит с немецкого на французский язык екстемпоре, фехтует в контру, рисует ландшафты красками и портреты миниатюрою, универсальную историю и в географии разные карты прошел; ныне статским советником» [14].

Из выданного Собакину аттестата видно, что в образовании его имелись налицо все необходимые тогдашнему дворянину знания, а также были и элементы художественного воспитания—занятия ландшафтной и портретной живописью. Это обстоятельство не следует упускать из виду при рассмотрении его литературной деятельности. Обращает на себя внимание и то, что, будучи принят почти одновременно с Мелисино, Олсуфьевым, Сумароковым и некоторыми другими кадетами в 1732 г., Собакин был выпущен не одновременно со своими соучениками в 1740 г., а в 1738 г.; при этом он попадает не в аристократические гвардейские полки, а в армию [15]. Повидимому на военной службе Собакин находился недолго: уже в 1742 г. он упоминается в качестве асессора конторы Коллегии иностранных дел [16], где продолжает служить до 1772 г.[17]. В 1767 г. он был назначен депутатом от Иностранной коллегии в комиссию о составлении нового Уложения 1767 г.[18]. В том же 1767 г. 31 октября Собакин был назначен московским сенатором [19]. В «Месяцеслове на 1771 г.» он фигурирует как «главный судья Московской мастерской и Оружейной Конторы, Тайный Советник, Сенатор в Москве, кавалер ордена св. Анны».

Однако крупная бюрократическая карьера Собакина вскоре была разбита. Во время свирепствовавшей в Москве в 1771 г. моровой язвы Собакин, назначенный в помощь градоначальнику Еропкину, после первых решительных действий, под влиянием обнаружившегося в его доме случая заболевания, заперся в своем кабинете и забросил дела. Произошедшие затем беспорядки, в результате которых был убит архиепископ Амвросий, вызвали сильное неудовольствие Екатерины, которая в январе 1772 г. отставила Собакина от занимаемых им должностей, в том числе и от Сената [20], что представляло исключительно редкий случай.

Отставка сильно подействовала на Собакина: через год с небольшим он умер. Дошедшие о Собакине материалы рисуют его «одним из образованнейших людей своего времени» [21], выбиравшим между прочим темы для проповедей упомянутому выше Амвросию [22], помогавшим французу Леклерку предоставлением материалов для «Истории России» последнего [23], много путешествовавшим и жившим в Москве «широко и приятно» («très honorablement et très agréablement») [24].

Изложенными материалами не исчерпываются сохранившиеся о Собакине сведения. Опуская ряд семейных, генеалогических и бытовых подробностей, рисующих среду и общественные связи Собакина, можно и на основании приведенных данных заключить, что он принадлежал к высшему дворянскому слою и поэтому должен рассматриваться как представитель последнего.

Если биографические материалы о Собакине довольно подробны, то о литературной его деятельности, кроме трафаретной формулы—«в молодости писал стихи», неизвестно ничего. Н. Н. Булич, как указано выше, сообщил мимоходом о наличии каких-то стихов Собакина при поздравлении от кадетов 1737 г., но самого произведения не коснулся. Обращаясь к литературной продукции Собакина, нужно предварительно напомнить, что оды «юности рыцерской академии» писались коллективно, по крайней мере так можно толковать формулу на титульном листе («от юности рыцерской академии», «шляхетна юность», «от Шляхетной Академии Наук юношества»). Впрочем не следует забывать и то, что оды, сочинявшиеся академиками Я. Штелиным, Юнкером и др., нередко подносились, без упоминания авторского имени, «от Академии Наук». Может быть кадетские поздравления 1735—1738 гг. были продукцией одного какого-нибудь автора, в частности Собакина, который в 1737 г. уже официально «присовокупил к Рыцарской академии поздравления».

Но даже если не считать Собакина единоличным автором поздравлений от кадетов, то все же участие его в их составлении несомненно. Как уже отмечено было выше, оды «юности рыцерской академии» сплошь писаны силлабическим размером. Характерные для этого периода русской поэзии особенности языка—украинизмы—имеются налицо и здесь. Так в оде на 1735 г. встречаются следующие отклонения от языковой нормы: «чим (вместо чем) входящу на трон поздравляет»; «писать благодар-

ные стихи з (вм. из) сердца ныне» и т. д. Таким образом со стороны структурной оды эти не представляют интереса. Гораздо любопытнее их содержание. Выражая настроения и взгляды кадетов, т. е. той дворянской молодежи, которая подготовлялась к занятию видных общественных постов, поздравления 1735—1738 гг. должны рассматриваться в качестве памятников идеологических в первую очередь.

Ода 1735 г. начинается с перечисления положительных для дворянского сословия (чина) сторон создания Шляхетного Корпуса.

Изготовися Марсов корпус в своем чине
Писать благодарные стихи з сердца ныне:
Кому, чаешь, прилична сия должность всяко?
Есть ли другой Корпус где, одолженный тако?
Вспомяни твою бытность в прошедшее время,
Собственные твои нужды и трудов беремя:
Кто тебя так украсить довольно потщился?
И каков недавно ты еще находился?
Рассеян и разделен далеко повсюду,
А ныне в твою пользу собрался оттуду:
Кто прежде сего тебя обучал в потребном?
Кто прибавил разума в житии безбедном?
Кто телу дебелому дал силу иную?
И должность чад отечества показал прямую?

Далее юные поэты отмечают:

Где ни посмотрим, везде учения зрятся,
С добродетельми купно сплетенны красятся.

Обращаясь к Анне Иоанновне они говорят:

Прежде мы в незнании провождали лета,
Ты же отворила нам учения света.

Об оде своей авторы отзываются так:

Прими первы начатки наших плодов позных,
Щедрым семенем малу жатву класов розных.

Называя свои стихи поздними плодами [25], малой жатвой разных колосьев из щедрого семени, авторы как бы желают продемонстрировать степень своей образовательной подготовленности и подчеркнуть критичность своей самооценки. Благодаря этому самоуничижению, вполне вытекавшему из принципов панегирической поэзии, особенно выигрывала идеализируемая характеристика Анны Иоанновны. Остальные поздравительные оды по существу представляют лишь вариации одной и той же темы и поэтому для настоящей заметки можно ограничиться сказанным.

Поскольку в каждой оде имеется параллельный немецкий текст, возникает естественно вопрос, что является оригиналом? Если в отношении од 1735, 1737 и 1738 гг. решить вопрос не так легко, то по отношению к оде 1736 г. можно с несомненностью утверждать, что русский текст является основным, а немецкий представляет перевод. Основанием для этого утверждения служит то обстоятельство, что ода 1735 г., начинающаяся словами «Аугуста! Венчанная главо!» представляет собой акростих, образующийся из начальных букв каждого нечетного стиха: «Анна императрица и самодержица да здравствует усердно желаем». Немецкий же текст не дает акростихического чтения ни в данной оде, ни в остальных. Это обстоятельство дает основания предполагать, что может быть и все прочие оды «юности рыцерской академии» представляли оригинальные произведения, а не переводы с немецкого.

На фоне этих кадетских од, безымянных и безличных, должно рассматривать самостоятельное творчество Михаила Собакина. Первое дошедшее за его подписью произведение относится к 1736 г. и присоединено к общекадетской оде «Преизобилие императорской милости», напечатанной 1 января 1737 г. Стихотворение Собакина не имеет заглавия, писано силлабическим размером; в отступление от классических требований стих у Собакина состоит из 12 слогов вместо обычных 13 или 11 и с цезурой после шестого, а не седьмого слога [26]. Однако основная суть первого стихотворения Собакина состоит не в этих конструктивных особенностях, а в той искусственной и искусной расстановке слов, при которой отдельные звуковые комплексы, входящие в состав разных слов, образуют новые смысловые сочетания, имеющие сугубо политическое значение. Для большей наглядности все стихотворение набрано в оригинале капителью (т. е. без выделения имен собственных и начала строк заглавными буквами), а эти новообразующие комплексы выделены более крупным шрифтом. Таким типографским приемом подчеркивается смысловая игра

автора. Для пояснения этого приема следует рассмотреть первый стих произведения Собакина, напечатав его без особого разделения шрифтов.

«Выслушай мой вопрос, сияюща в свете!» Кто же эта «сияюща в свете»? Ответ заключается в этом самом стихе и делается сразу очевидным, если стих напечатан, как в оригинале:

выслушай мой вопРОС, СИЯюща в свете:
кто тя толь украсил, яко розу в лете?
во истину скажешь, что мудрый владетель,
глава увенчАННА, чему всяк свидетель.
жертвуй убо сего в начале ей года
искреннюю верность твоего народа,
 а за прошедший год благодари богу,
 что явил тебе толь милость свою многу,
разбив вероломцов, свободи невинных,
А ЗОВущих на брань показа бессильных,
 хищника поКРЫ Мраком ум и раны тело;
 не имел успеХА Ни в какое дело.
пребыли же твои пределы невредны,
и людям дадеся жити дни безбедны.
 радуйся и в сей год, что начинаешь,
 ибо ТЫ СЯ ЩАстливу и в сем быти чаешь,
под властию крепко хранима такою,
яже славы образ всем кажет собою.
 при СЕМ СОТвори ты к вышнему молитву,
 да даст ей обильну и в сей год ловитву;
меч да изосТРИТЦА Тоя обоюду,
посекая врагов христианства всюду,
 да услышан в мире глас ее явится:
 СЕ МОИ бог, тобою могу похвалиться [27].

Под стихотворением имеется следующая характерная подпись: «Вышепоказанному всенижайшему Рыцарской Академии поздравлению в знак верной ревности своей присовокупляет всепокорнейше сие кадет Михаил Собакин». Стихотворение это является живым откликом на внешнеполитические события 1736 г. В 1735 г., в связи с непрекращавшимися набегами крымских татар, находившихся в вассальной зависимости от Турции, на южные границы России, а также для ликвидации невыгодных для русского правительства обязательств, вытекавших из договора Петра I с Турцией в результате неудачного Прутского похода (1711 г.), начата была «турецкая война». После вялых действий первого года, в 1736 г. русские войска одержали ряд побед: одна часть армии заняла почти весь Крым, войдя в столицу ханства, Бахчисарай, а другая овладела сильной и важной в стратегическом отношении крепостью Азовом, которую за четверть века до этого Петр возвратил Турции. Эти-то события и отразились в стихотворении Собакина.

Повидимому стихотворение это не прошло незамеченным; во всяком случае в следующем году юный поэт снова выступает со своей литературной продукцией. На этот раз он опубликовал нечто вроде поэмы под следующим витиеватым названием: «Совет добродетелей о поздравлении всеавгустейшия персоны ее императорского величества Анны Иоанновны, самодержицы всероссийския в день высочайшего ее рождения 28 генваря. Сочинен стихами в Санктпетербурге, чрез Михайла Собакина, шляхетного Кадетского Корпуса Подпрапорщика, 1738 года. Печатан при Императорской Академии Наук» (16 стр. ненум.). На обороте титульного листа имеется латинское одобрение (Approbatio) за подписью Амвросия, епископа Вологодского, изложенное ввиде двустишия (элегический дистих):

Carmina digna typo, sed dignior auctor eorum
Pro tanto Laudem ferre Labore suo [28].

Это стихотворение Собакина написано уже не силлабическим размером, а согласно «Новому и краткому способу к сложению российских стихов» В. К. Тредиаковского (1735). В основном Собакин пользуется «героическим гекзаметром» Тредиаковского, т. е. фактически семистопным хореическим стихом с цезурой после четвертой (усеченной) ударной стопы. В дальнейшем применяются в «Совете добродетелей» и другие предусмотренные Тредиаковским размеры. Самый язык этого стихотворения более «разговорен», нежели в первом произведении Собакина. Повидимому завет творца «Тилемахиды» об использовании в литературе придворного и вообще дворянского

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА КНИГИ
М. СОБАКИНА „СОВЕТ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ"
(1738 г.)

Библиотека Академии Наук СССР,
Ленинград

СОВѢТЪ ДОБРОДѢТЕЛЕЙ
О ПОЗДРАВЛЕНІИ
ВСЕАВГУСТѢЙШІЯ ПЕРСОНЫ
ЕЯ ІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
АННЫ ІОАННОВНЫ
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССІЙСКІЯ
въ день высочайшаго ЕЯ рожденія
28 дня генваря,
Сочиненъ стіхами въ Санктпетербургѣ,
чрезъ
Міхайла Собакина,
Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса Подпрапорщика,
1738 года.

Печатанъ при Імператорской Академіи Наукъ.

языка [29] был воспринят Собакиным в качестве одного из основных художественных принципов. Следует отметить и то, что в «Совете добродетелей» Собакин иногда употреблял приемы словесного живописания, например:

Та задумавшись сидит, / будто спит на стуле [30]

или:

Добродетели ее / трон вкруг обступили,
Коих мог по платью я / признавать, кто были.
Очень тихо было там, / но вдруг стало шумно.

Содержание «Совета добродетелей» состоит в следующем. В связи с наступавшим 28 января 1738 г. сорокапятилетием со дня рождения Анны Иоанновны молодой поэт хотел вместе с остальными верноподданными поздравить царицу:

С ними же и я, хотя / явственно открыти,
То, что завсегда обык / сердца внутрь хранити,
Свету показать хотел / всепокорно ныне,
Чем всяк подданный своей / должен Монархине.

Но здесь его ждала неудача:

К средству было стал тому / Музу понуждати,
Чтоб сердечный разговор / письменно издати,
Но нашел сердиту ю [31], / и с великим гневом
Стала мне та говорить / почитай напевом:
Что ты? с разумом ли стал / мнить себя так смела,
Героину поздравлять / мочь твоя неспела.

После этого Муза,—рассказывает Собакин,—

Взявши за руку меня, / вывела из дому
И казать вдруг почела / одно по другому:
Сколь строение красно, / как цветут палаты,
Сколь внутрь оных хорошо, / как места все златы.
Делание кораблей, / башни сколь высоки,
Толсты стены в крепостях, / рвы везде глубоки,
Воинство искусно в брань, / и обширны школы,
Стены в арсеналах как / все вещьми неполы [32];
И другие мне дела / показала славны,
Болше что учреждены / в времена недавны.
Ну, теперь, — сказала мне, /—видишь сам неложно
...Таковые ты ль дела / можешь описати?

Когда поэт «с поклоном» отвечал, что переменил свое мнение, Муза отправляется с ним в покои Политики (культурности, вежливости), на обязанности которой, по словам Музы, «управляти торжества / в праздники велики». В дальнейшем приводится рассказ о том, свидетелями чего в покоях Политики были поэт и Муза. Вслед за ними пришел «Меркури» [33], и на его вопрос о том, что сделано для подготовки к торжеству, Политика сообщает, что она поручила Мудрости созвать Добродетели и обсудить с ними порядок праздника. В это время появляются Мудрость и ее спутницы. Мудрость предлагает Добродетелям:

Конференцию зачнем / в почитаньи многом,
Ибо Анна, Россов мать, / будет нам залогом.
Наш совет в чем состоит, / примечайте сами,
Вам которой предложу / краткими словами.
На Политики доклад / нам уставить должно,
В день рождения кому / поздравлять Ту можно.

Вслед за тем добродетели, одна за другой, начинают защищать свое право первой принести приветствия Анне. Сначала выступает Правда, которая утверждает свои притязания на первенство тем, что

Не стоял бы свет, / а паче держава,
Правды бы когда / не употребляли,
Друг бы друга все / часто обижали,
Не боясь отнюдь / никакого права.
Напротиво, столь / польза Государству,
Властелин когда / правдой управляет,
Суд когда без лжи / истиной бывает,
Даст тем образец / право жить подданству.

За Правдой выступает Храбрость; она всячески отмечает мужество Анны и кончает так:

В ней другое так ничто, / как мужество видно,
И что Ю поздравлю я, / протчим не обидно.

Великодушие, берущее слово после Храбрости, критикует свою предшественницу:

Храбрость только там всегда / правильна бывает,
Великóдушно когда / в брани поступает,
А сама собою, больше себе злою
Неж доброй являет.
С неприятелем когда б / невеликодушно
Победитель поступал, / варварству б послушно,
Война б продолжалась, конца не дождалась,
И все б было скучно.
А что делает у нас / Анна со врагами,
Кои царства вне и внутрь, / вы известны сами,
Из уз свобождает, казни облегчает,
Тем хвалится нами.

Особенно интересна речь следующей претендентки на первенство поздравления— Любви к наукам.

Не полезно так ничто / царству, как Науки,
Те то в мире, то в войне / водят всех за руки,
Храбрость в осаде слаба без ученья,
И мочь в досаде будет без уменья.

Что та [34] корень, хоть молчу, / дел честнейших в свете,
Может всяк и сам признать / не в одной примете,
Что бо ни начать маловь, или важно
Без той окончать ум претит отважно.
Не умев апрошей [35] весть / и стрельбы премены,
Хоть и крепким, не пробить / лбом каменны стены,
Но в том довольна будет предводитель,
Наука полна всех ружей правитель,
А гражданские дела / столь науки дело
Требуют всегда равно, / сколько пищи тело.
Правду от лóжи та учит узнати,
Овечьей кожи как с волков содрати.

Словом чрез науки все / вещи доступают,
И лутчée [36] в царство все / теми украшают,
Корабельный род, крепостей строенье
И всей славы плод делает ученье.
Анна же наукам тем / искренняя мати,
Тщится с иждивеньем их / всюду расширяти
Школ везде много ново насаждает
Паче иного их взрастить желает.

Последними выступают Милость и Попечение. В речи Попечения нужно отметить следующее:

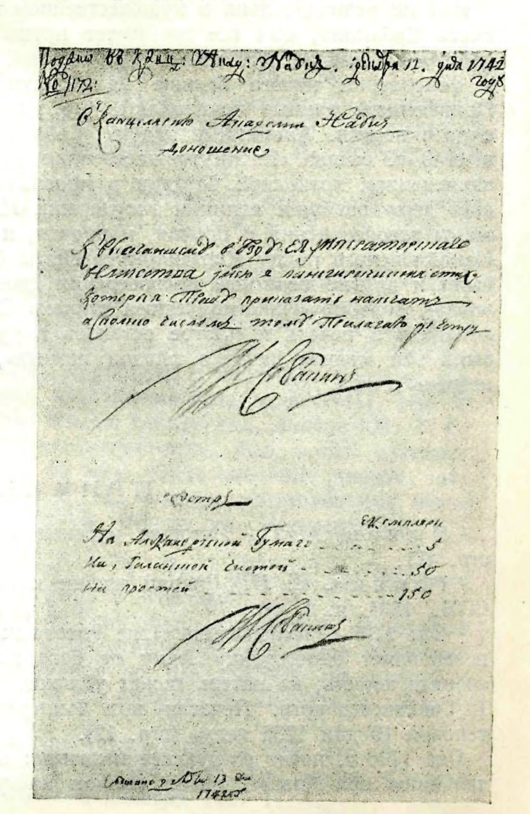
Тщание о всех / подданных имети
Самодержцам есть / вещь весьма избранна,
Не дать никово / нужде одолети,
Как делает Анна.
Бедным чтоб не быть / в утиске у сильных,
Подлость [37] не была б / богатым попранна,
Прилежит о сем / всех творить обильных
В царстве Русском Анна.

Выслушав всех соперниц, Мудрость не знает, кого предпочесть. Тогда «смутна [38] Политика» указала, что самой Мудрости больше остальных подобает первой принести поздравления Анне. На это Мудрость отвечает предложением всем добродетелям совместно с ней, «совокупно» поздравить Анну. Далее следует их поздравление в виде акростиха: «Виват Анна великая», любопытного тем, что каждая из образующих его букв произносится согласно своему славянскому названию, связываясь своим смысловым содержанием с текстом стихов. Например:

Т . . . . .[39] с нею уповай / и надейся всяко.
Л . . .[40] вить с того гласят / сильна наша слава.

После того как Мудрость и Добродетели удалились из покоев Политики, поэт

печален стал один, / быв без силы годной,
Чтоб хоть мало принести в дар Порфирородной.



АВТОГРАФ ДОНОШЕНИЯ М. СОБАКИНА
В КАНЦЕЛЯРИЮ АКАДЕМИИ НАУК (1742 г.)
Архив Академии Наук СССР, Ленинград

Но,—продолжает он,—

веселье Муза мне / подала безмерно,
Как велела описать / бывшей совет верно.

Кончается «Совет добродетелей» выражением верноподданнических чувств поэта.

Подробный пересказ произведения Собакина был дан не только для того, чтобы познакомить с содержанием и манерой письма этого автора. Гораздо важнее то, что самый отбор «добродетелей», их последовательность и аргументация их при защите своего права на первенство поздравления—в высшей степени ценны как идеологический документ. Конечно Анна в «Совете добродетелей» не отвечает исторической Анне Иоанновне, но этот идеальный портрет есть портрет идеальный с точки зрения высшего дворянства. Кадетский корпус был основан для поднятия значения дворянства как сословия, и хотя, как правильно замечает М. Н. Покровский [41], на одного счастливца (из дворянских недорослей), попавшего в кадеты, приходится пять менее удачливых товарищей, отосланных в военную коллегию «для определения в полки и солдаты», все же преуменьшать значение «Рыцарской Академии» не следует. Это, как ни как, был рассадник будущих деятелей той самой «дворянской реакции», «нового феодализма», которую так мастерски охарактеризовал Покровский. «Совет добродетелей» вместе с поздравительными одами «юности рыцарской академии» и являются идеологическими документами начального периода в жизни этого слагающегося «ново-феодального» дворянства. Конечно здесь еще чувствуются отголоски буржуазных тенденций петровской эпохи, например в речах Любви к наукам. Но если всмотреться в доводы этой претендентки, то окажется, что военные, т. е. дворянские, аргументы и здесь превалируют. То же можно сказать и об остальных отзвуках петровской буржуазности. Но гораздо важнее проникающий и оду Собакина 1736 г. и его «Совет добродетелей» верноподданнический монархизм—явление, характерное для русского дворянства в течение всего периода «нового феодализма».

Очевидно в том же духе выдержаны и недошедшие, хотя и напечатанные в 243 экземплярах «Панегиричиские (!) стихи к высочайшему въезду ее императорского величества Елисаветы Петровны» [42], выпущенные в свет 20 декабря 1742 г. в связи с возвращением Елизаветы из Москвы 22 декабря того же года.

Как ни незначительна в художественном и просто количественном плане деятельность Собакина, она все же имеет право на внимание. О 30-х годах XVIII в. сложилось мнение, что кроме официальной академической поэзии на иллюминации и фейерверки ничего больше из области художественной литературы не было. Приведенные данные показывают, что уже в это время зарождалась дворянская поэзия. Анонимные кадеты, Собакин, ранний Сумароков были не одиноки: в 1740 г. вышла «Песнь торжественная о состоящейся оружия тишине с кратким изъяснением хотинской баталии в прославлении преславного имени всепресветлейшия державнейшия великия государыни Императрицы Анны Иоанновны, самодержицы всероссийския и прочая, и прочая, и прочая. Сочиненная чрез Лейб-Гвардии Измайловского полку Каптенармуса Петра Суворова. В Санктпетербурхе». Вероятно были и другие печатные произведения дворянских поэтов той поры, не сохранившиеся, подобно «Панегирическим стихам» Собакина. Несомненно также, что не все попадало в печать и многое осталось в рукописном виде. И как бы мизерны ни были эти «первы начатки плодов позных», история литературы не в праве пренебречь ими.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пыпин, А. Н., История русской литературы, 4-е изд. СПБ., 1911, т. III, стр. 471.

[2] Глинка, С. Н., Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова. СПБ., 1841, ч. I, стр. 10.

[3] Ода 1735 г. озаглавлена «Еже Россиа ныне восклицает и чим входящу на троне поздравляет царствующу Анну от бога нам данну. Тожде шляхетна тщится зде творити юность, да матерь может ублажити в купе с похвалами краткими стихами. В Санктпетербурге. Печатан при Императорской Академии Наук в типографии генваря 19 дня 1735 году» (стр. 12).

Ода 1736 г. носит следующее название: «Образ богу и человеком угодныя владетельницы при благословения полном наступлении 1736 года, совседолжнейшим и

всенижайшим всепресветлейшей непобедимой императрице и государыне Анне Иоанновне, самодержице всероссийской яко славы достойнейшее существо в глубочайшей покорности приносится. В Санктпетербурге при рыцерской академии от находящейся юности. СПБ., 1736» (стр. 12).

Ода на следующий год была озаглавлена «Преизобилие императорской милости, при благословенном наступлении 1737-го года совсенижайшим всепресветлейшей непобедимой императрице и государыне Анне Иоанновне самодержице всероссийской своей всемилостивейшей основательнице поздравлением во вседолжнейшем благодарении и покорности приносится. В Санктпетербурге при рыцерской академии наук от находящейся юности. Напечатано в Санктпетербурге в типографии при Императорской Академии Наук генваря 19 дня 1737 года» (стр. 12).

Наконец ода на 1738 г. была озаглавлена «Благополучное соединение свойств потребных к правлению великих империй в высокоторжественный день восшествия на престол всепресветлейшия и непобедимыя государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссийския при радостном восклицании, с удивлением всеподданнейше представленное от обретающегося в Санкпетербурге при Шляхетной Академии юношества. Печатано при Императорской Академии Наук 1738» (стр. 12).

[4] «Сумароков и современная ему критика», стр. 16.

[5] «История России», изд. «Общественной Пользы», т. V, стр. 576.

[6] Повидимому имеется в виду Benjamin Neukirch's Anweisung zu teutschen Briefen (1-е изд. 1707 г.), выдержавшее множество изданий. В библиотеке Академии Наук имеется издание 1735 г.

[7] О преподавателях Сухопутного Корпуса важные материалы собраны в книге Петра Лузанова «Сухопутный Шляхетный корпус (ныне 1-й кадетский корпус). Исторический очерк. Выпуск 1-й. Период графа Миниха (с 1732 по 1741). Составлен по архивным материалам, СПБ., 1907». О Кларгене (Клеркене) и Весмане, служившем ранее приказчиком и писарем на Екатеринентальской мызе, и оставленном преподавателем русского языка, несмотря на плохое владением таковым, «понеже ныне лучшего к такому делу сыскать не скоро», см. стр. 180.

[8] О Штелине см. мою статью «Akademiker Jacob von Stählin und seine Materialien zur Geschichte der russischen Literatur» («Germanoslavica» 1931, № 2, стр. 234—247). Ошибки Штелина вызваны тем, что писал он через 50 лет после своего приезда в Россию, в 1780 г.

[9] Венгеров, С. А. Русская поэзия, Примечания и дополнения к I тому, стр. 360.

[10] История Правительствующего Сената. СПБ., 1911, т. V, стр. 150.

[11] О Собакиных—«Русский Биографический Словарь» («Смеловский—Суворин»). СПБ., 1909, стр. 26—29; Савелов, Л. М., Библиографический указатель по истории, генеалогии и геральдике российского дворянства, 2-е изд. М., 1897, стр.225.

[12] «Петербургский некрополь», т. IV, стр. 116.

[13] Бантыш-Каменский, Д. Н., Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1830, т. V, стр. 71; Лобанов-Ростовский, А. Б., кн., Русская родословная книга. СПБ., 1876, т. II, стр. 233.

[14] Назв. соч., стр. 61; перепечатано в «Материалах для истории русской литературы» П. А. Ефремова (СПБ., 1867, стр. 200—201).

[15] Может быть причиной его ускоренного выпуска с переходом в армию была дуэль его с соучеником по корпусу, кн. М. Н. Волконским, который выколол ему глаз («Биографические заметки кн. М. С. Воронцова о портретах русских деятелей XVIII в.», в приложении к «Архиву кн. Воронцова», т. XXXIII, стр. 21 особой пагинации). Попутно можно отметить, что, по словам лиц, знавших М. Г. Собакина непосредственно, он «имел красивую наружность, был роста высокого, но кривой; почему Екатерина II отозвалась об нем: «C'est une belle maison, mais a une fenêtre» (Бантыш-Каменский, Д. Н., Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1836, т. V, стр. 70—71; Ср. «Архив кн. Куракина», т. VII, стр. 440—441).

[16] «Материалы по истории Академии Наук», т. V, стр. 395. М. С. Воронцов (цит. соч., стр. 21) отмечает, что Собакин служил в штатской.

[17] По указу от 16 августа 1760 г. он был из советников канцелярии произведен в статские советники при конторе Коллегии иностранных дел и имел «в смотрении своем Московский Архив Коллегии с жалованием по 1000 рублей» (из картотеки Б. Л. Модзалевского в ИРЛИ). О ранних годах его службы см. «Архив кн. Воронцова», т. VII, стр. 273.

[18] «Имянной список депутатам... на 1-е января 1769 г.» СПБ., 1769, стр. 3.

[19] «История Правительствующего Сената», т. V, стр. 150. Ср. также «Полное Собрание Законов», т. XVIII, стр. 400, указ от 6 декабря 1767 г.

[20] Бантыш-Каменский, назв. соч., стр. 71; «История Правительствующего Сената», т. V, стр. 150.

[21] «Русский Архив» 1882, т. I, стр. 267.

[22] «Русский Вестник» 1870, кн. II, стр. 566.

[23] Сухомлинов, М. И., История российской Академии. СПБ., 1880, вып. 5, стр. 122—123.

[24] «Архив кн. Воронцова», т. XXXIII, приложение, стр. 21. О путешествиях Собакина «Архив кн. Воронцова» сохранил краткие сведения, в частности о четырехнедельном пребывании его в Париже в 1756 г. (т. III, стр. 209), в Женеве (там же, стр. 224) и в Риме (т. XXXIII, стр. 226).

[25] Кстати, нельзя не отметить, что эти «плоды позны» перекликаются с Кантемировским стихом:

«Уме, недозрелый плод недолгой науки».

[26] В стихах 11 и 16 имеется 13 слогов, но лишний слог вероятно выпадает под влиянием элизии.

[27] Орфография подлинника не соблюдена в виду полной произвольности ее и непонятности современному читателю; например Собакин пишет (стих 15) «всей год» и «в сей год» (стих 20).

[28] Стихотворение достойно печати, но более достоин получить похвалу его автор за таковой свой труд.

[29] «Украсит его [язык] в нас двор ее величества в славе учтивейший и великолепный богатством и сиянием. Научат нас искусно им говорить и писать благоразумнейшие ее министры и премудрые священноначальники, из которых многие, вам и мне известные, у нас таковы, что нам за господствующее правило можно бы их взять было в грамматику, и за краснейший пример в реторику. Научит нас и знатнейшее и искуснейшее благородных сословие» («Речь о чистоте российского языка членам Российского Собрания» 1735 г.). Ср. в «Lettre d'un Russien à un de ses amis écrite au sujet de la nouvelle versification russienne»: «La Grammaire (russienne) doit être fondée sur le meilleur usage de la Cour et des habiles gens» («Грамматика (российская) должна быть основана на лучшей практике двора и опытных людей»). («Избранные сочинения К. К. Тредиаковского» под ред. П. Перевлесского. СПБ., 1849, стр. 105).

[30] Во всех дальнейших цитациях стихов Собакина чертой (/) отмечается цезура.

[31] Ее.

[32] Не пусты, наполнены.

[33] Меркурий в поэзии кадетов не столько бог торговли и вестник богов, сколько символ периодической печати; повидимому в связи с распространенным в XVII—XVIII вв. названием газет и журналов, в состав которых входит имя Меркурия («Mercure galant», «Der teutsche Mercur» etc.).

[34] Наука.

[35] Траншеи, подступы к осаждаемой крепости.

[36] Лучше.

[37] Подлость—простонародие.

[38] Смущенная.

[39] Твердо.

[40] Люди.

[41] «Русская история с древнейших времен», 6-е изд. Л., 1924, т. III, стр. 5.

[42] Архив Академии Наук СССР. Кн. 72, лл. 112—117. Дело о напечатании панегирических стихов асессора конторы Коллегии иностранных дел М. Г. Собакина. Из собственноручного заявления Собакина явствует, что свою фамилию он писал не Сабакин, а Собакин.

ПУГАЧЕВЩИНА В ДВОРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Сообщение С. Елеонского и Г. Александрова

I

«ТОЧЬ В ТОЧЬ» М. ВЕРЕВКИНА

Русская литература XVIII в., мало разрабатываемая современными литературоведами, представляет между тем чрезвычайно благодарный материал для социологического изучения. Никогда еще в истории нашей литературы не обнаруживался так отчетливо и прозрачно ее слоевой, классовый, состав, и может быть никогда отдельные ее слои, отдельные течения, возникавшие в толще различных социальных классов и групп, не находились друг с другом в более резком, порою обостренном антагонизме. Последнее больше всего относится к литературным явлениям эпохи Пугачевщины—самого драматического акта в социальной истории XVIII в. В освещении разгоревшейся борьбы мужицкого царя с дворянской царицей не малое значение приобрела литература. Среди различных по своему социальному происхождению ее течений, на протяжении всего XVIII столетия то вступавших друг с другом в оживленное взаимодействие, то круто и враждебно расходившихся между собою, в пугачевскую эпоху особенную силу получает подпольная литература, отражавшая интересы низших и отчасти средних классов общества и расходившаяся в эту пору главным образом в виде замечательных по своей форме и содержанию летучих грамот, подметных прокламаций, писем, подложных указов и манифестов. Менее значительны были вызванные Пугачевским восстанием произведения феодально-дворянских писателей—представителей аристократических «верхов».

Но и в этом кругу появляется вскоре вещь, представляющая большой интерес, в которой воспроизводится, в типично-дворянском освещении, вся атмосфера Пугачевщины. Здесь фигурирует «вся эта проклятая сволочь», которая «давила, душила, жгла, грабила, индо треск шел» помещика, «раздев, секли троекратно езжалыми кнутьями» и хотели повесить на воротах собственного дома; «ушибли запором до смерти мать его, детей обухом перебили»; сам воевода опасался «качелей» и веревочного «ожерелья» и т. д. Так писатель екатерининского века М. И. Веревкин в своей комедии «Точь в точь» изображает Пугачевский «бунт»—как бы в ответ на прокламации и воззвания самозванца истреблять «проклятый род дворян»...

Эту комедию как-то замалчивали и при жизни писателя и позже, в различных историко-литературных обзорах и биографических заметках, посвященных М. И. Веревкину, ограничиваясь лишь самыми беглыми упоминаниями о ней. Во всех словарях (начиная с митрополита Евгения Болховитинова и кончая Брокгаузом) сообщалось о Веревкине как об авторе комедии «Так и должно» и ни словом не отмечалось другое и может быть более замечательное драматическое сочинение его «Точь в точь».

Впервые напомнил об интересной, но оставшейся в забвении комедии «Точь в точь» проф. Варнеке, опубликовавший в 1910 г. свой «опыт комментария» к ней [1]. Данный им довольно обстоятельный и подробный комментированный разбор, написанный еще в 1908 г., может быть однако уточнен. Уточнить его и вообще напомнить о комедии Веревкина—такова наша задача.

«Точь в точь», «комедия в трех действиях», изданная в Петербурге в 1785 году [2], как помечено на заглавном листе, была «сочинена в Синбирске». По сохранившимся историческим документам не трудно определить, когда именно М. И. Веревкин жил в Симбирске. Вместе с «усмирителем Пугачевского бунта», как некогда называли графа П. И. Панина, директором походной канцелярии которого он состоял, Верев-

кин пробыл в этом городе несколько месяцев осенью 1774 г., когда там по пути в Москву содержался под стражей выданный правительственным войскам Пугачев. В «послужном списке статского советника Мих. Ив. Веревкина» [3] указано, что «во время бывшего возмущения самопроизвольно по усердию к службе бывал [он] при генералах Бибикове и графе Панине: при последнем употреблен в Директоры походной канцелярии, где не только должность исправлял с великим трудом, верностью и искусством, но и употреблялся в опасные проезды, о чем он, граф Панин, засвидетельствовал»... Главнокомандующий действительно доводил до сведения императрицы о «нетомиленых подвигах, усердии и всеподданнической верности», с какими «отправлял» «коллежский советник Веревкин» «свою многотрудную должность», и получил от Екатерины повеление выдать ему в награду тысячу рублей «из суммы экстраординарной»... [4]

В качестве начальника собственной канцелярии Панина Веревкин занимался между прочим раздачей пособий пострадавшим от «возмущения», а также, по поручению Панина, «генеральным обо всем бунте описанием»...[5] Плодом же не официальных, а литературных занятий и наблюдений Веревкина над историей Пугачевского восстания явилась его комедия «Точь в точь», написанная, как сказано выше, в Симбирске в 1774 г. и изданная им лишь спустя 11 лет в Петербурге [6].

Таким образом мы видим, что по обстоятельствам своей служебной деятельности находясь в курсе всех событий Пугачевщины, Веревкин мог по горячим следам воспользоваться ими как богатым и вполне реальным материалом для своей пьесы. Вероятно потому комедия и названа им «Точь в точь», т. е. копия подлинных происшествий.

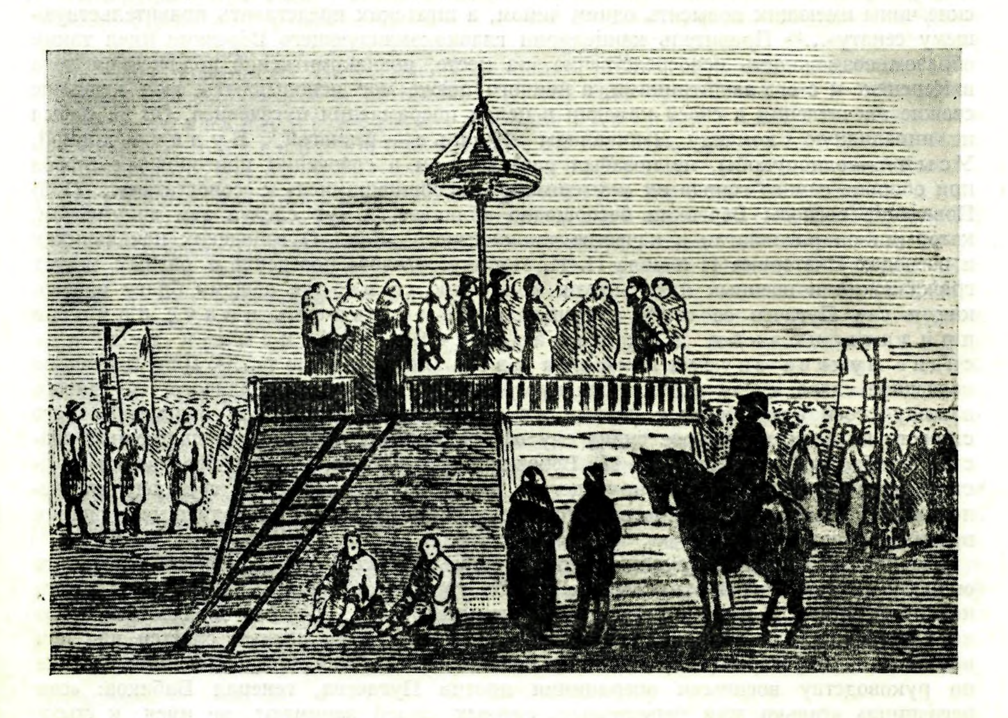
И действительно она воспроизводит замечательно живо и верно, хотя и в подчеркнуто классовой интерпретации, один, самый последний и заключительный, момент в ходе Пугачевского восстания. Бунт уже ликвидируется: «как Архангела с небес пожаловали нам полководца [т. е. Панина], который с небольшими кучками служивых разбил, разогнал, переловил и усмирил всю эту проклятую сволочь; ну таки словно как рукой снял, спасет его Господь Бог»... (I, 1).

В следующем явлении произносится имя и другого знаменитого по тем временам военачальника: «некакой Ми... Ми... Мили... нет... Милизон, так Милизон, дай ему Бог долгие веки, и самую-то небольшую воровскую их шайку путем, сказывают, доехал, отчесал, так что и прах-ат ее больше не помянется»... (I, 2). Это конечно Михельсон, которого несколько далее уже прямо называют по фамилии (III, 7). Сам Пугачев, «Емелька-страдник», уже пойман (II, 6). В тексте комедии сообщаются и более определенные данные, что восстание пугачевцев в описываемой тут местности произошло «в половине минувшего месяца» (II, 2); «уже и в нашем городе имеет быть легулярство. О! егда бы оное здесь имелося быть с е д м и ц з а д е с я т о к перед сим; не у бы обвещены бяху мнози градоначальницы и дворяне стороны сея; не у бы расхищено было их стяжание»... (II, 6). Все это как раз соответствует времени, когда сам Веревкин в октябре или ноябре 1774 г., задержавшись в Симбирске, создавал свою пьесу.

Точно так же и местность, описанная в комедии, несомненно представляет территорию Симбирской или соседней Пензенской губернии. Действие происходит «в воеводском доме одного из городов Низовых губерний». В разговорах действующих лиц упоминается Саранск и Симбирск (II, 1). Атаман В а н ь к а И в а н о в, который также фигурирует в пьесе (II, 2), лицо историческое, подвизался в окрестностях Симбирска и Пензы (Пензенском, Петровском, Керенском уездах [7]). К этому же району должен быть отнесен по своему происхождению один любопытный эпизод, использованный Веревкиным в его произведении: выступающая во втором акте этого последнего помещица «Лежебокова, Феврония Поликарпова дочь, прошением своим объявляет, что... оной атаман Ванька Иванов, бив ее нещадно плетьми, принудил сочетатися с ним законным браком и держал ее при себе до своей поимки [8], после чего она явилась здесь и просит о представлении, куда следует, дабы повелено было ей нарицатися именем первого своего мужа»... (II, 2). Воевода обещает представить прошение Лежебоковой «вышней команде»... (II, 3). В основе этой истории лежит действительный случай, сообщение о котором сохранилось в архиве канцелярии П. И. Панина: в период пребывания графа в Симбирске к нему как к «вышней команде» в самом деле поступило такое прошение. Он доложил о нем императрице: «Дворянская жена вдова после сержанта Перепечина Анна Ларионова дочь была захвачена изменническою шайкою, из которой один беглый холоп свойственника сей несчастной женщины силою на ней обвенчался и по наступлении на ту шайку Вашего Императорского Величества воинской команды бросил ее в одной деревне. Она, явясь у меня в своем прежалостном состоянии, просила из милосер-

дия Вашего Императорского Величества, чтоб по насильному ее обвенчанию брак уничтожить, ей носить прежнюю дворянскую фамилию»...[9]

Другие черты содержания «Точь в точь» могут быть сопоставлены с фактами, происшедшими в одном из городов данного края. В самом начале пьесы воевода Трусицкий читает полученную им официальную бумагу: «Для чего?.. какой ради причины?.. в силу каких указов, оной воевода Трусицкий, в приближение злодейское к его городу, самовольно отлучился?.. (рассмеявшись) мудрено отгадать! и дурак скажет, что трусости ради... ну виноват ли я, что у меня и тогда кровь застынет, естьли кто на меня и прикрикнет?.. а от меня взыскивают, для чего-де я дал стрычка, а не умер со шпагою в руках, защищая вверенный мне город»... (I, 1). Из дальнейшего мы узнаем, что, несмотря на бегство воеводы, город у с т о я л при нападении на него пугачевских отрядов: «што они у нас выторговали, подступято к нашему городу?.. гриб съели», вспоминают потом солдаты штатной команды, оставшиеся верными правительству (II, 1). Оказывается «постоял за себя» «канце-



КАЗНЬ ПУГАЧЕВА
Рисунок А. Т. Болотова
Местонахождение оригинала неизвестно

лярист в должности секретаря» и правая рука воеводы—Клим Авксентьевич Удальцов, организовавший оборону (II, 1). «Я уже отженял,—говорит Удальцов,—от города сего сих треокаянных, хотя с малою быв дружиною, истинно по-христиански говорю, не допустил бы сопостатов сожещи и пригородных слобод наших, аще бы не вси жители оных к ним приобщишася»... (I, 3).

В материалах по истории Пугачевщины сохранились сведения о нескольких городах этого края, которые были покинуты бежавшими в минуту опасности воеводами. Таковы Алатырь, Саранск, Пенза, Инсар, Керенск, Нижний Ломов, Петровск. Однако за исключением одного Керенска все перечисленные города были захвачены пугачевцами [10], при чем согласно донесения начальника секретных следственных комиссий, учрежденных для разбирательств обстоятельств бунта, Павла Сергеевича Потемкина, саранский и пензенский воеводы, «которые из единой слабости душ оставили вверенные им города на жертву злодею отечества... не избежали мнимым их средством побега поносной, мучительной и бесчестной смерти от варвара Пугачева»...[11] Напротив, Керенск, единственный из всех окружных городов, сумел отразить подступавших к нему повстанцев [12]: несмотря на то, что воевода бежал, сопро-

тивление было организовано воеводским товарищем Пермским, под начальством которого «жители,—по словам историка Пугачевского восстания,—при содействии пленных турок и инвалидной команды три раза отбивали нападение мятежников». Последние, не имея успеха, подожгли город в нескольких местах, но пожар был потушен, и Керенск «остался в руках правительственной команды»[13]. В скором времени сюда по пути из Москвы на театр военных действий прибыл главнокомандующий Панин со своим штатом и из Керенска сообщал императрице: «Как здешний город один из всех похищаемых злодеями без всякого гарнизона, помощью единых собравшихся дворян со своими слугами, отставной штатной команды, воеводского товарища с приказными своими служителями и пленными турками троекратно от злодейского нападения оборонен с таким мужеством, что уже деревянного острога половина оными была сожжена, однако же не допустили они злодеям ничего похитить, но их с поражением все отгоняли, то я и взял смелость высочайшим Вашего Императорского Величества именем всех оказавших сию заслугу и верность воинские чины имеющих повысить одним чином, а штатских представить правительствующему сенату»...[14] Правитель канцелярии главнокомандующего Веревкин имел таким образом возможность непосредственно, на месте, познакомиться с положением дела в Керенске и с его защитниками, а немного позже мог использовать свои недавние свежие впечатления в своей комедии в целях посрамления пугачевцев. Он не забыл и инвалидную команду («инвалиды Копье — безногой, Булат — хромой, Усыня — однорукой»), не позабыл рассказать и о сожжении пригородных слобод при обороне самого города их «жителями», «приобщившимися» к «сопостатам»... (I, 3) Поведение воеводы Веревкин беспощадно обличает, и тут следуя тем документам, которыми он располагал в качестве должностного лица. О городских начальниках и воеводах Екатерина II писала П. И. Панину: «Слабое поведение в разных местах гражданских и военных начальников я почитаю столько же общему благу вредно, как и сам Пугачев со своей сволочью, и сему теперь иначе помощи придать нельзя как наказанием нерадивых и тех, кто сидят рукава спустя и места свои оставляют»...[15] Для Веревкина последние слова имели своего рода программный характер: нерадивого, трусливого воеводу своей комедии он с первых же строк ставит под угрозу ожидающего его строгого наказания, которое сулит ему официальный запрос правительственной власти. Из биографии самого М. И. Веревкина мы узнаем, что он производил следствие по делу если не фигурирующего в комедии керенского, то соседнего нижнеломовского воеводы, отданного действительно под суд за «малодушные действия против самозванца»[16].

Аверкий Аверкиевич Трусицкий так оправдывает себя от обвинения в том, что он не умер со шпагою в руках при защите города: «со шпагою в руках!.. а того не спросят, что я и приняться за нее не умею»... (I, 1) «Кто барахтаться-та ею не мастер, тому она, право, везде лишняя, хоть в руку всунь», смеется над ним воеводский секретарь (I, 3). О таких вояках писал еще предшественник Панина по руководству военными операциями против Пугачева, генерал Бибиков: «сия негодница» «только имя регулярных военных людей занимают, не имея, к стыду звания солдатского, ни малейших к тому способностей»...[17]

«Неправосудие», «нерадивость», «мздоимство» местных властей, на которые негодовала Екатерина в своих письмах к графу П. И. Панину, также и для Веревкина являются главными темами его сатирических обличений. Комедия «Точь в точь» наполнена резкими выпадами против городских властей—«трусов да обирал» (II, 5), против подъячих, «прадедушка» которых—сам «сатана» (III, 7): «они, проклятые, вить, как злая лихорадка; не вытреся у тебя всего жирку из тела, право, не отстанут»... (III, 9) Готовые по малейшему поводу начать бесконечную судебную волокиту («на сорок лет судебным местам работа возъимеется») (III, 7), они представлены автором как само воплощение взяточничества.

Взяточничество, сутяжничество, как известно,—общие места всей сатирической литературы XVIII в. К таким же ходячим темам, разработанным и в разбираемой нами комедии, принадлежат и осмеяния ханжества, суеверия, скупости, невежества, лени, пьянства... Кроме воеводы Трусицкого, скряги и невежды, у которого благодаря халатному отношению к делу даже «потолок в судейской обвалился» (I, 4), а сам он, по суеверию, «всего на свете боится, и грому, и буков и нартиков, и тараканов, и дурных слов, и соли, как она просыплется за столом» (I, 1), комедия «Точь в точь» знакомит нас и с типами уездных дворян-владельцев вроде «пятидесятилетнего недоросля», вечно пьяного помещика Капелькина, у которого злодеи-соседи «сожгли ночью Винокурню» (III, 6), или с «Лентяевского стану, сельца Тунеядова, помещиком отставным фендриком Пантелеем Дементьевым

сыном Лежебоковым»... (II, 2) Последний рекомендует сам себя: «Я темной человек, не токмо что указов, да и грамоте мало знаю» (II, 3).

Самая интрига комедии «Точь в точь» построена по образцу многих десятков комедий и «слезных драм», заполняющих репертуар той эпохи, между прочим и по трафаретному образцу двух первых драматических произведений самого Веревкина: «Так и должно» и «Имянинники». Во всех этих трех пьесах основная сценическая ситуация, в сущности, одинакова: влюбленная чета, молодая благородная пара, окруженная представителями старшего поколения, воплощением разных слабостей и пороков, испытывает тяжкие невзгоды благодаря злым козням окружающих или случайным препятствиям, возникающим на их пути; им удается однако преодолеть все испытания и под конец счастливо соединиться друг с другом. Но и тут в самом развитии интриги старые формы традиции воспринимают необыкновенное содержание.

Любопытна уже самая завязка любовной интриги в нашей комедии, изложение которой характерно выражает дворянскую установку автора. Душою героя овладела «неисцельная страсть» к Пульхерии: «Я познал,—рассказывает он,—что нет для меня иного щастия на свете, как в законном с нею сочетании. Я столько был щастлив, что искание мое ее не прогневало; она сама предписала мне о том... изъясниться, однакож не прежде, как по совершенном укрощении мятежей, раздиравших наши пределы, доказав мне, что каждому прямо честному человеку позорно и мыслить о браках и любовных забавах, когда кровь благорожденных его соотечественников проливается»... (III, 7) Убежденный доказательствами Пульхерии, Воин Воинович Милой расстается с невестой и поспешает к полку, где он состоял офицером, чтобы принять участие в военных действиях против мятежников в Башкирии и Оренбургских окрестностях (III, 7).

Между тем Пульхерию ожидала печальная судьба. По словам отца ее, Аверкия Аверкиевича, «она, бедняшка, и попалась, как кур во щи, злодеям-то в руки. Атаману она приглянулась; он прижал ее, милую, к ногтю, да и возил с собою до самого того дни», как под Черным Яром их «воровская шайка» была окончательно разбита; «под Черным Яром множество едаких, какова моя дочь, дворяночек высвобождены им, голубчиком [Михельсоном], из-под злодейской неволи и развезены по домам, да и еще на казенном коште! между протчими горюшами и (указывает на дочь) она ко мне возвращена»... (I, 2) Все это может быть сопоставлено с подлинными фактами. После сражения у Черного Яра полковник Михельсон препроводил царицынскому коменданту Цыплетеву «не малое число дворянских девиц и дворян, коим,—писал он,—прошу делать всякое вспомоществование в квартирах и в отправлении в их домы»...[18] О них же упоминает главнокомандующий Панин в письме к Суворову: «Дворянских несчастных девиц и женщин, кои от злодея отбиты, воспособствуйте, ваше превосходительство, сколь возможно облегчительнейшим образом и со снабдением к непретерпению бедности в дороге пристойно возвратить по тем местам, откуда они похищены»...[19]

Пульхерия, побывав в руках у злодеев, в отчаянии: «О смерть! для чего ты медлишь отделить чистую душу от тела, поруганного извергами человечества!..» (I, 2) Она готова уже заключить себя в монастырь, как во главе гренадерского отряда возвращается в город ее жених, который, узнав обо всем случившемся с ней, благородно разрешает узел: «Она невинна... Возвратить честь, утраченную мучительным вынуждением, есть самой сладостнейший долг людей добродетельных»... (III, 7) Проклятия, посылаемые на голову «варваров» и «мучителей», не щадивших ни невинности, ни алтарей[20], чередуются в его устах с риторическими сентенциями и резонерскими наставлениями.

В монологах Милого и во всем его образе автором дан в известном смысле апофеоз дворянства, торжествующего победу над пораженным Пугачевым. «Невинность, красота, достоинства, оскорбленные врагами человечества, от руки моей восстановление получают», восклицает этот идеальный представитель класса поработителей, вышедшего победителем из тяжелой борьбы с восставшими «подданными».

С. Елеонский

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Известия отд. рус. яз. и слов. Ак. Наук», т. XV, кн. 3.
[2] Второе издание в Росс. Феатре, ч. XXXIII, Спб., 1790.
[3] Напечатан в «Москвитянине» 1842 г., ч. VI, № 12, стр. 398 сл.

[4] Бумаги гр. П. И. Панина о Пугачевском бунте.—Сборник русск. Историч. о-ва, т. VI, Спб., 1871, стр. 215—217.

[5] Тупиков, Мих. Ив. Веревкин. Спб., 1895, стр. 9.—Ср. заметку в словаре Брокгауза.—«Веревкин также находился при комиссии усмирения бывшего возмущения» (Артемьев, цит. соч., стр. 26).

[6] Ср. у Тупикова, цит. соч., стр. 29.

[7] Об Иване Иванове см. статью Д. Мордовцева «Пугачевский полковник Иванов» («Политические движения рус. народа», т. I, Спб., 1871).—Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, стр. 279 и 286, Спб., 1884,—Труды Я. К. Грота, т. IV, стр. 637—638, Спб., 1901.—Сборник русск. Историч. о-ва, т. VI, Спб., 1871, стр. 130, 190, 204.

[8] Ср. у Мордовцева, цит. соч., стр. 287: «в коляске везли молодую девушку, которую Иванов называл своей женой. Кто была эта молодая особа—нам неизвестно»...

[9] Сборник русск. Историч. о-ва, т. VI, стр. 187—188, 200.

[10] Н. Дубровина, Пугачев и его сообщники, т. III, гл. VII и X.

[11] Труды Я. К. Грота, т. IV, стр. 553 («Материалы для истории Пугачевского бунта»).

[12] Д. Мордовцев, Политич. движения, т. I, стр. 279—280.

[13] Н. Дубровин, цит. соч., т. III, стр. 171—172.

[14] Сборник русск. Историч. о-ва, т. VI, стр. 133.—У Мордовцева, цит. соч., стр. 280, примеч., приводится также текст грамоты графа Панина, данной керенскому дворянству, с благодарностью за «ревностное усердие, защищение и оборонение сего города»... Грамота писана в Керенске, 5 сентября 1774 года,—накануне цитированного донесения императрице Екатерине II.

[15] Сборник русск. Историч. о-ва, т. VI, стр. 112—113, 135—136.

[16] А. Артемьева, Казанские гимназии в XVIII столетии, стр. 26.—Спб., 1874.—В «Записках» Ив. Фед. Лукина («Жизнь старинного русского дворянина», «Русск. Арх.» 1865 г., стр. 920) читаем следующее: «гр. Панин приказал арестовать воеводского товарища; а воеводе от команды отказал и определил строжайше исследовать полковнику Веревкину, который, прибыв в канцелярию, собрав всех по тому касательных, допрашивал; где и воеводский товарищ теми сысканными изобличен; почему и отправлен в секретную экспедицию в Казань». Составитель «Записок» И. Ф. Лукин—житель Нижнеломовского уезда.

Кстати приведем здесь утверждение А. Артемьева (цит. соч., стр. 21), будто в комедии «Точь в точь» «по сохранившимся сведениям, были осмеяны некоторые из тогдашних известных особ; несмотря на то, эта пьеса была играна несколько раз на Эрмитажном театре, и даже в присутствии тех, на кого она была написана»... Впрочем тот же Артемьев дает и заведомо уже ошибочные указания, что в комедии «Имянинники» Веревкиным будто бы изображена Пугачевщина (стр. 26) и что напечатана была эта комедия в 1774 г. (стр. 20).

[17] Дубровин, цит. соч., т. II, стр. 236, 248; т. I, стр. 316.

[18] Мордовцев, цит. соч., стр. 365.

[19] Дубровин, т. III, стр. 293.

[20] «Не щадили и утварей, посвященных бескровному жертвоприношению» (III, 8). Ср. цитату у Дубровина, т. III, стр. 32: Пугачев «храмы Божии выжег, в образы святые от богоотступника стреляно, а другие ими и кашу варили»...

II

«СТИХИ НА ЗЛОДЕЯ ПУГАЧЕВА»

До нас дошло мало поэтических откликов дворянской литературы на Пугачевщину. Известны два стихотворения Сумарокова (оба 1774 г.). В одном из них, «Стансе городу Симбирску на Пугачева», он не только бранит Пугачева, но и дает классовую характеристику его социальной программы:

Противен род дворян ушам его и взору;
Сей враг отечества ликует, их губив,
Дабы повергнути престола сим подпору,
Дворянство истребив.

Дворяне изображены в стихотворении героями долга: «Они мучения стеня претерпевали, но он от верности возмог ли их оттерть!» Пугачевцы—по Сумарокову—безумные люди, не знающие «никак ни мало божества», пьяницы, «изверги естества»; Пугачев воюет «разбойничьей толпою», «Он шайки ратников составил из зверей».

Убийца сей, разив, тираня благородных,
Колико погубил отцов и матерей!
В замужество дает за ратников негодных
Почтенных дочерей.
Грабеж, насилье жен, пожары там и муки,
Где гнусный ты себя разбойник ни яви... и т. д. и т. д.

(О мотиве насильственного «замужества» дворянок с повстанцами см. выше в заметке о комедии Веревкина «Точь в точь».)

Сумароков злорадствует по поводу поимки Пугачева: «Страдай теперь и ты!» Он требует жестокой расправы с Пугачевым.

Пристойные ему возмездия готовы;
Суд злобы не щадит.
Москва и град Петров и все российски грады,
Российско воинство и олтари, и трон
Стремятся, чтоб он был караем без пощады...
. . . .
Но казни нет ему довольныя на свете...

В другом стихотворении Сумарокова, названном «Стихи на Пугачева» (или, по другому изданию, «Ода на Пугачева»; оба издания в том же году на отдельных листках, но в «Оде» выброшены два стиха, не меняющие впрочем смысла. «Станс граду Симбирску» также напечатан был на отдельном листке. См. В. П. Семенников «Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II». 1915. стр. 117—118),—та же лютая классовая месть:

То мало, чтоб тебя сожечь
К отмщению невинных муки.
Но можно ль то вообразить,
Какою мукою разить
Достойного мученья вечна!
Твоей подобья злобе нет,
И не видал доныне свет
Злодея, толь бесчеловечна.

Сумароков, один из главарей дворянской поэзии, несомненно хорошо передавал настроения дворянства в эпоху Пугачевщины. Это подтверждается сравнением его стихотворений о Пугачеве с приводимым ниже и, как кажется, доселе еще неизданным произведением. Это—не стихи профессионала-поэта, не стихи культурного на новый европейский лад человека. Это—силлабические вирши, в которых выразил свои мысли о Пугачеве какой-нибудь небогатый помещик, может быть офицер, или даже просто гвардейский солдат из дворян, не вкусивший книжной премудрости, но чувствующий свою пользу не хуже Сумарокова. Он так же «идеологизирует» свою ненависть к вождю восстания, так же говорит о «неповинных» жертвах Пугачевщины, так же бранит самого Пугачева, наконец так же требует для него лютой казни. Стихи эти извлечены из рукописного сборника конца XVIII в. под названием «Книга, называемая когда что попалось, собрана на Руси, в Крыму, в Молдавии, в Валахии, в Польше, на Волыни и Литве, как бы сказать с не малыми хлопотами. 1792 года декабря 23 дня»... (сборник начал составляться значительно ранее; он хранится в Институте Русской Литературы Академии Наук, в составе архива «Русской Старины»; стихотворение о Пугачеве помещено в нем на стр. 151—152, непосредственно вслед за списком «Оды на Пугачева» Сумарокова).

СТИХИ НА ЗЛОДЕЯ ПУГАЧЕВА

Возможноль сие легко снесть,
Какая получена вредная весть;
Донской казак Емелька Пугачев
В такое зло употребить себя смев,
Общество народно оскорбя,
Неповинных людей губя,
Божественный закон преступил,
Государю своему изменил.
Как его злодея земля не пожрёт
И злой его дух судьба во ад не сведёт?

Чем его за такую вину карать?
Тело его по суставам рвать,
Разорвавши тело, ввергнуть в пламень,
Собрав пепел, положить под камень.
На нем все злое его дело написать,
А имя его проклятию предать,
Чтоб видя все читали,
В веки веков проклинали,
За то ему скверному сверчку,
Такому надобно быть и щелчку.

Г. Александров

ИЗ ИСТОРИИ СИБИРСКОЙ ССЫЛКИ А. Н. РАДИЩЕВА

Обзор И. Троцкого

Суровая кара, постигшая Радищева, была началом столетней борьбы царизма с революционной мыслью, как таковой, даже если она и не была связана с каким-нибудь реальным революционным действием. Именно такой характер имело и «преступление» Радищева, и расправа с ним казалась тем более жестокой, что отправлялся в сибирскую глушь, в никому неведомый Илимский острог, не мятежный казак или крестьянин, а человек хорошего общественного положения, видный петербургский чиновник с блестящей карьерой в перспективе, лично хорошо известный самой императрице. И отправлялся он в ссылку не за участие в придворных интригах или масонских конспирациях, не за попытку гвардейского переворота, а за какое-то мало дворянское дело—издание книги вольнодумной и к престолу непочтительной.

Едва ли кто-нибудь из современников, не исключая может быть и самого автора, мог по достоинству оценить весь запас революционной энергии, которой зарядил Радищев свое «Путешествие». В те времена родовитые вольтерьянцы умели читать самые «возмутительные» произведения французских идеологов третьего сословия, не заражаясь смыслом прочитанного и лишь поверхностно усваивая чуждую им по классовому содержанию фразеологию. Недаром даже такой выдающийся для своей среды человек, как русский посол в Англии С. Р. Воронцов, писал о книге Радищева, как о результате «опрометчивости ума, в которой сердце не принимало никакого участия» [1]. Большинство первых читателей Радищева находило в его книге только дерзкие выражения, направленные против императрицы и ее фаворитов. Даже иностранные писатели о России (возможно потому, что передавали чужие слова) видели причину изгнания Радищева в его нападках на Екатерину и Потемкина [2]. Лучше других поняла Радищева Екатерина, но и она сделала ударение не столько на тех местах книги, где шла речь о крестьянской революции, сколько на том, что «сочинитель не любит царей и где может к ним убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкою смелостию».

Но и этого было достаточно, чтобы сгноить автора в Сибири; на такой исход дела вероятно рассчитывала и Екатерина, то же думали и современники, представления которых о Сибири были к тому же довольно туманны; цитированный выше С. Р. Воронцов в другом письме высказывался в том смысле, что десять лет ссылки в Сибирь на поселение хуже смерти [3].

Так оно может быть и оказалось бы для Радищева, если бы счастливый случай не поставил его в такие условия, сравнения с которыми не выдерживает даже привилегированное положение сосланных в Сибирь декабристов. На основании писем самого Радищева и некоторых других данных общая картина пребывания Радищева в ссылке в литературе установлена; известно также, благодаря чему, или вернее кому создались эти благоприятные для изгнанника условия. Неизменным покровителем Радищева явился знатный екатерининский вельможа, граф Александр Романович Воронцов.

А. Р. Воронцов—фигура любопытная для своего времени и достойная внимания по той роли, которую он сыграл в экономической истории страны в бытность свою президентом Коммерц-коллегии. Но независимо от его участия в государственной жизни, одного отношения его к Радищеву было бы достаточно, чтобы выделить его из рядов современного ему знатного барства. Не будучи ни в какой мере революционером, он не только оказывал всяческую поддержку Радищеву, когда тот был его подчиненным, но покровительствовал и фактически содержал автора «Путешествия из Петербурга в Москву» в период ссылки.

Мы не знаем точно, какие нити так крепко связывали могущественного сановника с опальным литератором, но отношения их тем более заслуживают внимания, что Воронцов шел на немалый риск. Екатерина довольно косо смотрела на их близость; когда по прочтении «Путешествия» она решила начать следствие, по первому проекту допросить Радищева должен был его начальник гр. А. Р. Воронцов; но очень скоро ему дали знать, что он может не вмешиваться в это дело. Услужливые языки всячески пытались притянуть Воронцова к делу. Сестра его, известная княгиня Е. Р. Дашкова, рассказывает в своих записках, что она «искренне сожалела о судьбе Радищева, особенно потому, что брат принимал живое участие в положении этого молодого человека и следовательно глубоко был огорчен неосторожностью и гибелью его. В то же время я предвидела, что настоящий любовник [П. А. Зубов] постарается при этом удобном случае обвинить покровителя на счет покровительствуемого» [4].

Следует заметить, что А. Р. Воронцов действительно находился в оппозиции ко двору, точнее к самой Екатерине, платившей ему активной неприязнью. Здесь не место останавливаться на причинах этой оппозиции, длительной и имевшей политические корни. Следует только отметить, что помимо дружбы с Радищевым Воронцовым могло руководить и желание противостать императрице, практически продемонстрировать свою силу в разрез с желаниями Екатерины, тем более, что его придворные недруги все равно использовали дело Радищева для подкопа. Момент своеобразной феодальной гордости мог сказаться на отношениях Воронцова к Радищеву.

По словам Е. Р. Дашковой «попытка была сделана ловко, но не достигла своей последней цели», и Екатерина не поддалась враждебному А. Р. Воронцову влиянию. Тем не менее положение его сильно пошатнулось, и вскоре ему пришлось подумать об отставке. Характерно, что друг его гр. П. В. Завадовский, поддерживая его в этом намерении, возвращался все к той же радищевской истории, не забытой, как увидим сейчас, и императрицей. «Г[осударыня], говоря с А. А. [Безбородко],— писал Воронцову Завадовский 17 ноября 1793 г.,—молвила и то, что при истории Радищева говорили на княгиню [Дашкову] и на тебя как побудителей сочинения, но она то сочла тогда за ненависть и злословие. А. А. оправдывал тебя, приводя всю истину, что ты о том деле последний во всем городе узнал. Хотя происшествие сие и не поведет следствий, но по дружбе я не хотел ни о чем умолчать, что только до тебя касается. С отставкою ты всех подобных наветов избежишь и отклонишь от себя врагов, которых жало обратится на других, нас заступающих» [5].

Несмотря на затруднительность своего положения, Воронцов не упускал случая помочь Радищеву. Для этого он использовал свои мощные личные и служебные связи. Не вполне выяснена роль его в деле «помилования» Радищева и выбора места ссылки. Но с момента определения его судьбы президент Коммерц-коллегии развил энергичную деятельность. Губернаторы тех мест, по которым лежала дорога Радищева в Сибирь, получали от А. Р. Воронцова письма с просьбой облегчить участь ссыльного [6]. Результат этих просьб отметил сам Радищев в письме Воронцову из Нижнего от 20 ноября 1790 г., говоря о «снисходительном обхождении начальников губерний, чрез которые я проезжал» [7]. Конечно причиной такой «снисходительности» менее всего могло быть сочувствие к делу Радищева. «Хозяева губерний», как величала Екатерина своих губернаторов, очень и очень прислушивались к слову могущественного вельможи, который, не будучи «случайным» человеком, не терял своего веса даже в периоды царской немилости. Личные связи Воронцова давали ему возможность оказываться полезным в самых разнообразных случаях, и для любого местного сатрапа имело смысл услужить ему, чтобы при случае попросить о чине, ордене или месте для какого-нибудь свояка.

Облегчив тяжесть дороги Радищева, Воронцов позаботился и об устройстве его на месте. Это было тем легче, что иркутским генерал-губернатором был в то время Иван Алферьевич Пиль, еще в период своей службы в Риге и Пскове в 80-х годах многим обязанный Воронцову. Между Воронцовым и Пилем уже давно завязалась регулярная переписка, которая и дает нам ряд новых деталей для биографии Радищева, его сибирской жизни и истории его взаимоотношений с Воронцовым.

В нашем распоряжении нет письма, в котором Воронцов уведомил Пиля о поездке Радищева. Ответом на него служит приписка Пиля в письме от 14 декабря 1790 г. [8]

«Александр Николаевич еще не приехал да и никакого слуху об нем нету. По приезде же его или по получении известия, где он в дороге будет, не оставлю вашему сиятельству доносить» [9].

Сохранилось зато два черновых письма (а может быть два варианта одного письма) Воронцова, писанных в декабре 1790 г. Приводим [illegible]

Его пр—ву Пилю

Милостивый государь мой Иван Алферьевич!

в краю вашего пребывания имеющий торговые дела господин Голиков [10] хвалился весьма благосклонностию и милостию, оказываемыми ему от вашего превосходительства, хотя и сам он может быть в начале будущего года поедет туда, но ныне отправляет своего прикащика, то при сем случае снабдил я его сим письмом, которое сам ли он господин Голиков или его прикащик вам доставит. Рекомендую вашему пр—ву в милость поминаемого г-на Голикова и дела его в ваше покровительство, прося покорно в случае прибежища к вам его самого или поверенного его не *оставить вашим пособием и законною защитою*.

А при отправлении своем взял оной г-н Голиков свезьть до Иркутска четыре ящика, адресованные на ваше имя, в коих уложены барометры и термометры, и кои посылаются к бывшему Коллежскому Советнику Александру Николаевичу Радищеву, дабы он мог в уединении своем пользоваться оными [11]. Я прошу [ваше] превосходительство, когда вы изволите получить оные ящики, приказать доставить



ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
Картина маслом К. Ф. Кнаппе (конец XVIII в.)
Русский Музей, Ленинград

их к означенному Радищеву в место его пребывания; и меня как о получении вами, так и о доставке оных к Александру Николаевичу Радищеву одолжить меня своим уведомлением, чем чувствительно обязать изволите имеющего честь быть навсегда с истинным почтением и преданностию

вашего пр—ва

С.п.бург.
декабря 21-го 1790 [12].

Во втором письме, представляющем скорее всего окончательную редакцию первого, тон суше и тверже:

...Известной вам г. Голиков, отправляющий в тамошнем краю мореходную компанию и торговлю, имея намерение вскоре отсюда ехать в Иркутск, отпустил наперед от себя прикащика, которой и доставит вам письмо мое, данное оному г-ну Голикову, в котором я его рекомендовал вашему превосходительству. А при случае отправления помянутого прикащика послано с ним под адресом на ваше имя четыре места, в коих уложены барометры и термометры для Александра Николаевича Радищева, которую посылку и вручит вам оной прикащик. По получении вами от него тех ящиков покорно прошу сделать мне одолжение приказать их доставить к Александру Николаевичу в жилище его, чем меня обязать изволите. А сверх того приложенной при сем пакет на имя означенного Радищева, в котором вложены

письма от его родственников и мое, также прошу ваше превосходительство приказать к нему доставить. Рекомендуя в милость и благоволение ваше поминаемого Александра Николаевича Радищева, имею честь быть навсегда с истинным почтением и преданностию

вашего превосходительства

С. петербург
декабря 23 1790 [13].

Мало было однако наладить собственную связь с Радищевым; нужно было еще обеспечить ему возможность сноситься с родственниками. Этому вопросу посвящены два следующих письма.

Его пр—ву Пилю

Милостивый государь мой Иван Алферьевич!

Архангелогородской Губернии таможенных дел советник Моисей Николаевич Радищев взял на себя воспитание больших сыновей брата своего Александра Николаевича Радищева; то будет иметь уведомлять о них иногда брата своего; я прошу ваше пр—во позволить ему письма свои адресовать на ваше имя, и включаемые к Александру Николаевичу доставлять, равно и от него когда будут письма пожаловать пересылать к означенному Моисею Николаевичу, а я сие ваше снисхождение приму собственным себе одолжением, имея честь быть навсегда с истинным совершенным почтением

вашего пр—ва

С.п.бург
Генваря 19 дня
1791 [14].

Его пр—ву Пилю.

Милостивый государь мой Иван Алферьевич!

Николай Афонасьевич Радищев, отец бывшего Коллежского Советника Александра Николаевича Радищева, в бытность свою здесь для устроения домашних дел сына своего и распоряжения о долгах его, просил меня, чтобы я рекомендовал его вашему пр—ву и как издавна все сие семейство мне знакомо, и я во всем до него касающемся искренное принимаю участие, то в надежде дружбы вашей ко мне не мог я сему старику в том отказать. А как он желает один раз в месяц писать к сыну своему, то прошу ваше пр—во по человеколюбию позволить ему письма свои к вам адресовать, а вас покорно прошу взять на себя труд оные доставлять к Александру Николаевичу и от него письма к отцу его для пересылки сделать снисхождение принимать и к нему пересылать, чем крайне обязать меня изволите. Впрочем имею честь быть навсегда с истинным почтением и преданностию

вашего пр—ва

С.п.бург
Генваря 19 дня
1791.

Последующих писем Воронцова мы не нашли. Но сообщения Пиля сохранились почти все, и выдержки из них дают довольно подробную картину за несколько лет. Радищева еще не было в Иркутске, но Пиль уже изъявлял готовность угодить своему высокопоставленному патрону.

[Начало письма от 8 октября 1791] [15].

Последнее милостивое вашего сиятельства письмо от 28-го августа с приехавшим последним моим курьером и приложенною к г-ну Радищеву посылкою я получил исправно, за что и проношу (sic!) мою вашему сиятельству благодарность, и имею честь донесть, что сей же курьер мне объявил, что он г-на Радищева объехал от Иркутска с небольшим в двух стах верстах, почему он на сих днях и ожидается сюды, по приезде же ево в каком положении будет здоровие ево и как он примет намерение отправиться в определенное ему место обстоятельно вашему сиятельству донести не оставлю...

Еще раньше повидимому Пиль установил связь с прибывшим в Тобольск и остановившимся там Радищевым. Повидимому курьеры иркутского генерал-губернатора получили распоряжение останавливаться в Тобольске и принимать почту от Радищева. Указание на это находим в письме последнего от 1 марта 1791 г.

Наконец в Иркутск приезжает этот не столько государственный преступник, сколько долгожданный гость. Прием Пиля был таков, что Радищев в письме от 14 октября 1791 г. сообщал: «Приветствие его и всей его фамилии довольно убеждает меня, что ваше сиятельство меня не забыли; воздаяние вам за то слеза искренния

признательности пред алтарем всевышнего...» От времени пребывания Радищева в Иркутске сохранились письма И. А. Пиля и его жены. Приводим их целиком, так как они представляют интерес не только фактических данных, но и для понимания отношений между Пилем и Воронцовым и того, чем платил последний за услуги, оказываемые Радищеву.

Ваше сиятельство
Милостивый государь мой граф Александр Романович!

Осьмого числа сего месяца прибыл благополучно Александр Николаевич Радищев с детьми своими и свояченою, от которой имела честь я получить письмо вашего сиятельства, за что и приношу мою покорную благодарность, уверяя притом, что я за первой долг себе поставляю исполнять все желания вашего сиятельства, да и собственное расположение души моей обязывает меня со всеусердием вспомоществовать сей несчастной фамилии, которая достойна всякого соболезнования. Чтож принадлежит до Елизаветы Васильевны, то она редкой своей дружбой к Александру Николаевичу и материнским попечением к малолетним его детям також заставляет всякого иметь к ней совершенное почтение.

И так доношу вашему сиятельству, что мы бываем всякой день вместе, и надеюсь, что я еще буду сим удовольствием пользоваться. Прекрасные его детки кажутся теперь совершенно спокойными.

Объясня все сие вашему сиятельству, приступаю с покорнейшею моею просьбою. Состояние моей дочери и слабое ее здоровие, которое единственно происходит от разлуки с мужем ее, много нас беспокоит. Покорно прошу вас выпросить зятя нашего в отпуск, чем успокоите всех нас и обяжете на всю жизнь нашу благодарностию. Я же еще раз уверяю вашего сиятельства, что все ваши приказания исполню с великим удовольствием. Затем, препоруча себя в милость вашу и пр.

Елизабета Пилева.

15 октября 1791 году [16].

Сиятельнейший граф,
Милостивый Государь!

Я уже имел честь вашему сиятельству доносить, которого месяца и числа Алекс. Никол. Радищев с Елизаб. Василье. сюда прибыл. Они и теперь еще здесь в рассуждении дороги, по которой до зимнева пути, по причине слабости их здоровья, ехать никак не можно, зимней же путь не прежде здесь бывает, как в конце ноября или в декабре, и тогда и отправится в назначенное ему место. Между тем они были оба больны, но северни выехали [17]. На сих же днях отправлено в Ылимск водою имение его и лисшние люди, что гораздо удобнее и дешевле, и некоторая провизия, которой там достать неможно, а сам остался налехке [18].

Я дому для житья его там покупать не рассудил, а нашелся там дом готовой, в котором, как он бывал городом, живали комиссары, в котором он расположиться сможет, для поправления коего отсюда водою с имением ево отправлены и мастеровые, коих там сыскать не можно, к приезду ево все готово будет. Когда же он отсюда отправится, вашему сиятельству донесть не примину.

Посланный курьер в Ургу с листом в трибунал [19] еще не возвратился, препятствием чему вокруг моря дурная дорога, однакожь на сих днях ожидаетця, и какие сведении иметь буду, вашему сиятельству донесу.

Мы все трое беспрестанно нездоровы, что и принуждает непременно отсюда просить увольнения, и когда оное последует, уповаю на милости вашего сиятельства к нам, что вы не оставите приложить в том вашего мне покровительства и ходатайства.

Г. Губернатор [20] и все ево семейство к Алекс. Николаев. и Елизаб. Василье. оказывают всякого благорасположения и вспомоществования, и можно уверится, естлиб я отсюда и выбыл, то он столь же будет спокоен, как и при мне.

Теперь повторяю докучную мою вашему сиятельству прозбу о зяте моем, что [б] он был отпущен к нам на такое время, чтоб успел возвратится к (?) сроку к команде, чем будет обрадовано все мое семейство.

В протчем препоручаю себя и все семейство мое в милость и покровительство вашего сиятельства с глубочайшим высокопочитанием и преданностию пребываю

Милостивый Государь
вашего сиятельства
всепокорнейший Слуга
Иван Пиль.

23 октября
1791 года
Иркутск [21].

Почти в каждом из последующих писем Пиля находим упоминания о Радищеве. Большей частью это справки о здоровьи, но и они представляют интерес для биографической канвы Радищева. Приводим соответствующие выдержки из писем:

[Из письма от 16 января 1792] [22].

...Алекса. Никола., выехав из Иркуцка декабря 19-го, приехал в определенное ему место сего месяца 3-го числа. Хотя расстояние от Иркутска не весьма далеко, но по глубоким по дороге снегам и проселочной дороге скорее доехать не мог; но пишет, что доехали здоровы и нашли там приготовленной для них дом довольно спокойным, а летом и еще поспокойнее зделать можно будет. Полученные после их посылки я на сих днях и письма к нему отправляю с колясочкою на ресорах, случившеюся у меня, в чем они и могут там ездить. Определенные вашим сиятельством ему на содержание на каждый год по 500 рублей, на нынешний 792 год при отъезде их в Ылимск, как они всем нужным должны были здесь запастися, я отдал свои до прибытия от вашего сиятельства. Впрочем смею уверить, что они там, кроме скуки, никакой нужды не претерпят. Полученные от него к вашему сиятельству письма препроводить честь имею.

[Из письма от 13 сентября 1792] [23].

...От Алекс. Никола. писем к вашему сиятельству нету, да и быть не с кем, потому что посланный от меня в августе месяце к нему с плотниками не возвратится прежде зимы, а на сих днях отправлю к нему нарочного, который и возвратится в начале октября...

[Из письма от 15 декабря 1792] [24].

...Что принадлежит до Александра Николаевича, я поистинне смею уверить вас, милостивого государя, что он отнюдь не наносил мне никогда во время своего жительства в назначенном ему месте никакого беспокойства, но вместо сего я за особое удовольствие себе поставляю делать для него все то, что служить ему может утешением, и отнюдь не потерпит он в пребывании своем никаких последствий, кои бы наносили ему огорчении, кроме собственной его участи, он удовольствия своего не лишится и тогда, когда бы взял я отпуску из здешнего места, ибо Иларион Тимофеевич [25] столько же расположен к нему со своим вспомоществованием, сколько и сам я собственно себе предоставил...

...После отправки сего куриера в Петербург получил я от Александра Николаевича письмо к вашему сиятельству, оное у сего препроводить честь имею...

[Из письма от 26 декабря 1792] [26].

...На содержание Алексан. Никола. на 793 год восемьсот рублев и письмо к нему я с тем же курером получил и на сих днях с нарочным к нему отправил, что же принадлежит до одолжениев моих к нему, о которых он отзывается вашему сиятельству, то я смею уверить, что я лишнева ничего не зделал и думаю, что и всякой бы будучи на моем месте за удовольствие щол возможному ему вспомоществовать, чего, думаю я, что и по отбытию моему отсюда он не ли[ши]тся...

[Из письма от 5 января 1793] [27].

...На сих днях получил я чрез приезжего из Илимска купца от Алекса. Николае. писмо с приложением и к вашему сиятельству таковогожь, которое при сем имею честь препроводить, он пишет ко мне, что они все здоровы...

[Приписка к письму от 12 января 1793] [28].

P. S. С отправленными двумя нарочными к Алекс. Никола. с писмом и денгами получил я от него к вашему сиятельству два письма, которые при сем и препровождаю. Также и бумагу засвидетельствованную о денгах Елизабет. Васильевны: он уведомляет меня, что как денги 800 рублев так и все писма получил исправно и благодарит ваше сиятельство покорнейше о благодеянии, которую являть к нему изволите. И на сих днях отправляю к нему покупную здесь для них нужную провизию...

[Из письма от 7 марта 1793] [29].

...Писем от Александра Николаича я теперь в получении не имею, а следующая к нему от Моисея Николаича [30] посылка, так же и полученные мною от вашего сиятельства письма к нему и Елисавете Васильевне, я сего числа отправил с нарочным и когда получу от него уведомление, а так же когда присылаемы будут их письма, я для доставления к вашему сиятельству не оставлю пересылать их в Володимер...

[Из письма от 23 марта 1793] [31].

...Сей день от Александра Николаича получил я чрез посыланного к нему с провизиею человека письмо на имя вашего сиятельства, которое у сего препровождаю, они, как пишет ко мне Александр Николаич, остались все здоровы...

[Из письма от 27 апреля 1793] [32].

...Чтож принадлежит до посылки получаемых от Глаферы Ивановны к Александру Николаичу писем [33], так же и от него к родственникам в Санктпетербург, то сие всегда исполняемо будет с точностию, о чем я ныне же уведомил и ее превосходительство...

...Полученное мною Александр Николаича письмо присем к вашему сиятельству препровождаю, он уведомляет меня, что все они остались здоровы...

[Из письма от 4 мая 1793] [34].

...Что принадлежит до Александр Николаича, то осмеливаюсь навсегда уверять ваше сиятельство, что он никогда не лишится во всех его необходимостях моего вспомоществования, которое, когда только будет нужно, я ныне посылаю к нему для вновь построенного дому стекла, а около Петрова дни пошлю туда пешников, коих там нетолько сыскать трудно, но и вовсе нет, кои бы разумели порядочно сие искусство...

[Из письма от 6 июня 1793] [35].

...Что принадлежит до Александра Николаича, я теперь доложить не могу, ибо по сие число писем от него не получаю, а по последним сведениям оставались они все благополучны...

[Из письма от 13 июля 1793] [36].

...Милостивое вашего сиятельства письмо от 20 маия, с приложением писем к господам Вонифантьеву [37] и Радищеву я имел честь получить, из коих первое к г-ну Вонифантьеву я нынеже отослал..., другое письмо к г. Радищеву я так же при оказии переслать не оставлю, а хотя от него и не имею я писем, но от приезжающих слышно, что они находятся все здоровы...

[Из письма от 27 ноября 1793] [38].

...Полученное мною от Александр Николаевича письмо на имя вашего сиятельства я у сего препроводить честь имею, он и все домашние ево остались здоровы и строющейся для жителства их дом ко окончанию приведен и во оной уже перешли...

[Из письма от 25 января 1794].

...Денги 800 рублей и книги от того куриера мною получены исправно и вскоре будут отправлены к Александру Николаевичу, о чем уже имел честь уведомить я вашего сиятельства от 11 ч. сего месяца... [39]

...Сей час полученное от А. Никола. к вашему сиятельству писмо при сем препровождаю... [40]

[Из письма от 31 января 1794] [41].

...На милостивые вашего сиятельства писма имею честь донести, комерческой куриер Баранов приехал сюда 11 генваря, которой все отправленное ко мне от вашего сиятельства привез исправно, и следующие к Александру Николаевичу денги, ящики и письма завтре с приезжим сюда от него человеком все к нему отправлю...

[Из письма от 2 марта 1794] [42].

...От Александр Николаевича я писем не получал, а сие от того что редко случаются от толь оказии, когда же получу от него уведомление о их пребывании донести вашему сиятельству не оставлю...

Между тем Радищеву угрожали неприятности. А. Р. Воронцов к этому времени вышел в отставку, в отставку же собрался и его иркутский корреспондент И. А. Пиль. В переписке с Воронцовым он много жалуется на расстроенное здоровье, на невзгоды, причиняемые иркутским климатом, и особенно на недоброжелательство и козни своих подчиненных. Последнее обстоятельство повидимому имело решающий характер. Для нашей публикации не представляет особенного значения, кто был прав в этом заурядном бюрократическом споре—И. А. Пиль или его враги. В скобках лишь отметим, что хорошо осведомленный в истории сибирских сатрапов декабрист В. И. Штейнгейль так характеризовал этого правителя: «Пиль был человек строптивый, капризный и вообще в Иркутске не любимый, имел своих тварей и допускал неправосудие, одним словом память его не совсем чиста» [43]. Как бы то ни было, Пиль хлопотал об отставке и наконец получил ее. Отъезд его из Иркутска угрожал разрывом связей Радищева с Воронцовым и родственниками. На это обстоятельство указывает не без некоторого удовлетворения и сам Пиль.

[Из письма от 15 ноября 1794] [44].

...После отправленного моего последнего к вашему сиятельству письма, за приключившеюся мне болезнию, не мог я исполнить в том письме сказанного обещания, а ныне получа некоторую свободу, покорнейше доношу: на будущий 795 год нещастному Алек. Нико. денги восемьсот рублев я с охотою моею перешлю. Ибо хотя он и сам причиной своему нещастию, но теперешнее его состояние весма жалко, а потому и пособие ему весма нужно. А как я на сей почте из Петербурха полу-

чил известие, что я отсюда уволен, толко за непредставлением кандидатов указ еще не подписан, в чем однакож уверяют, что не замешкается, то по выезде моем отсюда оные денги от вашего сиятелства и получить могу я с превеликим удовольствием, отсюда выежая, но жалею только сердечно, что г. Радищев останетца не в таком спокойствии, как при мне он там был, и горесть ему будет чувствительнее. Но переменить уже сего нечем...

[Из письма от 22 ноября 1794] [45].

...Полученное вчерась писмо от Алек. Нико. при сем к вашему сиятельству препроводить честь имею. Он знает, что я прощусь отсюда и с сожалением ко мне пишит о том, а к тому и не знаит, чрез кого пересылать и получать писмы, в чом я ему совету дать не могу, а сие для него будет несносно, ибо он то всегда делал посредством моим, но ежели найду верной к тому способ, уведомить его не оставлю...

[Из письма от 20 декабря 1794] [46].

...Я уже имел честь вашему сиятельству от 13 сего месяца доносить, что на будущей 795 год денги 800 рублев с бывшим здесь человеком Алексан. Никол., приехавшим за покупками, отправлю, что 16 числа и исполнил, каковые и прежде чрез того же человека к нему посылал, и может быть до отъезду моево о получении оных получу от него уведомление, ибо я по полученным от зятя последним писмам ожидаю ево сюда приезду не прежде как в конце нонешнего месяца и сам выеду отсюда будущего генваря в половине...

На этом переписка Воронцова с Пилем оканчивается. С последней выдержкой корреспондирует письмо Радищева от 1 января 1795 г., в котором он, уведомляя Воронцова о получении денег, писал: «г. Пиль оставил свою должность; это письмо, я надеюсь, еще дойдет до вас... Но затем у меня не остается никакой надежды ни писать, ни получать откуда-нибудь известия» [47]. Пользоваться услугами местных жителей Радищев не хотел, боясь скомпрометировать их, «как бы невинна ни была моя корреспонденция». И действительно, в письме Воронцову от 20 ноября 1795 г., отвезенном в Иркутск уже не генерал-губернаторским нарочным, а верной спутницей изгнанника Е. В. Рубановской, мы находим ряд жалоб. Положение его к этому времени резко ухудшилось. «Отъезд г. Пиля,—жалуется Радищев,—сразу изменил отношение к нам». Пришлось прекратить переписку с родными: «Уже шесть месяцев, как мы никому не писали; на просьбу о продолжении переписки с родными, губернатор ответил, что берется доставлять наши письма вашему сиятельству; об остальном он умолчал. Г-н Пиль предсказывал это» [48].

Местные власти, обрадованные уходом Пиля, вымещали свою неприязнь к нему на Радищеве. Воронцову опять нужно было произвести соответствующий нажим. В этом направлении на него воздействовали и обеспокоенные родственники Радищева. Приводим посвященное отчасти этому вопросу письмо отца Радищева, характеризующее отношения между семьей его и Воронцовым.

Сиятельнейший Граф

Милостивы Государь,

всегдашние благорасположении вашего сиятелства ко мне, оказанные во многих случаях, заставляют меня и ныне прибегнуть к вашему сиятелству с моей покорнейшей прозьбой яко к покровителю и милостивцу детем моим, о которых ныне единое имею попечение.

Вашему сиятелству известно состояние нынешнего моего здоровья и нещастия, что я лишен зрения, то самое сие требует, чтобы дети мои находились от меня в недальнем растоянии, тем более что небольшее имение, за мною состоящее, находится почти все в одном месте, которое я предполагаю разделить в непродолжительном времяни и поелику и часть имущества каждому достающаяся будет весма невелика, то жить в отдаленности от своего имения крайне невыгодно, посему милость вашего сиятелства ко мне была б велика, когда сыну моему, служащему советником в Архангелске, место в здешних губерниях по близости из ходатайствовать изволили б. Она была б тем для меня чувствительнее, когда бы место ему дано было с ходственно с нынешним местом по части казенной палаты, по которой дела непременно должны быть ему ведомы. Удручающие мы с женою старостию и болезнями почувствовали б немалою б в душах наших радость, когда повсегдашним вашего сиятелства благотворению и человеколюбию, и нам вы сию оказать благоволили б; и заставили б на иболее восчувствовать всю милость к нашим детям и быть вечно благодарными.

По отставке его высокопревосходительства Ивана Алферьевича от его должности прискорбно ныне нам, что мы лишились удоволствия иметь переписку с нещастным

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА А. Н. РАДИЩЕВА К РОДИТЕЛЯМ ОТ 10 АВГУСТА 1801 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

ВТОРАЯ СТРАНИЦА ТОГО ЖЕ ПИСЬМА А. Н. РАДИЩЕВА
Институт Русской Литературы, Ленинград

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ТОГО ЖЕ ПИСЬМА А. Н. РАДИЩЕВА С ПРИПИСКОЙ ЕГО ДОЧЕРИ Е. А. РАДИЩЕВОЙ
Институт Русской Литературы, Ленинград

нашим сыном, которое было единое в нашей горести утешение, а посему вашего сиятелства всепокорнейше прошу зделать милость ежели можно предоставить нам способ свободной переписки, как прежде мы имели.

По благосклонности своей ко мне Саратовской губернатор Илья Гаврилович[49] представил о сыне моем Андрее Николаевиче в Кузнецк городничем, но тому семь месяцев как из сената никакой нет резолюции, то ко всем милостям присовокупите и сию о доставлении ему сего места.

В протчем с особливым моим почитанием и преданностию пребыть честь имею

вашего сиятельства
милостивого государя
всепокорнейши слуга
Н. Радищев

Февраля 8 дня
1795 года
село Преображенское[50].

Мы видим, что влияние екатерининского вельможи не слабело из-за его отставки. И иркутский губернатор Нагель очень скоро изменил отношение к своему поднадзорному. Приводим несколько выдержек из его писем к Воронцову, свидетельствующих об успехе произведенного давления. По тону своему они мало отличаются от писем Пиля.

[Из письма от 14 ноября 1795]. .

...Касательно милостивой вашего сиятелства воле в присылке Радищеву денежной помощи, то как скоро ко мне дойдутся, их к нему изправно доставлю...[51]

[Из письма от 8 февраля 1796].

Присланные ко мне при письме вашего сиятельства от 25-го ноября прошедшего году следующие Александру Николаевичу писма и денег 500 рублев я к нему с нарочным доставил, в получении коих от него к вам, милостивейшему государю, писмо у сего влагаю, да в С.Петербург ее превосходительству Ржевской и в Архангелск брату Александр Николаевича, прося нижайше оные к ним препроводить...

[Из письма от 14 мая 1796].

Писма вашего сиятелства от 20-го февраля и 26-го марта, коими меня удостоить угодно было, с приложением при первом двух писем, одного к нещастному Радищеву, другое к свояченице его Елисавете Васильевне, и при последнем двух же, троицкой комерческой експедиции директору господину Вонифантеву, другое Радищеву я имел честь получить, из которых следующее к г. Вонифантеву к нему уже отправил, прочие же еще у меня по случаю тому, што к Александр Николаевичу доставлено же мне от брата ево из города Архангельского посылка в бочке сложенная немалого весу, кою я за бывшею совершенною распутицою к нему в Илимск доставить по сие время истинно, ваше сиятельство, не мог, а на сих днях водою конечно и с писмами с нарочным отправлю, в чем нижайше прошу меня милостиво извинить...

[Из письма от 21 октября 1796].

...Доставленное мне к нещастному Радищеву писмо вашего сиятельства и два полученные мною от брата из Архангельска завтра с нарочным к нему отправлю...

Положение Радищева восстановилось. С января 1796 г. к нему опять стали приходить губернаторские курьеры. Но смерть Екатерины уже несла избавление. Последнее письмо Нагеля уже говорит о возвращении Радищева. Автор письма даже осмеливается, правда довольно неуклюже, положительно отозваться о друге своего корреспондента.

[Из письма от 17 июня 1797].

Писмо вашего сиятелства от 30 марта с милостивым благоволением о бывшем на жите[льстве] в Илимске Радищеве я имел щастие получить, за которое приношу вам, милостивому государю, мою наичувствительнейшую благодарность. Александр Николаевич поистинне заслуживал вашего сиятелства о нем попечения, а с моей стороны ему оказываемое был долг обязанности, вами, милостивейшим государем, от меня требуя того, и ему же искренно желая, чтобы он от высокомонаршего милосердия и совсем был успокоен, в чем зная (?) милостивое ваше об нем старание, конечно может быть обнадежен...

Приведенные выше письма не вносят нового в понимание деятельности Радищева, но они дают ценный биографический и бытовой материал, позволяющий судить, в силу каких случайных по существу обстоятельств екатерининскому режиму не удалось сгноить в Сибири крупнейшего русского мыслителя XVIII века.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Архив кн. Воронцова», т. IX, стр. 212.

[2] J. Castéra, Histoire de Catherine II, impératrice de Russie, t. III, à Paris, an VIII (1800), стр. 72—73. Ср. также у Массона, Mémoires secrets sur la Russie, t. II, Amsterdam 1800, стр. 178—182.

[3] «Архив кн. Воронцова», т. IX, стр. 181.

[4] «Записки кн. Е. Р. Дашковой», стр. 221—222.

[5] «Архива кн. Воронцова», т. XII, стр. 96.

[6] Одно такое письмо тверскому губернатору Г. М. Осипову напечатано в V томе «Архива кн. Воронцова», стр. 397—400.

[7] Там же, стр. 285. Это, как и прочие письма Радищева к А. Р. Воронцову, напечатанные в «Архиве кн. Воронцова», перепечатаны В. В. Каллашом во II томе его издания Собрания сочинений Радищева.

[8] Все печатаемые ниже материалы извлечены из архива Воронцовых и публикуются нами впервые за исключением двух, особо оговоренных нами текстов, введенных в состав настоящей публикации для большей полноты.

[9] Все письмо писано писарской рукой; приписка—автограф И. А. Пиля.

[10] Имеется в виду вероятно сибирский купец Иван Голиков, один из основателей Российско-американской компании, которой покровительствовал А. Р. Воронцов. Попутно отметим, что среди корреспондентов его находился и И. И. Голиков, известный биограф Петра I, автор многотомного свода «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам». А. Р. Воронцов оказывал покровительство Голикову, дела которого в конце 70-х—начале 80-х годов сильно пошатнулись и привели его даже в долговую яму. Просьбой из тюрьмы о помощи и началась переписка Голикова с Воронцовым, в дальнейшем продолжавшаяся и частично опубликованная в т. XXIV «Архива кн. Воронцова».

[11] Эта посылка явилась ответом на просьбу Радищева, высказанную им в письме от 20 октября 1790 г. из Нижнего: «Позвольте затруднить ваше сиятельство бессовестной просьбой прислать мне термометр и ртутный барометр, один для метеорологических наблюдений, другой для определения высоты. Уверяют, что местность Иркутска настолько возвышена, что обыкновенный барометр не чувствует давления воздуха и не может выполнять свои функции. Мне было бы интересно знать, какова высота барометра на уровне Финского залива. Возможно, что я строю химеры относительно будущего моего образа жизни; что известно мне о том, что меня ожидает!» (В оригинале по-французски. «Архив кн. Воронцова», т. V, стр. 287.) Радищев просил по одной штуке, Воронцов же посылает несколько, вероятно из опасения их порчи в дороге. О своих метеорологических наблюдениях Радищев сообщал Воронцову в позднейших письмах из Илимска.

[12] Письмо черновое, без подписи, с поправками и вставками рукой какого-нибудь из секретарей А. Р. Воронцова.

[13] Той же рукой, что и предыдущее письмо, написано набело.

[14] Той же рукой, с черновыми помарками.

[15] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[16] Напечатано в т. V «Архива кн. Воронцова», стр. 403.

[17] Очевидно в смысле «выехали из дому».

[18] Об отправке вещей и провизии водою в Илимск упоминается в письме Радищева из Иркутска от 29 октября 1791 г.

[19] В это время шли переговоры с китайцами о кяхтинском торге. Радищев неоднократно касался этой темы в своих письмах («Здесь все с нетерпеливостью ожидают ответа китайского трибунала о кяхтинском торге и надеются, что ответ будет благосклонным»—5 ноября 1791 г.— и т. п.) и даже посвятил ей особое рассуждение.

[20] Иркутским губернатором был в то время Л. Т. Нагель.

[21] Все письмо собственноручно писано И. А. Пилем.

[22] Напечатано в т. XXIV «Архива кн. Воронцова», стр. 214. Проверено по подлиннику.

[23] Все письмо рукою И. А. Пиля.

[24] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[25] Л. Т. Нагель.

[26] Все письмо рукою И. А. Пиля.

[27] Все письмо рукою И. А. Пиля.

[28] Все письмо писарской рукой; приписка—автограф И. А. Пиля.

[29] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[30] М. Н. Радищев.

[31] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[32] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[33] Глафира Ивановна Ржевская, ур. Алымова, институтская подруга второй жены Радищева, оказывавшая Радищевым различные услуги и переписывавшаяся с ними. Она же заботилась о старших сыновьях Радищева после их переезда из Архангельска в Петербург. В архиве Воронцовых сохранилось следующее письмо ее к А. Р. Воронцову (в оригинале по-французски):

С.-Петербург, 19 апреля 1794 г.

Очень благодарю вас, г. граф, за ваше любезное письмо и в особенности за выраженные в нем чувства ваши по отношению ко мне. Если я и лишена была в течение некоторого времени удовольствия сообщить вам о своих чувствах, то не менее того имела достаточно случаев думать об этом; к этому побуждает каждое письмо моего друга. Благодаря вам, я получаю от нее письма довольно регулярно, и нет ни одного, где бы она не говорила о вас. В последнем письме она выражает сильное беспокойство по поводу слуха, без сомнения ложного, о ваших сборах за границу; успокойте ее пожалуйста в этом, она очень опечалена вашим отсутствием и расстройством вашего здоровья. Лично меня удручает, г. граф, невозможность быть ей в какой-нибудь мере полезной. Ее сестра обирает ее, и мы не имеем никакого права потребовать ее имущество! Кроме того у нее есть тысяча мелких нужд, очень важных в ее положении, и я ничего не могу ей доставить, я так просила ген.-губ. предоставить мне возможность использовать посылаемых им курьеров, но ничего не получила. Уже год, как я храню пакет со всякими необходимыми ей вещами. Она сообщает мне между прочим, что совсем недавно они получили свидетельства вашей доброты—книги, быть может, и я не употреблю во зло ваше снисхождение, г. граф, прося, если это только никак не затруднит вас, предоставить мне возможность оказывать им время от времени услуги.

Бедные дети здесь, я к ним отношусь, как к собственным, и часто их вижу. Они очень хороши собою, прекрасно воспитаны, они так еще чисты сердцем и нравственностью! Их грустное положение так трогательно для всякого чувствительного сердца, что слова их несчастного отца, доверяющего их мне в последнем письме, раздирают мне душу. Самые большие угрызения мои вызываются невозможностью посвятить им все мои силы.

До свидания, милостивый государь, надеюсь, что разлука не отразится на дружеских чувствах, которыми вам угодно было дарить меня. Я же остаюсь на всю жизнь с совершенным уважением и высокопочитанием

вашей покорной слугой

Г. Ржевская.

P. S. Передайте, пожалуйста, мой привет г-ну Ла-Фермьер. Я буду ждать, г. граф, что вы соблаговолите указать мне, через кого можно будет отправить пакет моему другу. Я вас не благодарю за все, что вы для них делаете, ибо такая благодарность была бы для вас оскорбительна. Но я не могу не просить у вас продолжения ваших милостей для несчастных.

[34] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[35] Все письмо рукою И. А. Пиля.

[36] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[37] Директор кяхтинской таможни, упоминается также в переписке Радищева с Воронцовым.

[38] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[39] Писарской рукой.

[40] Приписка—автограф.

[41] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[42] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[43] Цитируем по Герценовскому «Историческому сборнику вольной русской типографии в Лондоне», кн. I, стр. 79.

[44] Все письмо рукою И. А. Пиля.

[45] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[46] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[47] «Архив Воронцова», т. V, стр. 354.

[48] Там же, стр. 355—357.

[49] Саратовским губернатором был в это время И. Г. Нефедьев.

[50] Письмо писарской рукой с собственноручной подписью.

[51] Все письма Л. Нагеля—автографы.

Ф. В. КРЕЧЕТОВ—ЗАБЫТЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ ПУБЛИЦИСТ XVIII ВЕКА

Сообщение Н. Чулкова

I

В разряде VII бывшего Государственного Архива, ныне входящего в состав Особого отдела Центрального Исторического Архива, хранится дело «по доносу дворового человека помещика Татищева Малевинского о преступниках: отставном подпоручике Кречетове и купце Еркове 1793 года» (№ 2813), принадлежащее к фонду Тайной экспедиции, с «бумагами и сочинениями Кречетова» в качестве приложения к делу (№ 2812, в 6 частях)[1]. Это дело касается одного из ранних противников самодержавия—Федора Васильевича Кречетова, автора и переводчика многих сочинений, оставшихся в рукописи, за исключением небольшого числа их, напечатанного анонимно. Поэтому хотя в библиографической литературе (Сопиков) и имелись указания на эти сочинения, мы не находим упоминания о Кречетове ни в одном дореволюционном словаре: ни в специальных словарях писателей (Евгений Болховитинов, Геннади, Венгеров), ни в общих («Русский биографический словарь», энциклопедические словари). Впервые сообщил о нем и его сочинениях М. Корольков в апрельской книжке «Былого» 1906 г. в статье «Поручик Федор Кречетов. Шлиссельбургский узник XVIII в.», написанной на основании вышеупомянутых дел Государственного Архива, и благодаря этой статье Кречетову посвятил несколько страниц Г. В. Плеханов в третьем томе своей «Истории русской общественной мысли» (изд. 2-е, доп., стр. 293—296) и даны краткие сведения о нем в первом томе Био-библиографического словаря деятелей революционного движения в России, издаваемого Обществом политкаторжан.

Биографические сведения о Кречетове очень скудны. О происхождении его нет никаких данных. Он начал службу в 1761 г. писцом в Карачевской воеводской канцелярии, затем служил в государственной юстиц-коллегии копиистом, подканцеляристом и канцеляристом и 9 октября 1769 г. уволен для поступления в военную службу. Однако и в армии служба Кречетова проходила в канцелярии: сначала он служил писарем в штабе фельдмаршала графа К. Г. Разумовского, а с 1771 г. аудитором в Тобольском пехотном полку и 15 декабря 1775 г. произведен в подпоручики и уволен от военной службы. В июне 1776 г. Кречетов был назначен секретарем в Малоярославецкий нижний земский суд[2]. Указом Сената от 22 сентября 1778 г. велено его «за неправое тем... судом о приведенных якобы с краденою телегою церковнических детях решение, в чем винным нашелся он, Кречетов, от дел его отрешить и впредь ни к каким делам не определять»[3]. Однако повидимому ему удалось оправдаться: 5 августа 1779 г. он был пожалован в поручики «для его оказанной к службе нашей ревности и прилежности», как гласит патент на этот чин[4]. Кречетов был причислен к герольдии для определения к делам, но, несмотря на все свои старания, никакого места не получил и только в конце 1781 г. поступил на службу в петербургскую полицию и прослужил там до 1 июня 1782 г. Дальнейшие хлопоты о получении места не увенчались успехом. Кречетов пытался сделаться библиотекарем цесаревича Павла Петровича, цензором, «сочинителем» в комиссии по составлению нового уложения, членом комиссии о народных школах (1783), но везде получал отказ. Ему приходилось служить у частных лиц, чтобы иметь средства к существованию. Так он был несколько лет библиотекарем князя Петра Никитича Трубецкого (1724—1791), сенатора и помощника И. И. Бецкого по управлению канцелярией строений, обладавшего замечательной библиотекой, и у его вдовы Натальи Васильевны[5], но по

большей части он занимался хождением по судам по тяжебным делам и писанием прошений по этим делам для разных лиц за стол и квартиру.

16 апреля 1781 г. Кречетов получил от комиссии, учрежденной при Академии Наук, патент на звание учителя [6], но повидимому не для преподавания, а со специальной целью, о которой будет сказано ниже. У Трубецкого он жил в 1783—1785 гг. *Поссорившись* из-за своей литературной деятельности с Трубецким, относившимся к ней отрицательно, Кречетов перешел к бывшему купцу, подполковнику Ивану Власовичу Логинову, сочинял для него прошения по делу о секвестре его домов и вел прочие дела. Разойдясь и с ним, он жил в 1789—1791 гг. «для компании» у секунд-ротмистра конной гвардии Дмитрия Васильевича Татищева и его братьев и писал им прошения по тяжбе их с другими братьями из-за раздела отцовского имения [7]. Поссорился Кречетов и с Татищевым после того, как доставил ему такого покупателя на дом, от которого он понес убыток, и переехал к вдове Трубецкого, вступив снова в заведывание библиотекой за стол и квартиру, но и у нее пребывание его окончилось неприятностями, и он переехал сначала к купцу Еркову, а потом к Окулову [8].

Какого происхождения был Кречетов, как уже сказано, неизвестно. То обстоятельство, что он начал службу писцом и продолжал ее в низших канцелярских должностях, занимал нестроевые должности, даже и числясь на военной службе, показывает, что он был происхождения не дворянского: дворяне в то время обыкновенно служили на военной службе, предоставляя службу в канцелярии разночинцам, главным образом выходцам из семей, члены которых из поколения в поколение несли канцелярскую службу. Что Кречетов не был дворянином, показывает и то, что он просил о занесении его во вторую часть дворянской родословной книги, куда записывались лица, имеющие право на дворянство по полученному ими военному чину. Где он получил образование—также неизвестно; сочинения его показывают замечательную начитанность и в светской, и в церковной литературе, а также и знакомство с французским и немецким языками. Среди лиц, принадлежавших к одной с ним социальной группе, Кречетов является исключительной фигурой. Плеханов называет его талантливым, мало влиятельным, но искренним, пытливым человеком. В этой характеристике нельзя согласиться только с первым эпитетом: таланта Кречетов не имел, но стремление к самообразованию у него было необыкновенное. Еще в первые годы службы у него является желание повысить свою квалификацию как юриста-практика, и он изучает юридические науки. «Познавая в науках юридических великую трудность, всеми силами собирал о них понятия, дабы составить себе лучшее для исполнения моей должности правило», сообщает сам Кречетов в прошении на имя Екатерины II [9] в феврале 1787 г. Сделавшись полковым аудитором, Кречетов еще более почувствовал потребность в знании юриспруденции. Заведывание таким замечательным собранием книг, как библиотека Трубецкого, дало ему возможность перечитать множество научных и литературных произведений. Читая, он делал для себя выписки, которые потом использовал для своих сочинений. В его архиве, взятом у него при аресте, и сохранившемся до сих пор при деле, имеются выписки из разных сочинений от Платона до Вольтера. Писать было его страстью, доходившей до графомании. Не обладая литературным талантом, Кречетов писал тяжелым языком, с очень путанной конструкцией фраз, длиннейшими периодами, с большой примесью церковно-славянских слов, со множеством сложных словообразований; в особенности любил он прибавлять к разным словам слово благо, как например: «Итак благоволите же благовнимательное человечество быть благоснисходительны» [10]. Часто фраза у него прерывается доказательствами какого-нибудь положения и возобновляется через много строк. Читать произведения Кречетова чрезвычайно трудно, и вряд ли многие современники их осилили добровольно. Но если у него не было таланта, то зато у него были способности к необыкновенно кропотливой работе и к систематизации. Его страсть к расчленению содержания своих произведений доходит до крайности.

Иногда у него не только фраза составляет отдельное подразделение, но и одно слово. Сочинения его делятся на томы, томы на книги, книги на главы, главы на параграфы, параграфы на пункты, пункты на черты. Каждое положение у него сопровождается многочисленными доказательствами, взятыми из Священного писания, Наказа Екатерины II и других юридических памятников, русских и иностранных писателей. Примечания под текстом чрезвычайно обширны, но, не ограничиваясь ими, он и самый текст, как сказано выше, прерывает ссылками на источники, подтверждающие его положения. Подлинников сочинений Кречетова сохранилось очень мало, потому что, обладая неразборчивым почерком, он всегда отдавал их перебелять. Постоянных переписчиков у него было несколько человек (писарь Ми-

хаил Скворцов, польский уроженец Петр Давиденко, человек Трубецкого Пономарев). Не имея никакого состояния, живя исключительно личным трудом, Кречетов не жалел денег на уплату переписчикам и часто снимал с себя последнее, чтобы их удовлетворить. Свои сочинения Кречетов читал всем знакомым и всегда носил с собой которое-нибудь из них. Чтение его вызывало часто споры. Человек чрезвычайно вспыльчивый, «бешеный», по определению его знакомых, Кречетов не выносил противоречий и выходил из себя при спорах. Многие любили нарочно доводить его до бешенства и забавлялись его видом. В пылу спора он употреблял самые неосторожные выражения, что и довело его до заключения в Алексеевском равелине и Шлиссельбургской крепости.

II

Кречетов был человек одной идеи, которую он и проводил во всех своих сочинениях. Познакомившись во время своей двадцатилетней службы в провинции и столице с положением русского народа, почти поголовно неграмотного, с его страданиями от гнета помещиков, злоупотреблений чиновников, неправосудия судей, он стал думать о том, как вывести его из такого положения, и ему показалось, что он нашел средство. Он стал считать себя призванным известным только ему одному путем обновить не только Россию, но и все человечество. Он мечтал создать по своему плану «закон всем общежительствам человеческим» и монархов сделать только стражами или блюстителями закона. Под словом «закон» он подразумевал, по всей вероятности, конституцию, выразиться же яснее не мог по цензурным условиям, но когда во время следствия в Тайной экспедиции у него спросили, что он разумеет под вышеприведенными словами, Кречетов объяснил, что желает ограничить самодержавную власть, подобно тому, как она была ограничена верховниками при избрании на престол Анны Иоанновны. «Вольность» была его заветной мечтой, но дать ее невеждам—опасно. Общество должно быть сначала подготовлено к ней. Ликвидация неграмотности, распространение просвещения, установление правосудия—вот что должно предшествовать окончательной реформе. Прежде всего Кречетов призывал к «ликбезу», говоря современным языком. Все мужчины и женщины должны быть грамотны, должны уметь читать и писать. Им был составлен план, как в кратчайшее время достигнуть этой цели. В связи с этим Кречетов и добился звания учителя. Кроме школ для обучения грамоте должны быть созданы школы юридические, которые должны способствовать установлению правосудия. После того как людские умы будут подготовлены к реформе, созовется собрание людей знатных и всякого состояния, на обязанности которых будет лежать сочинение законов. Обвинители Кречетова утверждали, что он желал освобождения крестьян и установления республики и агитировал среди солдат, при помощи которых хотел совершить переворот. Конечно писать об этом открыто Кречетов не мог, если таковы и были его желания. Вообще в деятельности Кречетова надо различить его писания, в которых он является пламенным почитателем Екатерины II, ее Наказа и созданных ею учреждений, и его разговоры, в которых он проводит совершенно другие взгляды, понося тирана Петра I и распутницу Екатерину II со всеми ее приближенными. Но если в политическом отношении Кречетов является вольнодумцем с точки зрения того времени, учеником энциклопедистов, то в религиозном отношении он стоит на старой платформе и наравне с законом естественным закон христианский у него является основой всего. Однако к официальной церкви он относился отрицательно, а среди его рукописей находится и антирелигиозное сочинение: «Катихизм честного человека или разговор между калуером и честным человеком, переведенный с греческого обыкновенного господином J. J. R. C. D. C. D. G.» (т. е. Jean Jaques Rousseau, citoyen du canton de Genève) [11]. Кречетов был также убежденным пацифистом и высказывал мнение, что после переворота армия не будет нужна, так как войны больше не будет. Впрочем по его мнению уже и при Екатерине можно было бы достигнуть того, чтобы войны в Европе прекратились. Считая себя реформатором, Кречетов однако находил, что задуманное дело не может быть создано им единолично, а требует коллективного творчества. Для проведения своих идей в жизнь он основал особое общество, получившее вычурное название в стиле его писаний «Всенародно вольно к благодействованию составляемое общество».

Таким образом в легальной деятельности Кречетова намечаются три основных момента: проекты ликвидации неграмотности и распространения просвещения, внедрение правосудия и образование общества благодействования. Рассмотрим каждый из этих моментов.

По собственному признанию Кречетова он нашел в 1774 г. способ к размножению словесных наук «посредством наискорейшего обоего пола людей читать и писать научения», но не принимал никаких мер для получения привилегии на открытый им способ, пока не было опубликовано Екатериной II учреждение о наместничествах, намечавшее открытие казенных школ. В 1779 г. Кречетов приехал в Петербург и в 1781 г. получил звание учителя. После этого он неоднократно присылал свой план в высшие правительственные учреждения и просил на него привилегию. Так, в августе 1783 г. он представил Екатерине через П. В. Завадовского свой труд о распространении словесных наук, который в сентябре был возвращен ему обратно[12]. В октябре 1784 г. им было представлено в Сенат доношение с планом устройства народных училищ «для скорейшего российской грамоте читать и писать научения», по которому «без ущерба казенного и народу без малейшей тяготы действовать надежно». Можно подумать, что Кречетовым открыты новые методы обучения грамоте, в действительности же в его плане о методах никакой речи нет, а в 16 его параграфах говорится об организации школ: «Школы для желающих учиться учредить по родам и состояниям департаментами: 1) дворянства, 2) художеств, 3) письмоводства, 4) купечества, 5) разночинцев». Каждая школа делится на департаменты по возрасту. Затем устанавливается число учеников в школе, срок обучения, плата за учение (деньгами или натурой), размер которой не определяется, правила надзора за учениками, которые должны безотлучно находиться в школе, и т. п.[13] Кроме школ грамотности Кречетов намечал еще учреждение юридических и коммерческих школ.

В июне 1791 г. Кречетов представил Екатерине II план «национальной в России благоучительной (словесно-учительной) школы» при прошении, в котором доказывал необходимость просвещения в России, где среди людей «среднего рода» только половина, а среди земледельцев один из ста грамотны, не говоря уже о женском поле, и где такая нужда в «письмоводцах» и юристах[14].

Как указано выше, Кречетов очень рано, в связи с его служебными занятиями, почувствовал необходимость изучения юриспруденции и стал собирать для себя материалы. По переселении в Петербург он прочитал в первом томе «Истолкования английских законов» («Истолкование английских законов г. Блакстона, перевел с английского языка по высочайшему повелению С. Десницкий». 3 части. М., 1780—1782. 8°), что «сочинение на российском языке всеобщей или универсальной юриспруденции весьма бы полезно было для доставления россиянам яснейшего понятия о полной системе законов», и под влиянием этих слов составил «план юридической, по которому удобно было бы сочинить юриспруденцию», после чего приступил к сочинению труда по юриспруденции, которую он понимал очень широко. Первый том юридического плана был им представлен в 1783 г. императрице, но ею возвращен обратно[15]. Работа над юриспруденцией показала ему, что она не под силу одному человеку, и он стал посылать разным лицам пригласительные письма для общей работы, из этих писем составил «периоды» и хотел напечатать первый период, но цензура не пропустила. Кречетов стал предлагать образовать общество для совместной работы, но многие отказывались на том основании, что общества запрещены ст. 208 Устава благочиния. Только после издания Екатериной II жалованных грамот дворянству и гражданству общество удалось наконец открыть. В феврале 1787 г. Кречетов снова обратился к Екатерине II с прошением, чтобы она разрешила открыть юридические школы на государственном иждивении, каждому благоученому и благолюбительному человеку вступать в его общество и сочинить полную науку благоправительно-судомудрствования или юриспруденцию. В заключение он просил, чтобы императрица «плана юридического первый том утвердила за генеральный контракт со всеми теми, кои по нем в дело вступать будут», разрешила под своим ведением завести школы юридические при Сенате, с позволением везде в библиотеках и государственных архивах выписывать нужнейшие и полезнейшие материи, и приняла все дело под свое покровительство. Как и раньше, желаемого результата не было[16].

«Всенародно вольно к благодействованию» составленное общество было открыто 30 августа 1785 г. В бумагах Кречетова сохранились определения Общества, им же составленные в качестве непременного секретаря[17]. Все они написаны по одному шаблону. В начале перечисляются все святые, память которых празднуется в день заседания, а также рождения и тезоименитства членов царствующего дома. Определения подписывались присутствующими членами. Кречетов был избран непременным секретарем на заседании 22 сентября 1785 г., и ему был дан наказ, конечно составленный им же самим. 25 декабря 1785 г. постановлено завести типографию: «Определили: или купить или построить собственную обществу сему всех

юридических и собственных своих деяний в свет ко изданию для напечатывания типографию и для того, в силу общества сего сентября 20 дня определения, сделать капитал и сложность, какую кто изволит, каждого благолюбительного человека, в общежительстве истинны, чести и славы себе и спокойства общего к снисканию стремящегося, на сие приглашая». Определение от 1 января 1786 г. снова касается типографии [18]. К нему приложен подписной лист для сбора денег на устройство типографии. Собираемый капитал был трех видов: благодеяния, одолжения и приобретения; первый состоял из пожертвований, второй из денег, даваемых взаймы беспроцентно, а третий из денег, даваемых взаймы из 6%. На первые два капитала никто не подписался, а на третий подписались на сумму в 75 рублей. Много определений касается печатания сочинений Кречетова; так 12 декабря 1785 г. определено напечатать его «ироническое сочинение Глупиаду». Интересно было бы выяснить социальный состав членов Общества. Их было около сорока человек, в том числе хозяин Кречетова Д. В. Татищев. Самыми аккуратными посетителями заседаний были Алексей Комаров, Петр Соловьев и Иван Якубовский. Среди членов были и иностранцы и даже иностранки; определения 27 апреля 1786 г. и 21 мая 1787 г. подписаны немками: на первом пять немецких подписей и одна русская, но тоже немки, на втором четыре немецкие подписи [19]. На определении одного из заседаний имеется подпись Федора Поспелова; это, по всей вероятности, Федор Тимофеевич Поспелов, питомец Московского университета, с 1786 г. советник Петербургского губернского правления, поэт, переводчик Тацита и «Персидских писем» Монтескье, впоследствии член Российской академии. Председателя Общества не имело. Кречетов обращался к Екатерине II с просьбой назначить председателем наследника престола, или кого она пожелает, но и эта его просьба была оставлена без внимания.

30 ноября 1792 г. Кречетов обратился к митрополиту Гавриилу, доставившему ему за четыре года до этого большую неприятность (об этом речь будет дальше), с просьбой об одобрении всех его проектов: об учреждении национальной словесноучения школы для распространения грамотности в России, составления патриотической и коммерческой компании, общего банка, коммерческой школы, коммерческой конторы, компании путешественников по России и юридической школы [20]. Здесь следует иметь в виду, что Кречетов, говоря в коммерции, разумел преимущественно торговлю книгами, и следовательно в проекте о коммерческих учреждениях преследует одну и ту же цель просвещения России. Интересна и задуманная Кречетовым компания путешественников. Проект ее изложен им в прошении на имя правящего должность герольдмейстера Л. И. Талызина от 30 июля 1792 г.: «Не угодно ль им [т. е. герольдмейстерской конторе] будет составить компанию путешественников по России, как водою, так и сухим путем, с тем, дабы чрез оное путешествие с помощию прежних описаний учинить новейшее всей России осмотрение, из коего бы вновь как географию, так и топографию, и минералогию и металлургию, купно и карту, или книгу коммерческую (собственно к науке коммерческой принадлежащую), також и потребных к водоходству каналов к соделанию, равно и к распространению человеческого слова—грамматики и словаря к сочинению сведения снискать истинные, дабы всякое государства благоустройство наивернейшим образом сочинить было возможно к наибольшему отечества нашего жизненность в наилучший порядок приведению, и всех вообще обогащению, и тако во истинном величии сил и могущества пред всем светом прославлению» [21]. Таким образом компания путешественников по проекту Кречетова—не что иное как научная экспедиция для всестороннего обследования России и составления описания ее.

Поставив себе определенные задачи, Кречетов обращался за содействием и к верховной власти, и к высокопоставленным лицам, и в административные учреждения и научные общества, и к отдельным группам населения: дворянству, духовенству, женщинам, и за редким исключением от всех встречал отказ и равнодушное отношение, вероятно потому, что за словесной шелухой трудно было добраться до самой сути дела.

III

Кречетов не только писал и знакомил общество со своими идеями путем устных бесед и подачи своих писем и прошений к разным лицам и в разные учреждения, но и делал попытки печатать свои сочинения, главным образом с целью популяризовать свое любимое детище—«Всенародно вольно к благодействованию общество». Он предпринял периодическое издание, орган Общества, под странным названием: «Не всио и не ничево». Вышел в свет только первый лист этого издания. Титульный лист его был таков: «В 1786-й год новой Новое издание. Не всио и не

ничево. Лист первый. В первое число Генваря Объявление о издании сем Сие сочинение праздничное, определенное в свет ко изданию в 1785 году, ноября в 24 день, то-есть в Тезоименитство Великия Екатерины II, Императрицы Российския, в соответственность и в достопамятность Ею творимых человечеству благодеяний. В Санктпетербурге» (12°, загл. лист+6 ненум. стр.). Здесь он поместил объявление о новом «Всенародно вольно всему человечеству к благодействованию обществе», в котором сообщал об открытии Общества определениями 30 августа и 20 и 22 сентября, подтверждении определением 11 октября и утверждении его 24 ноября и в конце излагал цель Общества: «Направление его есть к распространению общеполезных человечеству знаний, к свободно действию типографий, и к расширению книжной коммерции, и теми к наибольшему и способнейшему введению в человечество умопросвещения, а чрез то и к приобщению ему всякого блага». Напечатан был первый лист в количестве тысячи экземпляров. 22 мая 1786 г. Кречетов подал в Управу благочиния прошение о разрешении ему печатать вверяемые ему сочленами по Обществу сочинения и переводы и о даче ему «потребного наставления», на основании которого он мог бы давать наставления сочинителям; одновременно он представил на апробацию цензуры второй лист своего издания, но ответа не получил. После этого Кречетов стал представлять последующие листы, лист за листом, и все с таким же неуспехом. Первый напечатанный лист «Не всио и не ничево» является в настоящее время большой библиографической редкостью. Встречается он обыкновенно в составе другого издания Кречетова, о котором будет сказано дальше. В таком, не самостоятельном, виде он сохранился в деле Кречетова в двух экземплярах. Полный экземпляр издания—один печатный и пять рукописных листов—хранился в 1899 г. в библиотеке П. М. Дмитриева. Текст его по этому экземпляру был опубликован Е. А. Ляцким в первой книге «Чтений в Обществе истории и древностей российских» за 1899 г.[22], при чем издатель не знал о принадлежности его Кречетову.

17 сентября 1786 г. Кречетов представил в Управу благочиния еще свое сочинение «Цензоронаставление или изъявление понятий, по которым книгоиздателю в присылаемых к нему всякого рода от людей человечеству в пользу служащих сочинениях цензарную должность наблюдать и тем государству российскому службою пользу, честь и славу приобретать и посредством человеческого умопросвещения, по силе закона или учения христианского, и всему человечеству пользы снискивать надлежит. Сочинено в Санктпетербурге июня дня 1786 года»[23] и просил, «оное аппробовав, определить мне управы сей в делах цензурных для облегчения самому быть по тому изданию яко процензором», обещая принести присягу и дать подписку, что будет выполнять свои обязанности согласно правилам Управы благочиния. Таким образом он просил назначить его своим собственным цензором. Конечно никакого ответа не последовало. 23 ноября Кречетов повторил свою просьбу с таким же результатом.

В 1787 году Кречетов напечатал два своих перевода: «О размножении цветов», перевод с немецкого, в типографии Вильковского и Галченкова[24], и «Сокращенное предложение королевскаго плана к поправлению правосудия, сочиненное господином Формеем. Напечатано в Санктпетербурге в 1787 году» (тит. л.+6 ненум. стр.+107 стр.+5 ненум. стр.) в типографии Матвея Овчинникова[25]. В конце книги имеется «реестр книгам», в котором издатель приглашает каждого благовнимательного читателя подписываться на издания под подлинниками, предварительно прочитав их у издателя, «дабы знать число, сколько их напечатать; а подписатели покупать бы их могли, верно знав, что они полезны». В реестре далее перечисляются заголовки десяти уже приготовленных к печати сочинений (на заседании 28 июня 1787 г. их было определено напечатать)[26], шести сочинений, которые будут открыты к прочитыванию и одобрению после переписки на бело, и девяти сочинений, которые впредь будут сочинены и объявлены для подписки. Король, о котором говорится в книге,—Людовик XIV. По собственному показанию Кречетова он израсходовал на издание книги 90 рублей, а выручил всего 8 рублей, хотя и напечатал о ней объявление в «Ведомостях». Потом он продавал ее по пониженной цене, раздавал даром, и все-таки книга не разошлась. Наученный горьким опытом, Кречетов решил впредь издавать только те книги, на которые нашлись бы охотники их купить, предварительно вызвав этих охотников, «на подобие как обыкновенно люди мастеровые о мастерстве своем публикуют». Такой список был уже приложен к «Королевскому плану», но очевидно не имел желаемого результата, так как книга не разошлась. Кречетов составил новый реестр, более подробный и по числу номеров, и по тексту и напечатал его, без представления рукописи на цензуру Управы благочиния, в той же типографии Овчинникова

под заглавием: «Открытие нового издания; души и сердца пользующего. О всех, и за вся, и о всем ко всем; или Российской патриот и патриотизм» (12°, 40 стр.). С реестром был сброширован первый лист «Не всио и не ничево» и 8 листов бумаги для подписки на сочинения. Лицо, купившее реестр, могло подписаться и передать его другому лицу для подписки и т. д. Получив реестр обратно от последнего подписчика, Кречетов взамен высылал новый экземпляр. В деле имеется три экземпляра книги, из них два экземпляра имеют листы для подписки с фамилиями подписчиков, а третий без фамилий. В двух экземплярах имеется первый лист «Не всио и не ничево», в третьем его нет. «Открытие» является величайшей библиографической редкостью, как и «Не всио и не ничево». В Ленинской публичной библиотеке должен быть экземпляр, принадлежавший Д. В. Ульянинскому, а в библиотеке Государственного Исторического Музея—экземпляр Щаповского собрания. Мне известен еще экземпляр, принадлежащий Н. Ю. Ульянинскому. Обоим изданиям посвящает несколько страниц А. Н. Неустроев в «Историческом разыскании о русских повременных изданиях и сборниках в 1703—1802 гг. СПБ., 1875» (стр. 532—534) и Д. В. Ульянинский в своих книгах: «Среди книг и их друзей», ч. I. М., 1903 (стр. 134—137, на стр. 135 факсимильное изображение заглавного листа в натуральную величину) и «Библиотека Д. В. Ульянинского. Библиографическое описание», т. II, М., 1913 (стр. 470—474). А. Е. Бурцев перепечатал «Открытие» и «Не всио и не ничево» в своем «Архиве книжных и художественных редкостей» 1907 г.

«Открытие» принесло своему издателю большую неприятность. Для распространения книги Кречетов решил прибегнуть к помощи своего частного пристава и, не будучи по болезни в состоянии пойти к нему лично, написал ему 31 декабря. В тот же день явился к Кречетову квартальный поручик Дирин и изъял у него по неизвестной причине более 100 экземпляров книги. Вероятно приставу было уже известно, что на книгу обратил внимание петербургский митрополит Гавриил: ему не понравилось употребление в заголовке литургийных слов «о всех и за вся». 1 января 1788 г. петербургский обер-полицмейстер Н. И. Рылеев получил от митрополита предложение расследовать дело об «Открытии», а Рылеев поручил расследование Управе благочиния. Еще не зная о грозящей беде, Кречетов 4 января 1788 г. вместе с жалобой на действия Дирина прислал для цензуры еще свое сочинение «Российской патриот и патриотизм». 6 января он узнал от Дирина же о неудовольствии митрополита, и в тот же день около полуночи пристав Иванов явился к Кречетову для следствия. 7 января Кречетов представил свое объяснение по поводу употребления инкриминируемых ему слов и печатания без разрешения цензуры «Открытия», которое он считал не книгой, а реестром. Вслед затем он заболел горячкой и не мог явиться в нижний Надворный суд, где должно было разбираться его дело в качестве уголовного. В июле к нему явилась полиция и своими требованиями явиться немедленно на съезжую довела больного до обморока. Вместо него в суд явились его поверенный Окулов и Д. В. Татищев и удостоверили, что Кречетов действительно болен и сам явиться в суд не может. Между тем еще 12 февраля 1788 г. митрополит, рассмотрев «Открытие» и последнюю рукопись Кречетова, предложил Управе благочиния запретить ему наполнять свои сочинения текстами св. писания, делать им свои толкования, составлять свои изъяснения на книги нового завета и св. отцов, которые, «сколько видно из его сочинений, он худо разумеет», именовать свои произведения «О всех и за вся» и «Трипеснцем», писать о масонстве и издавать сочинения, относящиеся к церкви. 26 августа 1790 г. суд определил запретить все то, о чем писал митрополит, а также те сочинения, о которых Кречетов объявлял в «Открытии», и обязать его подпиской, чтобы он «впредь в таковых не заслуживающих одобрения сочинениях не упражнялся» и не издавал их без разрешения Управы благочиния, от суда же считать его свободным» [27].

Из определения суда видно, что в «Ведомостях» было напечатано объявление о продаже книги Кречетова 3-й Адмиралтейской части в Аничковском доме в книжной лавке под № 22.

Испытав столько неприятностей от цензуры, Кречетов решил прибегнуть к такому средству, чтобы избавиться от нее: 17 февраля 1789 г., следовательно еще до окончания дела о нем, он написал письмо на имя секретаря петербургского дворянства с просьбой о том, чтобы это дворянство ходатайствовало перед императрицей о свободе печати и передаче цензуры в Общество Кречетова, и составил соответствующее прошение. Письмо было передано секретарю только через два месяца—12 апреля. Дворянство должно было просить, чтобы «1) всему православному христианскому богослужению и церковным преданиям в действии быть наблюдаемым беспрекословно, а в пользу общую сочинения всем благожелательным людям изъявлять и издавать

в свет свободно, 2) дабы разуму человеческому благоглаголание и благоделание от противоборствий совершенно освободить (дабы и самая ныне существующая цензура благоразумию в свет изглаголитися не препятствовала и в изданиях от ошибок была осмотрительнее), все книги цензуровать во всенародно-вольно к благодействованию составляющемся из всякого чина, звания и учения обществе, 3) а доколе будет общество сие составлятися, всех его в пользу общую заготовлений в свет на издание быть ему самому цензором под обязательством, какое высочайшим благоправлением учинить ему, Кречетову, будет повелено»[28]. Понятно, что дворянство с таким ходатайством не могло выступить.

IV

Вышеупомянутое «Открытие» перечисляет сорок два произведения Кречетова. Оно начинается следующим произведением, не имеющим порядкового номера:

«Слововесчание о всех и за вся и о всем ко всем или Российской патриот и патриотизм на пользу душ и сердец человеческих. В свет изданием начато 1788-го года в генваре месяце в Санкпетербурге».

В более распространенном заголовке на первом листе после слов «и о всех ко всем» следует объяснение: «то-есть от всей России за всю Россию, ко всей России или от всего человечества, о всем человечестве, ко всему человечеству». В деле имеется три рукописи этого сочинения (№ 2812, ч. V/1, лл. 71—89, ч. V/1, лл. 71—89, ч. VI/2, лл. 1—14).

Далее в «Открытии» перечисляются следующие произведения Кречетова:

1. «Вымысел, названный Камилловы пять сновидений. Умы человеческие в действо юридическое вводящие; а чрез то всенародно вольно к благодействованию общества согласия и сословия к составлениям воспричинствовшей»[29]. В стихах. По «Открытию» сочинены в 1781—1784 гг. «Камилловы пять сновидений», по мнению Плеханова, содержат целую философию истории. Рукопись (№ 2812, ч. V/1, лл. 90—116).

2. «О должностях человека и гражданина по закону естественному. СПБ. 1786» (Сопиков, № 3257), перевод сочинения Самуила Пуффендорфа, 2 части, первая написана в 1781, вторая в 1782 г. («Открытие»). Рукопись второй части № (2812, ч. III/1, лл. 60—127); она начинается предисловием со сведениями о Пуффендорфе из «истории философической Фридерика Генцкения» в переводе Быстрицкого 1781 г. [30]

3. «Человеческой светопознавательный вымысл, называемый героической трипеснец или троевидное изъяснение человеческого рассудка. Сочинено в России в 1784 году»[31].

На листе, следующем после заглавного,—посвящение и содержание: «Приношение неописанному, неизглаголанному и необъятному в роде человеческом величеству рассуждения. Героической трипеснец, то-есть троевидное человеческого разума, действ и силы провозглашение с достодолжным почитанием по Христе в 18-м веке в 9 его десятке изъявляет на земли живый, оному величеству вернейший и благопослушнейший сын естественной рассудок. Содержание сего трипеснца: Песнь первая. Глупияда, то-есть похвала и сила ума человеческого ссуществующего в глупости, изъясняющая смешение и разделение человеческого ума.—Песнь вторая. Мудрияда, то-есть похвала и сила мудрости, изъясняющая направление человеческого ума.—Песнь третья. Судияда, то-есть похвала, сила, справедливость, польза и святость премудрости закона христианского, изъявляющая проспект к зрению и просвещению человеческого ума, или руководство к сысканию всем человекам на земли сей рая, то-есть жизни благодейственной». Название этого произведения, как указано выше, возбудило неудовольствие митрополита Гавриила.

Содержание «Трипеснца» изложено в «Открытии» следующим образом: «Трипеснец» или троевидно человеческой рассудок; о троевидном человеческих душ состоянии, о их сотворении, оных в разуме о падении и после в разум истинный о восхождении разглагольствие, с вероятными того о истинне доказательствами». Начальные строки каждой части дают понятие, о чем в ней будет говориться. «Глупияда» начинается так:

«Пою невежестну и слепородну глупость,
В руках держащу гнев, тиранство, злость и грубость,
Терзающу добро, невинность, мудрость, честь;
Родящу зависть, лесть, ласкательство, злу месть».

Мудрияда»:

«Пою божественну и святолепну мудрость,
Направльшу ум свой выспр, воюющу на глупость».

№ 21. ~~№ 15.~~

Дѣло

По доносу двороваго человѣка помѣщицы Татищевой Малевинскаго о преступникѣ отставномъ подпоручикѣ Кречетовѣ и купцѣ Ерковѣ

1793 году

Тутъ же о отцѣ и матери его Ерковыхъ и о женѣ его и равно о имѣньи ихъ,

Присемъ же и о освобожденіи Ерковыхъ со семейством

на 318 листахъ

ОБЛОЖКА ДЕЛА ТАЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ О Ф. В. КРЕЧЕТОВЕ

Центрархив СССР, Москва

«Судияда»:

«Пою божественный святейший правый суд,
Всех освещающий имевших добрый труд».

В деле имеется беловая рукопись, написанная писцом с поправками автора (№ 2813, лл. 13—29), и черновик (№ 2812, ч. IV, лл. 372—396). К «Судияде» имеется приложение: «вымысла светопознавательного ко изъяснению к песне Судияде фигуры», в виде солнца, кругов и чертежей, с указанием, к какому стиху что относится (№ 2812, ч. I, лл. 15—26).

4. «Речь на день рождения Великия Екатерины II, императрицы Российския. Сочиненная в 1784 г.»

Рукописи в деле не имеется, а есть «Слово похвальное и благодарственное Всероссийской императрице великой Екатерине Второй на 1784 год» (№ 2812, ч. I, лл. 33—44).

5—6. «Изъявление понятий о юриспруденции всеобщей, период 1-й; или введение в предприятие составлять вновь юриспруденцию всеобщую. Сочиненный в 1784 году».

Имеется три рукописи; первой из них предшествует «Воззвание народа российского приступить Юриспруденции своей к сочинению» (№ 2813, IV, лл. 140—164, ч. V/1, лл. 117—157, 306—319).

«Период 2-й, оные к сочинению о необходимой надобности и к тому о способах предъизвествующий. Сочиненный в 1785 году».

Имеются рукописи (№ 2812, ч. IV, лл. 165—199, ч. V/1, лл. 158—174, 175—220).

7—8. «Всенародно-вольно к благодействованию общества составления. Часть I, соч. в 1785 г.». Часть II, соч. в 1785 г.

Рукописи №№ 7 и 8 не обнаружены в деле, но возможно, что они имеются, но без заголовка. Может быть обе эти части составились из определений Общества за 1785 год.

9. «Изъявление понятий о юриспруденции всеобщей период 3-й, изобразующий существо человека и должностей его, единственно из естества жизни человеческой по точному естества же закону расположенных, или введение в историю человеческого разума и в познание необходимой надобности вновь сочинять юриспруденцию всеобщую; в 3 книгах: 1) по первобытности человеческого в разуме падения, о должностях человека в единожительстве, а потом и в общежительстве, по разным религиям вымышляемых и производимых; 2) о них же по христианству; а 3) о должностях же человеков общежительствующих в России» (заголовок по «Открытию»).

Имеется три рукописи (№ 2812, ч. IV, лл. 200—220, ч.V/I, лл. 221—260, ч. V/2, лл. 328—366).

10. «Ода отличным в Российской империи верховноповеление и благодетельство сотворившим особам. За изданием в свет от ее величества Екатерины Вторые, императрицы и самодержицы всероссийския и пр. и пр. и пр. Российскому дворянству и гражданству данных прав, в достодолжную от всея России благодарность. Написал, совершенно в патриотичество углубленный, сочинитель плана юридического в 1785 году»[82].

Рукопись (№ 2812, ч. VI/1, лл. 544—550).

11. «Изъявление понятий о юриспруденции всеобщей, период 4-й, относимый ко всем в свете монархам и правдолюбцам, с благопочтеннейшим от человечества приношением о восстановлении правосудия на степень высочайшую и о сочинении всеобщих законов и с ними вновь юриспруденции всеобщей. Соч. в 1785 г.» (заголовок по «Открытию»).

Рукопись (№ 2812, ч. V/1, лл. 262—305).

12. «Ода супружеству». Соч. 1785 г.

Рукопись с исправлениями автора (№ 2812, ч. IV/2, лл. 23—24). Начальные строки:

«Услышь, стыдливая Венера,
Пою союз любви честной».

13. «Дружбы основание непоколебимое, или трактат истинного супружества. К поправлению человеческих нравов и вредотворных обычаев к превращению на полезно действии. В Санкт-Петербурге в 1786-м году сочиненный, для опыта».

Рукопись (№ 2812, ч. IV/2, лл. 25—48).

14. «Над всеми на круге земном животными высокоразумнейшему человечеству, а имянно: во-1) детей у себя имеющим, во-2) детей у себя иметь чающим, в-3) детей у себя имевшим, також и не имевшим, но их любящим, рода человеческого друзьям и другиням, во благодействии свое удовольствие, купно чести и славы себе с приобретением ощущающим, а в-4) и к самым единственно только самоначальное о благе

общем понятие в себе рождающим и с тем спокойства в жизни снискивать желающим, всякого рода человекам. От всего в империи Российской существующего юношества, отрочества и младенчества косногласное и слезновещательное истинного блага познания о показании и к тому всех о путевождении прошение»[33].

Рукопись (№ 2812, ч. VI/I, лл. 484—488).

15. «Сатира! Сочиненная для изъяснения имеемых в человечестве пороков и всяких в разнозакониях заблуждений, кои на всех истинных воли божией исполнителей и спокойства и благоденства общего снискивателей, именем самого Сатаны, негодованиями, зверствами и отчаянностию терзаяся, все злобно воюют, напротиву коих благоразумие человечества, бесстрашно сопротивляяся, совершенную над ними победу получить уповает Тревога или испуганной стихотворец»[34].

Рукопись (№ 2812, ч. V/2, лл. 164—186). По «Открытию» сочинено в 1786 г. и писано вольными стихами, сатирически. Изображается Вольтер в аду.

16. «Всенародно вольно к благодействованию из юношества, отрочества и младенчества, от составляющегося сословия, на сатану, в похвальных его на младенчество к убийству словах в составляющиеся же всенародно вольно к благодействованию общество и согласие явочное прошение».

Рукописи нет.

17. «Не всио и не ничево, всенародно вольно к благодействованию общества составления о начале изъявляющее (которого 1-й лист, по дозволению Санкпетербургской Управы благочиния напечатанный, приложен при сем), а потом объявляющее что уже к сему предмету и из пола женского согласие, и из юношества, отрочества и младенчества сословие составляется. Сочиненное в 1786 г.».

Рукописи нет. См. выше об этом сочинении.

18. «Человечеству от человека патриотических мыслей исповедание; изречениями относящееся, 1-е ко всенародно вольно к благодействованию в составляющееся общество; 2-е в Санктпетербургскую Академию Наук; 3-е в Императорской Московской университет; 4-е ко всему российскому христианскому общежительству, а 5-е за сим и ко всему человечеству. Сочиненное в 1786 г.» (заголовок по «Открытию»).

Рукописи в деле озаглавлены: «Человеству от человека мыслей своих исповедание всенародно-вольно к благодействованию составляющемуся обществу в Санкт-Петербурге»; вероятно они соответствуют № 18 «Открытия» (№ 2812, ч. VI/1, лл. 364—388, ч. VI/2, лл. 266—276). Подпись: «В России живущий, всему человечеству к благотворению совершенно преданный человек».

19. «Человеческому благоразумию открытое масонство, или вольных каменьщиков ордена к апологии в 1784 г., напечатанной всенародно-вольно к благу в действования составляемого обществом члена... благолюбительное соглаголание, святую истину взыскающее. Соч. в 1786 г.».

Рукописи (№ 2812, ч. V, лл. 46—61, 62—70). Автор обращается к масонам с указанием на некоторые несовершенства их учения и предлагает присоединиться к его Обществу.

20. «Новорожденное дитя, или новое введение Россиан к наукам. 2 книги. Сочиненное в 1787 г.».

Рукописи книги 2-й «О науках новых сокращенно» (№ 2812, ч. II, лл. 456—473, 474—479).

21. «Разум политики, переведенный общества сего членом... с французского языка в 1787 г.».

Рукописи нет.

22. «Венец мудрости, или показание нижней природы. Начала и причины натуры»[35].

По «Открытию» «общества сего членом переведенный в 1787 г.». Рукопись (№ 2812, ч. IV/2, лл. 49—72).

23. «Всенародно вольно к благодействованию общества составления части 3-й книги 1-й или юриспруденции всеобщей основания и твердости по четырем евангелиям воединокнижний».

Рукописи (№ 2812, ч. I, лл. 170—192, ч. IV, лл. 1—85). Третья рукопись намечает разделение сочинения на 4 книги: 1. О евангелиях; 2. Учение апостольское; 3. Учение святых отец; 4. Гражданские законы (там же, ч. IV, лл. 120—139).

24. «Всенародно вольно к благодействованию из пола женского согласия составления, часть I, сочиненная в 1787 г. Прочие же части его впредь женского пола патриотизмом составляемы быть могут».

25. «Во славу божию в пользу человечества в империи Российской из юношества, отрочества и младенчества всеобщего человечеству к полезно действиям сословия часть I сочинена в 1787 г.».

Рукопись (№ 2812, ч. V/2, лл. 28—34).

26. «Существенное оправдание судей противу народных о неправосудии негодований, критик, и злословий по существенному же народному расположению сочиненное» в 1787 году».

Рукописи (№ 2812, ч. III/1, лл. 53—59, 128—135).

27. «Всенародно вольно к благодействованию общества составления», часть 4, книга 1, составлена в 1787 г. из определений 1785 г. Рукопись (№ 2812, ч. V/2, лл. 261—276).

28. Того же общества части 4-й книги 2, составленная в 1787 г. из определений 1786 г.

Рукопись (№ 2812, ч. VI/1, лл. 225—276).

29. Того же общества части 4-й, книга 3. Составлена в 1787 г.

Рукопись (№ 2812, ч. V/2, лл. 35—73, содержит прошение Кречетова к Екатерине II).

30. Того же общества части 4-й, книга 4. Начата в 1787 г.

31. «План юридический», том I. Составлен в 1781—1784 гг.

Рукописи (№ 2812, ч. IV, лл. 120—139, ч. V/2 лл. 253—260). Книга 2-я с доказательствами к положениям 1-й (№ 2812, ч. V/1, лл. 327—374).

32. «План юридический», т. II, составлялся в 1782—1785 гг.

33. «План юридический», т. III, начат в 1783 г.

34. «Лес лесов», приложение к тому III, «для чтения книг проначертание, полезнейших книг или всех в человечестве о каждой вещи вообще и порознь понятий к собиранию, их сложению, в порядок приведению, а потом человечеству во общежительстве должностей к сочинению и к наисвятейшему всеобщих законов составлению способствующее». Начато в 1761 г. собираться, а в 1781 г. сочиняться.

Рукописи нет. Это очевидно приведенные в порядок выписки, которые делал Кречетов при чтении книг.

35. «План юридический», том 4. Начат в 1783 г.

36. «Пчела и паук». Сатира, в основание которой положены псалом 118-й и статья 218-я Наказа Екатерины II.

Рукописи нет.

37. «Царский перстень или во благо-правильно-судо-мудрствования кругообращение».

Рукописи нет.

38. «Юриспруденция российская». Начата в 1779 г., но приостановлена по случаю работы над юридическим планом.

39. «Юриспруденция всеобщая». Начата в 1783 г.

40. «Составление всеобщих законов». Труд, подлежащий выполнению в будущем.

41. «Альфа и омега». Труд, согласно юридическому плану увенчивающий всю работу Кречетова и его Общества и конечно не написанный.

Сопиков, говоря об «Открытии» (№ 7990), так характеризует все перечисленные там сочинения: «Судя по странным и нелепым заглавиям оных, утвердительно можно заключить, что они никогда в свет изданы не будут». Сопиков несколько ошибся: два сочинения были переизданы, но вероятно и большинство современников Кречетова относилось к его писаниям подобно Сопикову.

В деле имеется несколько рукописей сочинений, не вошедших в реестр. Трудно сказать, принадлежали ли они самому Кречетову или кому-либо из членов его Общества: ведь он называл себя собирателем и издателем трудов членов Общества. Возможно, что и в реестр попало что-либо принадлежащее им. Здесь критерием мог бы служить язык и стиль его сочинений. Может быть поэтические произведения, за исключением «Трипеснца», и не были написаны им. Вышеупомянутые сочинения, не вошедшие в реестр, следующие:

1. «Ода ее имп. вел. Екатерине II со всей ее высокой фамилией, сочиненная по случаю явления видимого на небе 19 февраля 1785 г.» (№ 2812, ч. III/1, лл. 220—221).

2. «Игра мыслей на супружеский расстрой» (№ 2812, ч. III/1, стр. 305—308).

Начальные строки: «Не с музами, не с Аполлоном
Похвальну песнь начну я петь.
С Меркурием, с Протеем, с Момом
Согласие хочу иметь».

3. «Несудимый суд, производимый в Р..... в С..... истинному благочестию для пересуда или к достойному рассмотрению и решению посвящает правосудия и человечества любитель» (№ 2812, ч. V/2, лл. 367—509).

4. «Благолюбительному общежительству российскому императорского величества о учреждении губерний манифеста в окончании произреченным словам в соответ-

ственность, ко исправлению нравов и к распространению всех христианских добродетелей о приобретении лучших способов» (№ 2812, ч. VI/1, лл. 475—483).

5. «Завещание и благословение Иакова сыном своим, 12 коленам израильским, в котором законы всех народов под означением 12 колен разумеются, и показывается, что им прежде благословения и после оного еще случится» (№ 2812, ч. IV, лл. 444—491).

6. «Разум, истинну и человечество любящий о должном всем человекам или изветы, по коим благоустройство общежительству соделывать можно и должно в России» (№ 2812, ч. III/1, лл. 309—332).

7. «Ода патриотическая» (№ 2812, ч. IV, лл. 86—92, ч. V/1, лл. 320—326).

Начальные строки: «Вонми мой глас, всех обществ ум,
Я петь начну песнь патриота».

8. «Изображение закона, и разума, и деяний, и должностей патриота и патриотизма российского, или введение всех жителей вообще всенародно вольно к благодействованию». Сочинено в 1790 г.

Говорится об Обществе Кречетова и об открытом им способе обучения грамоте, «какого никто никогда во всей Европе не употреблял и не объявлял». В более пространном заголовке это сочинение называется «юриспруденции российской к сочинению введеннием» (№ 2812, ч. VI/2, лл. 175—253).

9. «О супружестве. Опыт супружества» (№ 2812, ч. VI/II, лл. 389—437, 504—543).

10. «Дружбы основание непоколебимое; или трактат истинного супружества. К поправлению человеческих нравов и вредотворных обычаев к превращению на полезно-действии. В Санкт-Петербурге в 1786 г. сочиненный для опыта» (№ 2812, ч. IV/2, лл. 25—48).

11. «Всеобщий человеческий о общежительстве к разглагольствию предлог, или всеобщее отрочества и младенчества сих рождьшими и со всеми рода человеческого друзьями и другинями к благодействованию сословие, содержащее в себе о наследстве трактат, человеческих нравов наилучшее к поправлению и вредотворных их обычаев на полезнодействии к превращению». Сочинен 21 мая 1786 г. (№ 2812, ч. I, лл. 28—32, ч. V/21, лл. 25—35).

12. «План или предначертание к сочинению российской юриспруденции» (№ 2812, ч. I, лл. 331—426).

Кроме перечисленных сочинений в деле имеется еще много рукописей, относящихся к трудам Кречетова по юриспруденции и к основанному им Обществу.

Кречетов был неудачник. По службе ему не везло. Несмотря на все свои старания, он не мог применить свои обширные познания и принести действительную пользу. Его широкие мечты о благе России и всего человечества получили такое оформление, что могли только оттолкнуть от желания с ними познакомиться. И в личной жизни Кречетов был такой же неудачник: совершенно одинокий, он не имел близких родных, попытки его жениться не осуществились, а люди, с которыми он ближе сошелся и которым больше всего доверял, предали его.

26 апреля 1793 г. петербургский генерал-губернатор Коновницын сообщил правящему должность генерал-прокурора А. Н. Самойлову, что «малороссианин» Осип Малевинский сделал ему письменный донос на поручика Кречетова, уже известного Коновницыну «по разным вздорным его сочинениям, за что был сужден в надворном суде». Малевинский приложил к своему письму несколько сочинений Кречетова: «Объявление благолюбительному общежительству» [36]; «Разум истины в человечестве к бытию о должности всем человекам извет» [37]; «Что есть патриот и патриотизм»; «Всем империи Российской людям благоученым благопотребное наставление» и «Донесение г-ну д. с. с. Талызину в пользу общественную».

В своем доносе от 25 апреля Малевинский просит разрешения открыть заблуждения Кречетова и обнаружить ту опасность, которая «всем нам» угрожает: он по всему государству распространяет сетования, негодуя на необузданность и злоупотребления власти и возвращая права народу. Малевинский выражает опасение, как бы «скариотские плевелы» Кречетова не возжгли бы «большого поломю». В заключение он сообщает адрес Кречетова, скрывающегося в доме купца Еркова близ Охтенского перевоза. Еще сильнее выразился Малевинский в своем прошении на высочайшее имя: «Кречетов произносил непристойные и укорительные слова на высочайшую честь императорского величества, такожи на высочайших наследников... и весь сенат ругал, яко воры и разбойники, и сама же потакает им и делает за одно. И так все то чинил он, Федор Кречетов, великую противность к святым церквам яко идолослужение производил и называл всех правоверных идолопоклонниками... и пророчествует к величайшему бунту такому, которого еще не бывало»,

Петра I он называл «великим тираном, вором и разбойником», а про Екатерину II говорил, что она впала в роскошь и развратную жизнь, вступила в масонскую веру и недостойна престола, как «убивица». Кречетов задался целью «правоверных избавить от ига царского, в котором поныне по слепоте своей страдает», солдат он убеждает «чтобы всем офицерам и штатским перевязали бы руки», крестьянам, боярским и экономическим (т. е. монастырским) хочет дать свободу, а армию *уничтожить*, потому что «войны более уже не будет» [38].

6 мая Малевинский был допрошен в Тайной экспедиции и объяснил о причине своего знакомства с Кречетовым: Кречетов жил «для компании» у сыновей бывшего сенатского экзекутора Татищева, а он находился у Татищевых в услужении, управляя делами и причесывая волосы, поэтому они и познакомились; Кречетов показывал ему разные свои сочинения и проекты и рассказывал о своем желании получить привилегию на устройство школ. Прочитав проект Кречетова о школах, Малевинский спросил его: «да на какой же конец ты такие школы заводишь, вить ныне *по милости* государыниной везде заведены училища». На это Кречетов ответил: «это только мажет по губам государыня из одного тщеславия, а я де заведу училище такое, что наберу множество людей, да и баб до тысячи, а как де совсем это учрежу, то стану приглашать к себе солдат и уговаривать, чтоб они командиров всех перевязали и холопей и крестьян сделали вольными, куда што говорить, и сделаю то, чего никогда в жизни не бывало, солдатам же, кои приходить будут, дам гвардейское жалованье, а как все это сделаем, то и солдат всех распустим, ибо воевать ни с кем не станем». Кроме того Малевинский говорил, что Кречетов *внушал* попадавшимся ему солдатам, что присяга не имеет значения, выдумана она государями, а крестьянам и холопям—чтобы они старались о свободе и вольности, так как «и государыня давно оное хочет сделать, то недопускают ее до сего бояры» [39].

7 и 8 мая в Тайной экспедиции допрашивался сам Кречетов по поводу показаний Малевинского о его непристойных и дерзких словах. Ему было предложено семь вопросов [40]. Первый вопрос касался школ. Кречетов объяснил, что действовал в духе намерений самой императрицы. По поводу его слов, что государыня своими школами только по губам мажет, он придумал очень сложное и витиеватое объяснение, исходя из слов апостола Павла: «млеком вы напоих, а не брашном». Что касается дерзких слов про императрицу, о которых Малевинский упоминал в своем доносе и повторил в экспедиции, то Кречетов сказал, что не помнит, чтобы их говорил, но мог их сказать в пылу спора, так как окружающие его люди, чтоб только поспорить, всячески его раздражали и забавлялись, насмехаясь над ним. По поводу совместного обучения обоих полов в школе он объяснил, что считает необходимым иметь отдельные мужские и женские школы подобно тому, как бани делятся на мужские и женские. Все сказанное об агитации среди солдат Кречетов отрицал и называл «гнусным и посмеяния достойным предприятием». Также отрицал он приписываемое ему намерение освободить крестьян и холопов: «Я из вольности невежд о могущих в общежитии бедствиях довольное имею познание, имев же оное, конечно, не могу пожелать, чтоб оная была дана невеждам, силы оные не знающим, ибо таковым давать вольность есть то же, как бы кто давал несмысленным детям для игрушек ножи, ибо вольности самую сущую силу и грамоте умеющие не все разумеют». Допрос Кречетова имел следствием письмо генерал-прокурора Самойлова к главе Тайной экспедиции такого содержания: «Вы знаете сами, каким образом достичь от него всю истину: нужно, мой друг Степан Иванович, узнать и о том, что не имеет ли он каких ни есть покровителей, к которым он относился или имел от которых наставление: все это предоставляю вам, милостивый мой государь, вы конечно знаете, какими средствами дойти до истины. Завтра увижусь с вами, будьте здоровы» [41]. Повидимому Самойлов намекал на необходимость применить особые средства, чтобы добиться от Кречетова истины. 8 мая после допроса Кречетову была дана очная ставка с Малевинским. Каждый из них остался при своем [42]. Кречетов свои показания закончил заявлением, что он предает свою жизнь богу и государыне, и просил слезно о милосердии и помиловании.

Свидетелями по делу были взяты в Тайную экспедицию регистратор Государственного Архива Василий Окулов, писарь кавалерской думы военного ордена Михаил Скворцов, типографщик купец Матвей Овчинников и мещанин Степан Ерков.

Самое большое показание дал Окулов, допрашивавшийся с 13 мая и в Тайной экспедиции, и у генерал-прокурора [43]. Познакомился он с Кречетовым, когда тот жил у Татищевых, видел у него множество экземпляров «Открытия» с подписями соучастников его и подписку на устройство типографии также со многими подписями. Своими сочинениями Кречетов, по словам Окулова, думал увеличить число членов

своего Общества и «обработать» умы, после чего удобнее будет действовать к общей пользе. О Наказе Екатерины II он высказался, что государыня совсем оставила его без действия и боится, «чтоб из него чего страшного не вышло», если б было возможно, она совсем бы истребила свой Наказ. Члены созванной ею комиссии пьянствуют и гуляют, только даром жалованье получают. В России господствуют неправосудие, взяточничество, злоупотребления. В результате такого образа действия правительствующих лиц может выйти бунт, подобный тому, что был в Москве при Алексее Михайловиче. Для борьбы со всеми недостатками Кречетов хотел устроить Общество из лиц, потерпевших от злоупотреблений. При разговоре о Французской революции он высказал мнение, что его предприятие может спасти Россию от участи Франции. К Радищеву Кречетов относился отрицательно, но находил, что государыня поступила с ним строго и неправильно. По мнению Окулова цель, которую преследовал Кречетов, была, «свергнув власть самодержавия, сделать либо республику, либо иное что-нибудь, чтоб всем быть равными». При всех разговорах он «никогда самодержавной власти не одабривал». Свои школы он хотел завести, «чтоб посредством школ тех народ довести до такой тонкости, дабы он наперед страшился сам всяких насилий и беззаконий»; общество должно получить такую силу, чтобы государи исполняли его решения, «а за неисполнением оных тотчас бы де самодержавная власть слетела». Разговаривая о «расколах и несогласиях» во Франции, Кречетов сообщил о своем плане весь свет подчинить под один закон, основанный на евангелии; двадцать лет он над ним работал и никто не знал о такой его «страшной деятельности»; были и раньше люди, которые хотели достичь той же цели, но они действовали в одиночку, он же хочет выполнить свой план общими силами.

19 и 20 мая допрашивался в Тайной экспедиции и у генерал-прокурора Скворцов [44]. Он познакомился с Кречетовым у секретаря кавалерской думы подполковника Базина. Кречетов искал переписчика для своих сочинений и Базин рекомендовал ему Скворцова. Его показания дают подробности о печатании Кречетовым своих книг в 1787 г.: «О размножении цветов», «Королевского плана», «Открытия», «Не всио и не ничево». Между прочим он сообщил, что Кречетов дал в 1787 г. одному французу, уезжавшему на родину, 50 экземпляров своего листа (очевидно «Не всио и не ничево») и, когда Франция сделалась республикой, выражал надежду на успех там своих идей. Написав две книги под заглавием «Разум, истину человечества любящий», Кречетов послал их в городскую думу для цензурования и к митрополиту; последний посоветовал автору жить «по-офицерски». Скворцов сообщил о проектах Кречетова устроить коммерческие школы для обучения купечества правильной коммерческой науке, юридические школы, «чтоб, собрав все законы во-едино составить один», компанию путешественников для осмотра всех заводов и мануфактур. Задуманные Кречетовым школы грамотности представлялись Скворцову его орудием в борьбе с самодержавием; он собирался, когда дана будет ему привилегия составить школу, «то тогда из обучавшихся обоих полов... умы их направить к соделанию вольности, а как сие соделается, то уже и самодержавной власти не надобно». И Скворцов подтвердил, что Кречетов «порицал разными непристойными речами государыню», считал Петра I тираном и наущал солдат «быть непокорными властям своим».

20 мая был допрошен торгующий книгами купец Овчинников, познакомившийся с Кречетовым около 1786 г., когда тот принес к нему для напечатания с дозволения Управы благочиния переводную книгу свою «Королевский план к поправлению правосудия». Напечатано было 600 экземпляров и пущено в продажу. После этого Овчинников напечатал без цензуры список сочинений Кречетова, не считая этого списка за книгу. Когда реестр был уже набран, Кречетов велел наборщику прибавить в заголовке слова «о всех и за вся». Отпечатано было в таком виде сто или более экземпляров. Овчинников же напечатал объявление о продаже реестра. Когда книги вызвали неудовольствие митрополита, частный пристав отобрал у Овчинникова все имевшиеся у него экземпляры и его самого доставил в Управу благочиния. Здесь он был допрошен и отпущен. Дело было передано в Нижний надворный суд для поступления с виновными автором и типографом по закону, но Овчинникова туда не вызывали [45].

Больше всего хлопот доставил Тайной экспедиции мещанин Ерков, допрошенный 15 и 19 мая. Ерков, пользовавшийся покровительством цесаревича, получил на откуп Кинбурнские соленые озера, но запутался в делах и попал в тюрьму, по выходе из которой вел процесс с виновником своих бед генерал-майором Болтиным. На этой почве он и сошелся с Кречетовым, которого взял к себе в дом. Свидетели указывали на Еркова как на единомышленника Кречетова. Ерков упорно

отрицал при допросе и на очных ставках свое знакомство с Малевинским и пребывание у него в доме Кречетова. Даже «увещания» самого Шешковского не помогли [46].

При аресте Кречетова у него был взят весь архив, состоявший из его сочинений, выписок, определений его Общества, документов личных и по тяжбам разных лиц, которые он вел. Некоторые из его бумаг обратили на себя внимание следователей, и Кречетов был допрошен по поводу их. Одна из этих записок вызвала тот ответ Кречетова, в котором он открыто высказал свое мнение о необходимости ограничения самодержавия, подобно тому, как оно было ограничено верховниками при Анне Иоанновне [47]. Спрошен он был и по поводу выписок, «в коих вольность похваляется, а самодержавие осуждается» [48], и статей о французских королях, наполненных не только поношением, но и совершенным ругательством. Следователи спросили: «откуда он те листы выписывал и чьею рукою оные писаны?» Кречетов ответил, что выписки, где «похваляется вольность», взяты из печатной русской книги, называемой «О государственном правлении» [49], из библиотеки Трубецкого, «а прочие листы, откуда выписывал, из книги ли или манускриптов, он не упомнит, так как и того припомнить не может, чьею рукою оные писаны». Выписка на французских королей между прочим содержала утверждение, что набожные короли были самые скверные (Генрих III, Людовик XI).

Следователи пришли к заключению, что Кречетов достоин тягчайшего осуждения; своими дерзкими словами он мог людей «подвинуть к неприятному для государства предприятию», ибо все его сочинения наполнены рассуждениями о вольности, а приводимые им места из Наказа и учреждений получают у него превратный смысл; однако не открылось, чтобы он мог учинить возмущение или собрать вредную шайку, во-первых, потому, что, будучи так беден, что не имел дневного пропитания, не имел возможности подкупить солдат и холопов, во-вторых, характер его не только горячий, но и бешеный, а люди с таким характером не способны к важному предприятию, в-третьих, потому, что, будучи о себе и своем уме очень высокого мнения, на деле он никаким наукам не учился, а только воспользовался чтением негодных книг из библиотеки Трубецкого, отчего и возмечтал о себе, вчетвертых, все его дерзкие слова, внушения солдатам и холопам о вольности, похвальба сделать в России то, чего еще не было, все это из хвастовства, а на деле он ничего не произвел бы, потому что никакой привилегии он не получил бы и не мог бы собрать сволочь, а если бы стал делать солдатам и холопам внушения о вольности, то это скоро бы обнаружилось [50].

Следствие кончилось таким решением: «Кречетова содержать здесь в крепости. Еркова расспросить и после сослать в Сибирь в Пелым». Доносчик Малевинский был освобожден из холопства и награжден 200 рублями. 11 июля докладная записка по делу Кречетова была доложена Екатерине II и утверждена ею. Окончательно приговор о Кречетове был следующий: «Запереть его в здешней крепости до высочайшего ее имп. величества решения под крепчайшею стражею, не допуская к нему никого, так и писать ему не давая, потому паче, что иногда не откроется ль еще какого на него здесь извещения» [51]. Таким образом Кречетов был посажен в Петропавловскую крепость на неопределенное время и лишен того, что ему было всего дороже: возможности писать и пропагандировать свои идеи.

Однако этим дело не кончилось. Заключенный в Алексеевский равелин, он был 17 августа снова подвергнут допросу по поводу некоторых рукописей его [52].

В декабре 1794 г. в судьбе Кречетова произошла перемена: состоялся указ отправить его в Шлиссельбург и там содержать наикрепчайше. 24 декабря из Тайной экспедиции было отправлено предписание к коменданту Петропавловской крепости А. Г. Чернышеву отдать кол. сов. Макарову секретных арестантов Кречетова и Фишера, содержащихся в Алексеевском равелине. Прапорщику сенатской роты Тимофееву предписано было отвезти Кречетова в Шлиссельбург и сдать коменданту местной крепости полковнику Колюбакину, а Колюбакину велено посадить Кречетова в одном из номеров крепости «так, чтоб он никаких разговоров и сообщения ни с кем не имел и содержан был наикрепчайше». На содержание Кречетова было отпущено Тайной экспедицией по 25 коп. в день. Колюбакин в ответ рапортовал, что Кречетов доставлен в 8 часов пополуночи 25 декабря и посажен в номерную казарму № 5 вверху. При осмотре были обнаружены зашитые в подушке бумаги. По рассмотрении в них ничего не оказалось, почему они и были уничтожены. В следующем рапорте Колюбакин донес в Тайную экспедицию, что в постели Кречетова найдены зашитыми бумаги с наколотыми булавкой словами, которые и препровождены в экспедицию [53].

Кречетов просидел в Шлиссельбурге до воцарения Александра I: он был освобожден по указу 22 марта 1801 г. 9 мая он дал Н. К. Михайлову доверенность на

получение отобранных у него при аресте личных документов и бриллиантового перстня; из этой доверенности видно, что Кречетов в это время не имел «пристойного одеяния», здоровьем был слаб и ногами болен. Дальнейших сведений о его судьбе не имеется.

Публицистические произведения Кречетова совершенно не изучены. Правда, задача изучения их чрезвычайно неблагодарна: если и читателю XVIII в. трудно было их одолеть, то тем более современному, но интересно было бы проследить, под какими влияниями образовались его взгляды и как он сам действовал на свою аудиторию. Фамилии его последователей установить можно, выявить же их личности чрезвычайно трудно. Сочинения Кречетова переполнены ссылками на священное писание, но митрополит Гавриил утверждал, что Кречетов худо понимает св. писание; на каждом шагу цитаты из Наказа Екатерины II и законов Российской империи, а по мнению генерал-прокурора Самойлова и «кнутобойцы» Шешковского они представлены в превратном виде. В чем же здесь дело? Значит ли, что писания Кречетова с точки зрения властей того времени так же преступны, как и его разговоры, или же следователи, напуганные разговорами Кречетова, увидели в его сочинениях то, чего в действительности не было? Выяснить настоящую физиономию радикального публициста конца XVIII в. еще дело будущего.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В литературе имеется указание еще на дело архива Синода № 46 «по доношению порутчика Федора Кречетова с доверенностью от него польскому уроженцу Петру Давиденку с разными положениями о бытии ему в продолжении начатого под названием Не всио и Ничего в пользу общего издания процензором, и о даче ему ж в сходственность законов для заведения желающим обучаться чтению и писанию, школ, привилегии» 1786 г. (Библиотека Д. В. Ульянинского. «Библиографическое описание», т. II, 1913 г., стр. 472). Это дело должно находиться в Ленинградском отделении Центрального Исторического Архива.

[2] ГАФКЭ, дела Герольдмейстерской конторы, кн. 613, л. 44.

[3] № 2813, л. 33, паспорт Кречетова, выданный 4 октября 1778 г. из Калужского наместнического правления.

[4] Там же, л. 34, копия патента от 9 сентября 1779 г.

[5] В деле Трубецкая называется Натальей Ивановной, но речь идет несомненно о вдове Петра Никитича Наталье Васильевне.

[6] Копия аттестата на звание учителя—№ 2812, ч. I, л. 11.

[7] Дмитрий Васильевич Татищев (р. 1763, ум. после 1818 г.) был сыном Василия Васильевича (1725—1784), экзекутора Сената в 1764—1765 гг., помещика Лужского уезда, Петербургской губернии, у которого было 10 сыновей. Тяжба между ними окончилась в 1791 г. разделом отцовского имения. И Корольков, и Плеханов ошибочно указывают совершенно других Татищевых.

[8] № 2813, лл. 197—200, показание Скворцова.

[9] № 2812, ч. V/2, лл. 36—71.

[10] № 2812, ч. VI/2, л. 9.

[11] № 2812, ч. IV, лл. 514—523.

[12] № 2812, ч. IV, л. 371.

[13] № 2812, ч. IV, лл. 114—119; ч. V/2, лл. 187—194, ч. VI/2, лл. 15—25.

[14] № 2812, ч. VI/1, лл. 438—454; ч. III/1, лл. 253—258.

[15] № 2812, ч. IV, л. 371.

[16] № 2812, ч. V/2, лл. 36—73, прошение 1787 г. Екатерине II, в котором Кречетов сообщил биографические о себе сведения.

[17] № 2812, ч. I, лл. 53—132; ч. IV/2, лл. 120—148; ч. III/2, л. 13.

[18] № 2812, ч. I, лл. 58—60, 92.

[19] № 2812, ч. IV/2, лл. 123, 124.

[20] № 2812, ч. I, лл. 7—10.

[21] № 2812, ч. V/2, лл. 195—250.

[22] «Новое издание «Не всио и не ничево». Журнал 1786 г. Текст с предисловием Е. А. Ляцкого», стр. I—XIII+1—36.

[23] Рукопись хранится в деле № 2812, ч. III/2, лл. 1—12.

[24] № 2813, л. 197, показание Скворцова.

[25] У Сопикова № 8895. Этой книги в деле нет. Я пользовался экземпляром, принадлежащим Н. Ю. Ульянинскому, за что приношу ему мою благодарность.

[26] № 2812, ч. III/2, л. 13.
[27] № 2812, ч. III/1, л. 259.
[28] № 2812, ч. III/2, лл. 463—542.
[29] Заголовок рукописи.
[30] «История философическая, или о философии, в которой описываются жизни славнейших философов...; соч. Фрид. Генцкения, П., 1786».
[31] Заголовок рукописи.
[32] То же.
[33] То же.
[34] То же.
[35] То же.
[36] Рукопись № 2813, лл. 9—12.
[37] См. выше то же сочинение под видоизмененным заглавием.
[38] № 2813, лл. 4—5.
[39] № 2813, лл. 36—37.
[40] № 2813, лл. 38—44. Ответы Кречетова собственноручные—лл. 45—75 и перебеленные рукой писаря—лл. 132—135, 76—126. Все семь пунктов приведены в статье Королькова.
[41] № 2813, лл. 129—130.
[42] № 2813, лл. 174—175.
[43] Допросные пункты—лл. 176, 192—193, 288—304, показания—лл. 177—191, 194—196. Показания Окулова довольно подробно изложены в статье Королькова.
[44] Лл. 197—203.
[45] Лл. 204—205.
[46] Лл. 206—215.
[47] Записка и ответ Кречетова приведены полностью у Королькова.
[48] Часть выписок приведена у Королькова.
[49] О государственном правлении и разных родах оного. Соч. г. Жакурта, из Энциклопедии перевел Ив. Туманский. СПБ., 1770, 8° (Сопиков, № 2864).
[50] Л. 131.
[51] Л. 230 об. Приговор полностью приведен у Королькова.
[52] Допрос изложен у Королькова. В деле он на лл. 160—169.
[53] Лл. 267—272.

ПИСЬМА ГРАВЕРА М. И. МАХАЕВА

Сообщение М. Ильина

В первые годы революции в Рыбинское архивное бюро поступили материалы из усадьбы Тихвино-Никольское, устроителем и первым владельцем которой был некий Николай Иванович Тишинин (1727—1773). Биографические сведения, которыми мы располагаем о нем, довольно немногочисленны. Известно, что в молодости он служил в гвардии, в 1761 г. вышел в отставку, «осел» на землю и занялся устройством своих имущественных дел, в частности—строительством вышеупомянутой усадьбы.

Повидимому это был довольно типичный представитель верхнего «просвещенного» слоя среднепоместного дворянства той эпохи. Покончив со службой, он довольно интенсивно развил хозяйственную деятельность, которой придавал очевидно немалое значение. Это видно например из того, что он хлопотал о включении в изготовлявшуюся тогда карту империи своих собственных имений. Живя в усадьбе, он внимательно следил за текущей политической жизнью, интересовался литературой и журналистикой, собирал библиотеку, даже сам пытался сочинительствовать, был, короче говоря, человеком того склада, наиболее ярким примером которого является Болотов.

Наибольший интерес среди сохранившихся после него архивных материалов представляют две книги так называемых «приказов», где Тишинин чуть ли не изо дня в день фиксировал свои распоряжения крепостным, договоры с посторонними лицами, с которыми приходилось ему сталкиваться по хозяйственным делам, и т. д. Сюда же включал он копии писем, отправляемых им своим корреспондентам, принадлежавшим к самым различным социальным кругам и занимавшим самые различные места в современной служебной иерархии. В особую книгу вплетались им все полученные письма, снабжаемые точной отметкой о годе, месяце и дне получения. Относятся как те, так и другие материалы к последним годам жизни Тишинина. Некоторые содержащиеся здесь данные заставляют предполагать, что имелось еще какое-то собрание писем, относящихся к более раннему периоду; это собрание до нас однако не дошло.

В этом эпистолярном фонде особое внимание привлекают письма художника-гравера Михаила Ивановича Махаева, связанного с Тишининым длительными и прочными деловыми и родственными отношениями.

О существовании его переписки с Тишининым московским искусствоведам стало известно еще в 1926 г. То обстоятельство, что документальное наследие эстетического быта XVIII в. исключительно бедно и что, в частности, письма русских художников этой эпохи насчитываются буквально единицами, обеспечило этой находке внимание искусствоведческой общественности. Тогда же покойный В. В. Згура предпринял некоторые шаги к их опубликованию, но его смерть оборвала эту работу. В большей своей части письма были дешифрированы Е. В. Сосниной-Пуцилло, ныне также покойной. Продолжила эту работу, проверив одновременно уже дешифрированные письма и сделав ряд ценных общих замечаний по Тишининскому архиву, С. Н. Талантова.

Прежде чем перейти к характеристике писем, приведем те немногие биографические данные о Махаеве, которые сохранила нам история.

Михаил Иванович Махаев род. в 1716 г. В 1729 г. он был взят в академическую школу для обучения ландкартному делу. В 1754 г. Махаев числится подмастерьем «грыдоровального» художества и гравирует планы и ландкарты, «снимает проспекты» и т. п. В 1757 г. он уже мастер ландкартного дела, с жалованием в 300 р. Учителями его были Валериани[1], у которого он учился перспективе, и Я. Штелин[2], апробировавший немало работ Махаева. Умер в 1770 г. Этими скудными сведениями, приводимыми Ровинским в его капитальном «Словаре русских граверов», и исчерпываются все печатные сообщения о гравере.

Махаев принадлежал к тому новому типу художников, который сложился в меркантильную, сугубо «деляческую» петровскую эпоху. В этих художниках, занятых преимущественно выполнением работ, имевших узко практическое назначение, художник был подчас неотделим от ремесленника.

Имя Махаева не блещет в ряду имен выдающихся мастеров, поставивших в XVIII в. граверное искусство в России на высоту гравюры западной, он не создал ничего оригинального в этом виде художества и всю жизнь был скромным последователем несколько сухой, тщательно детализирующей ремесленной манеры немца Штелина.

Однако в истории русского искусства Махаев занял особое место как гравер чрезвычайно ценных с точки зрения истории архитектуры зарисовок Петербурга и современных ему городов.

Гравюры Махаева, едва ли не лучше всех многочисленных изображений Петербурга, передают помпезную монументальность и официальную торжественность «Северной Пальмиры», не утрачивая при этом документальной точности изображения. Помимо «ландкарт» и видов Петербурга и его окрестностей Махаев выполнил по правительственному заданию многочисленные провинциальные «городов различных виды» и оставил два особняком стоящих в его творчестве реалистических портрета «первого русского солдата Бухвостова», коего «по конец жизни и самой его кончины свидетелем», как об этом гласит подпись под одним из портретов, он являлся.

По сословной принадлежности был он дворянином, имел своих крепостных, но, хотя о количестве их мы никаких сведений не имеем, частые жалобы на материальную стесненность и главное на зависимость его доходов только от выполняемых заказов, в изобилии содержащиеся в его письмах, позволяют установить, что принадлежал он к тому слою служилого мелкого дворянства, которое может считаться интеллигенцией того времени. По роду же занятий он был художником-профессионалом.

По своему содержанию письма Махаева представляют собою нечто очень пестрое. Основной темой их являются деловые отношения с Тишининым, связанные с заказами последнего на чертежи различных построек для его усадьбы, выполняемыми как самим Махаевым, так и знакомыми ему художниками. Среди них имеются персонажи такого первостепенного значения, как В. И. Баженов[3]. Сведения о нем, содержащиеся в письмах, существенно дополняют те скудные данные, которыми располагаем мы о первых годах пребывания его в России, после возвращения из заграничной командировки. Сюда же примыкает материал, касающийся других художников, с которыми имеет дело Махаев, давая им нередко любопытные характеристики.

Из других лиц, упоминаемых в письмах Махаева, отметим Ф. А. Эмина[4]. К сожалению Махаев не сообщает никаких конкретных данных, которые дополнили бы его скудную и противоречивую биографию: но самый факт знакомства с Эминым немаловажен для характеристики круга, в котором Махаев вращался.

Самостоятельную группу образуют данные о личной работе Махаева, дающие возможность полнее осветить биографическую обстановку последних лет его жизни и работы и сообщающие некоторые новые факты о его гравюрах.

Тематическая пестрота махаевских писем, неравноценность содержащегося в них материала, а также исключительно затрудненный, испещренный архаизмами язык Махаева, его приверженность к пространным, многословным вступлениям и послесловиям,—все это вынуждает нас воздержаться от полного их воспроизведения; мы ограничиваемся лишь наиболее интересными с той или иной точки зрения извлечениями, разбитыми на четыре намеченные выше тематические группы.

На какие-либо широкие выводы и обобщения наша публикация не претендует; ее задача—ознакомить нашу научную общественность с фактическим составом этого ценного эпистолярного памятника, безусловно еще нуждающегося в дальнейшем углубленном изучении и подлежащего развернутой историко-социологической интерпретации.

Перед каждым извлечением в скобках поставлен наш порядковый номер письма или записки, из которого сделано извлечение. Выдержки из «приказов» обозначены буквой «п». Орфография оригинала нами почти сохранена. В квадратные скобки заключены слова и окончания, пропущенные Махаевым.

I

По выходе в отставку в 1761 г. Тишинин поселился в деревне и занялся устройством своей новой усадьбы. Из сохранившихся документов явствует, что постройка уже в 1763 г. была в полном разгаре. Тишинин деятельно переписывался с Махае-



ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ В ПЕТЕРБУРГЕ
Рисунок карандашом М. И. Махаева (1753 г.)
Русский Музей, Ленинград

вым, выполнявшим ряд поручений, связанных со стройкой. Образцы таких писем Тишинина приводим:

(п) «Человеку моему Ивану Мужскому...

О рисунках о церковном и погребах, как можно Михаила Ивановича проси, чтоб не задержал, ибо мне крайняя нужда приходят подрядчики, и чтоб пожаловал, потрудился красками и золотом оказал, где чему быть, как к нему в моем письме писано. А паче б я был рад, чтоб утвердили архитекторы колокольню, а не фигуру, ибо уже одни б были хлопоты. А притом попроси чтоб фигура была начерчена на том листе, что церковь, а старая колокольня на особливом местечке и к своему б месту была приклеена, так ежели поднимать, то вид будет фигуры, закроешь, так колокольни. И чтоб почище было начерчено, ибо оный чертеж мне для проку, а не для тасканья каменьщикам и чтоб в другой раз о чистом чертеже мне его не беспокоить. Короны рисунки посылаю обратно и попроси, чтоб пожаловал, нарисовал тот, который означен годным или который он в деле апробует сам, только б также чистою работой и ежели б можно и не в большую тягость, то для проку ж мне и золотом означил так, как ей быть. И чтоб лист такой сыскал или хотя б и склеил, только б настоящею величиною был масштаб, ибо по моей мере не более поперек, а не в диаметре полутора аршина будет, а вышина уже по пропорции... 1763 г. генварь 20 дня. И. Т.»

(п) Ему же: «...письмо от Махаева и чертежи погребные получены, только они не очень чисто начерчены, да притом в них нужда не состоит, ибо и по моему посланному с тобой ошибка, а теперь у меня перечерчены и подрядчиком подписаны другие. Церковной и рисунки старайся не умешкав прислать, и чтоб они начерчены были, как об них было писано, потому ж и старые присылай, а что ты сказал [об] упадшее церкви и до меня, то изрядно. Об отлучке Махаева известен, только не знаю, где его в Москве найтить, жаль. 1763 г. февраля 20 дня».

Участие Махаева в строительстве весьма разнообразно.

Следующая выписка из «приказов» дает весьма интересные данные о том, что он выступает не только как гравер, но и как художник «прикладного» искусства (предметов быта, церковной утвари и т. д.).

(п) «Иван Мужсков... попроси Михайла Ивановича, он обещал, в деревянном дворце, в галлерее снять рисунок с печей. Я при сем прилагаю еще чертеж ковчегу, попроси Михайла Ивановича начертить, мне кажется этот приличнее будет к престолу, тем паче, что он на престоле казать будет фронтоном... 1764 году сентября 16 дня с. Троицкое. Н. Т.».

Из следующих приказов видно, что Н. И. Тишинин сам деятельно принимает участие в составлении проектов своей собственной усадьбы, относясь к тому же весьма ревниво к своему творчеству.

(п) «Иван Мужсков... Посланный и с тобою прожект, буде Михайла Иванович от себя не отдал то как и прежде писал, возьми назад и привези с собою. Ибо я сочиняю другой...»

(п) Ему же: «...о прожекте моем Махаев пишет, что читал с каким своим братом с майором, так мне жаль, что многие его видеть будут, так ты ему поговори, чтоб он не обнародовал, а разве с крайним другом и притом как и прежде писано было возьми его с собою, ибо я еще пересмотрю его сам. 1764 году ноября 1 дня с. Троицкое. Н. Т.».

(п) Ему же: «...и о чертежах Махаева попроси, а именно о горном месте, о ковчеге, и ежели он шпингалет к окошку против дворцового, что в деревянном у синева мосту не заказал, то сходя с ним и осмотря такой один для пробы закажи и как поспеет перешли, о чертежах пешных оного дворца, что в галлерее его попроси. 1765 году июля 24 дня с. Тихвино-Никольское. Н. Т.».

В сентябре и октябре того же года эта просьба повторяется.

Начавшийся 1766 г. уже дает нам письма самого М. Махаева, к которым мы и переходим.

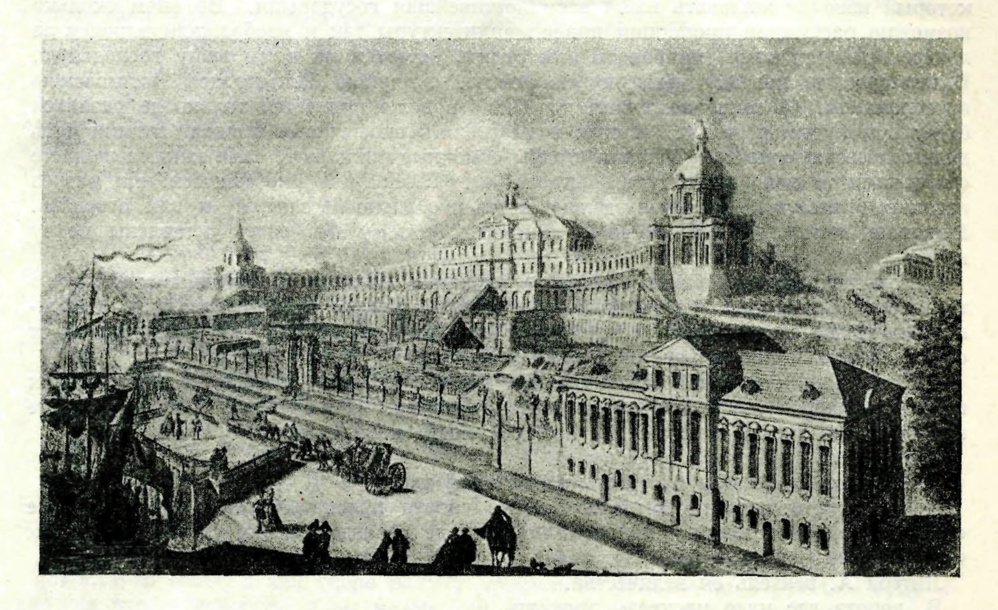
В письме, датированном 26 февраля 1766 г. и полученном Н. Тишининым 20 марта, мы читаем следующее:

(1) «...Многим уже известно, что ея императорское величество есть намерение проезжать водою по Волге, а сколько далеко от Твери вниз неизвестно, публике не открыто. И строющиеся суда едваль скоро поспеют, для приуготовления вашего поспешить заблаговременно очень не худо. И записку получил, только кажется она мне тем не полна, что сколько от Волги реки до того места где намерены поставить триумфальные ворота, высота горы назначена до 40 сажень я разумею перпендикуляр с водою или то расстояние идет до того места, где начинаете ворота. Прошу покорно описать паки, а между тем нарочно поеду к деловым Г[спо-

дам] инвентору и художникам кои возьмутся за какую цену и на вашем полотне, или сделать один рисунок по которому у вас распишут. О том буду ждать ответа».

Из этого письма видно, что строительство усадьбы приобретает несколько иной характер в виду ожидаемого проезда по Волге Екатерины II. Сооружение триумфальных ворот и повышенные качественные требования к архитектуре всего ансамбля заставляют обоих корреспондентов обратиться к более крупным мастерам. В следующем письме М. Махаев рекомендует только что вернувшегося из-за границы архитектора В. Баженова. Это письмо даты не имеет, а пометки Н. Тишинина гласят, что оно получено 20 марта.

(6) «...Я уже от истинного намерения сего письмеца отбился далече оставя до время чтоб не скучить. Как скоро последнее из Москвы получил, видя ваше



ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ДВОРЕЦ (проект)
Рисунок карандашом М. И. Махаева (1750-е гг.)
Русский Музей, Ленинград

неотменное и твердое намерение в тот же день, хоть ростепель и мешала, да притом таки и в церковь святую хождение было по должности... Однако скоро бросился к знакомому архитекторскую должность правящему, который недавно из Рима и Парижа Баженов есть, показывая ваши письма; намерение, план, рассмотревши сказал есть ли ему воля пропорцию места положение широты камер стен и прочего прибавить по его вкусу. Я уже в том не смел отказать, но охотно еще и просил на 29 саженях или на 30 изволили положить длину. Я забыл теперь нет при мне плана—у него, я ж его скоро отвез. Я больше о сем и не пишу. Да еще осталось о триумфальных воротах доложить, сколь высоки нада и расстояние от Волги (для счету фонарей) до триумфальных ворот, сколько ж сажен писал в прежнем письме, да косости горы не упоминал одна ль косость или две, т. е. один ли уступ или два ежели можете показать сколько есть в том вашего знания и немудрено сбоку гору представить.

[Р и с у н о к] вот полого [р и с у н о к] или круче только чертами сколько пологость сажен и сколько площадка сажен от Волги реки каждое место. Затем жду ответа».

Все строительство приобретает весьма спешный и интенсивный характер, что явно сказывается во всей дальнейшей переписке.

(2) «...О чертеже для намеренного строения употреблял все нужные просьбы оному г[осподину] архитектору. Да увидел персонально, что крайность и особыми высочайшими повелениями был он отягощен. Только что едва при свечках мысли свои располагал на чертеж несколько и будучи в растройке оставил до предбудущей недели и сказал, что я де получе подумаю а теперь де вижу что не в порядке вымыслы... а я меж тем схватил у него начерно начатый чертеж фасада и плана

не медлив с сею оказиею посылаю, притом прошу взять терпение; ведаю, что нужда, я и сам так заботюсь чтоб в сей надобности услужить вам, и стены все гладки без пилястр настоящий италианский манер. Только украса около окошек и на балюстраде из рисунка изволите увидеть. Только на наступающей неделе всемерно приступлю к нему для лутчего плана и рисунка фасадного; он требовал свободности в расположениях в чем я его благопристойности и отказать не смел».

Письмо получено Тишининым 29 марта 1766 г.

(3) «...Я при всей оказии имею честь приложенные старании и труды выезжего господина архитектора послать до вас то-есть план и фасад намеченному в саду строению, которым немного выходили из вашего прожекта. А только то единственно что совсем без многих украшениев на ныне походный италианский вкус, который изволит жаловать наша всемилостивейшая государыня. Во оном сколько возможно рассуждая пропорции правил архитектуры так и изображали впрочем за лутчее примется вами, прибавить или отнять остается на волю вашу господскую. В нем увидите крышку невысоку но равную с глухою балюстрадою, называемою антаблеманом. А выше пожелаете то также в волю продается только де разнится будет помянутым регулам. А сток воды сделать окошечками продолговатыми чуть видными сверху гзымза. У грота столбы обмоклые прикажите сами какими желаете сосульками то дело штукатурам остается ж. Ежели профиль надобен или разрез извольте отписать не умешкав зделают здесь и обратно не задержу к вам отослать. Рисунков некоторого не извольте присылать потому что здесь оставлены всему копии».

В приведенных выдержках интересно указание Махаева на «италианский манер» творчества Баженова, под которым разумелись начатки складывающегося классицизма. Далее говорится о топографии постройки—расстоянии триумфальных ворот от берега Волги, характере украшений и пр.

«...План линии краткой А литера тут должно сделать повыше от предсидящих господ кавалеров особо для милосливой монархини. [Рисунок]. А прочее можете понять и без толкования. В. В. лит[ера] места кавалерские.

Вот и фасад таков [рисунок].

А воротам по вашему рисунку [рисунок] так.

А их мнение так что б можно сквозь ворота проехать линиею, того ради не очень корпус возвышать. Верхней не надо де гораздо высоки стелажи будут их связи бревен [рисунок].

Литера А. вензель ея величества.

В. ворота где надо насквозь проехать.

Литера С. С. картины. Пристойные ко встретению. Лит[ера] Д. Д. также пристояные эмблемы. Лит[ера] Е. хор музыкантов и певчих над проездом в воротах. Архитектура де должна быть написанная на досках пильных краскою масляною или на воде и около ельником прибавя украшение.

Картины одни на полотне написать и на потребное время вставить, а внутри плошки, так де дешевле обойдется да и тут стелажи сажени в две, в 3 и в 4 и близ шести надо, а ежели ж де фронтон еще сверх подумайте какая высота связывать надо, да и от ветров сильных опасное дело».

При этом письме Махаев дает беглые наброски с проектов триумфальных ворот В. Баженова, показывающие не только немощь Н. Тишинина как архитектора, что для нас не столь важно, но и совершенно новые тенденции в произведении В. Баженова, перекликающиеся с классицизмом его позднейших работ.

В ответ на требование Тишинина о скорейшей присылке чертежей Махаев сообщает: (5) «...А начатое дело рисовкою большою половиною зделано. Рисунок строению делан так как есть скромность—вкуса итальянского, за который я уже и деньги свои отдал и который извольте поверить или апробовать».

«...Я их слова пишу что они якобы для меня сие г[осподин] арх[итектор] и заставил помощника в своем присутствии делать, теперь и ворота там же чертит, тот же помощник при архитекторе. И вам два рисунка оных ворот сообщиться, да сверх того какой-то господин, я его еще не имел чести видеть, от искусного мастера рекомендован мне, что он архитект и живописец и едет в ваши края и намерении ваши уже ведая будет у вас и найдет вас, однако я его буду искать кажется кстати-б велю зело для церкви божией и вышеупомянутых нужд надобен грот».

«...Эмблем ни у нас в книжной акад[емической] немецкой лавке ни в ниренбергской нет. А обысканы с переводом засколько могу уторговать то буду стараться на конец ежели не уступит, так я дарствую своими и пришлю с первою оказиею чрез Прокофьева...»

(6) «...Сего месяца в 21 по утру пошел к г[осподину] архитектору, который занят был новыми чертежами для его имп[ераторского] высочества к Каменному Острову. Однако в просьбе не отказано; повелел помощнику предложение мое из вашего письма встав с места выслушать и против вашего плана по мыслям вашим расположить, при чем еще спросил кто ему это чертил, я ответствовал, что сам изволит по охоте своей располагать, ого, так он еще меж боярами в сем и мастерица чертить-то, прибавляя притом, что самая правда заочно нам трудно попасть во мнение другого: однако сколько возможно велел постараться перечертить да и профиль просил середине начертить же: о наружности фасада сомнения нет, потому что ничего де немешает его плану; оной фасад так должен остаться: разве после чего не передумает ли и вы извольте с богом свое дело начинать. Ежели оно вам и кроме присутствия милостивейшей государыни надобно будет».

Это письмо отправлено 24 апреля, получено же 10 мая 1766 г.

(7) «...О твердости земли и на каком грунте бутить г[осподин] архитект спрашивал: я сказал что на высоком месте и твердом грунте. Почему помощник подписывал что по углам и в золе по 3, а в прочих внешних кругом стенах по 3 же 2½ кирпича внутри где 2, а инде 1½ кирпича да я не имею записочного плана сверх того подтвердили когда де есть каменьщики добрые и много упражнялись в стрóении то повысоте дома и среднего грота знают сколько толсто пущать. Излог горы получен в последнем письме и крутость, прошу запискою повернее напр.: транспортира [рисунок] астралябии часть ¼ т. е. до степеней вот из сего можете понять какую определить линию и паки горизонт излога есть сей из этих, которая справедлива. А сие можно ежели транспортира нет: по нужде на глаз. Взойдите на излог, которой вам представить надо, посмотрите [вырвано] на которую-нибудь крутость тут и увидите линию, которая из сих 3-х вернее будет. Впрочем книги емблематической позе неотыскано. А архитектора одного еще не видал; который думает в ту сторону ехать и быть у вас и мастер гротовый здесь же, а как поедет в Москву я уведомлю».

«...8 майя. А профиль обещали зачать скоро.

[Сбоку приписка]. Ваши кирпичи может большу будут по 3 около и внутри по 3 некоторые и прочие по—½ и по 1½ и по 2 также кирпичи здешние с[анкт]-петербургские».

Дата получения письма 31 мая 1766 г., а в прилагаемой записке:

(8) «...8-го майя, а как скоро получу профиль с фасадом то утруждать буду об воротах чтобы окончить, а вы между тем, уповаю, пришлите на первые и на сие писмецо ответ, жду жадно».

(9, дата получения 21 июня 1766 г.)

«... Последнее писание ваше получил от Прокофия в исходе мая месяца, в котором изволите писать о профиле. От того времени все то неудавалось господину помощнику начертить его, за наступившим хорошим для строения времени. Но и ныне неосвободится да и сего дни уехал в мызу в Графе, а только успел карандашом начертить все, и посылаю сие для первого понятия, а по приезде хотел по больше разрисовать. На купол грота осмиугольник доложен быть и на всякой стороне в фонаре быть окошку. Того ради и назначено спереди полны окошки, а в стороне половина только видна, а им также целым должно быть.

Чего ради я всячески торопил г[осподина] помощника как-нибудь назнаменовать стороны профилям строения, а особо грот и только вчера с полудни мой ученик дождавшись о. него принес. Я тот же момент велел скопировать вам нужное. А его оставить по приказанию его ж; он свой невелел посылать. Ежели все делать, что у него назначено то бы и к завтра не поспел бы с оными орнаментами, а только как и выше поминал, что нужное вам стены, окошки и прочее срисовал послать имею честь и с прежними чертежами также обходились что с них со всякого копии оставляли, а без того бы нечего здесь и делать. Внутренность же грота я принимаю намерение для вас чтоб срисовать в саду, или у нас в академии, который вам понравнее, жду повеления. Лишь только дописал письмецо сие то и скопированный профиль принесен только без украшениев при сем же. Теперь только докончен и сей же момент посылаю».

(10, дата получения 24 июня 1766 г.)

«...Разрез новому строению послал на прошлой неделе. Со стороны и средина грота, и хотя желал что б при нынешней оказии послать чернилами обведя и оттушевавши дабы виднее было. Описание воротам также не готово хотя и невелики и паки оканчиваю сие письмецо с высокопочитанием моим остаюсь М. Июня 18 д.[ня] 1766».

В следующем письме даются более точные данные об участии самого М. Махаева в проектировании садовых построек.

(10, дата получения 8 августа 1766 г.)

«Требовать изволите профиль... [вырвано] Шерникова давно послано. А о внутренности стараюсь собрать лутчие мысли и с натуры срисовав композировать. Ведаю, что то еще не скоро надобно; верх грота по фасаду осмиугольник [рисунок], а по прежним круглый: так какой за красивейший изберете. Очень хотелось с господином архитектом видется. Затем к нему вчерась ходил да он в Петергофе и с помощником. Только уповаю что осмиугольник и есть там. Рисунками к воротам также не промедлю и с здешнею оценкою».

(13, дата получения 17 сентября 1766 г.)

«Последнее вашего высокоблагородия получил вчерась от Аксионова в котором описываете ваши сомнение в свободах пещерных и самой куполы также о фонаре над куполом. Почему я тот же час с нетерпеливостью и послал ученика с профилем за реку к помощнику или и самому г[осподину] архитектору. Понеже Аксионов сказал, что ходоки ближние от вас сегодня поутру идут... А вижу тугу и сомнение ваше, но с досадно получил от помощника ответ не ясный, либо ученик пропустил. Я притом же и писмо ваше послал, он читаючи писмо сказал—неразберу»...

«Я теперь будучи достовернее уведомился от самих господ как архитектора, так и от помощника чего ради для скорого отъезда здесь карандашом на профиле назначено да и мужички идут сейчас и уповаю что лутче изволите из сего понять а для яснейшего обстоятельства я вам в скорости и опишу на письме.

Куполу сводить круглую в полцыркуля, начав от карниза, и как назначено только снизу толще. А самая оная купола в полтора кирпича над куполою балки и стойки из брусьев вязать для лехкости крышки: купольный фонарь пригожее осмиугольный и зделать из дерева, а можно де и из кирпича, в прочем как не видно в натуре, так оставляется на ваше рассуждение. Ниши, т. е. впадины или пещерные называете виды, особливыми крышками недолжно выводить; но они придут своими сводами под назначенные карнизы. Так и на чертеже профиля карандашом начерчено для скорости из чего уже можно легко понять, да во оных же нишах или впадинах с одной стороны окошки придутся и в них же можно печки поделать, сколько потребуется, в стену впуская оные закрушки или отдушины также де можно внутрь грота заделать. Около оного большого купола кругом ход и жолоб для стоку воды, а оные 4 пещерные невелики все придут под прикрытие около под низ карнизного... [вырвано] ...куполы и так особливых крышек им ненада: и притом велели вам доложить не позволите ли оставить кирпичное строение до весны. Понеже де теперь уже неводь... [вырвано] ...строению для сырости воздуха и дождей и пришлось сводить что ни самое нужное строение. Впрочем предается на вашу волю».

Из-за разногласия между В. Баженовым, уехавшим, как видно из предыдущего письма, из Петербурга в Москву, и его помощником все дело с проектом осложняется. С этого момента сам М. Махаев начинает принимать деятельное участие в проектировке для ускорения всего дела.

(15, дата получения 27 ноября 1766 г.)

«Мне зело стыдно и жаль, что я от ваших повелениев неуправен, а причиною тому кто не ведаю, один с другим на дыбки в противности пошел добрым людям посмеха г[осподин] помощник недоволен архитектом от[о]шел в команду. Ни стропил, ни ворот триумфальных не дождался; о картинах на иллюминацию, на той неделе, завтра да так то и проходит время; видя что они так тяжелы. Я нарисовал манеры с три с участком, едва залучил помощника к себе об воротах триумфальных истребовать совета (понеже он ныне далече живет так часто то ходить комне или приехать не допущает): тут он рассматривая сказал изрядно де только в некоторых местах поправя и говорил, что лутче де их написать на картинах на прозрачные, да так как картины пишутся водяными хорошо б для дождя непрочны. Масляными ж хотя и подороже да уж долговечны, и в меру одних столбов бревенчатых вкопав по глубже в землю, приколотить картины на время с обеих сторон какими бы штуками ни похотел и пред оными зделав пирамиды наставить плошек не подальности от ворот, чтоб весь от плошек свет падал на триумфальн[ые] ворота, которые пробы я видел у новой академии художеств и подлинно лутче нежели за картины плошки ставить. А пред пирамидами из досок статуи добродетели и прочее можно дешевле и лехче зделать и потом ельником проспективо уставить, что будет по диковиннее, а все советы для ваших надобностей составляли до приезда вашего высокоблагородия...

Как скоро готовы тому очерку воротам с картинами должно зделав присылать или лутче здесь подрядить, а всего сходнее когда сами изволите быть. О профиле

Первая страница письма художника М. И. Махаева к помещику Н. И. Тишинину от 4 апреля 1766 г.
Рыбинское отделение Центрархива

Вторая страница письма художника М. И. Махаева к помещику Н. И. Тишинину от 4 апреля 1766 г. Верхний рисунок слева изображает колесницу Екатерины II, съезжающую в усадьбу Тишинина; верхний рисунок справа — махаевский проект триумфальных ворот, нижний рисунок — баженовский проект триумфальных ворот

Рыбинское отделение Центрархива

крышке расположил помощник который вчерась носил с собою на Литейную к архитектору инженерному г. Шпеткелю казал и сегодня, т. е. теперь к нашему г. Шумахеру послал и назад пришел ученик сказал—что почивает: после нада антаблеман болюстрат говорил, что ежели неделали каменный, то лехче деревянный, столярною работою наставить: а как крепить оной болюстраде на профиле боковом назначено в разрезе крышке железныя».

(16, дата получения 30 марта 1767 г.)

«По благополучном по приезде вашем в дом почтенное письмо да и из Москвы последнее 17 мар[та] получил же. По первому отправя иллуминационные картины, профиль от грота, стекло, газеты, без скуки рапортом представлял покорно. А осталось переслать портрет ее величества милостивой государыни, да та моя беда что Мина Лукич человек надежный и деньги отданы, волочить забравшись делами. Однако сей же момент я послал к нему, а он ко мне теперь прислал о готовности оного отрепортовать. Будем стараться переслать. А иллюминация и ситуация мест не деланы были, затем что ждал с приездом Мадамы, а как надежды лишился то принялся за прежний чертеж и так на два вида делаю один ночной, а другой денной большой да не кем взять, однако рисунки уповаю ежели от бога что не зайдет, на предбудущей неделе через почту имею честь послать.

Милосердой государыни портрет завтрея отдается к Василию Трофимову. А о чертежах что у Василия Ивановича господина Баженова изволите послать сами и требовать обратно. Я думаю, что нужды в них вам не будет, тем что на профилях посланных к вамъ изъяснено, только разве для карниза и крышки потребна ему дощечка. Рамы на портрет уповаю от других будут годны.

Объяснением иллюминации господин Задубский позадержал вид; неотменно при иллюминации и ситуации оно очень и да и необходимо надобно и как изволите получить от меня два рисунка, то меж тем не худо как бы приказали опознаться с каким бы рисовальщиком чтобы на готове и был что не покажется в скорости делано, то можно уже с сего перерисовать и ленточками или во что хотите обклеить понежнее, вам там лутче время есть переменить прибавить и проч[ее]. Ведаю что г[осподину] Баженову несвободно, разве в канцелярию от Строений г[осподин] Бланк и другие г[оспода] архитекторы, да только дорого запросят. Невозьмется ль в Покровском иконник Михайло Федоров или лутче у фабрикана Михайло Артемьева в Таганке у него и гравировальщики есть, либо близ башни Сухаревой на Колосовой фабрике у приказчика Николая Ивановича Червеннова спросить иконника Саблукова он делывал кое-что нарочито, только возмется ль... Я писал в прежнем письме в деревню вашу, что картины благополучно отправлены; была задержка не за мною, небольшая, я о том писал, что отправлял 13 марта не помню и что посторонние эмблемы прозрачные за них плошки поставить, а средняя большая так делана, что б пред нею плошки горя освещая и следует потому чтобы ее подалее внутрь подать из линии или и все на проспект, как лутче рассудится [рисунок] вот [рисунок] либо так [рисунок] и можно будет с места на место переносить куда пожелаете; и что б дождем или мокростью какою не попортило понеже они на клею все краски, то для [того] под крышею держать или составом вареного льняного масла не вымазать ли о чем прикажите спросить священного иерея или кого другого да и я понаведаюсь сообщу для прочного их сохранения. Фигуры в эмблемах невелики пришли по их величине и подписи по росс[ийски] и по латыне, не ровно тут такие знатоки будут. Средняя картина одною краскою, яко из камня древности только реки в живом виде и проч[ее] на то описание сообщу».

Из этого письма ясно, что В. Баженов в постройке больше не участвовал.

(17, дата получения 8 апреля 1767 г.)

«И велел быть лошади на двоих дровнях с веревками и рогожами. Сам он хотел укладывать, а как клали мне за дальностью уже неизвестно. Я благонадежен на оного господина Задубского и картины как для вас будут нравны ли, а для меня в рассуждении 50 р. я был доволен.

Утесов ездил да и вчерась послал Степку, почему сегодня сам пожаловал перед обедом и так два профиля сообща имея честь при сем послать; один прямой, другой боковой. А о шаблонах после нада они де еще нескоро потребны к карнизам. Однако я буду докучать посылкою почаще т. е. оных лекал. Проспекты не изготовлены за крайнею несвободностью, тем что не только первую, вторую и масленную всю просидел, а не мне начать, то по моим мыслям не могут трафить, да и очень дорожатся. А ситуацию должен я делать, которая продолжается теперь да и затем нельзя было прежде изготовить пока картины с подписьми не готовы были; мне не с чего взять, а г. Задубский не сообщил и в сей нужде уповаю незамешкать».

(18, записка при предыдущем письме)

«Лекалы на карнизы Утесов господин хотел приготовить время де есть А господин Баженов в Москве хотел зделать и прислать к вам то лутче его изволите там приказать сыскать: в доме графини Анны Карловны Воронцовой его знают, где живет, может у ея сиятельства, или лутче во дворце видеть в праздник»

(19, дата получения 19 апреля 1767 г.)

«...г. Задубский державши немалое время, отделывать присестом все постороннее и верхнее было сделано одни картины им внесены были я уже неведаю как обещал служить чем хочет, только б оные окончал ныне и я для такого праздника никуда да доканчивая сидел и с Усачевым оканчивали, и начал к завтрашнему дню письмо на почту и их палочку готовил. Из них изволите увидеть два проспекта ночной и денной сжатый и расстановлен порядочно по задубски, который апробуете в поднос, только надо лентами оклеить переплетчику искусному или и на холсте тонком, т. е. на полотне. На Волге по части галер двух—корма и нос: берег я писал чтоб по моему примыслу собственному, сколько можно поравнее и каменья можно закрывать (немного стоит) ельником;—сделает великолепный амфитеатр. Я сие на ваше, в практике лутчее, отдаюсь рассуждение. Картины ставить как зохочете на прямую линию или проспектов ежели можно. Только среднюю неотменно по отдалить назад и плошками освящать. На натуре тож лучше усмотрится и их можно переносить с низу наверх. Гору я пониже опустил всякой сочинитель волен для обширности картин, они тем богаче кажут и лесу менее чтобы незаглушить эмблем, все оные можно выше взгородя на брусья или как лутче знаете поднять тем огр[ом]... [вырвано] ...нее представляться и нехудо ежели б изволили спроситься у художника чем их вымазать, чтоб мокреть непортила—это бы лутче; неровно слякость ударит да еще и сильная, повредит: да и я не упущу спросить его ж только ныне забыл да и нельзя за рекою, у нас мосты сняты и великие полыньи, скоро пройдет. Я по правилам сколько мог вверх поднявшись ощущал ваше начатое строение грота, церковь и прочее для большого резона как в дыму.

А назначенное к строению и весьма мало видно и прочию ситуацию. На другом я не подписался за тем что можете против малого чертежа описи много приставить и списать кто чисто при герольдии Токарев или кто из школяров: а для перерисовки на какой вкус желаете о том прежде писал,—найти из архитектурных кого. Лихо черную имеючи установить: на бело скопируют чище всегда. Описание господина Задубского и наше сидение в риторстве упражняющихся несколько дней то часам увидете годиться ль что, а как соберетесь и установите в порядок, вам тут вольно располагаться и прибавляя напечатать. Мне было хотели напечатать да без вашей апробации, смел ли бы я то зделать и как, там лехко и дешевле рубля в два или 3 совсем опись-та и предисловие станет небольше. Да над рисунком то большим еще было нада посидеть. Сказали недавно сегодня перед литургию, что подводы де для милостивейшей государыни велено собрать за Тверью; из того я заключаю, короткость самую времени и того ради сколько успел сидел, а там уже в переделке дай боже лутче бы не вашему вкусу заготовили, только г[осподин] Задубский представлял мне что ему случалось для монарших особ несколько крат делать, да и ныне и я видел кой поднесен был самой милостивейшей государыни не в похвальбу свою пишу и не дай господи ничем не лутче, который государыня изволили быть очень довольно, потому я осмеливаюсь вызваться, только надо скопировать чистою рукою понежнеее. Я признаюсь у меня Усачев шероховато несколько тушевал, однако в архитектурных вещах все таки лутче Задубского, который он казал рисунок от.

А что на картинах неясно изображал здесь то всяк может видеть место не дозволяет, а что чертами сверху на низ в том регула так велит.—[вырвано]...словом что не сходно место рисованное с натурою... [вырвано] ...какое изображение не сходствует с ...[вырвано] ...картинами в том имеете дополнить на красках ...[вырвано] ...ства так и водится в украшениях... [вырвано] ...прибавлением, выше писал сочинитель... [вырвано] ...и как рассмотрите из черных описаниев тем картинам добродетелей, то извольте по своему плану их расположить или по назначенным нумерам в чертеж иллуминации в том воля ваша всегда есть. Ежели время остается в Москве, можете все переделав и напечатать намерение... Я только рад, что чертежи изготовил, а прочее с портретом который еще за рекою у Мины и божиться, что ему 40 р. Сава Яковлев на фабрику в Ярославль давал, да он от невестности удержался, а устоять обещал на своем слове однако не менее 20 р. Еле запамятовал, некогда делать шляпки с штандартом, ежели надо, а когда не надо только черствым калачом вытереть карандаш, а где тушью сделали тут самым вострым кончиком ножичка почистить; сии способы во многом дополнят оную неисправность.

При сем же и лекалы посылаю... Ландкарточки путешествия по Волге хотя деланы, да у меня ни одного листа нет, после праздника буду иметь попрошу г[осподина] директора чтобы отпечатать.

А рисунков хоть бы сколько ни было и так бы худо не сделано было все сойдут с великим благодарением да еще знатным... [вырвано] ...станет. Обещайте впредь с пространным описанием будут награвированы... [вырвано] ...ливы будем хоть в малую... [вырвано] ...Сделаем... [дальше все вырвано]».

Становится ясно, что вся усадьба с ее постройками для встречи Екатерины была тщательно нарисована М. И. Махаевым и подготовлена для гравировки. По приложенной записке при письме видно не только объяснение отдельных мест картины, но подписи, помещенные под рисунками.

(20, Записка)

«1) Все вещи кои ближе те по крепче, а кои далее те слабее.



АДМИРАЛТЕЙСТВО

Картина маслом М. И. Махаева (1750-е гг.)

Русский Музей, Ленинград

2) Построенные объекты, и которые строятся, те яснее рисованы.

3) Те все слабо и чуть тушью выделываны, кои только намерены строить.

4) Горы писаны чево ради не в мере пропорции иллюминации и прочего, для великолепия представлена иллюминация без меры, однако правило везде дозволяет украшать незапрещено а особо для такового прибытия.

5) На картинах не подписано на два языка в оригинале, а здесь на рисунке ни место ни время не дозволило, разве в Москве можно.

6) Ежели надобно повиднее добродетели могут особливо нарисовать, по больше каждую на осмухе или на четверти листа.

7) Галеры черная корма в тени для того и темна, чтобы другие предметы или виды откидывало так оптика учит и проч[ее] и проч[ее]. Некогда больше описывать своим благоразумием там на пространном времени дополните. Остаюсь М. М.

№ 1. Изображение представленной иллуминации во время благополучного ея императорского величества от Твери по реке Волге путешествия и повеликому снисхождению высокомонарших своих присутствиях на день обрадованного посещения высоко соизволяла всеподданнейшего своего раба сего нового Тихфино-Никольского села владельца лейбгварди... [далее вырвано].

№ 2. Представление иллуминаций во время благополучного ея императорского величества от Твери к Ярославлю по реке Волге на галерах водошествия в денже всевозделеннейшего ея императорского величества к новому Тихфино-Никольскому селу щастливого и всероссийского прибытия и по великому снисхождению высоко монаршим своим в посещения удостоить высоко соизволила владельца сего села лейб-гвардии капитана».

(21, дата получения 20 апреля 1767 г.)

«А меж тем нижайше на письмы ваши, как прежде, и ныне репортую, что теперь бы ничего неоставалось до меня как портрет хорошенько обвязать и бумага готова, да он за рекою только сегодни стали и ездить. Изображение иллуминации в двух формах насилу с своих рук проводил вчерась, при чем что надлежит ситуация проспекта села как бы некое велелепие представляла я очень рад, что так еще вышло из дела непосредственно. Ежели же понадобится и время есть на то прибавя свое что, или убавя переделать, я затем другого большого и не делал. Однако как наклеит переплетчик на полотно и около лентою алою, или синею иль зеленою непостыдно поднесть будет, только подписать в герольдии Токарев есть, или кто иной ровно-б подписал и чертеже много ровнее письмо красы делает, а худая подпись все и хорошие дурным представит. Эмблемы ежели надо, поясняя могут рисовальщики перерисовать, как пожелаете будет всемерно еловыми сучьями уровнять, как лутче накласть пред прибытием и на колышки зацеплять, зделает как бы нарочно на то приготовленный амфитеатр. Цветами и другие приличности сами не забудете распестрить. В симметрию гроту флигель из досок ежели б можно изрядно бы было. Украшение грота не знаю надо ль вам то просить Утесова, а он меня о деньгах просит, а откуда переплетчик ваш, с тем видно, ничего доброго не будет. Я ж вчерась очень торопился, пронесся слух бутто подводы велено изготовить, то не успел мало нечто доделать, а описание переписывать начал и оставил. Я предисловием разглагольственных написал неведаю сколько и долгое время умствовал, кои сообщу с портретом».

(22, дата получения 20 апреля 1767 г.)

«От г[осподина] Бажено[ва] рисунки возьмите, да теперь только разве крышка нада, а в профилях едва ли нужда.

Ныне много я рад, что мог, вам государь, отслужить по вашим повелениям нестолько уважаюсь деньгами, да проспектом села Тихвино-Никольского денного и ночного вида с иллюминациею, а что неясно в том всяк изволит за недозволением места, а более можно особо рисовать, как прежде писать имел честь портрет и доска при сем отправлены».

После посещения Н. Тишинина Екатериной, он, видимо страшно обрадованный, пишет, об этом М. Махаеву, который отвечает ему витиеватыми письмами с поздравлениями. Намерение напечатать изображение усадьбы, приготовленной для встречи императрицы, приобретает серьезный характер, что видно из следующего письма М. Махаева.

(26, дата получения 25 августа 1767 г.)

«Ваше же намерение в знак посещения на вечную память есть весьма достохвально и препрославлено... Что ж изволили прислать тетрадь я насводил с печатною, а уповаю тоже уже должно напечатано во вся концы земли: в печать проспект, разве какой вы сообщите, на том больше утверждаться буду».

Отправка рисунков задерживается, о чем М. Махаев упоминает в своем следующем письме.

(27, дата получения 25 августа 1767 г.)

«Вы обещали ситуацию места вашего прислать, как и в бытность высокомонаршея посещения похвально в прибавлениях».

Дело с гравированием начинает принимать затяжной характер, так как на следующий год мы находим соответствующее упоминание в письме М. Махаева.

(35, дата получения 26 августа 1768 г.)

«...имею честь (все кои листы остались до нынешнего дня без отослания) вручить Егору Аксенову, а именно старый план большой, вид села иллюминации и последней по нашей с Богдановым композиции, деланной новой лист для переделки у вас пребывающему трудолюбцу Дмитрию Михайлову».

«В сем новом виде как давно не заглядывал теперь развернувши рассмотрел погрешности, а тогда никто из нас не дознался. Да я уповаю и сами изволите увидя ж благоразумием своим поправить те объекции кои от берега сюда к ранту надо разрисовать поболее, т. е. галер прибавить величины и людей на них больше увеличить или совсем весь берег менее с бегущим народом для пришествия милосердной государыни тоже и ...(вырвано)... оной приезд осмотреть. А на ближайшей к ранту шлюпке гребцов гораздо надо поболее сделать я бы вашего живописца сим регулам научил, и надеялся бы что он скоро переймет. Сие б со всех сторон дело полезное было».

С посланным «проспектом» что-то случилось, так как пришлось его делать снова.

(36, дата получения 2 ноября 1768 г.)

«О проспектах в оном же сетовал я пространно на Аксенова, а более на отнощика, что не зная обращаться такие свиньи (не погневайтесь милостивый государь) с бу-



БОЛЬШАЯ НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА (МИЛЛИОННАЯ) В ПЕТЕРБУРГЕ

Рисунок карандашом М. И. Махаева (1756 г.)

Русский Музей, Ленинград

магами надобности, ей досадно крайне, да что делать рока несчастия, и не такие еще и много многажды делаются от неведения несчастия невозвратные. А в сем еще поправиться можно, вам же не очень много коштовать; не так как ныне господа оные рисовальщики получили за свой труд от известного господина по 40 р. да более и тут говорят что де еще против работы их мало. А я вижу сколь менее работа против посланного... [вырвано]... проспекта, некоторые помного дельные опять же рассудить ...[вырвано]... в рассуждении только вашего капитала за мой присмотр».

На этом, собственно говоря, кончаются все известия об изображении усадьбы. Был выгравирован этот «проспект» или нет,—остается неизвестным. Во всяком случае достоверно лишь одно: что Махаев сделал два изображения приема Екатерины, которые, следует думать, были близки его петербургским перспективам, образцы которых публикуются здесь.

II

Большой интерес представляют в его письмах сведения, касающиеся В. Баженова. Говоря о В. Баженове, Махаев часто допускал описательные отклонения от основной темы, которые должны были придать его выбору больший вес в глазах Н. Тишинина. В них мы находим косвенные сведения, дающие нам весьма ценный материал для характеристики первых работ Баженова по возвращении его из-за границы.

(2) «Он, правда, теперь занят то ж делами его импер[аторского] высоч[ества] состоит на жалование и в корпусе кадетском на жалованье ж поболее 1000 р. получает да и работно так же в знаемости у больших самых бояр больше как у их сиятельств, затем, что приводит большие чертежи, также для наступающей весны в основание его высочеству для Каменного Острова и для его сиятельства графа Григория Григорьевича Орлова, который сам был у него третьего дня — торопит».

В вышеприведенных выписках мы еще два раза встречаем отметки о характере работ, выполняемых В. И. Баженовым для того же здания Каменного Острова. Эта постройка на Каменном Острове есть не что иное как Каменноостровский дворец, приписывавшийся (И. Э. Грабарь. «История русского искусства», т. III, стр. 327 и 328) В. И. Баженову лишь на основе воспоминаний Семена Порошина, воспитателя тогда еще великого князя и цесаревича Павла Петровича, где он говорит о приглашении для постройки дворца В. И. Баженова, но и только («Записки Семена Порешина», СПБ., 1882). Указания М. И. Махаева позволяют более точно установить начало постройки дворца, а именно—весна 1766 г. (а не 1765 г., как указано у И. Грабаря).

Авторство В. И. Баженова в этой постройке подтверждается еще тем, что ворота Каменноостровского дворца идентичны воротам Публичной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве (бывш. Пашков дом), что дает лишнее доказательство в пользу его авторства и для этого московского здания. Триумфальные ворота тишининской постройки являются еще одним звеном в цепи доказательств этого. Это дает возможность установить, что уже в работах первых лет пребывания Баженова в России проступают черты классицизма (см. фасад Каменноостровского дворца). Ссылка же М. Махаева на чертежи, изготовляемые Баженовым для гр. Г. Г. Орлова, окончательно подтверждает авторство В. И. Баженова по отношению к зданию Старого арсенала (теперь разрушено) и тем опровергает предположение об авторстве Валлен Деламота, хотя последний несомненно в какой-то мере влиял на характер постройки.

Из-за границы В. Баженов привез с собой последние «достижения» западной архитектурной мысли. В здании Арсенала он выступил «французом», т. е. мастером нового стиля—классицизма, первовозвестником которого он может считаться. Но что касается Каменноостровского дворца, то в нем В. Баженов проявил себя совершенно на «италианский манер», о чем говорит М. Махаев. Вот этот итальянизм и ценен для нас потому, что то же самое проводится в постройках усадьбы Н. Тишинина, являющейся по всей вероятности единственной в этомр оде для указанного времени. До нас дошел лишь дом, гладкий с сухими пилястрами и наличниками—совсем такой, каким он рисуется по письмам М. Махаева. Этот итальянизм переходит в архитектуру среднего дворянства последней четверти XVIII в., определяя облик небольшой помещичьей усадьбы. Это начало того русского палладианства, ярким выразителем которого стал М. Казаков, так блестяще переводивший североитальянские виллы А. Палладио в усадьбы средней России.

В письмах 1767 г., когда В. Баженов жил уже в Москве, М. Махаев дает некоторые биографические данные, позволяющие также произвести некоторые изыскания



Н. И. ТИШИНИН
Портрет маслом И. К. Березина (1757 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва.

в направлении освещения деятельности знаменитого мастера в его первые годы работы в Москве.

(16) «Ежели господина Баженова не изволили видеть, то прошу послать на Воронцова двор, покойного канцлера, когда ж и там нет, то они живут с братом с майором Алексеем Григорьевичем Хамаровым в Старой Басманной а у кого не знаю, а ежели не так, то в Новодевичьем монастыре точно можно ведать от монахини госпожи Митродорицы, мать его. А ближе в Московском Магистрате у господина за секретаря Никифора Алексеевича».

[Сбоку приписка] «Г[осподин] Майор вместе с г[осподином] Баженовым».

Первое упоминание о Штелине относится к апрельскому письму 1766 г. в связи с заказом на «инвенции» стихов и картинам на триумфальной арке, переданным М. Махаевым.

(5) «Инвенции для картин еще господин статс-советник не потрудился и часто не смею скучать, а после праздника буду просить».

По поводу просьбы Н. Тишинина о включении в изготовляемые новые карты его промышленных предприятий Махаев пишет:

«Статскому советнику г[осподину] директ[ору] вчерась опять докладывал, он изволил ответствовать ...[в ы р в а н о]... есть де некоторые у меня заготовлены, а остановился за тем только что на каком месте и есть ли какие фабрики. Я ответствовал, что фабрики только полотняные у вашего высокоблагородия небольшие, а в 1 версте коломенковые и бумажные в 60 верстах в городе, да и от вас коломянок есть в версте, но чужой, велел о всем записку подать, которую расспрося Степку и велел Прокофья спросить нет ли еще что у вас делается ведаю кирпичной малый завод извест... [в ы р в а н о] ...а земледелие в заглавии; р. Волга и речка Сонохта».

В следующем письме даются сведения об участии Я. Штелина в приготовлениях к встрече Екатерины в Тихвине-Никольском.

(9) «А я однако по письмам все то исправлял что и сколько было возможно. Описание о триумфальных воротах по-немецки сочинивши господину директору отдал мне, и я просил перевести хотя и не очень пространно да некогда было при сей оказии, копировал, сообщить. А лутче как рисунки нарисуют, тогда при них незамедлю прислать.

Сочиненные поэтические инвенции г[осподина] статс[кого] советн[ика] Штелина по-немецки на чаятельные прибытие к триумфальным воротам и на русское перевод есть, только не успел скопировав послать; оставил до оказии».

Особое место в письмах занимают упоминания М. Махаева о современных ему живописцах. Четверо из них помогают ему в его хлопотах об украшении тишининской усадьбы—Мина Лукич или Лукиянович, как его называет М. Махаев, Колокольников, некий Задубский и ближайшие помощники М. Махаева—Утесов и его ученик по ланкартному департаменту Усачев.

(16) «...рисовальщики лутчие отпущены от академии по причине, что на то особо есть Акад[емия] Художеств и другие не принадлежащие до Акад[емии] Наук в том числе и моя должность оставляется, а только быть при ландкартном департаменте куда и учеников более придали. И Усачев мой места ищет—так велено, я было старался удерживать; и неведаю, как последует».

(17) «...Мину же Лукияновича не получали долго а только обещали день за день [сбоку приписка «только его дома нет не застали»] и денег отослал своих сверх ваших взятых от переплетчика—10 руб. семь рубл. своих, так и будет 17 р. И тако за картины г[осподину] Задубскому додачи 25 р. Да г[осподину] Колокольникову 7 р. всех издержано 32 р.—За подписи на картинах особо платил, хотя не столь много, как надо, да и даром нельзя-ж, соблюдая регулу воскресную и субботнюю. Писал два дня и еще описание».

	р.	к.	
Г. Штафенгагену за перевод	1		
Утесову передавано в разн[ое] время	2	30	От коего и поныне не отобьюсь.
Г-ну Задубскому.	45		
Ему же при рисованию на бумаге фигур эмблемат[ических]	2	50	с 4-мя язычным переводом.
Ученику за подписи черн[ые].	—	50	только прочее на мой счет взял от себя посылал.
Что Мише Колокольникову в уплату.	3		О газетах и стихотворстве не упоминаю ничего не стоят: что до истин[ного] подлежит, то почти ничего даром не хотят за те служи. 17 р. не в счет сие.
За Степку прошл[ый] [1]766 год . . .	36		
За ученье арифметики г. Губину . .	12		за г[осподину] Полидорскому сколько прикажете, а на первой случай по много детству 1 р.
За серебряную доску	45		
Итого ныне осталось. . .	128	30	сие натурою».

(34) Утесову в разное время за рисование профиля грота бокового и прямого да и шаблоны лекалы сверх ваших тогда данных от меня точно аже тягостен мне был передавал . . . . 2 р. 30

Г[осподину] Задубскому при рисовании иллюминации фигур и прочих эмблемат книжкою на пять языков. . . . . 2 р. 50
в том числе план Петербургской чего б ни требовал не мог отказать.

Ученикам двум за подпись эмблем, потому что худо у него подписывать стали я тотчас прислал и им после заплатил своих денег 50

Все эти живописцы конечно являются второстепенными или даже третьестепенными мастерами, в продукции которых мы вряд ли найдем что-либо интересное. Но характерно то, что именно они обслуживали основную массу среднепоместного дворянства, к которому принадлежал и Тишинин.

Интересно еще следующее известие:

(27) «А Мина Колокольников здесь на днях писал с моей рожи на остаток в потомство, а не для себя».

Следовательно портрет Махаева существовал. Не есть ли вторая махаевская гравюра портрета Бухвостова изображение его самого, тем более, что подписи об изображаемом под ней нет?

Еще в 1758 г. Тишинин заказывает свой портрет Ивану Кузьмичу Березину, устюжскому живописцу, в pendant к портрету своей первой жены Ксении Ивановны, урожденной Тарбеевой, умершей в предыдущем году (р. 1736 г.). Этот портрет—тоже работы И. Березина. Сделавши копию с оригинала, писанного И. Вишняковым в 1755 г., И. Березин пишет два грандиозных полотна «в меру позитуры» и подписывается наполовину латинскими буквами. Его же кисти принадлежит и портрет дочери Н. Тишинина Екатерины, висящий в Третьяковской галлерее. Оригиналы на всех трех портретах даны в застывших условных позах, типичных для

парадной придворной живописи. Н. Тишинин в мундире поручика лейб-гвардии Измайловского полка, на фоне лагеря и со свитком в руках, опершись на некую барочную тумбу-постамент. Его жена в пышном платье эпохи Елизаветы. В рыбинском Государственном музее висят еще два портрета Н. Тишинина и его первой жены, поясные, выдержанные в светлых тонах, значительно выше по качеству работы и значительно более реалистичные, возможно принадлежащие кисти И. Вишнякова.

Подпись И. Березина латинскими буквами показывает желание последнего несколько сравняться с иностранными столичными художниками.

Н. Тишинин, сразу после окончания военной службы уехавший к себе в деревню, вызывает живописцев.

(п) «...Человеку моему Ивану Мужскому живописца Петра Ивановича Толстова по договору его не помешкав ко мне отправлять... 25 ноября 1763. Н. Т.»

В дальнейшем Н. Тишинин заводит даже своего собственного живописца (вышеупомянутый Дмитрий Михайлов), о котором М. Махаев пишет:

(35) «Я бы его теперь дорого купил, потому что начерно обметать по моему показанию рублев на сто есть да пособников мало, только Усачев, который не свободен же. И ежели можно милость сделать присоветовать ему прямо ко мне приехать на моем коште и на подъем ему прошу пожаловать из моих денег и обещать верно то, что как приехать и отъехать безобидно ему будет, ежели не пожелает жить а о определении тоже постараться не премину. И не только советовать, а нижайше прошу уволить. Я ведаю, что в ваших повелениях обстоит разве его своим делом удержите в том, я уже не хочу огорчение наводить более. А сие бы служило и для вашей надобности он может лучше к художеству сему навыкнув услугу свою на вашу и свою пользу употребить».

«Я бы надеялся от вашего Дмитрия Михайлова вернее снятому месту всякому быть, только жаль, что он правил перспективы не учил. А ему не много показания надо. А за очи нельзя учить».

(36) «Оставляю вам ненадобность пустоту и возвращаюсь к вашим письмам. Правда я чаял его при тех господах рисовальщиках вашего Дмитрия Михайлова с лучшим прибытком доставить, не менее того по его склонности доставил бы учение, он бы присмотрелся скоро помогать когда прилежен; однако для вас все сие оставляю».



К. И. ТИШИНИНА
Портрет маслом И. К. Березина — копия с И. Я. Вишнякова (1757 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

От этого Дм. Михайлова сохранилось письмо, из которого можно заключить, что он работал на стороне с учениками-крепостными того же Н. И. Тишинина, что наблюдалось и позднее, например у П. Б. Юсупова в Архангельском.

В последних своих письмах М. Махаев упоминает своего знакомого Ф. А. Эмина, одного из интереснейших по своей биографии и творчеству людей нашей литературы XVIII века.

(36) «В вечеру вчера приехал ко мне г-н Эмин. Я его кстати и спросил точно упоминая по вашему требованию российской истории продолжение ответствовал, что в исходе ноября или в декабре 3-й том, а в феврале или марте 4-й будут готовы, а там как дело покажет и сидел часа с два».

(37, дата получения 11 января 1769 г.) «Я писал в намерении быть г-н Эмин российской истории сочинитель в Москве и в Угличе».

Большое внимание уделяет М. Махаев в своих письмах литературе, книгам, журналам и газетам. Чуть не в каждом письме мы находим несколько строк на эту тему. Н. Тишинин вырастает в наших глазах в человека, внимательно следившего за политической жизнью того времени; еще в книгах приказов мы находим упоминание об этом. Выдержки по этому вопросу мы приводим не целиком, так как они заняли бы много места, не давая много фактического материала, но самые интересные места даны нами полностью. Дело идет одновременно как о продаже каких-то ненужных книг, так и о покупке новых, при чем о газетах забота самая придирчивая.

(п) «...Михайла Иванович будет требовать денег на покупку книг, о которых к нему писано, то ты ему толикое число отдай на мой счет... Газеты от него требуй, и как можно не удерживай всегда с ходоками ко мне пересылай... А за газетами ходоков только проведаешь к Махаеву и ходи и тотчас ко мне пересылай. А книги как он купит, то потому ж не помешкав перешли... 1762 г. августа 10 дня. Н. Т.»

(п) «...§ 9. Ниже писанных книг купить... да просить Михайла Ивановича, чтоб по его записочке книги купить, которая у него оставлена, и справиться много ли в академической книжной лавке и у переплетчика Миллера моих книг продано и меня уведомить».

Н. И. Тишинин сам занимался переводами, о чем свидетельствует следующее место его приказов:

(п) «...переведенные тетрадки Михайла Ивановича попросить, чтоб переводчику Разумову рассмотреть отдать, а как рассмотрит не помешкав с ходоками прислать».

В следующем приказе интересно упоминание о родословной, наличие которой считалось необходимым даже для небольшого дворянина.

(п) «Крестьянину нашему Егору Аксенову... газеты от Михайла Ивановича Махаева, письмо и родословный лист получены-ж... 1765 года апреля 12 дня. Н. Т.»

История в особенности интересует Н. Тишинина, судя по неоднократным упоминаниям в письмах М. Махаева.

(6) «...Теперь римских историев ни где до майя месяца взять, потому что свободные дни, а тем с оказиею пришлет Прокофий».

(7) «Посылал за римскою историею было отказано нетом. Того ради вчерась сам у комиссара был и взял: а ему только было труда в магазине ходить; несвободно иногда отказывает; по рублю том; а на хорошей только 2 тома: затем и не взял: впредь извольте писать на какой бумаге. Клеволандовой истории принес на хорошей: да между ними есть серая простая, того ради не послал: поеду в корпус: хоть в среду. А вольного Экономиче[ского] Собрания первых плодов в середине римских заложил тут же...

А книги до оказии опять принес обратно Степка и теперь у меня все пять томов, т. е. римс[ких] 3 и клевол[андовых] 2, эконом[ического] 6-я, как прикажете».

Здесь же упоминаются первые труды, выпущенные Вольным экономическим обществом.

(9) «Небольшую книжку Вольного Экономического Собрания посылаю ж да и другой выход есть-же, ежели повелите».

(11) «Надобную инструкцию, оная о межевании земель; вышла на прошлой неделе».

(12) «Ведая же ваше чистолюбие книг, не ожидая более ответа, купил третью часть детского училища и форшрифты российского морского корпуса, почтенно посылаю».

(18) «...о книжках и тетрадках ваших в третий раз в ином месте публиковать буду на сей неделе».

(23, дата получения 13 июня 1767 г.) «Книжки перенесены им в другую лавку и в ведомости напечатано и продано малое дело».

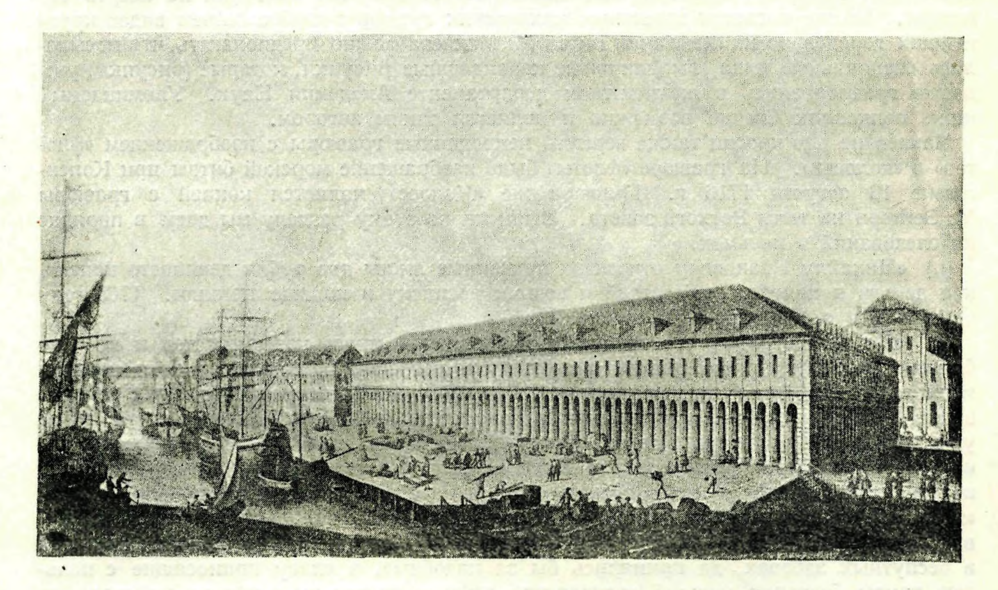
Для дочери Н. Тишинина также выписываются книги.

(32, дата получения 16 декабря 1767 г.) «Детского училища книжка III том есть в вашей библиотеке».

(38, дата получения 13 января 1769 г.) «На сей год календарь прошу благосклонности вашей удостоить приятия, таковые продаются жестоко недорого всего 20 к. Мне он показался не хуже прежнего с прибавлениями своими.

Послал бы я вам еще новинок да заранее не ведал оказии сей. Книги у нас продаются и листы гравировальные, иные действительно в пол цены. А со временем опять будут дороже. О посланных «Всякой всячине» заглавие листочках будут преисполнены сатир. Только еще оценки не положено: чаю что до 50 коп. или более не ведаю».

(40, дата получения 23 февраля 1769) «В прежнем письмеце помнится имел честь писать о нововыходящих о «Всякой всячине» по... [вырвано] ...листочков. Материи сатирические и критические, прикажете брать, в год придет 72 коп.»



ПРОСПЕКТ БИРЖИ И ГОСТИНОГО ДВОРА ВВЕРХ ПО МАЛОЙ НЕВКЕ
Картина маслом М. И. Махаева (1750-е гг.)
Русский Музей, Ленинград

(41, дата получения 29 марта 1769 г.) «Всякой всячины» разные критики выходят на неделю один лист каждой 1½ коп. А другое «То и се» по 2 коп. лист неделю».

(34) «5. Г-на Велизара печатали в Москве однако Аксенову велю наведаться и здесь.

Артемий Астафьевич просит что б изволили отозваться от перевода Донкишотова. Есть охотник да не знаю, что то мешает не публикация ль ваша в газетах о нем».

(32) «...хотя на наступивший год об ведомостях ничего и не изволите писать; однако в несомненном уповании об оных что будете требовать... Так же при выходе (всякой всячины курьезно), каждую неделю не ведаю об оных же, что изволите приказать, а ведомости неотменно уже определено брать и взял первой № и деньги от Аксенова приняты».

В последних письмах М. Махаев упоминает про журналы, начавшие выходить в Петербурге. «Всякая всячина», где официально сотрудничала Екатерина, был одним из первых журналов того времени. «И то и се» издавалось М. Д. Чулковым. Журналы XVIII в. печатали не только литературные материалы, экономические, сельскохозяйственные и т. д. Они фактически заменяли газеты, которых весь XVIII в. насчитывает только три. В период же, к которому относятся письма М. Махаева, была всего одна—«Санкт-Петербургские Ведомости». Ее-то Махаев и пересылал Н. Тишинину.

Не безынтересно отметить и вышеприведенное упоминание о трудах Вольного экономического общества, которое, будучи основано в 1765 г. в целях поднятия сельского хозяйства и промышленности дворянства, явилось организацией, наиболее созвучной всей деятельности самого Н. И. Тишинина. Так что пересылка ему «Тру-

дов» совсем не случайна. «Межевая инструкция», упоминаемая М. Махаевым является лишь более исчерпывающим доказательством характеристики Н. Тишинина. Во всяком случае он выступает перед нами как человек не только заинтересованный в своем общем образовании (по преимуществу историческом), но и как представитель верхнего просвещенного слоя провинциального дворянства.

III

Письма Махаева важны для нас и в том отношении, что позволяют датировать уже более точно некоторые гравюры из серии «городов виды» и также дают основания предполагать о наличии работ, выполненных по непосредственному заказу самого Н. И. Тишинина. Главными объектами этого заказа является изображение посещения Екатерины II усадьбы Тихвино-Никольского на Волге. Второй весьма возможной гравюрой является задуманная Н. Тишининым эпитафия на смерть его матери. Что же касается известных махаевских гравюр с изображением видов крупнейших городов, то на основании писем М. Махаева можно предполагать, что посылались специальные лица, выполнявшие карандашные рисунки, которые (рисунки) уже позже гравировались в ландкартном департаменте Академии Наук. Упоминаемый ниже полковник Свечин возможно и является таким автором.

Махаев не раз просил также вернуть непроданные гравюры с изображением «флотов» и «колосов». На гравюре «флоты» было изображение морской битвы при Копенгагене 13 августа 1716 г. Гравюра же «Колосс» является копией с гравюры М. Зейтера на темы Ветхого завета. Выписки по этому разделу мы даем в порядке их следований в письмах.

(п) «Михайлу Ивановичу отнеси за проданные листы два рубли девяносто копеек, кои деньги я получил, ему отдай и возьми роспиську и ко мне пришли. 1765 году июля 9 дня с. Тихвино-Никольское. Н. Т.»

(2) «Да та моя беда, что требуется исправления много казенных дел и по особливым высочайшим повелениям в команду и господин полковник Свечин посадил меня на год и более; поднесением самой милосердной государыни многих городов виды, Казани и прочих и полковником пожалован прежде его высочеству, а потом уже изволил предстательствовать. Дело правда похвальное надобное полезное, да не совсем верное: и прописывал в академию, якобы через камер апскуру снимал; но как дошло дело до меня грешного, я его высо[ко]бл[агородие] скоро поймал, каким он образом снимал, только ж не худо прелесно, т. е. просто сказать усиживал; достоин всякой чести, и ежели б многие господа дворяне оставя свои роскоши в беспутных забавах, да принялись бы за надобные, и славу приносящие с пользою труды безпорно наше б государство другим лутчим ни в чем не уступало но еще б и превзошло».

(9) «Вставши или проснувшись право по пушечного выстрела, вскочи ну сызнова писать и незнаю чтобы от нововыходящих сообщить кроме сего на мой кошт грыдорованного соловецких чудотворцев тезис новой».

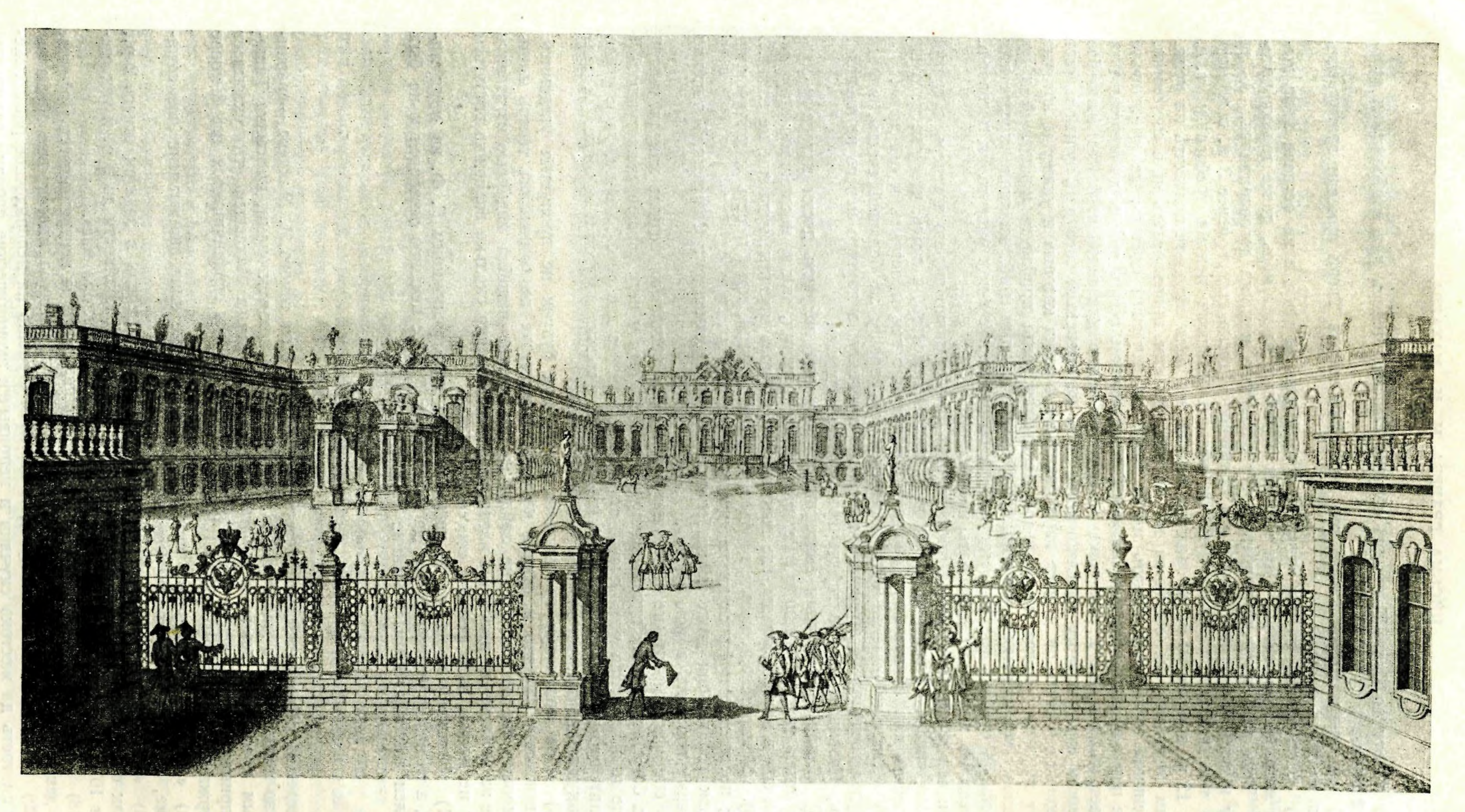
(17) «А перспективная должность едва ль будет у нас а в новой Акад[емии] по штату следовало и Усачеву быть не у чего, а ландкартам неучился».

(17) «Что ж изволите требовать известие об моих листах их взято было тогда от меня [1]764 [года] февраля точно столько, сколько писано. Денег же за проданные листы более никогда не получал, как в исходе сентября [1]765 года 2 р. 90 к. из сего тож видно по счету недостает и с вычетом сих 2 р. 90 к. к ним нада доплата 15 р. 40 к. и тако хотя уступаю с рубля нетолько 5 к. хоть 10 к. только больше приходит 14 рублев мне прислать.

25 колосов по 50 копеек итого	12 р. 50 к.
25 больших цена по 40 к. итого	10 р. —
20 листов флотов по 35 к. итого	7 р. —
70 Сумма на	29 р. 50 к.

А по письму вашему прислано столько сколько и писано; от каждого сорта нет по 15 листов четкою оставлено, то-есть получил я колосьев 10, обето (?) 10 [...вырвано]... Флотов 5 и видно [с]колько то есть большего числа нет».

(22) «А моих листов как прежде докладывал, что от каждого сорта по 15 листов не дослано, итого за присланными 2 р. 90 к. еще осталось по счету 15 р. 85 к. однако мне б более не нада хоть 14 р. и по менее уступаю. Более колосов, хотя приказать прислать обратно потому, что у меня доски оной медной нет, и от прочих листов есть доски».



ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ (был на месте нынешнего Инженерного Замка
Рисунок карандашом М. И. Махаева (1750-е гг.)
Русский Музей, Ленинград

(24) «...еду во Свято-Троицкую обитель Невскую теперь для изображения серебреной раки».

(35) «А новых листов ничего еще нет. Вид города Твери прислан гравировать только не очень верен».

(36) «...за медным листом ездил на другой день за реку, а на острове здесь жестоко медники дорожатся. Там в рядах железных нашел медь, долее только узковата. Того ради нарочно подрежался у знакомого медника договаривался. А за ковку и медь не уповаю совсем и с полировкою доска станет менее 3 р. в пример и не толста будет. Написанную же подпись разными ценами требовали; т. е. 15 р. 12 р. а менее 10 р. не брались; однако это дело извольте положить на меня. Я вам услужить бы обещался ни за что, да сам право резать не в состоянии, а ученикам написавши отжать могут тогда из почтения сделать, да представьте какие при том опасности мне они могут в подозрение счесть что он де получал нам не дает за труд, да и вам тоже не надобно ведаю для чего, чтоб оно было без смутности души всякого удовлетворить, дабы не клеветали того для, пущай придет до окончания Аксенов и даст двум ученикам 4 р. на которых я укажу и которые режут не худо. Когда же мало им покажется тогда прибавить можно. А я им расположу все как надо, вот остались смертныя орудии и облака около креста как ни есть со крестом сделают они же. А об орудиях с г-ном инвентором поговорю. И в сем же письме ответствовать не премину.

При сем примерная армада приложена и письмо давно писано а теперь в третий раз оканчиваю. Только доски не могу тонкой отыскать, а знать, что уже потолще употребить или от вас буду ожидать поведения с тем и остаюсь и сей день».

(37) «...только отыскал один портретец кой прошу за большой счесть, впредь же будет государь цесаревича в такую же величину, а другого нового не поспело. Тверь, Казань и другие города гравировать отданы».

(38) «...для вырезывания епитафии не могу еще получить доски которому меднику отдал шведскую плиту как мне прежде говорил, так и посланному от меня, что он еще в медные заводы, где выковывают их чрез машины, туда еще не ездил...

(39) «У нас теперь новых городов Тверь и Казань, хотя и есть к докончанию идут; но прежде публикации не можно служить».

«Меж тем на сих днях по любопытству отец архимандрит Соловецкий приехал мальчика поручить в мою опеку».

«О епитафии ничего не пишу потому что по несчастию медник хворал теперь слава богу лехче, я на одной неделе уже 4 раза был у него обещал к наступающей неделе и я наступал чтоб к субботе сей, т. е. через два дни. Увижу, да и у нас в палате холод нет способов работать на соседи только жмутся в коморке. А дело партикулярное сие, то надо в свободные часы».

(40) «При получении из выковки доски; рад будучи не пропустил уведомить, что выкована изрядно и отдана чистить, почему же не сомневаюсь теперь иметь остановки, что от господа не зайдет в сем месяце надобно подписью изготовить разве за арматою до половины марта продлится; однако сколько возможно стараться буду не можно ль в феврале совсем кончать».

(41) «Приложу просьбу. Я догадался что надо услужнику Г. Ф. из моих листов, а то все ответствовал нет да не отыскал. Я с печалию оставался и не был доволен таким ответом. Упование еще осталось».

IV

Сведений, касающихся непосредственно жизни и быта самого М. Махаева,—сравнительно немного. Это расчеты с Н. Тишининым и архитекторами, присылка Тишининым крепостной девки и продажа крепостных самим Махаевым (что указывает на принадлежность его к дворянству). Этими темами ограничивается все бытовое содержание писем.

(п) «...Михайле Ивановичу поклонись и о кончине сына ево изъясни мое сожаление, а писать особливо не успел».

(4) «За труд помощнику архитектурскому только теперь в задаток отнесь 2 р., а как ответ получу то еще ему надо додать по самой крайности до 8 р. и так сделает 10 р. Так велел по знаемости господина архитектора мне».

(18) «Я только разумею, что благородное слово никогда непеременяется т[о]-есть, что девочку приказать отыскать от 13 до 16 лет, которую многократно обещали»

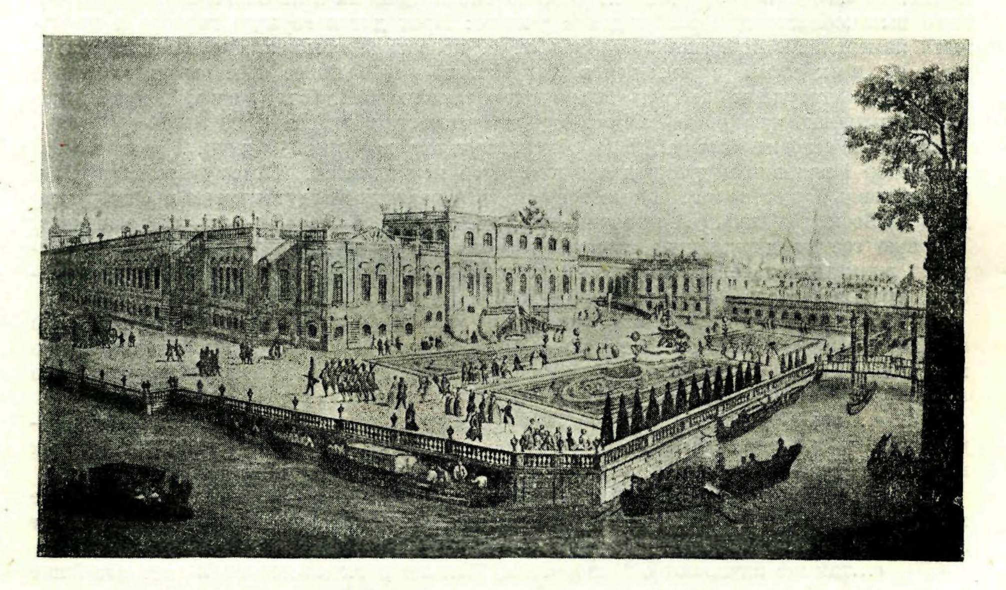
(29) «Мне истинно и самому здесь кажется страшно на непорядочное расположение смотреть да жестоко скучлив и непривычен экономические порядки содержать.

Я бы желал чтоб ни от кого не зависел, да нельзя не в пустыни живем, человек для человека... [вырвано] ...И сим едва кончать простить мою простодушную дерзость».

(38) «Я ныне деньгами крайне пообился а из долгов по простоте моей раздавшись, не могу собрать. И содержа теперь душ до 15 по здешней дороговизне право не стает жалованья 500 р. при том имеючи дома учителей с прибором и животину для младенцев к молоку и кормилицу младенцу а для себя корову не удивляюсь своему, никогда так не бывалому расходу. Смею ль доложить пожаловать адресовать рублев до 50 а в достальных сочтемся дома, из которых верный вам счет сообщен будет».

V

Отдельное место занимают встречающиеся в письмах сведения о путешествии Екатерины II и отрывочные известия о войне с Турцией (1768—1772), выделяемые нами в особую группу. Поездка Екатерины II по Волге (с 29/IV по 22/VI) имела целью



ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ (был на месте нынешнего Инженерного Замка)
Картина маслом М. И. Махаева (1750-е гг.)
Русский Музей, Ленинград

популяризовать императорскую власть среди населения, т. е. внушить крестьянству страх и уважение перед самодержавием, а среднему дворянству дать почувствовать, что оно является силой, на которую рассчитывает императрица. Путешествие по Волге совершалось с невероятным блеском и пышностью. Императрицу сопровождал дипломатический корпус и огромный придворный штат, насчитывающий в своем составе около 2000 человек. Это была скорее торжественная церемония-шествие, продолжавшаяся несколько месяцев на протяжении тысяч верст. Все это предприятие, задуманное чуть не за год, усиленно мусируется. М. Махаев приводит характерные слухи, циркулирующие в городе.

Посетив Н. Тишинина, Екатерина облагодетельствовала своего подданного, и он спешит увековечить счастливое событие в гравюре. Интересен факт заказа карт всего путешествия и официальные причины его.

(п) «Иван... о иллюминации Михайле Ивановичу поговори, ибо шествие всеконечно из Твери будет и потому что к здешнему губернатору послан указ, чтоб из Твери дороги для того исправлять. Я не знаю, что делать с палатами недостроены, а деревянным достроить только из досок просят трехсот рублей».

(5) «В окончании сего письмеца имею честь уведомить в следующем: был я вчерась у благодетеля, которого изволите и знать А. А. К. и по благосклонности такой, а чем меж тем и паки о ваших приуготовлен... [вырвано] ...напоминал как вы изволите трудится и усердность свою хочете оказать всеею силою в ответ похваляя все

и преданническую искренность но с сожалением оставался только в том для вас, паче де, или сверх чаяния не будет в ту сторону путешествия ея имп[ераторского] величества нашей всемилостивейшей государыни. Так де его труды и иждивении многие останутся туне. А хотя де и изволит да проехать ночью иль что такое далее не изволит удостоить посещением, так де изволька подумать каково Николаю Ивановичу тогда будет. Кто исповесть судьби господни и намерении их величеств».

(6) «А о путешествии по Волге к Астрахане в великом сомнении остается и на всяк день почти слышно несбытие».

(7) «Я по большей части сие письмецо посылаю в предупреждении ваших интересов дабы вам в чем не избытчиться к сожалению. И с тем еще подтверждением докладываю что на всяк почти день удостоверение от многих слышится что отложен путь во Волге в окончании».

(7) «Вчерась осмелился у г[осподина] директора об оном доложится путешествии: но ответ ничего более не получил; снисходительно изволил много кой о чем проговаривать, а об этом сказал ни где приказания не слышно, только народная везде молва, та как и прежде писал... Однако сие предаю на и на благоразумнейшее вашего высокоблагородия рассуждение уповаю: Пригодится гораздо гораздо и произжать намерение с божеской помощию, т. е. позвот да слышат Ярославля... [вырвано] ...и окрестные страны поревнуют оказать глубочайшее свое высокопочитание к премудрой государыни немоим языком или такой худа... [вырвано] ...рукою описывать неизмеримую во всех предоваемых вечностям остатки».

(9) «Я и сегодни был у Алекс. Алекс. тут же дежурной будучи... [вырвано] ...[Ф]едор Иванович подтверждая также чтоб неубытчится. Потому что едва ли и в Ярославль будет поход. Иные говорят, что галеры обведут кругом в Оку р[еку] да и в Москву р[еку]. А нарочно просить от дороги Ярославской, как изволите. Таковую гостью дрожайшую, а притом милосердая государыня более де до земледелия вникать соизволит, нежели бы де другие какие на время употребления представления...»

(9) «...впрочем о путешествии уже нечего письма [в виду того] что публиковано изволит выехать в исходе... [вырвано] ...февраля 1767 года, так и видно прямо в Москву и оттуда неизвестно далее. О дороге перспективной московской довольно говорят, что то отделывать или еще обождать не ведаю».

(26) «...какая любовь и радость возбуждается к великому снисхождению благочестивой и человеколюбивой государыни, что изволит жаловать своих подданных и с ними изволит говорить по-французски, как с вашею дщерью».

Начавшаяся война с Турцией отмечена М. Махаевым с указанием на отношение к ней придворного дворянства. Добавляется интересная подробность о заказе карт завоевываемых земель, включая «разделяемую» Польшу.

(37) «...так же начинают о Малороссии, Польше и около лежащих мест новейшие карты. И об оных дождаться надо окончания».

(38) «Здесь так о войне с вероломными турками мало говорят и мало страшаться, что будто как ее и в завине нет».

(39) «Так же новая ж большая карта пространная Польши да далее турецких границ, включая Малороссию и около лежащие места весьма обширна делается и так скоро в публику, то не прикажете ли сообщить купить в книжной; а у нас кои будут только пробные не оконченные».

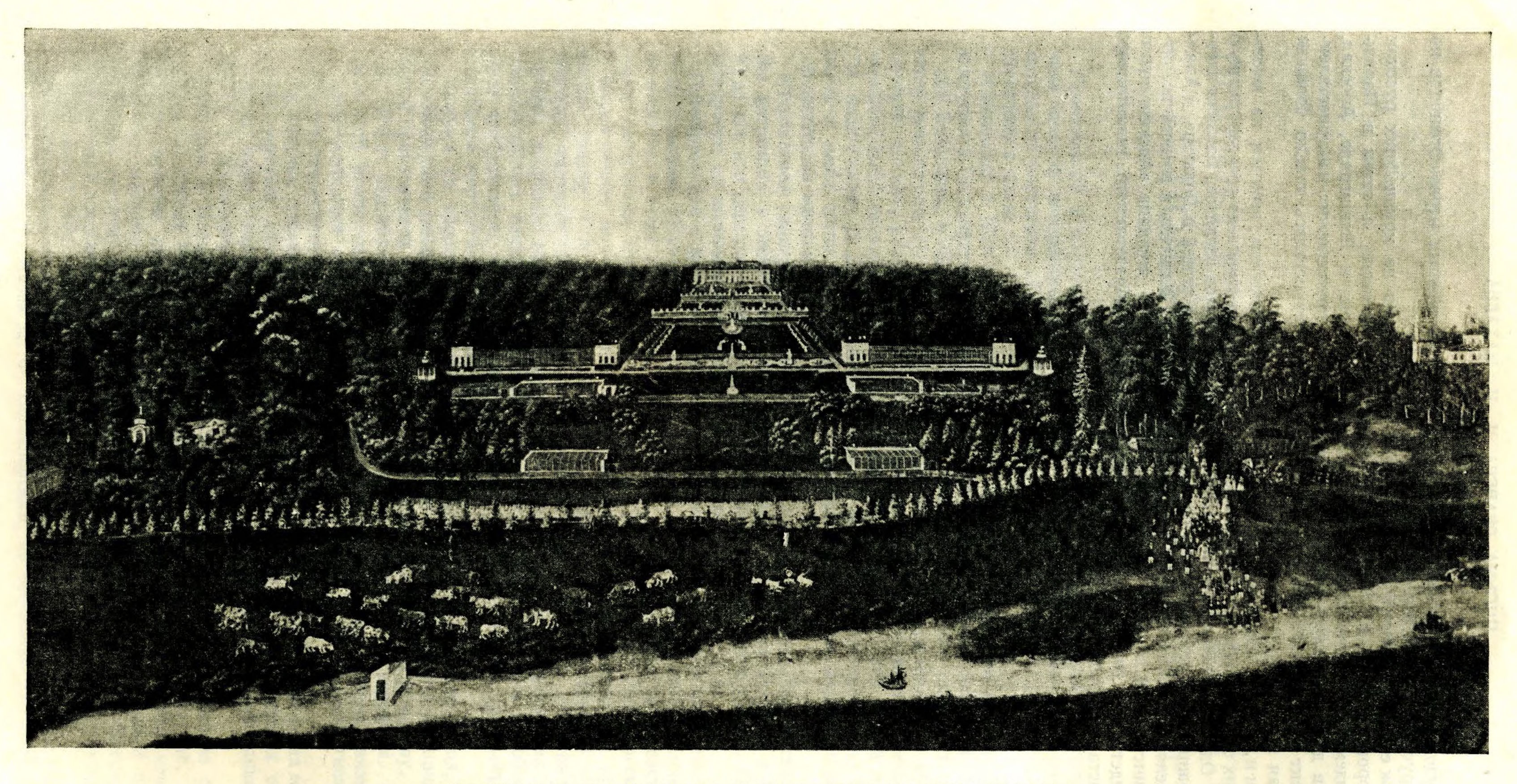
(40) «Здесь о войне с турками ничего страшаться; но продолжают все в строениях намерения також де забавы и веселие, маскарад каждую неделю».

Эта последняя тематическая группа является впрочем наиболее бледной во всем эпистолярном наследии Махаева. Повидимому он был здесь весьма сдержан и сообщал своему адресату далеко не все политические слухи, ходившие в столице.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Валериани, Джузеппе (1708—1761)—итальянский живописец, работавший с 1742 г. в Петербурге в качестве «мастера живописного и комедиантского дела», позднее—«театрального архитектора». Из его работ сохранились плафоны в ленинградском Большом дворце и в «Эрмитаже» Детского Села, а также ряд декоративных эскизов.

[2] Штелин, Якоб (1712—1785)—гравер, мейнингенский уроженец, в 1735 г. переселившийся в Россию, а с 1747 г. возглавивший Академию Изящных Искусств, преобразованную из Художественного департамента Академии Наук. Автор «Изве-



ВИД УСАДЬБЫ АРХАНГЕЛЬСКОЕ КНЯЗЯ ЮСУПОВА СО СТОРОНЫ ПАРКА

Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.
Музей-дворец, Архангельское

стий о художествах в России», являющегося одним из важных первоисточников по истории русского искусства.

[3] Баженов, Василий Иванович (1737—1799)—один из крупнейших русских архитекторов. Учился в Петербурге в Академии Художеств, а затем в Парижской Академии. Им выстроен Каменноостровский дворец в Ленинграде, Арсенал, ряд домов для московской знати той эпохи. Ему же принадлежит неосуществленный проект грандиозного дворца в Москве, от которого осталась только большая деревянная модель.

[4] Эмин, Федор Александрович (ок. 1735—1770)—писатель, выходец из южнославянских стран. В 1761 г. попал в Россию, где вскоре поступил на государственную службу. Один из первых русских романистов, пропагандист взглядов, близких идеологии французского просветительства, автор журнальных статей о Вольтере, д'Аламбере и целом ряде современных ему русских писателей. Издатель и по всей вероятности единственный составитель радикально-сатирического журнала «Адская почта» Эмин представляет собой колоритнейшую фигуру высокообразованного, талантливого авантюриста, которыми так богат был XVIII век.

ПОРТРЕТ Е. ПУГАЧЕВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Сообщение М. Бабенчикова

Помещенный в настоящем номере «Литературного Наследства» портрет Е. Пугачева является воспроизведением единственного из известных нам изображений вождя народного восстания 1773—1774 гг., бесспорно написанного с натуры до захвата Пугачева в плен.

Найденный в 1924 г. в запасном фонде музея пишущим эти строки, портрет этот поступил в Государственный Исторический Музей из частного собрания Н. Ермолова.

До Ермолова, в 60-х годах прошлого столетия, как это совпадает и с сообщением мемуариста Д. Д. Оболенского, данный портрет принадлежал крупнейшему промышленнику, владельцу путиловских заводов Н. И. Путилову, стены квартиры которого были сплошь покрыты портретами известных «русских людей и деятелей». По свидетельству Д. Д. Оболенского, Путилов был «страстный охотник до таких портретов и имел сотни их, рисованных, начиная от великих художников и кончая неизвестными мазилками».

«Портретная галлерея эта по количеству и разнообразию была замечательная. Вы встречали в ней и Богдана Хмельницкого, и Стеньку Разина, и Пугачева... Куда все это девалось—не знаю, но много было интересного» (Д. Д. Оболенский. «Наброски из воспоминаний». «Русский архив» 1894—1895 гг.).

Приобретенное с другими портретами одним из наследников известного «покорителя Кавказа» Ермолова, о чем не знал Д. Оболенский, изображение Пугачева находилось в семье Ермоловых, как известно, до тех пор, пока не перешло с остальными портретами Ермоловской галлереи в Государственный Исторический Музей.

Внимательное изучение данного портрета, написанного масляными красками на холсте (размер 1 арш. $^3/_4$ вершка $\times$ $12\frac{1}{2}$ верш.), свидетельствует об иконописных приемах портретиста, очевидно иконописца-раскольника, что подтверждается, во-первых, надписью на лицевой стороне, в верхней части портрета, как это обычно практиковалось только в иконописи, во-вторых, текстом надписи на оборотной стороне изображения. Верхняя надпись, наполовину утраченная, указывает на дату написания портрета: «сентября 21 1773 г.».

Надпись на обороте, подтверждая подлинность изображенного лица, указывает имя очевидного заказчика портрета: «Емельян Пугачев родом из казацкой станицы нашей православной веры принадлежит той веры Ивану сыну Прохорову. Писан лик сей 1773 г. сентября 21 дня». Последняя надпись славянским шрифтом. Слова надписи «той православной веры» лишний раз подтверждают тесную связь Пугачева с представителями «правой веры»—раскола, свившего себе прочное гнездо в среде донского, волжского и яицкого казачества.

Двукратная ссылка на 21 сентября 1773 г. дает точное указание и на место написания портрета—Илецкий городок (Уральской области в 150 верстах от Яицкого городка, ныне Уральска, с юга, и Оренбурга с севера)—местопребывание Пугачева 20, 21 и 22 сентября 1773 г.

Находясь в Илецком городке, Пугачев жил в доме виднейшего из своих сподвижников, казака Творогова, одном из лучших в городе, и здесь же, в Илецком городке, местные серебрянники вырезали ему именные печати. Как известно, сентябрь был месяцем начала восстания, периодом, когда поддержанный резко оппозиционной группой яицкого казачества донской казак Емельян Пугачев впервые поднял знамя восстания, другими словами, временем, когда Пугачев особенно нуждался в написании с себя лицевого изображения.

По производстве первоначальной реставрации ученым реставратором Государственного Исторического Музея Д. Ф. Богословским, на основании указаний автора дан-

ной заметки, была вскрыта часть фона и левая нижняя сторона портрета с написанным на ней казацким кафтаном Пугачева. Раскрытие обнаружило под портретом Пугачева хорошо сохранившийся портрет Екатерины II, копию с известного портрета типа художника Эриксена.

Первоначальный портрет этот был большего размера, на что указывают отрезанные кромки холста, и висел очевидно в правительственном учреждении в ряду других царских портретов. С приходом Пугачева портрет Екатерины, как указывают грубо сделанные и заметные посейчас зашпаклевки, был порван, по всей вероятности умышленно, в десяти местах холодным оружием.

Кому пришла мысль столь удачно использовать царское изображение для написания на нем с натуры «настоящего» царя, выдвинутого восставшей частью населения, судить не приходится. Во всяком случае, не давая повода для подобного рода догадок, рассматриваемый нами портрет является яркой и наглядной иллюстрацией истории классовой борьбы в XVIII в., и в этом заключается его огромная и существенная ценность. Не менее ценен портрет как единственно достоверное из всех изображений Пугачева, относящееся к периоду начала восстания.

Не повторяя по типу ни в какой мере известных нам портретов Пугачева, что уже само собой свидетельствует об его оригинальности, портрет, принадлежащий Государственному Историческому Музею целиком совпадает с дошедшими до нас описаниями наружности руководителя движения, терроризировавшего русское самодержавие в XVIII веке.

На рассматриваемом портрете Пугачев действительно «похож на бурлака», ему около 30 лет, но он кажется старше, его несколько изможденное лицо смугловато, черты лица правильны, окладистая борода темноруса, волосы, довольно длинные позади, спереди из-под шапки слегка выбиваются на лоб. Особенно удались портретисту, при всей его живописной неумелости, «черные, большие, выразительные и живые глаза Пугачева».

Сопоставленный с другим, писанным тоже с натуры, по заказу майора царской службы Матиаса, портретом Пугачева перед казнью, пугачевский портрет Государственного Исторического Музея более других разрушает все легенды о якобы «зверском» облике Пугачева, который по вполне понятным причинам неизменно выставлялся «благородным сословием» в виде изверга и злодея.

ТРИБУНА*

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Статья Д. Мирского

Русская литература XVIII в. фактически неизвестна нашему читателю. В лучшем случае он знает Ломоносова и Державина по двум-трем стихотворным отрывкам, Фонвизина по «Недорослю», Радищева по нескольким цитатам из «Путешествия». Дальше он затруднился бы даже назвать имена кроме разве Тредиаковского как нарицательное имя для бездарного поэта. О том, как далеко простирается это невежество даже у очень литературно грамотных людей, можно составить себе представление по статье А. В. Луначарского о критике XVIII в., оценка которой дана в печатаемом в настоящем сборнике обзоре Г. А. Гуковского «В защиту XVIII века». Невежество это имеет свое объяснение и свое основание. Вопрос в том, насколько это основание может и в дальнейшем служить оправданием нашего традиционного игнорирования допушкинской литературы.

Литература XVIII в. отделена от литературы XIX в. глубоким качественным изменением, сопровождавшимся фактически полным разрывом литературной традиции и отразившим сдвиги русской экономики и социальной структуры русского общества, начавшиеся в конце XVIII в. и особенно развившиеся в первые десятилетия XIX в. Сдвиги эти сводились к созданию предпосылок для капиталистического развития. Политическим их выражением явилась деятельность Сперанского и движение декабристов; первым литературным отражением—возникновение русского «романтизма» с Пушкиным во главе. Эволюция надстройки особенно таких «высших этажей» ее как литература и искусство никогда не является простой линейной функцией развития производительных сил и производственных отношений, а, как указывал Маркс, находится в «неравномерном отношении» (unegale Verhältniss) к «развитию материального производства» («Введение к критике политической экономии»). Из этого между прочим следует, что идеалистическая история, исходящая из движения идей и идеологий, не только все ставит на голову, но дает ложное представление и о самом членении исторического процесса.

Сдвиги первой четверти XIX в. сравнительно мало изменили в социальной структуре России: в основном помещик и крестьянин стояли друг к другу в тех же отношениях в 1830-х годах, как и в 1780-х. Но сдвиги эти, несмотря на свой зародышевый и почти подспудный характер, определяли путь развития России как капиталистический. Большая часть страны оставалась стопроцентно-крепостнической,

---

* Начиная с настоящего сборника, мы открываем в нашем издании новый постоянный отдел «Трибуна», задача которого — всемерно содействовать развертыванию широкой научной дискуссии по основным проблемам марксистско-ленинского литературоведения. Думаем, что сейчас создание такого отдела является особенно уместным и своевременным. До сих пор данный участок нашего идеологического фронта является одним из отстающих,— нет нужды это замалчивать. Но было бы глубочайшим заблуждением толковать это положение в том смысле, что наше литературоведческое «сегодня» вообще представляет собою какое-то стоячее болото, лишенное каких бы то ни было признаков жизни. Нет, работа ведется, работа весьма напряженная и интенсивная. Ясно, какое огромное значение приобретает в таких условиях широкий и систематический обмен мнениями, обмен научным опытом. Только на основе такого обмена и могут быть достигнуты какие-нибудь положительные результаты в этой области. Таковы те соображения, которыми руководится редакция, открывая настоящий отдел.

Редакция

сила инерции была очень велика, но жизнеспособные элементы оказывались все сосредоточены с этого времени на капиталистическом секторе. Это изменяло и отношение России и русского национального сознания к Западу. В XVIII в. Россия была чисто крепостническая, без каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса, Европа же была уже в живой и жизнеспособной своей части вполне буржуазною. Вместе с тем русский феодализм, организованный в колоссально сильное государство, имел возможность широко использовать достижения европейской техники, промышленной и административной, но используя их, он пересаживал их на иную, феодальную, почву, где они вырождались в нечто существенно чуждое своей первоначальной природе, давая весьма своеобразные социальные монстры вроде крепостной мануфактуры и крепостной горной промышленности. В XIX в. с развитием наемного труда Россия входит в семью европейских народов, соединяясь с ней не только узами внешней торговли и технического заимствования, но и тем, что движущие силы ее истории становятся те же, что и на Западе. Россия XVIII в.— чужеродное тело, присосавшееся к буржуазной по своим движущим силам Европе. Россия XIX в.—младшая сестра в однородной европейской семье. В области материальной, экономической и политической, это приводит к качественному изменению взаимных отношений только во второй половине XIX в. Еще в 1848—1849 и 1853—1856 гг. русское самодержавие противустоит Европе как монолитно чужеродная сила, к которой Маркс, выражая интересы всех прогрессивных сил Европы, считал возможным только одно отношение—войны. Но в литературе, в идеологии это новое соотношение складывается уже со времени декабристов и Пушкина. Это новое соотношение меняет и характер русской литературы относительно европейской: она становится самостоятельной, национальной, одной из равноправных—хотя на первых порах и отсталой—литератур буржуазной Европы.

Литература чисто крепостнической России XVIII в. стоит к Западу в отношении подражания, в отношении неорганического усвоения социально чуждых форм. Это между прочим придает ей большой теоретический интерес, поскольку она дает исключительно богатый материал для изучения вопроса о международных влияниях. В марксистской литературе вопрос этот находится как бы в загоне. В самой постановке его усматривается механистическая опасность. В руках буржуазных ученых он действительно трактуется чисто механистически. С переходом буржуазной науки с механистически-позитивистских позиций на эволюционно-идеалистические «влияния» так же начали подвергаться гонению, и у младшего поколения литературоведов буржуазной формации они не в фаворе. В печатаемом в настоящем сборнике обзоре Гуковского высмеивается самая постановка вопроса о подражательности русского классицизма. Предполагается, что всякая эпоха (resp. социальная группа) необходимо выражает себя в литературе по-своему и адэкватно себе. Но такое предположение приводит нас из механистического огня в полымя витализма. Марксисту при подходе к этой проблеме полезно еще раз вспомнить марксово положение о неравномерности развития искусства по отношению к материальной базе, а также не менее важное положение Маркса и Ленина об обязательности конкретного подхода ко всякому материалу. Мы знаем например, что в «допетровской» России не было художественной литературы как обособленной и устойчивой деятельности. Возникали только разрозненные ростки, не сливавшиеся в единое движение. Очевидно не всякое общество, и в частности не всякое феодальное общество, в состоянии создать свою литературу. Более тесная связь с Западом раскрыла перед русским феодалитетом и его слугами западную литературную культуру. Ее стали перенимать, и к середине века в России уже существовала художественная литература по западному образцу как обособленная и устойчивая культурная функция. Каждый раз, как отсталая нация без литературной традиции или с литературной традицией застойной и безнадежно отставшей от жизни втягивается в орбиту более передовой социально-экономической системы, возникает ситуация, делающая возможным подобное заимствование. Но так же как результат влияния вторжения торгового капитала зависит от характера того общества, в которое он вторгается, так и наличность литературных связей между развитой и отсталой страной не обязательно приводит к возникновению новой литературы по чужому образцу. В процессе пересадки византийской культуры в киевскую Русь эта культура оказалась обедненной до неузнаваемости; в частности византийская художественная литература не была воспринята вовсе. В XVIII в. пересадку европейской литературной культуры на русскую почву облегчало то, что эта литература, уже буржуазная в своих жизнеспособных клетках, была еще вся проникнута инерцией феодального прошлого. Этот феодальный элемент, отмиравший и застойный, и был тем, за что русское дворянство зацепило западную литературу. Пересаженные на русскую почву раз-

ные элементы западной литературы оказались в новых соотношениях. Например ода, застойный и омертвелый жанр на Западе, в России нашла необыкновенно благоприятную почву и оказалась ведущим жанром всей литературы. Эта неадэкватность заимствованной литературной традиции той действительности, которую требовалось выражать, и составляет основной характер русской литературы до начала XIX в. и определяет ее подражательность и неорганичность. Только ставши на буржуазный путь русская литература могла отнестись к западным формам как к своему добру и почувствовать себя в них, как дома. С этого момента русская литература становится национальной, и Белинский, следя за ее ходом, решается наконец в начале 40-х годов сказать: у нас есть литература.

Но качественное изменение русской литературы и разрыв с традицией XVIII в. началось задолго до Белинского. Уже Жуковский стилистически не имеет почти ничего общего с XVIII в. Уже Пушкин отвергает его почти целиком, с большими ограничениями признает Ломоносова и Державина и интересуется только теми писателями, в которых видит предшественников нового реализма—как Фонвизин, или новой антикрепостнической идеологии—как Радищев. Как правильно указал еще Чернышевский, Белинский ничего не разрушал в отношении к XVIII в.; наоборот, он положил начало тому относительно историческому и критическому освоению его, которое есть основная исходная точка и пролетарского отношения к культурному прошлому. Оценка литературы XVIII в. Белинским была невысокая и в основном отрицательная. Такое отношение осталось традиционным для либеральной и радикальной части русской критики. Гуковский, желая унизить этот подход, называет его «пыпинским» и «незеленовским». Но в основе—это отношение Белинского, Чернышевского и всей русской демократической критики. В руках либерала Пыпина и казенного даже не-либерала Незеленова это отношение теряло свою живую демократическую действенность и вырождалось в самодовольную уверенность в превосходстве культурного и современного Тургенева над несчастными невеждами XVIII в. В руках же Белинского оно было действенной и существенной частью его борьбы за новую демократическую культуру.

В литературе XVIII в. Белинский отвергал не только и не просто классово враждебную феодальную литературу. Конечно в его оценке был и этот момент; он играл например главную роль в острой вражде к стилю оды, к «парению» и «выспренности» поэтов XVIII в. Но уже в эпоху Белинского литература XVIII в. была очень мало актуальна как литература классового врага. Для русских крепостников XIX в. миросозерцание их дедов XVIII в. было уже «потерянным раем», как были «и предков чужды им роскошные забавы, их добросовестный, ребяческий разврат». Победоносный дома и за границей феодализм XVIII в. мог позволить себе большую наивность, предаваться квази-материалистическим настроениям, игнорировать поповщину, заигрывать с Вольтером и обходиться безо всякой полемической, самооправдывающейся идеологии. Перешедший к обороне, катящийся к поражению феодализм XIX в. позволить себе этого не мог. Он был вынужден создавать себе новые идеологии лицемерные и демагогические, неизменно мистически и поповски окрашенные, и с ними-то от «официальной народности» до полулиберального славянофильства и боролись в первую голову идеологи русской демократии. В литературе XVIII в. их отталкивало прежде всего другое: ее безыдейность, бессодержательность, тот характер забавы, который она носила и который сближал ее с очень актуальной для них идеологией «чистого искусства». «Чистое искусство» было лозунгом половинчатых либералов и махровых консерваторов, и XVIII в. всем характером своей эстетики приходил на помощь «чистому искусству». Это было основное политическое обвинение против XVIII в. Рядом с этим отталкивал от него еще и характер его поэтики. Русское искусство XVIII в., как в основном все добуржуазное искусство, было основано на заданной, традиционной, условной форме, тесно связанной с условным же, ограниченным традицией содержанием. Индивидуалистическая буржуазная эстетика (в основном резделявшаяся и левой буржуазной демократией вплоть до мелкобуржуазных революционеров) воспринимала эту литературу как пустую, холодную, неискреннюю, эмоционально-бессодержательную. Наконец последним обвинением была подражательность—обвинение, тесно связанное с обвинением в условности. Для людей, боровшихся за создание национально-демократической литературы, сознательно и конкретно отражающей наличную действительность, критикующей ее и работающей над ее преобразованием, литература, основанная на заимствовании чужих, неадэкватных форм выражения, не представляла никакого интереса. И вообще основная линия критики XVIII в. у Белинского и других демократических критиков идет не по линии борьбы с его классовой сущностью, а по линии борьбы с ненужным и лишним нянчением с литературой, не представляющей ника-

кого живого интереса, литературой, которую можно с успехом предоставить ведению архивных крыс. Но отвергая XVIII в. как целое, демократическая критика все же критически отобрала из него отдельные явления, признав в них первые шаги подлинной русской литературы. В общем можно сказать, что отобраны были те же элементы, которые выделял уже и Пушкин: первые шаги еще погруженного в классическую традицию реализма—преимущественно в комедии и в басне; Радищева как родоначальника русской прогрессивной политической мысли; наконец Державина как фигуру резко оригинальную и тем вмещающуюся в каноны индивидуалистической поэтики. К этому Пыпин и его продолжатели прибавили интерес к первым шагам квази-буржуазного просветительства с Новиковым во главе. Но в основном XVIII в. остался в ведении ученых чиновников крепостнической формации, чуждых интересам современности и подходивших к нему с формальным безразличием архивариусов. Новое было внесено младшим поколением литературоведов-народников, открывших наконец, что литература XVIII в. не сводилась к литературе дворянской, и обративших внимание на «низовую» литературу. Но неспособные на четкий классовый подход они в сущности дали не более как новый сырой материал для истории литературы.

С ростом чисто буржуазной культуры, «освободившейся» от демократической традиции, отношение к литературному наследству—и в том числе к XVIII в.—меняется. Но для упадочников-символистов XVIII в. с его «добросовестным развратом» и наивным рационализмом был не так уж привлекателен. Даже Державиным они не интересовались, и пожалуй именно при символистах он достигает надира своей известности. Формалисты следующего поколения с их всеядностью и свободой от пережитков романтического культа «искренности» обращали внимание и на XVIII в., но без особого увлечения. Несколько оживлял их отношение в XVIII в. характерный для упадочной буржуазии культ аристократизма и монархического величия, но культ этот у них был обращен больше на эпоху Александра I и Николая I, чем на XVIII в. Всеядно-формальное отношение формалистов скрестилось с безразлично архивным подходом ученых чиновников, и эти два отношения, по существу одинаково равнодушные и формальные, до сих пор составляют фон литературоведческого отношения к XVIII в., фон, который иногда очень ясно проступает и в предлагаемой книжке.

Неудивительно, что пролетарская революция отразилась на этом отдаленном и мало актуальном участке научного фронта сравнительно мало. Марксизм проникал сюда не столько прямо и непосредственно, сколько через свое искаженное и обедненное отражение в головах литературоведов прежней формации. Он ориентировал их интерес на литературную продукцию непривилегированных классов и на проявления классовой борьбы. Первая уже в значительной мере была введена в литературоведческий оборот эпигонами либерально-народнической школы, которые стали пригонять свои концепции к марксистской терминологии. Старые чиновники и молодые формалисты тоже стали дарить больше внимания недворянской литературе и тому, что они принимали за отражение борьбы классов. Коренной порок всех этих работ—недостаточное знакомство с историей. Литературоведение может быть марксистским только поскольку оно стоит на почве марксистской истории, знает факты социально-экономической истории и по-марксистски, т. е. научно, понимает их связь. «Марксистское» литературоведение, оторванное от фактов истории, может только привести к фантастической отсебятине, худшей, чем сознательный методологический идеализм.

Между тем XVIII в. и вне литературной сферы еще недавно был плохо известен, но по причине противоположной: для буржуазной истории он был слишком близок и актуален. Она предпочитала держаться московских времен, где можно было пастись на просторе, не вступая в конфликт с начальством. О XVIII в. в академическом тоне писать было невозможно, в неакадемическом—не позволяли. XVIII в. слишком ясно требовал партийного подхода и партийного отношения не к общим теоретическим вопросам вроде происхождения общины, а самого действенного разоблачения еще живущих и усердно поддерживаемых монархических легенд о «великих людях» вроде Екатерины II. И не случайно, что первую связную историю XVIII в. написал великий историк-большевик М. Н. Покровский. Относительно предыдущих эпох работа его преимущественно заключалась в критике концепций буржуазных историков и построении марксистской из их же материала. В XVIII в. Покровский имеет перед собой только еще совершенно реакционную и вненаучную легенду или разрозненные и формальные монографии; он строил почти на голом месте.

После Октября наше знание о XVIII в. очень расширилось: только теперь например мы получили доступ к подлинным материалам о пугачевском восстании, ве-

личайшем революционном движении нашей страны до 1905 г. Но литературоведы с характерным цеховым духом мало интересовались историческими работами, создавая себе доморощенные социологические схемы вроде покойного Сакулина, и для увязки литературного знания о XVIII в. с общеисторическим остается сделать очень много. Тем временем XVIII в. сделался спортивной площадкой для «исследователей» вроде Виктора Шкловского, облюбовавшего себе прозаиков екатерининской эпохи и создавшего такие шедевры самоуверенного верхоглядства, как его последняя книга «Чулков и Левшин», в которой на основании прочитанных им нескольких старых книг, журнальных статей и справочников он претендует критиковать и ревизовать историческую концепцию Покровского. Концепция Покровского—первая не только марксистская, но вообще связная концепция истории XVIII в.—конечно подлежит еще большому уточнению. Не следует забывать, что она изложена наиболее детально в ранней, дооктябрьской, работе великого историка и не представляет собой последнего слова зрелого Покровского. Но это уточнение может быть проведено только на основании большой работы во всеоружии марксистского метода и с учетом всех новых материалов. Наскоки Шкловского не могут конечно повредить этой большой работе, но в кустарщину общеисторических взглядов литературоведов они могут внести много новой и лишней путаницы.

Здесь не место углубляться в характеристику социальной природы России XVIII в. Достаточно сказать, что основная ее черта — безраздельное господство класса феодалов-крепостников, организованных в сильное, вооруженное почти современной европейской техникой государство; что класс этот—это его своеобразие в ряду других феодальных эпох—не довольствовался традиционной, веками освященной эксплоатацией своих крестьян, а успешно хищничал, грабя соседей и изобретая новые способы выжимать прибавочный продукт из своих «подданных» (крепостная мануфактура, неограниченный оброк), широко используя для своего обогащения и государственный аппарат (как это делалось, хорошо показано на конкретном примере войскового хозяйства в печатаемой ниже статье Гуковского о солдатских стихах); что буржуазии, сколько-нибудь способной на политическую оппозицию, не было; что основной предпосылки капиталистического развития—обращения рабочей силы в товар—не было (только в последнее десятилетие начинает намечаться перемена); что основная линия классовой борьбы была между крепостниками и крестьянами, причем последние находили союзников (помимо классово еще мало расслоенных нацменов) только среди городского плебейства, которое само в значительной мере состояло из крепостных (дворовых, оброчных). Был момент, когда крестьянское восстание поколебало самые основания крепостнического государства и имело реальные шансы на победу; но будучи раздавленным, оно оказалось для крепостников только страшным кошмаром между двумя долгими периодами относительного классового благополучия, прерываемого время от времени крестьянскими восстаниями местного значения.

В этих условиях культурная монополия безраздельно принадлежала крепостникам, хотя самая культурная работа могла вестись их слугами, слугами крепостнического государства или индивидуальных помещиков: вспомним крепостных живописцев. Единственный серьезный фронт классовой борьбы пролегал вне «культурного общества». Единственный революционный (даже единственный оппозиционный) класс—крестьянство—не имел защитников в литературе. Это освобождало крепостников от необходимости вести идеологическую борьбу с ним.

До какой степени крестьянство было изолировано сверху, ярко иллюстрирует отношение к крестьянской революции первого провозвестника буржуазно-демократической революции: Радищев, грозя царям примером Карла I, вообще говоря о них языком вполне смелым и революционным, в то же время ни словом не упоминал о пугачевщине, как будто не в России развернулась эта грандиознейшая из крестьянских войн.

Эта крайняя бедность литературы XVIII в. реальными выражениями классовой борьбы заставляет «марксиствующих» литературоведов искать ее там, где ее нет, и, находя подобие какой-то борьбы в дворянской литературе, раздувать ее и делать из мухи слона. Это относится к литературным проявлениям так называемой дворянской оппозиции. Здесь современные литературоведы продолжают традицию дворянских революционеров XIX в.: Рылеева, воспевавшего Державина за его обличения Потемкина и других вельмож; Герцена, издававшего сатирический памфлет дворянского олигарха Щербатова о повреждении нравов. Продукция «вольной» оппозиционной литературы, обращавшейся в рукописи, была довольно велика в XVIII в., но преувеличивать ее значение не следует. Борьба разных групп и фракций внутри помещичьего блока была «спор славян между собой», в котором и для крестьян

тогда, и для нас теперь в высшей степени безразлично «съест ли собака свинью или свинья собаку». Либерал Герцен мог сочувствовать олигархическому конституционализму Щербатова. Для нас Щербатов или Екатерина II так же безразличны, как У-Пей-Фу или Ень-Си-Шань. В большинстве случаев, правда, «оппозиционеры» талантливей, умней и откровенней своих противников, и это может располагать в их пользу. Но борьба шла даже не между экономически различными группами дворянства, как она шла например в эпоху крестьянской реформы. Это были чисто технические вопросы: как наиболее целесообразно организовать дворянское государство, что важней—сильная власть представителя класса как целого или личная независимость отдельных членов класса. После пугачевщины, как указал еще Покровский, стало ясно, что ради общих классовых интересов придется пожертвовать индивидуальными претензиями, и установился диктаторский режим, существо которого ничуть не менялось от того, кто стоял во главе диктаторского аппарата—Потемкин, Зубов или Павел I. «Оппозиция» теряет даже и тот принципиальный характер, который она имела еще у Щербатова, и становится оппозицией отдельным лицам. Но проблема организации дворянской власти так, чтобы удовлетворить всех, была квадратурой круга. Крестьянская опасность требовала сильной власти, сильная власть требовала бесконтрольности ее носителя, бесконтрольность порождала «тиранов», «вторых Сарданапалов», которые расточали богатства страны истинно по-царски и не стеснялись с индивидуальными представителями своего класса. Но пока они пеклись об общих интересах класса, они могли позволять себе очень многое с отдельными дворянами, даже с каждым отдельным дворянином. Потемкина и Зубова ненавидели почти все, но оппозиция им дальше простого бузотерства не шла, так как даже великолепные инвективы Державина—не больше чем простое бузотерство. Но когда Павел I, четыре года безнаказанно издевавшийся над дворянами, на пятый год, объявив войну Англии, пошел против интересов дворянства, он был немедленно убит. Выделять оппозиционную литературу XVIII в. как сколько-нибудь более близкую нам, чем неоппозиционная, так же бессмысленно, как бессмысленно было бы сближать Алексея Орлова, убившего Петра III, или Палена, организовавшего убийство Павла I, с Каракозовым или Желябовым.

Но если «борьба» внутри дворянства не отражает никаких классовых противоречий, не было ли классовой борьбы между дворянством и третьим сословием, как полагается в сословной монархии?

Утвердительный ответ на этот вопрос дают столь разные авторы, как Виктор Шкловский и В. Десницкий. Последний развернул это положение с полной четкостью в своей вступительной статье к недавно вышедшему в «Библиотеке поэта» тому, посвященному и р о и - к о м и ч е с к о й п о э м е. В этом положении многое основано на недоразумении и на двусмысленном употреблении термина буржуазия. О буржуазии как прогрессивном классе, способном притти на смену феодальному дворянству, можно говорить только с момента, когда появляется основанная на наемном труде промышленность, когда рабочая сила становится товаром. Пока этого нет, никакой расцвет внешней торговли, никакая степень разделения труда, никакой рост товарности не создадут ни капитализма, ни буржуазии в собственном смысле. Вспомним, что Маркс («Капитал», т. III, гл. 22) говорил о разных результатах развития торгового капитала в зависимости от способа производства и как он издевался над историками, находившими в Греции и в Риме развернутый капитализм, «только» без свободных рабочих. Крепостная мануфактура (включая горную промышленность) так же мало капиталистична, как и античный эргастерий. Десницкий, впадая в совсем лирический тон, говорит о русских промышленниках, организовавших грабеж пушных богатств Аляски, как о русских Кортесах и Писарро. Аналогия правильная. Но она говорит не то, что хочет Десницкий. Кортес и Писарро были в основном феодальные фигуры, хищники, полагавшиеся целиком и полностью на силу оружия, и деятельность их, давшая такой толчок для развития капитализма в Северозападной Европе, послужила исходной точной для рефеодализации самой Испании. Торговая буржуазия вполне умещается в пределах феодального государства, особенно такого, как российское, дававшего огромный простор для грабежа колоний и для посреднической эксплоатации раздавленного податями и оброчными платежами крестьянства. Для характеристики русской буржуазии показателен факт, приводимый самим Десницким: ходатайства купцов в екатерининской комиссии о предоставлении им права владеть крепостными. Другое крыло русской буржуазии—буржуазия крепостная—этим правом фактически пользовалась: богатые шереметевские крепостные с. Иванова с разрешения барина сами владели крепостными на его имя. И не забудем, что именно купеческое темное царство выбрал Добролюбов как символ всего крепостнического уклада русской жизни. Десницкий

называет русское купечество XVIII в. «третьим сословием». Термин этот вполне законен, поскольку он подчеркивает принадлежность русской буржуазии к феодальному обществу, но совершенно незаконен, поскольку он вызывает ассоциации с французским третьим сословием и знаменитыми словами Сиейеса о «ничем», «всем» и «кое-чем». Если в России «третье сословие» было конечно «кое-чем», то в совсем другом смысле, чем хотело «стать кое-чем» французское—и ничем другим оно стать и не стремилось. Десницкий называет представления об отсутствии классовой борьбы между дворянством и «третьим сословием» идилличными и меньшевистскими. Мне кажется, что еще более идиллично и меньшевично представлять классовой борьбой то, что ею не является. Сближать русское «третье сословие» с французским есть проявление того же меньшевизма, каторый в 1905 г. представлял русскую буржуазию активной революционной силой. Подлинной идиллией явилась бы страна, где классовая борьба сводится к «борьбе» купцов с дворянами, как ее изображает Десницкий. В екатерининской России была классовая борьба и далеко не идиллическая. Но она происходила совсем не там, а на полях битв пугачевцев с царскими войсками.

Подлинная буржуазно-демократическая оппозиция появляется только около 1789 г., когда начинает намечаться перелом, предваряющий уже эпоху декабристов. К этому времени неуклонный рост отходничества оброчных крестьян—основная предпосылка создания рынка рабочей силы—начинал уже заметно изменять некоторые клетки русского общества, и Великая французская революция могла явиться и в России сигналом для первых шагов демократической мысли.

Предшественником ее является Новиков в своей позднейшей деятельности, приведшей его в Шлиссельбург. За Радищевым идет целая плеяда молодых писателей, начиная с молодого Крылова, резко антикрепостнические сатиры которого так не похожи на его позднейшие басни, Пнина и его друзей.

В связи с этим возникает необходимость и для дворянства приспособиться к новым условиям и подкраситься под новую эпоху, и возникает Карамзин с его социальной мимикрией западной буржуазии.

Литература буржуазно-демократической оппозиции представляет для нас первостепенный интерес, а в ней прежде всего Радищев, изучение которого удивительно мало подвинулось вперед со времени революции. Надо всячески приветствовать подготовляемое издательством Политкаторжан полное собрание его сочинений. Надо ясно отдать себе отчет в его классовой позиции, которая была несомненно не мелкобуржуазная, а буржуазно-демократическая, т. е. сознательно ориентированная на развитие производственных сил в капиталистическом направлении. Надо изучить его со всех сторон, между прочим и как замечательного поэта, резко выделяющегося среди современников и сыгравшего крупную, еще не исследованную роль в эволюции русской поэзии. Публикуемая Гуковским и Орловым ода «Древность», которую они, мне кажется, вполне убедительно приписывают Радищеву, дает чрезвычайно много нового для понимания его как поэта.

Что же касается до остальной «буржуазной» литературы XVIII в., то за немногими исключениями она лишена революционной и вообще идеологической ценности. Но она представляет большой интерес как дающая наиболее яркое реалистическое искусство XVIII в. Этот реализм не имеет еще идеологической заостренности против изображаемой крепостнической действительности. Но всякий реализм имеет для нас свою неотъемлемую ценность. Возникает однако проблема о подлинной классовой сущности этой литературы и о соотношении дворянского и «буржуазного» реализма. Между салонным реализмом Фонвизина, критикующего невежественное провинциальное дворянство, довольствующееся унаследованной от отцов эксплоатацией своих крестьян, с точки зрения столичного «просвещенного» дворянина, участвующего и в коллективной эксплоатации всей империи при помощи государства (публикуемый здесь ранний вариант «Недоросля» с необыкновенной ясностью, даже наивностью, несвойственной зрелому Фонвизину, обнажает его точку зрения), и реализмом Василия Майкова разница очень велика. Но есть ли это классовая разница? «Салонизация» дворянства пришла сравнительно поздно. У старшего поколения екатерининских дворян, даже образованных, вкусы были «грубые» и «мужицкие» и кабаку они были далеко не чужды. Вообще не следует преувеличивать бытовую обособленность дворянства от других классов для середины XVIII в. и смешивать бытовые границы с классовыми. Вспомним хотя бы солдатскую службу Державина. Но эта бытовая близость отнюдь не лишала дворянина его классового самосознания, как показывает известный случай, когда Державин донес по начальству о подслушанном им разговоре сочувствовавших Пугачеву его товарищей-солдат.

От буржуазии мы переходим к городскому плебейству, к той «мещанской» и «лубочной» литературе, которую презирала дворянско-академическая наука, но на кото-

рую обратила внимание нео-народническая. В этой области марксистскому литературоведению предстоит прежде всего пересмотреть народнические конструкции. Надо ясно—а это может быть сделано только при ведущей роли историков—выяснить социальную природу городского плебейства; роль в его составе предпролетариата; состав солдатской массы (которую для XVIII в. нельзя рассматривать как чисто крестьянскую); роль крепостной прислуги; установить границу между эксплоатируемым плебейством, и прослойкой, в бытовом отношении очень близкой к нему, но классово принадлежащей к лагерю эксплоататоров—пресловутыми «подъячими». Здесь опять ясно выступает необходимость не смешивать бытовое сходство с классовым содержанием. В другом плане надо различать то чтиво, которое в сущности шло от дворянских объедков, от подлинного творчества городских разночинцев. Первое было несомненно о р у д и е м крепостнического господства, как таким же орудием буржуазного господства является массовая халтурная литература Запада. Второе неизмеримо интересней. Систематическое и организованное изучение его с установкой на построение подлинной истории городского плебейства в крепостническую эпоху—очередная задача нашего литературоведения. При этом, мне кажется, следует обратить особенное внимание на судебные дела, так как несомненно лучшая и наиболее действенная часть этой литературы могла сохраниться только поскольку она попадала в лапы угнетательского государственного аппарата в качестве обвинительного материала против ее авторов и распространителей.

Одной из основных задач исследования плебейской литературы должна быть увязка ее с творчеством крестьянским. Крестьянское творчество конечно является самым интересным полем для марксистского литературоведения. И тут сделано еще очень мало. Те отражения пугачевского восстания, которые мы имеем, при всей их внутренней значительности не могут удовлетворить нас. И тут опять, мне кажется, судебные дела должны быть наиболее благодарным полем. Но розыском нового материала мы не должны ограничиваться. И тут надо стремиться к тому, чтобы дать общую картину, историю крестьянского творчества крепостной эпохи. Надо выяснить роль разных групп крестьянства. При слабом классовом расслоении крепостной деревни группы эти будут прежде всего территориальные, горизонтальные, как например, уральские и алтайские заводские крестьяне; крепостные и посессионные фабричные центра; казаки; государственные крестьяне Севера. Надо выяснить степень патриархальности разных групп, их восприимчивость к революции, идеологию этой революции; роль попов как проводников нужной помещикам идеологии; роль раскольников и т. д. Другая задача, которой марксисты пока не касались, это выяснение соотношения между сравнительно скудными памятниками крестьянской письменной литературы и устной словесностью и введение последней в общую картину крестьянского творчества в его историческом движении. Крупнейшей из частных задач должно стать опять-таки систематическое изучение того, как выразилось в крестьянском (и плебейском) творчестве Пугачевское восстание.

Исследование плебейской и крестьянской литературы—самая привлекательная для литературоведа-марксиста задача и в то же время та, в которой больше всего остается сделать. Поэтому литературоведческие силы должны быть брошены в основном на эти участки. В отношении дворянской литературы задачи совершенно другие. Материала в этой области даже слишком много. Многое конечно остается неопубликованным, но в публикации такого рода материала надо проявить воздержанность и выдержанность: публиковать только то, что действительно бросает новый свет на существенные проблемы, и совершенно пресечь беспринципное опубликование неизданного только потому, что оно неиздано. Ценно опубликование такого материала, как например болотовский, потому, что он ярко рисует эту типичную фигуру крепостника и способствует вскрытию природы помещичьей культуры XVIII в., или княжнинский, поскольку он разрушает еще одну либеральную легенду об оппозиционном помещике. Конечно и материал чисто литературный может представлять интерес, но именно тут надо избежать беспринципного регистраторства, экономить бумагу и строго отбирать полезное от бесполезного. При этом отборе надо конечно исходить из общей оценки дворянской литературы XVIII в.

Какая же может быть эта оценка? В основном очень низкая. В основном нам нет нужды ревизовать оценки Белинского, хотя в отдельных пунктах и возможны поправки. И причины, которые выставлял Белинский для обоснования своей оценки, остаются в значительной мере в силе: дворянская литература XVIII в. подражательна и бессодержательна, т. е. дает мало адэкватное и скудное выражение идеологии и психологии своего класса. Главный интерес, который ей можно приписать, интерес теоретический, о котором я говорил в начале статьи, поскольку она бросает свет на проблемы международного воздействия. Затем она представляет и известный

формальный интерес—с точки зрения эволюции литературного языка стихотворных форм. Помимо этого дворянская литература в основном представляет мало ценности и мало интересна, и исследование ее должно быть подчинено историческим интересам, интересам выяснения социальных взаимоотношений крепостнического общества.

Есть однако участки, которые надо исключить из этой общей оценки. Сюда относится прежде всего реалистическая струя, идущая еще от Кантемира, которая незаметно переходит в буржуазную и о которой в связи с последнею я уже говорил. Вообще говоря, реализм не свойственен феодальному искусству. Возможность реализма в дворянской литературе обусловливается своеобразным характером русского феодализма XVIII в. в ряду других феодальных обществ. Русский феодализм XVIII в. был феодализм без традиций, без обычая, ориентированный на хищническую экспансию, поэтому он был восприимчив на известные стороны буржуазной культуры, те, которые облегчали эту экспансию; поэтому же он был относительно свободен от поповщины, которую сохранял только для «обуздания черни», совсем по Вольтеру. При этом он оставался чисто феодальным: накопленные огромные богатства потреблялись непроизводительно, а достигнутая свобода от религии (очень относительная конечно) приводила к «материализму» чисто практическому в виде не связанного никакими нормами эпикурейства.

Все это создавало атмосферу, которая в реальной жизни только осложняла, а отнюдь не смягчала и не облагораживала феодального варварства: буржуазные наблюдатели с Запада воспринимали «европеизм» русского дворянства как элемент, подчеркивающий и усиливающий их варварство. Но в специфической области искусства эта своеобразная атмосфера давала возможность развития весьма своеобразных явлений, сближающих вершины дворянской поэзии XVIII в. с прогрессивными эпохами человечества—с Ренессансом.

Что для научного творчества эта атмосфера не была благоприятна, мы знаем из судьбы Ломоносова. Дворянскому государству были нужны ученые артиллеристы, горные инженеры, архитекторы, мозаисты. «Быстрых разумом Невтонов» своих ему совсем не нужно было, их можно было использовать из-за границы, из вторых рук. Поэтому ученая карьера Ломоносова и была так трагична. Наоборот: для поэтического дарования Ломоносова та же самая атмосфера была скорее благоприятна, и его научное вдохновение нашло себе богатое выражение в его лирике. Оно поднимается значительно выше общего уровня дворянской литературы (к которой он все-таки принадлежит) и принадлежит к малому числу безотносительно ценных художественных выражений XVIII в. Другое такое выражение—Державин, наиболее яркое проявление в русской литературе добуржуазной поэзии. На Державине наше литературоведение может учиться тому, что Маркс признавал самой трудной задачей в отношении к классово чуждому искусству прошлого—объяснить, почему оно может «доставлять художественное наслаждение», несмотря на свою классовую враждебность и идейную примитивность.

Признание ценности Державина отнюдь не должно заслонить его полной враждебности. Тем менее допустимо переносить это признание на остальную дворянскую литературу XVIII в. Эта последняя не может рассчитывать на какое-либо возрождение, она сохраняет свой интерес только как часть огромного архива прошлого, который весь может быть использован для всестороннего изучения истории. В этом архиве она занимает один из отдаленных закоулков.

Резюмируя, можно сказать, что основной задачей марксистского изучения XVIII в. должно быть исчерпывающее изучение социально близкой нам литературы крестьянской и плебейской с установкой на построение цельной и полной идеологической истории эксплоатируемых классов крепостной России,—предков рабочих и крестьян, ныне строящих бесклассовое общество. Рядом с этим—но не смешивая с предыдущей—задача полного изучения русской демократической мысли в ее ранне-буржуазных истоках: Радищева и его окружения. Наконец изучение и оценка отдельных вершин дворянской поэзии в связи с общей задачей критического освоения достижений добуржуазного искусства эксплоататорских классов.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Д. МИРСКОГО

Статья И. Сергиевского

Печатаемая выше статья Мирского заслуживает самого пристального внимания хотя бы уже по одному тому, что она представляет собой, по сути дела, первую попытку поставить вопрос о путях изучения русской литературы XVIII в. во всей его широте и сложности. Она тем более интересна, что свои определения и оценки Мирский пытается строить, исходя не из туманных соображений о большей или меньшей эстетической ценности литературы той эпохи в сравнении с литературой позднейшей, а из анализа ее классового содержания. Это—основное достоинство статьи.

Наряду с этим она страдает однако и целым рядом недостатков. Среди них первое место занимает тот, что, воссоздавая общую картину расстановки классовых сил и их взаимодействия в феодально-крепостническом обществе, Мирский допускает ряд крупнейших принципиальных ошибок, совершенно искажающих подлинный социально-экономический рельеф эпохи.

К числу таких ошибок относится прежде всего выдвигаемое Мирским утверждение о чисто крепостническом характере социально-экономического уклада России XVIII в., о полном отсутствии в нем каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса. Совершенно очевидно, что развернутых промышленно-капиталистических отношений в рассматриваемую эпоху Россия не знала. Но элементы промышленного капитализма, хотя и в весьма неразвернутом виде, были налицо: в вольнонаемной мануфактуре, о которой ни единым словом не упоминает Мирский, в еще большей степени—в крестьянском хозяйстве, в крестьянских промыслах. Другой общеизвестный факт, о котором напрасно забывает Мирский,—факт начала перестройки, хотя пока еще довольно вялой, сельского хозяйства во второй половине XVIII в.: недаром именно в это время возникает Вольно-экономическое общество, оживленно дискутируется вопрос о наиболее рациональных методах эксплоатации крестьянства и т. д.

С другой стороны, Мирский совершает не менее грубую ошибку, утверждая, что Европа XVIII в. была страной уже вполне буржуазной. Это опять-таки неверно. Вполне буржуазной Европа становится лишь несколько десятилетий спустя, когда и в России процесс промышленно-капиталистического перерождения феодально-крепостнического хозяйственного уклада переходит уже на высшую, при этом высшую в качественном отношении ступень.

Ошибочность обоих этих утверждений приводит к тому, что в корне неверной оказывается у Мирского и предлагаемая им характеристика эстетической культуры русского дворянства XVIII в. как культуры, которая стоит к Западу в отношении подражания, в отношении неорганического усвоения социально чуждых форм.

Дальше он, правда, пытается уточнить свои исходные формулировки, отмечая, что западноевропейская эстетическая культура XVIII в., несмотря на всю свою буржуазность, хранила в себе еще целый ряд элементов феодального прошлого и что именно этой своей стороной она оказалась родственной эстетической культуре русского дворянства XVIII века.

Суждение в известном смысле вполне здравое и основательное. Но прежде всего оно вступает в явное противоречие с предыдущим суждением о вполне буржуазном характере Европы того времени: раз какие-то рудименты феодализма в ее социально-экономическом и культурном укладе сохранялись, значит вполне буржуазной она не была, значит какими-то своими точками господствовавшая в ней система общественных отношений совпадала с системой общественных отношений, господствовавших в России. А тем самым—значит, что по меньшей мере неточной должна быть признана характеристика европеизма русской культуры XVIII в. как явления абсолютно неорганического, поверхностно-подражательного. Здесь у Мирского полу-

чается путаница, отнюдь не способствующая четкости и завершонности развертываемой им концепции.

Затем неверно, что, обращаясь к идеологическим фондам Запада, Россия черпала из них только то, что являлось продуктом инерции феодального прошлого. Если согласиться с этим, то как быть например с русским вольтерианством XVIII в.? Ответ, который предлагает на этот вопрос Мирский, поистине представляет собою верх всяческой несуразицы. У Мирского получается так, что заигрывание—пользуемся его же терминологией—с Вольтером и с французским просветительством вообще для русского дворянства той эпохи играло роль своего рода полировки крови, развлечения, приятно щекочущего нервы и своей остротой подчеркивающего полное благополучие феодально-крепостнической действительности.

Надо ли говорить о том, насколько наивно это грубо-психологистическое объяснение? Для Мирского оно является однако единственно возможным и последовательным, ибо, признав подлинный смысл вольтерианства в том, что оно являлось одним из проявлений зреющих в недрах феодально-крепостнического общества буржуазных отношений и буржуазного сознания, он должен был бы отказаться от своего положения о полном благополучии русского феодализма, об отсутствии у него каких бы то ни было классовых конкурентов, короче—о чисто феодальном характере России XVIII в. А это разрушило бы всю его концепцию.

Чем дальше углубляется Мирский в дебри своих исторических рассуждений, тем путаннее они становятся. Уже в прямой и открытый конфликт с исторической правдой он встает, отрицая факт борьбы между различными группировками дворянства. По его мнению все дело сводилось здесь так сказать к домашним спорам о том, как наиболее целесообразно организовать дворянское государство, при чем спорили даже не экономически разнородные группы дворянства. Мысль эта страдает двумя существенными дефектами. Во-первых, она не очень-то вразумительна. На Западе буржуазия спорила с дворянством тоже главным образом о том, как более целесообразно организовать государство, но вряд ли Мирский будет отрицать, что эти споры носили все признаки весьма длительной и ожесточенной борьбы. Так что не в этом дело.

Во-вторых, она не верна. Позволительно спросить Мирского: если боролись не экономически разнородные группы дворянства, то почему же они все-таки боролись, почему одни считали наиболее целесообразной одну организацию дворянского государства, а другие—другую? Или более дальновидные дворяне спорили с менее дальновидными, умные—с глупыми? Такой ответ был бы вполне в стиле психологистических рассуждений Мирского.

Все это в действительности обстояло конечно иначе. Боролись конечно не умные дворяне с глупыми, а боролись дворянские группировки, экономика, а следовательно и политические интересы которых были различны. Основными противустоявшими силами были при этом, с одной стороны, высшее дворянство, придворная знать, являвшаяся вплоть до пугачевщины цитаделью всяческого политического фрондерства, с другой стороны—среднепоместное и мелкопоместное шляхетство, служившее постоянной опорой самодержавия в его борьбе с олигархическими тенденциями дворянских верхов. Содержание этой борьбы, ее основные этапы,—все это достаточно общеизвестно. Отсылаем здесь Мирского хотя бы к трудам М. Н. Покровского, в роли непрошенного защитника которого пытается, кстати сказать, выступать Мирский, не упуская однако при этом случая обронить несколько фраз о неточности и недостаточности созданной М. Н. Покровским концепции.

Преувеличивать значение этой борьбы между отдельными дворянскими группировками конечно не следует,—в этом мы согласны с Мирским. Но отрицать самый факт ее существования, как пытается он делать это в начале, или объявлять ее лишенной каких бы то ни было социально-экономических предпосылок, как поступает он далее,—значит заниматься именно тем, в чем не совсем справедливо упрекает он Шкловского: на основании нескольких прочитанных книг, журнальных статей и справочников пытаться ревизовать построения марксистско-ленинской историографии. Думается, что в этом отношении Герцен, кстати сказать, с какой-то нигилистической неразборчивостью в выражениях награждаемый Мирским снятой с него еще Лениным кличкой либерала,—Герцен, интересовавшийся этой борьбой и издавший публицистический трактат Щербатова, стоял на более научных позициях, чем наш автор.

Не следует преувеличивать значения литературных отражений этой борьбы. Но не следует и преуменьшать. Нужно учитывать, что на основе этой борьбы выросла не только широко разветвленная рукописная сатирическая литература, но и творчество такого во всех отношениях незаурядного поэта, каким был Княжнин.

А главное—не следует воскрешать старых, пусть в свое время вполне оправданных, басен о безыдейности, бессодержательности дворянской литературы XVIII в. Как раз оперативность—говоря языком нашей эпохи—определенных ее пластов, ее теснейшая связь с социальной практикой дворянства—одно из характерных ее свойств, придающих ей определенный интерес и для нас. Один из участников настоящего сборника говорит о том, что стихотворения Державина играли роль своего рода негласной прессы, предоставляя читателю и сатирический фельетон, и передовую статью. Это вернее и убедительнее извлекаемых Мирским из архива либерально-дидактической историографии легенд о поэзии—сладком лимонаде.

Грубую ошибку делает Мирский там, где, говоря о буржуазно-демократической оппозиции в русской литературе XVIII в., он называет одного только Радищева и ставит крест на всей прочей буржуазной литературе эпохи, лишенной по его мнению всякой идеологической ценности. Это опять-таки пример того, как критическое отношение к литературному наследию подменяется мелкобуржуазным историческим нигилизмом, писаревщиной, если только не пример простого недомыслия.

К последнему предположению дает повод, собственно говоря, следующее обстоятельство: сурово расправившись с буржуазной литературой XVIII в. с точки зрения ее революционности и ее идеологической ценности, Мирский тут же прибавляет, что она интересна как наиболее реалистическое искусство той эпохи. Но разве самый факт ее реалистичности, ее обращенности к жизненной действительности, в противоположность идеалистическому, абстрактному аристократическому искусству классицизма, не имел определенного революционизирующего значения, не обусловливал за ней значения диалектически высшего этапа литературной борьбы той эпохи? Все это достаточно просто и понятно.

Мирский однако стоит на своем: да, буржуазная литература XVIII в. была реалистична; как всякая реалистическая литература она имеет для нас неотъемлемую ценность, но присущий ей реализм, видите ли, не заострен идеологически против изображаемой крепостнической действительности. Этот упрек отводится уже соображениями, высказанными выше. Здесь мы можем только пополнить их.

В самом деле, раз литература буржуазии XVIII в. есть искусство реалистическое, то тем самым она уже заострена против всего, что было реакционного и инертного в современном ей жизненном укладе. Ибо подлинно реалистично искусство не просто тяготеющее к реально-бытовому материалу, а искусство исторически правдивое, верное жизненному процессу. Только при таком его понимании и можно говорить о нем как об искусстве, всегда имеющем для нас неотъемлемую ценность, и если Мирский представляет себе дело иначе, о какой же его ценности он говорит?

Таковы вопиющие противоречия возводимой Мирским научной (не правильнее ли было бы взять это слово в кавычки?) концепции русской литературы XVIII в., противоречия, в массе которых решительно тонут те дельные замечания, которые встречаются в его статье, например о литературе городского плебса, о литературе крестьянства.

Остается прибавить только, что мы останавливаемся лишь на важнейших и существеннейших его ошибках, минуя отдельные частные формулировки, нередко не менее дикие. Его утверждение о том например, что литература XVIII в. отделена от литературы XIX в. глубоким качественным изменением, сопровождавшимся почти полным разрывом литературной традиции, совершенно беспредметно. Достаточно указать на витийственную, прямо опирающуюся на философскую оду Державина лирику поэтов-любомудров типа Шевырева или Хомякова.

Его мысль о том, что русский романтизм с Пушкиным во главе явился идеологическим эквивалентом промышленно-капиталистических сдвигов, пережитых русским народным хозяйством в начале XIX в.,—более чем спорна. Какой романтизм? Если тот, наиболее ярким выражением которого явились южные байронические поэмы Пушкина с их уходом от действительности, с их скорбническими настроениями, то он в гораздо большей степени связан с феодально-дворянской реакцией на первый взрыв буржуазной идеологии в России, нежели с самым этим взрывом.

Но это, повторяем, мелочи. Нас интересовали в первую очередь те ошибки Мирского, которые придают в значительной мере фантастический характер его общей концепции.

Конечные наши выводы в общем итоге таковы: вопросы, которые ставит Мирский в своей статье, весьма существенны и поставлены они весьма своевременно. Но, пытаясь дать цельный и исчерпывающий ответ на эти вопросы, Мирский допустил большую путаницу. Поэтому и ценность его статьи—по преимуществу негативная, отрицательная, и только некоторые его суждения, сосредоточенные главным образом в конце его статьи, имеют бесспорно положительное значение для дальнейшей разработки трактуемых в статье проблем.

ХРОНИКА

XVIII ВЕК В «БИБЛИОТЕКЕ ПОЭТА»

Издательство писателей в Ленинграде предприняло по инициативе Максима Горького и под его общей редакцией издание «Библиотеки поэта». Каждый из выпусков «Библиотеки» будет заключать полное или избранное собрание стихотворений какого-либо поэта, подбор произведений поэтов одной школы, произведений одного жанра и т. д. Нет сомнения, что издание это будет крупным событием нашей литературной и литературоведческой жизни. Оно не только познакомит советский писательский молодняк, а за ним и широкие читательские массы с наследием классической русской поэзии, но и поможет новому осмыслению этого наследия. С этой точки зрения особо важное значение приобретает развернутый комментаторский аппарат, которым снабжен каждый выпуск «Библиотеки»: вступительные статьи, пояснительные примечания, словари, библиография. Самый текст произведений, вновь научно обработанный, даст возможность полнее и четче осознать классовое лицо и творческий метод того или иного поэта. Не говорим уже о том, какое большое значение имеют включаемые в различные выпуски «Библиотеки» поэтические тексты, публикуемые впервые.

Хронологический диапазон издания чрезвычайно широк—все оно должно охватить поэтическое наследие прошлого, от Тредиаковского до XX века.

XVIII столетию в «Библиотеке» отведено не последнее место.

В качестве первого ее выпуска в настоящее время вышел том избранных стихотворений Державина. Здесь помещена статья Максима Горького о целях и задачах издания. Редакция текстов и комментарий принадлежат Г. А. Гуковскому, вступительная статья о творчестве Державина написана И. Виноградовым. Том содержит ряд неизданных до сего времени стихотворений Державина. Кроме вступительной статьи и комментария дана биографическая канва, краткая библиографическая сводка, словарь архаизмов и мифологических понятий.

Находится в производстве следующий выпуск «Библиотеки», представляющий собою собрание избранных стихотворений Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова. Том этот, объединяющий произведения трех поэтов-антагонистов середины XVIII в., строится следующим образом.



СИЛУЭТ Г. Р. ДЕРЖАВИНА, СДЕЛАННЫЙ ЕГО ЖЕНОЙ Е. Я. ДЕРЖАВИНОЙ
Институт Русской Литературы, Ленинград
Из иллюстраций к „Стихотворениям“ Державина (1933 г.)

В начале идет вступительная статья С. М. Бонди обо всех трех поэтах. Далее дается биографическая справка о Тредиаковском, снабженная необходимыми библиографическими указаниями, и его стихотворные тексты. Необходимо отметить, что этот поэт вовсе не известен советскому читателю, хотя бы уже по одному тому, что до сих пор не существовало сколько-нибудь научного издания его сочинений. При подготовке настоящего выпуска «Библиотеки» пришлось извлекать его стихотворения из отдельных редких изданий XVIII в., из предисловий к прижизненным изданиям его ученых переводов. Трудность текстовой работы усугублялась еще тем, что Тредиаковский часто и значительно перерабатывал свои вещи и что каждый раз поэтому приходилось особо выяснять, какую из существующих редакций следует принимать за основную.

Открывается этот раздел сборника ранними силлабическими стихотворениями Тредиаковского, далее следуют стихотворения переходной поры—с 1735 по 1750 г., затем стихи из его «Сочинений и переводов» (1752), «Аргениды» (переводные), наконец отрывки из «Телемахиды», дающие материал к характеристике политического мировоззрения Тредиаковского. В виде приложения даны переводы на русский язык французских стихотворений Тредиаковского и одного латинского стихотворения, сделанные специально для «Библиотеки» М. А. Кузьминым.

Ломоносов представлен в сборнике своими одами, надписями, отрывками из «Петра Великого», сатирическими стихами, эпиграммами и т. д. Так же как и о Тредиаковском, собранию его текстов предпослана биографическая заметка о нем. Тексты Ломоносова пришлось также заново сверять с прижизненными изданиями и рукописями, так как старое академическое издание, редактировавшееся в части художественных произведений Ломоносова М. И. Сухомлиновым, уже не может удовлетворить современным научным требованиям.

Сумароков представлен в сборнике особенно широко. Учтены и его оды различных видов, и элегии, и песни, и эпистолы, и сонеты, и сатиры, и басни, и эпиграммы, и литературные пародии, и т. д. Тексты Сумарокова, так же как и тексты Ломоносова, печатаются в последней прижизненной редакции. В данном случае принцип этот не всегда может быть признан бесспорным.

Завершают сборник три перевода каждого из представленных в нем поэтов оды Ж.-Б. Руссо «К счастью», за которыми следует комментарий. Общая редакция сборника принадлежит акад. А. С. Орлову.

Один из дальнейших выпусков «Библиотеки» посвящен «Ирои-комической поэме XVIII века». Редакция текста и комментарий принадлежат здесь Б. В. Томашевскому, вводная статья—В. А. Десницкому. Жанр этот представляет большой интерес не только в плане собственно литературном, но и по заключенному в такого рода произведениях обильному бытовому материалу, а также и потому, что обычно в них отчетливо выступает социальное мировоззрение их авторов. Кроме того такие произведения были обычным полем битв различных литературных школ и направлений.

На протяжении XVIII в. комическая поэма развивалась в двух направлениях, связанных с различными литературными установками тех или иных социальных групп. С одной стороны, это—собственно ирои-комическая поэма Майкова, Чулкова, с другой стороны—поэмы «наизнанку»: произведения Осипова, Котельницкого, Наумова, Люценко. Особо стоит поэма начала XIX в.

В соответствии с этим сборник распадается на три части, каждой из которых предпосылается особая вступительная заметка. Первая часть заключает поэмы Майкова—«Игрок Ломбера» и «Елисей или раздраженный вакх», произведения Чулкова—«Стихи на качель», «Стихи на семик», «Плачевное падение». И о Майкове, и о Чулкове даны небольшие заметки. Второй раздел книги содержит произведения Осипова «Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку» (части 1—4), продолжение той же поэмы Котельницкого (части 5—6), «Ясон, похититель золотого руна во вкусе нового Енея. Российское сочинение» Наумова, «Похищение Прозерпины» Люценко.

О каждом из этих поэтов также даны небольшие заметки. Наконец последний раздел сборника содержит поэмы Василия Пушкина «Опасный сосед» и Шаховского «Расхищенные шубы». Затем следуют примечания и словарь.

К этому же циклу выпусков «Библиотеки» примыкает сборник стихотворений поэтов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств под редакцией и с примечаниями В. Н. Орлова. Так как материал этот вводится в научный обиход по существу впервые, считаем необходимым остановиться на нем несколько подробнее.

Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, основанное группой молодых литераторов в 1801 г. (первое время оно называлось Обществом любителей изящного), до настоящего времени не изучено ни в его составе, ни в его литературной продукции. История русской литературы незаслуженно обошла своим вниманием таких примечательных поэтов, как Пнин, Востоков, Беницкий, Каменев, Попугаев, Борн, Алексей Волков и др. Между тем группа этих поэтов занимала видное положение в литературно-общественной жизни восьмисотых годов и сыграла очень крупную роль в истории развития радикально буржуазных идей в России. В свое время литераторы Вольного общества являлись прямыми (и единственными) наследниками русских вольнодумцев XVIII ст. В литературной практике Пнина, Попугаева, отчасти Востокова и ряда других менее заметных поэтов Вольного общества отчетливо различаются также корни той боевой «гражданской» поэзии, которая позже, в эпоху 1810—1820 гг., нашла свое выражение в творчестве Рылеева, Вл. Раев-

ского, Кюхельбекера и других декабристских поэтов. Философские и социально-политические мнения поэтов и публицистов Вольного общества слагались под влиянием идей просветительной литературы XVIII в. Почти все они не только читали, но и переводили философские,



В. И. МАЙКОВ
Портрет маслом неизвестного художника
Институт Русской Литературы, Ленинград

этические, политико-экономические, юридические, педагогические и исторические труды виднейших радикалов — буржуазных идеологов; все без исключения «исповедывали» руссоизм не только как литературную, но и как социально-политическую доктрину, с его критикой «неравенства» и проповедью «естественной свободы»; некоторые из них (Пнин) усвоили четкое материалистическое мировоззрение. Группа поэтов Вольного общества интересна также и по своей социальной природе: это—мелкопоместные служилые дворяне и главным образом ранние представители разночинно-демократической интеллигенции («незаконные» отпрыски благородных фамилий, выходцы из купеческих, мещанских и духовных кругов), занимавшие резко обособленное положение в дворянской литературе начала XIX в. И, наконец, творческое наследие поэтов Вольного общества в корне меняет традиционные представления о литературном движении 1790—1800-х годов, расширяет и диференцирует вопрос о классовой природе русского сентиментализма, заново ставит проблему зарождения преромантического стиля. Кроме того и по своим художественным достоинствам стихотворения таких хотя бы поэтов, как Пнин, Востоков и Беницкий, занимают далеко не последнее место в ряду памятников «классической» русской литературы.

Поэты Вольного общества забыты весьма основательно. Только двое из них (Востоков и Остолопов) удосужились при жизни издать собрания своих стихотворений, впрочем далеко не исчерпывающие их литературного наследия. Стихотворения всех остальных поэтов никогда не были собраны воедино, они остаются погребенными в малодоступных старинных журналах и сборниках и до настоящего времени даже не зарегистрированы библиографически. Задача антологии, имеющей выйти в Издательстве писателей,—воскресить поэтов Вольного общества именно как цельную группу, как своего рода литературную школу, единую по своему составу и идеологии. В книге будет собрано (полностью или частично) литературное наследство следующих поэтов: Пнина, Востокова, Беницкого, Каменева, Борна, Попугаева, А. Волкова, Н. Радищева, Остолопова, А. Измайлова, Д. Бринкена, Ф. Ленкевича, В. Красовского, М. Михайлова, И. Аристова, И. Кованько, Ф. Вронченко, С. Капниста, Н. Судакова, А. Олешева, В. Вельяминова-Зернова, С. Москательникова, А. А. Писарева и др. Это—первый состав Вольного общества, примерно в 1810—1811 гг. Общество фактически распалось и вновь возродилось уже в качестве вполне беспартийного, полуофициального объединения, и литературно и идеологически стоявшего на нейтральных позициях (стихотворения поэтов, вступивших в Общество в этот второй период его существования, в сборник не включаются).

В процессе работы над книгой были обследованы различные архивные фонды. Обследование это неожиданно дало очень богатые результаты. Наиболее ценные литературные и документальные материалы были извлечены из архива Вольного общества (хранящегося в библиотеке Ленинградского университета), из архива А. Х. Востокова (в Академии Наук СССР), из отдельных собраний Института Русской Литературы Академии Наук СССР, Ленинградской Публичной Библиотеки, Ленинградского отделения Центрархива и др. В результате архивных разысканий в книжке будут опубликованы неизвест-

ные доселе стихотворения Пнина, Востокова, Попугаева, Борна, Волкова, Измайлова и других поэтов, а также будут внесены существенные исправления и дополнения в печатные тексты. Материалы протоколов Вольного общества дали возможность установить точные датировки и проследить «творческую историю» отдельных произведений.

Аппаратуру издания составят: вводная статья, история Вольного общества, отдельные критико-биографические очерки о каждом поэте, а также библиографический, историко-литературный и реальный комментарий к текстам. В значительной своей части история общества, биографические очерки и комментарии строятся на неизданных материалах.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ РАДИЩЕВА

В настоящее время идет подготовка к изданию полного собрания сочинений А. Н. Радищева. Как известно, вышедшие до сих пор собрания сочинений не исчерпывают даже всего известного в печати литературного наследства первого русского революционного мыслителя. К тому же издания эти, вышедшие почти одновременно после первой революции, когда снят был запрет на «Путешествие из Петербурга в Москву», давно исчезли с рынка. После Октябрьской же революции до сих пор не появилось даже ни одного издания «Путешествия».

Настоящее издание охватит все напечатанные и известные рукописные произведения Радищева. Кроме того в отделе «Dubia» будут собраны сочинения, приписываемые Радищеву с более или менее достаточными основаниями. Таким образом радищевских текстов окажется значительно больше, чем в предыдущих публикациях, и все издание займет около 100 печатных листов, распределенных на три тома. Принцип расположения материала—хронологический; исключение сделано только для стихотворных произведений, частично не поддающихся даже приблизительной датировке и объединенных в один отдел в конце первого тома. Таким образом в первый том войдут все произведения Радищева периода до ссылки и стихи, во второй—произведения сибирского периода и по возвращении и, наконец, в третий—материалы биографического порядка (записки, письма, следственное дело и т. п.).

Издание приготовляется бригадой секции по изучению революционного движения XVIII—XIX вв. при Ленинградском отделении Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев в составе Я. Л. Барскова, Г. А. Гуковского и И. М. Троцкого. Принципиальное согласие принять на себя общую редакцию издания дал И. К. Луппол. В отличие от всех прежних изданий, текст будет сопровождаться реальным комментарием, словарем и указателем. Кроме того тексту будут предпосланы вводные статьи. Предполагаются следующие темы:

1) И. К. Луппол—Философские взгляды Радищева, 2) И. М. Троцкий — Общественно-политические взгляды Радищева, 3) Г. А. Гуковский—Радищев и публицистика второй половины XVIII в., 4) Я. Л. Барсков—Биографическая канва Радищева.

Издание осуществляется Издательством Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Первый том должен выйти в свет в конце текущего года.

Одновременно издательством «Academia» предпринято новое издание «Путешествия из С.-Петербурга в Москву» под общей редакцией В. И. Невского. В издание войдут: точно воспроизведенный текст первого издания с вариантами из рукописей; обзор рукописей и списков, а также сохранившихся экземпляров первого издания; очерк истории цензурных гонений на сочинения Радищева; примечания, указатели и вводные статьи Я. Л. Барскова и В. И. Невского.

ИЗДАНИЕ ПИСЕМ НОВИКОВА

Издательством «Academia» предпринято издание «Писем Николая Ивановича Новикова», собранных Я. Л. Барсковым, Н. П. Киселевым и покойным Б. Л. Модзалевским, под редакцией В. И. Невского. Всех писем 151: из них 51 найдено вновь. Они охватывают жизнь и деятельность Новикова с 1773 г. до его кончины (1818) и распадаются на три группы: первая относится к петербургскому периоду (1773—1779), в ней 8 писем; вторая—к московскому (1779—1792), в ней 21 письмо; третья—к деревенскому (1797—1818), когда Новиков, по выходе из тюрьмы (1792—1796), жил в родовом своем поместье, в селе Тихвинском; в этой последней группе 122 письма; они и представляют наибольший интерес. Принято думать, что катастрофа 1792 г. и заключение в Шлиссельбургскую крепость сло-

мили Новикова и круто изменили его мировоззрение; до 1792 г. это—энергичный либерал, прогрессист, организатор общественной самодеятельности, демократ; через 5 лет он опустился, впал в обскурантизм, замкнулся в кругу темных людей, мистиков и реакционеров: Лабзина, Ключарева, Рунича. От этого заблуждения следует отказаться. Жестокая кара, постигшая Новикова в 1792 г., не прошла для него бесследно, расшатала его здоровье, оборвала его издательскую и книгопродавческую деятельность, ввергла его в тяжелую нужду и задолженность; но его морально-религиозные взгляды, его социально-политические убеждения остались прежними и только окрепли под влиянием «огненных крестов». Письма из Тихвинского, подобно «Исповеди» Руссо, освещают весь жизненный путь Новикова, дают цельный и законченный образ самого деятельного и наиболее влиятельного из русских масонов XVIII в.; вступив на этот путь в 1775 г., Новиков остался ему верен до гроба.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ИВАНА ПНИНА

Литературное наследие Ивана Петровича Пнина (1773—1805) до настоящего времени остается известным только немногим специалистам-исследователям русской публицистики и литературы конца XVIII, начала XIX в. За пределами этого узкого круга самое имя Пнина если известно, то только понаслышке. Между тем в ряду русских вольнодумцев Пнин имеет преимущественное право на внимание.

В истории становления и развития ранних радикально-буржуазных идеологий деятельность Пнина—одна из интереснейших и поучительнейших страниц. Занимая крайнюю позицию на левом фланге русских либералов 1790—1800-х годов, развивая с большой последовательностью и глубоким убеждением идеи материалистической философии, резко критикуя социально-политические основы феодально-крепостнического строя, Пнин является как бы связующим звеном между Радищевым и декабристами. Широта и принципиальность социальной критики Пнина, его гражданский пафос и незаурядное литературное дарование заслуживают того, чтобы напомнить о них современному читателю. Эту задачу взяло на себя Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, поручившее В. Н. Орлову подготовить к печати и прокомментировать «Собрание сочинений Ивана Пнина».

Пнин не принадлежит к числу плодовитых писателей; его литературное наследие (дошедшее до нас к тому же не полностью) в количественном отношении очень незначительно и составляет один небольшой томик. Но тем не менее проблема издания сочинений Пнина довольно сложна по причинам: 1) почти полного отсутствия рукописного фонда (за исключением двух-трех автографов), 2) недостоверности печатных текстов (особенно это относится к стихотворениям, напечатанным после смерти автора) и 3) крайней скудости биографических данных о Пнине, на основании которых можно было бы установить его авторство во многих спорных случаях и проследить «творческую историю» отдельных произведений. Кроме того сочинения Пнина до настоящего времени не только не были ни разу собраны воедино, но и не были учтены в полном составе.

Издание Общества политкаторжан дает текст всех известных произведений Пнина в стихах и прозе. Просмотр журналов 1790—1800-х годов и архивные разыскания дали возможность ввести в научный оборот несколько новых текстов, установить в иных случаях новые (и более авторитетные) редакции, а также доставили некоторые новые материалы для биографии автора.

Состав издания следующий:

Отдел I. Сочинения Пнина.

1. «Моя лира. Полное собрание стихотворений» (заглавие принадлежит самому Пнину: так он предполагал назвать сборник своих стихотворений, не вышедший в свет). Сюда вошло 43 пьесы, в том числе две неизданных. Первая—«Бренность почестей и величий человеческих» («Тот ныне царь—вселенной правит...»). Стихотворение это не было пропущено в печать цензурой (в 1805 г.). Вторая, в которой осмеивается Александр I и его министры, также непропущенная цензурой, приводится полностью.

КАРРИКАТУРА

(подражание Англинскому)

Что это кумушка? сказал медведь лисице,
Смотри пожалуй: Лев наш едет в колеснице
И точно на таких, каков и сам он, Львах!
Не уж-то пошли они в упряжку сами,

Не уж-то силою? Они ведь тож с кохтями?
Ты слеп стал куманёк: он едет на ослах!

Из других существенных дополнений отметим также исключенные цензурой пять строк из оды «Человек».

Скажи? Но ты в ответ вещаешь,
Что ты существу не обретаешь,
С небес которые-б сошли,
Тебя о нуждах известили
Тебя бы должностям учили
И в совершенство привели.

В печатном тексте стихи эти были заменены пятью строками точек.

2. Статьи, фельетоны и редакционные примечания, преимущественно из «Санктпетербургского журнала», издававшегося Пниным (совместно с А. Ф. Бестужевым) в 1798 г. (большинство статей, помещавшихся в «Санктпетербургском журнале», не подписано, принадлежность иных из них Пнину устанавливается в данном издании впервые).

3. «Вопль невинности, отвергаемой законом». Печатается по неизвестному прежде автографу (парадная рукопись, поднесенная Пниным Александру I,—из б. Эрмитажного собрания манускриптов). В новом автографе содержатся некоторые варианты и разночтения (преимущественно стилистического порядка), сравнительно с текстом, опубликованным в 1889 г.

4. «Опыт о просвещении относительно к России». Печатается с обширными дополнениями, сделанными Пниным для второго издания «Опыта» и непропущенными в печать цензурой (сохранились в копии в б. Московском архиве Министерства юстиции). Дополнения эти, полностью публикуемые в данном издании впервые, имеют весьма существенное значение для понимания социально-политической позиции Пнина, особенно по вопросу о крепостном праве.

Отдел II. Приложения.

1. Стихотворения и статьи (из «Санктпетербургского журнала» 1798 г.), которые по тем или иным основаниям можно приписать Пнину.

2. Переводы из сочинений Гольбаха, напечатанные в «Санктпетербургском журнале» 1798 г. Включение этих переводов в состав издания имеет очевидный смысл, поскольку Пнин был единственным «русским гольбахианцем конца XVIII века»; идеи Гольбаха оставили заметный след на всей литературной и публицистической практике Пнина (в его журнале появились в переводе три главы из «Системы природы» и восемь глав из «Всеобщей морали», факт этот был установлен И. К. Лупполом. См. «Под знаменем марксизма» 1925, № 3).

3. Стихотворения на смерть Пнина. Здесь собраны стихотворения К. Батюшкова, Н. Радищева, Н. Остолопова, А. Измайлова, С. Глинки, А. Варенцова, А. Писарева. Безвременная смерть Пнина была до некоторой степени фактом не только биографическим, но и литературным. Пнин пользовался исключительным влиянием и приязнью в кругу «Радищевцев»—молодых писателей-радикалов, объединившихся в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (незадолго до смерти он был избран председателем Общества). Смерть Пнина была для Общества тяжелой потерей и отмечена в целом ряде стихотворных и прозаических «некрологий» (а также специальным траурным заседанием Общества). Стихи на смерть Пнина, рисующие его как «поэта-гражданина», «не боявшегося правду говорить», память которого «перейдет в потомство»,—отлично передают настроения кружка и являются естественным дополнением к собранию сочинений Пнина.

4. Некролог Пнина, написанный Н. П. Брусиловичем.

Сочинения Пнина сопровождены комментарием био-библиографического, социально-исторического, историко-литературного и реального порядка. К комментарию прилагаются: 1) Биография Пнина, написанная в значительной мере на основании новых материалов (заново выясняются связи Пнина с отцом—кн. Н. В. Репниным, кн. А. Чарторижским, В. С. Сопиковым и др., его служебные и цензурные отношения и пр.). 2) Библиография всего написанного о Пнине и роспись содержания «Санктпетербургского журнала» 1798 г. Общая характеристика Пнина, его философских и социально-политических мнений дается в вводной статье И. К. Луппола. Место и роль Пнина в литературном движении его времени выясняется в статье В. Н. Орлова «Пнин-писатель».

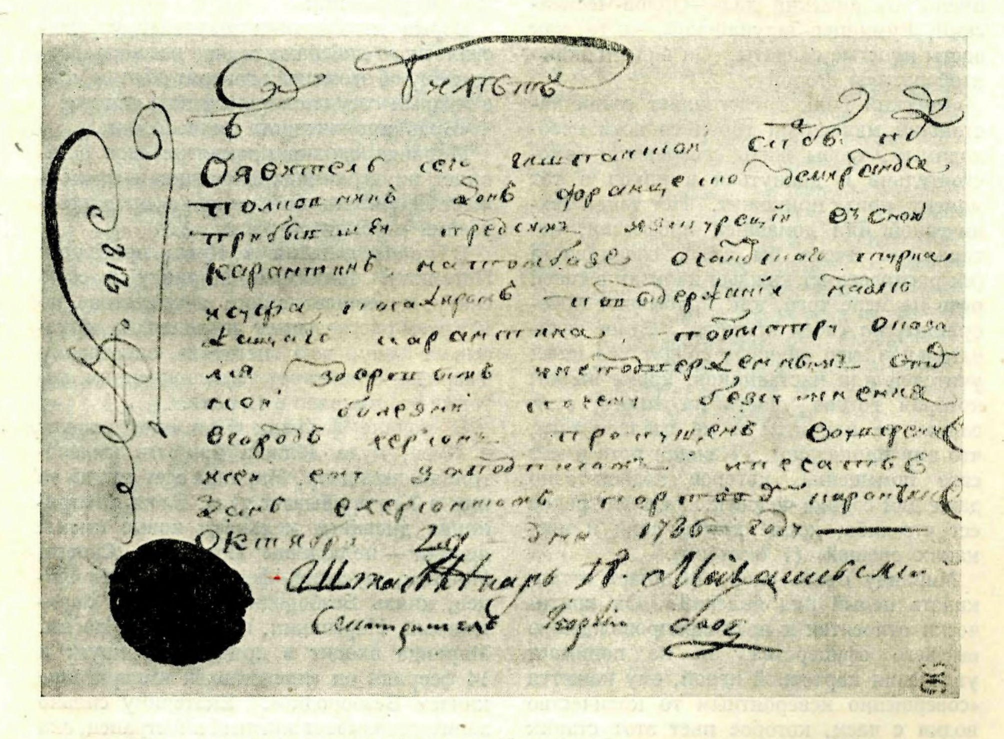
ВЕНЕСУЭЛЕЦ В ЕКАТЕРИНИНСКОЙ РОССИИ

В 1922 г. североамериканским историком Робертсоном был обнаружен в Англии архив одного из знаменитейших борцов за национальное освобождение Испанской Америки—Франциско Миранда. Спустя четыре года венесуэльское прави-

тельство откупило этот архив, перевезло в Каракас и создало по инициативе диктатора Гомеса специальную комиссию для опубликования его. До настоящего времени до нас дошли только два первые тома, которые заключают бумаги, освещающие детство Миранды, и его дневники (Archivo del General Miranda. Viajes, diarios. Editorial sur America, Caracas 1929, v. I 1750—1785, p. XII—439, v. II 1785—1787, p. XVI—476). Большую часть второго тома занимает дневник Миранды, веденный им во время пребывания в России.

носимым». Миранда сидит дома, приводит в порядок свои заметки и ждет освобождения. У него хватает мужества сочувствовать тем, кто в худшем положении. В карантине оказываются «несчастные грузинские рабыни, которые только что прибыли из Константинополя, вытребованные Россией как ее подданные. Одна вот-вот родит, но навряд ли мать не умрет до родов от холода». Она все не рожает, и Миранда посылает ей вина и одеяло.

Наконец он на свободе; 11 ноября он уже гуляет по «улицам Херсона, которые


Октября 20 дня 1786 году

Билет-удостоверение, выданный генералу Миранда в Херсонском карантине в 1786 г. Из книги „Archivo del general Miranda" (Vene-Zúela, 1929 г.)

Пропутешествовав несколько лет, побывав в САСШ, в Англии, в Пруссии, в Саксонии, в Австрии, в Венгрии, в Италии, в Греции, в Турции, генерал Миранда 7 октября 1786 г. прибыл в только что основанный и живший исключительно военной жизнью Херсон. Миранда надеялся, что рекомендательные письма, которые он привез с собой, позволят ему избежать карантина, установленного из-за чумной эпидемии в Турции. Это ему однако не удалось: срок был сокращен только на десять дней. До 9 ноября Миранда мужественно сносит тюремный режим карантина. Он спит на полу, окна в его комнате без стекол, «крыс столько, что это настоящая чума», «холода делают это дьявольское положение почти невыносимым».

непроходимы из-за грязи, глубиной не менее чем в один фут».

На свободе привезенные им письма сразу оказывают магическое действие: иностранец принят военными-аристократами, находящимися в Херсоне: князь Вяземский рассказывает ему о путешествии в Испанию, князь Долгорукий очень любезен с ним, как и его жена. «Она,—замечает Миранда в скобках,— по происхождению еврейка, но для того, чтобы выйти замуж, крестилась, и это обстоятельство вместе с 50 000 рублей приданого сделали ее вполне приемлемой». Миранда посещает архиепископа Евгения, который преподносит ему только что вышедший из печати его перевод Виргилия на греческий язык, обедает

у вдовы молдаванского господаря Гики, осматривает окрестности, обращает особенное внимание на курганы, «искусственные холмики, которые называются могила (moguilà), что значит гробница». Он принимает участие в обедах, игре в карты и в лото, в попойках.

Жизнь в крепости заставляет Миранду приглядеться к военному искусству и быту страны. Организация войск приводит его в восторг и вызывает неоднократные похвалы на страницах дневника. Ему нравится и то, что генералам дают имена «на римский лад»—Орлов-Чесменский, Румянцев-Задунайский,—и то, как одеты простые солдаты. Он видит однако и оборотную сторону:

«Русский полк представляет собой настоящий маленький город со всем необходимым, чтобы жить совершенно самостоятельно и двинуться в поход в тот момент, когда прикажут. Нет такой технической или домашней профессии, которая не имела бы здесь специалиста (их распределяет каждый капитан в своей роте по мере того, как прибывают новобранцы, по своей прихоти. Самое замечательное, что обучают солдат без иных учителей или наставников, кроме палки, которая готова упасть на спину, если солдат не научится и не сделает того, что ему приказано)... Каждая рота имеет свое помещение, которое недостаточно даже для сорока человек... Солдат редко ест что-либо, кроме хлеба, соли и кое-каких овощей» (1 октября).

Миранду очень скоро начинает отталкивать целый ряд явлений. Он критически относится к времяпрепровождению высшего офицерства, он не понимает увлечения карточной игрой, ему кажется «совершенно невероятным то количество водки с чаем, которое пьет этот старик стаканами». Еще меньше нравится венесуэльцу политика екатерининских вельмож по отношению к инородцам. Этот вопрос особенно занимает его как представителя маленькой порабощенной нации. Ему приходится узнать много горьких истин. Ему рассказывают, что итальянская колония почти ликвидирована — «из 13 000 человек осталось 250», что «дурное поведение русских офицеров» сократило количество татар в Крыму с 4 000 000 человек до тридцати тысяч», что «русские опустошили страну, срубая плодовые деревья на дрова, разрушая дома и мечети для той же цели». 15 декабря после долгих дружеских бесед с рядом лиц, он записывает:

«Я узнал в высшей степени интересные вещи. Дело в том, что русские насильно переселили отсюда (из Крыма) свыше 65 000 греческих и армянских семей (христиан, по их словам) в Екатеринославскую губернию, чтобы заселить ее. В результате Крым остался совершенно разоренным и лишенным земледельцев. С другой стороны, область, которую они хотели заселить, уже представляет собой пустыню, потому что никто из этих несчастных мучеников не остался там; одни умерли, другие бежали в пограничные с Азией страны. Возможно ли, что еще происходят такие недопустимые вещи и что деспотизм не понимает гибельных результатов такой несправедливости и таких злоупотреблений!»

Взрыв негодования вызывает у венесуэльского либерала то, что рассказывающие ему об этом люди говорят об этом, как о мудрых государственных начинаниях:

«Будь проклята эта раса. Аминь!»

Миранда однако проклятие свое оставляет на страницах дневника и продолжает дружески беседовать с представителями «проклятой расы».

В конце декабря в Крым приезжает Потемкин, принимает Миранду в свою свиту, совершает с ним путешествие по Крыму, рассказывает и наглядно показывает ему всю историю завоевания Тавриды, повествует об осложнениях, которые это вызвало в Европе.

В начале февраля Потемкин спешит в Киев, куда должна прибыть императрица и весь двор. Миранда едет следом за ним и 7-го прибывает туда. Здесь на страницах дневника мелькают новые имена: поляки — полковник Потоцкий, Сапега, Мнишек, русские—фельдмаршал Румянцев, князь Безбородко, Шувалов, Барятинский, Нарышкин, иностранные послы. Миранда входит в придворные круги и 14 февраля он «представлен императрице князем Безбородко». Екатерину сильно заинтересовывает знатный иностранец, она часто и любезно беседует с ним о самых разнообразных предметах от арабской архитектуры в Гренаде до судеб иезуитов и инквизиции, посылает справляться о его здоровьи, когда он несколько дней не является ко двору, и т. д. В конце концов она предлагает ему перейти на службу в русских войсках.

Однако Миранда из разных источников узнает о зависти, которую возбуждает в других отношение императрицы к нему, а князь Дашков, «у которого хватает смелости говорить такие вещи, которые никто другой в стране не осмелится сказать», открывает ему «бесконечные факты интриг и проделок этой C[atalina—Екатерина]». Все это убеждает Миранду поскорее покинуть это великосветское, но очень уж грязное на его взгляд общество. Он окончательно убеждается в том, что дальнейшее пребывание здесь не принесет

ему ничего и не подвинет ни на шаг к основной цели его путешествия.

Дальнейшее его пребывание в Киеве уже носит характер почти вынужденного; 15 марта он выезжает в Канев, где встречается с польским королем. Станислав-Август очень заинтересовывает Миранду своей образованностью, начитанностью и настоящей культурой.

Через три дня он прощается с королем. Императрица делает еще одну попытку удержать его и передает ему через Потемкина, что «боится за него»; «под нерушимым секретом» венесуэлец рассказывает о причинах, которые заставляют его вернуться на родину, ждущую освобождения, и 1 мая выезжает в Москву.

В Москве Миранда живет в доме Румянцева, осматривает памятники искусства, очень интересуется архивами, беседует с митрополитом Платоном.

Через месяц он уже в Петербурге, где его ласково принимают «великие князья и знать». Но тут интриги, от которых он бежал из Киева, делают его своей жертвой. Поверенный в делах Испании Маканас делает все возможное, чтобы дискредитировать неприятного Испании венесуэльца перед русским двором. Он обменивается резкими письмами с Мирандой и обиженный Мирандой жалуется Безбородко, что «он опаснейший враг Испании» и самозванец. Императрица велит передать испанскому послу, что «если она его [Миранду] ценит, то никак не за чины, которыми он награжден в Испании, а за его личные качества, которые ей лично известны и исключительно благодаря которым он приобрел ее уважение и покровительство».

Испанское посольство в союзе с французским и некоторыми другими открывает поход против Миранды, но императрица стоит на своем. 8 августа на прощальном обеде Безбородко передает Миранде последнюю просьбу императрицы:

«Ее величество просила передать, что так как испанцы хотят лишить его мундира, то, если он желает носить мундир полковника русской службы, не только никто не будет в претензии, но это доставит ей большое удовольствие».

Все это однако не могло отклонить Миранду от основной его цели, тем более, что и пребывание при русском дворе соблазняло его все меньше и меньше. Он спешно готовится к отъезду, совершает предварительно путешествие в Финляндию, выказывая еще раз определенный интерес к малым и порабощенным нациям, и 7 сентября садится на судно, направляющееся в Стокгольм.

Отв. редактор *Л. Авербах*

Зав. редакцией *И. Зильберштейн*

ОГЛАВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЯ

ТРИБУНА

ХРОНИКА

В книге 139 иллюстраций и одна четырехцветка

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар 11, тел. 3-91-48

Технический редактор Г. БЕЛИНСКИЙ
Обложка работы И. РЕРБЕРГА
Корректировала Н. СКАЛОВА
Уполномоч. Главлита № В-61724

Сдано в набор 5/IV, подписано к печати 14/IX 1933 г.
Форм. бум. 72×110¹/₁₆
Печ. знаков в печ. л. 71280
Тираж 7500 экз.

Отпечатано на фабрике Гознак. Мытная, 17

Зак. тип. 7006

Журнально-газетное об'единение

Цена 17 руб.